Владислав

КРАПИВИН

СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК



РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

Синий треугольник (Сборник)

Владислав Петрович Крапивин

Аннотация
Владислав КРАПИВИН. «Синий треугольник»
ЛОЦМАН
Глава 1. ПОБЕГ
1. Санитарный переулок
2. Развалины
3. На берегу
4. Развилка
5. Поезд «Пилигрим»
6. Давняя знакомая
Глава 2. УЛИЦА ПУСТЫРНАЯ
1. Тетушкин секрет
2. Овражки и Гора
3. Желтое небо
4. У костра
5. Старые книги
Глава 3. ПРОВОДНИК САША
1. Контракт
2. Спички и волчок
3. «Приличный ребенок»
4. Чиба
Глава 4. СУНДУК

1. Лампочка за окном
2. Отраженный мир
3. Голос
4. На месте преступления
Глава 5. ПОДГОРЬЕ
1. Равнина
2. Четвертое измерение
3. Воспоминания на привале
4. Грибной дождь
5. Венецианское окно
6. В гостях у месяца
Глава 6. УЛИЦЫ СОВМЕЩЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
1. Желтая сирень
2. «Плутония»
3. Пантюхин
4. Самолет
5. Стереоскоп
6. Взлет
Глава 7. ПОХИЩЕНИЕ
1. Пуговица на полу
2. Похитители
3. Беглец
4. К вопросу о педагогике
Глава 8. ЛИХОРАДКА
1. Пробитое небо
2. Жар

3. Ловушка
4. Спасение
5. Кое-что о «Даблстаре»
6. Обман
Глава 9. БЕЗ ЛОЦМАНА
1. Ново-Камышино
2. Кобург
3. «Судовая роль»
4. Школа
5. Стажер
Глава 10. ЧЕРНЫЙ ВИНДСЕРФЕР
1. Последняя печаль
2. Прощание
3. Спор на ночном причале
4. «Это повесть о Дороге...»
Глава 11. ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПЕСКИ
1. Приют капитанов
2. Опять волчок...
3. Пока лоцман спит...
4. На краю Пустыни
5. Апокриф
КОРАБЛИКИ, ИЛИ «ПОМОГИ МНЕ В ПУТИ»
Пролог. ПЕТЬКА ВИКУЛОВ ПО ПРОЗВИЩУ ПАТЕФОН
1
2

3
Часть I. ГРУППА КРОВИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУСТОТЫ
1
2
3
"ГУСИНАЯ ЛАПКА"
1
2
3
4
5
СКВЕРНЫЙ МАЛЬЧИШКА
1
2
3
4
РАЗВИЛКА
1
2
3
4
ГОСПОДА ДВОРЯНЕ
1
2
3

ГОСПИТАЛЬ
1
2
Часть II. ЧЕРНЫЕ ПАРОХОДЫ
ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУСТОТЫ. В ПУСТОТУ...
1
2
3
КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТОРОЖ
1
2
3
4
5
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОЛ
1
2
3
4
5
ПРИСТАНЯ
1
2
"РОЗАЛИНА"
1

2
3
4
ВСТРЕЧИ И ПРОЩАНИЯ
1
2
3
ПЛАНЕТА-ПОЛУСТАНОК
1
2
3
КАТАПУЛЬТА
1
2
3
Вместо эпилога
ПАТЕФОН В РОМАШКАХ
1
2
3
4
СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Аннотация

Этот сборник завершает цикл «В глубине Великого Кристалла». В отличие от предыдущих произведений, здесь больше взрослых героев и потому — больше взрослых тревог. Впрочем, бесстрашные мальчишки и девчонки всегда рядом со взрослыми и от тревог не прячутся. Ведь переделать мир без детской помощи невозможно.

Владислав КРАПИВИН
«Синий треугольник»

ЛОЦМАН

Глава 1. ПОБЕГ
1. Санитарный переулок

Утро было прекрасное, сверкающее. Только росы — чересчур. Я, когда пробирался сквозь кусты больничного сада, кряхтел и вздрагивал. Тренировочный костюм (он был у меня здесь вместо пижамы) промок, словно от дождика.

Я раздвинул в заборе две доски, подобрал живот и протиснулся на волю, в тихий Санитарный переулок. И сразу увидел милейшего Артура Яковлевича — главного, ведущего и руководящего специалиста нашей больницы. Какая холера принесла его в такую рань? Докторские очки заискрились иронично и доброжелательно.

— О-о!.. Доброе утро. Как вы себя чувствуете?

Я сказал искренне:

— В данный момент — как полсотни лет назад, когда впервые забрался в чужой огород, был замечен, зацепился лямкой за штакетник и повис…

Артур Яковлевич хохотнул, колыхнул таким же, как у меня, животиком.

— Ну, зачем же так. В вашем поступке нет криминала, утренний променаж даже полезен.

Значит, он не догадался.

— Да, — подыграл я. — Маленький заряд бодрости для чахнущего пенсионера.

— Какой же вы, батенька, пенсионер! Люди вашей профессии на пенсию, по-моему, вообще не уходят. Да и с возрастом вы пока не совсем дотянули.

— Дело не в возрасте, а в состоянии духа и тела…

— Дух — это сугубо зависит от вас. А что касается тела, то мы стараемся… И кажется, не без успеха.

Меня вдруг сильно царапнуло раздражение.

— Бросьте, доктор. Вы же знаете, что это неизлечимо.

— Голубчик мой… Все мы неизлечимы, если исходить из соображения, что всякий человек смертен.

— Вы прекрасно понимаете, что я не о том…

— А если иметь в виду «то»… Я уже объяснял вам, что острый процесс можно задержать и перевести в вялотекущее хроническое заболевание. Люди с этим живут и живут. И у вас есть все шансы дождаться правнуков…

— Ну-ну… Моей старшей внучке два с половиной года.

— Тем лучше для вас! — жизнерадостно вос-

кликнул он.

— Пожалуй… — хмыкнул я. И согнул локти, приняв положение для бега трусцой.

— Только без перегрузок, Игорь Петрович, — с легкой тревогой предупредил доктор. — И недолго. Сегодня на обходе будет профессор Красухин, надеюсь, вы не опоздаете.

— Я тоже надеюсь, — ответил я светски. И надеялся в этот миг на обратное: что вижу ни в чем не виноватого Артура Яковлевича последний раз в жизни…

2. Развалины

Моя однокомнатная обитель оказалась в полном порядке. Даже грязная посуда была теперь вымыта. Кто-то, значит, приходил, прибирался. Возможно, Тереза…

Я переоделся (даже галстук надел), сунул во внутренний карман паспорт и все, какие были, деньги. Взял плащ и выволок из-за дивана свой «командировочный сидор» — объемистый портфель, в котором лежало все необходимое для многодневных поездок. В срочные командировки я давно уже не ездил, но по привычке держал «сидор» наготове.

Платком я стер с портфеля пыль, погладил, как кошку, свою старенькую пишущую машинку, на кухне закрыл потуже краны, вышел и, не оглянувшись, захлопнул за собой дверь.

Тут же из двери напротив юрко высунула голову соседка — остроносая, любопытная и молодящаяся старушка.

— Игорь Петрович! Как я рада! Вас выписали?

— Как видите, уважаемая Римма Станиславовна. Счастлив вас приветствовать…

— А у меня для вас целая груда почты. Всякие конверты из редакций! Заходите! А я чайку…

— К сожалению, весьма спешу. Бог с ней, с почтой… — Пустовато было у меня на душе. Но не печально. Бездумно…

— Только из больницы и сразу уезжаете куда-то. Ай-яй…

— Что поделаешь, работа. Специально отпросился у врачей пораньше, — скользил я со своим враньем, как по гладкому стеклу. — Рад был вас видеть…

— Что передать Терезе Владимировне, если зайдет?

— Что я нашел вас еще более похорошевшей.

Старушка расцвела, а я, прихрамывая, спустился на первый этаж и вышел во двор. У подъезда

цвели яблони и каталась на трехколесных велосипедах малышня, по-летнему пестрая и голоногая. Уже припекало, день обещал быть очень теплым.

Я пересек двор и вошел в полуразрушенный, ожидающий сноса квартал. Здесь было тихо, только шуршали крыльями воробьи. Кучи прошлогоднего мусора уютно покрывала свежая, яркая трава, в ней горели желтые огоньки мать-и-мачехи.

За остатками забора из кирпичных столбов и железных копей стоял двухэтажный особняк с выломанными рамами и полуразобранной крышей. Он был сложен не из кирпича, а из чужого в здешних местах пористого желтоватого туфа. Я вошел в разоренные комнаты. Солнце било в оконные проемы. Стараясь не смотреть на зарисованные мальчишками обои, на битые бутылки по углам, я поднялся на второй этаж. Глянул в окно (заранее знал, в какое, не первый раз).

Кирпичные башенки с флюгерами на крыше соседнего дома, причудливая верхушка тополя, далекая белая колокольня, голубятня над забором, несколько чердачных выступов и край моста над рельсами пригородной линии привычно сложились для меня в рисунок нездешнего города.

Безоблачная, чуть дымчатая синева за крышами и башнями напоминала туманное море, когда оно в отдалении встает вертикально, как стена… Я закрыл глаза.

Может показаться, что я занимался игрой, не свойственной солидному человеку. Но, во-первых, множество взрослых людей живет, веря в приметы и соблюдая спасительные ритуалы, только никому не признается в этом. А во-вторых, без такой «игры» я за последние годы не написал бы ни единой стоящей строчки… И кроме того, именно взрослый опыт постепенно убедил меня, что граница между игрой и настоящими делами, между сном и хитрой реальностью кристаллических граней часто не прочнее мыльной пленки. Иначе какой был смысл думать о Тетради?

Итак, я закрыл глаза и среди запахов заброшенного жилья и плесени, сухого мусора и свежей травы на пустыре различил и вдохнул запах нагретых солнцем южных камней — тех, из которых был сложен дом… И — оказался в храме.

3. На берегу

На самом деле этот разрушенный храм стоял на краю раскопок древнего черноморского

города, и я был в нем всего один раз, давно и случайно. Однако теплого запаха камней было сейчас достаточно, чтобы вспомнить пористые глыбы песочного цвета, плавные закругления арок, выпуклые византийские кресты на фронтонах, пробитый лучами сумрак, тусклую смальту осыпающихся мозаик и желтоватый мрамор колоннады. Не открывая глаз и оставаясь на месте, я в то же время быстро шагал теперь к лестнице. И смотрел по сторонам.

В храме был обрушен купол, в сводчатых окнах не осталось переплетов и стекол. В проломе крыши я увидел очень синий зенит с волокнистым белым облаком. Но глянул туда я лишь мельком: смотреть надо было под ноги. Деревянная (видимо, временная, хотя и очень старая) лестница вела на галерею, которая тянулась вдоль стены на уровне второго этажа. Я поднялся и пошел по галерее. Слева были деревянные перила с балясинами (как на антресолях в старом купеческом доме), справа — стена с мозаичным узором из листьев и провалы окон, за которыми холмы с серой полынью и море. Скоро я вышел на площадку с двумя колоннами. Солнце отражалось от дальней стены, и здесь был рассеянный прохладный полусвет.

Сколько мне лет? «Полсотни с большим хвостом»? Или двадцать? (Ничего не болит, и в мускулах под загорелой кожей веселая упругость.) Или я уже совсем мальчик, как в недавних больничных снах? Не знаю, сейчас я не вижу себя. Я вижу картину, висящую низко над полом.

Не решаюсь назвать ее иконой. Скорее всего, это просто портрет. Видимо, копия (а возможно, и подлинник) итальянского или голландского мастера. Какого — не знаю, никогда не видел репродукций. Это Мать со своим Мальчиком. Она, в зеленом платье и полупрозрачной накидке на волосах и плечах, сидит облокотившись на низкий, высвеченный солнцем подоконник (а за окном — размытые в знойной дымке горы и убогие домики Назарета). Лицо у нее молодое, но не такое молодое, не полудетское, как часто бывает у изображений Мадонны. Спокойными светло-карими глазами она смотрит перед собой, но каждой клеточкой тела, каждым нервом льнет к Сыну, словно любовью своей и тайной тревогой хочет окутать его, как силовым защитным полем, заслонить от грядущих бед.

А Мальчик ее — уже не дитя на руках у мамы, как мы привыкли видеть на многих картинах «Мадонна с Младенцем». Этакий непоседа лет

восьми, тощенький, загорелый, с искорками в синих глазах. Мятая холщовая тряпица обернута вокруг бедер, на коленке подсохшая ссадина, в руке корявая палка (небось от сухой смоковницы). Верхом на этой палке он, наверное, только что скакал с приятелями по плоским крышам и каменным ступеням. И вдруг спохватился, примчался к маме: «Ну что ты, я не так уж и баловался. Вот он я, ничего со мной не случилось». Встал рядом, щекой прижался к ее плечу. На лице — еще не остывший задор игры, но тут же и ласковость, и капелька виноватости… А позади этих чисто ребячьих настроений и чувств заметна, прячется легкой тенью, таится в зрачках недетская задумчивость. Ибо Мальчик ведает будущее. И свое, и других. И знает, что маме оно тоже предсказано.

«Ничего… Не бойся…»

Но сейчас они прервали свой молчаливый разговор и смотрят на того, кто подошел к ним. Смотрят с пониманием и без упрека, хотя никто из приходящих не бывает без вины.

Я, встав на колено, лбом касаюсь гладкой некрашеной рамы — от нее пахнет еловой смолой.

«…Простите меня, и пусть простят меня те, кого я оставляю: у меня ведь тоже нет обиды на них,

просто пришел час пути… И на этом пути, который мне еще остался, дайте капельку радости и спокойствие души. И… если можно… пусть я найду то, что ищу…»

Что-то греет мне левую щеку. Это рядом с картиной на низком кованом кронштейне висит лампадка из гладкого синего стекла. Похожая на чернильницу-непроливашку, с какой я когда-то бегал в школу. В ней на поверхности масла качается круглый огонек (сквозь стекло он кажется голубым). Я окружаю хрупкую посудинку ладонями, не касаясь стекла. Тепло от огонька нарастает, пушисто щекочет ладони; значит, огонек набрал силу… Я снова трогаю лбом пахучее дерево еловой рамы. И будто слышу тихое: «Ладно уж, иди». Так говорила мама, когда я отпрашивался на речку или в ближний лес.

Я поднимаюсь — легкий, счастливый, сбросивший весь ненужный груз. Вся моя ноша на плечах — выцветшая майка, замшевые помочи да невесомость десяти неполных лет жизни. Прямо с площадки, от возникшей рядом с картиной открытой двери, уходит вниз каменная лестница. Я кидаюсь в радостное пространство солнца, знойных трав и морского горизонта — прямо грудью в упругий приморский воздух. По ступеням,

по крутой тропинке с холма. Шипастые шарики высоких сорняков чиркают по ногам, стертые подошвы сандалий скользят по перламутровым осколкам ракушек мидий, устилающим тропинку. Еще немного, и там — вырубленная в скалах лесенка, а под ней узкий галечный пляж, заваленный бурыми мочалками водорослей, по которым прыгают стеклянные морские блохи… Ногами — дрыг, дрыг, и сандалии летят в стороны. Дернуть плечами, чтобы слетели лямки, перепрыгнуть через упавшие с ног тирольские штанишки, майку — долой через голову! И сразу, чтобы не калечить ступни на скользких подводных камнях, — бултых пузом! А потом несколькими гребками — в сине-зеленую, кусающую мурашками глубь, где качаются размытые пятна медуз. Это будет сейчас, сейчас!

…Но нет, не все так просто в жизни. Я замедляю бег.

4. Развилка

Я замедляю бег.

И вот уже, опять взрослый, страдающий от жары и сомнений, с плащом на локте и тяжелым портфелем у ног, стою перед серым камнем. Он

похож на громадный плавник. Торчит на развилке тропинок.

Никакой надписи на камне, конечно, нет. Но все равно он здесь неспроста. Не впервые он у меня на пути. И сколько раз я поворачивал направо, к морю! Может быть, и сейчас?

«И что дальше? — безжалостно спрашиваю я себя. — Пять минут ребячьей радости. А потом?»

«А потом… я вернусь и пойду налево…»

«Не получится. Потому что пляж и море — это короткий сон, после которого ты опять очнешься на больничной кровати и увидишь пыльный белый потолок с трещинами…»

«Нет! Я же ушел оттуда…»

«…А дорога налево — это всерьез… Минутное счастье детского сновидения и долгий путь наяву не соединить…»

Я стою опустив голову. Желтая, с седыми волосками гусеница ползет снизу по моим брюкам, прямо по стрелке. Вот ведь глупая, выбрала дорогу… А как вообще выбирают дорогу? Мы сами ее выбираем или судьба?

«Ты сам выбрал… И огонек разгорелся — значит, правильно».

«Огонек мог и не знать, куда я поверну от камня. Просто подсказал: иди и выбирай…»

«Вот я и выбираю… Может, все-таки пойти окунуться?»

«Ох, не надо…»

«Ага… „Не пей, Ванечка, из копытца, в козленочка превратишься…“ А может, в этом и есть главный смысл: превратиться в козленочка и прыгать бездумно и радостно…»

«А как же разгадка Горы? А Книга?.. А Тетрадь?..»

«Ничего этого нет, — насупленно говорю я себе. — По крайней мере, Тетради…»

«Как знать… А главное, наверняка есть Причал. И *там* ты все равно вернешься к морю…»

«Если дойду», — вздыхаю я про себя. Сухим стеблем сбрасываю гусеницу. Иду, сутулясь, к бетонному капониру на обрыве. Это остатки береговых укреплений времен последней войны. Полуоткрытая ржавая дверь вросла в кремнистую землю. Я протискиваюсь в полумрак, в запах сырого бетона и железа. Прикрываю ладонью глаза. Сейчас я опущу руку и окажусь на старом месте: в разрушенном особняке.

Так и есть. Рваные обои, битое стекло. Но за окном — как награда и обещание радости — ветка яблони, вся опушенная цветами. А в ладонях еще хранится тепло огонька. И я вдруг вспоминаю (я

всегда это знал, но почему-то в последнее время выпало из памяти), что есть простое и верное начало пути.

Надо на трамвае доехать до Центрального рынка, там сесть на другой трамвай — старую, дребезжащую «тройку» — и через десять минут окажешься у кольца. Там тихо, между шпалами растут осот и подорожники. От этого кольца отходят несколько пригородных веток — на озеро, на электростанцию, на садовые участки. А есть еще одна — по ней трамваи давно не ездят, рельсы заржавели. По этой ветке надо пойти пешком, и скоро… скоро будет то, о чем знают немногие. А может быть, никто не знает, кроме меня!

5. Поезд «Пилигрим»

По ветке с поржавевшими рельсами я шагал минут пятнадцать. Она тянулась между серых кривых заборов, за которыми, как и в городе, густо белел яблоневый цвет. Потом заборы разошлись. Слева оказался луг, а справа — заросшее болотце. А рельсы сделались блестящими. У края полотна я увидел шест с прибитой фанеркой, на ней чернели буквы:

Ст. Начальная

Не было ни навеса, ни скамейки. Я сел на валявшийся в траве рассохшийся бочонок. Из бочонка неторопливо вышла серая, размером с голубя птичка — с хохолком и на высоких ножках. Посмотрела очень умно: «Ждешь? Ну, жди, жди…» — словно что-то про меня знала.

— Кис-кис, иди сюда, — сказал я, хотя это было глупо. Лучше бы уж «цып-цып». Но птичка не удивилась и не обиделась. Превратилась в серого котенка. Я тоже почему-то не удивился. Хотел дотянуться и погладить, но котенок шмыгнул в траву. Наверно, испугался гула рельсов и пыхтенья. Из-за кустов показались старинного вида желто-красные вагончики.

Это был не трамвай. Во-первых, нигде над вагонными крышами не торчала дуга (да и проводов над рельсами не было). А во-вторых, вагончики толкал маленький, будто в детском парке, паровоз. Пыльно-зеленый, но с начищенной, как духовой контрабас, трубой. По красному лаку вагонной стенки тянулись витиеватые, словно в старинном журнале «Нива», буквы:

Туристический кооператив «Пилигримъ»

Раньше такого не было. (А вообще — что *бы-*

ло?)

Паровозик выпустил из-под круглой топки пар, от которого пригнулись верхушки молодого бурьяна. Вагоны остановились, и я забрался в ближний по откидным ступенькам. Опустил в стеклянную кассу пятнадцать копеек (так требовала надпись на стекле), оторвал длинный розовый билет и сел у окна. В вагоне было пусто. Блестели новым желтым лаком сиденья — одноместные, сколоченные из реек стульчики. Между ними тянулся широкий проход… Я поднял раму с пыльным стеклом. Поехали. Я высунул голову и тут же убрал: вдоль пути потянулись деревья, ветки разлапистых кленов заскребли по вагону.

Этот славный, игрушечно-самоварный поезд бежал резво, посвистывал, дребезжал, потряхивая себя на стыках. По вагону летала бабочка, похожая на солнечный зайчик. На соседнем сиденье катался туда-сюда забытый кем-то красно-белый рыбацкий поплавок. Поезд ехал без остановок минут двадцать, потом начал останавливаться очень часто. Входили пассажиры: дядьки с садовыми лопатами, бабки с корзинами, юная компания с магнитофоном, который они, впрочем, тут же выключили. Вагон заполнился. Я отвернулся к окну. Там по-прежнему были клены

и трава…

— …Молодой джентльмен мог бы, наверно, уступить место пожилой особе…

Я вздрогнул. Это я молодой джентльмен? Увы, особа смотрела не на меня. Рослая старая тетка (в длинном сером пальто и старинной шляпе с сеткой и бисером) обращалась к мальчику. Тот сидел от меня наискосок, я видел над спинкой его плечи в потертой школьной курточке, давно не стриженные песочного цвета волосы и сильно загорелую щеку. Такие светловолосые, с тонкой белой кожей мальчишки быстро загорают под весенним солнцем… Даже сквозь загар заметно стало, что мальчик покраснел. Торопливо завозился.

— Ой, да садитесь, я просто не заметил…

— Благодарю. — Старуха шумно втиснулась на его место, подобрала подол, придвинула к сиденью свой багаж — сундучок, окованный узорной жестью.

Мальчик в это время сделал шаг в сторону. И зацепился штаниной за острый угол сундучка.

— Ох! — всполошилась старуха. — Ты порвал брюки!

— Да чепуха!..

— Ну как же… Это из-за меня!

— Да наплевать, — сказал мальчик с явной досадой, потому что на них оглядывались. — Они все равно старые.

— И все-таки! Если ты сойдешь на остановке «Старый мост», мы можем зайти ко мне, я быстро заштопаю…

— Нет, я еду дальше. Да вы не волнуйтесь…

«Старый мост… Старый мост…» — отдалось во мне. Значит, правда? Вот и начал завязываться узелок…

В этот момент поезд опять остановился, заблестело за окнами озеро, вагон сразу опустел на две трети. Мальчик остался. Но он не сел ни на одну из освободившихся скамеек, ушел на заднюю площадку — подальше от заботливой старухи.

— Как досадно, — басовито сказала она. Оглянулась, встретилась со мной глазами (знакомыми такими, темно-коричневыми и совсем не старческими), обиженно отвернулась и притихла.

У меня застукало сердце. Не то чтобы я очень волновался, но пришла *пора*. Я перебрался на сиденье позади старухи, сказал вкрадчиво:

— Прошу прощенья… Вас зовут Генриетта Львовна?

6. Давняя знакомая

Она обернулась. Неторопливо, но с заметным удивлением.

— Генриетта Глебовна…

— Извините. Я мог и ошибиться, столько лет прошло…

— А собственно, в чем дело, сударь? — величественно вопросила старуха.

Но нет, не могу я называть ее просто старухой. Это была старая, но еще крепкая и, безусловно, интеллигентная дама. Свою интеллигентность она иногда разбавляла нарочитой простоватостью, но это было приятное сочетание. Так же, как на ее лице, где мясистый пористый нос доброй тетушки сочетался с тонким ртом и аристократическим подбородком, какие можно видеть на портретах восемнадцатого века…

— Итак, сударь, чем вас привлекла моя персона?

— Догадкой, сударыня. Мне показалось, что в разговоре с мальчиком вы руководствовались не только желанием зашить ему брюки, но и надеждой, что он поможет вам нести сундук.

— Вы проницательны… — В глазах Генриетты

Глебовны зажглись насмешливые точки. — Но в таком случае позвольте быть проницательной и мне: вы сходите у Старого моста и хотите выполнить роль мальчика?

— Вы не ошиблись, — светски улыбнулся я. Но ощутил вдруг глухое волнение. Словно темная вода колыхнулась в глубоком колодце… Неужели все это происходит на самом деле?

— Очень мило с вашей стороны. Однако чем я обязана такой любезности? — Генриетта Глебовна глянула пристально.

Я передохнул.

— Совпадением… Почти полсотни лет назад я ехал в поезде, похожем на этот. И по этому же пути…

— Но тогда вы были, наверно, ребенком!

— Да, стриженный под «полубокс» мальчик в ковбойке и сандаликах… Мальчик в те дни открыл дорогу в Овражки и очень любил бывать там… И вот в вагон вошла дама с сундучком и в тех же выражениях, что и сегодня, напомнила мальчику о правилах хорошего тона. Мальчик стал выбираться с сиденья, зацепился за сундук…

— …и порвал брюки.

— Я был в заграничных замшевых штанишках

и до крови расцарапал ногу. Это вас… то есть даму очень расстроило. Она уговорила мальчика сойти у Старого моста и отправиться к ней домой для «мазанья йодом и бинтования». Мальчик согласился (исключительно, чтобы не выглядеть трусом) и по дороге помог тащить сундучок.

— Он не тяжелый, пустой… Я возила его в мастерскую, потому что испортилась музыка в замке.

— В тот раз вы сказали так же!

— Гм… Но, полагаю, выглядела я тогда несколько иначе?

— Полагаю, что да, — в тон ответил я. — Но… для десятилетнего мальчишки все взрослые, кому за двадцать, кажутся пожилыми.

— Увы, мне было тогда уже за тридцать.

«Тем более!» — чуть не брякнул я. Но осторожно сказал о другом:

— Тем более, что я не настаиваю. Как принято говорить, «может, мальчика-то и не было…». Не исключено, что все это — плод моего воображения. Или выкрутасы отраженного мира…

Она не удивилась. Кивнула снисходительно:

— Возможно, что и так… По крайней мере, я не помню такого эпизода…

— А я помню отчетливо. Вернее, представляю…

Как мы пили чай с маленькими рогаликами, как потом я еще несколько раз забегал к вам в гости на Пустырную улицу… Вы ведь жили тогда на Пустырной?

— Признаться, и сейчас живу…

Мы вышли на станции, похожей на дачный павильончик. По замшелому каменному мосту перешли бурливую речку Окуневку — она вилялa среди зеленых откосов. И зашагали по улице Тележной мимо палисадников, двухэтажных контор и кирпичной аркады торговых рядов прошлого века. Сейчас под арками ютились фанерные киоски и овощные прилавки.

Было, как и дома, тепло и солнечно. Яблони не попадались, но зацветала сирень. Я нес на плече плащ, в левой руке — свой «сидор», а в правой — сундучок. Держал его за медную витую ручку, приклепанную к горбатой крышке. Сундучок и правда был не тяжелый.

Генриетта Глебовна шагала рядом с сундучком. Глянула на меня и заметила:

— Вы идете уверенно. Видимо, и правда помните дорогу.

— Я многое помню… Например, вашу лампу со стеклянным зеленым шаром. И картину, на которой мальчик тянется к сундучку… похожему

на этот.

— С ума сойти… Лампа разбилась тридцать лет назад!

— А картина цела?

— Да… Но… Откуда вы все это знаете? Мне даже страшно, — заявила она. Впрочем, без всякого страха. В голосе ее мягко перекатывались граненые камушки. — Я начинаю подозревать…

— …уж не злодей ли я, не рэкетир ли какой-нибудь или, может, домушник, пожелавший втереться в доверие?

— Увы…

— Нет, Генриетта Глебовна, у меня другая профессия. Хотя, по мнению некоторых, не менее романтичная и прибыльная.

— Какая же… э… Простите, ваше имя-отчество?

— Игорь Петрович.

— Игорь Петрович и…

— Решилов, — вздохнул я.

Тут она по-настоящему засмущалась:

— Простите, а… возможно, это совпадение, но… последний номер журнала «Огни», там портрет и…

— Да, Генриетта Глебовна, да, — обреченно сказал я. Потому что куда деваться…

— Как замечательно! — Она даже зарумяни-

лась. — Ваши «Лунные эскадроны» у меня на полке. Я их читала пять раз…

Ох как не хотелось мне об этом.

— Бог с ними, с «Эскадронами». Давняя вещь…

— А сейчас? Тоже над чем-нибудь работаете?

Фу ты, умная вроде бы женщина, а как обалделая девица на конференции «Встреча с писателем». Неужели даже здесь от этого не уйдешь?

— Сейчас вот не работаю, как видите. Путешествую…

— Память детства, так сказать, да?.. Еще один источник вдохновения?

— Будем считать, что так, — буркнул я.

Она, кажется, застыдилась своей дурацкой умиленности. Сказала уже по-иному, пряча за суховатостью смущение:

— Но, увы, я все-таки не могу припомнить ваших детских визитов…

— Я ведь и говорю: самому кажется иногда, что я в детстве просто придумал ваш городок… Мне нравилось бывать здесь, потому что столько загадок… И еще потому, что мальчишки тут никогда не приставали, не дразнились. На любой улице брали в игру как своего. Один раз я заигрался допоздна, и вы оставили меня ночевать. И сами позвонили маме, чтобы не волновалась…

— Да? Возможно… Видите ли, я уже в то время сдавала комнаты приезжим и у меня перебывало столько людей. И взрослых, и детей… А память в мои годы, сами понимаете…

— Ну, какие наши годы, — сказал я глупо и галантно.

— Ах, Игорь Петрович, вы не учитываете разницу…

— А сейчас вы не сдаете комнаты? — напрямик спросил я.

— Гм… изредка. Через турбюро. Если скромное домашнее жилье вы предпочитаете гостиничному люксу…

— Предпочитаю, — вздохнул я. — Весьма…

Глава 2. УЛИЦА ПУСТЫРНАЯ
1. Тетушкин секрет

Генриетта Глебовна Барнавó (такая вот у нее фамилия) всю жизнь проработала акушеркой и была знаменита в своем городке Овражки. Даже когда она стала пенсионеркой, ее часто приглашали помогать и консультировать при трудных родах. Это я узнал от нее, когда мы шагали к дому.

Жила Генриетта Глебовна одна, в приземистом доме из двух комнат, кухни и прихожей. Мне она отвела комнату, где висела картина. Та самая, с мальчиком. Я так и сел перед ней, словно вернулся в давние-давние годы. Или в свой детский сон.

Картина — в резной деревянной раме с облезлой бронзовой краской — была узкая, но большая в высоту. Пожалуй, метра два. Написал ее, безусловно, талантливый художник.

Солнце на картине косо, желтым лучом, падало из-за просвеченной насквозь салатной портьеры, освещало высокий ореховый комод и мальчика, который тянулся к сундучку, стоявшему на краю комода. Мальчик был виден сбоку и со спины.

Было ему лет восемь-девять. Судя по одежде, «довоенный» мальчик или даже «дореволюционный». И явно не из богатых. Голубая полинялая матроска порвалась на локте и лопнула под мышкой, на черном чулке, на щиколотке, дырка. Каблуки сбиты. Левый чулок съехал на потертый ботинок с пуговками, и видно было, как напряглась мальчишкина нога, он ведь стоял на цыпочках. Растопыренными пальцами он уперся в край окованной крышки и толкал ее вверх. Сумел приподнять на вершок, а дальше — никак. Не хватало роста. И заглянуть в сундучок он не мог — слишком высоко…

Лица мальчика не было видно, только щека, просвеченное солнцем ухо да зажженные лучом на макушке очень светлые волосы — они были давно не стрижены и косичками падали на матросский воротник. И я вдруг вспомнил мальчишку в вагоне, тот был с такими же светло-песочными отросшими прядями.

Мне почему-то казалось, что название у картины — «Тетушкин секрет». Мальчик приехал к старой тетушке в гости и наконец-то выбрал минуту, чтобы разрешить давнюю и жгучую загадку: что у тетки в старинном сундучке? В натянутой мальчишечьей фигурке ощущались все чувства,

которые испытывал любопытный племянник: и досада, что не догадался подставить стул, и страх, что кто-нибудь вот-вот войдет, и — в то же время — сладкая тяга к тайне. Хотя, если трезво подумать, какая там тайна? Скорее всего, письма тех времен, когда тетушка была курсисткой или гувернанткой…

— Сейчас я накрою стол и угощу вас своим фирменным чаем. Я делаю его с мятой… Вы что-то задумались, а?

— Смотрю на этого мальчика, словно на старого знакомого… Замечательная картина. Так и кажется, что у нее какая-то непростая история.

Генриетта Глебовна встала рядом, покивала:

— Ее писал друг моего отца, очень способный молодой человек. К сожалению, он так и не стал известным, погиб в четырнадцатом году при первом наступлении немцев… А мальчик — мой старший двоюродный брат, Андрис.

— Кажется, прибалтийское имя…

— Да, в нашей семье многие из Литвы. Андрис жил в Шяуляе и, увы, тоже погиб. В тридцатых годах. Он стал летчиком и разбился во время тренировочного полета, когда готовился с друзьями к перелету через Атлантику… Смелый был мальчик.

Грустно сделалось. Будто не в далекие времена погиб Андрис, а недавно. И не взрослый летчик в мундире литовских ВВС, а вот этот мальчуган в костюмчике с якорями…

Чтобы прервать неловкое молчание, я заметил:

— А сундучок… он, кажется, тот самый? Семейная реликвия, наверно?

— Да, еще моей бабушки… Ну-с, умывайтесь, через пять минут попрошу к столу…

Когда мы пили чай (и правда замечательный, со всякими душистыми запахами), Генриетта Глебовна поинтересовалась:

— Ну, а какие же ваши планы, если не секрет? Чем собираетесь заняться в наших тихих Овражках?

— А никаких планов. Буду просто бродить, вспоминать…

— Ох, да ведь и заплутать можете. Городок небольшой, а столько *всякого*. Старожилы говорят: «Бабка Дар-Овражка водит…» Была здесь в позапрошлом веке такая хитрая знахарка, Дарья Овражкина. Говорили, ведьма…

— Ну, как-нибудь найду с бабкой общий язык…

— Кто знает… Я вот что вам предлагаю! У меня есть сосед, мальчик Костя. Очень славный. Если

хотите, я попрошу, он поводит вас по городу, покажет самое интересное…

Я почему-то не решился отказаться. И сперва подосадовал на себя за это, а потом подумал: «Может, к лучшему…»

Костя оказался тоненьким и высоким, бледно-рыжеватым подростком. Вежливым и неулыбчивым. Спросил, куда бы мне хотелось пойти сначала.

«Ну, что ж, — сказал я себе. — Давай, старик…»

— Видишь ли… — Я глянул в упор. — В Овражках я не заблужусь и один, не впервой… Я хочу в Гору. Если ты из тех, кто знает дорогу.

Он не дрогнул, не удивился.

— Туда каждый знает дорогу. Только что там интересного? Впрочем, как вам угодно. Если не возражаете, я зайду за вами через полчаса.

2. Овражки и Гора

Я ждал Костю на улице, у ворот.

Была середина дня, и день этот сделался уже не просто теплым, а жарким. Но здесь, на Пустырной, было прохладно: улица лежала в тени обрыва. Обрыв — большущей высоты и крутизны — поднимался позади дворов. Местами он зарос, а

местами — голая глина. Из глины торчали лохматые громадные корни, словно щупальца каких-то подземных осьминогов. Домики и заборы цепью тянулись по границе тени — в один ряд. Улица была односторонняя. На другой стороне — заросшие кашкой лужайки, канавы и буераки, здесь паслись козы. Наверно, потому и Пустырная, что рядом с пустырями. А может, еще потому, что здесь пахнет травой пустырником, настойкой которого, говорят, лечат от излишних волнений сердце.

Я с удовольствием разглядывал покосившиеся, но все еще красивые крылечки, резьбу на карнизах и на столбах ворот. Это были не только традиционные узоры — солнышки, складки с кистями и виноградные кисти. Иногда попадались деревянные лица, словно здесь поработал итальянский кукольный мастер. Смотрели на меня потрескавшиеся маски с носами-клювами, торчащими подбородками и широкими ртами. Я помнил их с детства и в те давние годы был уверен, что выражение этих масок время от времени меняется. Особенно по ночам.

Впрочем, и сейчас я в этом почти не сомневался…

На солнечных пустырях млела от солнца трава

и рассыпали трескотню кузнечики, а во дворах словно затаился вечер. Я знал, что если подойти вплотную к обрыву, то там вообще сумерки. Пахнет влажным травяным настоем и сырой землей… Подняться на обрыв можно было по лестнице на другом конце улицы, а можно и прямо со двора, цепляясь за корни и стебли. Когда-то я так и делал…

Наверху был парк — неухоженный, с пустыми павильонами и киосками, с высокими фонтанами и травяными джунглями. Он всегда казался мне очень таинственным… Но все же парк на обрыве — это не главное. Гораздо больше меня интересовали другие обрывы — настоящие горы. Они поднимались за пригородным лугом и видны были прямо отсюда, с улицы…

Здесь надо сказать о рельефе этих мест. Кажется, что в древние времена тут расстилалась зеленая равнина, по которой однажды пошли трещины. Они разбили равнину на плоские неровные многоугольники. Одни из этих многоугольников остались на прежнем уровне, а другие под давлением земных сил поднялись. И получились возвышенности с крутыми склонами и ровными плато наверху. Одно такое плато возвышалось над Овражками, которые лежали

на низкой равнине (ее пересекали трещины поменьше, из них получились овраги — отсюда и название).

Что там наверху, на плоскогорье, из города было не видать. Но я знал: *что-то* есть. Что именно, в городе не говорили, как не говорили и о многих других странностях (например, почему до полудня улица Сухарная ведет к мосту через Черный овраг, а после двенадцати — в заброшенный Гнилой переулок, где никто не живет, но зимними вечерами все же светятся окна; так оно есть с давних времен, вот и все).

Однажды мальчишкой я попробовал подняться на плато. Как ни высоки были обрывы, казалось все же, что задача мне по плечу. Ну, что там метров двести-триста! Вскарабкаюсь… Однако на половине высоты я понял, что этот путь не для прогулок. Грозное ощущение опасности остановило меня на рыхлом глинистом карнизе. Я оглянулся и чуть не заревел от испуга — таким маленьким, лежащим далеко внизу оказался город Овражки… Обрывы с плоскогорьем, которые назывались одним словом «Гора», так и не открыли мне свою загадку. Я пристыженно полез вниз.

Впрочем, я не испытывал тогда особого огорчения. Наоборот, сладко замирала душа оттого, что

совсем недалеко существует тайна, похожая на придвинувшийся к привычной жизни чужой материк. А кроме того, я скоро узнал (почувствовал, увидел во сне, догадался по намекам и слухам), что главная загадка не *на Горе, а в Горе*. Будто бы там какой-то особый мир. Целая подземная страна.

Эта страна с бледно-золотистыми, закрывающими каменные своды облаками не раз мне снилась потом, во взрослой жизни. И особенно в последнее время, в больнице. Причем непонятным образом она увязывалась в этих снах с Тетрадью. Хотя, при трезвом размышлении, никакой связи быть не могло…

При таком размышлении *вообще ничего* быть не могло. С точки зрения здравого смысла и реальности я сейчас должен был проглотить кучу разноцветных таблеток, подставить известное место под шприц медсестры Зои, а потом лежать у зашторенного окна, покорный властному режиму послеобеденного тихого часа. И слушать, как сыто похрапывает сосед по палате Альфред Афанасьевич, работник исполкома… И как по левой ноге, а потом вдоль позвоночника крадется пока еще тихая, щекочущая боль…

Сейчас боли не было. И, мельком отметив это,

я снова стал размышлять о Горе. Ощущение близкой тайны прошло по мне мурашками, как в детстве. Словно я был мальчик Андрис и тянулся к старому сундучку…

Неужели и правда есть что-то *такое* в толщах Горы?

Костя ведь говорил, обещал проводить. Хотя как-то странно говорил, скучно… Впрочем, поглядим.

3. Желтое небо

Костя, как и обещал, явился через полчаса.

— Ты так и полезешь в Гору? — удивился я.

Он был в отглаженных кремовых брюках, в белой рубашке.

— Видите ли, — отозвался он, — после нашей прогулки я собираюсь зайти в школу, там у нас собрание по поводу окончания учебного года.

«Прогулка»! Это в Гору-то? Я туда собрался, как в экспедицию, надел вместо костюма тренировочные штаны, клетчатую рубаху, фляжку нацепил на пояс. Мне даже неловко стало. Но спорить и расспрашивать я не решился.

Мы прошли всю Пустырную, спустились в овраг, на дне которого журчал мутный ручей,

протопали через мостик. У оврага было ответвление, оно-то вскоре и привело нас на луг со многими тропинками. Уже зацветал розовый иван-чай, чиркал меня по локтям и штанинам. И по Косте. Но тот ухитрялся оставаться аккуратным и отглаженным, как в городском саду. Он шел впереди и время от времени вежливо предупреждал меня:

— Осторожно, здесь ямка… Не зацепитесь за колючки…

С полчаса мы шли через луг, и наконец бурые обрывы нависли над нами. Сделались такими высокими, что клочковатое облако казалось зацепившимся за изломанный край.

Костя ввел меня в проход между неровными стенами из темно-рыжей, с торчащими корнями глины. «Вот здесь-то ты, голубчик, и перемажешься», — подумал я с легким злорадством, хотя это было и нехорошо. Но Костя легко перешагивал через корни, ловко уклонялся от сыпучих струек глиняной пыли и оставался по-прежнему без пятнышка. И я зауважал его.

Костино хладнокровие и его уверенность, что под Горой нет ничего особенного, дали себя знать, я уже не ощущал волнения. Шел, как на экскурсию, и радовался лишь тому, что не болит нога

и нет обычного послеполуденного головокружения…

Но когда отвесные стены сошлись над нами и образовали сумрачный свод, ожидание тайны опять щекотнуло меня.

— Слушай, а мы ведь не взяли фонарик…

— Это ни к чему, там довольно светло.

«Значит, в самом деле? Не так уж там все обыкновенно?»

Скоро проход раздвинулся, замаячил впереди свет. Еще несколько шагов, и… Я остановился. Потому что открылось мягко освещенное пространство. Лежащая в скалах долина была словно озарена прошедшими сквозь неплотные облака вечерними лучами. Казалось, что в воздухе рассеяна бронзовая пыль. Я глянул вверх: каменных сводов не было видно за желтоватым туманом, будто и правда над нами полупасмурное предзакатное небо. Может, через толщу плоскогорья пробивался в какую-то щель настоящий солнечный свет?

Перед нами лежало каменистое поле с жесткой и высокой, но редкой травой. Из травы поднимались похожие на идолов камни (а может, и правда древние идолы?). Слева и справа пространство терялось в таком же тумане, что и каменная

«крыша». А впереди стояла ребристая скальная стена, гребень ее тоже не был виден за невысокой облачностью.

До стены оказалось недалеко — шагов сто. Когда мы подошли к ней совсем близко, путь нам перегородила речка с темной спокойной водой, через которую просвечивал песок. Ширина была метров семь. К ближнему берегу приткнулось тяжелое бревно, мокрое и скользкое на вид. Костя поднял из травы кривую палку, сказал «я сейчас», встал на бревно, оттолкнулся палкой от дна и, чуть балансируя, — весь такой красивый, хладнокровный — поплыл через речку. Видимо, он слегка пижонил, но что ни говори, а был он смелый и ловкий парнишка.

У того берега темнел связанный из нескольких бревен плотик. Костя прыгнул на него. Приплыл на плотике ко мне.

— Вставайте, он выдержит…

Мы переправились. И оказалось, что дальше идти некуда. Всюду — соединившиеся в стену уходящие в высоту утесы.

— Вот и все, — сказал Костя. — Ничего особо интересного здесь, как видите, нет. Конечно, если бы горсовет нашел спонсоров, образовал здесь филиал краеведческого музея или турбазу… А

пока — вот…

Конечно, зря он так. Любопытного здесь было много. И сам небывало громадный грот, и таинственное свечение тумана, и гранитные камни-идолы… Но я стеснялся показывать интерес при этом аккуратном и правильно мыслящем мальчике. Словно взрослым был он, а мальчишкой — я… Впрочем, и самому мне стало ясно, что не нашел я того, что искал. Конечно, удивительное место, но все же не было здесь той сказочности, того обещания тайн, которыми я томился в детстве… Да и быть, конечно, не могло.

Мы вернулись. Когда поднялись из лога, Костя вежливо попрощался, я так же вежливо поблагодарил его. И он ушел в своей очень белой рубашке и отглаженных, ни единой пылинкой не испачканных брюках. Я с уважением и невольной робостью посмотрел ему вслед. Ни в детстве, ни во взрослой жизни не хватало мне такой прочности сознания, такой уверенности…

4. У костра

Я пошел наугад по тихим улицам, зная, что так или иначе попаду на Пустырную, если буду двигаться к обрыву. Прохожих почти не было, только

на пологом травянистом спуске меня обогнали двое мальчишек с дребезжащей детской коляской. Мальчишки были в жилетках, сделанных из потрепанных школьных курточек, и таких же штанах, обрезанных и разлохмаченных у колен. В коляске они везли макулатуру.

Скоро я вышел на широкую лужайку, за которой начиналась Пустырная. На лужайке горел оранжево-дымный костер, а точнее — брошенная в траву и подожженная автомобильная шина со щепками в центре. У костра никого не было, зато неподалеку — шум и гвалт. С десяток ребят (многие в таких же нарядах, как хозяева тележки) кого-то прижали к стене сарайчика. Я торопливо захромал и подошел. Там руками и ногами отбивался от всех светлоголовый мальчишка. Мне показалось — тот, которого я видел в вагоне. Но точно не скажешь, лица его я тогда не рассмотрел. Зато сейчас разглядел хорошо. Волосы песочного цвета были растрепаны, желто-серые глаза блестели гневными искрами. Пухлые, в трещинках губы раздвинуты, а зубы стиснуты, словно мальчик сжал в них горячий уголек.

Его старались ухватить за руки, за плечи, за одежду, но он отмахивался яростно. Потом крикнул:

— Ну, чего надо?! Я вас трогал?!

— За ноги, за ноги его! — зазвенела чья-то команда.

— Вовка, сделай аркан из ремня! На лапу ему!..

— Эй, молодежь! — громко окликнул я. — Не слишком ли много на одного? Что-то не по-рыцарски.

Они разом остановились. Заоборачивались. Разгоряченные, веселые. Совсем не такие, как их пленник. Самый старший — славный такой, ясноглазый парнишка, совсем не похожий на хулигана — сказал, словно загораживая остальных:

— А что такого? Мы же играем!

— Ничего себе игра! Вон как налетели на беднягу, отбивается из последних сил…

Мальчик-командир пожал плечами:

— Все сперва отбиваются. Такое правило… Чтобы веселее.

Смуглый мальчишка с черными глазами-шариками (один из тех, что везли тележку) слегка испуганно объяснил:

— Он же сам пришел…

— Я не пришел, а просто шел! По делу! — крикнул от бревенчатой стены пленник. — А вы как пираты!.. Рукава отрывать!

— У всех отрывают. Раз праздник… — пискнул кто-то позади остальных.

— Ничего себе праздник, — сказал я.

— А что! — улыбнулся старший. — Каждый год так. Когда каникулы начинаются, мы тут дневники жжем и школьные рукава и штаны обрываем, потому что лето.

— Потому что форма во как надоела, — сиплым баском разъяснил стриженный «под огурчик» лопоухий толстячок. Одна штанина была у него обрезана выше колена, вторая над щиколоткой. Старший мальчик опять сказал:

— Это обычай такой. А вы, наверно, не здешний…

— Я тоже не здешний, — ощетиненно откликнулся взъерошенный пленник. — А вы как коршуны…

— Ну и ты не цыпленочек, — примирительно улыбнулся старший. — Вон сколько времени отбивался героически. За такое дело орден полагается… Эй, у кого ордена?

Ему дали звезду из фольги и канцелярскую скрепку. Расступились. Пленник подозрительно следил, как предводитель мальчишек прицепляет ему звезду к оттопыренному клапану нагрудного кармана. Все почему-то смущенно

замолчали.

— Ну вот… а теперь иди, если хочешь, — вздохнул командир.

Среди мальчишек была девочка. Длинноногая, в цветастом платье и черном школьном переднике, из которого был дерзко вырезан кривой треугольник. Она сказала чуть нараспев:

— Мы ведь не знали, что ты здесь случайно. Извини нас, пожалуйста.

Мальчишка оттолкнулся спиной от бревен, однако не ушел. Потоптался, оглядел ребят — исподлобья, но уже не сердито.

— А обычай этот… он только для здешних или кто хочет?

Ребята радостно завопили, что праздник — для всякого. Потому что в школе мучились все одинаково! И замолчали опять. Бывший пленник коротко посопел, заулыбался, рывком расстегнул и скинул куртку.

— Ёшкин свет! Ладно, рвите!

Тут же опять случилась веселая свалка. Под вопли «ура» и треск материи вмиг отлетели оба рукава. Лопоухий толстячок и смуглый мальчик торжественно отнесли их к костру и бросили в огонь. Новичок, весело дыша, натянул опять куртку, ставшую жилеткой. Старательно прице-

пил к карману оторвавшуюся звезду.

Девочка выжидательно защелкала сверкающими портновскими ножницами.

— А штаны тоже?

— Валяйте! Все равно они старые, вон даже клок вырван.

Я вспомнил сундучок и мальчика в вагоне.

Девочка села на корточки и в два счета отхватила обе штанины пониже колен. Потом спросила благожелательно:

— Может, зубчики сделать? По-американски…

— Ага, сделай…

Ножницы опять защелкали, синие матерчатые треугольнички посыпались мальчику на кроссовки.

— А дома тебе не влетит? — озабоченно спросил толстячок.

— Ёшкин свет! Раньше надо было спрашивать!.. Ладно, скажу: зато орден получил.

Все засмеялись, а старший поинтересовался:

— Тебя как зовут?

— Сашка…

Про меня забыли. Я отошел, сел на валявшийся в траве пластиковый ящик. Сашка в обстриженных зубчиками штанах весело крутанулся на пятке. Теперь он, в расстегнутой жилетке и клет-

чатой рубашке, с разлохмаченной светло-желтой головой, был похож то ли на маленького юнгу со старой норвежской шхуны, то ли на фермерского мальчика из Оклахомы.

— Давайте через костер скакать! — закричал кто-то из ребят. — Кто дальше прыгнет, тому тоже звезда!

— Да огонь-то низкий! Чего тут прыгать!

— А мы привезли горючее! — Смуглый мальчик с приятелем лихо подкатили тележку и вывалили макулатуру в двух метрах от костра. Большую кучу. Среди вороха конторских бумаг, папок и газетных пачек мелькнули черные корешки с позолотой.

5. Старые книги

Я быстро встал. Подошел.

— Ребята, можно взглянуть?

— Пожалуйста! — щедро сказал старший мальчик.

Первое, что я выудил, был толстенный том «Семейного университета» Комаровского, лекции историко-филологического цикла. Издание Вольфа, конца прошлого века. Затем — четыре книжки в бумажных обложках — собрание со-

чинений Куприна, 1912 год. Обалдеть… А еще пятый том сочинений Головнина с очерками о деятельности Русско-Американской компании и, наконец, увесистое издание «Апокрифы христиан» с примечаниями и комментариями, напечатанное в 1913 году почему-то в провинциальной Калуге. Сроду не слыхал о таком.

А в довершение всего — несколько подшивок старинного «Военно-исторического вестника» и «Отечественных записок».

— Люди, вы варвары, — жалобно сказал я. — Но вы — варвары по незнанию. А кто дал вам все это для сожжения?

— Наша библиотекарша в школе, — заявил смуглый хозяин коляски. — А чего? Говорит, они давно списаны, никому не нужны, место занимают…

— Скажите вашему директору, пусть переведет ее из библиотекарей в уборщицы… Хотя нет, уборщице тоже необходим какой-то интеллект.

— Значит, вам их надо, эти книжки? — догадался старший мальчик. И даже обрадовался: — Тогда забирайте! А то и правда жалко, они же книги все-таки…

— Да уж заберу с вашего позволения. На костер вам и без того хватит…

Я уложил свои находки в стопу. Получилось — ого сколько!

Мальчишки оставили меня. Подбросили бумагу в огонь и один за другим с хохотом и воплями — марш, марш через костер. Потанцуют на траве, потрут ужаленные искрами ноги и снова… Новичок Саша тоже ловко скаканул туда-сюда. Но потом остановился, стал смотреть, как я вожусь со своим грузом.

— А вам далеко это нести?

— Порядочно. В тот конец Пустырной.

— Да?! — почему-то обрадовался он. — Мне туда же. Давайте помогу!

— Буду весьма благодарен. А то и не знал, как быть… Давай мне под мышки эти журналы, а книги бери себе…

— Уже уходишь? — сказала Сашке девочка.

— Пора…

— Приходи еще, мы тут всегда играем, — предложил юркий, похожий на мышонка мальчишка.

— Ага…

И мы пошли. Сашка шагал чуть сбоку и впереди. Тащил пачку книг перед собой, как охапку дров. Походка у него была с чуть заметным пританцовыванием. На незагорелой ноге темнела подсохшая царапина.

— Мне тебя сама судьба послала, — сказал я. — Мы с тобой даже в одном вагоне ехали сюда.

Он оглянулся:

— В пилигримском?

— Да…

— Ну, тогда это не судьба, а контора «Пилигрима». Это они меня сюда направили. На дежурство… — Разговорчивый оказался мальчонка.

— Что за дежурство? — спросил я, чтобы поддержать беседу. Да и в самом деле любопытно: какие дела у такого пацаненка с кооперативом? Было моему спутнику лет одиннадцать. Та пора, когда мальчик делает первый шажок к состоянию, которое называется неуклюжим и казенным словом «подросток».

— Это работа такая, — отозвался Сашка. — Школа ее за летнюю практику считает… И деньги платят.

— Ишь ты!.. Наверно, что-то купить задумал?

— Ага. Велосипед «Стриж». С аккумулятором и моторчиком. Сперва крутишь, накапливаешь энергию, а потом на электричестве едешь… У него спицы так здорово блестят, и он стрекочет, будто стрекоза крыльями…

Мне понравилось такое сравнение. И вообще нравился Сашка. И как он храбро отбивался, и как

потом без всякой обиды по-приятельски сошелся с ребячьей компанией. И как мы сейчас дружно, в одном ритме шагали с увесистыми книгами.

— Не тяжело?

— Не-е…

— Выручил ты меня…

Он не оглянулся, но я почувствовал — улыбается.

— Вы ведь меня тоже выручили. А то чуть до драки не дошло… Я сам виноват, перепугался…

— Оно и понятно, раз не здешний… А что ты делаешь на своем дежурстве?

— Вызова жду. Я проводник.

— Какой проводник? В поезде?

— Да нет, — засмеялся он. — Ну, с туристами. Вроде гида.

— И получается?

— Ага. Я уже прошлым летом водил студентов. И зимой…

У меня хрустнуло в ноге, отдалось в затылке. Сразу затуманило голову. Ох как не вовремя! Неужели начинается?..

— Эй, проводничок! Давай-ка посидим…

Мы сели на лавочку у приземистых ворот. Я затылком сильно надавил на забор. Чтобы боль от твердого дерева прогнала ту, внутреннюю.

Сашка сбоку беспокойно глянул на меня.

— У вас голова кружится, да?

— Пустяки. Это бывает… Не страшно…

«Ох, если бы „не страшно“…»

Сашка смотрел очень внимательно. В глазах — смесь пепельного цвета с лимонным соком. И дрожащая капелька испуга. Светлые брови сошлись над коротенькой прямой переносицей. Мягкая, в дольках, как у мандарина, нижняя губа жалобно оттопырилась и шевелилась.

— Ничего, — выдохнул я и улыбнулся. — Сейчас пройдет…

И правда прошло. Боль угасла, тяжесть в темени растаяла, тошнота пропала. И я снова понял, какая хорошая улица Пустырная, какой славный город Овражки. Фиг вам, Артур Яковлевич, неделю я как-нибудь продержусь.

— Просто устал немного. Посидим еще минуты две…

— Ладно, — согласился Сашка. Провел пальцем по книжному корешку и спросил: — А что такое «Апокрифы»?

— Это… Видишь ли, в древности написано довольно много книг о жизни Иисуса Христа. Называются «Евангелия». Но церковь признает лишь четыре из них…

— Знаю! От Луки, от Иоанна… От этого… от Марка! И еще от Матвея…

— От Матфея…

— Ну да! У бабушки были… Я к ней ездил, когда она жива была, и читал… Правда, не все… Мне еще девять лет было… А кое-что она мне своими словами рассказывала. А вот эти… «Апокрифы», они, что ли, незаконные считаются?

— Ученые богословы говорят, что в них очень много фантазии и мало реальных фактов… Ну и в самом деле! Скажем, Евангелие от Фомы о детстве Иисуса… В нем вроде бы и детали интересные, игры описаны, всякие житейские случаи, но непонятно делается: разве мог такой жестокий мальчишка, о котором там рассказывается, стать Учителем всеобщего добра?

— А почему он жестокий… там?

— Такие случаи приводятся… Толкнул его соседский мальчик — и умер. Пожаловались на него люди родителям — и ослепли. Ну и многое другое… Не вяжется это с тем, что было дальше…

— А кто этот Фома?

— Трудно сказать. Некоторые считают, что один из учеников Иисуса. Помнишь, был такой Фома Неверующий…

Сашка шевельнул бровями. Подумал.

— Выходит, он тоже предатель? Как Иуда? Раз написал такое… — И глянул требовательно, не по-детски даже.

— Нет, что ты! Во-первых, скорее всего, автор — не он. Просто приписали ему это сочинение. А во-вторых… у автора своя задача стояла: показать, что Иисус с детства был грозным и всемогущим божеством… Конечно, здесь ничего общего с христианством. Но тем не менее «Фому» этого верующие читали. Потому что в официальных Евангелиях о детстве Иисуса очень мало. Из мальчишеских лет — один только эпизод: как в Иерусалиме отстал от родителей, увлекся беседой с мудрецами в храме…

— Ага, я помню.

— Ну вот… А людям-то все интересно было знать про Христа. И про то, как он маленький был, тоже…

Сашка опять быстро глянул на меня.

— А вам… тоже интересно, да?

Мне хорошо было с Сашкой. Спокойно так, ласково и — никакой неловкости. И не казалось в тот момент странным, что говорю со случайно встреченным мальчишкой о таком вопросе.

— Признаться, да, — сказал я. — Интересно. Очень… Как у мальчика в захолустном, вы-

жженном солнцем городке просыпается мысль о необходимости Великого Служения людям. Желание спасти всех. И понимание, что сделать это можно ценой своей жизни… Знал ли он уже тогда, что его ждет?.. Была у меня даже нахальная мысль написать повесть «Мальчик из Назарета».

Сашка выпрямился, вытянул шею, глянул на меня так, будто я в марсианина превратился.

— А вы умеете?!

— Что?

— Ну, это… писать повести…

— Приходилось, — признался я. Не хотелось выкручиваться, раз уж дернуло за язык.

— Ёшкин свет, вот это да… — сказал он шепотом. — А вас… как зовут?

— Игорь Петрович.

— Ну… на книжках ведь так не пишут.

— На книжках, — вздохнул я, — пишут «И. Решилов»…

Сашка округлил пухлые губы, выпустил сквозь них воздух и даже малость обмяк. Спросил недоверчиво:

— Это, значит, «Стеклянные паруса», да?

— «Значит». Куда деваться…

— Ёшкин свет! И «Клипер „Колдун“»?

— Читал, что ли?

— А что ли, нет!.. А это правда вы?

— Чтоб мне провалиться!

Я клятвенно прижал к груди ладонь. И в этот миг хлипкая подгнившая лавочка крякнула и осела в траву. Книги посыпались, мы с Сашкой вскочили. Я почему-то перепугался, как дитя. Завопил жалобно и всерьез:

— Но это правда я! Честное слово!

Сашка от смеха взялся за живот, сел в подорожники. Потом свалился набок, перекатился на спину и хохотал, взлягивая торчащими из зубчатых штанин ногами. Стонал и взвизгивал. Меня тоже одолел смех. Как зараза. Мы хохотали, пока не ослабели. Тогда Сашка, охая, поднялся, а я сказал, вытирая глаза:

— И все-таки это в самом деле я…

Мы собрали книги. И пошли дальше, все еще подрагивая от остатков смеха и переглядываясь. Но вот наконец Сашка взглянул на меня без веселья и спросил озабоченно:

— А вот в книжке «Станция Желтый Гном»… Тот мальчик, Валерка… он погиб, когда бросился навстречу поезду? Или все-таки живой остался?

Такой вопрос мне задавали сотни раз. И я отвечал, что решать должен сам читатель — в зависимости от того, как он понял книгу и как

вообще смотрит на жизнь. Но сейчас я сказал:

— Конечно, остался жив. Недаром же станция наконец открылась людям и был общий праздник…

— Я так же говорил ребятам в классе, а они спорили! Дразнились даже… Игорь Петрович, вам в какой дом?

— Номер три. Там я поселился… Вот мы уже пришли.

— Ой… — Сашка остановился. Подбородком прижал качнувшуюся стопку книг. Глянул с нерешительной радостью: — Значит, это вы делали заявку?

— Какую?

— На проводника!

Я почему-то смутился.

— Нет, голубчик, не делал я… Честное слово.

— А у меня адрес. Этот самый.

— Разве в заявке не указано, от кого она?

— Мне только адрес дали… Значит, не вы? — Сашка заметно огорчился. — Наверно, в конторе напутали.

— А может, здесь еще какой-нибудь турист живет? Давай спросим у хозяйки. Кстати, вот она… — В открытую калитку было видно, как могучая Генриетта Глебовна снимает с веревки высох-

шее белье. В своем широком длинном платье она была похожа на снятый с церковной башни колокол.

— Ёшкин свет! Это ведь та тетка! Которая в вагоне…

— Она самая. Ну и что?

— Боюсь я с такими разговаривать. Очень уж они… воспитывать любят. — Сашка отодвинулся от калитки.

— Ну храбрец… — Я положил к его ногам журналы. — Постой здесь, а я выясню, что к чему…

Генриетта Глебовна бодро приветствовала меня. Я галантно перехватил у нее охапку простыней и наволочек. И сообщил, что на улице повстречался с неким молодым человеком.

— Он проводник из «Пилигрима» и утверждает, что у него вызов по этому адресу.

— Это я! — обрадовалась Генриетта Глебовна. — Я им позвонила на всякий случай. Потому что, когда вы с Костей ушли, я подумала и поняла: не то получается. Он хороший мальчик, но с вами общего языка не найдет. Слишком здравомыслящий…

— Гм… А я с ветром в голове…

— Нет-нет! Но творческой личности вроде вас нужен специалист. Тот, который угадывает ваши

желания и ведет, куда вас зовет внутренний голос…

«Господи, это Сашка-то специалист? По внутреннему голосу… Мне бы самому знать, куда этот голос меня зовет…»

Генриетта Глебовна объяснила:

— Заявка ни к чему вас не обязывает… Проводник приходит, вы знакомитесь. И если понравились друг другу, подписываете договор. А если нет…

— Кажется, мы понравились друг другу. По крайней мере, он мне. Но он же… совсем еще кроха!

— Что поделаешь. Эти способности зависят не от возраста, а от природы. Вот и приходится туристической конторе привлекать ребятишек… Кстати, где он, этот ваш знакомый? Давайте белье и ведите мальчика в дом…

Глава 3. ПРОВОДНИК САША
1. Контракт

Мы втащили книги, и Сашка предстал перед Генриеттой Глебовной. Робко сказал «здрасьте», потупился. Почесал каблуком ногу рядом с царапиной.

— Здравствуй, здравствуй… Мы, кажется, уже знакомы?

— Ага. Маленько.

— Контракт с собой?

Сашка торопливо полез под жилетку, вытянул из-за пазухи плотный, вчетверо сложенный лист. Изрядно помятый.

Генриетта Глебовна развернула документ.

— Игорь Петрович, усаживайтесь и ознакомьтесь.

Я устроился у стола. Генриетта Глебовна шумно дышала надо мной. Сашка притих в сторонке. На листе было напечатано:

«Контракт

Гр. (прочерк), именуемый в дальнейшем «Клиент», и правление туристиче-

ского кооператива «Пилигрим», именуемое в дальнейшем «Фирма», заключают соглашение о следующем:

1. Фирма предоставляет Клиенту проводника сроком на 7 (семь) суток для сопровождения по маршруту, обусловленному программой или договоренностью между Клиентом и проводником (ненужное зачеркнуть).

2. За оказанные услуги Клиент вносит на счет Фирмы плату из расчета 10 (десять) руб. 90 коп. за сутки. Необходимую сумму следует заплатить до начала маршрута.

3. Срок маршрута исчисляется с момента подписания контракта.

4. В случае прекращения маршрута по вине проводника или Фирмы, а также по уважительным причинам (заболевание Клиента, несчастный случай, стихийное бедствие и т.п.) Фирма возвращает плату за неиспользованный срок.

5. В случае предъявления Клиентом обоснованных претензий в адрес проводника Фирма возвращает сумму полностью.

6. Проводник обязуется сопровождать Клиента по обусловленному заранее маршруту, в пределах туристских схем данного региона.

7. Клиент обязуется не требовать от проводника выхода за обусловленные маршруты, а также услуг, не входящих в непосредственные обязанности проводника.

8. Клиент и проводник обязуются относиться друг к другу с взаимным уважением и в случае возникновения разногласий прилагать усилия для устранения их на основе взаимного соглашения.

Примечание 1. Если проводник является несовершеннолетним, Клиент берет на себя обязанности по его питанию, устройству на ночлег в гостиницах и пансионатах и обязуется не допускать переутомления проводника на маршруте. Клиент не должен брать несовершеннолетнего проводника на кино- и видеосеансы, не рекомендованные детям до 16 лет, и не побуждать его к поступкам, способным нанести вред здоровью или воспитанию.

Примечание 2. В вышеуказанном случае (проводник — несовершеннолетний) ежесуточная плата Клиента сокращается до 8 (восьми) руб. 70 коп.».

Слева стояла подпись-закорючка (в скобках — «А. Игнатьев») и круглая печать, в центре которой — человек с рюкзаком и посохом. А справа было место для подписи клиента и даты. А также для подписи проводника (с примечанием: «Писать разборчиво»).

Генриетта Глебовна басовито сказала у меня над головой:

— Однако же и суммы дерет наш любезный «Пилигрим». С каждым годом все больше… — Она оглянулась на Сашку.

— А я-то что! — жалобно возмутился «несовершеннолетний проводник». — Нам всего по три рубля в день платят. Ну, иногда еще премия… Только редко.

Я вспомнил о велосипеде, который «стрекочет, будто стрекоза крыльями». И понял, что язык не повернется сказать: «Не надо мне проводника»… Да и почему не надо? Может, все идет именно так, как задумано! («Кем задумано? Я никогда не думал о проводнике!») Может, не случайно свела нас судьба?..

Но с другой стороны, малыш ведь. Если что случится…

Генриетта Глебовна, видимо, поняла меня. Посоветовала:

— Да не бойтесь. Подгорье — это же недалеко.

— В Подгорье я уже был. С Костей…

Сашка чуть обиженно сказал от двери:

— Вы, наверно, только в предбаннике были, у речки. А там ведь еще столько всего… Но надо развертку знать.

Я обернулся.

— А сам-то ты не против? Идти со мной…

— Не-а, не против. — Он заулыбался.

— Со старым и скрипучим…

— Ёшкин свет! Какой же вы скрипучий!

— Ты что это так ругаешься! — строго пробасила Генриетта Глебовна. — Что за «Ёшкин свет» у тебя на языке!

— А чего… — струсил Сашка. — Это и не ругательство даже. Это поговорка. Вроде как «нечистая сила»…

— Ах, поговорка!..

— Да, — приободрился он. — Это будто место такое поминается, где Баба Яга живет. Бабка Ёшка, значит. Даже песня такая есть в одном мультике! «Пой частушки, Бабка Ёшка, пой — не

разговаривай»…

Я достал ручку, подмахнул контракт.

— Ладно, «Бабка Ёшка», иди расписывайся…

Сашка откровенно обрадовался, засветился весь. Водя языком по губам, старательно начертал: «Ал-др Крюк».

— Слушай-ка, Ал-др, это у тебя фамилия такая — Крюк? — заинтересовалась Генриетта Глебовна.

— Ага… А что? — Сашка насторожился.

— А маму как зовут?

— Вера Николаевна. А что?

— Да ничего, встречались, кажется… А папа — Виктор?

Сашка отвел глаза, сказал неохотно:

— Да. Только они развелись.

— Ох, ну извини… Игорь Петрович! Вы в дорогу, наверно, с утра отправитесь? А проводничок пусть перебирается к нам прямо сейчас. А то знаю я эти пилигримовские общежития. Туристы всю ночь на гитарах бренчат, да еще небось и водку пьют… А я хоть покормлю по-человечески.

Сашка опять обрадовался. Он уже не робел.

— Я только бумагу в контору отнесу и сумку там заберу…

— Игорь Петрович, а деньги вы дайте мне, я пойду на почту насчет журналов выяснять и

уплачу заодно…

Сашка вернулся в сумерках. Я уже начал тревожиться. Генриетта Глебовна грозно его спросила:

— Это где же ты гулял, голубок?

Сашка не испугался. Весело объяснил, что сперва ждал в конторе диспетчера, а потом забежал на пустырь, поиграть.

— С теми ребятами, у костра, помните, Игорь Петрович?

Генриетта Глебовна погрозила толстым пальцем:

— Ты смотри у меня, проводник Александр Крюк…

Сашка полушутя надулся:

— Ну вот, опять дразнилки из-за фамилии. Всю жизнь…

— Какая же это дразнилка? Наоборот! Очень даже звучит, — утешил я его. — Просто как «Александр Блок». Блок — это ведь тоже приспособление, чтобы тяжести поднимать, а как услышишь фамилию — сплошная поэзия в душе. — И я даже процитировал подходящие для проводника строчки:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —

И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман…

Сашка не удивился.

— Знаю.

— Читал Блока?

— Мама читала. Она этого Блока любит…

Сашка говорил, поглядывая на картину «Тетушкин секрет», и выкладывал из синей спортивной сумки на подоконник мыльницу, зубную пасту, полотенце. Потом брякнул коробком.

— А спички-то тебе зачем? — забеспокоилась Генриетта Глебовна.

— Для работы, — серьезно сказал Сашка. — Не для курения же… Мама сама положила, а то я всегда забываю…

Генриетта Глебовна вздохнула, как добрая бабушка:

— Не боится мама отпускать тебя?

Сашка засопел, заперекладывал мыльницу и зубную щетку.

— Ну да, «не боится». Каждый раз такое… «Прощание славянки»… Завтра позвонить надо, что все в порядке.

— Позвони, позвони… Идемте ужинать. А потом я постелю проводнику на раскладушке. Игорь

Петрович, не возражаете, если в вашей комнате?

Я не возражал.

Когда легли, Сашка сразу начал тихо посапывать. Я тоже стал засыпать, удивившись напоследок, какой длинный и необычный был день. И вдруг услышал:

— Игорь Петрович…

— Что, Саня?

— А вы ту книжку, про мальчика из Назарета… написали?

Сон стек с меня, как темная вода.

— Нет, Саня, не написал.

— А почему?

— Честно говоря, побоялся.

— Потому что религию раньше запрещали, да?

— Нет, что ты… Во-первых, жизнь Христа — это ведь не только религия. Это история, философия и масса всяких общечеловеческих тем… А испугался я только себя. Почуял, что пороху не хватит. Начал и отложил…

— Побоялись, что будет еще один апокриф?

Эк ведь он меня! Почти в точку… Но я не обиделся.

— Понимаешь, Саня, я не сумел. Пока писал просто про его детство: про игры, про школу, про родителей и приятелей, вроде бы получалось. А

как доходило до главного… Тема Великого Служения не каждому по зубам. У самого-то у меня в детстве таких мыслей, разумеется, не было…

Я теперь будто не с Сашкой, а с собой говорил. В полумгле. Вполголоса. Но он расслышал. И сказал сбивчиво, тихо:

— Но в детстве ведь… наверно, каждый про какой-нибудь подвиг думает…

— Наверно. Только тут не о подвиге речь, а о любви к людям и о желании спасти *всех*… Знаешь, я мог бы написать, если бы постарался. И возможно, повесть напечатали бы, поскольку времена меняются. Но это была бы еще одна средненькая книжка. И многие сказали бы, что автор спекулирует на модной теме. Сейчас это не редкость… Давай, Саня, спать.

— Ладно, — покладисто сказал он. И вдруг попросил (я даже почувствовал в темноте, как он жалобно поморщился): — Только не называйте меня Саней, хорошо? Сашка — вот и все. Я с рождения привык…

— Ну, если с рождения… А у меня тоже просьба, — начал я и прикусил язык. Потому что получилось бы слишком резко.

Но он понял:

— Больше не лезть с разговорами о книжках,

да?

«Так тебе и надо, старому идиоту!» Я объяснил виновато:

— Видишь ли… как говорится, я с этим делом «завязал».

Раскладушка отчаянно заскрипела.

— Почему?!

— Как тебе сказать… Сашка. Наверное, все чернила израсходовал, которые были отпущены.

— Ох уж… — недовольно выдохнул он.

Мне вдруг стало чертовски стыдно. Зачем я ною перед мальчишкой? Разве он обязан слушать излияния, которые и самому-то мне противны?.. И все равно он не поймет, что получилось просто несовпадение сроков: «баллончик в авторучке» опустел раньше, чем кончилось календарное время. Оно протянулось усилиями мудрого Артура Яковлевича, которому честь и хвала, но о котором я сейчас не хочу вспоминать. Ни о чем не хочу. Я — человек без имени, беглец в свою последнюю сказку…

— Вы отдохнете в отпуске, а потом все равно за новую книжку засядете, — утешил меня Сашка.

«Я не сяду за книжку, если даже захочется. Потому что не успею ее закончить… Да и какой смысл? Она все равно была бы не лучше прежних… Вот

если бы найти Тетрадь…»

Но Сашке я сказал:

— Все может быть… Спи.

2. Спички и волчок

Когда я проснулся, Сашкина раскладушка была застелена, сам он сидел на полу. Уже одетый, но босой. Раскладывал на половицах спички, соединял их в ромбы и звездочки. Потом провел над этими фигурками ладонью. Некоторые спички встали торчком, а две подскочили и головками прилипли к ладони.

— Ого… — удивился я.

Сашка вздрогнул, обернулся.

— Доброе утро, — сказал я.

Сашка ответил без улыбки:

— Доброе утро… Мы, кажется, рано подписали контракт.

— Что такое?

— Ну, потому, что сегодня в Подгорье не пройти. Я считал, считал, не получается развертка. Можно только завтра.

— Подумаешь, беда какая, — сказал я с облегчением. — Завтра так завтра. Сегодня по Овражкам погуляем. Найдем чем заняться…

Тогда Сашка заулыбался.

— Ага! Тут тоже много всякого, интересного…

— А над чем это ты колдуешь?

— Я же говорю: пространственную развертку смотрел…

— Это что же, способ такой? Со спичками?

— Ну, вообще-то нас по-разному учили. А это я сам придумал. Никакого компьютера не надо. Лишь бы волчок слушался.

— Что за волчок?

— А вот! — Сашка показал картонный кружок, проткнутый заостренной спичкой. — Смотрите! Я в какую сторону его запускаю? Запомните… — И он крутнул спичку двумя пальцами. Легонький волчок затанцевал на половице. Конечно, он вертелся по часовой стрелке. Я так и сказал.

— Ага… А теперь глядите… — Сашка сомкнул над волчком ладони, не касаясь его. Я свесился с кровати, оперся рукой об пол. Сашка развел ладони — медленно, осторожно. Волчок замедлял бег. И крутился теперь… против часовой стрелки. Это стало особенно ясно, когда он упал на бок и покатился.

— Вот так фокус…

— Вовсе не фокус! Просто меняются координаты совмещенных пространств… Игорь Петрович,

вы вставать будете? А то Генриетта Глебовна уже два раза спрашивала…

Батюшки, десятый час! Я дернулся под одеялом и выругал себя за то, что спал без пижамы. Сейчас будет неловко перед Сашкой за свой живот, длинные трусы и жидкие волосатые ноги. К счастью, заглянула в дверь Генриетта Глебовна.

— Игорь Петрович, встава-ать!.. А ты, юноша, помоги-ка мне притащить воды от колонки…

3. «Приличный ребенок»

Во время завтрака мы договорились, что прежде всего пойдем с Сашкой на рынок. Там, помимо всяких других, есть книжный ряд. Генриетта Глебовна сказала, что иногда попадаются редкие издания, а случается, что и рукописи. И глянула на меня с пониманием, словно о чем-то догадывалась.

Сашка проворно и без всякой просьбы хозяйки помог ей убрать со стола и вымыть посуду. За это удостоился благосклонных улыбок и похвал. Но когда он сказал, что пора, пожалуй, отправляться в путь, Генриетта Глебовна подбоченилась и саркастически спросила:

— Ты что, таким чучелом и пойдешь?

— А чего?.. — Сашка надул губы. — Не в театр же…

Мне в общем-то было все равно, как выглядит мой проводник, но из педагогических соображений я поддержал Генриетту Глебовну:

— Мы не только на рынок пойдем, но и в книжные магазины. Это заведения интеллигентные, а ты — как флибустьер…

Сашка встал в забавную позу марионетки: сдвинул носки кроссовок и коленки, растопырил пятки и локти, заболтал повисшими кистями рук. По-птичьи, одним глазом, оглядел себя сверху вниз.

— Кошмар-р, — дурашливым, как у Буратино, голоском согласился он. — Хорошо. Сейчас буду умненький-благоразумненький. И кр-расивый. Аж пр-ротивно… — Повернулся на пятке и ускакал на одной ноге.

Генриетта Глебовна засмеялась:

— Ох, не соскучитесь вы с таким проводником.

— Чую…

Сашка появился через несколько минут — причесанный, в новом летнем костюмчике из некрашеной льняной ткани. Я вспомнил, что лет двадцать назад такой же костюм Тереза купила для Дениса, когда мы собирались в поездку по

Волге. Сыну эта одежка очень понравилась: не мнется, пыль на ней незаметна, после дождя материя высыхает в пять минут. Дениска в этом наряде и в песке валялся, и в воду прыгал, а тот все как новый. Лишь одно раздражало Дениса: желтые пластмассовые пуговицы на шортиках, они были пришиты снизу по бокам, по две с каждой стороны. Сын хотел было их отрезать, но мать отобрала ножницы и хлопнула по рукам: «Что за фокусы! Это фасон такой…» — «Детсадовский фасон…» — «Ты мне порассуждай!..»

В конце концов Денис примирился с пуговицами и привык их крутить в пальцах при разных случаях жизни. Стоит надувшись перед матерью, получает очередную словесную взбучку и вертит пуговки с двух сторон. Или, наоборот, в приступе прыгучего настроения крутнет их до отказа, как регуляторы скорости, взлягнет тонкими ногами — и помчался!.. Он был маленький, остроглазый, смуглый, не похожий на Сашку. Но сейчас я все же малость вздрогнул…

Мальчишечья мода за двадцать лет, видимо, не изменилась. На Сашкиной курточке (или рубашке навыпуск) я даже увидел такую же, как у Дениса, нашивку: синий кружок со спортсменом-лучником и желтыми буковками по краю.

Буковки эти — мальчишечье имя. Нашивку старались подобрать, чтобы имя соответствовало. Кому-то везло, кому-то нет. Денису повезло. А Сашке?.. Я пригляделся. Да, у него так и было вышито: Сашка.

Генриетта Глебовна тоже присмотрелась.

— Это что же, твое официальное наименование? Не Саша, не Саня, не Шурик, а… именно так?

— Ага… — Дурашливая нотка опять зарезвилась в голосе у Сашки. — Но все равно я очень воспитанный и примерный. — Он сжал губы бантиком, взялся (как Денис) за пуговки и повертел ногой в новом желтом носке и оттертой от пыли кроссовке. — Вот, даже башмаки начистил…

— А космы твои все равно чудовищны, — сообщила Генриетта Глебовна. — Не мальчик, а швабра.

— Мы зайдем по дороге в парикмахерскую, — примирительно пообещал я.

Сашка взвился на одной ноге.

— Ёшкин свет! Мы так не договаривались! Этого в контракте нету!

— Да ты что? По контракту только стрижешься? — изумилась Генриетта Глебовна.

— Я в парикмахерские вообще не хожу! Только

мама стрижет или знакомая тетя Ира… Потому что в парикмахерских кресла почти как у зубных врачей. Меня там жуть берет.

— И не стыдно?

— Стыдно, — сокрушенно сказал Сашка. — Но зубных врачей все равно боюсь. И вообще всяких… Это у меня врожденное.

— Дурость у тебя врожденная, — решила Генриетта Глебовна. — Ну ладно. Давай я сама тебя подстригу. Я хотя тоже медик, но без кресла… Надеюсь, не сбежишь?

— От вас разве сбежишь, — вздохнул он.

Генриетта Глебовна усадила Сашку на табурет, укутала ему плечи полотенцем. Достала из комода ножницы — блестящие и большие, как вчера на празднике у костра.

— Зубчиками его, — усмехнулся я.

— Только не коротко, — предупредил Сашка.

Ножницы засверкали, зазвякали. Сашкины космы посыпались на полотенце и на костюм. Они были почти одного цвета с льняной тканью. Сашкина шея постепенно открывалась, показывая резкую разницу между загаром и белой оголившейся кожей. Эта беззащитная белизна тоненькой шеи моего проводника вдруг вызвала у меня щемящее беспокойство: он же совсем

цыпленок! Я сам еле ноги таскаю, а если в пути что-то случится с мальчишкой?

Но я прогнал тревогу. Все равно отказываться было поздно.

После стрижки Сашка покрутился перед зеркалом и с удовольствием заметил:

— Хорошо, что уши прикрытые остались. А то обгорят и кожа слезет… Спасибо, Генриетта Глебовна!

4. Чиба

На рынке и правда оказался неплохой книжный ряд. И все же ничего особо интересного я там не нашел. Повертел в руках сытинское издание «Трех мушкетеров» со множеством иллюстраций и отложил. Во-первых, владелец — бородатый юноша в очках — заломил полторы сотни. Во-вторых, кто-то маленький и грустный внутри меня напомнил: «Зачем тебе? Куда?»

И мы с Сашкой пошли бродить по рынку. Купили пучок петушков на палочках, я презрел условности и смачно сосал их на ходу. А Сашки условности вообще не касались…

Овощей было мало — самое начало лета. Зато от цветов рынок просто ломился: груды теплич-

ных георгинов, гвоздик, пионов, гордые хвосты гладиолусов, шапки незабудок, великолепные охапки сирени возвышались над оцинкованными ведрами. И еще — букеты веток с бледно-лиловыми квадратными колокольчиками. Сашка сказал, что они называются «кабинетики».

Потом пошли мы в ряды, где тетушки торговали расписными кухонными досками, березовыми туесками, скалками, детскими лопатками, глиняными лупоглазыми кошками, вязаными шапками и шкатулками с узором из соломы. Я загляделся на ларец с разноцветными неземными птицами на лаковой крышке. Сашка отошел, затем вернулся и затеребил меня за рукав:

— Игорь Петрович! Можете мне дать четыре рубля? А то я деньги в тех штанах оставил, в кармане. Вернемся, и я отдам…

— А что такое?

— Ну, так… одна вещь.

Я пошел с Сашкой. На дощатом прилавке были разложены тряпичные пестрые куклы: красавицы в пышных юбках, петрушки в колпаках с бубенчиками, бархатные зайчата, гномы с бородами из капроновых мочалок…

— Вот… — Сашка смущенно показал на клоуна в желто-оранжевом шелковом комбинезоне и

алом колпаке. Лицо у клоуна было из мягкой резины, лукавое, с блестящими голубыми глазками. Он ими буквально следил за мной и за Сашкой. «Видимо, голова не самодельная, а фабричная», — мелькнуло у меня.

Сашка смотрел выжидательно и как-то жалобно. «Господи, совсем еще ребенок! А игрушка славная».

— Сашка, да я тебе подарю этого молодца!

— Ой, нет! — испугался он и насупился. — Так нельзя. Потому что он сбежал из дома и теперь будто в плену… А чтобы освободить, я должен сам его выкупить, такое правило…

Я не улыбнулся Сашкиной фантазии. В его возрасте я тоже умел хранить верность друзьям, сшитым из лоскутков.

— Вот тебе четыре рубля.

Сашка обрадованно выкупил пленника и прижал к животу.

— Это Чиба… У, бродяга, будешь знать, как сбегать, не вычислив развертку… — И щелкнул клоуна по резиновому носу.

Дальше мы так и ходили с Чибой. И Сашка, видимо, ничуть не боялся, что кто-то захихикает над большим мальчиком с куклой.

Мы зашли в музей. Сашка о чем-то тихо погово-

рил с седой смотрительницей, и она открыла нам дверь запасника.

— Только осторожнее, пожалуйста. Ничего не трогайте, это — *нездешние* вещи.

И мы пошли по гулкому помещению, разглядывая портреты воевод с удивительно живыми лицами, громадные книги с непонятным и меняющимся на глазах шрифтом, обломок летающей тарелки с негаснущей капелькой сигнального фонарика. Было здесь еще темное зеркало, в котором отражения вели себя странно, отказывались повторить гримасы, а Сашка в первые пять секунд отразился в нем, одетый в прежний урезанно-школьный костюм и при этом не с Чибой, а с рыжим котенком на руках.

В отдельной витрине лежала суковатая кривая палка. Если верить надписи, это была клюка бабки Дар-Овражки, много лет назад морочившей голову местному суеверному населению…

После музея мы пообедали в столовой «Три апельсина», потом заглянули в две книжные лавки, не усмотрели в них ничего достойного внимания и посетили маленький видеосалон. Там шли старые фильмы с Чарли Чаплином, и Сашка хохотал от души. Я тоже. По-моему, и Чиба веселился — всплескивал ручками и улыбался…

Я хотел вернуться на рынок, чтобы купить букет для Генриетты Глебовны. Сашка, однако, напомнил, что после полудня путь к рынку закрыт и вместо него мы, хочешь не хочешь, попадем на обширную городскую свалку.

— Там тоже интересно, только цветов не бывает.

Букет мы купили у старушки на углу Заречной и Луговой. Алые гладиолусы. Генриетта Глебовна была весьма тронута, но отругала нас за то, что обедали в столовой. Пришлось обедать еще раз. После чего я сказал, что сейчас улягусь с книгами на кровать и не тронусь с места до вечера, пускай пространство хоть наизнанку выворачивается. И Сашка попросил:

— Игорь Петрович, можно я тогда пойду поиграть с теми ребятами на пустыре?

— Только не до темноты, — заявила Генриетта Глебовна.

— Ага… Не совсем до темноты.

Он переоделся в жилетку и «зубчатые» штаны, оставил Чибу на подоконнике, показал ему кулак и умчался… И вернулся, как накануне, в сумерках.

Глава 4. СУНДУК
1. Лампочка за окном

Генриетта Глебовна дала нам на ужин молока с магазинными ватрушками.

— Извините, ничего не приготовила. Спешу на ночное дежурство, там, кажется, будет оч-чень интересное дело…

Она ушла.

— Ну что, Сашка, будем укладываться? — Меня тянуло в сон.

— Ага. Только кружки помою.

— Давай уж тогда вместе…

— А чего тут делать вместе-то? Вы идите ложитесь…

В нашей комнате я вытащил из «сидора» японскую пижаму с дурацкими павлинами и цветами, но легонькую, шелковую. Облачился и залез под одеяло. И вмиг уснул.

Но сон не был спокойным. Сразу привиделся полузнакомый вечерний город, названия которого я не помнил, но знал, что где-то в нем есть чудесная букинистическая лавка. И я искал эту лавку, причем пробирался запутанными переулками,

спускался по каменным лестницам в какие-то трущобы, блуждал по укрытым в чертополохе тропинкам, оказывался на освещенных рекламами площадях. Ехал на открытых трясущихся трамвайчиках, ловил такси… Лавка пряталась в улочке за темным готическим собором — я это помнил, — но улочек таких было множество, и каждый раз я попадал то в аптеку с заспиртованными в банках ящерицами, то в бакалейный магазинчик, где пахло ванилью, то в подозрительный притон… Поиски затягивались, а я ведь обещал маме быть у нее не позднее десяти часов. Надо было хотя бы позвонить, что задерживаюсь. Телефонные будки попадались на каждом шагу, но аппараты, конечно, не работали: то диск выломан, то трубки нет… А в одной будке висел вообще не аппарат, а старый деревенский рукомойник и табличка с надписью: «Одно умывание — 10 коп.». Я послушно сунул в щелку гривенник, но воды в рукомойнике не оказалось, из него вылез рыжий таракан и насмешливо зашевелил усами-антеннами…

Наконец я нашел телефон, который откликнулся гудком. Но диск срывался, скрипел, а потом я сообразил, что набираю не тот номер — не мамин, а журнала «Заря». На этом сон рассеялся. Опять я

не дозвонился. Как и в прошлых снах…

Я открыл глаза. Лампа в комнате была выключена, но за окном, на столбе у обрыва, горела белая колючая лампочка под алюминиевым отражателем. Раньше я ее не видел, не включали, наверно. Света в комнате хватало, я разглядел Сашку. Он сидел на раскладушке, обхватив коленки, и смотрел перед собой.

— Не спится?

— Ага…

— Может, задернуть шторку?

— Вам мешает свет? — беспокойно спросил он.

— Нет. Я думал, тебе…

— Я на картину смотрю… Я и раньше на нее смотрел, а сейчас она какая-то… особенная…

Лампочка хорошо высвечивала холст в раме. Оковки на сундучке сверкали как настоящие, волосы у мальчика золотились. И мне даже показалось, что Андрис, ощутив мой взгляд, чуть шевельнулся — словно оглянуться хотел.

Сашка вдруг заговорил:

— Как живой. Волосы будто шевелятся. И руки вздрагивают, устал держать крышку-то… Надо было стул подставить, а потом уж открывать.

Ну прямо мои мысли угадал! Я сказал:

— По-моему, он на тебя похож.

— Да? — как-то ревниво отозвался Сашка.

— Такой же светлый. И обросший, как ты недавно…

Сашка почему-то вздохнул:

— Бывает, что волосы похожи, а лицо — ничуть…

— Ну… если тебе интересно, давай спросим у Генриетты Глебовны, нет ли фотографии. Это ведь ее двоюродный брат изображен.

— Правда? — обрадовался Сашка. — Значит, эта картина — документальная?

— Можно, наверно, и так выразиться… В общем, с натуры.

Сашка подумал.

— Нет, не надо фотографию. Так интереснее… Можно думать, что и правда похож…

«А зачем это тебе?» — чуть не сказал я. Но сдержался. Мало ли какие тайны у мальчишки…

Он спросил:

— Когда же это рисовали-то? Она ведь совсем старая, Генриетта Глебовна. Значит, и брат…

— Кажется, в тринадцатом году, еще до Первой мировой…

— Ёшкин свет! Вот это древность…

Конечно, для него картина была древностью. Впрочем, даже мне в мальчишечьи годы все, что

было до революции, казалось глубокой стариной. И если бы я знал в то время, что картина написана в начале века, тоже смотрел бы на нее, как на музейное полотно. Только я не знал тогда… Я сказал:

— А для меня в детстве этот мальчик был чуть ли не соседом со двора. Одежда такая тогда еще не выглядела старомодной, разве что ботинки с кнопками. Да волосы… В наши годы мальчиков стригли коротко. Но все равно в те времена Андрис казался мне одногодком приятелем…

— А что за имя такое — Андрис?

— Он литовец. Но это я только сегодня узнал. А тогда называл его про себя Владиком…

— А вы, значит, бывали здесь, когда еще маленький были?

— Бывал — не бывал… — Меня будто за язык дернули. А впрочем, с кем еще поговорить об этом? — До сих пор, Сашка, не знаю… Сложная это штука — явления отраженного мира.

— Что-что? — сказал Сашка. Быстро лег, оперся локтем о подушку, уставился на меня.

2. Отраженный мир

Сашкино лицо было в тени, но я видел, что глаза его сильно блестят.

— Что за явления отраженного мира?

— Видишь ли… Сперва мне казалось, что я придумал их сам…

— Когда книжки сочиняли? — понимающе сказал Сашка.

— Ну… и когда «сочинял», как ты выражаешься. И вообще… Это постоянно складывалось. И я считал, что все это — моя выдумка, пока не наткнулся на одну книгу… Пухлая такая, в коричневой обшарпанной коже, с ворсистой бумагой. Конец восемнадцатого века. «Первое рассмотрение свойств трехмерного зеркала. Сочинение господина Альфреда де Ришелье, перевод с французского»… Да, такой вот автор. Может, родственник знаменитого врага мушкетеров… Начал я эту книгу просматривать — и глаза на лоб: неужели еще тогда люди всерьез об этом рассуждали? О том, что мне казалось фантастикой… Но долго читать мне не дали, магазин закрывался.

— А, значит, вы ее не в библиотеке увидели!

— В лавочке со старинными книгами, в Вильнюсе… Стоила книга ни много ни мало две сотни…

— Ёшкин свет!

— Что поделаешь, антиквариат… Денег у меня с собой не было. Я договорился, что приеду на следующее утро. И… вот ведь чертовщина! — не смог потом отыскать этот магазин в запутанных средневековых улочках, там с непривычки легко заплутать… Будто кто-то нарочно уводил меня от этой книги. Знаешь, как здесь говорят: «Бабка Дар-Овражка водит…»

— Может, и правда кто водил? — серьезно сказал Сашка.

— Не знаю… Так и не нашел. А вечером пришло время уезжать.

— Жалко…

— Еще бы… Но вот что самое загадочное. Потом нигде, ни в каких каталогах самых солидных библиотек, я не мог найти даже упоминания об этом сочинении Ришелье. Теперь думаю: может, сама эта книга была частью отраженного мира? Как говорят иногда, *нездешней вещью*.

— Может быть, — охотно согласился Сашка. И как-то очень по-взрослому добавил: — Но я никогда не слышал об отраженном мире. В чем суть?

— Видишь ли… это надо рассматривать как

задачу. А решать ее можно, если только принять за истину одно условие. Оно может показаться странным — что Вселенная имеет кристаллическое строение. Вернее, обладает определенными свойствами кристалла. У него, у кристалла этого, бесконечное множество граней, но каждая грань не плоскость, а трехмерный, объемный мир. Вроде нашего, где мы живем. А может, и больше, чем трехмерный… Конечно, это трудно сразу воспринять…

— Почему трудно? Мы проходили. И теорию кристалла эту, и про многомерность…

— Да? — удивился я. — Где? В школе?

— Не в школе… Сперва в кружке, потом на занятиях в «Пилигриме». Какого проводника пустят на дорогу, если он этого не знает? А я все-таки лоцман… — Последнее прозвучало у него чуточку горделиво.

— Лоцман? Это ведь морское звание!

— Не обязательно… Ну, в общем, проводник по сопредельным пространствам.

— И ты во всем этом разбираешься? В таких теориях…

Сашка вздохнул.

— В этом никто не разбирается до конца. Тут мозги вывихнешь… Но можно просто почувство-

вать. Есть же, например, люди, которые хорошо поют, хотя нот не знают. Это наш инструктор так говорил. Потому что выучить теорию — жизни не хватит…

— Но кое-что ты все-таки понимаешь…

— Ага… Только что такое «отраженный мир»? Этого мы не учили.

— Я попробую объяснить. Так, как это мне самому представляется… Если взять обычный гладкий кристалл, то в его гранях все отражается, как в зеркалах. Грани Великого Кристалла, то есть Вселенной, тоже обладают зеркальными свойствами. Но они ведь не плоскости, а пространства. Поэтому в них гораздо реальнее, чем в простом зеркале, отражаются все события и свойства лежащего по соседству мира. Его внутренняя структура, запахи и даже время. Если учесть, что оно — четвертое измерение мира. Длина, ширина и высота — это три измерения, а время — четвертое…

— Но это же примитив! — не выдержал Сашка. — Ой, простите…

— Ничего… Но почему примитив? Обычное толкование.

— Ну и… неправильное толкование! Время — это лишь одно из качеств четвертого измере-

ния. Не главное. А главное — многовариантность одних и тех же событий… Это любой пацан в подготовительной группе знает. Все, кто четырехмерники…

— Подожди… Ты, конечно, специалист, а я так, просто со своими фантазиями. Вот изложу все, тогда критикуй…

— Ладно, — хмыкнул Сашка.

Следовало бы обидеться и замолчать, но меня, как говорится, заело.

— Ты слушай! В трехмерном, объемном зеркале отражаются *все* свойства соседнего мира, не только его внешность. И время отражается. А время — любое, в том числе и отраженное в чужом пространстве — обладает способностью самостоятельного движения… Это, кстати, я успел прочитать у Ришелье… И вот время — как измерение — начинает работать в отраженном мире само по себе. И толкает этот мир по пути автономного развития. И тогда он перестает зависеть от того, от которого отразился, начинает жить в собственной, только что возникшей реальности… Но он же существует не где-то отдельно, а в том трехмерном пространстве, где до его отражения был уже свой мир. И теперь получается, что они живут, перепутавшись друг с другом… Ох, я заду-

рил тебе голову. И себе заодно…

— *Мне* ничего вы не задурили, — заметил мой собеседник с нахальной ноткой. — Все тут просто в этой системе… Ну, я же и говорил: многовариантность развития. Только непонятно, при каких условиях возникает отражение.

— Мне тоже непонятно. Пока мне казалось, что все такое я лишь выдумал, было действительно просто. Но разве это выдумка: и город Овражки, и Гора, и… — «И ты», — чуть не сказал я, но спохватился. — И эта картина…

— И сундук… — Сашка, по-моему, нарочно перешел на другую тему. Деликатно так… — Картина — это ведь тоже отражение мира… И может, у нее тоже свое развитие, только очень медленное, для глаза незаметное… Может, мальчик все-таки когда-нибудь дотянется…

— Или крышкой ему стукнет по пальцам. И он заревет.

— Он не заревет… — Сашка, видимо, обиделся за Андриса. Потом сказал: — А сундук-то ведь тот самый, что ногу мне чиркнул. Вот… — Он покачал в свете уличной лампочки ногой с черной царапиной.

— Тот самый… — сказал я. Почему-то с беспокойством.

— На комоде стоит.

— Ну… и что с того? Это, видимо, семейная реликвия.

— Ага… Интересно, что в этой реликвии? Ведь не зря же он так тянется! — Сашка кивнул на Андриса.

— Уверяю тебя, ничего. Я нес его со станции, он пуст.

— Он *был* пуст. Пока вы несли… — Сашка сел на скрипучей раскладушке. — Это ведь такой сундучок… В нем все, что угодно, может оказаться!

— Бабушкины вязальные крючки и квитанции за квартплату.

— Не-е… — задумчиво сказал Сашка.

— А если и «не-е»! Какое наше дело?

— Но должны же мы ему помочь! — Сашка опять кивнул на Андриса. Потом вскочил, включил лампу.

— Не выдумывай! — отрезал я. — Мы кто? Жулики?

— Но мы же ничего не возьмем! — возмутился он. — Только поглядим, если он не заперт! — И добавил: — Вы же сами видите — это не простой сундук. Вдруг в нем…

— Что?

— Вдруг… книга. Ришелье…

Я присвистнул. Крутнул у виска большим пальцем с растопыренной ладонью. Но получилось это неубедительно. Потому что предательски шевелился уже червячок любопытства. И знакомое ощущение тревоги и поиска глухо толкнулось в сердце. Я сел. А Сашка уже стоял посреди комнаты — в куцей широкой маечке, в черно-оранжевых трусиках, похожих на клочок тигриной шкуры, костлявый, с торчащими, как рожки, сосульками волос и растянутой в полумесяц улыбкой. Ну воистину маленький бес-искуситель.

— Сашка, нехорошо же это! Без спроса… Даже неприлично.

— Одним глазком…

— Ох, добром это не кончится.

Он еще шире растянул свои губы в трещинках.

— А может, и кончится.

3. Голос

Мы из осторожности не стали зажигать свет в комнате Генриетты Глебовны. Включили лампочку в прихожей, широкий луч упал из двери на комод. На сундук. Узорная жесть заблестела — ну точно как на картине. Сашка подтащил старинный дубовый стул. Ногу об ногу обтер босые

ступни. Встал на сиденье, оглянулся на меня. Я пожал плечами: мол, ты затеял, ты и продолжай. Но сердце перестукивало. Наверно, как у маленького Андриса.

Сашка взял крышку за уголки. Приподнял. Звонкий жестяной щелчок раздался в натянутой тишине. Меня аж тряхнуло. Сашка тоже вздрогнул, но крышку не отпустил. За щелчком последовал другой, еще звонче. И снова, снова. Они складывались в дребезжащую мелодию — это играл музыкальный механизм. Какую-то колыбельную музыку. Кажется, «Рыбки уснули в пруду»…

— Ёшкин свет…

Мы подождали, когда механизм отзвучит, и Сашка медленно отвалил крышку. Глянул в сундук, опять помянул «Ёшкин свет». Я тоже заглянул с высоты роста. Был полумрак, но все-таки свет из прихожей отражался от белого потолка. И я разглядел, что в сундучке (вот уж действительно не знаешь, чего ждать!) — старинный телефонный аппарат. Блестели вилки, на которых лежала трубка, и кольца на микрофоне и наушнике.

Сашка не долго думая поднатужился и выставил телефон под лучи лампочки. Аппарат был, видимо, тяжелый. Мне показалось даже, что кор-

пус у него из малахита. Наверно, тоже достояние старинной семьи Барнаво… Хотя такая ли уж старина? Почему тогда на корпусе вполне современный пластмассовый диск для набора?

— Зачем ты вытащил? — прошептал я. — Договорились же не трогать…

— Послушаем…

— Что послушаем? У него даже провода нет!

Но Сашка снял трубку, приложил к уху, потом придвинул мне. И в телефоне (без подключения, без шнура!) я услышал певучий сигнал.

— Хронофон, — со сдержанным удовольствием сказал Сашка. — Темпоральная связь. Ай да бабка Генриетта… Это знаете что такое? Это…

— Да знаю, знаю… — Я и правда знал. Но я не думал, что *они* бывают на самом деле, когда писал про такое в повести «Дети Кристалла». С ума сойти…

С ума я не сошел, но легкая обморочная невесомость окутала голову. Потому что… Это, значит, можно взять вот так, прямо сейчас, позвонить… Услышать… Раньше это бывало только во снах, и то не во всяких, а в редких, счастливых…

Какой выбрать день?

Конечно, тот, седьмого августа. Я даже число запомнил. Еще бы не запомнить, накануне мами-

ного дня рождения. Преподнес тогда подарочек!..

С утра я увязался за большими ребятами, которые из автомобильных камер сделали «корабль» и решили прокатиться вниз по нашей реке Туре. Путешествие получилось чудесное, но за городом, у деревни Новый Бор, судно наше рассыпалось. И вовремя! А то вообще неизвестно, когда бы вернулись… С отмели мы выбрались на берег. Автобуса, на который мы надеялись (он изредка ходил из Нового Бора до городского рынка), не было и в помине. И побрели мы по тракту, толкая перед собой надутые камеры. Они были тугие, «сытые». А мы голодные, измотанные…

Домой я добрался чуть ли не к полуночи. И готов был полной мерой расплатиться за самовольное путешествие и за то, что пережила мама, считая меня потонувшим… Но расплаты не было. Мама со мной просто *не разговаривала*. Поставила на стол тарелку с пшенной кашей, молоко, хлеб, ушла в другую комнату и легла… До еды ли мне было? Как я подступал к маме с разных боков, как пытался все объяснить, как просил прощения! Она только лежала и всхлипывала…

Я на все был готов. Пусть даже моя юная тетушка Лика взгреет меня своей линейкой. Не буду ни отмахиваться, ни ругать ее. Но Лика укатила

на каникулы, мы с мамой были вдвоем. Вернее, каждый теперь сам по себе…

Сейчас можно позвонить! «Я заигрался с ребятами, далеко от дома, приду поздно, ты не волнуйся!..» Потом, конечно, попадет, но зато не будет у нее такой тоски, такого страха…

Нервно и решительно я крутнул диск: 08.

Откликнулись тут же — девичий голос: «Пятая слушает».

— Это темпоральная?.. Девушка, можно город Новотуринск?.. Да… Даю: девятнадцать — сорок девять, август, седьмое… Да-да, ноль восемь — ноль семь. Телефон шесть полсотни три… На двадцать ноль-ноль местного… Нет, что вы, какая автоматика! Сорок девятый год… Да, кто подойдет…

Я знал, кто *подойдет* к пыльному настенному аппарату в коммунальном коридоре. Наша дверь к телефону ближе всех… Гудки зазвучали отчетливо, близко, будто не было между нами толщи лет. И голос — громкий, такой, что слышно почти как по радио:

— Это кто?.. Решка, это ты?

Господи, неужели правда?

— Решка, не молчи! Где ты носишься? Вечер уже!

Я онемел. Понял вдруг: если скажу хриплым своим инвалидным голосом, «Это я», тогда что?

— Решка…

Вот мука-то!

Я встретился взглядом с Сашкой. Он смотрел испуганно и даже со страданием. Наверно, и я на него так же… Он вдруг взял у меня трубку. И звонко так:

— Мама!.. Мы тут с ребятами забегались, я забыл, что уже поздно… Ну, ма-а, ты не волнуйся только! Да нет, скоро я не могу, потому что далеко!.. Ну, я постараюсь, ты, главное, не бойся!.. Ага! Все, пока!.. — И брякнул трубку на рычаг.

С полминуты молча мы смотрели друг на друга. Потом горло у меня словно оттаяло.

— Сашка… Ты как догадался? — И неловко мне было, и благодарен я был, и даже в глазах щипало…

— А чего… — Он отвел взгляд, переступил на стуле. — Это у всех одинаково…

— Спасибо… Ты, брат, настоящий проводник, с тобой не пропадешь…

— Да ладно… — бормотнул он. Взъерошил пятерней загривок. Подумал… — А что, если Андрису позвонить?

— Кому?.. — Я все еще был в плену события.

Неужели это правда? Я слышал *ее* голос?..

— Андрису, — с нажимом повторил Сашка. — Ну, мальчику с картины… Вы знаете, где он жил?

Я встряхнулся.

— В Шяуляе, в Литве. Едва ли у них был телефон. Тринадцатый год. Да и номер мы все равно не знаем…

— Жалко… Вот бы спросить: заглянул он все-таки в сундук или нет? И что там было *тогда*…

— Но, Сашка… Это же просто картина. Художник придумал сюжет, поставил мальчика, стал писать…

— А вдруг не так? Может, сперва было по правде… А телефон узнаем в справочном… Дайте трубку, пожалуйста…

Я дал. И хотел сказать, что мальчиков Андрисов в Шяуляе во все времена было, наверно, полно — попробуй найти… Но в этот миг что-то большое заслонило свет.

4. На месте преступления

Сашка тихонько пискнул и рывком положил трубку. И кубарем — со стула. Я же в момент забыл телефонный разговор и связанные с ним переживания. Перепугался, как десятилетний

Решка, зацепившийся штанами за палисадник в чужом огороде. Сашка притиснулся ко мне.

Генриетта Глебовна щелкнула выключателем. Затем неторопливо и молча, со сдержанным негодованием на челе она подошла, поставила телефон в сундук и торжественно опустила крышку. Жестяной механизм сыграл «Рыбки уснули в пруду»…

В общем, попались рыбки… Я чувствовал себя вдвойне дурацки из-за своей японской пижамы — этакий старый дурень, пойманный на ребячьей проказе. Полураздетому Сашке тоже, видать, было неуютно под ярким светом и неласковым взглядом.

Поразглядывав нас, Генриетта Глебовна вопросила:

— Интересно, как вы догадались об аппарате? И что вас к нему привело?

— Интуиция, — сокрушенно признался я. Не стал уточнять, что Сашкина интуиция, а не моя. — И, увы, неистребимое детское любопытство…

— Вот именно детское, — сухо подытожила Генриетта Глебовна. — Срам, сударь мои… Конечно, Игорь Петрович, я могу объяснить ваши действия оригинальностью творческой натуры. Но все-таки… вы же взрослый человек!.. Это *нездешняя*

вещь. Надо понимать, что с такими предметами не шутят.

— Уже понял, — сказал я покаянно.

— Мы и не шутили, — буркнул Сашка. — Игорь Петрович всерьез разговаривал.

Кажется, хозяйка чуть-чуть смягчилась:

— Ну и… получилось у вас?

— По-моему, да, — вздохнул я.

— Вам повезло… И все-таки, Игорь Петрович, какой пример для мальчика…

А мальчик бесшумно исчез. Я даже разозлился: что за дезертирство! Но Сашка тут же возник опять. Уже в завязанной узлом на пузе рубашке и зубчатых штанах. В этом наряде он обрел некоторую уверенность и заявил довольно дерзко:

— А чего! Вы же сами говорите: нездешняя вещь. Вот я и решил, что это будет в русле программы…

— Ах, «в русле»!.. Ты считаешь, будто программа «Пилигрима» дает право совать нос везде, куда захочется?

— Не везде… — набычился Сашка. — А будто вы не имеете отношения к «Пилигриму»…

— Ни ма-лей-шего! Не хватало мне в моем возрасте связываться со всякими сомнительными предприятиями!

Я сказал примирительно:

— Ладно, Сашка, давай просить прощения и обещать, что больше не будем.

— Никаких прощений, — пророкотала Генриетта Глебовна. — Считайте, что вы оба отшлепаны и поставлены в угол. Одного поля ягоды…

— Ну, что же… Пойдем переживать заслуженную кару…

— Не заслуженную, — упрямо сказал Сашка хозяйке. — Сами же вы своей картиной… как это… спровоцировали, вот!

— Что-что? — изумилась Генриетта Глебовна.

— Конечно! Там на ней мальчишка лезет в сундук, а тут этот сундук вот он, наяву. Кто удержится?

Генриетта Глебовна закусила улыбку.

— Ну, сударь мой! Так можно что угодно привязать одно к другому…

— Это не просто одно к другому. Это стереоскоп, — непонятно огрызнулся Сашка.

— Ладно, господа, ступайте спать. И благодарите судьбу, что сегодня я добрая… Только что помогла появиться на свет здоровому толстому мальчишке. Надеюсь, он в жизни будет более благоразумен и осмотрителен, чем вы…

— Поздравляю, — сказал я.

— Приятного сна… Впрочем, если желаете, я согрею чай.

— С вареньем? — спросил этот нахал.

— Нет, спасибо, — решил я. — Спокойной ночи. — И глазами показал Сашке: выметайся.

Когда мы оказались у себя, Сашка скинул штаны и рубаху и заметил хладнокровно:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

— Просто чудо как хорошо… Стыд такой.

— А зато… — Он не договорил и полез под простыню.

Да, «зато»!.. Я помнил теперь, что в тот вечер мама сердилась недолго. Сперва, конечно, отругала: «Усвистал куда-то на весь день, а потом звонит будто с того света! Вот напишу отцу…» Но скоро мы помирились и вместе хохотали, слушая, как выступают по радио артисты Тарапунька и Штепсель…

Свет с улицы по-прежнему падал на картину. У Андриса на ноге со съехавшим чулком сидел залетевший в форточку комар. Большой, черный. Мне показалось, что Андрис шевельнулся, беспокойно двинул ногой. Я удерживался от смешного желания встать и прогнать подлое насекомое. А Сашка не удержался! Вскочил, шуганул комара и снова бухнулся на застонавшую раскладушку.

— Игорь Петрович, а вот он, Андрис, кем сделался, когда вырос?

— Летчиком… Хорошим летчиком, храбрым. Собирался даже лететь через Атлантику. Тогда это было сложнее, чем сейчас в космос…

— И полетел?

Не хотелось мне на сон грядущий огорчать Сашку.

— Да, — сказал я. — По-моему, да…

Глава 5. ПОДГОРЬЕ
1. Равнина

Волокнистое небо Подгорной равнины излучало серовато-медный свет. Не поймешь — дневной или вечерний. Такой рассеянный, что предметы не отбрасывали теней.

Мы легли на траву. Она была ползучая и упругая, вроде пастушьей сумки. Из нее там и тут росли стебли со стреловидными листьями и желтыми колокольчиками. Колокольчики выглядели симпатично и пахли зубной пастой «Доброе утро». Но стебли были твердо-хрупкие, какие-то неживые, а на листьях — колючие усики. Сашка то и дело почесывался и поминал Ёшкин свет. Но вставать и менять место не хотелось.

Мы давно миновали речку, прошли с десяток верст без дороги по каменистому полю, на котором изредка темнели шапки коричневых кустов и торчали похожие на чудовищ скалы. А потом попали на это травянистое место и решили отдохнуть. Сжевали по бутерброду, хлебнули из фляжки холодного чая и теперь лежали просто так. Сашка положил руки под затылок, ноги со-

гнул и смотрел в «потолок». Его колени торчали над колокольчиками. В здешнем, полном желтых тонов воздухе они казались золотисто-смуглыми. Я взглянул на свои руки. Они тоже были светло-коричневыми. Какой обманчивый свет! Словно сразу тебя покрыл крымский загар…

Я глянул вверх. Длинные волокна облаков тихо передвигались, хотя внизу не ощущалось ни малейшего ветерка. Облачные ткани были просвечены бледно-лимонными лучами.

— Что же это все-таки за излучение? — сказал я.

— Толком никто не знает… Может, это отраженный свет солнца, — отозвался Сашка.

— Какого солнца? Оно же… за толщей!

— Многие считают, что за толщей… А некоторые говорят, что там, наверху, все-таки небо. Особенно ребята… Бывает, что они делают воздушные шары из папиросной бумаги, надувают горячим воздухом и на нитке отпускают за облака. И вот нитка тянется, тянется иногда целый километр… А у Горы-то какая высота, если снаружи смотреть? Ну, метров триста самое большее. Куда же шар уходит?

— И куда же он, по-твоему, уходит?

— По-моему, там все-таки небо.

— А как же… каменный свод?

— Он тоже есть… И небо есть. Просто они в разных измерениях… Все это выяснить было бы очень легко. Надо только, чтобы кто-нибудь поднялся на большом шаре за облака.

— Неужели никто никогда не пытался?

— Большой шар незаметно ведь не сделаешь. А если заметят — не пустят. Подгорный горсовет запрещает полеты.

— Почему?

— Ну, говорят, что опасно. А на самом деле боятся, наверно, открытого неба. Под колпаком-то спокойнее…

— Но как-то неуютно всю жизнь без солнца, а? Я бы не смог… А ты?

— А нам и не надо всю жизнь! Завтра мы пойдем в места, где небо открытое. В такие города…

Он сказал «города» с каким-то особым значением. Словно с намеком на мои давние сны.

— Сашка… А как мы отсюда в них попадем? Ведь вокруг Подгорья стена, камень…

Он удивился:

— Вот вопрос! А как попали сюда?

2. Четвертое измерение

Действительно, как попали?

Когда подошли к речке, я увидел ту же ребристую гранитную стену и озабоченно оглянулся на проводника. Сашка был спокоен и деловит. Он не стал пижонить, как Костя, разулся, оседлал бревно и так переправился на тот берег. Пригнал плотик (который опять был на другой стороне). И я совершил плавание через подземную речку второй раз.

— А дальше? — неуверенно сказал я.

— Сейчас…

Сашка неторопливо зашнуровал кроссовки, одернул свою льняную одежонку, выпрямился, заложил руки за спину. Задрал голову… Так они с минуту стояли друг против друга — уходящий в облака гранитный массив и мой проводник Сашка Крюк — этакое растрепанное (несмотря на свою недавнюю стрижку) создание в распахнутой рубашке и сбившейся на пузе майке. Скала всей своей мощью презирала Сашку, а он покачивался на тонких и гибких, как резиновые трубки, ногах, сжимал и разжимал за спиной пальцы. И кажется, шептал что-то…

Потом он сказал негромко и быстро:

— Встаньте у меня за спиной, пожалуйста.

Я встал.

— Если закружится голова, не бойтесь, это недолго… А лучше закройте глаза на минуточку.

Но я не закрыл. Из любопытства и вообще… Что я, боязливая девица, что ли?

Сашка сложил перед лицом ладони, волнисто пошевелил ими. Затем правой ладонью описал широкую, на полный взмах, окружность и резко бросил руки вниз. Но они не повисли прямо — локти растопырились, а кисти заболтались (и опять вспомнилась кукла на ниточках). Не оборачиваясь, он протянул над плечом правую руку мне. Я взял… и увидел, что можно идти.

Собственно говоря, ничего не случилось. Так же стоял поднебесный скальный массив. Но была еще и равнина, по которой шагай да шагай. Я не могу объяснить, как это поле и эта каменная стена не мешали друг другу, как сочетались в пространстве. Но тогда это показалось вполне естественным.

— Идем? — сказал Сашка. И, держа мою руку над своим плечом, повел меня. Так мы прошли с полсотни шагов, а потом зашагали рядом…

Тогда я ничего не спросил Сашку о его колдов-

стве. Собственно говоря, колдовства в тот момент я и не почуял. Но сейчас, на привале, как бы очнулся:

— А правда, Сашка! Как мы прошли сюда? Ведь это же глухая, замкнутая емкость! Верно?

— Ага… — сказал Сашка с ноткой удовольствия. — Все дело в том, что четвертое измерение.

— Что из того, что четвертое? Ну особые свойства времени в нем, ну разные варианты одного события… При всем при этом в закупоренную банку все равно не влезешь.

— Как раз влезешь! — Сашка быстро сел. — Вот смотрите!

Шелестя по листьям, я придвинулся к Сашке. Он сорвал колокольчик, выдавил из него шарик белого красящего сока, нарисовал на ладошке окружность. А цветок положил в центре.

— Ну, вот. Допустим, вы букашка…

— Благодарю.

— Ой… я не так хотел сказать. Ну, все равно… Букашке надо пробраться к цветку. А этот круг — непроходимая граница. Понимаете!

— Представь себе, да. Я с детства был понятливый…

— Ой… вы не обращайте внимания, что я так говорю. Я это, чтобы лучше объяснить… Как бу-

кашке пробраться в круг, если она в двухмерной плоскости, где только длина и ширина?

— Никак, — важно согласился я.

— А если букашка использует третье измерение, высоту, она — раз! — и перелетела через границу…

— Понятно! А если вместо окружности мы имеем замкнутую емкость и букашка должна отыскать цветок именно в ней, она должна использовать четвертое измерение! Так? — Я вспомнил, что в какой-то брошюре читал такое рассуждение.

— Ага! — весело сказал Сашка. — Только…

— Вот именно! Большое «только». Как это делается не в рассуждениях, а на практике?

— Делается… — Сашка слегка потускнел. — Я не знаю, как… Нас учили графики всякие выстраивать. Совмещение генерального меридиана с линией этих… сопредельных граней… Но я не помню… — Он бросил смятый колокольчик. — Главное, это надо чувствовать. Чтобы поймать нужный миг.

— Но со спичками ты все же считал что-то, — вспомнил я.

— Не-е… Я просто смотрел, как они лягут.

— Это вроде гадания, что ли? — не выдержал,

подцепил я.

Но Сашка не обиделся. Обрадовался даже:

— Правильно! Мама тоже смеется: «Ничего не учишь, только ворожишь, как бабка…»

— Бабка Ёшка…

— Точно! — Сашка весело повалился затылком в траву, взбрыкнул кроссовками. Плюнул на испачканную соком ладонь, вытер ее о ногу, перевернулся на живот, подпер пальцами щеки. И глянул выжидательно: не спрошу ли я еще что-нибудь?

Я сказал:

— Фантастика… Если наука подошла к этому вплотную… если практической многомерности учат даже в каких-то кружках, почему об этом не шумят, не пишут? Ведь, по сути дела, новая эпоха человечества может начаться…

— Не-е… Наука еще не совсем подошла… А когда подойдет, шума все равно не будет. Как с инопланетянами…

— С кем?

— Ну, с пришельцами. Раньше думали: вот прилетят первый раз — общий праздник будет, митинги, встречи, по телику передачи на весь мир… А уже сколько раз прилетали, и контакты были всякие, ну и что? Одно сообщение про кон-

такт, а десять, что все это неправда. Чтобы шуму меньше было. У нас ведь боятся всяких необыкновенностей. Особенно начальство…

— Пожалуй, ты прав. Боятся, как Подгорский горсовет открытого неба.

— Ага! Хотя открытое небо — это как раз самое обыкновенное… И многомерность — тоже обыкновенное дело. Просто еще время не пришло.

— Время, когда для всех откроется многомерный мир?

— Да… — задумчиво сказал Сашка. — Оно ведь все равно придет. Вот смотрите, сперва Земля была плоская…

— Это люди думали, что плоская…

— Ну да! Потом открылось, что шар, и скоро к этому привыкли, сейчас запросто вокруг света ездят туристами… После в космос полетели, в бесконечный, он тоже открылся. И опять все привыкли… Мир, он же расширяется, только не сразу, а время от времени…

— И настала очередь многомерности?

— Да! И совмещенных пространств… Только очередь, наверно, еще не совсем настала. Пока только первые лазейки… Но раз они есть, проводники-то нужны, правда ведь?.. — Сашка вдруг смущенно надулся.

— Еще бы! — сказал я. — Конечно нужны. — И подумал: «Куда бы я без тебя делся?»

И вздрогнул. Потому что послышалось: «М-мяу!»

Из Сашкиной сумки, которая стояла у него под боком, вылез полосато-серый котенок.

3. Воспоминания на привале

— Что за явление? — изумился я.

Но мой проводник спокойно сгреб котенка, посадил себе на грудь, погладил. Тот заурчал.

— Чиба это… Что, надоело в темноте, бродяга?

Вот, значит, как! Ладно… Коли уж решил, что находишься в отраженном мире, нет смысла удивляться мелким фокусам. Я вспомнил станцию Начальную и подозрительно спросил:

— А это создание не умеет ли превращаться еще и в серую птичку с хохолком?

— Он в кого хотите умеет превращаться.

— Мрр-да, — отчетливо произнес котенок.

— Смотри-ка ты!.. Откуда у тебя такое чудо?

— В прошлом году нашел за помойкой. Он был вороненком с перебитой лапой. Мы с мамой его лечили. Он выздоровел и заговорил. Сперва помаленьку, а потом такой болтун сделался!..

Стал рассказывать, что он инопланетянин. Врет, наверно…

— Сам вррешь! — Котенок подскочил, как мячик, превратился в вороненка, сел Сашке на колено и сказал капризно: — Никогда не веришь. Кр-рокодил!

— Брысь! — велел Сашка.

Чиба взлетел и метрах в пяти над нами закувыркался темным комком. Кричал что-то картаво и неразборчиво — видимо, ругался. Сашка поднял руку, растопырил два пальца и прицелился в него, как из рогатки.

— Р-разбой! — завопил Чиба. Опять упал на Сашкино колено, сделался игрушечным клоуном и, будто с горки, съехал к Сашке на живот. Лег ничком, сказал кукольным голоском:

— Я м-маленький. Пожалей Чибу…

Сашка прикрыл его ладонью.

— Подлиза…

— У меня в детстве тоже был тряпичный клоун, — сказал я. — Конечно, без таких способностей, но я его очень любил… И звали его похоже: Буба.

Сашка почему-то очень удивился. Даже сел.

— В самом деле?!

— Да. А что такого?.. Он еще долго потом у нас жил. Даже мои дети им иногда играли. Правда, не

часто… А потом он куда-то девался. Жалко так…

— Ушел, наверно, раз ненужный сделался, — вздохнул Сашка.

— Может быть…

— А у вас… дети большие?

— Конечно. Семейные уже. Дочь и сын…

…Денис родился через три года после Ларисы. И Тереза сказала: «Хватит. Двое — это в наши дни норма». Она вообще была решительной супругой, всем распоряжалась сама: как воспитывать детей, куда нам ехать на отдых, где покупать дачу, какого цвета заказывать мне костюм. Единственное, что оставалось полностью моим, это издательские дела и рукописи. Даже то, что нам пора кончать совместную жизнь, Тереза решила единолично и, как все остальное, мудро и вовремя:

— Дети выросли. А я жила с тобой только ради них!

— Ну уж… — сказал я.

— Да! И я имею право хотя бы остаток лет просуществовать по-человечески.

— Что ж, мы живем в демократическом обществе.

Мое спокойствие (во многом, правда, внешнее) раздосадовало Терезу.

— По крайней мере, ты научишься стирать белье! И включать газовую плиту!

— У нас прачечная рядом. А плиту включать я умею. Мало того, даже не забываю выключать.

— Это единственное, что ты умеешь в жизни!.. Ты жил так, будто после пятнадцати лет твое нормальное, событийное существование кончилось и ты утонул в своем бумажном море!

— Возможно, так оно и есть…

— Не «возможно», а факт! Ты существуешь… по инерции! Вне времени! Это надо же: отказаться от бесплатной поездки в Штаты из-за того, что, видите ли, необходимо закончить книжку! Какой нормальный человек в состоянии пойти на это?

— Нормальный не в состоянии, — скорбно согласился я.

— Я знаю, что ты скажешь! Что тебе не нужны никакие заграницы, потому что тебя вполне устраивают твои воображаемые миры и герои! Они для тебя главная реальность!

Я ничего подобного никогда не говорил. Но кое-какие струнки Тереза нащупала правильно. И немудрено! Больше двух десятков лет прожили вместе. Точнее — рядом.

— Идеалист и мистик, вот ты кто! И в жизни, и в книжках!

— Да книжки-то мои ты почти не читала, дорогая…

— У меня не было времени. Я тащила на себе дом!.. Я была в доме и хозяйкой, и хозяином!

— А я только кассовым автоматом…

— Не надо! Не надо попрекать!.. Умение сочинять романы (пускай даже такие, которые кому-то нравятся) — это еще не значит быть настоящим мужчиной!

— Безусловно, это разные качества. Одно из них крепнет с возрастом и опытом, а другое, увы… Здесь-то и собака зарыта…

— Не говори пошлости! — И она пустила слезу.

— Не буду. Но открой все-таки секрет: кто *он*?

— Не выдумывай!.. Просто у меня нет сил. А ты… ты когда-нибудь поймешь, что все твои книжки не стоят и дня настоящей жизни… которую ты так легкомысленно прозевал!

— Тут ты, пожалуй, права, — сказал я с боязливым холодком внутри. — Но, честное слово, это не зависело от меня.

— Ну да! «Он знал одной лишь думы власть»!.. Это воспитание твоей мамы! Она мне внушала, что надо все помыслы подчинять единой цели!

— Мама учила тебя детей пеленать! И суп варить!.. И вообще оставь ее… А то убедишься, что я

растерял не все способности мужчины. В частности, умение дать крепкого пинка.

Впрочем, расстались мы вполне мирно. Даже по-дружески. Полюбовно разменяли квартиру, тихо оформили документы.

— Я буду навещать тебя, — всхлипнула Тереза. — А то ведь ты засохнешь один без привычки-то…

— Очень мило с твоей стороны…

Ребята отнеслись ко всему этому достаточно спокойно. Лариса — та вообще только плечами пожала, она жила уже с мужем. Денис малость попереживал, но у него тоже хватало своих забот: учился он в Свердловске, готовил курсовой проект и к тому же первый раз влюбился по уши…

А *он* оказался подполковником, преподавателем в местном артиллерийском училище. Моим одногодком, но не в пример мне бравым, подтянутым. Кстати, давним знакомым Терезы, бывшим ее одноклассником. Он был хороший мужик, мы с ним даже славно выпили однажды на дне рождения Ларисы…

… — Что? — встряхнулся я. Сашка о чем-то спросил.

— Да так… подумалось, — неловко повторил он. — Наверно, интересно, когда отец — писатель.

— М-м… не знаю. Ребята, по-моему, на это не смотрели как на что-то особенное… Лариса, кажется, иногда обсуждала с подругами мои книги. А Денис… он всегда был технарь-одиночка. По всей квартире — рассыпанные «конструкторы»…

— А кем он сделался теперь?

— Инженер. Специалист по вибромашинам.

— А что это за машины?

— Разгрузочные… Есть в нашем климате такая проблема — смерзшиеся грузы. Скажем, уголь или щебенка. Пришел вагон, и в нем сплошная спекшаяся от мороза глыба. Что делать? И вот ставят на вагон машину, которая создает своим механизмом вибрацию. И груз от этой мелкой тряски разрыхляется.

— А вагон? — Сашка проявил неожиданный интерес.

— А в этом-то и сложность. Надо рассчитать так, чтобы груз рассыпался, а вагон не пострадал.

— А если… ну, скажем, корабль или самолет… Если они обледенеют! Можно такой вибрацией корку сбить?

— Трудно сказать… В море или в воздух такую машину ведь не доставишь.

— Да… А я вот что придумал! Если сам корпус заставить трястись? Рассчитать, чтобы дрожал,

но не разрушался…

— Идея, наверно, интересная. Только как это сделать? Впрочем, я не разбираюсь. Вот с Денисом бы тебе…

Сашка затолкал Чибу в сумку и встал.

— Пора, наверно, идти…

Я прислушался к себе: нет ли подлого гудения в голове, нет ли боли в спине и ноге? Нет. Удивительно: третий день без таблеток и уколов… Сашка — человек, приносящий удачу.

— Пойдем, проводник… — Я тоже поднялся, подхватил портфель.

Сашка вдруг спросил:

— Вы слышали про катамаран «Даблстар»?

— Нет. Что это такое?

— Это… вроде космического корабля.

— Американский?

— Нет, наш.

— Не слыхал. Странное название, «Двойная звезда»…

— Потому что у него два корпуса… ты куда?! — Это опять вылез Чиба. И серым зайчонком поскакал впереди нас. Иногда он оборачивался, и голова у него становилась клоунской: с резиновым подвижным личиком. Он блестел глазками и высовывал маленький красный язык.

— Он говорит, что не помнит, с какой планеты, — сказал Сашка. — А еще говорит, что ему триста лет и что он был шутом у короля марсианского народа иттов. Такой выдумщик…

4. Грибной дождь

Городок, в который мы пришли, казался игрушечным. Уютный такой, с традиционной площадью и ратушей, облицованной пятнистым мрамором. На ратуше, естественно, башня с часами и флюгером.

Кроме ратуши, каменных домов было немного. А в основном — двухэтажные и трехэтажные строения, обшитые темными досками. Этакий деревянный модерн, которым увлекались в небольших городах в начале двадцатого века. Широкие, часто округлые окна, крутые крыши, мезонины, башенки. Кованые узоры крылечек и балконов.

Было оживленно. Спешили тетушки с кошелками (видимо, с рынка), катались на велосипедах ребята. Распирая пузатым телом тесную улочку, проехал троллейбус.

— Городок в табакерке, — сказал я.

— Ага…

Воздух здешних улиц казался коричневатым, и, наверно, поэтому на домах лежал особый налет, как тонкий слой скрипичного лака. Словно мы и впрямь оказались внутри громадной деревянной табакерки. Или внутри музыкального инструмента из разных сортов звонкой ели и клена. Эхо от велосипедных звонков, голосов, дальней радиомузыки и ребячьей переклички звучало, как в пустоте гигантской виолончели…

На невысокой наклонной крыше четверо мальчишек пуляли в высоту из самодельных луков. Оперенные стрелы с шелестом уходили вверх и пропадали в низких просвеченных облаках. Сашка заинтересованно задрал голову.

— А вот ка-ак полетит стрела вниз, — сказал я, — да ка-ак врежет кому-нибудь по макушке…

— У них наконечники мягкие, с липучками… А если хорошо запустить, то и не вернется…

— Прилипнет к каменному своду?

— Одни говорят, что прилипнет. Другие — что улетит… в другое пространство.

— Последняя осталась, — звонко сказал на крыше мальчик. — Чья очередь?

— Пусть Женька запустит, он меньше всех стрелял…

Ребята дали стрелу самому маленькому.

— Только натягивай сильнее…

Стрела умчалась. Ребята и мы с минуту смотрели вверх.

— Ура! — наконец закричали мальчишки. — Тама! Молодец Женька! — И заприплясывали на краю крыши. Они были веселые, ловкие, смуглые, как мулаты.

— В этом свете все загорелыми кажутся, — сказал я.

— Почему кажутся? Тут такое излучение, ультрафиолет. За час кожа темнеет. Смотрите!

Сашка сдвинул на руке свои часики. Под ними открылся бледный след. Надо же! Я приподнял обшлаг пиджака. В самом деле — кисть руки гораздо темнее запястья.

— Вы домой вернетесь, как из Крыма, — сказал Сашка.

Я промолчал. Не хотел я домой…

Мы прошли улицу, где развлекались маленькие лучники, и вот тут-то вышли на площадь. Переливчато играли часы.

— Что? Уже семь? А у меня…

— Здесь несовпадение по времени. И никогда толком не угадаешь. Бывает, что *там* утро, а здесь уже вечер.

— Так и правда вечер… Надо, наверно, об ужине

и ночлеге думать. А, лоцман?

— Естественно, — деловито сказал Сашка. И повел меня на другой край площади. — А вот смотрите, Каменные Ворота. Это место так называется — площадь Каменных Ворот.

При выходе на одну из улиц стояли две серые башни. Высоченные, будто колокольни. А точнее — не башни, а две сужающиеся кверху скалы, похожие на чудовищных размеров сталактиты (или сталагмиты?). В двух местах — наверху и посередине — башни были соединены каменными перемычками.

— Впечатляет, — сказал я. — Дело рук человеческих или памятник природы?

— Всякие легенды рассказывают… Будто бы много лет назад они появились неизвестно откуда. Тогда все и закрылось — долина и город…

— А может, тут в основе какой-то исторический факт?

— Может быть… — сказал Сашка со странной неохотой. И сразу опять оживился: — А улица за Воротами знаете как называется? Улица Грибного Дождя!

— Разве здесь бывают дожди?

— Раз в десять лет… Снег чаще бывает, каждый Новый год. Конденсаторы сгущают туман в

снежинки. А дождик делать труднее… Тем более грибной! Он ведь должен быть с солнцем!

После этих слов Сашка задумался на ходу. Мы уже прошли между башнями и шагали по улице Грибного Дождя. Чиба превратился в лохматого, размером с рукавицу щенка и заливисто лаял на кошек. Сашка вдруг начал скрести в затылке и глянул на меня — с хитроватым огоньком в зрачках. Потом остановился, начал смотреть вверх, а руки заложил за спину (как утром, перед скалой). Что-то зашептал. Мы стояли у штабеля коротких и широченных, больше метра в диаметре, труб из бетона. Они были похожи на серые бочки без крышки и дна. Видимо, здесь собирались рыть колодец или строить коллектор… Чиба-вороненок взлетел на верхнюю трубу и строго сказал оттуда:

— Алексан-д-р, пр-рекрати…

Сашка вдруг быстро стряхнул кроссовки, сдернул носки, сунул все это в сумку.

— Прячьтесь в трубу!

— Зачем?

— Сейчас начнется!.. Да скорее же!

Я малость струхнул. Поясницей нащупал край одной трубы, вдвинулся в бетонный цилиндр спиной (черт, брюки порву). Сашка прыгнул сбо-

ку, съехал на меня, нас притиснуло друг к другу. Я подвинулся.

— Что это все значит, уважаемый проводник?

— Лезьте подальше, с ногами…

С высоты ударили отвесные звонкие струи. Я взвыл, въехал поглубже. Влетел мокрый вороненок, сел Сашке на голову.

— Это твои пр-роделки!

— Это твои проделки, Сашка? — строго сказал я.

Он заливисто захохотал. Высунул из трубы ноги, болтал ими под дождем. А дождь гудел, как в пустой цистерне. И вдруг мне показалось, что пробился сверху, заискрился в струях белый, нездешний луч солнца. Сашка крикнул, не оборачиваясь:

— Во лупит, Ёшкин свет! Игорь Петрович, знаете что? Те мальчишки с луком подумают, что это они дождик стрелами вызвали!

— Пусть думают!

— Ага!.. А завтра будет праздник! Здесь всегда праздник после дождя! Потому что деревья делаются гуще и цветет все!

…Ливень кончился через десять минут. Чиба сердито забрался в сумку, а мы с Сашкой пошли по умытому и просветлевшему городку. Прохо-

жие перекликались и поздравляли друг друга.

В конце улицы Грибного Дождя стояла двухэтажная, с хитрыми пристройками гостиница. Видимо, частная, похожая на те, что были в старину. Над дверью торчало железное копье, на нем качалась позолоченная вывеска: «Дорожный уют». На первом этаже был зал с обширными столами и баром. За стойкой командовала двумя расторопными парнями дама в белой наколке и синем платье. У нее было острое, как нос клипера, лицо. Близко от переносицы сидели прицельные, словно два револьверных зрачка, глазки. Она мне показалась похожей на классную надзирательницу из старой гимназии.

— Хозяйка, — шепнул Сашка. — Спросите про комнату…

Я подошел и осведомился, могут ли здесь получить приют утомленные и едва спасшиеся от непогоды путники.

— А этот… босой ребенок тоже с вами?

Босой ребенок светски наклонил голову.

— Да, сударыня, я племянник. — И толкнул меня локтем.

— Есть комната наверху, — сообщила хозяйка с оттенком благосклонности. — Вам повезло. Завтра не будет отбоя от постояльцев. Ожидается

карнавал в честь сегодняшнего дождя… Надо же, такое неожиданное чудо!

Знала бы она…

5. Венецианское окно

Наверху, в комнате, Сашка спросил:

— Игорь Петрович, вы не обиделись, что я вам в племянники записался?.. А то эта тетка вредная на вид. Пристала бы: «Почему с посторонними, кто такой…» А я не хочу зря болтать, что проводник. Скажешь, и все сразу глаза пялят.

— Ясно… Ты, племянничек, помыл бы все-таки задние лапы, — сказал я. Потому что Сашка с забрызганными в лужах ногами бухнулся на гулкую пружинную кровать, украшенную медными шариками на спинках. Прямо на светлое покрывало.

— Гудят у меня лапы-то, — признался Сашка. — А у вас?

— А у меня… Я весь гудю… то есть гужу.

Но, в отличие от Сашки, я не свалился, а стал осматривать жилье. Кроме комнаты со старомодной мебелью, была еще крохотная прихожая. В ней дверь, за которой душ, раковина, квадратная «сидячая» ванна и все, что полагается.

— Уютно, хотя и скромненько, — решил я.

— Зато окно во какое! — отозвался Сашка. Он уже не валялся, а возился с оконным шпингалетом.

Окно было роскошное. Овальное («венецианское»!), чуть не на всю стену. В узор из гнутых переплетов был включен застекленный квадрат с шарнирами, который Сашка расшатал и открыл наружу. Запахло мокрой сиренью, сырым песком…

— Эй, ты куда! — обмер я.

Сашка юркнул в открытую часть окна, но не пропал. Радостно сообщил:

— Здесь крыша! Как балкон!

Под окном блестела железная чуть наклонная кровля пристройки. Она еще не высохла. Сашка с удовольствием потопал босыми ногами по волнистой жести, подошел к самому краю. Качнулся, махнув ломкими, как лучинки, руками. И ухнул вниз.

Я сдавленно завопил и полез в окно. В этот момент из-за крыши выдвинулись два бруса. А через три секунды между ними возник и Сашка — встрепанный и веселый.

— Во! Лестницу нашел! Там такой сад глухой…

— Ты с ума сошел? Сигаешь очертя голову!

— Да тут не высоко! И песочная куча. — Он ладонями сбил с коленок прилипший песок. — Теперь у нас отдельный вход-выход, как в собственном доме.

— Зачем он нам? Я не собираюсь пускаться в авантюры.

— Как знать, — философски отозвался проводник.

В комнате он по-хозяйски оглядел углы. Щелкнул выключателем. Зажглась трехрожковая люстра со стеклянными тюльпанами. Это было кстати: за окном густел коричневый вечер. Из Сашкиной сумки выбралась черная летучая мышь, взлетела и закачалась вниз головой на люстре. Сашка показал ей кулак. Потом увидел у двери витой шнур с кистью, почесал в затылке, дернул за кисть. Где-то далеко отозвался колокольчик.

— Ой-ей, — обеспокоенно сказал Сашка. Скромненько сел в кресло. Чиба упал с люстры на кровать и притворился тряпичным клоуном. Потому что на лестнице послышались шаги.

В дверях возникла хозяйка.

— Я вас слушаю, — сообщила она тоном королевы.

Ехидно глянув на присмиревшего Сашку, я со

всей учтивостью поинтересовался, нельзя ли в этой прекрасной гостинице заказать ужин в номер.

— А то, понимаете ли, идти с мальчиком в зал… Возможно, там вино, шумные посетители…

— У нас не бывает шума и всегда все прилично, — ответствовала хозяйка. — Но, если вам угодно, ужин я пришлю.

Скоро молоденькая смешливая горничная принесла ароматное мясо с вареными бобами, хрустящие хлебцы и в большой фаянсовой кружке — теплое кипяченое молоко.

— Это для мальчика, — сообщила она и хихикнула.

Сашку передернуло. Едва девушка ушла, он вылил молоко в раковину и демонстративно вымыл кружку.

6. В гостях у месяца

После ужина мы, слегка осоловевшие, сели перед окном: я в кресло, Сашка верхом на стул. Совсем стемнело.

— Смотри-ка! Звезды! Откуда они здесь?

— Не-а, не звезды это. Просто светлячки такие летучие, они в облаках водятся. Потому что люди

же не могут, чтобы совсем без звезд… Скоро еще и не такое будет! Раз предпраздничный вечер, он обязательно вылезет… Вон, смотрите! — Сашка пришпорил стул и подъехал ближе к окну. — Сейчас…

Небо над черными крышами засветлело. Из-за кровельных гребней и башенок быстро выплыл и повис большущий розовый месяц. Зацепился нижним рогом за узорчатый флажок флюгера.

— Он что? Тоже искусственный?

— Не искусственный он! — Сашка, по-моему, слегка обиделся за месяц. — Он природный… Только не тот, что на нашем небе, а здешний. За скалами живет. А когда хочет, подымается.

— Чудеса…

— Ага… Хотите его поближе посмотреть?

Я не знал. То есть вроде бы и хотел, но ведь придется вставать и снова идти куда-то…

— Он недалеко, — сказал Сашка.

— Это, наверное, не разрешается, соваться к нему, — опасливо заметил я. — Вот поймают нас…

— Кто? Чтобы поймать, надо дорогу знать… Идем? — В Сашке пружинками звенела энергия, будто и не уставал.

— Ох, лоцман. Один раз ты уже втравил меня в

дело. С сундучком…

— А вы жалеете?

— Злодей ты…

— Не-е! Я проводник. Значит, обязан показывать «клиенту» все интересное.

— А если «клиент» вот-вот ноги протянет?

— Ничего, — хихикнул он. — Зато крепче спать будете.

— Ты бессовестная личность.

— Ага… Лезьте за мной. — И он сунулся в окно.

— Куда?! Нормального хода нет, что ли?

— Нету, — сообщил он уже с крыши. — Надо здесь идти, а то я ориентир потеряю.

«Связался, так терпи», — подумал я. И вспомнил Решку, лезущего в чужой огород, закряхтел в окне. Эх, если бы в самом деле стать Сашкиным ровесником, гибким и легким пацаненком. Чтобы прогнать усталость и облегчить путь.

«Решка, вперед!» — велел я себе. И видимо, не мысленно сказал, а шепотом. Потому что, когда спустились по лестнице, Сашка вдруг спросил:

— А это вас так в детстве звали — Решка?

— Откуда ты знаешь? — смутился я.

— Ну… а тогда, в хронофоне…

— А-а… Да, звали. Были когда-то и мы… жеребятами…

— А почему вам такое имя дали?

— От «Игоря»… Игорёшка, Рёшка, Решка… Наверно, еще и от фамилии… А может, потому, что неудачливый был. Когда монету бросают, одним чаще орел выпадает, другим и так и сяк, наполовину, а мне почти всегда решка. Вечное невезение…

— Вот это невезение! Сколько книжек написали!

— Это еще ничего не значит… И к тому же я ведь про детство говорю. То и дело со мной всякие истории случались. И драться я не умел. Бывало, колотили и дразнили…

— Это хоть с кем бывает, — тихо сказал Сашка.

— Неужели и с проводниками? — не сдержался я.

Сашка посопел на ходу и отозвался сумрачно:

— А что им с того, что ты проводник? Вот если ты по-каратэшному умеешь лягаться или кассетник у тебя японский — тогда ты человек.

— Сашка, ну не все же такие!

— Не все… Только те, кто не такие, заступиться не могут. Ни друг за друга, ни за себя…

Сашка повел меня по переулку, где разноцветно светились квадратные и полукруглые оконца. Потом городок остался позади. Мы двинулись по

тропинке среди каменных глыб и кустов, которые все еще сыпали с листьев дождевые капли. Сашка ойкал. А месяц приближался, вырастал на глазах. Но скоро его закрыл от нас черный скалистый гребень. Тропинка пошла вверх и оборвалась перед каменной осыпью. Щебень и плитки застучали у меня под ногами. А Сашка присел и схватился за ступню.

— Ёшкин свет… Камни острые. Раньше их не было…

— Понесло тебя босиком!

— Я не знал, что здесь столько насыпалось.

— Эх ты, лоцман. Давай перенесу через камни.

В полумраке я лишь угадал, что Сашка надулся.

— Ну да! Не хватало, чтобы проводника на ручках несли.

— А я не как проводника, а как племянника. Ты же сам так в гостинице отрекомендовался.

Сашка посопел, потом хихикнул:

— Ну ладно. Это недолго.

Я подхватил его за спину и под коленки. Показалось, что весу в проводнике, как в пачке вермишели. Даже позвонки у меня не заныли. Я понес притихшего Сашку по шуршащей и хрустящей щебенке, а он вдруг щекочуще прошептал

мне в ухо:

— Слышите, камни говорят: «Реш-шка, Реш-шка»...

Я почему-то смутился и хотел ответить, что камни говорят «обор-рмот», и не мне, а проводнику. Но из-за гребня вылез неожиданно громадный рог месяца. Сашка брыкнул пятками, прыгнул с рук, ухватил меня за рукав и потащил вверх по гранитным уступам. И прежде, чем я возмутился и запыхался, мы оказались на зубчатой, похожей на хребет древнего динозавра горе.

Месяц висел перед нами. Не лунный шар, освещенный сбоку, а именно месяц. Этакий великанский, высотой с трехэтажный дом, светящийся банан — изогнутый и с острыми концами. Розовато-желтый, со светло-серыми проплешинами. Бока его были украшены оспинами небольших кратеров. Выпуклый край казался довольно ровным, а внутренний — словно изгрызан чудовищами. От нас месяц был буквально в десяти шагах. Нижним рогом он цеплялся за кривое, похожее на карликовую сосну деревце.

Сашка снова потянул меня за собой. И мы оказались рядом с деревцем. Нижний рог торчал в ветках на уровне моего плеча. Он был теперь совсем неярким, и казалось, что светится не из-

нутри, а отражает свет мягкого абажура.

— Потрогайте, — прошептал Сашка, — он не горячий.

Я потрогал. Месяц был тепловатый и состоял словно из спекшегося пыльно-желтого и розоватого шлака.

Несколько секунд месяц терпел мои касания, потом кончик рога гибко шевельнулся, освободился из веток. Громада месяца передвинулась и медленно-медленно стала подниматься.

— Эй, подожди! — Сашка подпрыгнул и ухватился за рог двумя руками. Месяц пошел вверх быстрее. Не успел я опомниться, как Сашкины ноги оказались у меня над головой. Я перепуганно вцепился в его щиколотки. Сашка отпустился и с размаху сел мне на плечи. Я замычал от колючей боли в пояснице.

— Ой, простите, пожалуйста! — Сашка скатился с меня, сел.

— Акробат, будь ты неладен…

— Я маленько не рассчитал… — Он показал месяцу маленький, с поцарапанными костяшками кулак. — У, рогатина…

Месяц был уже метрах в двадцати над нами. Он склонился верхним рогом, и на внутренней стороне его четко проступило лицо — с круглым

носом, пухлыми губами и прищуренным глазом под нависшей бровью. Глаз хитро скосился на нас, а изо рта высунулся длинный малиновый язык. Очень похоже на Чибу.

— Еще и дразнится, — обиделся Сашка. Он сидел на каменистой площадке, раскинув ноги и опираясь сзади руками. Месяц быстро поднимался и делался все ярче. Высвечивал Сашку, как желтую бабочку на темном листе. И словно сыпал на его волосы и льняную ткань искрящуюся пыль.

— Ушибся? — спросил я.

— А зато у меня вот что! — Сашка вытянул руки, разжал кулаки. Я увидел на каждой ладони по рыхлому, слепленному из шлаковых крошек комочку.

— Отломил?!

— Они сами открошились… Здесь они не светятся, а в темноте будут как огоньки… — Один камешек Сашка сунул в нагрудный карман, а другой протянул мне. — Возьмите на память.

Я взял. На Сашкино плечо упал с неба вороненок.

— Домой пор-ра!

…А камешек в самом деле засветился. Я проверил это, когда легли спать и выключили люстру.

Глава 6. УЛИЦЫ СОВМЕЩЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. Желтая сирень

Даже не думал, что бывает такая. Она сияла ярким цветом одуванчиков и лютиков. И все же это была именно сирень — по форме цветков, гроздьев и листьев. Правда, гроздья — более пышные, чем на привычных кустах, листва среди них была почти не видна. А запах был, хотя и знакомый, но послабее, чем у обычной сирени. И это хорошо. Иначе мы просто задохнулись бы. Потому что цветущие лимонно-солнечные груды окружали нас, нависали над нами, заслоняли собой все пространство. Желтая сирень крепко взяла в плен развалины серого каменного амфитеатра, в котором оказались мы с Сашкой… Эти заросшие руины были похожи на остатки древнего греческого театра: вверх уходили ракушечные полукруглые лестницы — ряды скамей, а внизу сохранилась заваленная кусками мрамора площадка.

А над площадкой — утреннее небо. Не желтоволокнистый свод Подгорья, а яркая синева и

умытое солнце…

Мы оказались здесь без всякого заметного колдовства. Теми же переулками, которыми вчера добирались к месяцу, вышли за город. Перевалили холм с торчащими камнями на гребне. А когда стали опускаться, золотистый туман поредел, глянула голубизна и брызнули лучи. Скоро небо совсем очистилось, и Сашка по тропинке среди высокого белоцвета привел меня сюда.

— Где это мы?

Сашка ответил радостно и чуть лукаво:

— Это самая лучшая стартовая точка! Я даже и не думал, что мы так легко на нее попадем. Вам повезло…

Он улыбался. Лицо его было припудрено желтой пыльцой. Он слизывал ее с губ. Мой пиджак тоже был в пыльце. Я провел языком по губам — они были сладковатые. Мне стало хорошо, будто я маленький Решка и ясным утром выскочил на крыльцо, радуюсь, что впереди бесконечный летний день.

— А что дальше, Сашка? Куда пойдем?

Он хитровато приложил палец к губам, прислушался. Крутнулся на пятках так, что его расстегнутая рубашка взлетела коротким золотистым плащом. Рубанул воздух ладонью, будто

рассек пространство.

— Вон туда!

Я увидел в камнях и желтых зарослях проход. Сашка потянул меня за рукав. И мы оказались на улице Смоленской.

На той, по которой я когда-то бегал в школу. На той, которая потом исчезла, уступив место пятиэтажному крупноблочному кварталу. Сейчас она была опять. Та — и не та. Дом, в котором жил тогдашний ребячий командир Славка Смолин, оказался выше, красивее, с чердачной надстройкой, похожей на капитанский мостик. У заборов прямо среди крапивы и лопухов цвели высокие пунцовые георгины. Часовенка на углу, всегда обшарпанная, со сбитой маковкой и ржавыми листами кровельного ската (в ней была сапожная мастерская), сейчас блестела позолотой и белизной стен. Из-за нее вышла бодрая бабка с ведрами на коромысле. В ведрах голубела не вода, а букетики незабудок, — видимо, бабка спешила на рынок, в цветочный ряд…

— Вы ведь хотели в книжные магазины, — напомнил Сашка.

— Да. Но здесь поблизости их нет, я знаю.

— Как это нет! — Он потянул меня за угол, на улицу Чехова, тоже старую, деревянную. А потом

в проход между забором и кирпичной стеной-брандмауэром. Я знал, что этот проход ведет к маленькому стадиону «Локомотив», мы с ребятами раньше часто бегали туда. Но порой (особенно в предвечерние часы) мне казалось, что этот глухой переулок может вывести еще куда-то. К неведомому. Только я ни разу не попробовал проверить. То не было времени, то не хватало решительности. А теперь, с Сашкой, ярким утром я вышел на улицу незнакомого города.

Она была похожа на улицу Старой Гавани. Синим блеском отражали небо стекла верхних этажей. Светился на солнце мрамор барельефов, атлантов и тяжелых балконов. А внизу вдоль тротуаров — серые колонны и арки галерей, террас, переходов… И там раскинули свои прилавки торговцы книгами.

Множество пестрых, одетых по-южному людей спешили по тротуарам, но к букинистам подходили немногие. Я пошел (а за мной и Сашка) вдоль рядов, где лежало несметное книжное богатство. Здесь были средневековые сочинения, напечатанные готическим шрифтом и украшенные гравюрами с крутобокими кораблями и панорамами городов. Могучие кожаные тома и крошечные пухлые книжки, которые

открывались со скрипом, как засохшие деревянные табакерки. Вместе с академическими изданиями Пушкина лежали томики забытых поэтов. Среди подшивок газет столетней давности желтели карты первых плаваний вокруг света. Между тяжело переплетенных «Нив» и «Живописных обозрений» светилась позолота французских первоизданий Жюля Верна… Здесь можно было увидеть все, что угодно. От Корана до «Евгения Онегина» на португальском языке, от рукописного «Откровения Иоанна Богослова» до «Сочинения шевалье д'Арно о новейших приемах искусственного боя на шпагах и рапирах».

Даже тысячную долю невозможно было купить и унести с собой. Да и куда? Зачем?.. Мне было достаточно той радости, с которой я листал книжные редкости и удивлялся неожиданным находкам. Я трогал и разглядывал книги под мудрыми, понимающими взглядами седых продавцов. Эти старички букинисты не обижались, что человек смотрит и ничего не покупает. Их радовал просто мой интерес. И может быть, они были даже довольны, что я ничего не беру, не лишаю их ни капельки этих богатств…

Сашка беспокойно поглядывал на меня и наконец спросил:

— Что? Разве ничего интересного?

— Все интересное! Сроду не видал такого.

Конечно, я мог бы что-то купить. Например, кожаные томики с жизнеописанием рыцаря «Дон-Кишота» в переводе Жуковского — кажется, первое русское издание. Или найденный среди самодельных альманахов, девичьих альбомов со стихами и прочих рукописных творений мальчишечий дневник: «Ежедневные записки Тимофея Кольцова, ученика четвертого класса Екатеринбургской мужской гимназии». Но, поколебавшись, отложил и то и другое. Появилось чувство, что если сделаю сейчас покупку, то это будет искушение судьбы и я навсегда перекрою путь к самому главному: к старой книге о тайнах трехмерных зеркал и к потертой пухлой тетради в коричневом ледерине… Конечно, это смешно. Хотя бы и потому, что ни книги Ришелье, ни тем более Тетради, скорее всего, на свете никогда и не было…

Сашка тоже иногда брал с прилавка книжки, перелистывал. Но я вдруг спохватился: скучает мальчишка. Мне-то здесь хватит удовольствия до вечера, но с какой стати должен страдать мой проводник?

— Пойдем, я тебе хотя бы мороженого куплю!

Но Сашка сморщился:

— Не хочу.

— Да не стесняйся…

— Я не стесняюсь. Просто я его не люблю. Взрослые думают, что все ребята обмирают о мороженом…

— А ты о чем обмираешь?

— О майонезе!.. Намазать его на мягкий черный хлеб и… — Сашка проглотил слюну.

— Ну, ты чудо природы…

— Ага, мама так же считает. И прячет майонез, говорит, что много вредно.

— Ладно, в обед отведешь душу…

Но до обеда было еще далеко. Мы наконец выбрались с улицы Колумба (так она, оказывается, называлась) на площадь. Ее тоже окружали заросли желтой сирени, а из них поднимались современные многоэтажные башни из стекла. Сновали разноцветные автомобили. А рядом с собой я увидел низкорослую пальму с мохнатым стволом.

— Сашка, это уже явно не Подгорье!

— Конечно!

— А что это за город?

— Ну… — Он глянул чуть растерянно и весело. — Это вообще Город… Помните, как вы писали в

книжке «Заблудившийся трамвай»? Они наслаиваются друг на друга, города эти, а я выбираю улицы… Вы хотели туда, где книги, ну и вот…

— Ты молодчина, — искренне сказал я.

Он потупился, потом поклонился с дурашливой вежливостью:

— Фирма гарантирует… — Но, легко учуяв, что шуточка царапнула меня, потупился снова. И вдруг признался: — Почему-то все легко получается, когда я с вами. Будто играючи… Вот смотрите! — Он вскинул голову, обернулся. Я тоже.

За спиной у нас, между двух стеклянных гостиниц, возникла улица, в которой виднелись бревенчатые домишки с палисадниками, а дальше поднимались обшарпанные купола и шатровая колокольня. И мы пошли по этой улице, мимо кривых ворот и лавочек, на которых грелись кошки.

Я отдыхал от шума, пестроты и многолюдья…

2. «Плутония»

Улица привела к старой монастырской стене с воротами, на которых красовалась вывеска: «Автобаза № 2». Мы пошли вдоль стены и увидели небольшой базар. Женщины за длинными

дощатыми столами торговали зеленым луком, яйцами и цветочной рассадой. А в тени, где стена могуче нависала над лужайками, расположились торговцы всякой мелочью. Продавали дверные замки, инструменты, малярные кисти, радиодетали и веники. Сашка смущенно взлохматил затылок.

— Да, кажется, промахнулись. Книжек тут нету…

— Все-таки есть! Смотри…

Привалившись к стене, сидела сонная бабушка в темном платке, перед ней на мешке лежали синие стеклянные блюдца для варенья, старые ходики, мясорубка, глиняная собака, а среди них — потрепанные «Хождение по мукам», «Книга о вкусной и здоровой пище» и «Плутония» — роман академика Обручева. Это был пыльно-голубой потертый томик с облезшей позолотой орнамента, в котором сверху вписаны слова «Библиотека приключений». На обложке — прямоугольная картинка с динозавром. Короче говоря, знакомое с детства издание сорок первого года. Я когда-то души не чаял в таких книжках с узорчатой рамкой на переплете.

Бабка, увидев, как я ухватился, запросила червонец.

— Сашка, читал такую?

— Не-а… Я у Обручева «Землю Санникова» читал, а про эту только слышал.

— Здесь про путешествие в подземный мир. Почти как в Подгорье.

— Ух ты!

— Держи. В подарок.

Сашка заулыбался смущенно, полистал, погладил переплет.

— Спасибо… Теперь вечером будет что читать.

Он раздернул на своей синей сумке «молнию», убрал книгу. Из сумки высунулась кукольная головка в клоунском колпаке, сделала недовольную гримасу, показала Сашке красный язычок и спряталась опять. Чиба! А я про него и забыл!

— Почему сегодня этот хулиган не скачет, не скандалит?

— Кто его знает. У него по настроению… Идем дальше?

— А куда?

— А куда получится! Так ведь интереснее, верно? — И он повел меня в переулок, где орал на плетне рыжий петух.

Потом спустились мы с косогора к речке, там на плотике сидели мальчишки с удочками. Рядом стояла тетка в синей кофте и полушепотом

(наверно, чтобы не распугать рыбу) твердила:

— Петька, иди домой, паразит. С Веркой сидеть некому…

Петька отмахивался колючим локтем.

Сашка повернулся к речке спиной и жестом дирижера, начинающего симфонию… рассек зеленый берег.

Да, в травянистом склоне появилась темная щель!

— Игорь Петрович, идемте! Скорее, пока не закрылась!

— В Подгорье? — с пониманием спросил я.

— Нет, что вы… — И потянул меня за обшлаг.

Мы прошли между сырых земляных стен, оказались в бетонном помещении, а оттуда коридор привел нас в подземный вокзал. Шипя и переплетаясь, скользили по спиралям и дугам эскалаторы. Мигали табло. Спешили пассажиры, но помещение было таким громадным, что казалось полупустым. Прямо сюда, как в метро, подъезжали разноцветные электрички.

Мы двинулись по галереям и лестницам, по мраморным залам и наконец наткнулись на дверь с вывеской: «Кафе „Добрый путь“». В отличие от обычных кафе, здесь было почти пусто. Веселый официант принес нам комплексный

обед. Подмигнул Сашке, подарил ему жевательную резинку с диснеевским гномом на фантике и пожелал приятного аппетита.

— А майонез есть? — спросил Сашка.

— Один момент…

Сашка намазал майонезом хлеб, вытащил из сумки «Плутонию», положил ее у тарелки с борщом и приготовился получить сразу несколько удовольствий.

— Много майонеза вредно, — назидательно сказал я. — А читать за едой — тем более…

— М-м-гм… угу… — ответил Сашка. И открыл книгу.

Из сумки выбрался вороненок, сел на стол и стал клевать у Сашки гречневую кашу гарнира. Ну никакого понятия о хорошем тоне. Ни у того, ни у другого.

Впрочем, Сашка, хотя и читал, с обедом управился наравне со мной. Сказал мне «спасибо», шуганул Чибу в сумку.

— Вы не устали?

— Представь себе, не устал.

Пестрота и непредсказуемость событий околдовала меня. Как во сне. Может, и правда сон? Вот проснусь, а там палата и сестра Зоя с таблетками и капельницей… Бр-р…

— Пошли дальше, Сашка!

Мы опять спустились в общий зал. Я увидел киоск со всякой мелочью, вспомнил, что потерял расческу, а тут на витрине такая красивая…

— Сашка, минуточку…

— Ага…

Я заплатил, сунул расческу в карман, обернулся.

Сашка исчез.

3. Пантюхин

Испугался я сразу. И очень сильно. Потому что накатилось чувство, будто Сашка не просто так пропал. Будто его вообще не было никогда. Совсем! Словно я его придумал или увидел во сне, а сейчас вот… проснулся…

От жуткого ощущения пустоты, потери, беды перехватило горло. Только поэтому я не заорал панически: «Сашка-а!!»

Куда он мог деваться? Среди редких прохожих затеряться невозможно. Да и не успел бы он отойти далеко… Может быть, побежал вон к той платформе и вскочил в вагон? Но зачем, что за дикая выходка?.. Да нет, и туда он не успел бы. Смог бы добежать только вот до этого ближнего

эскалатора. Может, увидел наверху что-то интересное?.. Я шагнул на ступени.

Эскалатор оказался неожиданно быстрым. Он, делая широкие повороты, вынес меня в наклонный коридор, а оттуда я выскочил в стеклянный переход над подземными путями, где стояли красные и зеленые поезда. Сашки, разумеется, не было. И никого вокруг не было, не спросишь даже: «Не видели мальчика с синей сумкой?» Надо вернуться! Но где эскалатор, ведущий вниз? Я бросился по переходу, в конце его нашел крутой спуск без ступеней, он привел меня в круглый холл, где толпилось множество ребятишек с учительницами. Некоторые были одеты как Сашка, и я подбегал то к одному, то к другому, извинялся и вконец перепугал несчастных воспитательниц.

Черт меня понес! Надо было стоять и ждать! Сашка, наверно, вернулся и теперь ищет меня!..

Не понимаю, почему простая мысль найти дежурного и сделать объявление по радио не пришла тогда в голову. Видимо, от великой растерянности. Я метался по лестницам, коридорам, эскалаторам, по холлам и галереям и не мог выбраться к главному залу. Будто здешняя бабка Дар-Овражка водила меня… Я спрашивал людей, мне показывали дорогу, а я все попадал не туда.

Просто до отчаяния дошел! Наконец рванул дверь с табличкой «Служебный вход»… и вышел в зал как раз позади киоска, где купил расческу.

Сашка был здесь. Беседовал с каким-то мужчиной. Спокойно, будто ничего не случилось.

Незнакомец был высокий, чуть сутулый, с длинным твердым лицом и короткой рыжеватой стрижкой. В серой куртке с «молниями» — штурманке. Он слушал Сашку и кивал. А тот говорил быстро и серьезно, что-то прямыми ладонями вычерчивая в воздухе.

— Сашка!

Он оглянулся.

— Игорь Петрович!.. Владимир Евгеньевич, это Игорь Петрович, я говорил. А это капитан «Даблстара».

— Капитан Пантюхин, — сказал тот, наклонив голову и глянув из-под желтых бровей.

— Очень приятно… — Я изо всех сил загнал внутрь досаду и раздражение. — Дорогой мой лоцман, куда вы исчезли? Я ношусь по всему вокзалу, как перепуганная курица, а ты…

— Исчез? — Сашка округлил рот и часто заморгал. — Я тут все время… Верно, Владимир Евгеньевич?

Тот поглядел на Сашку, на меня, поморщился:

— Это, наверно, я виноват…

— Уж наверно, — неприязненно сказал я.

— Да… Видимо, темпоральная волна. Это излучение липнет в вакууме, сразу не избавишься. Извините, ради Бога…

Сашка тоже смотрел на меня просяще. Я ничего не понял и сказал довольно грубо:

— Ладно, замнем…

Пантюхин быстро попрощался с Сашкой:

— Спасибо тебе, ты молодчина. Простая идея, а в голову не приходило… Будь здоров. — Тряхнул его за плечо, виновато кивнул мне и ушел, чуть пригибаясь.

Сашка опять посмотрел на меня. Удивленно и обиженно:

— Я правда никуда не уходил.

— Что же, галлюцинация у меня?

Он надулся, затеребил пуговицы на штанах.

Не хватало еще нам поссориться!.. И в конце концов, главное — что он со мной!

— Ладно… Может, правда эта капитанская волна виновата… А откуда ты знаешь капитана?

— Ой, да он у нас в Краснохолмске бывал! Пока у них стоянка… В кружке у нас лекции читал, про катамаран рассказывал! — Сашка повеселел. — Это не простой звездолет, а разведчик времени.

Он движется не столько в пространстве, сколько по темпоральному вектору. Или даже по кольцу! Понимаете?

— Проще пареной репы, — нахально уверил я. — Пойдем-ка из этого заведения… пока сами не угодили в какое-нибудь темпоральное кольцо.

4. Самолет

Вторая половина дня запомнилась мне перепутанно. Опять были площади и улицы — то тихие, деревянные, то с блеском и многоэтажьем современных столиц. Иногда полузнакомые, а порой совсем фантастические. И книги, книги… В одной лавочке я увидел даже свой «Тополиный архипелаг» на японском языке. Почему-то застеснялся и положил книгу обратно — между цитатником Мао Дзэдуна и английской лоцией Красного моря.

В конце концов Сашка вывел меня на плоский берег, к излучине широкой желтоватой реки. Другой берег был тоже низкий, и на нем, в отдалении от воды, стояла одноглавая церковь, похожая на храм Покрова на Нерли. Я вспомнил, что видел ее, когда мы, мальчишки, плыли на плоту, связанному из надувных камер. Но сейчас нигде, даже

у горизонта, я не различал города, только ровные луга, над которыми низко висело солнце. Белая церковь от вечерних лучей казалась вырезанной из слоновой кости, а травы золотились.

Я сел на корму брошенной в траве лодки.

— Вы устали? — спросил Сашка.

— Немного, — соврал я. На самом деле устал сильно. И все-таки было мне хорошо. Только не хотелось вставать.

— Ничего, — сказал Сашка. — Завтра у нас еще день… Куда пойдем? — И вскочил на другой конец лодки. — Может, туда? — Он махнул рукой. — Или туда…

Наверно, мне показалось или просто придумалось потом, но сейчас вспоминается, как при каждом взмахе его коричневой ломкой руки вдали открывалась то улица с причудливыми домами, то панорама целой столицы, размытая в предзакатном воздухе, то морская даль с желтыми от солнца парусами… Гибкий, с разлетевшимися волосами, покрытый бронзовым налетом, Сашка дирижировал пространствами. Смеясь, он оглядывался на меня… И это одно из самых хороших воспоминаний в моей жизни.

В Подгорье мы вернулись через амфитеатр с желтой сиренью (он оказался совсем недалеко

от излучины). На улицах уже зажглись фонари. Было очень оживленно, городок готовился к празднику в честь недавнего грибного дождя. Стайками ходили парни и девушки с гитарами. Кое-кто уже в карнавальных костюмах. Промаршировала колонна мальчишек с флагами всех цветов. Впереди два малыша несли на носилках громадный турецкий барабан, а третий умело бил в него колотушкой.

— Завтра будет еще веселее, — сказал Сашка и почему-то вздохнул.

Через площадь Каменных Ворот несколько рослых ребят в алых рубашках катили желто-красный небольшой самолет. Он был, видимо, легонький, шпангоуты и нервюры проступали сквозь ткань плоскостей и корпуса.

— Неужели настоящий? Откуда он здесь?

— Да ну, просто макет, — пренебрежительно отозвался Сашка. — Это клуб «Расколотое небо». Они так протестуют против запрета на полеты. Ну, в общем символически…

— А похоже, что у него мотор…

— Он же электрический, слабенький. Чтобы винт крутился для видимости…

В гостинице я, рискуя навлечь недовольство хозяйки, все же заказал ужин в комнату. Сашка

лениво сжевал сосиску, брякнулся на кровать, посадил под бок урчащего Чибу-котенка и открыл «Плутонию». Я устроился в кресле у окна. Большущий знакомый месяц висел над крышами и фонариками Подгорья…

Сашка вдруг виновато сказал из-за книжки:

— А себе вы там ничего не купили…

— Зато насмотрелся на разные диковины. За всю жизнь столько не видел.

— И все-таки главное не нашлось… — печально и упрямо произнес Сашка. — Вы ведь книгу про трехмерные зеркала искали?

Я помолчал и устало произнес:

— Не только… Я немного еще надеялся на чудо.

— На какое? — Сашка сел.

— Да тут такая история… В разные годы, когда у меня не получалась очередная книжка, мне казалось, что уже все: никогда я ничего путного больше не напишу. Знаешь, такое состояние, как у того самолета, — винт крутится, а сам ни с места… И вдруг спохватывался я, что есть одна тетрадь. Что в ней я начинал писать когда-то большую повесть, а потом почему-то отложил, хотя сделано было больше половины… И вот я вспоминал эту тетрадь и начинал понимать, что повесть в ней для меня самая главная. Самая

лучшая. И это было как спасение…

— А про что повесть?

— Да если бы я знал! Когда тетрадь снилась, я помнил все — и как она выглядит, и что в ней написано, каждый эпизод, каждую строчку. А просыпался — и чувствовал, как все ускользает из памяти. Не ухватишь, не удержишь…

Сашка осторожно спросил:

— Так, может, это просто сон?

— Конечно… Только иногда казалось, что не сон. Я начинал копаться в архивах, в дневниках, в старых записях. Думал: вдруг найду? Я ведь ее так отчетливо представлял: пухлую, с потрепанными уголками, в ледериновой обложке — коричневой, с трещинками… Вдруг там и правда что-то ценное и забытое?.. И думал еще: может, жена случайно выбросила со старыми бумагами, когда разменивали квартиру?.. И тогда тетрадь могла каким-то путем попасть к торговцам книгами и рукописями… Видишь, до каких фантазий можно докатиться на старости лет…

— Во-первых, нет у вас никакой старости, — задумчиво сообщил Сашка. — Чиба, брысь, чудовище, не царапайся… А во-вторых… что же вы сразу не сказали? Надо искать там, где всякие случайные редкости…

— Нет, брат, чудес не бывает… — умудренно сказал я и тут же подумал: разве не чудо тот мир совмещенных пространств, по которому бродили мы с Сашкой? И нерешительно добавил: — Возможно, это была повесть о Дороге…

Сашка не спросил, что такое Дорога. Видимо, знал.

5. Стереоскоп

Утром из зарослей желтой сирени мы вышли на цветочный луг. Всюду белели ромашки, веснушками рассыпалось по зелени желтое мелкоцветье. Тропа была узкая, Сашка шел впереди. Над его головой летали бабочки-капустницы.

Мы пришли к темной зеленоватой речке с мостиком из поперечных плашек и березовыми жердями-перилами.

Сашка вдруг ускорил шаги. Вспрыгнул на толстую жердину, побалансировал и пошел над речкой. Я замер, боясь крикнуть. А он шел, то останавливаясь, то мелко переступая кроссовками. Вздергивал руки. Они в плечах, локтях и запястьях болтались, как на шарнирах, а тонкие ноги казались гибкими, словно шланги из коричневой резины. Сумка с Чибой качалась на левом

боку, и я очень боялся, что она перетянет хозяина в речку. Но он миновал перила без приключений. Спрыгнул в клевер. Тогда я быстро перешел мостик и сказал в сердцах:

— Ты безголовый авантюрист. Вот слетел бы…

— Ну и слетел бы, — ответил он без улыбки. — Там и глубины-то по пуп… А без риска тоже нельзя. Это как предполетное испытание…

— Какое испытание?

— Ну… — Сашка смутился. — Это я так сказал, просто…

— Что-то ты сегодня чересчур задумчивый. Не как вчера…

Сашка глянул быстро и отвел глаза.

— Потому что… думаю. Где тетрадь искать.

— Нашел о чем думать!.. Не было, Сашка, никакой тетради.

— Как знать, — отозвался он хитровато и сделался прежним Сашкой.

…Было бы слишком долго описывать пестроту фантастических улиц и богатства книжных развалов. И то, как мы бродили в готических переулках средневекового предместья; и как лазили на высоченную башню с колоколами, стоявшую среди заросшего подсолнухами поля; и как обедали в подвальной таверне «У Сильвера», где в

кирпичной нише стояло чучело одноногого пирата с попугаем (который очень понравился Чибе)… Потом оказались мы на шумном торжище.

Редких книг здесь было мало. Больше торговали серийными выпусками детективов и фантастики. Зато мы увидели массу других интересных товаров. Океанские раковины и старинные шпаги (Сашка вздыхал и облизывался), модели парусников и японские веера, коллекции невиданных орденов и мундиры каких-то неведомых армий, живые заморские рыбы в банках с водой и сверкающие самовары всяких форм…

Мы двигались сквозь этот галдящий музей, вертели головами, разглядывали диковины и, наконец, утомленные, выбрались на тихий пятачок у каменного забора. Здесь расположился сухонький старик с бородкой профессора, в круглых бухгалтерских очках и обвисшей шляпе. Он сидел рядом с потертым коричневым ящиком на треноге. Сперва я подумал: старая фотокамера. Но у ящика было две линзы, словно в него вставили бинокль.

— Стереоскоп! — обрадовался Сашка. — Я такой в музее видел! — Он даже подпрыгнул и ногами взбрыкнул. — Посмотрим?

Старичок взглянул на Сашку благожелательно.

Придвинул к его ногам картонную коробку с пришпиленной к боку бумажкой: «Одна карточка — 1 коп».

— Милости прошу, молодой человек…

Сашка мигом нашарил в кармане двугривенный, протянул старичку, сел на корточки перед коробкой. Наугад отсчитал два десятка узких твердых открыток с двойными фотографиями. Сунул их мне в руки, а одну умело толкнул в щель ящика. Привстал на цыпочки, прижался лицом к стенке с окулярами.

— Ух ты… — От волнения он перебирал ногами, как нетерпеливый жеребенок.

— Я опущу вам аппарат пониже, — засуетился старичок.

— Не надо, и так хорошо… Игорь Петрович, посмотрите!

Я посмотрел. Это было «Отправленіе парохода „Титаникъ“ въ первый рейсъ». Два снимка слились в один, придав людям на берегу и громадному, отошедшему от причала судну рельефность, а рейду — ощущение реального пространства. Женщины в длинных платьях с оборками, мальчики в костюмах, как у Андриса на картине, мужчины в длиннополых сюртуках махали платками, шляпами, зонтиками. Никто

не знал о близкой трагедии…

Сашка нажал медный рычажок. Карточка выпала в пластиковое ведро под ящиком. Сашка взял другую.

— Ух ты… Игорь Петрович!

— Да смотри, смотри, я потом… — И начал разглядывать снимки так, без аппарата.

Вид Нижегородской ярмарки в 1908 году…

Спуск русского крейсера «Варяг» в Филадельфии…

Граф Л.Н. Толстой на велосипедной прогулке…

Группа героев Порт-Артура в С.-Петербурге…

Сашка тихо ойкал и посапывал, карточки одна за другой стукали о пластиковое дно…

— Ух ты… Я и не знал, что тогда это снимали… Игорь Петрович, гляньте!

Я посмотрел. И… ничего особенного. Каменистая равнина с языками песчаных заносов и огрызками скал. Видно, что выжженная солнцем. И надпись: «Пустыня Оранжевые Пески. Съемка совместной экспедиции г.г. Демьянова и Энгельштерна. 1901 г.».

— А что здесь такого?

Сашка сказал озабоченно:

— Это же недоступное место. По крайней мере тогда…

— А где это?

Он шевельнул плечом со вздыбленным льняным погончиком.

— Я точно не знаю. Там тройные координаты…

— Все понятно… Будешь смотреть еще?

— Нет, хватит… — Он рассеянно сказал «спасибо» старичку, и мы отошли. И через пролом в кирпичном заборе выбрались на пустынную, всю в желтой сирени улицу. Только тогда Сашка спохватился:

— Ой, а вы ничего не посмотрели!

— Посмотрел, только без стереоскопа.

— Это неинтересно, — огорчился Сашка. — Все дело в стереоэффекте… Может, вернемся?

— Не надо, — усмехнулся я. — Это плохая примета… А в стереоскоп я в детстве насмотрелся, у меня был свой. Только поменьше этого, попроще…

— Да?! — обрадовался Сашка. Даже подскочил (в сумке сердито завозился Чиба). — А у меня и сейчас есть, мама подарила на Новый год. А вам тоже подарили?

— Тоже мама… И представь себе, тоже к елке.

— Вот это да! Сколько у нас похожего!.. Все правильно.

— Что правильно, Сашка?

Он помолчал, глядя под ноги. Запыленные

кроссовки его неторопливо ступали по плитам тротуара.

— Игорь Петрович, я вот что думаю… Я давно еще про это думал. Про стереоэффект. Вот, когда два похожих снимка сливаются — все в кадре делается выпуклое и просторное, как на самом деле. Из двухмерных плоских пространств словно получается трехмерное… По-моему, в жизни так же бывает. Когда два трехмерных пространства, если они похожие… или два похожих события в жизни… когда они наслаиваются друг на друга, возникает новое пространство, четырехмерное. И события в нем — уже новые, неожиданные… Я запутанно говорю, да?

— Нет, понятно. Только… по правде сказать, очень уж фантастическая гипотеза. Хотя и остроумная…

— А чего фантастического? Вот смотрите. У нас с вами столько похожего! И мы теперь ходим вместе. И сразу — четырехмерность!.. Вы думаете, раньше мне эти все края так легко открывались? Да я к концу дня еле ноги таскал… А вчера и сегодня — все шутя.

«Разве у нас так много похожего?» — чуть не сказал я. Но прикусил язык. Взял Сашку за плечо.

— Может быть, ты и прав… Слушай, а если тебе

сегодня все легко, нельзя ли поскорее попасть домой? Вечереет уже, скоро в Подгорье праздник.

— Запросто!

В Подгорье был совсем вечер. С иллюминацией, с толпой в карнавальных нарядах. Но я решил сначала поужинать в «Дорожном уюте», а потом уже нырять в эту веселую круговерть.

В ресторанчике гостиницы Сашка опять поскучнел. Сжевал (несмотря на мои укоризненные взгляды) ломоть хлеба с майонезом, ковырнул вилкой картофель с котлетой, проглотил компот и заторопился наверх. Я думал, он бросит сумку и мы тут же отправимся на площадь. Но Сашка сказал виновато:

— Игорь Петрович, а можно я дома посижу? Тут ведь все рядом, вы и один не заблудитесь.

— Не заблужусь, но… — Я встревожился. — А что с тобой? Неужели не интересно посмотреть на карнавал?

— Да я раньше видел уже такое… А сейчас чего-то ноги гудят… — Он согнулся, потер икры и щиколотки, слабо улыбнулся: — Натопались…

Я обругал себя бессовестной и безмозглой свиньей. Ведь я-то хотя и хворый, но все-таки взрослый мужик и, если нет приступов (а их нет!), не в пример выносливее такого кузнечика.

Три дня Сашка таскал меня по всяким необыкновенным местам, да не просто таскал, а еще и прокладывал дорогу. Как он, бедняга, до сих пор на ногах держится?

Сашка опять сказал просительно:

— Если, конечно, можно… Я бы книжку почитал. Давно уже не валялся с книжкой на кровати целый вечер…

Мне очень хотелось поглядеть на праздник этого «городка в табакерке». Было предчувствие, что там случится неожиданное и радостное для меня событие… Но сейчас я мужественно сказал:

— У меня тоже ноги размякли. Давай сидеть дома вдвоем.

Сашка испугался:

— Да что вы! Зачем! Вам же интересно!

— Получается, что я бросаю тебя…

— Это вы-то меня бросаете? — сказал Сашка с непонятной печальной ноткой. — Ну уж…

— Ладно. Я только пройдусь до Каменных Ворот и обратно. Не заскучаешь в одиночестве?

— С книжкой-то? Да еще Чиба вылезет, дурь устроит… Вы не спешите, гуляйте!

«Может, он просто устал от меня, старого дурня, — подумал я. — Может, по маме соскучился, хочет погрустить один…»

— Ладно, погуляю. А ты отдыхай…

6. Взлет

На широкой лестнице ратуши ухал контрабасами и барабаном оркестр с музыкантами в гусарской форме. Башня и фасад были в цепочках бегучих огней. Над крышами вертелись хвостатые спирали фейерверков. Люди танцевали повсюду под разноцветными взмахами прожекторных лучей. Ко мне подошла метровая голова в треуголке, с рыжими буклями и мясистым красным носом пьяницы флибустьера. Один глаз сверкал голубой пластмассой, на втором было черное полотенце. Внизу из головы торчали ноги в съехавших гольфах и стоптанных сандаликах.

Старательным сиплым голосом голова потребовала:

— Кошелек или жизнь! — И между большущих зубов просунулась вместо языка тощая рука в черной перчатке, сжимающая кремневый пистолет.

— Конечно жизнь! — храбро решил я, и пистолет выпалил в меня желтым огнем и зарядом конфетти. Я сделал вид, что грохаюсь навзничь. Голова зашлась переливчатым смехом и ускакала, хлопая ремешками расстегнутых сандалий…

Потом в меня еще не раз палили из хлопушек, а трехголовый дракон предложил выбор: или я буду съеден на месте, или выслушаю арию влюбленного Змея Горыныча, которую он исполнит на три голоса. Я сказал, что сперва одно, а потом другое. Дракон ограничился арией, после чего я оказался перед эстрадой, где кувыркались под бубен и жонглировали кокосами негритята. На эстраду спланировала Баба Яга на метле, и негритята с визгом разбежались, кидая в бабку упругие надувные орехи…

«Бабка Ёшка, — вспомнилось мне. — Ёшкин свет…» Все-таки жаль, что нет со мной Сашки. Я малость загрустил и даже подумал, что пора возвращаться. В этот момент на площади начал меркнуть свет.

Погасла иллюминация, медленно потускнели фонари. И праздничный шум угас, как бы приглушенный опустившейся темнотой.

Впрочем, большой темноты не было. С ратуши рассеянными снопами светили два прожектора — зеленый и голубой. Они высвечивали Каменные Ворота. Одна башня казалась салатно-серебристой, другая — серо-бронзовой. Прожекторный свет они отражали на стоящих поблизости людей. Потом с верхушки левой башни ударил по

площади резкий белый луч. Люди почему-то шарахнулись от него, и сквозь толпу коридором легло пустое пространство — заблестела полоса гладких булыжников.

По этой сверкающей полосе мчался к воротам пацаненок лет десяти — темноволосый и кудлатый, в укороченной, как у Сашки, школьной форме и босой. В тишине его ступни звонко хлопали по булыжникам. Шагов за двадцать до правой башни мальчишка затормозил, задрал голову и заорал:

— Стаська, давай! У нас четыре минуты, потом на станции полетят контакты!

И в ответ зазвучал из могучего динамика мужской голос — резкий, как свет белого прожектора:

— Граждане Подгорья! Просим извинить, что мы на несколько минут прерываем ваш праздник! К сожалению, другого времени у нас нет, день и час был рассчитан давно!.. Просим всех отойти от ворот не менее чем на пятьдесят шагов!.. Только спокойнее, пожалуйста, без давки и спешки! — Голос вдруг смягчился, в динамике даже прозвучала испуганная нотка, потому что люди разом колыхнулись назад. — Осторожнее, прошу вас… И тогда Подгорье увидит небывалую

вещь!.. Считайте, что это еще один праздничный аттракцион!

В тишине, лишь при нескольких вскриках, люди подались от ворот, перед башнями образовалась полукруглая пустота. И в центре ее, в полосе прожекторного луча, стоял мальчишка со вскинутой лохматой головой и растопыренными руками.

— Мальчик, отойди сейчас же! — раздался из толпы женский голос. — Сказано же!

Тот, не оглянувшись, отмахнулся, как от бабушки, когда она зовет ужинать в разгар игры.

Я был среди тех, кто оказался ближе всех к воротам. И увидел раньше всех, как… Нет, сначала я ощутил мелкую дрожь земли. Щекочущая вибрация передавалась телу через подошвы, от нее зачесалась кожа. Чуть позже пришел почти неслышный, но ощутимый гул. И тогда от салатно-серебристой башни вдруг отделился каменный пласт, качнулся и рухнул на булыжники. А под ним открылся гладкий сверкающий металл…

Рука так и просится написать, что толпа ахнула. Но я не помню этого. Мне кажется, что все происходило, как в кино, когда случайно выключили звук. В металле возник черный прямоугольник,

в нем появился человек в светлом костюме. Кудлатый мальчишка бросился к нему, тот присел, подхватил пацаненка, и металл непроницаемо скрыл обоих от наших взглядов.

Дрожь усилилась. Каменные пласты начали рушиться к подножиям башен один за другим. Они были выгнутые, грубо-неровные с внешней стороны и гладко-блестящие с внутренней. Словно кора громадных деревьев, которые проснулись и решили сбросить старую одежду со стволов. А «стволы», открываясь, сверкали зеркальной чистотой. И через две минуты вместо Каменных Ворот подымались над замершей площадью Подгорья две светлые металлические башни — с полукруглыми оконечностями и двумя перемычками в виде громадных подков.

Великанское это сооружение выглядело таким тысячетонным, что никто сразу не понял, не осознал, что башни уже не стоят, а повисли без опоры: их кольцевые фундаменты были метрах в трех от земли. Потом башни шевельнулись и плавно пошли вверх — без вспышек, без звука.

«Катамаран!.. „Даблстар“, „Двойная звезда“... Вот Сашка пожалеет, что не видел этого!»

Голубой и зеленый прожектора запоздало метнулись за кораблем. И видно стало, как медленно,

словно нехотя, двойной корпус вошел в густые волокна тумана…

— Разобьется!! — тонко завопил кто-то в толпе.

Но сверху не доносилось ни звука. Ни удара о каменный свод, ни сотрясения. Неожиданно вспыхнула иллюминация. Видимо, станция, отключенная для запуска, вновь дала полный ток.

…Площадь оживала. Наполнялась криками, гулом, радостными воплями ребятишек. Даже оркестр заиграл опять.

Я шел, проталкиваясь сквозь потоки споров. «Это клуб „Расколотое небо“, их штучки! Совсем распустились!» — «Да бросьте вы, они мальчишки, а тут такая техника!» — «Ну и что? Там тоже мальчишка!» — «Кто разрешил ломать Ворота? Это же памятник!» — «Сейчас небось прилипли к своду и не знают, что дальше…» — «Ах, перестаньте, какой там свод! Это же четырехмерники!» — «Какие четырехмерники! Расскажите вашей бабушке! Взрослый человек, а городите мистику…»

Я спешил в гостиницу, чтобы рассказать про все Сашке. И кстати, спросить: неужели он не знал про старт катамарана от Пантюхина! А если знал, неужели не интересно было посмотреть?.. И почему «Даблстар» прятался под личиной каменных

башен? И сколько времени он здесь простоял? Все было непонятно и потому даже тревожно.

К этой тревоге прибавилась еще одна, когда я увидел, что Сашки в комнате нет.

Глава 7. ПОХИЩЕНИЕ
1. Пуговица на полу

Впрочем, сначала я забеспокоился не сильно. Скорее всего, Сашка увидел из окна взлет «Даблстара» и помчался на улицу. Или еще раньше соскучился и пошел погулять. Может, меня решил отыскать в толпе (такая мысль теплом погладила мне душу). Конечно! Окно открыто: махнули с Чибой через крышу…

Я сел в кресло. Оно как-то криво стояло посреди комнаты… Черт возьми, а почему так? Ну да, поторопился выскочить, оттолкнул его от окна. И книжку кинул на пол… А вот на темной половице желтая пуговица от Сашкиного костюма!

Ну и что, пуговица? Она и так болталась у него на ниточке, сбоку на штанах. От привычки теребить…

Каждую деталь можно было объяснить по отдельности. Но если глянуть на все вместе — нельзя не заподозрить, что случилась здесь возня или свалка… Да, но с кем?

Ох, да скорее всего с Чибой дурачились. Чего тут волноваться! Скоро прибегут…

И все же я встал. И спустился к хозяйке. В ресторанчике было почти пусто и спокойно: видимо, сюда еще не докатилась весть о случае на площади. Я спросил, не видела ли хозяйка моего племянника. Она сказала, что с час назад он спускался сюда с какой-то общипанной птицей на плече («Я, кстати, не знала, что у вас с собой пернатое существо, за это следует особая плата»), купил горсть молочных тянучек и, судя по всему, вернулся к себе.

— Кстати, недавно вас спрашивали двое молодых людей…

— Меня?

— Вас.

— Что за люди?

— Они не отрекомендовались. Один высокий, другой пониже, полный и кудрявый. По-моему, они поднялись к вам. Я решила, что если мальчик у себя, то и вы…

— А когда они ушли?

— Я не видела, как они уходили, принимала постояльцев… А разве их нет наверху?

Я кинулся к выходу.

Даже здесь, на окраине, было людно. Все куда-то спешили, смеялись, спорили. И не было в этой толпе человека, к которому можно подбежать,

крикнуть: «Сашка пропал, помогите!»

Я оглянулся с нарастающим паническим страхом.

Среди праздничного (и такого ненужного теперь!) мелькания к гостинице двигалась высокая сутуловатая фигура в штурманской куртке.

— Капитан Пантюхин!

Он не удивился, подошел сразу. Я спросил в упор:

— Это вы с кем-то увели Сашку?

— Увели? — Он не встревожился, но как-то напряглись его рыжеватые брови. — Нет, я только иду к нему. Хотел попрощаться. Вчера ваш проводник здорово помог нам… Вот, подарок ему несу. — В руке у Пантюхина были роскошные пилотские очки из гнутого полированного оргхрусталя с мягкой красно-белой оправой, на которой сбоку сидел плоский орех навигационного корректора, и с головным ремнем из широкой резины. Любой пацан завыл бы от восторга… Но Сашка не завоет, Сашки нет!

— Господи, где же он?! — вырвалось у меня.

Лицо капитана Пантюхина отвердело. Совершенно по-капитански.

— Как это случилось?

Я, икая с испугу, рассказал.

— А ну, идемте! Наверх!

Мы почти бегом поднялись в комнату. Пантюхин осмотрел ее с порога — зорко и стремительно.

— Похоже, и правда была свалка. И — через окно… Бредятина какая-то!.. — Он бросил на кровать очки, что-то быстро пощупал под курткой. — Ничего не трогайте. Не пришлось бы вызывать службу поиска… А, черт, в этой дыре ее нет, конечно…

— Что же делать?

Кажется, и у Пантюхина появилась растерянность.

— Думаете, я знаю? Я… Что за черт? — Он шарахнулся, потому что в окно влетел растрепанный вороненок и закувыркался под потолком. Потом уронил из клюва мне на башмак желтую пуговку — такую же, что валялась на полу. И заорал:

— Укр-рали! Скар-рее!

— Это Чиба! — крикнул я. — Чиба, где Сашка?!

— Скар-рее! — И он ринулся за окно. Я за ним, забыв про свой шестой десяток и болезни…

Крыша, лестница, сад… Пантюхин не отставал от меня. Чиба трепетал в воздухе уже за калиткой. В лапках у него (а может, и под хвостом) горела красная лампочка. В другое время такая техниче-

ская деталь позабавила бы меня. Но сейчас…

— Скар-рее!..

— Да подожди ты, существо! — крикнул Пантюхин. — У меня машина!

— Хар-рашо!

В самом деле хорошо. Если бежать, меня хватило бы не надолго. Крытый брезентом вездеходик стоял у главного входа в «Дорожный уют». Я, дыша как рыба на берегу, повалился на сиденье. Чиба с рубиновым огоньком трепыхался перед ветровым стеклом. Автомобиль рванулся по булыжникам горбатой дороги. Затрясло, как в камнедробилке. Пантюхин выругался. Я сел. И, несмотря на тряску, скоро отдышался. Пролетали мимо фонари, шарахались карнавальные парочки…

2. Похитители

Ехали мы совсем недолго. Пантюхин тормознул, я ткнулся носом ему в спину. Из машины мы вывалились одновременно, однако в броске через тротуар Пантюхин опередил меня: «Сюда!» Я успел заметить над дверью вывеску какого-то бюро путешествий. На вывеске подпрыгивал Чиба.

Пантюхин дернул дверь, и она отлетела с легко-

стью почтовой открытки. Мы ворвались в тесную контору с плакатами туристических агентств. Там было трое. Рослая девица со старомодными косами до пояса трамбовала и затягивала на полу красный альпинистский рюкзак. У пластикового стола, сбоку, сидел полный толстогубый парень с чернокурчавой башкой, а между столом и фанерной перегородкой стоял другой — высокий, спортивный, лицом и фигурой похожий на испанского тореро. У обоих были напряженные физиономии и позы, ибо чахлая дверь в перегородке гудела и прогибалась от чьих-то частых ударов.

— Где мальчик?! — гаркнул Пантюхин.

Курчавый толстяк начал медленно вставать. Голос у него оказался неожиданно тонкий и жалобный:

— Вам, Пантюхин, прежде, чем врываться и орать, следовало бы…

Пантюхин ударом справа послал парня в угол. Тот рухнул на пол, как выпавший из вертолета мешок с картофелем. Но при этом Пантюхин неосторожно повернулся открытым боком ко второму. «Тореро» стоял в защитной позе «ветряк»: лицо прикрыто скрещенными руками, правое колено вскинуто к подбородку. В следующий миг

нога распрямится и врежет капитану под ребра…

Я в жизни дрался очень редко, а последние тридцать лет не дрался совсем. Но сейчас внес лепту в дело освобождения моего проводника: поддавшись вдохновению, врезал парню по ноге, на которой он стоял, — башмаком под колено. «Тореро» грянулся на пол. Девица завизжала и замахнулась на меня рюкзаком. Но тот оказался тяжелым и перевалил ее назад.

Пантюхин отскочил к входной двери и, пружиня на полусогнутых ногах, выхватил из-за пазухи блестящую машинку. Из нее выскочил черный стержень.

— Всем на месте! Руки!.. В пыль разнесу!

Я не знал, что у него за штучка, но парни, видимо, знали. Вздернули руки и замерли на полу в неудобных позах.

— Где мальчик?! — рявкнул капитан.

Вопрос был излишним, потому что сквозь грохот, сотрясавший дверь в перегородке, неслись яростные вопли: «Открывайте, паразиты! Не имеете права! Все равно убегу!..»

Пантюхин глянул на ревущую девицу, шевельнул машинкой.

— Открыть!

Но дверь в этот миг сорвалась со щеколды и

петель и грянулась плашмя. А на дверь — пузом, руки-ноги в стороны — приземлился мой ненаглядный лоцман Александр Крюк.

Он стремительно сел, яростно обвел всех мокрыми глазами, взвился ракетой, кинулся к Пантюхину, вцепился в машинку.

— Владимир Евгеньевич, не надо! Это не бандиты! То есть бандиты, но не надо… Они не виноваты…

— Сам ты бандит, — сказал толстяк. Он опустил руки и держался за поясницу. — И вы, Пантюхин… С цепи сорвались?

— И вы… гражданин Решилов, — сказал «тореро». Он встал, держась за колено, и смотрел на меня через плечо. — Интеллигентный человек вроде бы… Я ваши книжки еще в первом классе читал. Про трюмных гномов с «Геродота»…

— Весьма польщен, — отозвался я нервно. — Однако подожду приносить извинения, пока не выясним ситуацию…

— Кто вы такие? — полицейским голосом спросил Пантюхин.

Сашка быстро сказал:

— Это наши, из «Пилигрима»… — И засопел.

— Я… диспетчер группы проводников, — постанывая, сообщил толстый. — Меня зовут Клим

Збаров. — Он кривясь опять сел к столу. — И если бы я знал, что из-за этого гамадрила…

— Сам такой, — мрачно сказал Сашка.

— Молчи, Крючок! — взвизгнула девица. — Дать бы как следует по шее… Заварил кашу да еще и… — Она всхлипнула и сердито вытерла глаза подолом широкого зеленого свитера. Интересно, что Сашка не возмутился «Крючком», не огрызнулся. Засопел сильнее и стал рассматривать ссаженный локоть.

— Что за кашу заварил мой проводник? — осведомился я со сдержанным негодованием. — И может ли какая-то «каша» служить причиной для похищения ребенка из гостиничного номера?

— Кирилл, объясни ты им… — плаксиво сказала девица.

Но похожий на испанца Кирилл (он все еще держался за ногу) язвительно предложил:

— Пусть «ребенок» расскажет сам. Тем, кто его героически спасал… Ну, давай, Сашенька, поделись планами, которые мы так бессовестно сорвали…

— Что все-таки случилось? — хмуро поинтересовался Пантюхин. И спрятал машинку под штурманку.

— А то… — с расстановкой начал диспетчер

Клим Збаров, — что это сокровище… вы посмотрите, как он занят своим локтем… Это сокровище намылилось удрать в рейс на вашем «Даблстаре», капитан Пантюхин!

У капитана Пантюхина по-мальчишески приоткрылся рот. Сашка брызнул на диспетчера Збарова гневным взглядом и опять занялся локтем. Попытался даже лизнуть его, что, разумеется, было немыслимо.

3. Беглец

Я обалдело переваривал информацию.

Кирилл наконец отпустил ногу и выпрямился. Сказал с улыбочкой под черными усами:

— Представляете ситуацию? Где-нибудь на энном отрезке темпорального вектора открывается дверь в отсек и… «здравствуйте, я ваша тетя».

— «Я ваш племянник»… — сорвалось у меня. Сашка глянул мне в лицо. Удивленно и беззащитно. И… ох, нехорошо мне стало. И, уже заступаясь за Сашку, я заметил сварливо: — Но теперь-то, когда катамаран улетел, можно освободить пленника…

Сашку как током тряхнуло. Вскинул глаза на Пантюхина:

— Улетел?!

— Да, — сказал Пантюхин. Он глядел в сторону.

— А вы?!

— А я остался, как видишь.

— Почему?!

— Потому… Так надо.

Я почувствовал, что сейчас в Сашке порвется какая-то нервная жилка. И сказал, чтобы сбить напряжение:

— Даже смешно, товарищи. Как в плохом фантастическом романе сороковых годов. Тогда часто писали про зайцев школьников на звездолетах… А как по правде мальчишка заберется в закрытый корабль? Там что, нет сигнальной системы?

Все, даже Сашка, посмотрели на меня, будто на младенца. Клим Збаров проговорил со стонущей интонацией:

— Он же не просто лоцман! Он четырехмерник всей душой, от Бога! Что ему стоит проникнуть в любую замкнутую емкость…

Пантюхин вдруг взял Сашку за плечо. И совсем другим голосом, не тем, что орал и командовал, объяснил:

— Он здорово нам помог. Посоветовал сбросить каменную корку с помощью вибрации. А то ведь мы таскали эту оболочку еще со времен посадки

в Каменном Лесу, на Марсе… Но никто не думал, что мальчик Сашка метит в экипаж…

Сашка стоял с опущенной головой. Со щеки сорвалась капля-искорка. Все молчали и не глядели друг на друга.

Пантюхин сказал неловко:

— Если бы просто темпоральный скачок по вектору, тогда не жалко. Туда-обратно, дело нехитрое. Но это же невозвратный рейс… Видишь, даже меня оставили…

Сашка вскинул лицо, не стесняясь мокрых глаз.

— Как невозвратный?

— А вот так… Кончена программа. И вообще… Ты даже не представляешь, что было бы. Сесть корабль уже не может, только сбросит автомат…

— Вот и сбросили бы нашу радость с автоматом, — заметила девица. Она уже не всхлипывала.

— Автомат сядет в пустыне…

— Значит, вовремя украли голубчика, — вздохнул я. — Но, если он умеет свободно проникать в замкнутые объемы, то и обратно должен уметь. Почему же не вырвался от вас?

— Потому что мы тоже не лыком шиты, — буркнул Збаров.

А Кирилл сказал с оттенком гордости:

— Ухватили мы его и правда в последний момент… Визжал и царапался, как стая камышовых котов… Мы, собственно, не собирались его увозить, хотели только предупредить вас. Но он оказался в комнате один. И в драку…

— Мы сегодня же сообщили бы вам, — добавил Збаров.

— А как вы узнали, что он… это самое…

— Служба такая, — насупленно отозвался Збаров. — Всё должны знать о проводниках. Кто где ходит, кто как работает, кто задумал податься в дезертиры…

— Ты не обзывайся! — взвился Сашка. — Кто дезертир?

— А кто бы это на самом деле? — Збаров возвел глаза к потолку. — Может, я?

— А я, что ли?! Я Игорю Петровичу все показал, что надо! Даже перевыполнил программу!

— А по срокам? Что в контракте сказано?

— При чем тут сроки! Если программа выполнена!.. Игорь Петрович, скажите им, сколько мы…

Я прислонился к косяку и грустно сказал:

— У меня нет претензий к проводнику. У меня только вопрос… к мальчику Сашке, с которым мы… ну, не то чтобы подружились, но все-таки. Вот улетел бы этот Сашка, а я что? Бегай, ищи,

кричи-надрывайся: где ты, куда девался?

— Ну-у, Игорь Петрович! — Клим Збаров даже привстал со стула. — Это вы зря! В этом плане наш Сашенька человек обязательный. Собирался и маме письмо отправить, и вас не забыл. Вот, полюбуйтесь. Как говорится, изъято при задержании… — Он вытащил из кармана куртки помятые конверты.

— Дай сюда, — набыченно сказал Сашка. — Чужие письма хватать — это свинство.

— А тут не чужое… — Збаров поднялся. — Это Игорю Петровичу адресовано, пусть он и полюбопытствует…

— Не смей. Дай сюда!

— А зачем писал, если не хочешь, чтобы…

— Дай сюда! — сказал Сашка с таким звоном, что диспетчер Збаров малость усох и сунул конверты ему в руку. Сашка скомкал письма в шарик, рывком затолкал его в карман на шортиках, отчего они сильно съехали, и он яростно поддернул их.

Збаров потоптался перед нами и вдруг сказал официальным голосом:

— Игорь Петрович, объединение «Пилигрим» приносит вам извинения за инцидент с проводником Крюком. Вы вправе расторгнуть контракт, деньги будут возвращены без вычетов.

Сашка опять уронил голову. Я смотрел на его пушистую макушку, и делалось мне все горше и горше.

— Нет, зачем же расторгать. Мы и правда выполнили программу… Верно, Сашка?

Он шевельнул плечами, затеребил, задергал на кромке штанов оставшуюся пуговку.

«А, собственно говоря, что я от него хочу? От ребенка… Дружеской преданности? Но кто я для него?»

Девица подняла с пола рюкзак и бухнула его на табурет. Остальные вздрогнули, Збаров посмотрел на часы.

— Через час нам надо уезжать…

Сашка глянул исподлобья, и в негромком вопросе его проскользнула капелька ехидства:

— Что так быстро?

Ответил Кирилл. И не Сашке, а мне:

— Хорошо четырехмерникам, которых Господь наградил талантом от рождения. Шастают где хотят, без всякой науки. А мы — расчетники. Прежде, чем сунуться в сопредельное пространство, считаем и формулы выводим до помутнения в голове. Ловим моменты для перехода… И если сейчас не уйдем, застрянем здесь неизвестно насколько…

— А у нас дел других полно, не только всяких Крючков ловить, — обиженным баском добавила девица.

Сашка презрительно промолчал. Збаров сказал:

— Этого доброго молодца, Игорь Петрович, мы, естественно, заберем с собой. А вам дадим направление к частному проводнику, он здешний. Серьезный, взрослый парень, без фокусов, как…

— А можете уйти вместе с нами, — предложил Кирилл.

Я молчал. Потерянно и сердито. Куда уходить, зачем? Я ничего не нашел здесь, ничего не понял и не решил… А что я хотел понять и решить?

— …Ну, или… — неловко проговорил Збаров.

— Что?

— Есть, конечно, и такой вариант… Контракт еще не завершен. В принципе вы имеете право оставить прежнего проводника… Хотя после того, что случилось…

— Пусть решает сам, — сказал я.

Сашка не поднял головы. Все молчали. В этом молчании Сашка боком сделал два шаркающих полушажка. Ко мне. Плечом коснулся моего локтя. Нерешительно взял меня за обшлаг. Тепло прошло по мне от головы до пяток. Но я сказал

сухо:

— Пошли в гостиницу. Спать пора.

— Только пускай Крючок поклянется, что больше… — начала девица и вдруг заверещала, прижав к подбородку растрепанные косы. На кроссовке у Сашки сидела белая крыса с черным, как у морского кота, хвостом-жалом.

— Чибу не узнала, что ли? — сказал девице Кирилл…

Этот случай разрядил обстановку, все, кроме Сашки, посмеялись. Правда, как-то нервно. Пантюхин сказал:

— Я отвезу вас до гостиницы. Пошли, лоцман. — Взял Сашку за плечо, мягко двинулся к двери. Тот послушался.

— Игорь Петрович, задержитесь на минутку, пожалуйста, — попросил Кирилл. Он был сейчас похож не на матадора, а на смущенного студента. Я остался.

— Игорь Петрович, вы за ним поглядывайте, ладно? — тихо сказал Кирилл. — Раз уж так получилось… А то у него общий алгоритм паршивый…

— То есть?

— Ну, существует такое понятие — алгоритм пути, — хмурясь, вмешался Збаров. — Или ал-

горитм события… Можно сосчитать с большой долей вероятности… Мы стараемся рассчитывать, когда отправляем проводника. А на Сашку как ни посчитаешь, обязательно выскакивает возможность чего-то… такого. Иногда вообще… прямо трагический потенциал… В этот раз, когда направляли, все вроде было нормально. А сегодня утром пересчитали на всякий случай (душа-то неспокойна), и — мамочки мои — сплошные минусы на выходе! Белые на черном…

Неуютно мне стало, зябко…

— Но зачем же вы тогда…

Кирилл перебил меня:

— Да сейчас-то уже все в порядке. Этот вариант мы нейтрализовали. Правда, скандальным путем, но…

— Я не про этот вариант, а вообще. Зачем вы его посылаете, если… этот алгоритм ваш такой.

— Это не наш, это его алгоритм, — неохотно сказал Кирилл. — А посылаем… потому что это лучше, чем если бы он сам… Разве удержишь? Есть птички, которые в клетке не живут.

Девица шумно шмыгнула носом и объяснила:

— Это все равно, что стараться запретить поэту стихи сочинять. Как он это сможет, если он даже думает стихами?

Я вспомнил, как Сашка дирижировал пространствами… А потом почему-то, как нес его через каменную осыпь к месяцу. И ощутил в нагрудном кармане теплый камешек.

Кирилл, морщась, переступил с ноги на ногу. Я сказал:

— Мне очень жаль, что я так неловко… лягнул вас.

— Ничего, — буркнул он. — Будем считать, что это вроде автографа.

4. К вопросу о педагогике

В машине мы молчали. Пантюхин высадил нас у гостиницы и коротко попрощался, сказав, что завтра утром уезжает. Взлохматил Сашке волосы и укатил.

В комнате Сашка увидел очки. Спросил нерешительно:

— Это что?

— Подарок тебе. От «Даблстара»…

Непонятно, обрадовался ли он. Примерил очки, снял, помахал ими. Скинул кроссовки, с ногами забрался на кровать. Тихонько сел, привалился к стене. Натянул очки на поднятые к подбородку коленки, пощелкал резиной…

Я копался в «сидоре», отыскивая чистую рубаху.

Молчание давило нас обоих.

Наконец Сашка сказал, будто издалека:

— Игорь Петрович, простите меня, пожалуйста…

Я понимал, что веду себя дурацки, и все же ответил надуто:

— Ну, ты же знал, на что идешь, когда хотел удрать. Чего теперь извиняться?

— А вы… очень обиделись?

— А ты как думаешь? Радоваться мне, что ли?

Кажется, Сашка чуть-чуть ощетинился.

— А тогда… зачем согласились, чтобы я опять с вами?

«А ты почему захотел, чтобы опять вместе?» — чуть не спросил я. Но вместо этого получилось:

— А затем, что показалось… что возвращаться с «пилигримами» тебе совсем уж тошно. И еще…

Он стыдливо стрельнул глазами.

— Что?

— Я не привык бросать тех, кто со мной в Дороге…

Эх, зачем я его так? Будто наотмашь… Идиот старый!

Сашка сжался. Потом спросил глухо:

— Что же мне теперь? Головой о стенку стукаться?

Чтобы как-то все смягчить, я проворчал добродушно:

— Если голова дурная, расплачиваются другим местом…

Сашка не смягчился. Спросил пренебрежительно:

— А для вас было бы удовольствием отлупить меня, да?

«Дурень, — чуть не сказал я. — Даже своих детей я сроду пальцем не трогал…» — Но опять меня защекотал этакий педагогический зуд.

— Дело не в удовольствии, просто для назидания следовало бы тебе всыпать горячих… Кстати, имею право! Ты сам ко мне в племянники записался. Так что я мог бы взгреть тебя, как родственник.

Сашка опять сильно щелкнул резинкой очков. И сообщил:

— Один пробовал. В прошлом году… Месяц с прокушенным пальцем в больницу ходил.

— И кто же этот неудачливый воспитатель?

— П-папочка, — с непередаваемой интонацией сказал Сашка.

Тут мне совсем стало тошно. И чтобы это

скрыть, я постарался проговорить со сдержанным упреком:

— Весьма сочувствую твоим семейным неприятностям… Но, в конце концов, не я в них виноват. И не я толкал тебя на… сегодняшнее приключение. Так что зря ты на меня дуешься.

— Это вы… дуетесь.

— Но у меня-то есть основания!

— А у меня… А мне теперь что? — И вдруг он предложил, хихикнув: — Ну, давайте в угол стану. Коленями на горох.

— Где ты горох-то возьмешь?

— Ну… тогда просто так. Меня маленького мама носом в угол ставила…

— Видимо, недостаточно…

— Ага, — отозвался он с намеком на прежнюю дурашливость. — Хотите, стану? — И спустил ноги с кровати. Это была уже наполовину игра.

— По-моему, ты сам хочешь. Наверно, для очищения души от греховной тяжести.

— Встаю, — решительно вздохнул Сашка. И шагнул в угол между окном и креслом. Встал ко мне спиной. В нарочито покаянной позе: пятки раздвинул, колени свел, голова ниже плеч. И начал легонько поддавать ногой очки, которые держал за резинку в сложенных за спиной руках.

Я закрыл «сидор». Сказал Сашкиной спине:

— Какой смирный, послушный ребенок. Всегда бы такой…

Он поддал очки сильнее и пробубнил не обернувшись:

— Между прочим, это тоже унизительная процедура. Торчать вот так…

Я изобразил сдержанное злорадство:

— Естественно. Всякое наказание унизительно. Ибо оно — наказание, а не праздник.

— Значит, вы меня наказали? — обрадовался Сашка.

— Здрасьте! По-моему, ты сам себя наказал.

Он поглядел через плечо:

— И долго мне так стоять?

— Наверно, пока дурь из головы не улетучится.

— Тогда всю ночь, — печально сказал Сашка.

— Ночь не ночь, а пока я не вернусь, стой.

— А вы куда? — испугался он.

— Это детям до шестнадцати знать не полагается.

По правде говоря, я хотел пройтись по улице, а потом заглянуть в бар и пропустить рюмку коньяка. Нужно было очухаться от всего, что случилось, и заодно решительной мерой снять давление, а то в голове начинался гипертонический гудеж.

…Так я и сделал. Потолкался среди все еще шумной, хотя и поредевшей карнавальной толпы. Все обсуждали взлет «Даблстара». Одни уверяли, что это пришельцы, другие — что подготовленный организаторами праздника аттракцион. Третьи с ними спорили, что никто ради аттракциона не разрешил бы разрушать памятник природы и древности.

Я спохватился, что ни о чем не расспросил Пантюхина. Как могло оказаться, что корабль стоял на площади несколько веков? Неужели «Даблстар» когда-то ушел по вектору времени назад и приземлился в прошлом? И значит, у них в корабле совсем иной темп времени? Ведь Пантюхин вовсе не библейский старец, а кроме того, там есть даже и мальчишка. Откуда он вообще, этот «Даблстар»? Что ищет, в каких пространствах?

От размышлений голова загудела сильнее, но порция в баре оказала благотворное воздействие. И я с удовольствием вспомнил, что за три дня путешествия в этих краях мои прежние хвори не потревожили меня. Что ни говори, а благодаря Сашке.

Я взглянул на циферблат. Прошло уже около часа, как Сашка отбывал свой добровольный арест. Впрочем, я не думал, что он и вправду

торчит в углу. Наверняка завалился на кровать и читает «Плутонию» или развлекается с Чибой. И, поднявшись на второй этаж, я в коридоре нарочно затопал погромче, чтобы Сашка успел принять в углу у кресла прежнюю смиренную позу и продолжить игру.

Глава 8. ЛИХОРАДКА
1. Пробитое небо

Все-таки он меня надул. Самым бессовестным образом. Когда я вернулся, его и след простыл. Снова было раскрыто окно. Теплый воздух шевелил на столе самолетик из газеты, который Сашка, видимо, смастерил без меня… Я со страхом, с нарастающим опять чувством беды обвел глазами комнату. Чибы тоже не было. И… не было нигде пилотских очков.

Жуткая догадка толкнула меня к двери. Я прогремел вниз по лестнице, кинулся через улицу, толкая людей в пестрых костюмах и масках. Надо мной смеялись, палили вслед из хлопушек. А я, задыхаясь, торопился к площади. С ужасом, с горькой жалостью к обреченному Сашке!

Конечно… Конечно, он так решил… Почему я сразу не догадался? Ведь можно было понять: раз не удалось удрать на «Даблстаре», он попробует взлететь на самолете. Назло судьбе! Чтобы доказать себе и всем, что каменного неба нет!..

Как спасти? Догнать, вцепиться в хвост самолета!..

Нет, не успел я… Когда пробился на площадь, красно-желтый самолет уже дрожал и дергался в сбивчивом ритме двигателя. Треск мотора — как у десятка гоночных мотоциклов — заглушал голоса толпы. Пропеллер превратился в прозрачный искрящийся круг, и за этим кругом, за лобовым стеклом, за выпуклыми очками я увидел прищуренные Сашкины глаза.

— Сашка, не надо!

Конечно, он на меня не взглянул. Не услышал за треском настоящего мотора. Да и в полной тишине он никого сейчас не услышал бы. Он весь был в напряжении старта и прицельно смотрел вперед… Треск перешел в ровный вой, с капота ударил белый прожектор, луч рассек надвое толпу.

— Сашка, не смей… — сказал я уже плачущим шепотом.

Самолет шевельнул подкрылками, дернулся и побежал через площадь, подпрыгивая резиновыми бубликами колес на булыжниках. Скорее, скорее… Он пронесся совсем рядом, крыло мелькнуло в метре от моего лица, обдало ветром.

На середине площади самолет взлетел. Толпа замерла, потом разом ахнула: казалось, летучая машина врежется на малой высоте в крышу го-

родского управления, рядом с башней. Но перед самим зданием самолет взмыл, лег на крыло, сделал вокруг башни «бочку» и пошел над площадью по кругу. Толпа будто взорвалась, все орали, плясали, швыряли над собой маскарадные колпаки и шляпы. Три прожектора поймали самолет своими лучами, и он засверкал красным лаком и стеклами. Я видел, как светло-желтым огоньком вспыхивают Сашкины волосы…

Все ликовали, думали, что этот полет — еще один сюрприз праздника. И только я закостенел в обморочном предчувствии.

Самолет в сотне метров над крышами несколько раз облетел площадь, потом вдруг вошел в крутое пике. Ниже, ниже… Опять все замерли, и в этой тишине кто-то пронзительно завопил. Я хотел закрыть глаза и не смог…

Над самыми головами машина выровнялась. Сперва летела горизонтально, затем снова свечкой пошла вверх. Выше, выше!.. Прожекторы едва успевали за ней. Но вот они запутались в густых волокнах облаков, а самолет мелькнул красной каплей и ушел в этот взвихрившийся туман.

Прожектора качнули лучами и погасли…

Несколько секунд ничего не было. Ни движения людей, ни звука мотора, ни голосов. И я вдруг

испытал великое облегчение. Значит, Сашка пробился! Так же, как звездный катамаран! А почему я, дурак, решил, что он не пробьется?

Но в этот миг площадь тряхнуло глухим каменным ударом. И вверху разошелся ярко-желтый свет.

Среди разорванных облаков горела теперь громадная звезда. Нет, не звезда. Пробоина в каменном своде — неровная, с разбежавшимися трещинами-лучами. В нее пыльным светлым столбом вошел и упал на толпу тяжелый солнечный свет.

Наверно, в другое время это могло показаться красивым. Но в ту минуту… С нарастающим свистом летели вниз и грохались на площадь громадные камни (не знаю, зацепило ли кого-нибудь). Затем, кувыркаясь, упало на булыжники исковерканное хвостовое оперение. Рядом с ним ударилось резиновое колесо. Подпрыгнуло выше голов и поскакало по булыжникам…

Растворяясь в безнадежности и ужасе этого бреда, я ждал, когда упадет и весь самолет. И… Но время тянулось, тянулось, и было непостижимо, как можно вынести такую муку. И наконец лопнувшей струной ударила догадка: самолет не упадет *здесь*. Он все-таки пробил каменный

свод…

…Почти не помню своего пути из-под Горы. И главное, не помню, сколько прошло часов. Кажется, я мчался куда-то, стоя на крыле пыльного дребезжащего «газика» с парусиновым верхом. Потом карабкался по обрывам — по тем, которые не смог преодолеть в детстве. Наверно, очень долго карабкался. Но времени просто не существовало. И не существовало усталости, боли в сорванных ногтях и сухом растрескавшемся горле…

Потом я долго шел по горячей от солнца равнине. Сквозь щебенку росли кустики сизой полыни. Я шел, шел… И знал, что в конце концов увижу в земле черную дыру с трещинами, а на краю — обломки самолета. И… его…

Не было дыры, только горячая каменно-клочковатая плоская земля. Но когда горизонт стал дымчато-оранжевым, а среди кустиков струйками зазмеился песок странного апельсинового цвета, я увидел самолет. Его остатки. Неожиданно и совсем рядом. Груда деревянных шпангоутов, дюралевых трубок и рваные полотнища алой и желтой перкали.

Я заставил себя подойти.

Сашка лежал под обломком крыла. Видны были

раскинутые коричневые ноги. Почему-то не в кроссовках, а в нелепых старомодных ботинках с пуговками. По крылу бегал птичий скелетик. Маленький, гладко-желтый, вроде того, что я не раз видел в витрине магазина «Учебные пособия». Скелетик наклонил головку, глянул на меня пустой глазницей и отчетливо сказал:

— Непр-равда. Это Анд-р-рис…

— Пошел… — отозвался я. Без удивления, уже без страха, только с ощущением невыносимой жалости и горя. Взялся за крыло, отвалил его.

Сашка лежал ничком, в метре от головы валялись расколотые очки. Льняная рубашка на спине была в бурых пятнах, волосы тоже в засохшей крови. Правую руку он поджал под себя, левую откинул в сторону… Мне вдруг показалось, что пальцы шевельнулись, будто хотели сжать кремневый осколок. Я быстро нагнулся, схватил Сашку за тонкое запястье с белой полоской от сорванных часов. Потянул осторожно. «Сашка…» Рука легко отделилась от тела. Из места обрыва тянулись какие-то белые ленточки, похожие на резиновую лапшу…

— Это алгор-р-ритм! — крикнул из-под крыла скелетик.

Опрокидываясь во тьму, я успел сжать остатки

сознания, спрессовать их в мольбе: «Не надо! Пусть это будет сон!»

И сделалось, что это сон.

Я выходил из сна с колотящимся, как у перепуганного пацаненка, сердцем, со счастливым ощущением, как отступает, превращается в ничто недавний ужас. И вспоминал, что по правде все было не так. Что, вернувшись, я застал Сашку в углу и он в ответ на мое глуповато-бодрое «Как дела?» независимо шевельнул спиной: «Видите, стою. Из принципа…»

— Хватит уж дурака-то валять, — проворчал я. — Вот, я тебе яблоко принес. И бутерброд с ветчиной. Бери, лопай…

Он подошел, взял яблоко. Бормотнул что-то вроде «спасибо». Скинул кроссовки, забрался на кровать, погладил Чибу-котенка, который дрыхнул на подушке. Воткнул в яблоко зубы.

— Может, уж хватит коситься друг на друга? — сказал я.

— Ага… — Он заулыбался и часто зажевал.

— И наверно, спать уже пора. Вон как нагулялись за день.

— Ага…

…И сейчас он, конечно, посапывает, свернувшись под простыней. Я скосил глаза на Сашкину

кровать.

Не было Сашки! Только смятая простыня. Я стремительно сел. Дверь в прихожую была открыта, а другая дверь, в туалет, светилась яркой щелью. А, вот оно что…

Какие-то странные горловые звуки донеслись из-за двери — то ли кашель, то ли всхлипы. Я шагнул в прихожую, нажал выключатель. Сашка появился из-за двери — всклокоченный, с измученными глазами в темных впадинах, с мокрым подбородком.

— Игорь Петрович… Меня почему-то очень тошнит… — И стал сползать спиной по косяку.

Я схватил его. Он был как налитая кипятком грелка.

2. Жар

Дальше опять был страх. Словно продолжение сна. Горячий и беспомощный Сашка обвис у меня на руках. Тяжелый такой, будто неживой. Я принес его на кровать. Зачем-то суетливо укутал простыней до подбородка.

— Да что же это… У тебя жар наверняка под сорок!

А он вдруг перевалился на бок, свесил с кровати

голову, его опять затошнило, затрясло. Я подхватил его за плечи, чтобы хоть как-то помочь. Чтобы не вздрагивал так, не стонал. А он то мучился от судорог, то страшно обвисал. Потом выдавил:

— Все…

Я снова уложил его на спину.

— Что же с тобой? Отравился чем-то? Я сейчас в «Скорую» позвоню, внизу телефон…

— Не… — Он слабо дернулся. — Не надо… Это не отрава… Это от жара тошнит. У меня так… бывает…

— Все равно! Врач нужен!

Ох как не хотел я врачей! Но что было делать?

— Не… Это пройдет… скоро. Не бойтесь…

Но я боялся. Боялся за него, боялся своей беспомощности. Боялся жуткой предсказанности того, что случилось. «Это алгор-р-ритм!»

— Полотенце на голову… мокрое… Мама так всегда…

Я метнулся в туалет, намочил два полотенца. Одним обтер Сашке лицо, другое положил на лоб. Сашка благодарно притих.

Лампу я не включал, но света из прихожей было достаточно. Я видел Сашкино лицо под мокрой чалмой, оно казалось маленьким, острым и незнакомым. Да, надо идти к телефону, звонить

по «ноль три». Но я оттягивал эту минуту, будто надеялся на что-то. Может, на то, что это опять сон? Нет, все теперь по правде. Я нагнулся, стал затирать полотенцем пол. Сашка зашевелился, выдавил жалобный шепот:

— Игорь Петрович, простите, пожалуйста… Что я так…

Меня аж перекрутило от жалости.

— Лежи ты, лежи спокойно. Не надо разговаривать…

— А врачей нельзя… вызывать. Они… решат, что заразное что-нибудь. И в больницу…

— В любом случае я тебя не оставлю.

— А вас не спросят… Меня в карантин, а вас… тоже… для проверки…

Черт возьми, а ведь и правда может так случиться! Но я сказал со всей решительностью:

— Вдруг ты в самом деле подцепил что-то такое, опасное.

— Да нет же-е… — выдохнул он со стоном. — Это лихорадка. От пере… грузок. Много было барьеров… в пространстве…

— Но ведь я тоже их проходил. И ничего…

— Вы большой… Не надо «Скорую»…

Я прополоскал в ванне грязное полотенце, вымыл руки. Вернулся к Сашке. Компресс уже

нагрелся, как от чайника. Я перевернул его и прямо-таки обжегся о лоб… Может, разбудить хозяйку, попросить лекарство от жара? Она, конечно, мегера, но должна же понять. Ведь ребенку плохо!.. Или выскочить на улицу, спросить, где тут дежурная аптека?.. Батюшки, голова дырявая! У меня в портфеле аптечка, в ней аспирин!

Я вытряхнул все из «сидора», нашел коробочку, выхватил облатку с аспирином. Принес полстакана воды.

— Сашка, надо проглотить. Обязательно. Жар ослабнет, уснешь. А утром поглядим.

— Ага… Давайте…

Я помог ему сесть, придерживая за спину. Она просто полыхала, колючие позвонки жгли сквозь майку ладонь, будто угольки. Сашка проглотил таблетку и воду, помычал, откинулся. Но через минуту снова свесился с кровати и его опять стошнило. Водой и белыми зернышками лекарства.

— Нет, голубчик, так не пойдет. Надо, чтобы аспирин растворился внутри.

— Я же не нарочно…

— Я растолку таблетку в порошок. Выпьешь и крепись.

Он выпил и крепился. На груди от частых толчков сердца вздрагивала простыня. Я подтащил

кресло, сел рядом. Взял Сашку за кисть руки — тонкую, как птичья лапка. Вспомнил сон, вздрогнул, но пальцы не разжал.

— Чибу… дайте мне, пожалуйста.

Ох, малыш ты, малыш…

Чибу я нашел на подоконнике — опять в виде тряпичного клоуна, будто неживого. Сашка положил его под бок. Улыбнулся чуть-чуть. Я сменил ему компресс, опять сел у кровати. Сашка вроде бы задремал… Надолго ли? И что будет дальше?

Когда болели Лариска и Денис, их лечила Тереза. А мне оставалось только бояться за них и быть на подхвате — бегать в аптеку, делать грелки, вызывать докторшу Веру Игнатьевну… И всегда была уверенность, что умелые решительные женщины справятся с любой ребячьей хворью… А сейчас я один на один с безжалостной Сашкиной болезнью. Как на необитаемом острове.

Я опять взял Сашкину руку. То ли мои пальцы уже притерпелись, то ли в самом деле жар, кажется, сделался поменьше. Я откинулся в кресле. Тяжелая, липкая, как смола, дремота обволокла меня. Но потом сделалось легче, и оказалось, что я — маленький, десятилетний — иду вверх по деревянной лестнице в разрушенном приморском храме.

Но шел я без привычной детской радости, без ожидания встречи с морем. Горько мне было.

Оказавшись на каменной площадке, я не взглянул на картину. Потому что это был бы взгляд с упреком. А какое право я имел упрекать тех, кого впереди ждало столько мук?

Но все же я сказал тихо и насупленно:

— Если бы что-то со мной случилось, то ладно, так мне и надо. А Сашка-то при чем? Получается, что он из-за меня…

Потом я осторожно поднял глаза на нижний край картины. Над лакированной планкой рамы увидел зеленый край платья и босые мальчишечьи ноги. И только теперь заметил, что большой палец на левой ноге, видимо, разбит — замотан серой тряпицей, из-под которой торчит зеленый листик. Наверно, подорожник — извечное мальчишечье лекарство… Тогда я прошептал:

— Ты ведь тоже мальчик. Помоги ему, а?.. Я понимаю, что невозможно помочь каждому на Земле, когда так перемешано добро и зло… Но Сашке помоги, постарайся, ладно? Потому что… — Я не знал, какие найти убедительные слова. — Ну… потому, что он проводник. Он водит других, а сам беззащитен на Дороге…

Я мигнул, вытер под носом рукавом ковбойки.

Внизу, у края рамы, висел синий стеклянный пузырек с еле заметным клочком пламени. Я сел перед ним на корточки.

— Ты же сам отпустил меня на Дорогу…

Огонек шевельнулся. Я нерешительно придвинул к нему ладони. И опять он согрел их сквозь стекло пушистым теплом. Совсем не таким, как колючий жар Сашкиной болезни.

С этим ощущением я проснулся. За переплетами венецианского окна светил желтый рассвет Подгорья.

3. Ловушка

Сашка лежал на боку, носом к стене. Волосы его склеились в сосульки. Влажная простыня была откинута. Майка пропотела насквозь. Я тронул мокрое Сашкино плечо — оно было теплое, но без большого жара. Он проснулся, повернул голову, улыбнулся слабо и виновато.

— Ну, кажется, наши дела получше, — сказал я. — Давай-ка маечку снимем, а то простудишься в сырой… — Помог ему сесть, стянул майку через голову и жидкие, как плети, руки. Опять поразился щемящей разнице между загорелой кожей шеи и беспомощной белизной спины с

лопатками-крылышками. Ощущение Сашкиной ребячьей беззащитности резануло меня новым страхом.

А он вдруг оперся локтями о подушку, пробормотал:

— Ох, простите, мне надо… — Спустил с кровати ноги.

Я помог ему дойти до туалета, подождал, привел назад. Откинул на своей кровати одеяло.

— Давай-ка сюда… — Уложил его на сухие простыни.

— А вы? Где будете спать?

— В кресле выспался.

— Намучились вы со мной…

— Помалкивай… Ну-ка укройся, а то дрожишь.

— А где Чиба?

Чиба — в виде котенка — вышел из-под кровати, муркнул: «Доброе утро». Прыгнул на одеяло. Свернулся клубком.

Я придвинул кресло, сел.

— Спи. Рано еще. Тебе сейчас полезно больше спать.

— Ага… — Сашка послушно прикрыл глаза. Но через минуту опять вскинул ресницы. Глянул на меня, на потолок.

— У тебя что-нибудь болит?

— Не-а… Только весь такой… будто через выжималку в стиральной машине пропустили.

— Бедняга ты… Отчего на тебя такая напасть?

Он пробубнил — и виновато, и насмешливо:

— За то, наверно, что от вас… удрать хотел.

— Ты что же? Веришь в Провидение?

— В привидения? — удивился он.

— Да нет… В судьбу, в законы высшей справедливости и так далее…

Сашка погладил Чибу, вздохнул, глядя в потолок:

— Мама верит… Она говорит, что, если что-нибудь натворил, расплачиваться все равно придется. Поэтому и не наказывает. Говорит, что жизнь сама спросит…

— И сбывается?

— Часто…

— Мудрая у тебя мама…

Он скосил на меня глаза, сказал нерешительно:

— А у вас… разве не такая?

— У меня, Сашка… маме было бы сейчас уже за девяносто. Я был поздний ребенок…

— Ну, все равно. По-моему, она похожа на мою… была…

— Почему ты решил?

— Ну… когда вы по хронофону говорили, помните? У нее голос похожий… как у моей мамы.

— Может быть.

Я вспомнил историю с сундуком и телефонным аппаратом, и показалось, что случилось это давным-давно… Как хорошо было бы оказаться сейчас на Пустырной улице (такой привычной, просто родной) под решительной опекой Генриетты Глебовны Барнаво… Но как туда доберешься с беспомощным Сашкой?

А здесь — ни друзей, ни знакомых. Пантюхин? Неизвестно, где его искать. Ребята из «Пилигрима» еще вчера покинули Подгорье… Сашка снова не по-хорошему розовел, и глаза у него блестели. Я потрогал его лоб.

— Ну вот! Опять ты раскалился.

— Да ничего… А почему вы сказали, что были поздний ребенок?

— Потому что так… Сперва старший брат и сестра родились. А я уже много после, через двенадцать лет…

— А я всего один… Тоже поздний. У мамы долго детей не было, а потом… вот…

— «Вот» получился вполне удачный, — деликатно сказал я.

— Не знаю. Маме сравнивать не с кем, раз я

один… А вас брат и сестра не обижали маленького?

— Нет… Когда я подрос, они жили уже отдельно, учились в Ленинграде, потом и остались там… А мы с мамой вдвоем… Отец был офицер, после войны в Германии служил, а потом… В общем, развелись они.

— Все похоже, — выдохнул Сашка.

— Что поделаешь…

— Может, и к лучшему. А то с отцами одни скандалы…

Я хотел возразить, что с моим отцом было иначе — ни историй, ни скандалов. Но, во-первых, от этого не легче, а во-вторых… зачем это Сашке?

— Видать, хлебнули вы с мамой, — сочувственно сказал я.

— Было, — согласился он как-то очень бесхитростно. — Главное, что при этом у меня свойства терялись. «Проводниковые»… Я боялся, что навсегда… А вас никто, значит, никогда не обижал… и не трогал?

— Одно время жила с нами младшая мамина сестра, тетя Лика. Да какая там «тетя», студентка. Она возымела привычку хлопать меня линейкой. Но это обычно кончалось так: она линейкой — трах, а я выхвачу — и о колено. Наломали в конце

концов столько, что хоть печку растапливай… Только один раз меня хотели взгреть по-настоящему. Попал в ловушку.

— Терпеть не могу ловушки.

— Кто же их любит… Мы с приятелями стреляли из луков, и стрела моя залетела в чужой двор. А в нем — палисадник вокруг грядок, высокий, выше моей головы… Ну, думаю, там надо искать. Перелез и вдруг вижу: ко мне дядька движется, хозяин… Не какой-нибудь там краснорожий кулак, а вполне профессорского вида, в очках, в соломенной шляпе, с бородкой… Я, конечно, обратно к палисаднику. Ухватился, ногами скребу по рейкам, в обе коленки занозы вогнал, а руки слабеют. Как во сне, когда за тобой гонятся, а ты еле движешься… Наконец подтянулся, но тут пальцы сорвались, и я повис… На груди между лямками была перекладинка, она наделась на торчащую рейку — и обратно мне никак, высоко…

— А оторвать нельзя? Перекладинку эту…

— Меня подвели штаны… До того дня я был ими очень доволен: крепчайшие, из замши особой выделки. Мне их отец из Германии прислал. Там, в Тироле, такие кожаные штанишки на лямках носят и мальчишки, и взрослые мужики. Сперва я надевать их стеснялся: какие-то «не советские»,

с кожаными кисточками, с отворотами. Однако ребята во дворе «трофей» оценили, самый образованный, Женька Ремезов, сказал: «Как у Вильгельма Телля». Понравилось всем и качество материала. Особенно здорово было в них кататься с наклонной крыши большого погреба, по гладкому кровельному железу. Правда, взрослые ворчали, что зад сделался отполированный…

— Так ведь тирольские штаны, они чем больше потертые, тем ценнее. Я читал, — вставил Сашка.

— Женька Ремезов так же говорил. Но тетушка Лика не верила и несколько раз хватала линейку. Однако тирольская замша и здесь мне служила верно…

Сашка хихикнул и спросил нервно:

— А в огороде-то… Вы все-таки убежали?

— Не сразу… В общем, я повис, как кукла в кладовке у Карабаса. Вывернул шею и смотрю в каком-то полуобмороке, как хозяин приближается. А он не спешит, видит, что я как пескарик на крючке. И улыбочка у него… Вырвал он у забора сорняк с крепким стеблем, идет, ощипывает с него листочки, помахивает. И глаза у него, Сашка, какие-то медовые, в них удовольствие, что вот он я перед ним — беспомощный, голоногий, готовенький для расправы… Но тут во мне как

пружина сорвалась: заорал, дернулся изо всех отчаянных сил. Рейка отломилась, повисла на мне вместе с ржавым гвоздем. Я плюхнулся в траву, схватил обломок, пустил его в хозяина. Кажется, гвоздем оцарапал ему щеку. И тут же — мимо него, в одну калитку, в другую…

— Не поймал?

— Нет… Потом, правда, разузнал про меня, приходил жаловаться. Мама перепугалась, засадила меня на целый день дома… Но это были пустяки по сравнению с той жутью, когда я висел, а он подходил… Мне и теперь этот случай снится, если жизнь опять ловушки устраивает…

— Я вот тоже теперь… в ловушке, — вздохнул Сашка.

— Ну, что ты говоришь! Ты же не один, со мной!

— Да… — Он посопел виновато, опять опустил ресницы и сказал так, с прикрытыми глазами: — Вы меня не бросили… А я вчера… вас чуть-чуть одного не оставил…

— Да ладно тебе. В конце концов, я же не больной. Взрослый, здоровый дядька.

— Ох уж здоровый…

— Ну, все-таки… Большой, самостоятельный.

— Не такой уж самостоятельный, если с про-

водником… А проводник-то чуть-чуть не сбежал!

Я сказал осторожно:

— Но ведь теперь-то ты уже не жалеешь, что у тебя ничего не вышло?

Он опять глянул очень блестящими глазами. Щеки розовели все сильнее. От жара или по другой причине?

— В том-то и дело, что жалею… Но если бы это вышло, жалел бы, что вас бросил… — И часто задышал.

— Сашка, что? Опять хуже стало?

— Нет, ничего…

Было уже совсем утро. В коридоре — шаги, голоса.

— Я сейчас вернусь…

Хозяйка была в баре. Я небрежно сказал ей, что мальчик слегка прихворнул: видимо, переутомился вчера. Не найдется ли градусник? Хозяйка градусник принесла и проводила меня настороженным взглядом.

Сашка подержал градусник минуты две и… — батюшки мои! — тридцать девять и две! Это с утра-то!

— Только не надо врача! Я еще таблетку проглочу, посплю, и все пройдет!

И он правда уснул, приняв аспирин.

И Чиба уснул, превратившись в летучую мышь и повиснув на люстре. Я тоже задремал в кресле… И проснулся оттого, что Сашку опять тошнило — водой и крошками аспирина. Я подхватил его за плечи, и снова он обвис у меня на руках, горячий и беспомощный. Потом откинулся на подушку, отдышался, выдавил жалобно:

— Это последний раз… Ничего…

Какое уж там «ничего»… Что же делать-то?

Едва я успел вытереть пол, как постучали в дверь. Появилась хозяйка с подносом. Величавая, как старая фрейлина.

— Вы сказали, что мальчик нездоров. Я решила, что позавтракать вам лучше здесь… — Она опустила поднос с тарелками и кофе на стол, оглянулась на Сашку. — О… да у него нешуточный жар! Вам не кажется, что это серьезно?

— Нет… — сказал Сашка.

Хозяйка повела плоским плечом, выплыла из комнаты. Но в дверях оглянулась и поманила меня. Я надел пиджак и вышел.

Хозяйка сказала опять:

— Вам не кажется, что это серьезно?

— Кажется, — признался я.

— По-моему, срочно нужен врач. Вы же взрослый человек, должны понимать.

Я был взрослый человек, я понимал: она права. И все же сидело во мне глупое ребячье чувство, что я предаю Сашку.

— И в конце концов… — У нее сделалось совсем деревянное лицо. — Поймите и меня. Здесь не медицинское учреждение. Вдруг у мальчика инфекция?.. Я позвоню в «Скорую помощь».

Я пожал плечами — с печалью и облегчением. Потому что спорь не спорь, а она все равно позвонит.

Когда я вернулся в комнату, Сашка, со свекольными щеками и торчащими волосами, сидел на краю кровати. Он был в рубашке на голое тело и суетливо натягивал шортики.

— Что с тобой? Ты куда?!

— Я знаю… она звонить пошла… врачам…

Сашка быстро встал. Затолкал босые ноги в кроссовки. Шатнулся. Я подхватил его. Он дернул горячими плечами.

— Окно откройте…

— Зачем?

— Откройте окно… ну пожалуйста! — сказал он так отчаянно, что я бросился, толкнул створку. Сашка ринулся мимо меня, вмиг оказался на крыше. Откуда только силы!

— Сумасшедший!..

— Карр! — заорал Чиба, вороненком качаясь на люстре. — Скар-рее! Кар-рета «Скор-рой»…

«Негодяй», — мельком подумал я, вываливаясь из окна вслед за Сашкой. Тот с кромки крыши сиганул в песочную кучу совсем как здоровый. Но с песка уже не встал. Приподнялся на четвереньках, потом сел. Прилег на бок…

Не помню, как я скатился по лестнице. Схватил его. Он всхлипнул, перемазанной в песке щекой привалился к пиджаку. Что-то бормотнул. Я — уже в каком-то отупелом отчаянии — понес его к крыльцу.

— Не туда, — простонал Сашка. — Вдоль забора.

— Не дури.

— Ну, я прошу вас… Грани сходятся, я чувствую. Это последний шанс…

— Ты бредишь, что ли?!

— Нет! Всего десять шагов! Если боитесь, закройте глаза! Игорь Петрович…

«Минутное дело, — решил я, — пусть. А то еще потеряет сознание…» — И, заплетаясь башмаками в траве, стал считать вдоль забора шаги. И зачем-то в самом деле закрыл глаза. А после десятого шага открыл…

И увидел, что стою на темной Пустырной ули-

це.

4. Спасение

Генриетта Глебовна поняла все моментально.

— Догулялся, голубчик!.. Несите его к моей кровати… — Она растолкала подушки, откинула атласное одеяло. Я с невыразимым облегчением опустил Сашку в прохладную мякоть обширной постели. Сдернул с него кроссовки.

Генриетта Глебовна стремительно облачилась в белый фартук, принесла полотенца и какие-то бутылки. Включила настольную лампу. За окнами синели сумерки. Наверно, при межпространственном переходе опять сместилось время, на Пустырной улице уже был вечер…

— Игорь Петрович, вы не переживайте, — бодро гудела Генриетта Глебовна. — У мальчишек это бывает. Особенно часто случается, когда резкая смена климата, например, если на юг приезжают. А ведь там, где вы гуляли, эти смены на каждом шагу… Сейчас мы этого героя натрем уксусом, вернейшее средство. Завтра будет как огурчик.

Сашка бессильно пробубнил в подушку:

— Не хочу… натираться…

— Да?! — обрадовалась Генриетта Глебовна.

— Надо же! Буду я тебя спрашивать!.. Игорь Петрович, помогите-ка его раздеть… Совсем, совсем… Ах, мы еще дергаемся! Какие мы стеснительные! Будто не видала я вашего брата… Вот так… Игорь Петрович, полотенце мне, пожалуйста, и бутылку…

От запаха уксуса закружилась голова. Я быстро отошел, сел. Локти Генриетты Глебовны энергично двигались. Покорившийся судьбе Сашка ойкал и постанывал. Я закрыл глаза.

— …Игорь Петрович, выпейте-ка вот это и тоже ложитесь. Вы, я смотрю, намучились с ним…

Я увидел у своего лица зеленый стаканчик, из него пахло мятой и валерьянкой. Я выпил, пошла по жилам прохлада и сладкая беззаботная усталость. Сашка лежал, укрытый до носа одеялом. Дремал. Ну и хорошо…

Я пошел к себе. Начал раздеваться. С грустью подумал о пижаме, которая с «сидором» и всеми дорожными вещами осталась в Подгорье… Ладно, лишь бы Сашка поправился… А то ведь этот его дурацкий «алгор-р-ритм»… Едва я забрался под одеяло, как постучала Генриетта Глебовна.

— Игорь Петрович, простите. Он про какую-то Чибу бормочет. Спрашивает, не появлялась ли. Я сперва думала, что бредит, но… Ай, кто это?!

В открытую форточку лезла обшарпанная плюшевая обезьяна с большущей (больше, чем она сама) синей сумкой через плечо. С книжкой «Плутония» в мягкой черной лапе…

Когда я проснулся, обрыв за окнами был рыжим от солнца.

Натягивая брюки, я слышал, как на кухне Генриетта Глебовна чем-то звякает и напевает старинный марш «Тотлебен». Это внушило мне бодрость и надежды. Я оделся и первым делом сунулся в комнату к Сашке. Там било в окна солнце. Сашка сидел на кровати, завернувшись в простыню, как в бурнус. Глянул на меня и сказал вредным голосом:

— Штаны куда-то спрятали. И все остальное… Что за жизнь! — Но тут рот его округлился, а глаза сделались несчастные: мимо меня в комнату двинулась Генриетта Глебовна. У плеча она держала вверх иглой искрящийся на солнышке шприц.

— Смотрите-ка! Жалуется! Я, старая, ночь на раскладушке промаялась, а он на перине почивал и теперь еще недоволен жизнью!.. Прекрасная у тебя жизнь, радость моя! И будет еще лучше, когда введем укрепляющее средство… А потом и штаны получишь. Ну-ка…

— Зачем! — панически сказал Сашка. — Не

дам я!.. Мне нельзя! У меня от этого… обмороки бывают! Правда!

— Обморок — это не смертельно. Зато здоровее будешь.

— Игорь Петрович! Я и так уже здоровый!

Но я развел руками в знак бессилия и покорности обстоятельствам. И вышел. Вскоре послышалось: «Ай! Ёшкин свет…» В ответ — сухой шлепок и добродушное: «Ты мне поругайся, чучело гороховое… Все, теперь ты живой-здоровый. Не первый раз я тебя за уши на белый свет вытаскиваю…» — «А когда первый-то был?» — «Много хочешь знать… Одевайся и брысь!»

Скоро Сашка появился — слегка надутый, но без признаков хвори.

— Как самочувствие, лоцман?

— Ага! Скажу, что плохо, так опять… «укрепляющее средство»…

— А если всерьез?

Сашка подпрыгнул, болтнул в воздухе ногами.

— Хоть сейчас на маршрут!

— Никаких маршрутов, — сообщила из своей комнаты Генриетта Глебовна. — Сегодня от дома не отходить, отдыхать, смотреть телевизор… Игорь Петрович, ему в самом деле еще нельзя. Да и вам полезно передохнуть.

— Слушаем и повинуемся.
— То-то же. Ступайте завтракать.

5. Кое-что о «Даблстаре»

До обеда Сашка то колдовал над комбинациями из спичек, то валялся на раскладушке и читал «Плутонию». Я тоже почитал — «Апокрифы» и «Вестник». Потом сходил в местный универмаг: надо было обзаводиться имуществом взамен оставленного в Подгорье. О Сашке-то Чиба позаботился, притащил сумку, а я остался даже без бритвы… Купил я объемистый портфель и все, что полагается человеку в поездке. Жаль было свой заслуженный «сидор», да что поделаешь… Хорошо хоть, что ушел из Подгорья в пиджаке, с паспортом и деньгами в кармане…

Вернувшись, я опять лениво взялся за книги. С Сашкой мы почти не разговаривали, но молчание наше не было тягостным. Оба мы были как два путника, утомленные долгим путешествием и понимающие друг друга без слов. Я спросил только:

— Сашка, а где Чиба?

Сашка сказал недовольно:

— Шастает где-нибудь. За ним разве усле-

дишь…

В обед Генриетта Глебовна покормила нас борщом и жареными карасями. Сашка ел охотно, и за это нам разрешено было погулять в парке над обрывом.

— Только не лезьте вверх напролом, идите по лестнице. А то знаю я вас, альпинистов.

С моей-то ногой напролом по обрыву! Скажет тоже… Тем более, что опять гудела голова. Ну, ничего…

Парк был захламлен, решетчатые павильоны и лавочки заросли сорняком. Сирень разрослась, как джунгли, и пахла одуряюще. А над ней — высоченные березы, клены и липы, солнце сквозь них — как тысяча золотых шпаг. И тихо-тихо. Почему-то совсем не было слышно и видно птиц. Только по кривоногому облезлому роялю, что стоял на развалившейся эстраде, прыгали воробьи.

Я забрался, открыл клавиатуру, хотел тронуть клавиши.

— Не надо, — тихо, но решительно сказал Сашка. — А то… всякое может быть.

Ну, ему виднее. На то и лоцман.

— Сашка, здесь что, никто не бывает? Рояль бросили…

Сашка повеселел, хихикнул:

— Бывают, наверно… Только по ночам. Такое тут…

— Кто? Нечистая сила, что ли?

— Ага… Похоже, — дурашливо сказал он.

— Ну тебя…

Сашка ответил уже серьезно:

— Я не знаю. Это закрытый объект. Сюда только у лоцманов первой категории есть полный проход.

— А у тебя какая категория?

— Пока никакой, потому что документов не дают. Но по третьей взрослой я все равно работаю. А то и по второй… Ура, лошадь! — Он взлягнул ногами и помчался от меня.

У края обрыва стояла не лошадь, а гипсовая скульптура лося с обломанными рогами. Сашка, будто обезьяна, забрался лосю на спину и сел с видом полководца. Но мне показалось, что он чересчур бодрится. Неестественно. Я вспомнил, как еще недавно он почти без сознания висел у меня на руках, и страх опять прошел по мне короткой судорогой.

— Сашка… Ты как себя чувствуешь?

— Я-то? Во! — Он вскинул большой палец, этим же пальцем почесал нос и сообщил решительно: — Завтра мы во-он туда отправимся. — Вытянул

к горизонту руку.

С обрыва был виден весь город Овражки, за ним луга и рощи, лес в синеватой дали, а из-за леса поднимались, как свечки, белые колокольни. На них и показывал Сашка.

— А что там?

— Ново-Камышино. Деревушка, а рядом крепость-монастырь. Там и сейчас монахи живут. Говорят, у них библиотека такая, что даже из всяких академий ездят… Может, вы там и ту самую книгу найдете, Ришелье…

— Как же, найдешь ее…

— А может… и Тетрадь. — Сашка хитро глянул с высоты.

Я не выдержал:

— Дернуло меня однажды за язык сказать тебе о них. И о книге, и о Тетради…

Кажется, он слегка надулся. Я проговорил примирительно:

— Пойдем еще побродим.

Сашка на животе сполз с гипсового «коня».

— Пойдемте. Мое дело такое, я проводник…

— Обиделся, что ли?

— Не обиделся. А только, что вы все время… это…

— Что?

— Киснете!

Вот ведь душекопатель на мою голову!

— Не кисну я. Просто подумал, что Генриетта Глебовна не пустит нас завтра. Путь-то небось неблизкий.

— Ага! Надо по речке сплавляться. Вон, видите среди лугов блестит… За день не успеть…

— Вот я и говорю!

— Ну и что! Поплывем, когда пустит!

— А послезавтра наш контракт кончается…

Сашка вскинул потемневшие глаза.

— Вам, значит, уже надоело со мной, да?

— С чего ты взял? Господи, да поплывем, если хочешь!.. Только больше не болей.

— Не-е! Теперь у меня им-му-ни-тет!

Мы бродили еще долго. Как в неведомом лесу. Наткнулись на кривобокую избушку, она стояла на могучем пне, будто на разлапистой птичьей ноге. Скорее всего, это был заброшенный киоск, построенный в нарочито сказочном стиле. Но…

— Смотри, Сашка, жилье Бабы Яги. «Ёшкин свет»!

— Точно! Сейчас бабка сама пожалует! На метле! — Сашка смеясь вскинул голову. Я тоже.

Небо уже было предвечерним. Бабы Яги в нем не оказалось, только золотилось похожее на перо

облако, и его протыкали два реактивных следа. Очень близко друг от друга. Видимо, два истребителя в тренировочном парном полете.

— Будто катамаран, — сказал я.

Сашка быстро и без улыбки посмотрел на меня. Вот тут я его и спросил:

— Слушай, лоцман, объясни мне все-таки: почему те люди, с «Даблстара», оставили на Земле Пантюхина? Он же капитан! Разве они имели право?

— Ну, значит, имели, — сказал Сашка неохотно. — Раз путь такой… безвозвратный. Они не хотели, чтобы Пантюхин тоже не вернулся. У него семья в Турени…

— Подожди… Что значит «невозвратный» путь? Зачем тогда мальчишку взяли?

— Какого мальчишку?

— Ну, был там кудлатый, маленький…

Сашка сказал, глядя под ноги:

— Вовсе это и не мальчишка… Они все там почти ровесники были — два темпоральных исследователя и капитан. Но один с Круга Времени вернулся на полуфазе, поэтому в таком виде…

— Ничего не понимаю…

— Я тоже толком не понимаю. Мне Пантюхин это в машине объяснял, в двух словах, пока вы

дремали…

— Я дремал?!

— Ага, вы сами не заметили. Когда в гостиницу из конторы ехали… Но он мало объяснил, про остальное я сам кое-как догадался. Тут вообще сплошная легенда. Оказывается, катамаран свободно менял направление по вектору времени, ходил то в прошлое, то в будущее… Но теперь у них кончился локальный срок. По алгоритму… И они пошли вдвоем, два брата, по прямой через Кристалл. Со скоростью света… До конца…

— До… какого конца?

— Пока не столкнутся с каким-нибудь метеоритом. Тогда каждый станет звездой… Двойная звезда…

— Страшноватая легенда, — вздохнул я. И подумал: «Только тебя там и не хватало»…

— Почему страшноватая? — кажется, обиделся Сашка.

— Ну… то есть печально все это. Разве можно стать звездой от столкновения в космосе? Сгоришь, вот и все.

— Это как лететь. У светового предела масса же возрастает… А душа… она разве может сгореть, если она есть?!

Я не знал, что сказать. И сказал, что пора до-

мой.

Этот обормот и бес-искуситель все же уговорил меня спуститься не по лестнице, а напрямик — с обрыва. И кончилось тем, что мы кубарем скатились прямо во двор к Генриетте Глебовне. Сашке-то ничего, а я чувствовал, что это последняя минута моего существования, и хотел только, чтобы никто не видел такой недостойной кончины. Но ее видели. На крыльце стояла незнакомая женщина.

Сашка кувыркнулся через голову, вскочил и кинулся к ней.

— Мама!..

6. Обман

Когда Генриетта Глебовна привела меня в состояние, близкое к жизни, я сел на крыльце и со стоном спросил:

— А этот… провокатор… Жив он?

— Что ему? Он резиновый. А вы самоубийца.

— Ох… А зачем его мать приехала?

Генриетта Глебовна опустилась рядом.

— Скажу честно, это я ей позвонила. Хоть ругайте меня, хоть бейте… Нельзя ему сейчас путешествовать, рецидив может быть. Слабень-

кий он. Организм-то растет, тянется, а сердечко отстает…

— Правильно вы сделали, Генриетта Глебовна, — сказал я со смесью грусти и облегчения.

— Я еще утром позвонила в Краснохолмск, только вам не сказала, чтобы раньше срока не расстраивать… Мы условились, что она завтра приедет, да вот не выдержала, примчалась. Хотя я и говорила: не волнуйся… Мы ведь с ней, с Верой-то, давно знакомы, только Сашка меня не помнит…

Вера Николаевна, Сашкина мама, оказалась вовсе не похожей на мою. Маленькая, тихо-улыбчивая, с желто-серыми Сашкиными глазами. Но, видимо, достаточно энергичная, несмотря на свою внешнюю нерешительность. По крайней мере, Сашка ее слушался. Не заскандалил, когда узнал, что надо уезжать сегодня. Только посмотрел на меня грустно и виновато.

— Надо так надо, — мужественно сказал я. — Что поделаешь.

— У меня с работой так получается, — объяснила Вера Николаевна. — Завтра надо быть на дежурстве в отделе… — А когда Сашка ушел собираться, добавила: — А что срок по договору не кончился, то я верну плату, сколько положено.

— Не хватало нам еще говорить про такое!

Я пошел в нашу комнату. Сашка, вздыхая, укладывал в сумку свое имущество.

— Не кручинься, мóлодец, — сказал я. — Мы и так славно погуляли. Масса приключений…

Сашка слабо улыбнулся:

— А Тетрадь-то все равно не нашли.

— Да не было, Сашка, никакой Тетради…

Мать, перепуганная Сашкиной лихорадкой (может, простуда?!) привезла ему джинсы и оранжевый, крупной вязки свитер. Сашка был сейчас в этом наряде и казался каким-то маленьким, укутанным, присмиревшим. Лишенным своего лоцмановского дара. Он сел против меня на раскладушку и тихо спросил:

— А если не найдете Тетрадь, то, может, хотя бы вспомните, *что* в ней писали?

«А тебе-то зачем это, малыш?» — подумал я.

— Много раз пробовал вспомнить… Мне кажется, это была повесть о Дороге.

Он спросил еще тише:

— Вообще? Или о *той*?

Выходит, он и вправду знал, что существуют два понятия Дороги. Во-первых, это жизненный путь, на котором желания человека то спорят, что сплетаются с законами Всеобщего Кристал-

ла Вселенной. И с жизнями множества других людей. Судя по всему, это и образует Судьбу. Но, во-вторых, есть еще чисто физическое понятие Дороги. Путевая полоса, бесконечно протянувшаяся сквозь грани совмещенных кристаллических пространств и хитросплетения темпорального континиума. А может быть, и сквозь межпространственный вакуум… Это обычный тракт — местами асфальтовый, местами мощенный булыжником, кое-где устланный плитами со старинными письменами загадочных цивилизаций. А иногда он — просто песчаный или земляной, с травянистыми обочинами и застоявшейся в тележных колеях дождевой водой. Идет эта Дорога среди звезд и миров, идут по ней люди разных времен. Порой встречаются те, кто давно потерял друг друга. Иногда находят то, что нигде в жизни найти не могли. А некоторые идут, зная дальнюю и тайную цель. Может быть, хотят даже отыскать смысл бытия… Сама Дорога бесконечна, и Время на ней бесконечно тоже. И возможно, кое-кто отыщет, что искал, поймет, что хотел понять…

— О великой Дороге хотелось написать, — сказал я. — Во всех ее проявлениях. В том числе и *о той*… Я, правда, никогда не был на ней, но, случалось, видел во сне.

— Во сне видят многие, — глядя в пол, возразил Сашка. — А как выйти на нее, не знает никто, даже самые лучшие лоцманы… Многие говорят, что ее нет. Нам объясняли, что понятие «Дорога» не вписывается в структуру Кристалла…

— Значит, надо искать за пределами структуры! — Я постарался сказать это бодро.

— Но ведь Кристалл безграничен!

— Кто знает…

Сашка посидел, полохматил затылок. Потом затолкал в сумку обмякшего тряпичного Чибу, взял со стула свой льняной костюм — помятый и лишившийся нескольких пуговиц, встряхнул его. Из кармана выскочили два бумажных комка. Мы с Сашкой посмотрели на них, потом друг на друга. Сашка торопливо нагнулся, поднял. Смущенно, словно против желания, расправил конверты. Потом один скомкал снова, а другой… сунул мне.

Сидя на кровати, я вытащил и стал читать мятый лист с крупными торопливыми буквами.

«Игорь Петрович! Пожалуйста, не обижайтесь! На улице Часовых Мастеров, номер 2, это рядом, живет лоцман Валерий Кротов, вы скажите ему, что вы от меня, он выведет. А я должен улететь, потому что это такой единственный шанс. Я раньше не знал, что „Даблстар“ будет стартовать сегодня. Игорь Петрович, получается стереоэффект. С Андрисом. Он заглядывал в этот сундук, и я тоже. Он перелетел через Атлантику, а я должен перелететь через пространственную пустоту в другое время, туда и обратно. Потому что это такой корабль. Этот случай нельзя пропустить. И тогда случаи с Андрисом и со мной наложатся друг на друга, и возникнет новый вариант пространства, и будет много всего интересного. И может быть, откроется Дорога. И тогда я позову Вас.

Сашка»

Почерк был как «курица лапой», но ошибок ни одной. И даже «Вас» — с большой буквы. Это я отметил машинально. А главное — была новая

волна страха за Сашку. Страха сильного, хотя и запоздалого.

— Сашка… Но ведь Андрис не летал через Атлантику. Не успел, разбился в тренировочном полете…

Сашка опустил на пол сумку, опять сел. Глянул недоверчиво. Потом — потерянно. Сказал полушепотом:

— Но вы же… вы тогда сами говорили…

— Да. Потому что не хотел огорчать тебя…

— При чем тут «огорчать», — проговорил он еле слышно. И лучше бы никогда не видеть мне этих горьких Сашкиных глаз.

— Господи, но я же не думал, что так повернется! Сашка… — У меня было резкое болевое ощущение, как рвутся между нами все ниточки, как рушится все хорошее.

Он сказал отчужденно, будто незнакомому:

— Вы не думали, а у меня… Все планы у меня на этом строились. А теперь…

— Но ведь «Даблстар» все равно ушел! И слава Спасителю, что без тебя! Ты сам это знаешь… Теперь-то какие планы!

— Вы ничего не понимаете, — бессильно ответил Сашка. Скомкал свой льняной костюм, как тряпицу, запихал в сумку. Рывком задернул

«молнию». И замер так, будто боялся разогнуться и лишний раз взглянуть на меня.

— Сашка… Ну откуда я мог тогда знать, что это так важно?..

Он стрельнул из-под волос мокрыми глазами.

— *Это* не важно? Перелетел человек через океан или погиб!

— Но это же было давно…

— Это *было*, — сказал он. И отвернулся к окну. Маленький, в мешковатом свитере, несчастный. Упрямый…

Зачем дернуло меня в тот вечер сказать неправду? Трус несчастный… Зачем вообще меня принесло сюда из больницы? Зачем повстречался с Сашкой? Подыхал бы, дурак, в палате и в тысячу раз был бы счастливее, чем теперь. Чем видеть эту Сашкину спину и опущенные руки…

Сашка не оборачиваясь произнес вполголоса:

— Оказывается, писатели тоже умеют врать…

— Еще как, — сказал я с ненавистью к себе.

Сашка постоял и тихо вышел, не взглянув на меня.

…Но потом, при матери, он держал себя со мной без видимой обиды. Только задумчивый был. Он не заспорил, когда я сказал, что провожу их до станции. Прошептал:

— Как хотите…

По дороге он молчал.

Тошно мне вспоминать этот похоронный путь. Мать сказала Сашке:

— Ну что ты куксишься? Жаль, что так неудачно все кончилось?

— Ага, — вздохнул Сашка. А она не знала, как все у нас кончилось. Улыбнулась даже:

— Ничего. Может быть, не последний раз.

Мне захотелось, чтобы рядом была кровать и чтобы я мог лечь и заскулить в подушку.

У вагона Сашка, уткнувшись глазами в перрон, сказал «до свиданья». И даже подал мне руку, когда я нерешительно протянул свою. Но рукопожатие было такое, словно не ладонь у Сашки, а вялый лист.

И лишь одно меня чуть-чуть утешило. Уже на подножке он оглянулся и тихо посоветовал:

— А в Ново-Камышине вы все-таки побывайте. Это можно и одному. Вдруг найдете чего…

И уехал.

Я опять вспомнил о кровати и подушке. Опустился на вокзальную скамейку и просидел на ней до сумерек. А когда вернулся к себе, увидел на подоконнике «Плутонию».

Нарочно он оставил книгу или просто забыл?

Я лег и решил, что завтра уеду домой.

Глава 9. БЕЗ ЛОЦМАНА
1. Ново-Камышино

В Ново-Камышине я все-таки побывал.

Мне казалось, что, если я исполню это прощальное Сашкино пожелание, потом будет легче, спокойнее (хотя когда «потом»? И зачем?). С соседским Костей, который вежливо помогал мне, мы отыскали на берегу Окуневки щелястую плоскодонку, а потом и ее небритого, страдающего от похмелья хозяина. Я сторговал «корабль» за два червонца и сам законопатил и засмолил (Костя содействовал — подносил от костра жидкий гудрон, ухитрился при этом не испачкаться).

Облачившись в новый тренировочный костюм, я поплыл вниз по Окуневке среди кувшинок и зарослей рогоза. Путь и правда оказался неблизкий. Белые свечи новокамышинских колоколен (похожие на московского Ивана Великого) то справа, то слева вставали за травами плоских берегов, но не приближались.

Я заночевал на острове с низкими ветлами, вокруг которого орали лягушки. Продремал до рассвета у костра, завернувшись в брезентовый

плащ, который одолжил у Генриетты Глебовны. Потом погреб дальше и к полудню оказался у дощатых мостков, где новокамышинские тетушки полоскали половики.

Здешний монастырский комплекс, хотя и считался туристским объектом, был почти безлюден — не проложили сюда еще хорошей дороги. На широких мощеных дворах и каменных галереях встречались лишь местные мальчишки, игравшие в рыцарей, смотритель музейного корпуса да молчаливые, вечно озабоченные чем-то монахи.

Монахов было здесь немного, человек пятнадцать, во главе с настоятелем отцом Леонидом. Оказалось, что отца Леонида я знаю. Мы в одни годы учились в университете, только он на философском факультете, а я на журфаке. И приходилось нам бывать соперниками на КВНах. В ту пору будущий настоятель был юн, худ, ироничен, ходил с пышной черной шевелюрой и в модных квадратных очках. Сейчас шевелюра поредела, зато отросла смоляная с проседью борода. А очки, по-моему, остались прежние… Отец Леонид тоже узнал меня и принял со всяческим радушием. Вечером пригласил на ужин в свою келью, где мы вдвоем греховно усидели бутылку пятизвездного «Самтреста». Затем он обратился с мирской

просьбой — подписать ему книжку «Стеклянные паруса» (повесть о мальчике, который был в лакеях у Петра Великого, потом бежал, убоясь приступа царского гнева, бродяжил по морям на иностранных и русских кораблях и, наконец, сделался искусным мастером-стеклодувом).

— Весьма недурственно сочиняешь, старик, весьма…

Признаюсь, этим он крайне польстил мне, и мы расстались к ночи крепкими друзьями. Но перед прощанием я все же не удержался, спросил:

— А скажи честно, познал ты здесь Истину?

Он глянул без упрека, но и без улыбки.

— Ну-у, дружище… Я же не спрашиваю тебя, написал ли ты свою главную книгу.

— Не написал.

— А я… по крайней мере, я теперь гораздо защищеннее от того, что *не Истина*. Это уже немало.

— Пожалуй… Но и не так уж много.

Отец Леонид сказал негромко, но наставительно:

— Не забывай, что я служитель православной церкви. И это искренне, от души. И в этом плане я уверен, что знаю Истину… Но тебя ведь она интересует в ином аспекте…

— В каком? — слегка ощетинился я.

— Не в духовном, а скорее в потребительском: для чего нас сотворил Создатель? В чем смысл существования? И что будет дальше?

— Что же здесь потребительского? — обиделся я.

— А разве нет? «Объясните мне, зачем создан мир, тогда я постараюсь что-то сделать для него. Докажите, что есть Царство Небесное, тогда я начну спасать свою душу. А иначе зачем тратить силы…»

— В чем-то ты прав… Но, честное слово, я не думал о собственном спасении и о вечной жизни на небесах, когда пытался написать «Мальчика из Назарета»… Я думал о самом Мальчике…

И я рассказал отцу Леониду о своей неоконченной повести. Просто очень захотелось поделиться. И еще любопытно стало: обвинит ли он меня в ереси или посочувствует?

Отец Леонид сказал:

— Оставим религию. Я ведь не знаю твоих убеждений… Хотя я редко видел людей, которые бы совсем ни во что не веровали…

— Допустим. И что дальше? — буркнул я.

— По-моему, ты не понял, что пример Спасителя был лишь изначальным импульсом и что Мальчик, способный к Великому Служению, рож-

дается снова и снова в каждом из нас, когда мы появляемся на свет. Но путь тяжел, и мы затаптываем этого Мальчика в себе и других. Жизнь затаптывает и распинает. Гасит Божью искру, и потому исчезает надежда на воскресение… Подумай, много ли надо, чтобы сломать росток?

«Иногда хватает случайной лжи», — подумал я. И сказал с ожесточением к себе:

— Вся беда, что понимаешь это слишком поздно…

— Так и бывает, — согласился отец Леонид. И на миг прорезался у него голос бывшего кавээновского капитана. Этакая снисходительно-ироническая нотка. — Конечно! Пока не грозят нам ни хвори, ни годы, не так уж и волнует нас вся эта философия. А как замаячит порог, принимаемся подпрыгивать? «Ах, для чего живем, если все прахом станет? Ах, а может, все-таки что-то есть *там*?» Вот тут-то и начинаются метания: «Дайте нам Истину»…

— Ну, а разве это не естественно? — вздохнул я.

Отец Леонид ответил уже без насмешки:

— Однако и мальчиком быть — тоже естественно. А мальчики… они не думают о конце, жизнь для них впереди, и кажется им, что перед ними вечность. А кто верит в вечность, для того она

существует. И может быть, Истина… или одна из истин… в том, чтобы не терять Мальчика в душе? Тогда не страшным будет путь… Уж если кому-то суждено спасти мир и познать смысл бытия, то именно мальчикам — тем, кто владеет вечностью.

— Но ведь вечность их обманчива…

— Откуда ты знаешь? — усмехнулся отец Леонид. — Не похоже, что ты пытался быть мальчиком до конца.

— Ты уверен?

— Прости меня, вижу. Иначе ты, как истинное дитя, не ведал бы страха.

— Разве дитя не ведает страха? Я в детстве был весьма трусоват…

— Дурень. Я говорю не о страхе разбитого носа, двоек или темноты, а о страхе перед миром. Перед его загадками, перед бесконечностью Вселенной. О боязливом состоянии, что ты микроб в непостижимой громаде бытия. У детей этого нет…

Прислушавшись к себе, я понял, что не ощущаю страха перед бесконечностью Вселенной (по крайней мере, в данный момент). И горделиво поведал об этом отцу Леониду. Он улыбнулся:

— Ну, значит, я ошибся. Не совсем погиб в тебе мальчик.

— Ты считаешь, что мальчикам не должны быть ведомы никакие «космические страхи»?

— Настоящим мальчикам…

— А страх Божий? — коварно спросил я. — Он ведь тоже явление космического порядка. Но как же без него?

— Я же говорил: не трогай религию, поскольку ты профан!

— Вот видишь, уже и ругаешься…

— Грешен, прости… Но все-таки ты туп, если считаешь, что страх Божий — это страх перед Богом. Неужели ты думаешь, что Отец Небесный это вроде папаши с ремнем? Будто ему только и дела, что проверять твой дневник… Бояться следует собственной совести, а Создателю надо помогать, творя добро и совершенствуя свою душу. Чтобы хоть капельку внести в создание общей гармонии, к которой стремится мир.

— Все логично, — покивал я. — Кроме одного: зачем помогать Создателю, если он и так всемогущ?

— Ты болв… больно умен. Но умен, извини, как-то по-обывательски… Создатель сотворил мир вместе с его законами. Конечно, единым мановением он мог бы заменить эти законы на другие. Но отчего другие будут лучше прежних?..

Он мог бы отменить их совсем. Но разве хаос лучше системы развития?

— Да я не о том…

— Знаю, о чем ты! Почему Господь в своем всемогуществе не дал нам всеобщего счастья! Так… Но этот вопрос люди задают испокон веков, а что такое счастье, объяснить не умеют. Часто получается, что счастье одних — это беды других. А чтобы такого не было, люди *сами* должны пройти дорогой суровой науки и совершенствования. Именно в соответствии с законами развития мира. Этот мир — не инкубатор для беззаботных птенчиков, а непостижимый в сложности часовой механизм. Пружина закручена, маятник пущен… И кстати, стрелка делает еще первый круг…

— А что будет, когда сделает последний?

— А вот это уже зависит от нас…

— От нас или от пружины с маятником?

— А мы сами — и маятник, и пружина…

— Мы?.. Или те, кто остались мальчиками в душе?

Отец Леонид потер виски, тряхнул головой.

— Ладно, Игорек, не будем играть словами… Спать пора.

Наутро отец Леонид открыл мне глубокие, но

сухие подвалы монастырской библиотеки и оставил одного, напутствовав истиной, что «ищущий да обрящет».

Я был ошарашен книжным богатством. Большого порядка на дубовых стеллажах не было, но это придавало лишь дополнительный интерес моим поискам. Среди кожаных фолиантов с житиями святых, среди окованных медью Евангелий попадались книги и совсем не церковные. И очень неожиданные. Первое, прижизненное собрание сочинений Гоголя с его родовым гербом на обложке, двухтомный «Новый Робинзон» Генриха Кампе — издание восемнадцатого века, «Восточная война» Богдановича, старые альбомы по истории античного мира с прекрасными гравюрами… Особенно много книг было по навигаторской науке и путешествиям. Я просто обалдел, когда увидел «Географию генеральную», изданную при Петре, а потом «Атлас Балтийского моря» капитана Нагаева, напечатанный два с половиной века назад.

Часа полтора, приткнувшись у настенного фонаря, я читал рукописные «Записки корабельного священника о. Кирилла, волею Божией совершившего плавание кругом света на шлюпе „Олег“ в 1830, 31, 32 и 33 годах». Почерк был

крупный, разборчивый, а в «Записках» — масса остроумных наблюдений жизни «матросских служителей» и «господ офицеров» на деревянной парусной скорлупке посреди океана…

Но книгу Альфреда де Ришелье о трехмерных зеркалах я, конечно, не нашел. И в середине дня, щурясь от солнца, выбрался на монастырский двор, где сквозь булыжники прорастала уличная безлепестковая ромашка.

— Ну и как наше хранилище премудрости? — приветствовал меня отец Леонид.

— Впечатляет.

— Ежели что спер, сын мой, признайся чистосердечно. Может, и подарю…

— Ничего не спер. Не нашел, что хотел…

— Потому и душа печалится?

Душа печалилась не поэтому. Просто и там, в библиотеке, и здесь, на дворе, я чувствовал пустоту оттого, что нет рядом Сашки. Я представлял, как он кидался бы от полки к полке, разглядывая золоченые корешки («Ёшкин свет, вот старинато, а?»), как листал бы альбомы с гладиаторами и атласы со схемами плаваний. Как вертел бы могучий глобус в медных кольцах экватора и меридиана («Игорь Петрович, смотрите, тут еще даже Австралии нет!»). И как задирал бы голову

на купола собора и крепостные башни, и как мы полезли бы на колокольню к могучим дремлющим колоколам…

Но не было со мной проводника Сашки.

— Ежели что гнетет, покайся, — вроде бы шутя предложил отец Леонид. Но вроде бы и всерьез.

Каяться я не стал, но, пока бродили по двору, рассказал про Сашку. О нашем путешествии и о том, как расстались.

— Ну, чего ты хочешь, мальчишка ведь, — сказал отец Леонид совсем не в духе вчерашней беседы. — Сперва надулся, а сейчас небось и забыл про обиду. Может, понял уже, что не со зла ты его обманул, а чтобы не ввергать в печаль…

— Боюсь, что все это сложнее. Будто что-то сломал я…

— Не усложняй… Бог даст, еще встретитесь…

«Если и встретимся, — подумал я, — будет уже не то. Все равно трещина…»

— Покажи камушек, что от месяца отломали, — вдруг попросил отец Леонид. — С собой небось?

Камушек был со мной. Я вынул его из кармана, спрятал в сложенные тесной лодочкой ладони, прикрыл от дневного света грудью. Отец Леонид придвинул лицо.

— Смотри-ка ты, и правда светится. — И вдруг

попросил совсем по-мальчишечьи: — Слушай, отломи кусочек, а?

Я надавил на камушек пальцами, он послушно развалился на половинки.

— Возьми.

— Спаси вас обоих Господь, — тихо сказал отец Леонид.

А я вдруг подумал: «Что бы ни случилось, а главное, что лоцман мой жив и здоров… Моя дорога, ясное дело, кончилась, а Сашку пусть добрая сила хранит и дальше от зловещего алгоритма…»

Отец Леонид спрятал камушек в складки рясы и спросил:

— Побудешь у нас еще?

— Нет, надо возвращаться… Спасибо тебе.

— И тебе спасибо… И отроку твоему, проводнику. Кабы не он, мы бы и не увиделись…

— Это правда.

— Инок поедет в село за хлебом, отвезет тебя. Правда, не на машине, а в телеге… А оттуда — автобус до Овражков… С лодкой-то твоей что делать?

— Отдай мальчишкам, пусть катаются…

2. Кобург

Оказалось, что автобус будет лишь рано утром. Я не стал возвращаться в обитель, переночевал в Доме крестьянина. На рассвете уехал, а к обеду был у Генриетты Глебовны. Она сказала, что у меня усталый вид, я должен несколько дней пожить у нее спокойно, погулять не спеша, не думать ни о чем печальном и набраться сил. Но я чувствовал, что надо возвращаться. Опять болела нога, давило голову и подкатывала подлая обморочная тошнота. Причем все это сильно, неотвязно. Короче говоря, самочувствие было как накануне того дня, когда я попал к любезному Артуру Яковлевичу.

Сейчас больница вспоминалась без прежнего отвращения. Может, и к лучшему — свалиться на койку, получить от сестрицы Зои успокоительную дозу в известное место и уснуть, забыв все горести.

Но, конечно, я не стал раскисать сразу. Расплатился с Генриеттой Глебовной за постой, бодро попрощался и даже, дурачась, пообещал звонить по «тому самому» телефону. В ответ она грозила крепким пальцем и говорила, что любо-

пытные мальчишки плохо кончат, если вовремя не взяться за их воспитание… Потом мы вдруг встретились глазами, замолчали и погрустнели. Я не выдержал, спросил:

— А вы… никогда не звонили Андрису?

— Звонила. Не раз… Просила, чтобы не летел в тот день. А он смеялся. Он верил в свой мотор и в свою судьбу. Храбрый был мальчик…

На станции я дождался пестрого, почти игрушечного поезда «Пилигрим», сел в хвостовой вагон — полупустой и прохладный. Поехали: трюх-трюх, дзынь-дзынь. Все так просто, никаких отраженных миров, никаких проблем. Через час буду дома. Помоюсь, разберу почту, позвоню кому надо, а утром пойду сдаваться Артуру Яковлевичу.

Я лениво смотрел в окно на болотистые луга, на рощицы. Потом на пологие холмы, которые мне показались незнакомыми. На одном махала крыльями ветряная мельница, я таких сроду не видел в наших окрестностях. И ехали мы, кстати, уже значительно дольше часа…

— Скажите, — обратился я к симпатичному старику со щетинисто-серебряным подбородком. — Станция Начальная… Скоро ли до нее доберемся?

— Простите? — сказал он с прибалтийским акцентом. — А, Начальная! То есть конечная… Боюсь, что не скоро. Даже по расписанию часа через три. А ведь поезд постоянно опаздывает.

Тут я увидел за окнами поросшие соснами дюны и окончательно понял, что все не так-то просто. Оказывается, путь туда и путь обратно вовсе не одно и то же в здешних местах. В детстве все было проще, а теперь что-то изменилось на этом рельсовом маршруте. Опять шуточки отраженного мира?

Наконец прибыли. Я вышел из вагона и окончательно убедился, что тревога была не напрасной. За перроном краснел вокзал, похожий на маленький кирпичный замок. Правда, на белой вывеске значилось название «Начальная», но кругом — ничего знакомого. Вдали, за крышами финских домиков, летали чайки, я даже слышал их картавые крики. Пахло влагой, как на побережье. Быстро бежали облака — серовато-белые, пухлые, какие собираются обычно в теплые дни над большими поверхностями воды.

Я прошел через вокзал на тесную площадь. Один край ее замыкала серая каменная стена средневекового бастиона. Между зубцов торчали рыла музейных пушек. У стены торговала

незабудками старенькая цветочница в чепце. Я сказал ей:

— Простите, что это за город? Я проехал свою станцию, и вот…

Она заулыбалась без удивления, понимающе:

— Это Кобург. Не знаменитый немецкий Кобург, а наш, местный. Советую посмотреть…

Я отошел, сел на выступ у стены. Прислонился к камню затылком. Назойливо, тянуще болела нога. Стиснуло в груди, сдавило голову. Ну вот, началось все-таки…

Цветочница быстро нагнулась надо мной.

— Что с вами? Вы нездоровы?

— Боюсь, что да…

— Одну минуту… не волнуйтесь. Здесь рядом телефон…

…Больница в Кобурге оказалась поменьше и попроще, чем у нас. Ни сложных приборов для диагностики, ни врачей со званиями. Зато уютная, деревянная, в глубине яблоневого сада (яблони уже доцветали). А главное — полупустая. В трехместной палате я оказался один. Главный врач Анна Борисовна Штерн приняла меня с ворчливым добродушием. А узнав при заполнении истории болезни, «кто есть кто» (куда от этого денешься), забыла свою нарочитую ворчливость

и темпераментно поклялась поставить меня на ноги за три недели… Ее бы устами да мед пить…

Но, как ни странно, мне и правда скоро полегчало. Через неделю я стал уже выходить в город — в этот маленький симпатичный Кобург на берегу желтовато-серого залива. Гулял среди домиков с острыми крышами и у кирпичных фортов эпохи шведских войн… А однажды набрел на почтамт — длинный дом с готическими башенками и стеклянными телефонными будками вдоль фасада. Были здесь и междугородные автоматы. Нашего города в списке не оказалось, но можно было позвонить в Москву. В нее, видимо, отовсюду можно звонить — хоть с Марса, хоть из отраженного мира, хоть с того света.

Я набрал номер Дениса.

— Папаня! — радостно завопил в микрофон мой великовозрастный отпрыск. — Ты откуда возник наконец? Тебя медицина по всей стране ищет, Артур Яковлевич каждый день звонит! Куда ты канул? Мать в истерике!..

— А ей-то что? Своих забот не хватает?

— Ну, не скажи! Первая любовь не ржавеет…

— Ладно, не мели языком… Все здоровы?

— Да у нас-то все! А ты как? И главное — где?

— Так я тебе и сказал! В творческой поездке…

— Батя, ну ты как дитё… Ведь, чего доброго, отдашь концы без врачей-то…

— А я не без врачей, их везде хватает… Может, скоро в кругосветку подамся, на судне тоже врач есть…

— У тебя что, крыша поехала?! — завопил Денис.

— Ты как с отцом разговариваешь! Нахал!

Он виновато заржал в трубку. Я вдруг понял, что соскучился по нему. Но сказал сурово:

— Ладно, пока. Потом еще позвоню. — И дал отбой.

…Еще через неделю про меня разнюхали (видно, благодаря Анне Борисовне) в местной газете. Пришел тощий парень с диктофоном, взял интервью. Потом стал клянчить рассказ или очерк. Я поотбивался, но в конце концов пообещал. Тем более, что деньги были на исходе, не на что новую рубаху купить. Работал я не спеша и, как ни странно, даже с удовольствием. Описал праздник в Подгорье и старт «Даблстара», приплел его историю-легенду и кое-что присочинил. Главным героем сделал местного мальчишку, которому только случайность помешала улизнуть зайцем в полет. На очерк не потянуло за недостатком документальности, а на фантастический рассказ

— вполне. И мой «Звездный катамаран» в течение июня газета «Вечерний Кобург» выдавала мелкими порциями…

Прошел месяц, и я не только не помер, а даже выписался. Газета предложила мне комнату в редакционном дачном коттедже на берегу залива — бесплатно, только с условием, что я еще что-нибудь напишу.

Анна Борисовна говорила, что уезжать мне пока не следует, она должна меня «понаблюдать».

«Понаблюдать» меня ничуть не хуже мог бы Артур Яковлевич. И вернуться домой ничего не стоило: выяснилось, что в Овражках я выбрал неудачный день для отъезда — нечетное число, а поезд «Пилигрим» в мой город отправляется по четным. Теперь можно было уехать в Овражки, а оттуда до дома — рукой подать.

Но я не уезжал, не хотелось. Интуиция говорила, что потом я уже никогда не выберусь в эти края. Они станут закрытыми для меня, как закрыто для незнающих дорогу Подгорье.

Насовсем расставаться с этим миром было грустно. По правде говоря, из-за Сашки. Из-за того, что порвалась бы тогда последняя ниточка… Вообще-то она и так порвалась. Но все же грела мысль, что я живу в том самом измерении, где

мой лоцман… Печаль моя, конечно, поулеглась, многое в нашем путешествии вспоминалось теперь с улыбкой. Но стоило вспомнить прощание — и опять делалось тоскливо… Эх, если бы не было той дурацкой истории и разъехались бы мы по-хорошему! Тогда Сашка остался бы со мной навсегда — просто как часть жизни, как негаснущий огонек. А теперь что?..

Я думал, думал и зашел однажды в местное отделение «Пилигрима». Спросил, не могут ли они найти для меня адрес проводника Александра Крюка одиннадцати лет, живущего в Краснохолмске. Там искать не стали, сказали: «О-о! Лоцман Сашка!» — и выдали адрес наизусть. Спросили только:

— Вы что, знакомы с ним?

— Встречались…

Нет, я не поехал в Краснохолмск. Честно говоря, не решился. Написал письмо. Так, мол, и так, вспоминаю, как бродили, спасибо тебе, а сам я малость приболел, застрял в Кобурге, а книжка, которую ты при отъезде забыл, теперь у меня; послать ее тебе? Как здоровье и как поживает Чиба?

Письмо получилось нарочито небрежное, даже нечестное какое-то. Но я это понял, когда уже

отправил его и потом повторял про себя написанные строчки… Впрочем, терзаться не имело смысла: письмо вернулось. С лиловым штампом на конверте: «Извините, адресат выбыл».

Куда выбыл? На время или насовсем? В «Пилигриме» ничего не знали, удивились. «Ладно, значит, судьба, — сказал я себе. — Что было, то было, не переделаешь. Хватит об этом». И стал жить в Кобурге дальше. В начале августа сдал в газету рассказ «Вниз по реке Окуневке» и опять «загремел» в знакомую палату под опеку Анны Борисовны Штерн. На четыре недели. На сей раз почти совсем отказала нога.

— Разрабатывать ногу надо, процедуры принимать, а не ныть! — притворно орала на меня Анна Борисовна. — А то ведь отрезать вашу конечность к чертовой бабушке!

В общем, вытянула она меня и на этот раз. Выписала. И я, помахивая тростью (подарили в редакции), отправился из больницы на набережную подышать воздухом свободы.

Было начало сентября, но жара стояла как в июле, и лишь ветер с залива смягчал ее. Хлопал тентами у магазинных витрин, теребил красно-белые зонты уличных кафе. Пахло водорослями и мокрым песком. Мимо лавочек с

сувенирами, журналами и купальниками фланировал туда-сюда туристский люд. Впрочем, немногочисленный. Зато было много ребят, в школах кончились занятия. Здешних ребятишек не обряжали в школьную униформу, они были разноцветные, веселые, счастливые, что урокам на сегодня конец и что на улице еще полное лето. Многие из мальчишек — такие же светловолосые, длинноногие и загорелые, как Сашка. Несколько раз я даже вздрагивал. Но мальчишки на меня не глядели. С маху перескакивали каменную балюстраду и — с набережной прямо на узкий песчаный пляж. Ранцы — в песок, одежда летит в стороны, как пестрые бабочки, а сами — бултых в мелкую зыбь прохладного залива. Здесь было безопасно: хоть полмили иди, а глубина первокласснику по грудь…

Я посмотрел, позавидовал и бездумно побрел дальше. Нарядная набережная кончилась. Потянулась Портовая улица: справа — катерные причалы и уходящий далеко в залив мол, слева — всякие пароходные и грузовые конторы. А среди них я вдруг увидел нарядный желто-зеленый фасад с широкой витриной. За стеклом, среди картонных кустов торчало чучело кенгуру и резвились розовые попугайчики. Над дверью

красовалась вывеска: «Агентство по морскому туризму „Новая Австралия“». Выше вывески, воткнутый в наклонную трубу, полоскался флаг. Он был похож на австралийский, но «наоборот» — не синий с белыми звездами Южного Креста, а белый с синими, и в углу, где у австралийцев британский «Юнион Джек», здесь был синий прямоугольник с белым силуэтом парусника.

За стеклом у лап кенгуру белела доска с объявлением:

«Агентство „Новая Австралия“
организует для любителей старины и романтики
рейсы через Залив в г. Ново-Канск
(быв. Кан’Орра)
на старинном пароходе
«Звезда Австралии».
Справки и заказ билетов — в конторе».

У меня не было оснований отказываться от звания «любитель старины и романтики». И кроме того, не было никаких определенных планов на будущее. Я вошел в контору.

Клерк в капитанском мундире и с блестящим английским пробором объяснил, что Кан’Орра — город весьма любопытный, хотя и малоиз-

вестный, ибо до недавней поры был закрыт для посторонних. Билет недорог, а судно — настоящий музей. Путешествие — сплошная экзотика. Фирма гарантирует…

— Заказать вам каюту?

— Валяйте, кэп…

— Туда и обратно?

— Только туда… — Я был почему-то уверен, что моему обитанию в Кобурге пришел конец.

— Прошу вас, сэр… Судно стоит в конце мола, туда ходит электрокар. Отплытие через два часа… Всего доброго, сэр.

— Сэнкью, кэп. Я готов, багаж при мне…

Когда я вышел и оглянулся на витрину, оказалось, что кенгуру — вовсе не чучело. Он махнул хвостом, посшибал картонную растительность и скакнул внутрь конторы. Это понравилось мне и почему-то вселило хорошие, хотя и неясные надежды…

3. «Судовая роль»

Судно и вправду оказалось как музей. Уж не знаю, в самом ли деле этот пароход был осколком старины или его специально построили таким в наши дни, но при первом взгляде на него вспо-

минались Жюль Верн, Стивенсон, Марк Твен и другие книжки с потертым золотом узорчатой рамки. Под бушпритом красовалась раскрашенная фигура морской девы с золоченой звездой в поднятой руке. Старинного вида адмиралтейские якоря свешивались с кат-балок. На высоких черных бортах выступали могучие белые кожухи гребных колес. На них — витиеватые буквы названия. Подымались над палубой мачты со стеньгами, реями и густым такелажем, — видимо, для пущей радости туристов здесь при попутном ветре ставили паруса.

В этом рейсе ветер был встречный. «Звезда Австралии» бодро двигала шатунами паровой машины и пенила залив колесами. Скоро стало изрядно качать. Пассажиры отправились страдать в каюты, но я, к счастью, морской болезни не подвержен, поэтому радовался жизни.

Разноцветные вымпелы на стеньгах и флаг «Новой Австралии» под гафелем празднично трепетали и щелкали в вечернем пожелтевшем воздухе. Капитан, несший вахту на юте, был белоснежен, отутюжен, украшен фуражкой с золотом, бакенбардами лорда Гленарвана и медным начищенным рупором. Через этот рупор он приветствовал меня, как «не поддавшегося

морской стихии», и по его приказу предупредительный стюард (тоже белый и сверкающий) принес мне фужер с прекрасным портвейном. После этого я до заката, забыв про все на свете, ощущал себя Решкой, оказавшимся в кругосветном плавании…

Но когда потонуло солнце и погасла дымно-оранжевая полоса, «на душу мне легла тоска». Я заперся в каютке с плюшевым диваном, шелковыми шторками и пластмассовой полумоделью каравеллы «Виктория» на стене. Глухо дышали котлы, дребезжал графин в гнезде на полке. Было слышно, как посвистывает в бакштагах и вантах встречный зюйд-вест… Я лег лицом в подушку.

Господи, зачем я здесь? Какой-то залив, полуигрушечный пароход, ни одного знакомого лица и совершенно неизвестно, что впереди… Дома, пускай и одному, все же легче. Можно позвонить кому-нибудь, в гости позвать. И все кругом привычное, даже стены… А может, и Денис наведался бы из Москвы или Лариса из Томска. И пускай даже Тереза по старой памяти заскочит — тоже неплохо. Да и с соседкой Риммой Станиславовной можно перекинуться парой слов.

А если и снова в плен к Артуру Яковлевичу — что страшного? Вечером в шахматишки можно

с кем-нибудь сыграть, телевизор в коридоре…

«Не ври, — сказал я себе. — Там ты тоже выл от одиночества. И от своей ненужности. Это сейчас тебе кажется, что было лучше. А тогда… так же как игрушечный пароходик среди пустой и темной воды… И если вернешься — так и будет…»

Так и будет…

Старшая моя сестра — где-то на краю земли, с мужем-пограничником. Брата, с которым мы были друзьями, уже нет. А другие друзья… многих тоже теперь уже нет на свете. А до тех, кто жив, не докричишься. Сам виноват, наверно…

В конце пути поманила сказка, намекнула, будто есть еще какая-то цель, подарила кусочек Дороги… Но проводник ушел, и Дорога кончилась…

«Ладно, не скули, — сказал я себе. — Скажи спасибо судьбе и за те несколько дней с Сашкой. Все-таки глотнул радости… Не грызи подушку, и душу себе не грызи тоже…» Потом крепко выругал себя, разозлился и уснул.

Разбудило меня радио. Динамик бойко играл увертюру к «Детям капитана Гранта». Я понял, что всю ночь спал не раздевшись и что сейчас за иллюминатором синее и солнечное утро.

Я поднялся. Хорошо, что костюм не мнущийся

— одернул, поправил и гуляй. Над фаянсовой раковиной я ополоснул лицо. Ах ты, черт, под ладонью щетина! Есть в этом Ноевом ковчеге розетки? Ага, нашлась… Вытащил бритву, зажужжал. «Звезду Австралии» почти не качало. Наверное, берег уже близко. Словно соглашаясь со мной, динамик выключил увертюру и бодрым капитанским голосом сообщил:

— Уважаемые путешественники! Через полчаса «Звезда Австралии» ошвартуется у причала Ново-Канска, который все, кому дорога история и память о морских подвигах, по-прежнему именуют Кан'Оррой. Не правда ли, звучит романтично, хотя в переводе с местного древнего наречия означает всего-навсего «Собачьи Уши» — по имени двух скал, которые поднимаются из воды левее входа в бухту… Город Кан'Орра — это любопытная смесь архитектурных стилей, приморской экзотики, живописных средневековых улиц, памятников прошлого и новейших кварталов, где каждый может найти для себя развлечение в соответствии со своими вкусами… Уважаемые пассажиры! Всех, у кого обратный билет, капитан и команда «Звезды Австралии» приглашают на пароход к полуночи. Тем же, кто решил остаться здесь на более долгий срок, мы

приносим благодарность за плавание на нашем судне, желаем успехов во всех делах и приятного времяпровождения в этом самом замечательном городе Западного Побережья… А пока пароход швартуется, вы можете позавтракать в нашем буфете. Приятного аппетита!

Я не стал завтракать в буфете и вышел наверх, чтобы взглянуть с моря на город, в котором задумал остаться «на более долгий срок» (только зачем?).

Впрочем, на палубе с меня слетели и остатки вчерашней тоски, и теперешнее недовольство.

Синяя бухта распахивалась перед «Звездой Австралии». Слева действительно торчали две скалы, похожие на уши насторожившейся лайки. На одной белела башенка маяка. Солнце светило с кормы и освещало город. Он взбегал по зеленым холмам. Серые квадратные башни с часами, шпили соборов, песочного цвета крепость на круглой горе, береговые форты, блестящее стекло современных многоэтажек и россыпи маленьких, похожих на рафинадные кубики домов. Над этими домами, перекидываясь от холма к холму, нависали темные арочные мосты, похожие на римские акведуки. По одному ехали лаково-красные вагоны…

Орали над мачтами чайки, и воздух был такой морской, что хотелось дышать до резинового скрипа в легких. Ветер дул теперь небольшой и попутный. На фок-мачте, видимо для пущей романтики, был поставлен марсель, а сейчас матросы, лежа на марса-рее животами, подтягивали и убирали парусину…

Сойдя на причал, я не пошел, как другие пассажиры, по широкой мощеной улице, ведущей, очевидно, к центру. Свернул в один из портовых переулков — между складов, пароходных контор и приземистых лавчонок с пыльными вывесками. Наполовину переулок был завален ящиками с пестрыми наклейками, красными пластмассовыми бочками и брикетами сосновых досок. От них замечательно пахло свежим деревом.

Я увидел обшарпанное кафе «Три брата», перекусил там у стойки вареной колбасой с макаронами под жгучим соусом. И двинулся дальше с веселой меланхолией свободного от всех проблем человека. Свернул еще в один переулок. Он отличался от прежнего тем, что в нем не было грузов под открытым небом, стояла серая низкая церковь с круглым, как половинка глобуса, куполом и росли несколько кривых акаций (не цвели), а в нише тяжелого каменного дома торчал чугунный

дядька в треуголке и ботфортах. Привинченная рядом мраморная доска свидетельствовала, что это «Admiral Contur». Несмотря на треуголку, адмирал показался мне похожим своей физиономией на хозяина грядок, которому я чуть не попался в детстве. Но это не испортило мне настроения. «Стоишь, дура чугунная? — злорадно сказал я. — Вот и стой, теперь не побегаешь…»

Между адмиральским домом и церковью скромно белел фасад одноэтажного особнячка. На лакированной двери — черная стеклянная табличка:

«Редакция газеты „Судовая роль“»

Мне понравилось название. Сразу видно: газета морская. Сухопутный человек мог бы подумать, что судовая роль — это что-то юридическое, должность в суде. А на самом деле это список всех, кто на судне отправляется в плавание…

Понравилось и то, что рядом с дверью был привален черный двухметровый якорь Холла, а на нем светилась меловая надпись, извещающая всех, что «корр. Калачик — старый козёл». Причем точки на «ё» были очень старательные, большие, словно лягушачьи глаза на круглой головке…

Под стеклянной табличкой на кнопках держал-

ся блокнотный листок с красным, начертанным фломастером призывом: «Объявляется конкурс на замещение должности редакционного корректора. Торопитесь!»

Дверь открылась, вышел маленький круглый человек с похожей на блюдце лысиной. В синей куртке военного моряка, но с торгфлотовскими шевронами второго штурмана. Покосился на меня. Достал платок, поплевал на якорь, стал стирать надпись.

— Неужели это вы — корр. Калачик? — сказал я сочувственно.

— Нет. Я ответственный секретарь газеты Галевич, — проговорил он с достоинством. Оставил свое занятие и смотрел выжидательно.

— А как с конкурсом? Много конкурентов на место?

Секретарь Галевич обмяк лицом и телом.

— А-а… Ни одного. Платить-то много мы не в состоянии… К тому же надо и грамоту знать.

— Немаловажное обстоятельство… А как с жильем?

— Вы семейный?

— Один.

— Ч-чудесно! Прекрасная комната для одного! Рядом с маячной службой! Вид на бухту! Трамвай

— десять минут до центра. Квартплата за счет редакции! Льготы — бесплатный проезд на судах пароходства и морская форма двенадцатой категории!..

— Это четвертого штурмана, что ли?

— Ну… корректор, он все же не редактор. Извините… Можно и не носить! — Галевич страдальчески глянул мне в лицо снизу вверх и крепко взял меня за локоть. — Идемте… Идемте, идемте! Я вижу, вы интеллигентный человек и имеете склонность к морской жизни. Вы наше спасение.

Забавляясь очередным поворотом судьбы (но и довольный, что обретаю какую-никакую пристань и дело), я шагнул в редакцию. Там пахло — как и во всех редакциях — пыльной бумагой, табаком и краской жирных типографских оттисков. Отрешенная от всего на свете огненнокудрявая девица пулеметно лупила по клавишам «Рейнметалла». Галевич выхватил из ящика лист.

— Заполняйте анкету! Не думайте! Вечером — аванс!

Я стал заполнять. С некоторой горделивостью и усмешкой. Ибо уж на корректора-то тянул по всем статьям… Кроме одной! Графа восьмая была: «Имеете ли морскую специальность или морское образование?»

— Э-э… сеньор Галевич! Вот это… Диплома у меня нет и на судах не служил.

Он опять малость обмяк.

— Ах ты, досада какая… Но вообще-то это формальность.

— Тогда ладно. Тем более, что писать о флоте приходилось. Крюйс-брам-стень-эзельгофт от эрнс-бакштага на грота-триселе как-нибудь отличу.

— Вообще-то это формальность… — опять сказал Галевич.

— Ну и хорошо.

— Но понимаете… Нужно сделать одну мелочь. Сотрудники нашей газеты, если у них нет морского диплома, должны сдать зачет. На звание морской терминологии. Ма-аленький такой диктантик. С ним справляются мальчишки из кружка судомоделистов… Умоляю, не отказывайтесь! — завопил он, увидев на моем лице сомнение. — Такой пустяк!

Я подумал, что это даже забавно.

— А где сдавать столь ответственный экзамен?

— Это просто! Исключительно просто! Есть курсы повышения знаний плавсостава! Там постоянный дежурный преподаватель. Пятнадцать минут диктовки, справочку в руки и никаких

хлопот!

— Гм… — сказал я.

— Умоляю вас! — опять завопил он.

— Ну… а где же эти курсы?

— В школе номер три, на Якорном мосту! Курсы вечерние, но дежурный там постоянно! Туда-сюда — не больше часа!

— Попробую, — усмехнулся я. — Даже любопытно. — Поправил на локте плащ, подхватил портфель и трость.

— Да вещички-то вам зачем? — подозрительно сказал Галевич. — Оставьте здесь. Для чего таскаться с грузом.

— Пожалуй, — усмехнулся я. И взял только палку.

4. Школа

Школа номер 3 оказалась двухэтажным зданием, построенным в духе строгого классицизма. Скорее всего, бывшая гимназия. Ничего примечательного в этом доме не было, если не считать одного: стоял он не на земле, а на широченном каменном мосту. Мост соединял склоны двух холмов. Под ним тянулся канал. По каналу двигались к бухте катера, лихтеры и буксиры. А на

крыше здания торчала белая маячная башенка с мачтой, оснащенной реями, гафелем и сигнальными флагами.

Ветер дул с бухты, и в коридоре, кроме обычного школьного запаха, был запах моря. И стояла непрочная тишина: видимо, шли уроки. Я увидел идущую навстречу решительную женщину. Полную, слегка распаренную и с похожей на белый парик прической. Это была, безусловно, завуч. Завучей всех времен и народов отличают административная походка, застывшее в глазах недовольство и в то же время упрямое намерение до конца дней исполнять свою подвижническую должность.

— Простите… — начал я беседу.

Вопреки ожиданиям, завуч не отфутболила меня к кому-то другому. Сообщила:

— Сегодня на курсах дежурю я. По совместительству. Но… — Она глянула на мою палку и нехотя предложила: — Сядем.

И мы сели на деревянный диванчик в простенке между окнами. В стене напротив темнели дубовые двери классов.

— Итак, вы сказали «но»…

— Да. У вас есть диплом с филологическим образованием?

— У меня есть два диплома и оба гуманитарные. Но я не вожу их с собой и…

Капелька раздражения проскользнула в ее голосе. И капелька удовольствия от ощущения власти.

— Но в этом случае не знаю, как быть… Тогда необходим дополнительный экзамен по орфографии и синтаксису…

Я посмотрел в ее педагогические очи. Молча. Но вложил во взгляд пространную фразу — в ней содержался адрес, по которому эта дама должна идти. Со злорадством представил, как предложу секретарю Галевичу самому иметь дело с тетушками из наробразовского ведомства, возьму портфель и плащ и…

— Игорь Петрович! Игорь Петрович!..

Это влетел в школьный коридор человечек в зеленом костюме и беретике. Он был похож на кузнечика. Он подпрыгивал.

— Игорь Петрович! Я Евгений Евгеньевич Верба, директор дома «Творческая мастерская»! Я был в редакции! Ваша анкета на столе!.. Галевич — болван! Зачет, ха-ха! Он рвет остатки волос… Игорь Петрович, у нас литературный клуб «Светлое слово»! Сегодня в семь заседание! Игорь Петрович, если вы… Это будет подарок всем! Это…

невозможно сказать!

Сперва я скривился: черт возьми, и здесь достали. Знаю я эти клубы с восторженными девочками и набившими оскомину вопросами: «А то, что вы пишете, было по правде или из головы придумано?» Однако встретился я с восторженно-жалобным взглядом директора Вербы, и стыдно стало — прямо хоть по морде себя хлещи! Ну, забавный он человек, прыгает, суетится, но это же искренне! О деле думает! Ведь и правда люди соберутся, которым интересно… Что же я за сытая скотина!

— Я… да, я постараюсь. Какой у вас адрес?

— Набережная Крузенштерна! Дом пять… Я так и думал, что вы… Спасибо!.. Маргарита Митрофановна! — Он потянул завучиху за пухлую руку. Оттащил на пять шагов, что-то зашептал, подскакивая к ее уху и стреляя в меня глазами. Потом подскочил еще, крикнул мне: «Мы вас ждем от души!» — и убежал.

Маргарита Митрофановна — обмякшая и с потеплевшим взором — снова опустилась рядом со мной. Сказала медово:

— Но право же… Я не знала. Это меняет ситуацию. Я…

Тут сигналом корабельной тревоги грянул

школьный звонок. Не только я, даже завуч вжала голову. И почему-то подтянула под диванчик объемистые ноги. Звонок еще гремел, когда стали распахиваться двери. Вечная, знакомая картина: конец уроков и школьная братия рвется из классов на волю. Никакая плотина из уставов и правил во все века не могла сдержать этот брызжущий радостью поток. И сейчас он заполнил сводчатый коридор, как гудящую станцию метрополитена.

Здесь, как и в Кобурге, ни мальчишки, ни девчонки не носили школьную форму. Глаза просто зачесались от мелькания пестрых рубашек и платьиц, разноцветных гольфов и отпечатанных на майках кораблей, гномов и микки маусов. И от лаковых, с радужными бликами ранцев.

Топот и ликующие вопли…

— Кошмар, неуправляемая масса, — простонала Маргарита Митрофановна. — Не бойтесь, это скоро кончится.

И правда, поток схлынул стремительно. Теперь лишь отдельные ученики выскакивали из дверей и спешили к выходу. И последним из ближней двери, наискосок от нас, вышел… вышло слегка танцующим шагом до боли знакомое существо — с песочными растрепанными волосами, в

льняной одежонке, на длинных и гибких, как коричневые шланги, ногах. Только бело-голубой ранец был незнакомым…

Нет, не может быть. Откуда он здесь?.. Это со спины похож. А оглянется — и чужой. Не надо…

И все же я не выдержал, хрипло и с выдохом сказал мальчишке вслед:

— Сашка…

5. Стажер

Он замер, как приколотый к месту. Потом крутанулся на пятке. Смешно открыл рот. Заорал клич — что-то вроде «уау-вау!» — и ринулся ко мне. Подскочил и с лету плюхнулся на колени. Я счастливо взвыл от боли в ноге.

— Сашка…

Он без всяких церемоний облапил меня за шею, щекой прижался к пиджаку. Его лохматая макушка щекотала мне подбородок. От волос пахло почему-то горькими водорослями.

— Игорь Петрович! — Он поднял сияющее лицо. — Это правда вы?

— Александр! — патетически возгласила Маргарита Митрофановна. — Как ты себя ведешь!

— Ёшкин свет! Прекрасно веду! Потому что

Игорь Петрович вот он…

— За такие фокусы выставляют из школы!

— А я уже выставился! Последний зачет сдал, теперь я не у вас… — И на этом он полностью исключил завуча из круга своего внимания. И я, признаться, тоже. Потому что вот он — мой лоцман! Оказывается, ничего не было: ни обиды, ни горького прощания, ни бестолковых и пустых месяцев после этого. Вовсе мы и не расставались!

Маргарита Митрофановна поднялась и как-то странно, почти на цыпочках, удалилась по коридору. А Сашка все сиял.

— Игорь Петрович, вы откуда сюда свалились?

— Да я-то что! Бродяжничаю. В газету вот здесь поступил. А ты как тут оказался?

— Мы с мамой переехали, квартиру поменяли. Здесь мамин брат, штурман на портовом танкере… Ой, да пойдемте отсюда! И по дороге все расскажем, ладно?

Мы вышли на Якорный мост. Восхитительная Кан'Орра сияла тысячами стекол, вздымала сказочные башни, сверкала синей водой и хлопала сигнальными флагами. В бухте снежно белели рубками лайнеры и сухогрузы. У одного из пирсов я заметил «Звезду Австралии» (спасибо, что привезла сюда!). А у самого ближнего причала я

увидел бриг с высокими брам-стеньгами и густо оснащенным бушпритом. То ли плавучий музей, то ли учебное судно… Праздник был всюду, праздник на душе.

— Куда пойдем, Сашка?

— Куда хотите! Гулять!.. Ой, а вы опять хромаете! И с палкой…

— Ерунда! Палку просто подарили. Сувенир…

— Можно посмотреть?.. Вот это да! Черное дерево, наверно… Раньше в таких секретные шпаги носили.

— Если хочешь, я заведу… И тебе подарю.

Он засмеялся, примерил трость к бедру, будто и правда шпага.

— Велика.

— Да, тебе, пожалуй, больше кортик подойдет. Вид совсем морской…

Куцый Сашкин костюмчик был того же цвета, что летние рубашки морских офицеров. Он уже заметно пообтерся, на штанах не осталось пуговок-украшений, а на рубашке пуговицы были латунные, с якорями и восьмиконечными звездочками — розами ветров. Мало того, на плечах у Сашки чернели твердые суконные погончики с четырьмя золотыми угольниками и тем же звездным знаком — эмблемой Лоцманской службы…

Я тронул погончик.

— Это что? Украшение такое? Или…

— «Или», — скромно сказал Сашка и шмыгнул носом. И покосился со смущением, но весело.

— Ого… — Я теперь кое-что смыслил в этих знаках различия. Если по старинной табели о рангах перевести Сашкино звание в разряд военно-морских, то ему должны были бы козырять капитаны третьего ранга.

— Когда ты это заработал?

— А… в июле еще. Когда сюда переехали. Тут курсы лоцманов-четырехмерников при навигаторском колледже. Для взрослых. Ну… меня тоже взяли, с испытательным сроком на месяц. А потом там… в общем, проект один. Переброска опытной модели темпорального блока в подпространство. Как «Даблстар», только проще… Все взялись колдовать и считать, а ни у кого не выходит ничего…

— А у тебя вышло!

— Они на компьютерах, а я на спичках. Ну, как раньше. И ушла игрушка… Все на меня: «Как? Как? Объясняй!» Я объясняю по-своему, а они понять не могут… А я растолковать не могу по всей этой ихней алгебре… Чуть не заревел даже…

Я покрепче взял его за плечо с погончиком.

— «Чуть»? — сказал я. — Или…

Сашка потерся щекой о мой рукав, признался опять:

— «Или»… А зато диплом дали! Только временный, до совершеннолетия. И главное, разрешили в стажеры… Ой!

— Что? — вздрогнул я.

— Игорь Петрович, а вы долго будете здесь работать?

— Не знаю. Погляжу…

— Ну, полгода-то протянете?

«Протяну ли я вообще полгода?»

— А что случилось?

Сашка сказал, тускнея:

— Но я же сегодня уезжаю. На шесть месяцев… Меня Пантюхин берет на «Стар-2».

Опять этот Пантюхин!

— А почему так надолго? Тебе же учиться надо.

— Я заранее зачеты сдал за весь шестой класс… А это и недолго, полет-то! Это *здес*ь полгода, а в корабле всего три дня!

— Фокусы… — огорченно сказал я.

— Ну да! Свойства межпространственного вакуума. Путь по темпоральному кольцу… Знаете куда? В будущее. В обсерваторию «Сфера». Пантюхин должен доставить результаты экспедиции

«Даблстара».

Грустно мне стало. Но, конечно, без той горечи, что прежде. Все-таки спасибо судьбе: встретились! Опоздай я на день, и никогда в жизни Сашку больше не увидел бы.

— Так вы пробудете здесь полгода? Дождетесь?

— Очень постараюсь, — пообещал я. И чуть не добавил: «Не все от меня зависит». Не добавил, сказал небрежно: — А Чибу-то берешь?

Сашка вздохнул:

— С мамой оставлю. Чтобы не скучал.

— А мама как? Отпускает тебя?

Он сказал с грустной рассудительностью:

— Что поделаешь, если сын уродился лоцманом?.. И нельзя же упускать шанс. Ведь «Стар-2» — это единственный такой корабль в наше время!

— Откуда он такой взялся? — спросил я. И подумал: «На нашу голову...»

— Да это же половина «Даблстара»! Левая часть! Братья Скицыны... ну, тот экипаж! — они ее отцепили и оставили на плато у Овражков. Чтобы Пантюхин мог добраться до «Сферы».

— Без тебя он будто не добрался бы! — не выдержал я.

Сашка ничего не ответил. Только покрепче

ухватился за мою руку. А меня вдруг обожгло! Даже не смог скрыть испуга:

— Сашка! Но эта твоя теория!.. «Стереоскоп»… Ведь получается, что Андрис и ты… И тогда твой полет… тоже…

Он понял. И не испугался.

— Не-е, это другое. А ту параллель… я уже отработал. Тоже ведь чуть не «грохнулся». Когда лихорадка была… Мне даже в бреду снилось, что я разбился на самолете. О каменный свод. И будто я насквозь его… Игорь Петрович, да вы не бойтесь! Через три дня я буду здесь как огурчик… Ой, ну то есть через полгода.

Однако я все равно боялся. Но ясно было и другое: сколько ни бойся, а Сашка уйдет на этом чертовом «Старе-2» в подпространство. Так зачем же, чтобы и он боялся, как я?

— Ладно… — сказал я. — А что слышно о *тех*? На другой ступени?

Сашка посмотрел без улыбки. Опустил голову.

— А о них ничего и не будет слышно… пока астрономы не увидят новую двойную звезду…

— Сашка… Возьмите меня с собой.

Он не удивился.

— Я уже думал… Но там жизнеобеспечение только на двоих…

— Жаль.

— Да… Ну, может быть, потом! Я спрошу…

«Потом», — усмехнулся я про себя. И сказал:

— Спроси, конечно.

Во время разговора мы вышли к набережной у левого берега бухты. Она была отгорожена от прибрежных камней парапетом из тесаных гранитных глыб — видимо, для защиты улицы от штормовых волн. Сейчас, однако, внизу плескалась и мотала зеленые пряди водорослей безобидная зыбь. Я навалился грудью на ограждение. Сашка подпрыгнул, забрался на парапет, лег на нем, подперев щеки, постучал по камню кроссовками.

Причалов поблизости не было, слева стояли над берегом строения с вышками и мачтами — видимо, яхт-клуб. Белые треугольники парусов ходили туда-сюда вдали от берега. Бриг ушел от пристани на середину бухты и распускал желтоватую парусину на обеих мачтах. А ближе к набережной лихие ребята носились на виндсерферах — парусных досках. Парусов было много, все разноцветные, глаз не оторвешь…

Сашка сказал:

— Я тоже хотел так научиться, да все времени не хватает… Зато купался часто. Я на пляже учеб-

ники читал.

— Ты герой, — задумчиво похвалил я его.

— Ага… — согласился он с прежней дурашливой ноткой. Но без улыбки.

Тогда я встряхнулся:

— Сашка! А чего мы куксимся! Радоваться надо, что увиделись… И еще увидимся! У тебя полет — всего на три дня, а я… потерплю. У старых людей время бежит незаметно.

Он тут же повеселел. Возмутился:

— Ох уж, «у старых»! Вы еще это… средних лет.

— Тем более. А проводить тебя сегодня можно?

Сашка досадливо поморщился:

— Наверно, не разрешат. Это ведь спецрейс…

«Ну и ладно. Так даже лучше», — подумал я.

Сашка глянул на часики, сказал виновато:

— Домой пора. Собираться… И мама ждет…

— Тогда попрощаемся здесь. Ты пойдешь, а я постою. Погляжу на паруса.

— Ладно! — Сашка, видно, тоже боялся долгого прощания.

— А я все-таки побывал в Ново-Камышине, — сказал я. — Как ты советовал.

— Знаю. Я ведь ездил в Овражки еще раз…

— Да? Зачем?

— Ну… про вас узнавал… — Он застеснялся и

сказал быстро: — А еще с теми ребятами поиграть хотелось. Помните, которые тогда у костра… С ними хорошо! Не то что в Краснохолмске.

— А там что? Все никак не поладишь с одноклассниками?

— А когда ладить? Мы уже уехали…

— А здесь? Неужели тоже пристают и дразнятся?

Сашка насмешливо мотнул волосами.

— Что вы! Наоборот! Как узнали, что лоцман, смотрят… будто все время чуда какого-то ждут. А это ведь тоже… Я хочу, как все…

Он помолчал и вдруг спросил неловко:

— Книгу-то не нашли?

— Увы…

— А… — Он глянул нерешительно.

— Тетрадь? Нет, Сашка… Да и не было никакой Тетради.

— Это хорошо, — вдруг сказал он.

— Что хорошо?!

— Ой… дурак я! — Сашка от досады крепко хлопнул себя по затылку. — Я не так хотел сказать… Я вам один подарок сделаю! Когда вернусь…

— Какой?

— Пока нельзя говорить! Тайна!

— Ну, если тайна… А где ты живешь, не тайна?

А то как я тебя найду, когда вернешься?

— Ой, верно!.. Улица Голубиной Почты, восемь, квартира два… Игорь Петрович, а вы зайдите к маме, когда меня не будет, ладно? Она обрадуется…

— Зайду… Ну, а теперь давай прощаться. Быстро и решительно!

— Ладно! — Он сел на парапет верхом, широко отвел свою ладошку и с размаху впечатал в мою ладонь. Рукопожатие получилось крепкое и веселое. И Сашка вскочил на парапете. Смешно и лихо отдал мне честь, крутанулся на пятке и побежал по граниту, как по узкому тротуару. «Свалишься ведь, акробат!» — хотел крикнуть я вслед. Но он уже прыгнул на плиты набережной. Пересек мостовую, на той стороне помахал мне еще рукой и ускакал за угол дома с вывеской:

«Кафе „В объятиях осьминога“»

«Черта с два я пойду в такое кафе», — решил я. И опять повернулся к морю.

Носились виндсерферы. Разноцветные. Лишь один — как бабочка-траурница, весь бархатисто-черный…

Глава 10. ЧЕРНЫЙ ВИНДСЕРФЕР
1. Последняя печаль

Настроение изменилось не сразу… До вечера я ходил со спокойной и ясной радостью. Правда, была она вперемешку с грустью — из-за нового прощания с Сашкой — и все же… Главное, что мы снова стали друзьями. Я мог теперь без прежней печали и без злости на себя вспоминать наше путешествие…

И я вспоминал. Шагал по пестрым улицам Кан'Орры и улыбался, что, наверно, со стороны выглядело глупо…

Зашел в редакцию и в течение пяти минут терпел, как танцует вокруг меня Галевич: «Ах, я не посмотрел сразу в анкету!.. Вы не передумали, это не шутка? Но как же — корректором? Знаете, у нас на днях уходит замредактора… Ах, специально, творческий эксперимент? Очень остроумно!.. Только комната, честно говоря, она… Может быть, номер в гостинице?»

Я успокоил его, обещал завтра явиться на работу, он вручил адрес и ключ от комнаты, где «приготовлено все, насколько хватило возможно-

стей». И высказал живейшее желание проводить меня и помочь устроиться. Кое-как я убедил его, что устроюсь сам, и пошел искать свое новое жилище.

По дороге набрел на отделение связи, позвонил Денису. Переждал его радостно-негодующие крики по поводу моего «ребячьего поведения» и нежелания появляться дома, узнал, что «Лариска опять намылилась замуж, и на этот раз, кажется, удачно». Сказал, что устроился в редакцию в одном приморском городе, «а в каком, сообщу после, нечего за мной хвостов снаряжать». И попрощался… И дальше пошел совсем улыбчиво-умиротворенный. Все живы-здоровы, и слава Богу…

«Квартира» моя оказалась в пристройке домика, где находилась контора маячной службы. Недалеко от берега, в районе Катерной гавани. В окна были видны пирсы и суета «москитного» флота, на стенках висели меркаторские карты ближней акватории, слышно было, как над вышкой хлопает флаг гидрографической службы. В общем, весьма уютно и романтично…

Клочковато-бородатый болтливый сторож тут же взялся было готовить чай («И, может, чего покрепче, а?»), но я поблагодарил и отказался.

До семи оставалось около часа, я решил, что поужинаю в первой попавшейся забегаловке и отправлюсь в клуб «Светлое слово», как обещал директору Вербе.

Надел свежую рубашку, обмахнул у порога от пыли башмаки, резко разогнулся… и замычал от неожиданной, как удар боли, тоски.

Все вокруг было то же самое: стены в желтоватых морских картах, корабельные часы над столом, вечернее солнце и гавань в окне. Но я — будто проснулся. И словно догнала меня та безжалостная печаль, которая вчера терзала на пароходе. Господи, зачем я здесь? (И зачем я вообще?) Какая судьба занесла меня сюда? Кому я здесь нужен? Восторженному Галевичу? Членам клуба «Светлое слово»? Им нужен не я нынешний, а прежний — со своей известностью и книжками. Они просто не знают еще, что у меня все позади…

Если кому-то и нужен я был, то, пожалуй, Сашке (хотя и непонятно почему). Но Сашка ушел в дальний рейс, и смешно надеяться, что я сумею протянуть полгода и дождаться. А если и дождусь, что дальше?

«Зачем ты мальчишке, которому — жить, расти, пробиваться в новые пространства? Надеешься

пойти с ним еще на один маршрут? И может быть, что-то написать? Не ври себе. Лучше, чем прежде, не напишешь, и праздники не повторяются…»

Я сдался не сразу. Чтобы спастись от тоски, я сжал зубы и вышел из дома. Зашагал по прибрежным улицам — запутанным, причудливым… и чужим. Совсем недавно они казались мне сказочно-манящими, радостными. А теперь это был отрешенный от меня, ненужный мне город. О чужой истории рассказывали чугунные памятные доски на стенах домов и траверсах бастионов; чужие корабли толкались на вечернем рейде; чужие деревья золотились под закатными лучами; чужие матери скликали с улиц ребятишек с деревянными мечами и самокатами…

«Давай разберемся, — безжалостно сказал я себе. — Город не виноват. Виноват ты сам. Ты бессовестно эксплуатируешь судьбу, которая принесла тебе великодушный подарок… Ты отшагал свое, как умел, сделал то, на что хватило сил, написал все, что мог. Нет, хуже, чем мог, конечно. А самое главное, что жил еще хуже, чем писал. В отличие от своих придуманных героев, не раз трусил, приспосабливался, обманывал других и себя… И все же, когда поздно стало что-то менять и на что-то рассчитывать, тебе повезло,

как немногим: сумел напоследок прорваться в тот мир, обрывки которого неловко и кособоко вставлял в свои книжки. Сумел взглянуть на города, которые твоя память детства, тревожная фантастика снов и выдумка окутали „цветным туманом“… Вначале ты, самонадеянный дурак, думал, что это и вправду „отраженный мир“ — результат твоей фантазии в сочетании с хитростями многомерных пространств. Но возникла ясная и бесспорная реальность — лоцман Сашка. От такой реальности никуда не денешься, логичнее уж себя признать „отраженным“… Следовало быть благодарным судьбе и послушно вернуться домой после Подгорья… Не ври, что не сумел! Не хотел, прятался. Глупо надеялся на что-то… Судьба пожалела тебя снова — сегодня. Дала тебе еще одну встречу, дала прощение мальчишки. Так имей же, наконец, совесть!»

Я торопливо зашагал к дому. Чтобы взять вещи и поспешить на пристань. К пароходу до Кобурга. А потом — домой…

А дома — что?

Радостно-укоризненный Артур Яковлевич? Прибежавшая Тереза, прикатившие (возможно!) Денис и Лариса? Их шумное сочувствие и заботы, а потом, во время приступа, нарочитая бодрость и

спрятанное в глазах понимание, что, кажется, на этот раз уже *всё*. И тайное, скрытое даже от себя самих, желание, чтобы *это* скорее кончилось, ибо тогда будет облегчение для всех…

Ну, а если *это* случится здесь? Лучше будет? Оно ведь скоро, скоро. Зря надеется наивный Галевич на долгую работу нового корректора…

Я был уже недалеко от домика маячной службы, за которым пряталось низкое рыжее солнце. И здесь вверх от берега по ракушечным плитам берегового спуска зашагала навстречу мне дружная компания мальчишек. Четверо несли на плечах бело-красную парусную доску-виндсерфер, еще двое — обернутый вокруг мачты парус. А самый маленький, похожий на копченую рыбку, шел вприпрыжку впереди и толкал перед собой, как колесо, оранжевый спасательный круг. В двух шагах от меня мальчик-рыбка вскинул веселые глаза и, видимо, просто так, от хорошего настроения, звонко сказал «Здрасьте!» и подбросил к виску растопыренные пальцы.

— Привет… — отозвался я с растерянной улыбкой. И с благодарностью.

Ребята промаршировали, а я смотрел им вслед. И с великим облегчением чувствовал, как уходит черная тоска.

Потому что я знал, что делать.
Я *вспомнил*.

2. Прощание

В комнате я достал из портфеля холщовую сумку с лямкой через плечо, уложил в нее несколько книг, которые возил с собой. В том числе и «Плутонию». И снова вышел из дома.

Несмотря на тяжесть сумки, я чувствовал себя удивительно легко. Как мальчишка, отпущенный на каникулы. Конечно, ни в какой дом «Творческая мастерская» я не пошел (простите уж, уважаемые члены «Светлого слова»), а просто бродил по улицам. Времени было достаточно — до полуночи.

Я слушал духовой оркестр на бульваре, смотрел, как на старом бастионе мальчишки в сумерках играют в мушкетеров, как светятся на склонах окна сотен домов. Мне улыбались встречные люди, меня зазывали распахнутые двери приморских ресторанчиков и видеозалов. Городские куранты переливчатыми колоколами время от времени играли знакомую мелодию «Возвращение эскадры», а на рейде гремели якорные цепи и перекликались диспетчерские динамики.

Тепло было. Хорошо мне было. Кан'Орра снова был *мой* город — добрый, знакомый, понимающий меня…

Когда куранты пробили половину двенадцатого, я оказался на том месте, где днем распрощался с Сашкой. У широкого гранитного парапета. Здесь огни светились редко, было безлюдно и тихо, только из «Объятий осьминога» доносилась песенка:

И парус, и парус, и парус,
Как призрак, уйдет в темноту…

«Ну и уйдет. Пора…»

Я пошел сперва по набережной, а потом уверенно свернул в неосвещенный переулок. Он полого спускался к воде, пахло сырым песком и водорослями. Я знал, что справа яхт-клуб, слева судоремонтные мастерские. Остались позади последние неяркие окошки, потянулись по сторонам теплые каменные заборы. Сильно трещали ночные кузнечики. От этого треска, темноты, горьковатого запаха мелких береговых ромашек плавно закружило голову. Но не болезненно, не тревожно. И я знал, что успею.

Впереди не светилось уже ни искорки, но я помнил дорогу. Мало того, я даже видел в темноте. Я

вышел на кремнистую, с редкими травинками площадку. Справа дышал теплой влагой простор бухты, слева стоял похожий на склад сарай. Но мне было известно, что это не склад и не сарай, а магазин старых книг.

Не светилось ни единой щели, но я решительно постучал в дощатую дверь. И ждал недолго. Раздались шаги, дверь отошла. Встал на пороге человек со свечкой. Огонек освещал шкиперскую бородку и морщинистый лоб над впадинами глаз.

— Капитан, — сказал я, — времени у меня мало. Я хочу оставить вам несколько книг. Подарить… — И протянул сумку.

— Хорошо, — без удивления отозвался хозяин. И сумку взял.

— Только одну, «Плутонию», отдайте мальчику. Он обязательно забежит к вам, я уверен. Его зовут Сашка…

— Я знаю, — сказал хозяин лавки. Он все ниже опускал свечу, и лица его я уже не видел.

— Ну… вот и все. А говорить ему ничего не надо.

— Я понял, Игорь Петрович, — совсем негромко произнес хозяин. — Я все сделаю, не волнуйтесь. Прощайте… — И дунул на свечу.

Я стал спускаться по деревянной, широкой,

как терраса, лестнице и чувствовал, что хозяин смотрит вслед. Это тихо радовало меня. Хорошо, когда в такие минуты кто-то смотрит вслед…

Ни на берегу, ни на воде не было ни единого огонька. Возможно, центр города скрылся за мысом, но все же не может бухта быть без сигналов. А тут — ни маяка, ни мачтовых фонариков… Но это не удивило меня. Я знал, что *так и должно быть*. Словно когда-то уже было такое.

Сплошная теплая чернота лежала над землей и над морем. В ней дул мягкий ветер. И я ощущал, видел внутренним зрением, как в этом ласковом, нестрашном мраке скользят недалеко от берега бесшумные паруса виндсерферов, а чуть подальше развернул марсели и брамсели и ходит короткими галсами учебный бриг. Без огней, без слышимых команд…

И еще я знал, что у причала, на который сейчас приду, качается виндсерфер с черным неразличимым парусом.

Как правило, мачта и парус виндсерфера лежат на доске, пока владелец не станет на верткую палубу и не поднимет парусину за гибкий гик-уишбон. Но у этого, моего виндсерфера мачта уже стоит — как на яхте. И палуба лишь слегка заколеблется, когда я ступлю на нее. Потому что

это *мой* виндсерфер, он ждет меня всю жизнь.

Я возьмусь за пластиковую дугу, подтяну лавсановое черное крыло паруса, ветер мягко выгнет его, а я откинусь назад, чтобы уравновесить упругую силу. Узкий корпус оторвется от причала и заскользит, срезая круглым носом гребешки, которые чуть светятся во мраке. Теплые брызги ударят по рукам и по лицу. И скоро в мягкой, обнимающей меня тьме волны эти станут сильнее, доска побежит со склона на склон, и я, никогда не ходивший на виндсерфере, инстинктом угадаю секрет управления и сольюсь в этом движении с черным ласковым ветром и плавными ритмами волн… Я засмеюсь, когда вставшие навстречу всплески слизнут с меня лишнюю одежду, сделают меня маленьким, ловким, гибким. И обнимут меня, десятилетнего, закружат и укроют в усыпляющей, нестрашной, никому не доступной мгле…

А что будет потом?

Если что-то и будет вообще, то, пожалуй, лишь это: доска приткнется когда-нибудь к берегу, а вдали засветится закатная полоса. Я выскочу на траву и, торопясь, побегу по заросшему склону вверх. Чертополох будет хватать меня за мокрые ноги, но я, запыхавшись, выбегу на бугор.

И увижу, как слева темнеет похожая на замок водонапорная башня, как светится в закатном отблеске старая Спасская церковь — памятник старины и гордость нашего города — и как горят огоньки в окнах знакомого двухэтажного дома. И в мамином окошке свет… Ох и загулялся я!.. Ну и правильно, если влетит! Главное, что я уже почти дома. Подожди еще минутку, я бегу, вот он я!..

Виндсерфер и правда стоял у берега. Его узкий пластиковый борт скреб о спущенные с причала плетеные кранцы. Парус, невидимо растворившись во мгле, трепетал на ветру.

Сейчас я, сейчас…

Я сбросил на плиты пиджак, полуботинки, носки, галстук. Подвернул брюки. Подошел к краю. Заранее ощутил, как ступлю сейчас на мокрую мелкоребристую палубу, как закачается она… Выждал, когда наклонится ко мне мачта, ухватил ее… Ну!

Тихо-тихо стало. Замерло все и внутри у меня, и вокруг. Даже зыбь улеглась.

И в этой тишине, распоров ее трескучим пунктиром, рассыпался нарастающий стук подошв. И крик!

— Игорь Петрович! Вы куда?!

И Сашка вцепился в мою рубаху.

3. Спор на ночном причале

Он дышал часто, со всхлипами. А над ним невидимо кувыркалось в воздухе знакомое картавое существо. Неразборчиво и скандально вскрикивало.

Я испугался и не обрадовался. Вернее, обрадовался, но лишь на миг. Потому что сейчас никто не нужен мне был, даже Сашка. Я был уже *не здесь*.

— Игорь Петрович, не смейте! — с каким-то бульканьем выдохнул Сашка. — Это… нельзя…

— Откуда тебя принесло, — сказал я с жалостью (он дрожал) и с нескрываемой досадой.

— Принесло… вот… Вы только не вставайте на серфер… — Он потащил меня за руку от воды, я заупрямился, наши руки вытянулись до отказа, между нами оказалось метра полтора. Я слышал Сашкино дыхание, но самого его почти не различал. Только светлые волосы да рубашка с шортиками проступали во мгле, как на полупроявленном негативе.

— Да не тяни ты меня… Почему ты здесь? Ты же должен был улететь!

— Не улетел… Потому что вы…

— Что — я?

— Такое вот… придумали. Вас, как маленького, нельзя одного оставлять.

— Ничего я не придумал!

— Ага, «ничего»…

— Откуда ты… все знаешь про меня?

— Мало ли… От Чибы.

— Прохвост он, твой Чиба… И ты заодно.

— Ага, — сказал Сашка, уловив слабинку в моем голосе. — Ну, давайте отойдем от воды. Вон там скамейка есть.

Что мне было делать-то? Отошли, сели.

— Да не цепляйся ты за меня, не сбегу.

— Правда?

— По крайней мере в этот момент.

— Ни в какой момент!

— Слушай, ты чего раскомандовался?

— А как еще?.. Если вы…

— Что «если вы»? Я взрослый дядька. Почему я не могу делать, что хочу?!

Он сказал, будто камень уронил:

— Не имеете права!

— Вот те раз!

— Да, не имеете. Мы еще… у нас контракт не кончен.

Я постарался разозлиться. И его разозлить, что-

бы легче было разойтись:

— Однако плату ты получил сполна. И велосипед небось купил, «Стрижа» с аккумулятором, а?

— Ну и возьмите себе этого «Стрижа»! А контракт все равно не закрыт!

— Я, что ли, в этом виноват?

— Значит, — тихо сказал он, — хотите…

— Что?

— Разорвать?

Вот ведь паршивец… Нет, не сумел я сказать, что следовало: «Да, хочу. И оставь меня в покое, у тебя свои дела, у меня — свои». Пробормотал только:

— Ты все равно ушел из «Пилигрима».

— А контракт остался! — в Сашкином ответе прозвучал намек на злорадство. Потому что бывший проводник опять чутко уловил мою нерешительность. — Остался незакрытый!

— Это что же, до конца дней кабала?

Он засопел. Виновато, но упрямо. Потом спросил шепотом:

— Для кого кабала-то?

— Глупый. Прежде всего для тебя…

— Не-а…

— Вот тебе и «не-а»… А как же с твоей стажировкой?

В темноте я почувствовал, что Сашка пожал плечом.

Я сказал довольно жестко (может, хоть это его разозлит, заставит отпустить меня):

— В тот раз хотел от меня сбежать, сейчас удрал от Пантюхина. Это благородно?

Он не обиделся. Ответил примирительно и задумчиво:

— Разве я удрал? Пантюхин сам отпустил… Он, думаете, почему за меня держался? Потому что командор.

— Кто?

— Ну есть такая командорская община. Они стараются ребят охранять. Таких, как лоцманы, и со всякими другими свойствами. Говорят, что для будущего… Хотел меня в обсерватории «Сфера» с мальчишками познакомить, с группой «Пограничники». Они не то что лоцманы, а вообще… любой разверткой владеют, на любых расстояниях…

— Вот и летел бы.

— А когда он узнал, что я хочу из-за вас остаться, сказал: «Правильно»…

— За что мне такая честь?

— Он говорит, что вы… знаете Дорогу…

— Я? Какая чушь!

— Ну и пусть не знаете. Все равно…

— Что «все равно»?

Он опять засопел. Я вздохнул, придвинул его к себе, теплого и колючего.

— Сашка, ну что тебе во мне? В старом насупленном дядьке с душевными копаниями и всякими хворями. Разве мы ровня?

— Ага, — сказал он уже с нахальной ноткой.

— Всыпать бы тебе в самом деле…

— Фигушки… — И он теснее придвинулся ко мне.

— Ну и… куда ты собрался теперь меня тащить… раз контракт еще действует? — мрачно поинтересовался я.

— Через пески…

— Что?!

— Через Оранжевые Пески, — сказал он отчетливо. — На плато, что рядом с Подгорьем, — пустыня. Горячая, с большим оранжевым солнцем…

Я вздрогнул. И, пряча испуг, сказал пренебрежительно:

— Что за бред. Какая может быть пустыня в той местности?

— Может…

— Почему я там никогда про нее не слышал?

— А никто не слышал. Потому что никто не бывал там. Никто не поднимался на плато.

— Ты спятил! Рядом с городом…

— Да! Все думают, что поднимались другие, и делают вид, что там ничего такого. Просто так, пустыри. И говорят об этом друг другу, и сами верят. А на самом деле… Я не вру, честное-расчестное слово! Ну, Чибу спросите!

— Ладно, допустим, — сказал я, переглатывая тревогу. — Ну и тем более… Нечего туда соваться.

— Есть чего!

— Нет, Сашка… Спасибо тебе, что догнал меня. За все спасибо. Но давай здесь и попрощаемся…

— Но почему? — с горечью сказал он.

— Да потому… Нечего тебе делать в Песках, а мне тем более.

— А вот как раз и есть!

— Нет, Сашка, — вздохнул я, решив идти напрямик. — Не получится. У меня, по крайней мере… пороху не хватит. Несколько лет назад я… в силу некоторых обстоятельств… залез в одну зону. И получил кое-чего сверх нормы. И вот недавно это сказалось, в крови… И сколько теперь мне осталось — трудно угадать. Но в любом случае наш контракт оказался бы недолгим… Так что отпусти уж меня… пока есть виндсерфер.

— Он никуда не уйдет, — буркнул Сашка. — Успеете еще.

Серфер качался у причала, кивал в темноте верхушкой мачты — с тем пониманием и терпеливостью, с какой покачивает головой покладистая лошадка.

Но я сказал угрюмо:

— Могу и не успеть.

Сашка опять повозился у меня под боком.

— Ну, чего вы… Я же знаю. Потому и поведу через Пески. Там такое солнце, оно прожаривает человека насквозь и любую кровь делает здоровой… если человек сумеет пройти… А мы сумеем, пройдем.

— Выдумщик ты, — вздохнул я.

— Да нет же, это правда! — И я почувствовал, что он на грани слез. Торопливо попросил:

— Сашка, только без сырости!

— А вы… тогда тоже! Без того…

— Без чего?

— Без дурацкого упрямства…

— Нахал!

— Ага, — с готовностью сказал он.

— И… липучка.

— Ага! — ничуть не обиделся он. — А если вы со мной не пойдете, я не отдам…

— Что?

— Одну важную вещь…

— Какую?

— Очень важную. Я ведь говорил вам сегодня!.. Это тайна. Пока не дадите честное слово, что останетесь… — Он вдруг вскочил и опять засветился в двух шагах, как слабо проступивший в темноте негатив.

— Ну, что там у тебя? — сказал я с неожиданным и резким беспокойством.

— А слово?

— Интриган ты…

— Ага… Все равно не отдам.

— И шантажист.

— Ага…

— Но должен же я знать, что там у тебя, прежде чем лезть в ярмо!

— Ладно уж…

В темноте я не увидел, а скорее догадался, что он расстегнул рубашку и что-то достал из-за пояска.

— Вот…

— Что это?

— Ваша Тетрадь.

4. «Это повесть о Дороге…»

Я вскочил, охнул, осел на больную ногу. Вцепился в то, что протягивал мне Сашка. Клеенчатые корочки, разлохмаченные углы. Забухало сердце.

— Ч-черт! Хоть глаз выколи…

— Идите сюда. — Сашка потянул меня за рукав.

Шагов через пять мы оказались у бетонного столба. Сашка трахнул по нему кулаком. На столбе зажглась лампочка. Я не удивился, не до этого было. Тетрадь. Такая, как помнил. Пухлая, мягкая, с царапинами на тисненом коричневом ледерине. Правда *она*?

Я открыл первый лист. Мелкими буквами в правом углу было написано:

> «Какой бы сложной и многомерной
> ни была природа Великого Кристалла
> Вселенной, такое понятие, как Дорога,
> еще более непостижимо. И в структуре
> Кристалла места для Дороги нет. Ибо
> Кристалл замкнут хотя и в бесконечное,
> но все-таки в Кольцо, а Дорогу

замкнуть нельзя. И если мы хотим
иметь пусть и упрощенный, но зримый
образ, то должны представить Кристалл,
обвитый нескончаемым серпантином
снаружи, вне своих граней.

Академик Я.М. Скицын.
Постулаты Альфреда де Ришелье».

Почерк был явно не мой. Корявый и детский.

— Это что же? Ты сам писал, Сашка?

Он отозвался все так же насупленно:

— Не важно. Вы сперва посмотрите. А потом уж, если хотите, выбрасывайте…

Я перевернул лист. «Глава первая. Побег… Утро было прекрасное. Сверкающее…»

Вздрогнув, я залистал, выхватывая глазами куски текста…

«Это повесть о Дороге. Точнее, о людях, которые ищут Дорогу…»

«Он стоял перед махиной гранитной стены, уходящей гребнем в желтоватые волокна тумана. Маленький — перед миллионами тонн глухого камня…»

«— Я не знаю, — сказал Александр. — Я потом

никогда эту рукопись не мог вспомнить. Знаю только, как выглядела Тетрадь… — И тогда Решка ответил: — Это уже кое-что…»

«Решка обвисал у Александра на руках, горячий, беспомощный и сразу ставший тяжелым. А большой рогатый месяц смотрел в круглое окно и ничем не мог помочь…»

«Решка никогда не успел бы побывать на всех улицах и напасть на след, если бы не велосипед — легонький и стрекочущий, как стрекоза…»

Я понял, что в Тетради — многое из того, что случилось со мной и с Сашкой. Но много и такого, чего я не знал. Это был рассказ о взрослом путешественнике и маленьком проводнике. Только проводника звали не Сашка, а почему-то Решка. А взрослого звали Александр…

И еще я понял: тот, кто писал это (Сашка? Или кто-то другой?), немало начитался моих книжек. Потому что язык был точно мой. Если бы не почерк, я уверовал бы тут же, что сам когда-то написал все это, а потом забыл…

Очень про многое хотелось мне спросить. Но я чувствовал, как натянуты у Сашки все нервы. И спрашивать ничего не стал, сунул тетрадку за брючный ремень и сказал:

— Хорошо. Идем…

— Вы ботинки-то наденьте, — напомнил Сашка.

— Ах ты, черт, в самом деле…

Я обулся, отыскал в темноте пиджак и галстук.

— Держитесь за меня, — все еще хмурым тоном потребовал Сашка. И пошел впереди.

Я держал его за плечо с твердым лоцманским погончиком. Скоро начался склон, покрытый частым кустарником — с мелкими листьями, ягодами и колючками. Судя по всему, барбарис. И не было тропинки. Колючки хватали меня за штаны. Сашка шипел и несколько раз помянул «Ёшкин свет».

— Какая холера тебя тут понесла? Рядом же лестница…

— Нету никакой лестницы…

— Ну что ты споришь! Ты же сам бежал сюда по ней, подошвами стучал!

Сашка сердито усмехнулся в темноте.

— Это было до полуночи. А сейчас… Вы думаете, мы все еще в Кан'Орре?

— Господи, а где?

— Увидим…

— Увидишь тут. Раньше без глаз останешься.

Но заросший склон кончился, мы оказались на ровной каменистой дороге, и тут же позади нас

мигнула колючая белая вспышка, бросила сквозь тьму короткий сигнал. Потом еще… Маяк.

Полной тьмы уже не было, мерцали корабельные и береговые огоньки, на каком-то судне зажегся прожектор, с маху рубанул пространство голубым лучом… Но не было и намека на многоэтажное сияние и радужные рекламы Кан'Орры.

— Где мы, Сашка?

— Судя по всему, порт Бугенвиль, Звездная область… Здесь, говорят, где-то таверна «Перекресток»…

Шумная птица опустилась на Сашкино плечо рядом с моей ладонью.

— Пер-рекресток! Скар-рее!.. — При новой вспышке маяка я разглядел, что это большой попугай.

Глава 11. ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПЕСКИ
1. Приют капитанов

«Перекресток» — это была классическая таверна. Как в старом романе. Видимо, она действительно стояла на перекрестке навигационных путей. Служила временным приютом для морских, воздушных и, судя по всему, межзвездных покорителей пространств. За сколоченными из длинных плах столами ели, пили и шумели люди в форме всех мастей, а также в костюмах без погон и шевронов, но тоже крайне живописных. Мерцали по углам цветные мигалки, мелькали видеоэкраны, магнитофонная мелодия ритмично расталкивала воздух, а с потолочных балок спускались граненые решетчатые фонари, снятые, видимо, со старых фрегатов. Они своим ровным желтым светом успокаивали, приглушали электронно-современное мелькание и бряканье.

На разлапистой дубовой подставке чернел посреди зала метровый шар небесного глобуса в широкой меди опоясывающих колец и с позолоченными гвоздиками звезд.

— Кр-расота, — сказал на плече Сашки попугай

Чиба.

А я оробел. Остановился на пороге. Место было явно не для хилых интеллигентов и уж, конечно, не для детей. Сашка оглянулся на меня понимающе.

— Ужинать-то все равно надо. И ночлег нужен… — И пошел между столами. Этакий пескарик среди китов и акул…

«Акулы», однако, затихали, оглядываясь на нас. Кто-то негромко присвистнул. Кто-то поспешно отодвинул с пути у Сашки стул (могучее сооружение со спинкой из трехдюймовой доски, в которой был вырезан сквозной трефовый туз). Кто-то сказал вслед утробным шепотом:

— Клянусь бородатой галактикой, кавторанг лоцманского корпуса. Во, нынешние ребята…

Навстречу вышел непомерных объемов дядька. Его кожаный жилет распирался изнутри так, словно под ним прятался еще один глобус-великан.

— Приветствую юного капитана. Рад вас видеть, кэп. Чем могу служить, кэп?

На его круглом лице не было никакого намека на иронию. Ни капельки взрослой снисходительности. Только добродушие и самое искреннее желание сделать что-нибудь хорошее для гостя,

которому он рад и которого уважает.

— Поужинать бы, — скромно, однако без робости попросил Сашка. — Мы вдвоем.

— Прошу юного капитана… и его спутника… — Наконец-то на меня обратили внимание. — Там у окна есть еще свободный стол для двоих…

Хозяин усадил нас на дубовые тесаные троны со сквозными тузами на спинках. И обещал сию минуту прислать «расторопного юношу». В самом деле тут же явился парень в белой куртке — длинный, гладко причесанный и крайне вежливый по отношению к Сашке. Он согнулся над ним (и над Чибой, усевшимся на спинку стула).

— Что угодно капитану?

— Заказывайте, Игорь Петрович, — сказал Сашка. И небрежно разъяснил парню: — Это мой наставник, консультант-межпространственник…

Почтительность и готовность ко всяческим услугам тут же излилась и на меня.

— Слушаю вас, док. Ужин, док?

— На двоих…

— И… к ужину, док?

— Мне стакан хорошего портвейна, — расхрабрился я. — А… юному капитану пепси-колу.

— Простите?

— Ну, что-нибудь прохладительное.

— Слушаю…

— А майонез у вас есть? — спросил Сашка.

— Одну минуту, капитан!

Скоро появилось жареное мясо, тушеные овощи и салаты — в количестве, способном накормить экипаж среднего траулера.

— Сашка, — шепотом сказал я. — А какой валютой здесь расплачиваются? Наши деньги берут?

— Всякие берут… Да вы не беспокойтесь, у меня есть.

— Нет уж, дорогой. Контракт не закрыт, а в нем сказано, что «клиент» обязан заботиться о пропитании проводника.

Сашка смущенно хихикнул и стал намазывать на ломоть майонез.

— Не злоупотребляй, — предупредил я и отхлебнул рубиновую жидкость.

— А вы… тоже не злоупотребляйте. Ничего себе «стакан». Цистерна такая…

У меня пробежало по животу тепло, слегка поплыла голова. И в этот момент у Сашкиного стула оказался детина в ковбойской шляпе с кокардой и меховом жилете, с которого свисал эполет с тремя звездочками космонавигаторской службы.

— Прошу прощения, кэп. Два слова, кэп… Не

рассчитали малость мы на нашей «Бригитте». Засела в барьере между гранями, аккурат пополам. В носу часы еле ползут, в корме вертятся как угорелые, темпоральный дисбаланс в полной натуре. Приборы — вдрызг…

На Сашкином лице появился сдержанный интерес. Он поставил пятки на сиденье, стер с колена майонезную кляксу, облизал палец. Сказал небрежно:

— Юпитер и Сатурн почти на одной линии, а вас понесло поперек вектора. О чем думали?

— Да ни о чем не думали, — сокрушенно признался детина. — Хотели как скорее. Кабы знать заранее… Теперь никакими силами самим не выбраться, нужен лоцман вроде вас… А то ведь что! Носовая команда просаживает прошлые премиальные в Реттерберге, мы торчим здесь, а «Бригитта» — разом в пяти координатах и трещит по швам. А компания прогорает.

— У вас коммерческое судно? — деловито осведомился Сашка.

— Да, кэп… Вы не думайте, никакой контрабанды. Все документы в ажуре! И договор на спасение будет немедля! Десять процентов прибыли ваши, как положено…

Сашка сказал снисходительно:

— Да ладно, и так рассчитаю развертку… — Он поднял глаза к потолку. — Только при таком-то Юпитере никуда сейчас не сунетесь. Можно лишь завтра после полудня.

— Хорошо, кэп! Где прикажете вас найти, кэп?

— Здесь и встретимся.

— Спасибо, кэп! И если что — за нами не пропадет. В любой момент…

— Да не надо ничего… Хотя… У вас есть в этом секторе вертолет?

— Найдем, кэп!

— Надо нас подбросить на Оранжевое плато у города Овражки. Это недалеко… И еще. Нужно снаряжение для перехода через пески. Рюкзаки, еда, фляги. Запас дня на три…

— Завтра к утру будет, кэп!.. А может, вас просто перебросить через Пески?

— Это не «просто», — вздохнул Сашка. — Это вообще нельзя, если по воздуху, там барьер. Можно только пешком…

2. Опять волчок…

На верхнем этаже таверны нашлась для нас комната, и хозяин лично проводил туда «юного капитана и его почтенного наставника». Мы

остались наконец одни, и тогда я сказал:

— Благодарствую, конечно, что ты произвел меня в лоцманский ранг. Но что будет, если эти арматоры и у меня попросят помощи? Скандал и позорное разоблачение…

— А вы набирайтесь опыта, — легкомысленно хихикнул Сашка. — А у вас ведь уже получалось.

— Не городи чепуху.

— Вы просто сами не замечали… Тогда из Подгорья мы как попали в Овражки? Думаете, это я сделал? Я только чуть подтолкнул, дохлый был…

«Ладно, пусть фантазирует», — подумал я.

Сашка выкладывал на широченную кровать с полосатым одеялом имущество из своей сумки: полотенце, мыльницу, пасту. И… книгу «Плутония». Покосился на меня, улыбнулся чуть-чуть. Потом вытащил темно-клетчатый пушистый платок с бахромой. Большущий. Смутился почему-то.

— Это мамин… Дала вместо пледа, если где-нибудь спать придется без постели.

— Молодец твоя мама.

— Ага… — вздохнул он.

Я вытянул из-под ремешка на брюках Тетрадь. Еще раз быстро пролистал. Она была записана наполовину, каждый лист — с двух сторон. Это,

выходит, не меньше чем по странице в день сочинял Сашка *мою* повесть… Зачем? Что его толкало на это?.. «Не задавай дурацких вопросов», — сказал я себе. Но все же задал вопрос:

— Долго ты это писал, Сашка?

Он сидел на кровати, кутаясь в платок, будто в плащ. Смотрел серьезно и ответил тоже серьезно:

— Не один же я писал.

— А кто еще?

Тогда он улыбнулся:

— А еще — вы…

— Ох и выдумщик ты…

— Ага… Я придумывал, будто я — это вы. И тогда получалось. Иногда придумывал, что я — это вы большой, а иногда, будто Решка… Смотрите, там и почерк даже не мой.

— Ну… и не мой. И в детстве я не так писал… Хотя, может, и похоже немного…

— Конечно! Потому что они смешались, наши почерки! Наложились друг на дружку, как фотокарточки в стереоскопе…

— Я смотрю, ты не забываешь свою теорию…

— А зачем забывать!

— И ты хочешь сказать, что потому и возникла Тетрадь? В новом измерении?

Сашка сказал спокойно и уверенно:

— Возникло еще одно новое пространство. В котором теперь мы и я… Тоже чуть-чуть новые.

— Что-то я не замечаю в себе… ничего нового.

Сашка прыгнул с кровати. Стал шарить в сумке, достал картонный кружок и спички, соорудил волчок.

— Идите сюда, к столу. Попробуйте…

— Что?

Сашка запустил волчок. Взял мою ладонь, повернул ее над волчком, распрямил пальцы.

— Держите так. И попробуйте, чтобы завертелся обратно.

— Нет, дружище, поздно мне учиться таким премудростям.

Но Сашка удерживал мою руку. Спичка словно выросла, щекочуще, не больно воткнулась в ладонь, завертелась среди мышечных волокон. Это почему-то рассердило меня, я усилием нервов остановил зудящее вращение. И убрал руку, уверенный, что волчок лежит на боку. Но он вращался. А когда замедлил бег, стало ясно — крутится в обратную сторону.

— Ну вот, — довольно заметил Сашка. — Это первое упражнение. А потом надо попробовать увидеть через стены окружающее пространство.

Кто умеет, тот, значит, уже чувствует четырехмерность.

— Не надо мне было допивать портвейн, — сказал я. — А то я теперь и десятимерность могу ощутить.

Сашка заливисто рассмеялся и опять сел на кровать. А я — в глубокое старомодное кресло. Никакого пространства сквозь стены я не видел, но ощущал, что оно есть. Громадное, бесконечное, оно вокруг и во мне. И я чувствовал, как журчащими ручейками течет по граням Кристалла время…

Мягкая, без сонливости, усталость окутывала меня. Я пересилил ее, опять подошел к столу. Крутнул волчок. Снова, снова… И держал над ним ладонь. Три раза ничего не получалось, а на четвертый он все-таки завертелся вспять.

— Смотри, Сашка, вышло!

Но Сашка уже спал на широченной кровати, свернувшись калачиком и накрывшись платком.

Я хотел растолкать его и сказать, что надо раздеться и лечь в постель по-человечески. Но не стал. Пусть пока спит под маминым платком, так, наверно, лучше… И опять сел в кресло. Взял Тетрадь. Открыл наугад.

3. Пока лоцман спит…

«…Жара стояла нестерпимая, а вода на третий день кончилась.

— Кажется, я не рассчитал расстояние, — признался Решка. Провел языком по сухим губам. На них была выступившая из трещинок и запекшаяся кровь…»

Это был рассказ, как Александр и Решка шли через горячие пески. Как маленький проводник в конце концов совсем изнемог и Александр нес его, увязая ногами в сыпучих оранжевых заносах, и голова рвалась на части от апельсинового солнца — громадного и беспощадного. Последнюю воду Александр отдал Решке и бросил фляжку в песок. Бросил и другие вещи. Он теперь уже ни на что не надеялся, просто шел из последних сил, решая две задачи: не уронить мальчишку и переставлять без остановки ноги. В оранжевой жаре поднимались иногда развалины желтых зданий, кое-где стояли каменные идолы и почему-то гипсовые горнисты с отбитыми руками и головами…

Зачем Сашка придумал все это?.. Или не Сашка?

…На исходе четвертого дня Александр с Решкой на руках добрался до края песков и увидел там локаторы и вагончики. Это была темпорально-радарная служба обсерватории «Кристалл». Лаборантка Рая — медик по совместительству — развернула в одном из вагончиков лазарет и двое суток возилась с путешественниками, приводя их в более или менее нормальное состояние. Впрочем, Александр был на ногах уже через сутки.

Таким образом, конец оказался благополучный. Но я перевернул пару листов назад и опять погрузился в оранжевый жар пустыни. И, несмотря на этот жар, мороз меня подрал по спине: что за фантазия у мальчишки! А может, он думает, что и впрямь будет такое? Нет уж, голубчик, ни на какое плато я с тобой не пойду.

Уж не вслух ли я это сказал? Потому что Сашка пробормотал сонно:

— Тогда я один пойду…

Я вздрогнул, уронил тетрадку. Но Сашка спал как ни в чем не бывало, посапывал. Показалось мне, что ли?

Кто-то весело засмеялся мелким кукольным смехом. Рядом с креслом, на полу, устроился, оказывается, тряпичный клоун. Свернулся калачиком, как Сашка: я, мол, тоже сплю.

— Ладно, не валяй дурака, Чиба, — сказал я.

Он стрельнул в меня живыми синими глазками и уткнул хитрую резиновую рожицу в кружевной воротник. Сунул под щеку ладошку.

— Пройдоха, — сказал я.

Чиба отозвался насмешливо-картавым голоском:

— Ну, чего пр-ристал? Спать хочу…

— Иди сюда, обормот, ухи надеру…

Он хихикнул, прыгнул и — шелковый, мягкий — упал мне на колени. Сел, скрестив ножки в острых башмачках, опять сверкнул глазками. Я накрыл его ладонью.

— Хитрюга…

— Ага, — весело выдохнул он. И превратился в пушистого бело-рыжего котенка. Повозился, заурчал у меня под рукой.

— С какой ты планеты, бродяга? — тихо спросил я.

— М-рр… Не помню…

Ночь за окном была спокойная, бездонная. И я ничуть не удивлялся (словно так и должно быть!), что ощущаю эту ночь сквозь опущенные холщовые шторы, сквозь некрашеные плахи стен. В тишине шелестел голубым лучом прожектор, с маху рассекая над морем темное пространство,

а где-то совсем далеко (в лопухах Пустырной улицы!) шуршали бродячие кошки. Сашка тихо дышал на кровати. Он спал, подтянув к груди коленки. Платок сполз на пол. К густому, как морилка, загару Сашкиных ног прилипли сухие листики барбариса. Льняная рубашка сильно сбилась вверх, открыв коричневую спину, и на пояснице, над потертым клеенчатым ремешком, резко белела полоска незагорелой кожи с пунцовой набухшей царапиной.

Я вспомнил снова, как обвисал у меня на руках охваченный лихорадкой Сашка, и опять меня зазнобило — от нового мгновенного понимания, какой он беззащитный, этот шагающий сквозь пространства проводник… Но в то же время я знал, ощущал каким-то десятым чувством: стоит мне шевельнуться под влиянием этого страха, как Сашка проснется. Вскочит, вцепится в меня — перепуганный, плачущий, оскорбленный: «Вы что! Хотите сбежать? Слово давали!..»

На спине, у края сбившейся рубашки, торчал под коричневой кожей острый позвонок. На нем сидела мохнатая ночная бабочка. Сложила крылья и устроилась по-хозяйски. Я притворился петухом с красным прицельным глазом и метким клювом. Бабочка панически затрепыхалась и

улетела к потолку.

Я глянул вверх. Сквозь доски и балки светили белые созвездия. Мигал маяк. Опять снизу вверх прошел шелестящий луч прожектора и затерялся среди звезд. Много раз (я не считал) пробили в отдалении часы… Светящаяся красная горошина быстро летела в небе — то ли метеор, то ли звездолет. Я вспомнил о «Даблстаре», о его правом модуле, мчащемся где-то в бесконечности. И холод непостижимого Пространства и Времени дохнул сквозь потолок. Так ощутимо, что Чиба дернул ушами и съежился посильнее. Я посмотрел на Сашку. Он тоже ежился и зябко шевелил ногами.

— Извини, дружище, — сказал я Чибе.

Переложил его на широкий подлокотник, встал, поднял платок. Укрыл Сашку от пяток до заросшей белым пухом шеи. Сашка благодарно притих. Я постоял над ним, потом вернулся к креслу. Чиба по-прежнему дрыхнул, только его кошачий хвост превратился в рыбий и свисал с подлокотника.

— Нет уж, голубчик, ты мне своей селедочной чешуей все брюки извозишь.

Хвост подтянулся, опушился серой шерстью, и весь Чиба из бело-рыжего стал серо-полосатым.

Но не проснулся. Я сел и опять взял Чибу на колени. Поднял с пола и положил на котенка Тетрадь. Чиба муркнул. Я открыл Тетрадь на прежнем месте и стал читать, что было, когда оклемался и повеселел Решка.

4. На краю Пустыни

«…Александр сел на край гибкой дюралевой кровати. Решка смотрел в потолок и виновато морщился. Потом сказал:

— Измучился ты со мной, да? Целые сутки тащить такого… я ведь тяжелый. Там одному идти и то…

— Один бы я просто сел в песок и благополучно испекся, чем такую муку терпеть… Это тебя, путешественника, надо было вытаскивать из пекла, вот и шел…

— Спасибо, что вытащил…

— Да скорее уж это ты меня вытащил.

— Ну, тогда…

— Что?

— Значит, ты не очень на меня сердишься?

— Горюшко ты мое…

Он улыбнулся задубелыми, в трещинках губами.

— Мама, когда говорит «горюшко мое», значит, не сердится. То есть сердится, но не по правде… А ты?

— Что? — притворно насупился Александр.

— Ну… ты не очень жалеешь, что связался со мной? — Решка смотрел уже с нешуточной тревогой.

— Не очень, — усмехнулся Александр.

— Значит… снова пойдем?

— Это куда еще?

— Через Большую пустыню, — сказал Решка вполне серьезно.

— Бредишь, да?!

— Да ты не бойся. Я теперь все рассчитаю, я выдержу! — Он приподнялся на локтях — взлохмаченный, тревожный.

— Глупый. Ты-то, может, и выдержишь, а я…

— А ты тоже! Взгляни на себя. Ты ведь уже… не такой.

— Какой «не такой»? — Александр наивно поискал глазами зеркало, которого в вагончике не было.

— Волосы уже не седые, — сказал Решка. — И руки… посмотри на них.

Александр посмотрел. Кисти были длинными, сухими. Россыпь стариковских веснушек исчезла.

А может, просто спряталась под слоем прочного загара? Александр сжал и разжал пальцы, под ними словно разбежались искорки сухого электричества. А от пальцев — по всем рукам, по плечам, по телу… И ноющая боль, усталость, которая все еще не отпускала Александра, сделалась нестрашной, даже приятной, как утомление крепкого человека после пахоты или сенокоса… «Неужели это правда — то, что говорят об Оранжевом солнце?»

Решка смотрел выжидательно и беспокойно.

— Ну… а зачем через нее идти, через Пустыню-то? — спросил Александр. — Что там, на том краю?

Решка неловко завозился, отвел глаза.

— Нет уж, ты говори…

— Пока лучше не надо… Это пока тайна…

— Ну, тайна, так тайна. Только я в такие игры больше не играю. — Александр сделал вид, что хочет встать.

Решка, видимо, испугался по-настоящему.

— Нет, я скажу!.. Ладно… Послушай, Александр, я не знаю! Знаю только, что надо идти. Честное слово! Это же Дорога!

— Это для тебя Дорога. Ты — лоцман. А я-то при чем?

— А зачем лоцман, если некого вести?

— А какой смысл тебе вести *меня*?

— Раз уж такая судьба, — вздохнул он. — Стереоскоп…

— Опять ты про свое!

— Ага…

— Решка, а вообще… зачем все это? — тихо спросил Александр.

Решка ответил не сразу. Или не хотел, или не знал. Завозился, потянул на себя простыню. И сказал наконец из-за ее хрустящего края:

— Ты это первый раз спрашиваешь? Про «зачем»?

— Нет… не первый.

— Это можно так про все на свете… «Зачем» да «зачем»…

— Вот именно, — грустно и упрямо сказал Александр.

— По-моему, просто интересно, — вздохнул Решка. — Узнавать, что будет дальше… И вообще жить… Вот ты зачем книжки пишешь?

— Уже не пишу.

— Но ведь тетрадку-то искал!

— Искал. Сам не знаю, для чего…

— А вот придем к тому краю Пустыни, может быть, и узнаем, *зачем все на свете*… и зачем мы

сами.

— Шиш мы узнаем, — сумрачно сказал Александр.

Решка коротко засмеялся, тут же замолк и наконец изрек задумчиво:

— А может, главное как раз в том, чтобы искать. Идти… Главное — сама Дорога.

— Мысль не такая уж глупая. Но не новая. И всегда есть возражение: идешь… а какой смысл?

— Это смотря с кем идешь, — возразил Решка. Нахмуренно и как-то виновато. — Если с тем… ну, с кем ты подружился, тогда хорошо. Тогда это… смысл.

Александр коротко вздохнул, дотянулся, взъерошил Решкины песочные волосы.

Решка пробубнил обиженно и капризно:

— А если нету смысла, зачем было тащить меня через Пески? И тащиться самому…

— Боюсь, что мне придется снова тащить тебя… если будешь болтать, а не лечиться.

— А чего лечиться-то? Я уже… во! — Решка подрыгал руками-ногами, распинывая простыни.

— Лежи! — прикрикнул Александр. — А то вздую…

— П-жалста! — Решка крутнулся на живот и дерзко выпятил под простыней округлую часть

тела.

Александр засмеялся, потом сказал строго:

— Крутись не крутись, а все равно будешь лежать еще целые сутки. Безвылазно.

— Как это? А если мне… очень будет надо?

— Скажу Рае, чтобы принесла посуду…

— Ну уж фигушки! — Решка стремительно сел. — Придумал тоже, Ёшкин свет… Я удеру сейчас.

— Я вот тебе удеру… — Александр пальцем хлопнул Решку по носу и вдруг, подчиняясь толчку нового, ласково-тревожного настроения, взял его за плечи, притянул к себе. Спросил шепотом, словно выведывал важную тайну:

— А эта Большая пустыня… она правда большая? Она где?

— Она… — Решка задышал шумно и беспокойно. — Это трудно сказать. Зависит от многого… Я постараюсь свернуть расстояние, ты не бойся…

— Я все-таки боюсь. Не расстояния…

— А чего?

Александр замялся. С одной стороны, сдерживала суеверная боязнь. Как в детстве, когда боишься назвать страшное и накликать беду. С другой — лучше уж об этом страшном сказать заранее. Чтобы обезвредить его… Александр сказал:

— Два раза ты висел у меня на руках, почти уми-

рал. Я боюсь третьего… Вдруг тогда… совсем…

Решка быстро, испуганно как-то обнял его за шею и горячо зашептал, защекотал распухшими губами ухо:

— Чего загадывать! Я не два раза помирал, а больше. Первый раз еще при рождении. Думали, что не буду живой. Меня знаешь кто спас? Генриетта Глебовна… Она сказала, что после этого до ста лет буду жить, а это же целая вечность…»

Здесь страница кончалась. И вообще запись кончалась. На обратной стороне листа ничего не было. Вот так…

Я осторожно положил Тетрадь на пол у кресла, закрыл глаза, откинулся. Почему-то запахло больничным коридором — знакомо и тоскливо. И негромкий бас Артура Яковлевича укоризненно раздался надо мной:

— Игорь Петрович, голубчик мой, что же вы в холле-то… Спать в кровати надо. Пойдемте-ка баиньки в палату…

Я обмер, горестно и безнадежно проваливаясь в *то*, в *прежнее* пространство, в унижение и беспомощность недугов. О Господи, *не на-до*!.. Мягкая живая тяжесть шевельнулась у меня на коленях. Последняя надежда, последняя зацепка, словно во сне, когда сон этот тает, гаснет, а ты

пытаешься удержать его, хотя понимаешь уже, что бесполезно… Я вцепился в теплое пушистое тельце котенка.

— Чиба, не исчезай! Не отдавай меня…

— Кстати, — сказал Артур Яковлевич, — я смотрел ваши последние анализы, они внушают надежды. Весьма. Если так пойдет дело, то…

— Чиба!..

— Мр-мя-а… — отозвался он крайне раздражительно.

Я приоткрыл один глаз. Так, чтобы разглядеть Чибу, но, упаси Боже, не увидеть белого халата и больничных стен. Чиба возмущенно вертел головой. Голова была клоунская, хотя туловище оставалось кошачьим.

— Опять тр-рагедия, — прокартавил Чиба. — Дрыхнул бы спокойно… — Впрочем, глазки его были не сердитые.

Я глянул посмелее, пошире. Чуть качались шторы. Светил за стенами маяк, мигали приморские огоньки. А вверху по-прежнему горели спокойные созвездия. Сашка сопел и шевелил ступней в пыльном носке с протоптанной на пятке круглой дыркой.

Чиба опять урчал умиротворенно. Я сказал ему:

— А про тебя Сашка ничего не писал в Тетради… Ты пойдешь с нами через Пески?

— Ур-р… Без меня пр-ропадете…

— А в каком, интересно, обличье ты отправишься?

Чиба встал на четыре кошачьи лапки. Зевнул розовым ртом. Выгнул спину, потянулся и… сделался ящерицей-вараном, в локоть длиной! Я вздрогнул, взбрыкнул коленями. Варан тяжело шлепнулся на пол, подбежал к Сашкиной кровати, забрался по одеялу и юркнул под платок. Сашка пошевелился, бормотнул и опять притих…

А мне спать не хотелось. И страшновато было: усну — и снова окажусь в больнице, как недавно… Надо же присниться такому!

В Тетради оставалось немало чистых листов. Я вынул из нагрудного кармана авторучку и стал рисовать на свободной клетчатой странице варана. Получилось похоже. Несколькими линиями я начертил за вараном убегающие вдаль барханы, а над ними большое солнце — круг с торчащими спичками. Потом изобразил, как идут к горизонту грузный дядька и узкоплечий, тонконогий мальчишка. От них протянулись до края листа волнистые тени. У кромки страницы

тени сливались в одну…

5. Апокриф

Видимо, я все-таки задремал, потому что испуганно вздрогнул от громкого шороха. Это опять выбрался на свет Чиба. Сел на краю кровати. Он был вороненком и под крылом держал белый конверт. Крикнул:

— У Александр-ра! Из кар-рмана… — Взял конверт в клюв и, трепыхаясь, прыгнул ко мне на колено.

Я хотел сказать, что нехорошо таскать чужие письма, но тут же увидел надпись: «Игорю Петровичу». Почерк был незнакомый. Я посмотрел на спящего Сашку и разорвал конверт. Вот что оказалось на клетчатом (как в Тетради) листке:

> «Игорь Петрович! Извините, что он опять увязался с Вами. Говорит, что контракт еще не выполнен, хотя это, конечно, просто его придумка. Неловко мне, что он так приклеился к Вам, извините еще раз. Но, честно говоря, я рада, что он отправился с Вами, а не с Пантюхиным. Все-таки по Земле, а не в этот ужасный

полет неизвестно куда… Каждый раз я стараюсь не пустить его, но ничего не получается. Однажды он сказал: „Ты же сама виновата, что такого меня уродила“. И еще говорит: „Что поделаешь, раз я лоцман“. Сказал недавно: „Пространства-то надо делать ближе друг к другу, а их ведь никакая техника не соединит, их могут соединить только люди“. Едва ли он сам это выдумал, вычитал где-то, наверно, или услышал… Игорь Петрович, я в тот раз даже не поблагодарила Вас толком, а Вы ведь так намучились, когда он заболел. Спасибо Вам и простите еще раз. Он говорит: „Больше ничего такого не случится, я теперь крепкий, все лето закалялся“. А я, конечно, все равно боюсь. У него ведь еще и гланды часто воспаляются… Игорь Петрович, если будет возможность, напомните ему, чтобы позвонил мне с дороги. Он обещал, да ведь может и забыть. Всего Вам хорошего.

Сашкина мама»…

Я сильно сдавил пальцами виски и с минуту сидел так с чувством резкой вины. И еще — с

ощущением, будто ко мне возвращается что-то давно потерянное. Словно я молодею… В этом не было особой радости. Стержнем этого чувства был страх. Не тот колючий, мгновенный страх, который временами прожигал меня при мысли о слабости и хрупкости моего проводника, а плотный, уверенный, с обещанием постоянности.

Стало понятным в конце концов, почему я при Сашке ни разу не ощутил себя бессильным и разбитым, почему не накрыл меня при нем ни один жестокий приступ. Дело в том, что и в те дни я *боялся* постоянно, хотя и незаметно для себя. Это настраивало мои нервы на ту же волну, что в давние годы.

Да, в те годы страх был частью моего существования. Страх за Лариску, за Дениса, за их непрочное бытие в нашем безжалостном, как железо, мире. В самые счастливые моменты, в самые беззаботные дни он не оставлял меня совсем, а только милостиво слабел, как слабеет огонек в лампе с прикрученным до отказа фитилем… Потом дети выросли, и страх постепенно ушел. А если он и возвращался, то был уже другим — не той неизлечимой боязнью за беззащитных существ, которым грозят все беды земные… К внукам же привязаться я не успел, они жили

далеко, отдельно…

Первое время я был даже благодарен судьбе за избавление души от постоянного гнета. Не понимал, что отсутствие страха — это и есть старость.

А теперь *это* вернулось. Маленький лоцман посапывал под маминым платком, и жизнь обретала простой смысл. Пока лоцман пытается соединить разные пространства мира, его должен кто-то охранять. Тут уж никуда не денешься…

«Но чего же стоит мой страх, — подумал я, — по сравнению со страхом *ее*! Сашкиной матери! Ведь я-то с Сашкой вместе, он у меня на глазах, а она — в вечной тревоге: где он, что с ним?»

Кто измерит эту тревогу матерей? У них нет даже надежды, что она исчезнет, когда дети вырастут. Для матери, пока она жива, ребенок остается ребенком. Это я знал по своей маме.

«Хорошо, что я сумел тогда позвонить», — подумал я, вспомнив хронофон.

Да, но сколько раз я забывал позвонить, не успевал! А она мучилась неизвестностью.

Нет мучительнее пытки, чем неизвестность о том, кого любишь.

…«Чадо! Что ты сделал с нами! Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя!» — через многие века летит к нам этот вскрик Матери, в котором и

горечь упрека, и великое облегчение от того, что вот он нашелся все-таки, жив, цел… Ведь три дня искали, когда заметили, что нет его среди тех, кто возвращался в свой город с праздника.

Мальчик сказал тогда, что не надо было искать. Могли бы, мол, сразу догадаться, что он там, где ему следует быть — в доме Отца своего Небесного.

Говорят, это было предчувствием и пониманием своего предназначения. А может быть, еще и попыткой скрыть за мальчишечьей ершистостью смущение и виноватость перед мамой?

Случилось это весной, на празднике Пасхи, когда великий старец Гиллель, его соперник Шаммай, а также тесть Ирода Боэт, Иоанн бен Заккай и другие знаменитые учителя и священники в Иерусалимском храме дивились вопросам Мальчика и его рассуждениям, что если мир бесконечен, то и добро должно быть бесконечно, и вовлекали его почти на равных в многочасовую беседу… А потом он с родителями вернулся домой, и скоро наступило лето. И Мальчик, то бегая в школу к учителю Закхею, то помогая отцу-плотнику, находил время и для игр с приятелями. Двенадцатый год — велик ли возраст-то!

На описании одного из таких летних дней я

несколько лет назад и оставил свою работу.

…Вернее, был уже вечер, когда Мальчик сидел на плоской крыше и сматывал на щепку нить воздушного змея, сделанного из тонкой, как пленка бычьего пузыря, кожи. Соседская девочка и ее семилетний брат по прозвищу Барашек забрались к нему и сели рядом. Девочка спросила с сочувствием:

— Отец сильно бранил тебя?

— Бранил? — удивился Мальчик. — За что?

— А разве соседи не пожаловались, как вы играли в цезаря?

— А! — Мальчик беспечно тряхнул волосами.

В самом деле, была вчера такая игра. У края дороги, недалеко от моста через ручей, мальчишки соорудили из камней трон, назначили из нескольких ребят стражу, сделали копья и пучки прутьев, как у римских ликторов, а Мальчика выбрали цезарем. Усадили на трон, водрузили ему на голову венок из травы. Потом, встав цепочкой на мосту, со смехом говорили прохожим: «Поклонитесь цезарю, а то не пропустим». Те взрослые, кто попроще и веселее нравом, включались в игру, а иные сильно сердились и грозили.

— Да, жаловались, — вспомнил Мальчик. — Ну и что?.. А я тогда и не хотел быть цезарем, я го-

ворил: «Давайте выберем его». — Он кивнул на Барашка. А все кричали: «Нет, ты! Нет, ты!»

— Потому что ты самый умный, — вздохнула девочка.

— С чего ты взяла, — сказал Мальчик недовольно. Не любил он такие разговоры.

— Конечно! Кто бы еще так ответил учителю Закхею, когда он на мосту укорял вас?

Учитель, седой и сварливый, и правда сердито говорил, потрясая посохом:

— Опомнитесь! Виданное ли дело, чтобы мальчики, даже в шутку, примеряли на себя венок цезаря!

Вот тогда он и сказал, что мальчики ничуть не хуже цезарей. По крайней мере, нет на мальчиках ни крови, ни обид человеческих. И Закхей, оторопев сперва, заспешил к плотнику Иосифу с жалобой на сына, ведущего недетские, возмутительные речи…

— Закхей давно злится на меня, — сказал Мальчик девочке и Барашку. — Еще с той поры, когда мы поспорили с ним о греческой букве альфа… А недавно он рассердился опять, потому что я подобрал в школьном мусоре кусок старого свитка для воздушного змея. Он раскричался, что я не ценю мудрости написанных слов, а это был

потрепанный, выброшенный обрывок. И к тому же там не было написано ни слова правды… А змей получился хороший.

— А правда, будто ты говорил большим ребятам, что можно сделать громадный змей и полететь на нем? — спросила девочка.

— Можно полететь и без змея… — задумчиво начал Мальчик, но вдруг замолчал и прислушался. Потом вскочил. — Мама зовет. Пойду. Она всегда беспокоится, если меня долго нет… — И он прыгнул с крыши…

На этом тогда и кончилась моя рукопись.

Она осталась лежать запертая в ящике стола среди старых бумаг и блокнотов. Теперь я впервые за долгое время подумал с тревогой: в порядке ли дома все мои бумаги?.. А впрочем, что с ними сделается…

Звезды и огоньки по-прежнему светили сквозь стены. Сашка спал, сунув ладони под щеку. Чиба-котенок уснул у него в ногах. Где-то опять пробили часы — я не понял, сколько раз.

Я снова взял Тетрадь. Перевернул страницу с рисунком. И начал писать на чистом листе — просто так, запросилась рука.

«…В тот вечер Мальчик лег рано и потому рано

проснулся…

Он любил спать на свежих стружках, которые оставались после работы отца. Сгребал их в углу, мать накрывала эту кучу куском дерюжной ткани, и он сворачивался калачиком на такой постели, вдыхая запах свежеоструганного дерева. Но, конечно, скоро накидка сбивалась, и Мальчик оказывался на щекочущих упругих завитках. Утром он, смеясь, прыгал, — вытряхивал стружки из-под холщовой, просторно скроенной рубашки — единственной своей ребячьей одежки для ночи и для дня. Стружки застревали и в волосах. Иногда мама ставила его перед собой и, вздыхая, выбирала из густых каштановых прядей желтые древесные колечки и ленточки. А потом прижимала его к себе. Но, сделавшись постарше, Мальчик стал стесняться маминых ласк и, увернувшись, убегал на улицу, хотя потом и покусывала совесть…

…Сейчас он сидел на плоской, обмазанной глиной крыше и сам рассеянно вытаскивал стружки из волос. И думал, как починить побитый ветром змей. То есть он знал *как*, но не хотелось браться. Было хорошо просто так сидеть на крыше, которую уже грело солнце, и смотреть по сторонам. Назарет, обычно бесцветный и выжженный лу-

чами, казался сейчас уютным и даже красивым городком. Склоны были не серыми, а ярко-зелеными, небо над головой — густо-синим. Кричали петухи…

Опять пришел малыш Барашек, забрался на крышу и сел поодаль. Нерешительно сказал:

— Здравствуй…

— Здравствуй, — откликнулся Мальчик. — Садись ближе… Почему ты всегда такой, словно чего-то боишься?

— Большие мальчики часто прогоняют, — признался Барашек, задумчиво болтая коричневыми ногами. В голосе его не было обиды, только простое объяснение. — Иногда берут играть, но редко. Чаще всего гонят…

— Я никогда не прогоняю маленьких, — сказал Мальчик.

— Да, я знаю, — кивнул Барашек. — Но другие не так. И я привык бояться.

— Не бойся. Садись ближе…

Барашек придвинулся. Глянул светло-карими глазами — и нерешительно, и доверчиво.

— Можно, я спрошу?

— Спрашивай.

— Ты вчера говорил ребятам, что люди всему научатся… Всему на свете. Да?

— Да! — оживился Мальчик. — Правду говорю тебе, пройдет не так уж много лет, и люди откроют всякие тайны о том, как устроен весь мир…

И будут знать, из чего сделано солнце, и почему на деревьях растут листья, а на птицах — перья, и что за краем Земли, и…

Правду говорю тебе, будут. Узнать это не так уж трудно, надо только время… Гораздо труднее другое, Барашек.

— Что?

— Ну, например, чтобы большие мальчики не прогоняли маленьких… И чтобы взрослые не обижали ребят, и чтобы никто не врал друг другу. Чтобы все любили всех и были добрыми… На это уйдут тысячи лет…

— Ну уж… — осторожно не поверил Барашек. Он был славный малыш, и умение быть добрым, несмотря на обиды и шишки, не казалось ему трудным. А вот разные чудеса…

— Ты еще говорил, что люди научатся летать…

— Да, — сказал Мальчик. И притих. Ему показалось, что мать в доме окликнула его.

Помолчал и Барашек. Придвинулся еще, прислонился к Мальчику плечом и спросил полушепотом:

— А когда это будет? Чтобы летать…

— Будет… — рассеянно отозвался Мальчик и прислушался опять. Потом вздохнул: — Только одному люди не научатся никогда…

— Чему? — огорчился Барашек.

— Сделать так, чтобы, когда человек летает, мама за него не боялась…»

КОРАБЛИКИ, ИЛИ «ПОМОГИ МНЕ В ПУТИ»

Пролог
ПЕТЬКА ВИКУЛОВ ПО ПРОЗВИЩУ ПАТЕФОН
1

Город наш потому, наверно, и называется Старотополь, что здесь много столетних тополей. Других старых деревьев тоже много, но тополей больше всего.

Правда, цвели они в то давнее лето жидковато — в воздухе только редкие пушинки. Зато листва выросла густая. Тесный заросший двор наш в то утро был весь в тени.

Я глянул во двор из-за двери. Тетя Глаша снимала с веревки высохшее белье. Дядя Костя у сарая возился со своим трофейным мотоциклом. На крыльцо они не смотрели. Я кошачьими прыжками достиг приоткрытой калитки, и вот — на свободе. Торопливо дошагал до перекрестка. И прежде чем уйти за угол, оглянулся на деревянный двухэтажный наш дом — пожилой, кособокий, но такой привычный…

Потом я свернул на Гончарную. И почти сразу:

— Эй, Патефон! Куда топаешь?

Это Гришка Гаврилов из нашего класса. Я сказал неласково:

— На кудыкины горы воровать помидоры...

Гаврилов был с круглой стриженой головой, полноватый и вроде бы добродушный. Но я его не любил. Помнил, как осенью, когда били Турунчика, он сопел и протискивался без очереди, чтобы ударить поскорее. "А сам-то, — безжалостно сказал я себе. — Лучше, что ли, был тогда?" И разозлился на себя и на Гришку.

Гаврилов улыбался. Он был не очень-то обидчивый.

— А что это у тебя? — Он пухлым подбородком показал на картонную коробку, я нес ее под мышкой.

— Любопытному Гавриле знаешь что отдавили?

Тогда он все же обиделся. Отошел, сообщил через плечо:

Патефон-скрипучка,

Сбоку в дырке ручка.

И зашагал поскорее.

Я был в классе не из драчливых, даже наоборот. Но будь сейчас у меня свободные руки, показал бы я Гавриле "ручку в дырке"! Последнее время я

легко стал заводиться…

А впрочем, наплевать. Патефон так Патефон. Теперь-то не все ли равно?..

Эту кличку мне приклеили прошлой весной, когда узнали, что я занимаюсь в Доме пионеров, у Длинной Эльзы. Эльза, чтобы набрать себе в певцы голосистых мальчишек, ходила по школам, сидела на уроках пения, прислушивалась, приглядывалась. Таким образом и меня разглядела.

Вообще-то я петь стеснялся. Но бывало, что, если все кругом поют и песня хорошая, я забывал про смущение и что-то прорезалось в голосе…

В хор я, конечно, вовсе не стремился, но Эльза умела уговаривать. К тому же если занятия, значит, меньше буду сидеть дома под бдительными взглядами тети Глаши.

Да и ребята в хоре были добрее, чем в классе. Без всяких прозвищ тут обходилось, без дразнилок и надоевшего в школе нахрапистого приставания. А со смуглым быстроглазым Валькой Сапегиным мы даже стали приятелями.

И петь мне понравилось.

Эльза как-то обмолвилась, что "когда этот мальчик поет, у него распахивается сердце".

Всякие там сольфеджио и нотную грамоту я терпеть не мог, но строгая седая Эльза почему-

то мне это прощала. И все чаще поручала быть солистом.

Разные у нас были песни: и пионерские, вроде "Эх, хорошо в стране Советской жить", и про недавнюю войну, и "Во поле березонька стояла", и "Веселый ветер"... Многие из них я любил. А больше всех — "Орленка". Эту песню я начинал один, а хор вступал постепенно. Как запоешь: "Орленок, орленок, взлети выше солнца", так сразу — и печаль, и смелость, и звон такой в душе...

А потом появилась еще одна песня, самая для меня хорошая. Но все это было раньше и осталось позади. Все позади...

Так, размышляя о прошлом, прошагал я всю Гончарную и вышел на Зеленую Односторонку, к берегу городского оврага. Недалеко был завод "Красный химик".

Сквозь бурьян, без тропки, я спустился по склону метров на пять. Татарник цапнул меня колючками за щиколотки, но не сильно, а так, для порядка. Словно предупреждал: "Не будь растяпой, оглянись". И я оглянулся. Но никого не было поблизости, только желтая бабочка летала над чертополохом.

За сорняками виднелась кирпичная кладка. Она выступала из глинистой толщи откоса. Это

была невысокая стенка из большущих старинных кирпичей. Я пробрался туда, где стенка отслаивалась от глины. За мертвой чащей прошлогоднего репейника пряталась расщелина. Только-только чтобы протиснуться такому пацану, как я. Со стороны ее трудно было заметить. Я обнаружил это место случайно, еще в апреле, когда в одиночку бродил вдали от дома, обследовал глухие окрестности (вернулся в перемазанном пальто и получил от тети Глаши вздрючку). Теперь, в рубашке-то, пролезть будет легче, да и глина высохла, не мажется.

Я протиснулся в щель. Сразу стало темно, запахло подземельем. Посыпалось за ворот. Но я, прижимая к груди коробку, проталкивался все дальше. И вот ход расширился. Я пошел вслепую. Нащупывал подошвами сандалий выбоины кирпичного пола. Не боялся. Путь мне был уже знаком. Скоро впереди забрезжило, обозначился во мраке дверной проем, под ногами оказались каменные ступени. Я спустился по ним… К воде я спустился. Она покрывала пол низкого полукруглого помещения.

Я знал, что нахожусь в церковном подвале и при этом нарушаю закон. Потому что украдкой проник на территорию завода. Вернее, под тер-

риторию, но какая разница. Конечно, сейчас на "Красном химике" не та секретность, что в годы войны, когда у завода был номер и делали здесь, по слухам, начинку к снарядам для "катюш". Ныне тут выпускают пластмассовые портсигары, посуду и голопузых кукол. Но все равно по забору тянется проволока-колючка, а у проходной переминается на толстых ногах тетка с наганом. Вот бы знала она, что сюда без пропуска проник нахальный пятиклассник Петька Викулов (к тому же выгнанный из пионеров, значит, вовсе подозрительный)...

Большая кирпичная церковь поднималась над заводским забором, над оврагом и была видна издалека. Ее колокольню давно разрушили, но высокий купол и угловые башни остались, церковь была все равно красивая, похожая на старинный замок, особенно когда ее освещал закат. В те дни в ней помещался то ли какой-то цех, то ли склад. Но это — наверху. А про подвал, скорее всего, никто не знал. Не помнил. Я это понимал и о тетке с наганом подумал просто так, мельком.

Сверху в маленькую квадратную дыру (видимо, отдушину в фундаменте) проникал рассеянный свет. В подземелье стоял полумрак. Почему-то зеленоватый. Но я хорошо различал бугристые

камни подвальных стен, глаза привыкли. Была в этих камнях железная дверь, но замурованная или заржавевшая намертво. А еще невысоко от воды виднелись узкие ниши с полукруглым верхом, похожие на заделанные церковные окна.

К одной такой нише мне и надо было пройти.

Я оставил на верхней ступени сандалии. Размотал на коробке шпагат, отбросил крышку. Достал кораблик. Побаюкал его в ладонях…

Он был размером с голубя, легонький такой, мой кораблик. С корпусом из большого куска сосновой коры. Но вовсе не такой, какие весною мастерят ребята, чтобы пускать по лужам. Он у меня был красивый. Паруса не бумажные, а из тонких белых лоскутков. И снасти натянуты как полагается — из суровых ниток и проволоки. И реи, и бушприт — все как у настоящего. И даже штурвал был — из медного колесика от будильника. А на высокой кормовой надстройке я выжег увеличительным стеклом название и завитки узора… Я целых две недели строил его — неторопливо, старательно. И он был похож на те старинные корабли, которые бывают в книжках про давние путешествия…

Воды в подвале было больше, чем в прошлый раз. Тогда она еле закрывала пол, а теперь залила

нижнюю ступень. Я осторожно опустил одну ногу, вторую. Встал, потоптался. Ох, просто ледяная. Пошел потихоньку. Раньше я бывал здесь в резиновых сапогах, а сейчас-то… Ну ничего.

Щербатый каменный пол был слегка наклонным. Где-то на десятом шагу вода подобралась к брюкам. Брюки были обычного для того времени ребячьего фасона: из серой материи "елочка", широкие, застегнутые под коленками. Я отпустил кораблик поплавать и расстегнул манжеты брюк, чтобы подвернуть штанины повыше. При этом одна пуговица — тугая и вредная — оторвалась и булькнула. Ну и пусть…

Ноги защекотало, защипало, потом все ощутимее стало покусывать и подергивать. Где-то прохудилась изоляция подземной электропроводки, ток разбегался по воде. Возможно, это было сильное напряжение. Но я терпел его легко и не боялся.

Такой уж я уродился: ток не причинял мне вреда. Мама рассказывала, что однажды застала меня, трехлетнего, сидящим на столе у лампы с воткнутым в гнездо штепселем. Я снял абажур, вывинтил лампочку и ковырял пальцем в патроне, хихикая от "щекотки". Мама чуть в обморок не грохнулась…

Да и потом, если меня ударяло током от плитки или утюга, я только радостно ойкал и смеялся.

Может, я и правда какой-то заколдованный? Недаром на левой лопатке у меня особая метка. Родимое пятно, похожее на след гусиной лапки, только маленький, размером с пятак.

Когда я был малышом и мама мыла меня в корыте, она всегда приговаривала: "Эх ты, чудо мое керосиновое. Сам — Петушок, а лапка гусиная..."

Почему "чудо керосиновое", я и сейчас не знаю. Может, для рифмы?..

Еще с десяток шагов, и я добрался до закругленной стены с нишей — как раз когда вода (по-прежнему жутко холодная) хватила колени. Дергать перестало.

Край ниши был на уровне моего подбородка. Я с трудом, но все-таки разглядел доску с маленькими полукружьями жестяного узора. Большего мне и не надо было. Главное, что она здесь.

Я поставил кораблик в нишу, на край. Дно у кораблика было плоское, встал он хорошо.

— Вот, это я вам... Принес...

Тихо было, только вода где-то: кап, кап...

Я достал из кармана свечку. Не настоящую, а из круглой батарейки и лампочки. Мог бы и настоящую принести, но такая будет гореть дольше.

Может быть, целые сутки…

Крутнул я лампочку в проволочном зажиме, она вспыхнула ярко-ярко, даже зажмурился. Поставил свечку рядом с корабликом. Лампочка высветила всю нишу. Желтый узор металлического кружева на доске заискрился — то ли латунь, то ли позолота. Верхний край этой накладки был зубчатым, лучистым, а нижний образовывал контур двух голов: одна покрупнее, другая маленькая, детская. Больше ничего на деревянной плоскости не было. Но я-то ясно представлял те два печальных лица, которые видел когда-то на маленькой иконе. Она хранилась в сундуке среди заветных маминых вещей. Мама показывала ее мне всего два раза. Говорила тихонько: "Бабушкина". То есть ее бабушки, маминой. Которая умерла еще до революции.

Доставая икону, мама оглядывалась на дверь тети Глашиной комнаты. Тетушка была партийная и принципиальная: увидит — крик поднимет. Потому что ни в какого Бога она не верила. Я, конечно, тоже не верил, но догадывался, что мама верит в глубине души. И поэтому смотрел на икону серьезно и с почтением. Даже с родственным каким-то чувством. Мы на нее вдвоем с мамой смотрели, прижимаясь друг к другу плечами. А

на иконе маленький сын тоже прижимался к материнскому плечу. И оба они глядели на меня и маму так, словно все знали про нас. И жалели…

Одежда на иконе была не нарисована, а сделана из металла, как бы отчеканена. И лучистое окружение голов — тоже металлическое, золотистое. Мама говорила, что все это называется "оклад"…

Такой вот оклад (вернее, его верхняя часть) и блестел сейчас на доске. А лица я видел мысленно.

И я сказал опять:

— Это вам… Я сам сделал.

Мне казалось, что Тем, к кому я обращался, должен понравиться кораблик. Ведь я так старался…

— Ну вот… А теперь я пойду. Ладно?

Что еще сказать, я не знал. Молиться и просить не умел. Да и не имел права, наверно… А может быть, все-таки попросить? Как юнга Джим, перед уходом в плавание… Но не петь же здесь! Наверху кто-нибудь может услышать через отдушину мой голос. Да и в горле скребло неизвестно отчего. Скорее всего, от холода. Но мелодия уже толкнулась в голове, и слова побежали сами собой. Конечно, я не запел, а зашептал, еле двигая губами. Но внутри у меня все равно звучала песня. И я не шелохнулся, пока не шепнул последние слова:

— …Помоги, помоги мне в пути…

И тогда — словно ответ такой — в подвале посветлело. Это сквозь наклонную отдушину упал сюда солнечный луч. Прямо на меня. Я вскинул глаза и увидел в крошечном оконце край ослепительного диска.

Солнечное тепло толчком прогнало из меня озноб. Я заулыбался. Но… так уж я был устроен: вместе с хорошим приходит осторожная мысль о печальном. Я сразу вспомнил, что вижу солнце не то, которое на самом деле.

Я был книгочей по природе. Прочитывал все книжки, какие попадали под руку, в том числе и всякие научно-популярные… У старшеклассницы Насти, что жила в нашем доме, я увидел как-то "Занимательную астрономию". Выпросил. Осилил. Во многом не разобрался, потому что был тогда всего-навсего второклассником, но кое-что понял. Уяснил, например, что у света есть, оказывается, своя скорость. Луч пробегает за секунду почти триста тысяч километров. Конечно, на Земле это не имеет значения, а вот сияние Луны долетает до нас уже за вполне заметный, хотя и крошечный отрезок времени — за секунду с хвостиком. Ну, это, по правде говоря, пустяк. А вот Солнце… Его мы, оказывается, видим не тем,

какое оно в этот миг, а таким, каким было восемь минут назад!

"И что же это получается?! — ахнул я про себя. — Значит, если оно вдруг погаснет, мы еще целых восемь минут не будем знать про это?!"

То, что Солнце может когда-нибудь погаснуть, я прекрасно понимал. Но сам по себе этот факт меня почему-то мало тревожил. А вот то, что я не узнаю про это вовремя, меня перепугало и опечалило. Целый день я ходил потерянный и будто виноватый, а вечером не выдержал, поделился с мамой. Мама посадила меня рядом на кровать, оглянулась опять на тети Глашину дверь и погладила мою стриженую макушку. И не стала утешать и успокаивать, а сказала:

— Знаешь, Петушок, это похоже на письмо с фронта. Бывает, что придет письмо, родные радуются весточке: живой, мол, а человека уже нет. Письма-то шли неделями, а то и месяцами…

И мы стали думать об отце. Вернее, мама об отце, а я о его письмах, потому что самого отца не помнил: его взяли в армию еще до войны, когда мне и года не было. Говорили, что ненадолго, на сборы какие-то, да так он и не вернулся.

Отцовские письма хранила мама там же, где икону, — в окованном жестью небольшом пра-

бабушкином сундуке. Иногда показывала мне. Одни — в конвертах, другие — свернутые треугольниками, по-фронтовому. Последнее письмо пришло в апреле сорок пятого, из Германии. Мама говорила, что штабная машина с отцом подорвалась на мине.

Лишь недавно я узнал, что было еще письмо. Уже после войны, в сорок шестом. Узнал, когда искал в сундуке икону, чтобы примерить к ней найденный жестяной нимб от оклада.

2

Эти находки столько перетряхнули в моей жизни!

...После праздника Победы Клавдия Георгиевна, которая была у нас в школе сразу и вожатой, и учительницей в начальных классах, сказала:

— Будет субботник по сбору цветного металлолома.

И объяснила, что заводам страны сейчас необходимы цветные металлы, чтобы ударно завершить первую послевоенную пятилетку. Все сразу загалдели:

— А примус дырявый можно принести?

— А ступку медную?

— А самовар?

— А у нас подсвечник есть поломанный! Годится?

Клавдия Георгиевна взялась за виски:

— Годится, все годится! Не орите только так, и без того голова гудит…

Конечно, ей хватало гвалта у своих третьеклассников, а тут еще пионерская работа…

Ким Блескунов, наш председатель совета отряда, по-командирски прищурился:

— Когда Петру Первому понадобилась для пушек медь, он велел со всех церквей колокола снять. Вот бы нам… В них весу по сто пудов.

Клавдия сказала, что Блескунов молодец. Только сейчас медь нужна не для пушек, а для мирных машин. Кроме того, колокола советская власть поснимала с церквей давным-давно, так что нам придется полазить по городским закоулкам, поискать всякую всячину…

Это лишь так называлось — субботник, а искали металл мы целую неделю. Чтобы победить в соревновании вечных соперников, пятый "Б". Кимка никому не давал спуску. Как прищурится, как зашипит: "Тебе что, на коллектив наплевать, да?" Впрочем, не было таких, кому наплевать, все старались. И даже Турунчик. Он, видимо,

давно забыл, как его били осенью, тот же самый коллектив...

Цветной металлолом — это ведь не железо и не чугун, доставался он нам с большим трудом и в малых количествах. И вот мы вчетвером — Юрка Нохрин, Игорь Копытов, Турунчик и я — решили обследовать склон высокого речного берега у Лодочной слободы. Дома там были старинные, стояли над самым откосом, хозяйки прямо вниз, в бурьян, сбрасывали ненужную рухлядь.

Повезло нам! Лазая в ломких прошлогодних сорняках, мы отыскали два расплющенных самовара, тяжелый обломок бронзовой люстры с завитками, медное коромысло старинных весов и мятый продырявленный таз для варенья... А потом, откинув рваную грелку и гнилой сапог, я и увидал это. Мятый клок узорчатой жести. Он был темный, бесформенный, но я почти сразу догадался, что это такое.

Я поднял, расправил. Получилась как бы фигурная буква "З". Она щетинилась мятыми зубчиками-лучиками. Я разогнул их. Потер букву о вельветовую курточку. Потом испугался чего-то, стал сворачивать жесть в трубку. Старался, чтобы никто не увидел. Но Юрка Нохрин сунул из-за моего плеча свой лисий нос:

— Это у тебя чё?

— Это у меня ничё… — Я затолкал скрученную жесть в карман (она цеплялась, царапалась).

— Ну покажи-ы… — заныл Нохря. — Я же все равно видел. Это церковная штука…

— Тебе-то что? — я отступил, чуть не покатился с откоса.

Пробрались через бурьян к нам Игорь Копытов и Турунчик. Нохря заявил:

— Патефон штучку нашел, медную, в карман затырил!

— Тебе-то что! — опять крикнул я.

— А вот то! Она казенная! Мы для школы металл ищем, а не для себя!

— Металл! В ней весу-то три грамма!

— А хоть сколько! Ты, Патефон, не имеешь права! Мы на субботнике, а ты в карман… — Это Копытов Нохрю поддержал. Они всегда вместе… Какое сознательное Копыто! Забыл уже, как в разделке из чужого кармана стянул трешку и как ревел потом на классном собрании…

Я красиво, с особым изгибом руки, показал Нохре и Копыту дулю. Потому что теперь стоял на откосе прочнее, чем они, в случае чего… А Турунчик мигал белыми ресничками и не знал, чью сторону принять.

— Поимеешь, Патефон, — сказал Нохря.

Я поднял из бурьяна раздавленный самовар, недавнюю свою добычу, отступил в репейники и стал продираться наверх.

— В школе поговорим! — пообещал вслед Копытов. — Ответишь перед отрядом!

Но я был не дурак и, прежде чем отнести самовар на школьный двор, забежал домой, спрятал свою жестяную находку в сарае. На тот случай, если вздумают обыскивать. Кимка Блескунов — он такой, все может…

К школе я вернулся позже всех. Кинул самовар в груду медной рухляди. И тут ко мне подступили. Впереди всех — Кимка.

— Ты, Викулов, говорят, какой-то металл прихватил для личного пользования… — Голову наклонил и прищурился. Красивый такой, причесанный, с белым воротничком. Красный галстук — из шелка.

— Три грамма… — бормотнул я. — Это… для коллекции. Потому что старина…

— Хоть какая старина, не имеешь права без общего разрешения! Давай сюда!

Раскомандовался! Наверно, у папочки научился, который замначальника городской милиции.

— Чего ты тут мне приказываешь! Генерал ка-

кой… — Это я уже брякнул напропалую. Понимал, что все равно не избежать скандала.

— Не хочешь по-хорошему?.. Отряд, слушай мою команду!..

Ох, не любил я драться. Боялся, по правде говоря. К тому же стояло вокруг меня человек семь. Конечно, не отряд, но уж не меньше чем звено. И казалось бы, пусть хватают, обыскивают, все равно без толку. Но бывали моменты, когда злость у меня перехлестывала через страх.

Недавно на школьном дворе срезали с тополей сучья. Они и сейчас валялись под деревьями. Я отпрыгнул, ухватил корявый, с себя ростом сук, прижался к тополиному стволу. Замахнулся:

— Только подойдите!

— Что такое тут у вас?! — это появилась Клавдия.

Все втянули головы, заморгали, засопели, только Блескунов не растерялся. Встал, как на дружинной линейке, подбородок задрал и будто рапорт отдал:

— Товарищ старшая вожатая! Мы для общего дела собирали металл, а Викулов одну свою находку присвоил! Для личного интереса! И, наверно, успел унести домой!

— Для какого интереса? Что за находка?

— Кусок от иконы. Он, наверно, в боженьку верит, молиться будет…

— Еще новости! Викулов, это правда?.. Брось палку!

Я опустил, но не бросил. Клавдия велела:

— Завтра принеси, что нашел. А то… слышишь, какие глупости про тебя рассказывают!

Ага, "принеси"! Тороплюсь! Как у нас в Старотополе говорят: "Сейчас побегу, только большие калоши надену…"

Дома я украдкой взял зубной порошок, разогнул, расправил темное жестяное кружево и щеткой стал отчищать его. И скоро оно золотисто заблестело. Кое-где остались, правда, черные пятна окиси, но все равно стало красиво. И я опять подумал: "Как на маминой иконе". И решил, что надо посмотреть, сравнить.

Мне повезло в тот вечер: тетя Глаша и дядя Костя ушли к знакомым. Тяжелый ключ от сундука был спрятан за стопкой тарелок в буфете (считалось, что я этого не знаю). Я отпер скрипучий замок, отвалил крышку. Постоял, вдыхая знакомый запах. Из сундука всегда почему-то пахло ванилью, как от праздничного теста. И когда мы с мамой сундук открывали, и сейчас тоже…

Икону я не нашел. Все остальное было на месте:

и прабабушкино белое платье, и синяя старинная чашка с отбитой ручкой, и малиновая плюшевая скатерть, и расколотый письменный прибор из серого мрамора, и всякие другие вещи из давних довоенных лет. И пачка отцовских писем… А икона как растаяла. Наверно, тетя Глаша перепрятала куда подальше, а то и совсем выбросила. Небось решила: увидит случайно кто-нибудь посторонний — будут неприятности. Работала тетушка в городском архиве и почему-то всегда боялась неприятностей "по партийной линии".

Я потерянно сидел на краю сундука. Затем стал рассеянно перебирать отцовские письма. И заметил письмо, которого раньше не видел. Или не обращал внимания? Нет, я бы запомнил голубую красивую марку. На ней — салют над Кремлем и слова "9 мая".

Да, но… напечатать эту марку раньше Дня Победы не могли, верно ведь? А почерк-то отцовский! Я пригляделся к штемпелю: "18.04.46". Тихо-тихо стало вокруг, даже часы-ходики будто замерли… Обратный адрес: "Моск. обл., г. Дмитров, Садовая, 3". Я вытащил листок. Письмо было короткое. Все уже не помню, а главные слова такие: "Конечно, я виноват перед тобой и перед Петей. Но ты все-таки напиши про него хотя бы две строчки. Сын

ведь. Имею же я право знать про него..."

Вот, значит, как. Ну что же...

Особого потрясения тогда я не испытал. Первое волнение быстро прошло, я сунул письмо в карман и начал рассуждать здраво.

Значит, отец не погиб, а просто не захотел вернуться домой. Скорее всего, "встретил другую". Мы, мальчишки послевоенных лет, были наслышаны про такие истории. Мама, видимо, погоревала, а потом решила, что пускай считается убитым. С глаз долой — из сердца вон. И для сына, то есть для меня, так спокойнее. Лучше погибший герой, чем бросивший семью беглец... Маму я не осуждал, она, наверно, правильно поступила. Отца я не помнил, никакой тоски по нему у меня никогда не было.

Сейчас я обрадовался, конечно, что отец живой, но радость эта была, признаться, хмурая и расчетливая. Наверно, как у окруженного врагами бойца, который вдруг нашел в кармане еще одну обойму.

А окруженным себя я тогда очень даже чувствовал. С одной стороны — вечные тети Глашины придирки, с другой — нынешняя история на субботнике. Хорошо, если до завтра забудут. Но едва ли. Блескунов — он принципиальный, вроде

тети Глаши…

И, конечно же, назавтра Блескунов подступил ко мне еще до уроков:

— Ну? Принес?

— Иди ты… — неохотно сказал я.

Он сразу вытянулся, губки поджал. Весь такой показательный активист в вельветовом костюмчике.

— Нет, Викулов, это ты иди. Домой, сразу после уроков. И неси то, что украл. А то будет хуже…

— Я? Украл?!

Тут затренькал звонок.

На переменах меня не трогали, но после пятого урока Кимка подошел опять. С двумя звеньевыми: с Генкой Бродиным и толстым Бусей. И с Нохрей.

— Ну? Мы будем ждать полчаса. Иди.

— Ага. В больших калошах…

— Хуже будет, — опять пообещал Ким.

— Ну беги, жалуйся! И так уже наябедничал Клавдии! Осенью всех подговорил бить Турунчика за то, что ябеда, а сам…

Кимка сказал наставительно:

— Тогда было наше дело, среди пацанов. А сейчас общественное. Ты против пионерского отряда идешь, значит, ты против советской власти.

Тут я ему и вделал! По носу! Даже для себя

неожиданно. Рука будто сама размахнулась и — хряп! И закапало у него на вельвет шоколадного цвета… Кимка пискнул, быстро сел за парту, уткнулся лицом в ладони… И, конечно, шум, крик. Неизвестно откуда — Клавдия Георгиевна и наша Анна Игоревна… В общем гвалте и в хлюпающих словах Кимки выяснилось, что Патефон, то есть Петька Викулов, против целого коллектива. Украл часть медной добычи, потому что тайно верит в Бога, хотя и "Торжественное обещание" давал. Да еще руки распускает…

Клавдия сказала:

— Это уже переходит всякие границы!.. Ты что, Викулов, правда верующий?

— А вам-то что…

Я вполне мог ответить "нет". Потому что был вовсе не верующий. Но она хотела, чтобы я отказался от того, что любила мама. Пусть этот оклад не с маминой иконы, но такой же. Тем более теперь, когда той иконы нет… Сейчас у меня будто ниточка между мной и мамой, а если уступлю, отдам… Но разве им объяснишь! Стоят, сопят, ждут. Как тогда, вокруг Турунчика… Только сам он, Турунчик, поодаль и глаза опустил…

— Еще и кулакам волю дает! — возмущалась Анна Игоревна. — Да ты и одного пальчика

Блескунова не стоишь! Его в классе уважают, а ты…

— Завтра сбор! — заявила Клавдия. — И ты, Викулов, готовься просить прощения у всех ребят. И не забудь принести то, что… взял. Если не хочешь расстаться с красным галстуком.

Я, разумеется, не хотел расстаться с галстуком. Даже подумать о таком было жутко. И я шел домой почти уверенный, что завтра отнесу в школу кусочек золотистой жести — пропади все пропадом. Но дома взял его в ладони и… в обрамлении лучистого кружева словно увидел два печальных лица с понимающими и жалеющими глазами. "Что поделаешь, раз кончилась твоя храбрость, Петушок…"

Тогда, значит, уже нельзя будет вспоминать по-хорошему, как мы с мамой сидели рядом и я щекой лежал на ее плече…

В сарае нашел я широкую толстую доску, с трудом отпилил ножовкой кусок сантиметров тридцать длиной. Наждачной бумагой почистил одну сторону. Наложил на дерево жестяной нимб, расправил, прибил по краешкам сапожными гвоздиками… Не икона, но все же намек на нее.

— Никому не отдам. Честное орлёнское…

Это у меня для самого себя была такая клят-

ва. Я придумал ее, когда влюбился в песню про Орленка.

И чтобы отрезать путь для отступления, отнес я доску в тот самый церковный подвал. Фонарика у меня не было, лазал со спичками. Поставил доску в нишу, посветил спичкой последний раз.

— Вот, здесь вам будет хорошо. Потому что ведь церковь… И никто не найдет. А я еще приду…

На следующий день у меня отобрали галстук. За то, что ничего не объяснял, не отвечал, верил ли в Бога. Молчал, как каменный. И украденную вещь не принес, и прощения не стал просить — ни у Блескунова, ни у коллектива. Что с таким делать?

— Сам виноват, — сказала Клавдия Георгиевна. — Кто "за"?.. А ты, Турунов, разве не "за"? Умнее всех, да?

Турунчик тоже поднял руку, только смотрел при этом в парту. Впрочем, не он один смотрел в парту. Это я сквозь намокшие ресницы видел от классной доски, куда был вызван для обсуждения и покаяния.

Клавдия развязала на мне галстук. Я не сопротивлялся. Не от страха, а просто ослабел. Но когда она хотел спрятать мой старенький, но все равно блестящий сатиновый галстук в свою черную

с бисером сумочку, я сказал сквозь царапанье в горле:

— Не имеете права, это мой. Мне мама покупала…

— Ну и забирай, пожалуйста! А носить не смей!

Домой вернулся я с ощущением безнадежной беды. Как приговоренный. То, что клятву я не нарушил, главное не отдал, слегка грело душу. Но беда все равно давила тяжко. Кто я теперь? Все равно что враг народа, белогвардеец какой-то…

Я скорчился на чурбаке за сараем и сидел не знаю сколько. Там и нашел меня Валька Сапегин. Забежал, чтобы вместе идти на репетицию хора. Я похоронно сказал, что не пойду.

Он спросил тихонько:

— Что случилось-то?

И тут я разревелся. И рассказал ему про все. Не такой уж он был близкий друг, но все же единственный, кому я мог излить горе. Про находку я, правда, не сказал, а объяснил, что выгнали за драку.

Какой теперь хор! Как я выйду на сцену! Все в галстуках, а я… И как петь про Орленка, если не имеешь права на кусочек знамени, под которым он, Орленок, воевал?.. И наверно, Эльза и сама

не захочет меня близко подпускать, когда узнает про все.

Валька потоптался рядом, подержал меня за плечо и ушел тихонько. Ласковый он был и понятливый…

3

На следующее утро, собираясь в школу, галстук я надел. Чтобы тетушка ни о чем не догадалась. А за квартал от школы снял, стыдливо оглядываясь. В классе от меня отворачивались, но не враждебно, а скорее виновато.

Вечером выяснилось, что хитрил я с галстуком напрасно, тетя Глаша все узнала. Анна Игоревна позвонила ей на работу.

Ох и устроила мне тетушка! Дядя Костя даже сказал:

— Ну чего ты орешь на пацана? Чего он такого сделал-то?

Он хороший был дядька. Иногда катал на мотоцикле, а в воспитание мое не вмешивался. Тетушка наорала и на него, он плюнул и пошел во двор курить с соседом дядей Геной, отцом десятиклассницы Насти. А тетушка принялась за меня снова. Она была мамина сестра, но ничуть на ма-

му не похожая. Старая, всегда всем недовольная. А главное — недовольная мной. Вот и сейчас:

— Лучше бы уж воровал! А то ведь надо же, в богомольцы навострился! Мне что на работе-то скажут, когда узнают!

Я не выдержал:

— Там что, все такие дураки?

Она дала мне затрещину и заявила, что терпение у нее кончилось. Как только начнутся каникулы, она станет оформлять мои документы для детдома.

Я следом за дядей Костей ушел во двор.

Как ни странно, а после такой встряски я чувствовал себя легче, словно сбросил часть груза. И даже последние слова тетушки на этот раз не испугали. В детдом? А уж вот фиг вам, Глафира Герасимовна! В кармане у меня лежало письмо с адресом в городе Дмитрове…

Я опять устроился на чурбане и начал выстругивать из сосновой коры суденышко. И успокоился. Я всегда успокаивался, если выстругивал кораблики… И то, что случилось недавно, уже не казалось теперь таким ужасным. Всякая беда со временем слабеет. Когда случилось несчастье с мамой, я думал, что конец света, но прошла неделя, потом месяц прошел, потом год, и вот живу…

Здесь, за сараем, и нашла меня Длинная Эльза.

Эльза Оттовна Траубе появилась в Старотополе в сорок первом году. Не по своей воле… До той поры она жила в Москве.

Когда началась война, всех людей, у кого немецкая национальность (пускай хоть они Германии в глаза не видели, и даже их дедушки-бабушки родились в России) стали выселять из столицы. Взрослые говорили, что Эльзе еще повезло. Многих отправляли в подневольную трудармию, а кое-кого и "за проволоку".

Не знаю, как жила и что делала Эльза Оттовна в годы войны. А в сорок шестом она стала работать в городском Доме пионеров. Музыкантшей. Муж ее тоже был музыкант и даже композитор, только не знаменитый. Говорят, сочинял музыку для детских спектаклей. Но он умер еще до войны. Были у них дети или нет, я не знаю, в Старотополе Эльза Оттовна жила одна-одинешенька. И все свое время отдавала работе.

Главным ее делом был мальчишечий хор. Девчонок она почему-то не жаловала, говорила, что не находит с ними общего языка. А с пацанами она ладила, хотя и строгая бывала на репетициях. Ребята за глаза называли ее Длинная Эльза и Фрау Труба, но относились к ней хорошо.

Иногда Эльза Оттовна собирала нас в своей комнатке с железной солдатской койкой и обшарпанным пианино. Не всех сразу, конечно, а человек по пять-семь. И надо сказать, меня звала чаще других. Поила нас чаем и заодно учила вести себя за столом. Рассказывала, как до революции была гимназисткой, а потом училась в консерватории, как ходила на выступления настоящего, живого Маяковского. И как вместе с мужем готовила музыку для детского театра.

Однажды Эльза Оттовна рассказала, что муж ее сочинил оперетту "Остров сокровищ". Там все было не так, как в книжке или кино. Билли Бонс в оперетте оказывался вовсе не злодеем, а хорошим дядькой, он сам подарил мальчишке Джиму карту с кладом на острове. Среди пиратов невесть откуда появилась жизнерадостная старая негритянка, которая с Джимом подружилась, а коварному Сильверу надавала пинков. А сокровищ никто не нашел, но все равно все кончалось хорошо, потому что главное в жизни вовсе не богатство, а дружба… Жаль только, что дописать оперетту муж Эльзы Оттовны не успел, умер.

— А вы сами допишите, — посоветовал Валька Сапегин.

Эльза Оттовна грустно улыбнулась:

— Приходит порой такая мысль. Если бы еще талант…

Мы наперебой стали убеждать Эльзу, что таланта у нее на десять оперетт. Она тряхнула короткой седой стрижкой, села к пианино:

— Вот такая там была песенка:

Да здравствует остров зеленый,
Лежащий за черной бурей,
Вдали за семью морями,
За искрами южных созвездий!
Да здравствуют смех и дорога,
За здравствуют море и дружба!
Да здравствует все, что не купишь
На черное золото Флинта!..

Голос у нее был слабенький, дребезжащий, но все равно хорошо получилось. И мы захлопали. Я, наверно, хлопал дольше других, потому что Эльза Оттовна вдруг пристально глянула на меня (я, конечно, застеснялся, глаза в пол). И вдруг сказала:

— Оперетта веселая, но есть в ней одна песня… такая… очень, по-моему, тебе понравится…

Вот новости. Почему именно мне?

Эльза Оттовна заиграла было, остановилась и объяснила:

— Это юнга Джим поет перед тем, как уплыть к Острову. Прощание... — И заиграла опять, запела:

С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго.

Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра...

Слышишь, бакен-ревун на мели воет голосом волка?

Это ветер пошел... Помоги мне осилить мой страх.

Я боюсь, ты меня

Не простишь за уход, за обман.

На коленях молю:

Не брани, пожалей и прости.

Разве я виноват

В том, что создал Господь океан

И на острове дальнем

Клинками скрестились пути...

Я молю, помоги мне в пути моем бурном и длинном,

Не оставь меня в мыслях, молитвах и в

сердце своем,

Чтобы мог я вернуться когда-нибудь в край тополиный,

В наш родной городок, в наш старинный

рассохшийся дом…

Жидкий старческий голос Эльзы окреп. Или мне это просто показалось. Но когда она закончила песню, чудилось, что спел ее мальчишка.

Теперь никто не хлопал. Слишком серьезно все это было. И Эльза поняла нас. И спросила тихонько:

— Я вот думаю… может быть, подготовить это для нашего хора?

Конечно, все наперебой заговорили, что надо готовить. И на меня смотреть начали… ну с пониманием, что ли. Ясно ведь было, что главным-то образом эта песня для меня, для солиста.

Стали репетировать. По-моему, здорово получалось. Я полюбил "Песню Джима" даже больше, чем "Орленка". Порой слезы внутри закипали, когда на самых высоких и ясных нотах выдавал: "Я молю, помоги мне в пути…" Но петь эти слезы не мешали, только я чувствовал, какой от них в голосе звон…

Правда, перед первым выступлением чуть все не сорвалось. Директору Дома пионеров или кому-то в гороно пришло в голову, что это молитва. Мол, мальчик поет перед иконой, просит защиты Богоматери, а это религиозная пропаганда. Но Эльза Оттовна умела быть упрямой и бесстрашной. Доказала начальникам, что юнга Джим поет у кровати своей мамы перед тем, как тайком уйти на шхуну. Недаром ведь: "Я боюсь, ты меня не простишь за уход, за обман..."

В конце концов песню разрешили. Только потребовали слово "молю" заменить на "прошу", а вместо "создал Господь океан" петь "есть на Земле океан". "Прошу" вместо "молю" петь было плохо и слова переучивать некогда, все равно случайно я спою по-старому. Так что оставили все как было, тем более что прежнего директора прогнали за пьянство, а новому было не до нас.

Мы много раз исполняли "Песню Джима" на концертах. И всегда нам хлопали так, что просто гул в ушах. Иногда приходилось петь даже снова, на бис.

Но это было давно, в прошлой жизни. В ту пору, когда я был нормальный человек, с красным галстуком.

...Эльза Оттовна остановилась рядом. Я вскинул

глаза, сказал тихонько "здрасьте". И снова стал обстругивать кусок коры. Эльза Оттовна в своей длинной черной юбке со складками безбоязненно села на пыльные деревянные козлы — они стояли тут же, за сараем.

— Валя мне все рассказал…

Я дернул плечом. Не было у меня причины сердиться на Эльзу, но я защищался от ее сочувствия. Впрочем, скользнул в голове и упрек: "Чем сюда приходить, пошла бы в школу да заступилась…"

Она словно услыхала мою мысль:

— Я была в школе. Пыталась объяснить, как все это… неумно. Но, к сожалению, не получилось… Знаешь, я никогда не умела разговаривать с учительницами. Еще со времен гимназии…

Я опять шевельнул плечом: что, мол, тут поделаешь…

Эльза сказала осторожно:

— Но я, Петя, не понимаю главного. При чем тут хор? Ведь у нас-то никто тебя не обижал…

Глаза у меня уже набухли, но я опять на миг глянул Эльзе в лицо:

— Как же не понимаете? Все в галстуках, а я…

— Мне кажется, что это все же не главное. Главное, как ты поешь.

В самом деле до нее не доходит, что ли? Вот

стоит на сцене в три ряда хор, на каждом красный галстук, а я впереди с голым воротом. И все видят. И все знают. И я как… приговоренный какой-то. Как Турунчик тогда… И хотя бы причина была! А то ведь ни за что!

— Ну ладно, — вздохнула Эльза. — А… что ты мастеришь тут?

Я сказал опять полушепотом:

— Кораблик.

— Понятно. А какой именно кораблик? — ей, видимо, важно было продолжать разговор. Хоть о чем, лишь бы не молчать. — Бывают ведь всякие… фрегаты, шхуны…

Я ответил суховато, но без упрямства:

— Это обет.

Она поняла сразу. Не спутала со словом "обед". Но удивилась:

— Разве такие бывают? Не слыхала.

Я не поленился, сходил в сарай. Там на полке со всяким хламом лежало несколько подшивок старинного журнала "Нива". Я принес тяжеленный том. Открыл посередине. Там была картинка.

В бедной, с каменными стенами и окном-щелью церкви стоял перед иконой мужчина. Длинноволосый, в жилете со шнуровкой, в таких же, как у меня, штанах с пуговицами под коленками, в де-

ревянных башмаках. За штаны рыбака цеплялась крошечная девочка в чепце с оборками и в платье до пола. Видимо, дело происходило в давние времена в какой-то шведской или французской деревне. Мужчина был, скорее всего, рыбак. Он держал очень красивую модель корабля. Протягивал ее к иконе. Кто на иконе, было не видать, только край и лампада. А кораблик был различим до каждой мелочи: все узоры на корме, швы на парусах, крошечные блоки, лесенки-снасти…

Эльза Оттовна чуть улыбнулась:

— И ты считаешь, что "обет" — это род парусника? Вроде брига или шлюпа?

Именно так я считал. Рыбак сделал кораблик на радость дочке и для украшения своего бедного дома. И принес в церковь, чтобы освятить его. Я знал, что в прежние времена был обычай освящать всякую готовую работу: брызгать святой водой и говорить молитвы…

Эльза Оттовна очень мягко сказала:

— Здесь, Петя, дело обстоит не совсем так. Картина называется "Обет", потому что здесь обещание. Клятва Богу… Наверно, этот моряк попал в страшный шторм и пообещал Спасителю и Богородице, что, если вернется невредимым, сделает красивый кораблик и поставит его перед

образом в церкви. Так было принято…

Я почти не смутился. После всего, что случилось, какое значение имела моя ошибка… Но я задумался на минуту. Что-то досадное почудилось мне в таком обычае. Словно торговля какая-то! Ты меня спаси, а я тебе за это кораблик… Конечно, когда для жизни жуткая опасность, что угодно пообещаешь. А лучше бы подарил заранее…

Я спросил, подавив неловкость:

— А бывает обет, чтобы наоборот? Ну, чтобы не в уплату за какую-то милость, а просто так…

Точнее выразиться я не умел. А думал вот что. Если человек верит в Бога (я-то не верил, но сейчас речь не обо мне, а вообще), то он должен делать ему что-то хорошее не ради выгоды, а просто так, из любви. Чтобы радовать его… Хотя, с другой стороны, зачем Богу, его Сыну и Божьей Матери игрушечный кораблик? Ведь им стоит лишь пожелать, и появятся миллионы всяких кораблей, хоть из чистого золота… Да, но ведь маме, если по правде говорить, тоже не нужны были картонные домики, которые я склеивал и разукрашивал к ее дню рождению и к Восьмому марта. А она все равно радовалась. Потому что подарок, потому что я для нее старался. Потому что основное в подарке… любовь. Да…

И Эльза Оттовна, кажется, опять поняла меня:

— Конечно, можно и так, Петя… Главное, когда от души… — Потом снова спросила со вздохом: — Ну а как же с хором-то, а?

Я вновь ожесточился:

— Не знаю… Никак. Без галстука я на сцену не выйду.

— Я тебя понимаю… Но и ты пойми… И тебе плохо без хора, и нам без тебя плохо…

— Я тоже понимаю… — И опять я отвел намокшие глаза.

— Видишь, оба понимаем друг друга. А договориться не можем… Будто идем параллельными тропинками, а сойтись не получается.

— Потому что параллельные не пересекаются…

— Иногда, Петя, пересекаются.

— Ну, это только в бесконечности. Не в нашем мире.

— О! Ты знаешь и это? Слышал про геометрию Лобачевского?

Я слышал. От соседки Насти. Она была худая очкастая отличница и хотела сделаться математичкой. Но тот наш разговор начался не с математики. Несмотря на всю серьезность, Настя, как мальчишка, увлекалась марками. Мы иногда

вместе разглядывали свои коллекции, менялись и даже спорили. И вот я увидел у нее серую марку с незнакомым портретом и подписью: "Н.И. Лобачевский".

— Это кто? Моряк?

— Это ученый.

— А почему в мундире?

— В старые времена в университетах профессора носили мундиры… Он знаменитый математик. У него труд есть "Теория параллельных линий", я недавно читала.

Я хихикнул:

— Чего там про них сочинять-то, про параллельные линии?

— А ты что про них знаешь?

Геометрию я, конечно, еще не учил, но про параллельные знал из книжек.

— Это такие, которые тянутся рядом друг с дружкой. На одинаковом расстоянии, как рельсы. И нигде не пересекаются. — И я вспомнил, как мы в прошлом году с мамой ходили в ближний лес за грибами.

— А вот и пересекаются! — торжественно заявила Настя.

— Врешь! Тогда они, значит, не параллельные!

— Ты рассуждаешь с точки зрения Евклида. А

у Лобачевского своя наука. Параллельные могут пересекаться, только очень далеко, в самой бесконечной бесконечности, где искривляется пространство.

— Как это?

Она стала объяснять и, по-моему, запуталась сама. И я, конечно, ничего не понял. Но поверил. Показалось, будто уловил что-то. Потому что вспомнил: рельсы ведь тоже соединялись в одну точку — далеко-далеко, у горизонта, когда их догонял взгляд. Взгляд — это когда глаз ловит прилетевшие издалека лучи света. От той точки, где соединились рельсы. А если приближаешься, они раздвигаются. И ты видишь это — потому что свет опять прилетает к тебе. Со своей сумасшедшей скоростью… Говорят, эту скорость никак-никак никому не обогнать, закон такой есть научный. Ну а если представить, что все же обогнал! Примчаться к точке, где соединились рельсы, быстрее света! Тогда они, значит, не успеют разойтись! И получится, что параллельные сошлись!..

Конечно, я не знал тогда, что этот ребячий бред, этот крошечный проблеск догадки — первый атом в громадной пирамиде Теории межпространственного вакуума. Той самой, на базе которой создана "Игла", прошивающая теперь

многомерные миры… Тогда я сказал Насте: "Ладно, я пойду" — и ушел поскорее, потому что главным в моих мыслях было в тот момент все же воспоминание о маме: как мы идем вдвоем по рельсовому пути. Впрочем, и сейчас, в разговоре с Эльзой, тоже…

Я сказал сумрачно:

— Пускай хоть какая геометрия… а без галстука петь не буду. Я… себе слово дал. — Это я лишь сию секунду выдумал, но, чтобы отрезать все пути, сказал тут же мысленно: "Честное орлёнское".

— Вот, выходит, как. Значит, обет дал такой?

Я уклончиво промолчал: при чем тут это? Но… может, и правда обет. Не только себе самому обещание, но и… Вспомнился подвал, доска с жестяными нимбами. Вот так все сплелось в жизни.

— Ну а ко мне-то зайдешь в гости? — спросила Эльза Оттовна.

— Ладно, — прошептал я.

Она ушла. А я нашел среди дров другой кусок сосновой коры, большой, плотный, и стал вырезать новый кораблик.

Я мастерил модель все следующие дни. Даже тогда, когда зубрил билеты для экзаменов по русскому языку и устной арифметике. В школе

никто меня больше не трогал. Экзамены я сдал средне: письменные на четверки, устные на тройки. Но это не из-за придирок, просто я всегда так учился. Тетушка из-за троек разворчалась и опять упомянула про детдом. Скорее всего, просто пугала. Но мне уже было все равно. Я твердо знал, что будет скоро.

Через несколько дней доделаю кораблик и унесу туда. Это будет мой подарок, мое прощание. И просьба помочь мне в пути… Ну и что же, что не верю? Мама-то верила. Значит, есть какая-то сила и справедливость… А потом — в дорогу.

До города Дмитрова (я посчитал по карте) — полторы тысячи километров. Если шагать по шпалам пятнадцать километров каждый день, понадобится сто дней. Лето и кусочек сентября. В такую пору ночевать можно где придется и топать налегке. А иногда можно ехать и на попутных товарниках. Про это немало книжек и кино. Добрые люди на пути всегда угостят куском хлеба, не дадут пропасть мальчишке… А то, что догонит и поймает милиция, — это сказки. Разве отыщешь маленького пацана среди пространств громадной страны?

Как меня встретит отец, я не очень задумывался. Наверно, не прогонит. Сам же написал

тогда: "Сын ведь..." Да и вообще, конечная цель представлялась мне такой далекой... ну, как бесконечно удаленная точка, где сходятся параллельные линии. Главным делом казалась мне теперь сама Дорога — с ее неожиданностями, встречами, новыми местами, приключениями. Я понимал, конечно, что порой придется нелегко. И тогда:

Помоги одолеть мне
И жажду, и голод, и боль...

Ничего, одолею...

Теперь странным кажется, что не появилась у меня простая мысль: написать отцу. Нет, я ничего не боялся, просто в голову такое не приходило. Наверно, это странности мальчишечьей психики. Не думал я и о том, что отец много раз мог сменить адрес: ведь письмо-то он прислал в сорок шестом, а сейчас на дворе был пятидесятый...

Спокойно и как-то просветленно готовился я в путь. Заранее уложил в портфель сухари, полотенце, запасную майку и трусы, кружку, ножик, туго свернутую суконную курточку. И любимую, мамой подаренную книжку "Пять недель на воздушном шаре". В эти дни я старался быть послушным, с тетей Глашей вовсе не спорил. Не

потому, что вдруг полюбил ее, а словно чувствовал: незачем брать с собой груз всяких обид и грехов, даже мелких.

Зашел как-то к Эльзе Оттовне, но соседка сказала, что она хворает, сейчас уснула и тревожить ее не надо.

Вальке Сапегину я отдал на память свою коллекцию марок. Объяснил, что наскучило собирать их. А о предстоящей Дороге не сказал, конечно. Валька, он хороший, но, когда начнут искать, не выдержит, расскажет. Хотя бы для того, чтобы опять увидеться со мной.

Потом я отыскал Турунчика и подарил ему свой оловянный пистолет. Очень Турунчик удивился, замахал белесыми ресницами. Никогда ведь мы не были приятелями.

— Спасибо… А почему ты… мне?

— Нипочему. Так, — вздохнул я.

Чувствовал, что виноват перед ним. Даже не только перед ним, а вообще. И этот грех (пожалуй, самый крупный в своей жизни) мне тоже не хотелось уносить с собой.

Как хорошо все-таки, что я тогда не успел ударить его…

В классах — особенно там, где одни мальчишки — часто бывает по два командира. Один — ка-

кой-нибудь образцово-показательный активист, назначенный школьным начальством в председатели или старосты. Другой — ребячий император, утверждающий свою власть крепкими кулаками и презрением к школьным порядкам. Чаще всего это амбал-второгодник. Но в нашем классе амбала не было, и Ким Блескунов успешно верховодил всюду. И на пионерских сборах умело командовал, и в тех делах, которые не нравились учителям. При этом всегда оставался уверенным в себе, спокойным и яснолицым, как мальчик с плаката "Отличная учеба — подарок Родине".

Он-то и приговорил Турунчика к публичной казни.

Дело было в конце сентября. Мишка Рогозин и Нохря перед уроком рисования натерли классную доску парафиновой свечкой — фокус известный: мел скользит, следов не оставляет. Конечно, крик, скандал: "Кто это сделал?!" Два дня разбирались, а завуч наконец как-то выведала виновников. Ну, досталось им, как водится, и в школе, и дома... И кто-то пустил слух, что наябедничал завучихе Юрка Турунов. Не знаю, почему так решили. Может, потому, что за день до этой истории Нохря довел Турунчика до слез и у кого-то появилась мысль: он, мол, в отместку заложил Нохрю. А

может, просто потому, что был Турунчик робкий и безответный.

Конечно, он беспомощно мигал и бормотал:

— Да вы чего… я никому… Меня даже не спрашивали…

Но от этого уверенность в его вине только крепла. Коллектив — большая сила, и для пущего единения нужно ему общее дело. А если нет дела, то хотя бы — общий враг. Кимка внес в это настроение конкретность:

— Завтра после уроков будем Турунчика бить.

Все шумно поддержали его. Только Илюшка Сажин сказал:

— Все на одного? Так нельзя.

— Нельзя, если честная драка, — разъяснил Блескунов. — А тут не драка, а наказание. Фискалов били сообща во все времена, книжки читать надо…

Кимка назначил для исполнения приговора "бригаду". Десять человек.

— Ты… Ты… И… — он глянул на меня, — ты, Патефон. А то одно только знаешь: хор да хор, совсем оторвался от класса.

Почему я согласился? Мало того, даже обрадовался.

На следующий день мы зорко следили, чтобы

Турунчик не сбежал. А после уроков повели его в дальний угол двора, за длинное здание мастерской. Турунчик похныкивал и упирался, но очень вяло: видать, совсем обмяк со страху.

За мастерской торчал высохший тополь, который завхоз дядя Гриша не успел еще спилить на дрова. Кимка распоряжался спокойно и обдуманно, только слегка разрумянился. Турунчика заставили обнять корявый толстый ствол. Суетливо связали приговоренному кисти рук снятым с него же чулком. Я держался в сторонке, ощущая незнакомое до той поры замирание: смесь боязни и стыдливого сладковатого любопытства. Турунчик молчал, только что переступал рыжим брезентовым полуботинком и босой, голой до колена ногой.

Блескунов достал из новенького портфеля орудие возмездия. Это была велосипедная камера — сложенная вдвое, слегка надутая и перевязанная в нескольких местах.

— У, мягкая, — сказал Нохря. — Такой не больно.

— Нет, почему же, — возразил Кимка. — Довольно чувствительно, если по открытой спине. На себе попробовал… — И добавил со значением: — К тому же в наказании главное не суровость,

а неизбежность. — Наверно, он повторял слова своего милицейского папы. — Ну-ка, задерите на нем…

Турунчик был в хлопчатобумажном полинялом свитере сизого цвета — широком и обвисшем. Свитер легко задрали выше лопаток. А майка никак не выдергивалась из штанов.

— Расстегнуть надо, — решил Нохря. Сунул пальцы между Турунчиком и деревом, зашарил. — Где там у тебя пуговица…

Он возился, и все молчали, только сопение было слышно. Турунчик вдруг сказал сбивчивым полушепотом:

— Да не там… Сбоку пуговица…

Что это он? От собственной виноватости впал в окончательную покорность? Или просто хотел, чтобы скорее все кончилось?

Майку тоже вздернули почти до шеи и велели держать Валерке Котикову — маленькому и послушному. Турунчик прижался к дереву, чтобы не съехали расстегнутые штаны. Блескунов размахнулся и огрел его камерой — с упругим резиновым звоном. Турунчик дернулся, помолчал секунду и осторожно сказал:

— Ай…

— Конечно, "ай", — согласился Кимка. — И еще

будет "ай". А ты как думал? — Он протянул черную колбасу Нохре: — Теперь ты. Надо, чтобы каждый по разу.

Шумно дыша, полез вперед Гаврилов:

— Я следующий... Можно, я еще за Котика, а то он не сумеет? А я хочу...

Меня обволакивала обморочная слабость. Но — вот ведь какая гнусность! — я тоже... хотел. Понимал в глубине души, какое это грязное дело, но щекочущее желание было сильнее — стегнуть с оттяжкой по тощенькой белой (не загорал он летом, что ли?) спине с глубоким желобком и черными зернышками-родинками. Злости на Турунчика у меня не было ни малейшей, и, чтобы оправдать себя, я мысленно повторял: "Он же сам виноват... Он же сам виноват..."

Нохря тоже ударил. Турунчик опять дернул спиной, но промолчал. В резину вцепился Гаврилов... И в этот миг я услышал тяжелый топот. Несколько старшеклассников стремительно выскочили из-за мастерской, и впереди — Игорь Яшкин, известный в школе футболист и художник. Я первый оказался у него на пути. Голова моя как бы взорвалась белыми искрами от оглушительной оплеухи. Я покатился в пыль, был поднят за шиворот и упругим пинком отправлен

в колючие сорняки у забора. Сквозь них, пригибаясь, я добежал до школьной калитки и потом еще квартал мчался по переулку. Отсиделся только в сквере у городского театра.

Горела щека, гудело награжденное пинком место. Мелко тряслись колени. И все же… все же сквозь страх и стыд, сквозь обиду на Яшкина я чувствовал растущее облегчение.

Я словно очнулся. До чего же хорошо, что я не успел! Вовремя данная благодатная затрещина встряхнула мне душу и все расставила в ней на нужные места. Уже и обиды на Яшкина не было. Только отвращение к себе. И ко всему, что мы затеяли там. Какое счастье, что мой портфель на шнурке через плечо — я умчался вместе с ним. Возвращаться сейчас туда, за мастерскую, было бы выше сил…

На перекрестке я умылся у колонки и побрел домой. Все-таки какое же везение, что не успел ударить… С меня словно сваливалась грязная корка…

А Блескунов на следующий день как ни в чем не бывало сказал Турунчику:

— Говори спасибо этому Яшкину. А то задали бы тебе полную порцию…

— Все равно я не ябеда, — тихо сказал Турун-

чик.

Но ему не поверили. Или сделали вид…

Я отдал Турунчику пистолет и отнес в тайное место среди репейников на склоне оврага собранный для путешествия портфель. Чтобы завтра уже не хлопотать о нем… Переночевал дома последний раз, взял кораблик и пришел вот сюда, где стою теперь по колено в воде и смотрю, как искрятся от электрической свечки золотистые иконные нимбы… Две головы — Мать и Сын…

Я, конечно, не верю, но все-таки… в груди такая теплая ласковость, хотя ноги в воде совсем заледенели. Ничего, уже недолго.

"Помоги мне в пути…"

Потом я попрощался глазами с корабликом по имени "Обет" и выбрался на солнце. Какое лето вокруг, какая теплая земля и трава! И яркий свет! Я зажмурился. Затем открыл глаза… и увидел Эльзу Оттовну. Она стояла на кромке овражного берега, ждала меня.

Что делать, я выбрался наверх. Остановился. Бормотнул "здрасьте" и — глаза в землю.

Она не стала врать, что встретила меня случайно.

— Я тебя искала. Увидела, пошла следом, а ты исчез. Хотела уже вниз лезть, на разведку…

Я молчал.

— Петя… Очень-очень большая у меня просьба.

Я знал, какая просьба.

— Вернись, а?.. Ну если не насовсем, то хотя бы сегодня. У нас такой ответственный концерт. Без тебя так плохо! Ведь "Песня Джима" наш лучший номер… Петя…

Я уже собрался замотать головой. Разлепил губы, чтобы прошептать "нет". И вдруг толкнулось во мне: "А может, это не случайно такое совпадение? Может, это правильно — спеть последний раз? Будет прощание — и со Старотополем, и с ребятами, и со всей прошлой жизнью… Там, внизу, спеть я не мог, а ведь надо, перед Дорогой. По-настоящему. Это будет… ну, вроде как заклинание. Как хорошая примета…"

И все же пробормотал упрямо:

— Я ведь объяснял… Все в галстуках, а я… — "Как проклятый", — хотел сказать, но постеснялся.

— А все будут без галстуков! Да-да! Гороно выделило деньги, и нам сшили в мастерской новые концертные костюмы, как столичному хору. Там красные галстуки не обязательны. Конечно, мы будем выступать и в пионерской форме, если песни… соответствующего репертуара. Но чаще — в новых костюмах.

— А… мне… разве тоже сшили?

Эльза Оттовна слегка смешалась:

— Нет… То есть пока — нет. Но это дело поправимое. А сегодня ты можешь выступать вот такой, как есть.

— В этом-то виде? — хмыкнул я. Качнул ногой с расстегнутой сбившейся штаниной, отряхнул с рубашки сухую глину.

— Ну и что! Ты же будешь в роли юнги Джима! Все решат, что так и надо. Юнги всегда немножко такие… потрепанные. Может, прямо с корабля, после шторма… Вот у тебя и рубашка почти морская…

Рубашка была трикотажная, в поперечную полоску: белую и зеленовато-голубую. Полоски поуже, чем на тельняшке, но все-таки и правда что-то флотское можно усмотреть.

— Пойдем, Петя, — уже решительнее сказала Эльза Оттовна. Взяла за плечо.

Но я вдруг вспомнил:

— Нет, без галстука все равно не могу. Я же тогда слово дал… Вы сами сказали — обет…

— Ну… вот тебе галстук! Его-то никто у тебя не отнимет. Смотри, тоже морской… — Она сняла с шеи косынку. Треугольную, синюю с белыми полосками, как на матросском воротнике. Стала

повязывать мне.

Я опять молчал, но не упрямился. Потому что… да, я ведь не обещал в тот раз, что не буду петь без красного галстука. Сказал просто "без галстука". Вот и выход. Наверно, не совсем честный, но если не придираться к самому себе… Ведь это же единственный раз, и к тому же прощание…

Платок был шелковистый, мягкий.

— Теперь ты совсем юнга. Ну, идем…

Концерт намечался в Городском саду имени Кагановича, на открытой эстраде. Ребята собрались позади эстрады, на площадке, окруженной кустами желтой акации. Все уже готовые к выходу на сцену.

Раньше мы выступали в белых рубашках с красными галстуками, а брюки были разные, у кого какие нашлись поприличнее.

Теперь же все были в белых коротких штанах на широких лямках, в голубых рубашках с белыми в синий горошек бантами. Ну и ну… Я от души порадовался, что для меня концертного костюма нет.

Но мальчишкам новая одежда, кажется, нравилась. Они были радостные, резвились, гонялись друг за другом. Весело окружили меня:

— Петька! Вот молодец, что пришел!

Особенно обрадовался Валька Сапегин. Он решил, что я вернулся насовсем. Я улыбался в ответ и никому не объяснял, что прощаюсь. Даже Вальке. Нельзя было обмолвиться о Дороге, иначе все сорвется.

Не знаю точно, перед кем должны мы были петь. Похоже, что перед вожатыми, которые вскоре собирались разъехаться по пионерским лагерям. По крайней мере, на скамейках оказалось много взрослых девиц в белых блузках и красных галстуках.

— Петушок, ничего, что без репетиции? — осторожно спросила Эльза Оттовна. Она иногда называла меня так — Петушок. Перед важными выступлениями.

Я кивнул:

— Ничего... Только пусть моя песня будет первой. — И подумал: "А потом ускользну..."

И вот наш храбрый громкоголосый Андрюшка Лаптев объявил на весь Городской сад:

— Выступает хор мальчиков Старотопольского городского дома пионеров! Руководитель Эльза Оттовна Траубе!.. — И, чуть подождав: — Песня юнги Джима из оперетты "Остров сокровищ". Слова и музыка Юлия Александровича Траубе. Солист Петя Викулов!

И я, хлопая расстегнутой штаниной, вышел к переднему краю эстрады…

Это сейчас поют с микрофоном. Приплясывает солист и черную грушу чуть ли не в рот пихает, словно обглодать хочет. Хоть ты шепотом слова произноси — техника вывезет. А тогда надежда была лишь на голос, который от природы. Хорошо, когда он есть. У меня был… Даже долгое стояние в ледяной воде не тронуло его ни малейшей хрипотцой…

Я мельком глянул на слушателей и стал смотреть поверх голов. Краем глаза видел и Эльзу Оттовну, по-дирижерски вскинувшую руки. Наш баянист Олег Иванович заиграл вступление. И я, дождавшись своего мига, запел:

С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго.

Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра…

Наверно, в этот, в последний раз я пел лучше, чем когда-нибудь в жизни. Потому что сейчас песня была не про Джима, а про меня. Мое прощание. Светлая печаль. Ясное понимание, что открывшийся путь — неизбежен…

Помоги мне в пути…

Теперь уже будто и не я пел. Я слышал себя со стороны, а сам прищуренно, сквозь появившиеся на ресницах капельки смотрел вдаль: выше зелени, в чистое небо. Туда, в голубизну, уходили серебристые рельсы. И сливались — далеко-далеко, в бесконечности. И там, в точке слияния, горела белая солнечная искра…

Но я не только эту искру видел. Там еще шел кто-то, спешил за грань пространства.

Я взглядом пробил расстояние… И вспомнил, как шли мы с мамой по шпалам из леса и я отстал, потому что решил в кустах у насыпи выбрать палку для лука. А когда опять оказался на рельсовом пути, мама была уже далеко впереди. Шла, слегка склоняясь набок от тяжести корзины в правой руке. Я кинулся следом…

Я кинулся и сейчас! Главное — обогнать свет, чтобы рельсы не успели разойтись! Тогда время обернется вспять, я догоню, удержу!.. Белая искра солнца стремительно разгорелась, надвинулась, охватила светом, и он поднял меня как на крыльях…

Часть I
ГРУППА КРОВИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУСТОТЫ
1

Мы шли по тускло освещенному подземному коридору, минуя один за другим овальные шлюзы. Юджин оглянулся наконец:

— Ну как? Протискиваешься?

— Представь себе… — выдохнул я. Давно уже привык я к шуточкам о своей фигуре и даже гордился ею. Так же, как и застарелым остеохондрозом. И на Юджина не обиделся. Тем более, что он по характеру как был мальчишкой, так им и остался…

Я знал его еще десятилетнего; этакое было костлявое существо кофейного цвета с выбеленными зноем волосами и бесенятами в карих глазах. Мы общались тогда друг с другом как приятели, хотя Юджин (Юджик, Южка) годился мне во внуки. Он и был внуком, только не моим, а Валентина Сапегина — руководителя Группы основного программирования (ГОП) и командира всей базы (по совместительству).

Вообще-то мальчишку звали Юриком, а Юджин — это кличка. На базе всем давали клички — отчасти по традиции, а также из соображений секретности. Секретность была доведена до полного идиотизма. Мы даже считались сотрудниками Ведомства безопасности, хотя ни сам Генеральный комиссар Ведомства, ни все оно, вместе взятое, понятия не имели, чем наша группа занимается… Господи, да и у самих-то у нас порой такого понятия не было: работали часто вслепую, интуиция выручала, а еще вдохновение. А иногда, как выражался Валька Сапегин, "стопроцентный авантюризм". И если бы секретность была нарушена и лучшие специалисты всех разведок в самых цивилизованных странах принялись бы изучать наши программы, то смотрели бы на них, как годовалые младенцы на дощечки с письменами острова Пасхи. Потому что в известные науке параметры наши проблемы не укладывались вовсе…

База располагалась на территории археологического заповедника. Точнее, под территорией: в подземельях древнегреческой крепости, в минных галереях времен Первой осады и глубоких ангарах времен Второй мировой… Только для "Иглы" с Конусом вырыли специальную шахту.

Это была святая святых — цель и смысл нашего многолетнего колдовства.

Места хватало. Ракушечные и туфовые толщи Полуострова за три тысячи лет были изрыты внутри, как старая причальная свая морскими червями. В глубину не проникала ни малейшая вибрация — это было главное условие настройки Конуса. Наверху грызли культурный слой студенты-практиканты, бродили толпы туристов, и никому в голову не приходило, что железная дверца в торце сложенного из ракушечника сарая, украшенная трафаретной надписью "Служебное помещение", ведет не в кладовую с шанцевым инструментом и не в комнату с электропитанием здешнего музея, а в кабину лифта, соединяющего привычный солнечный мир с межпространственным вакуумом. Точнее, с лабораторией, где восемь почти свихнувшихся типов пытались существование этого вакуума доказать. Доказать, а затем соединить новую теорию с теорией темпоральных барьеров и понятием многомерных пространств — чтобы в конце концов связать все это в программу, условно именуемую термином "Бур".

Никто из нас не знал, какова вероятность удачи. Ясно только было, что шансов — меньше полови-

ны. И потому секретность секретностью, а денег давали гроши. Тем более, что в наступившее смутное время их никому не хватало, денег-то. К тому же почти всем представителям сменявших друг друга правительств было вообще непонятно, для чего мы занимаемся своей чертовщиной. Столько средств ученая братия ухлопала без всякого толка в космонавтику, а тут еще это…

Мы нищенствовали, проклинали все правительства и Академию и… вкалывали. Порой доходило до смешного. Рокки — наш многомудрый Женька Рокалов — ухитрился смастерить сложнейший отметчик темпоральных корпускул из разбитого плейера, стеклянной банки от компота и листа фольги от дефицитной в ту пору шоколадки…

А Конус, несмотря ни на что, рос и впитывал в себя все, что мы насочиняли в своих почти бредовых гипотезах. И выстраивал это по-своему — порой с такой неожиданной логикой, что мы только ахали: "Ай да дядя Кон, голова редькой вверх!" А дядя Кон начинал понемногу проявлять не только техническую, но и философскую премудрость. И подавал надежды…

Последние три месяца до Ухода, когда стало уже ясно, что это получилось, были для меня

временем лирики и отдохновения. Свои дела по навигационной настройке я закончил. Оставалось ждать. И я бездельничал один или с Юджином.

В то лето в заповеднике было пусто. Практиканты на раскопки не приехали, туристы появлялись редко. Время наступило тревожное, бестолковое, непонятное. Республики все чаще выясняли отношения с помощью бронетехники и реактивных установок, на Полуострове бурлили митинги и забастовки и не хватало хлеба. Несколько правительств возымели намерения делить Южный Военный флот (ЮВФ), стоявший в здешних глубоких бухтах. А ЮВФ сам не мог решить: делиться ли ему, или оставаться единым и никому не подчиняться, или объявить себя принадлежащим какой-то одной республике. Иногда сизые стальные корабли выходили на внешний рейд, угрожающе ворочали орудийными башнями и разносили над водой неразборчивые мегафонные команды. На крейсерах и авианосцах порой по нескольку раз в день меняли разноцветные кормовые флаги недавно возникших держав и коалиций…

— Не жизнь, а стопроцентный авантюризм, — вздыхал Сапегин. — Мотали бы вы, Пит, отсюда

поскорее, пока не началась полновесная заваруха.

Но и он, и все мы прекрасно знали, что "мотать" можно лишь в строго назначенный день и час. Время ухода зависело не от истерических припадков тогдашней политики, а от многих причин космогонического характера. И мы ждали, хотя над Полуостровом сгущались тучи.

Впрочем, сгущались они в переносном смысле. А погода была чудесная — солнечная, в меру жаркая, безмятежная. Стрекот кузнечиков наполнял тишину опустевшего заповедника. Звенела потихоньку пересохшая трава, в которой синели звездочки цикория. Мир и древний покой... Тень Эллады и Византии лежала на щербатых ступенях амфитеатров, на безносых мраморных львах у музейного крыльца, на мозаичных полах разрушенных базилик...

Мы с Юджином часто бродили по развалинам, лазали по остаткам стен и башен, искали черепки посуды с черным лаковым узором и монеты, похожие на ржавые чешуйки.

А иногда мы купались и загорали на маленьком каменистом пляже под обрывом, сложенном из желтых пористых пластов. Я, несмотря на грузность, почти не отставал от чертенка Южки.

И лишь когда схватывало поясницу или ноги, ложился пузом на горячую гальку и постанывал.

— Юж, ну-ка, пройдись по позвоночнику…

Он с удовольствием вскакивал на меня. Как ласточка на моржа. Но пятки у "ласточки" были твердые, словно костяные шарики. Он ими добросовестно пересчитывал мои позвонки. Наступит, да еще и крутнется! Я наконец не выдерживал:

— Ай! Пошел прочь!

Он прыгал с меня, крутнувшись напоследок сильнее прежнего.

— Хулиган!

— Конечно… — И он плюхался рядом со мной. — Мама, как только я родился, сказала, что я хулиган.

Родители Южки где-то у черта на куличках разведывали новые нефтяные месторождения, чтобы спасти нас, грешных, от очередного энергетического кризиса. Потому их сын и торчал тут, у деда, хотя это противоречило инструкциям о секретности…

Долго лежать Юджину мешала врожденная подвижность.

— Дядя Пит, давай еще окунемся! И пойдем крабов выслеживать!

— Ну да! По камням-то лазать…

— Тебе полезно побольше двигаться. А то вон какой… Как дирижабль.

— Нахал…

— А я знаю, почему тебя так зовут — Питвик. Такое многосерийное кино было: "Приключения мистера Питвика и его клуба"…

— Там не Питвик, а Пикквик… А со мной все проще. Петр — Питер — Пит. Викулов — Вик… Склеили, вот и получилось…

Он, откатившись подальше, критически щурился:

— Все равно ты как Пикквик. Такой же… объемный.

— Во-первых, не такой же! Он жирный был, а у меня мускулатура…

— Ох уж…

— Вот иди сюда, покажу "ох уж"… Кроме того, у него была лысина. А у меня еще вполне прическа…

— Лысина — дело наживное.

— Все на свете — дело наживное… Может, и ты вырастешь и будешь как я. Или еще объемнее…

— Ну уж фигушки!

— Когда мне было десять лет, я так же считал. А вот лет через сорок поглядим…

— У-у! Это еще сколько ждать…

На меня словно тень набегала.

— Это тебе "сколько ждать". А мне — пару лет…

— Ой, да… Я забыл… Дядя Пит, а почему время в "Игле" сжимается?

— Читай Эйнштейна и своего деда…

— У них ничего не понятно… Ну как это получается? Вперед лететь — кучу времени, а обратно — за одну секунду…

— Уж будто бы тебе дед не объяснял!

— Уж будто у него время есть объяснять! Только и знает: "Будешь приставать — вмиг отправлю к родителям!.." А сам даже адреса их толком не знает. Да и я тоже…

Тень пробегала и по Южке.

— Ну ладно, двигайся ближе… Смотри… — Я среди каменных окатышей расчищал песчаную проплешину. Втыкал в песок палец. — Представь такой бур… или лучше машину, которая роет тоннель для метро. За день она проходит несколько метров.

— Несколько десятков…

— Ну, не важно… А потом по вырытому туннелю все расстояние можно промчаться обратно за несколько секунд…

— Значит, корабль оставляет за собой туннель в Пространство? — он был сорванец, но умница.

— Именно. И в этом туннеле уже не Пространство, а межпространственный вакуум. В нем нет ни расстояния, ни времени. По крайней мере, по нашим привычным понятиям... И от той точки, где находится "Игла", до базы можно будет перемещаться практически мгновенно. И обратно, разумеется... Ну, конечно, не всякому, а у кого есть специальная подготовка...

— А у тебя есть?

— А ты как думал!

У него опять появлялась вкрадчивая ехидность:

— А тебе не тесно будет в "Игле"? Она ведь совсем небольшая.

— Как-нибудь...

— Да еще твой этот... ос-те... дрозд...

— Сам ты дрозд... Это не играет никакой роли.

— А в космонавты ни с какими хворями не берут.

— Сокровище мое! Ты ведь знаешь не хуже меня, что сравнивать наше дело и обычную космонавтику — это все равно что...

— Арбуз и балет на льду, — услужливо подсказал он.

— Вот именно! Абсолютно разные принципы!..

— Но все равно ведь — путь к другой звезде...

— Но путь-то можно прокладывать по-разному! И космонавты не строят в Пространстве туннели… А у нас — Конус…

Про Конус Южка не спрашивал, он про него и так был наслышан. Спрашивал о другом:

— Дядя Пит, а почему ты летишь, а дед не летит?

— Потому что… на свете есть ты.

— Ну и что?

— Ты и твои мама и папа. И бабушка… А у всех, кто уходит, не должно быть семьи. Такое условие. С самого начала…

— И у тебя… никогда никого не было?

— Ну… по крайней мере, не женился. Пришлось выбирать…

— А дед… он, значит, не так выбрал?

— Да он и не собирался быть в экипаже, он ведь теоретик и командир базы… И кроме того, если бы он выбрал экипаж, не было бы на свете хулигана по имени Южка.

— Ой…

— Вот именно.

— Пошли тогда купаться. Я с тобой понырю. А то…

— Что?

Но он молчал. И я догадался: "Скоро улетишь,

и неизвестно, увидимся ли. А если и увидимся, то когда еще..."

Это была постоянная печаль, постоянная заноза в душе. У всех у нас. И у тех, кто в экипаже, и у тех, кто оставался на базе. Самым "юным" — уже за сорок, и каждый понимал: те, кто останется, едва ли дождутся тех, кто уйдет на "Игле".

А Юджин — он был как раз из тех, кто все-таки дождется. По крайней мере, если все будет хорошо. И, возможно, я именно поэтому в те летние дни проводил столько времени с Южкой. Словно старался сохранить последнюю ниточку между нынешней жизнью и той, будущей, — неясной и, наверно, чужой...

2

Юджин дождался. А больше никого не осталось. Дед его — Валентин Сергеевич Сапегин, — тот вообще погиб вскоре после старта "Иглы", когда местные гвардейцы и морская пехота ЮВФ начали выяснять, в чьем ведении должно быть побережье. Валентин попал под минометный огонь, пробираясь на базу...

Эх, Валька, Валька... Я вспоминал почему-то не долгие годы нашего совместного колдовства

над Конусом, а совсем раннюю пору. Как вдвоем на сцене запевали мальчишечьими голосами: "А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…"

А база уцелела. И тогда, и при других переделках. И несла свою службу по-прежнему. Юджин был теперь на ней главный начальник.

Мои пророчества не оправдались: не стал он круглым, как я. Это был поджарый высокий дядька с профилем римского императора. Но в глазах порой угадывалось что-то прежнее, Южкино. По крайней мере, я очень старался это заметить… Мы были теперь фактически одногодками, но Юджин — спортивный, энергичный — выглядел не в пример моложе. И это меня утешало. Не хватало еще встретить этакого пенсионера с одышкой…

С первого дня мы с ним опять стали на "ты". Он — своя рука владыка — сократил до минимума, до двух суток, время адаптации и карантин. Впрочем, и базовый врач, молодой весельчак Митя Горский, не возражал. Опутал меня всякими кабелями и шлангами, оклеил датчиками, помудрил у дисплея и заявил, что я будто не в Пространстве побывал, а в гостях у доброй вдовушки.

— Далее можно адаптироваться на поверхности.

Этот процесс мы решили начать весьма нетра-

дицонно: в маленьком ресторане "Разбитая амфора", открытом неподалеку от заповедника. Туда мы с Юджином сейчас и направлялись.

Кабинка лифта была прежняя (или в точности как раньше) — этакий стеклянный стакан с дверцей.

— Поместишься, Питвик?

— Ох, мало я драл тебя за уши в детстве…

— Не было такого… Поднимешься — и жди меня, не исчезай во тьме…

"Стакан" унес меня по шахте вверх. Дверца откинулась. Шлюз тамбура был открыт заранее. И я шагнул в южную теплую ночь.

Пахло чабрецом и полынью. И еще какой-то знакомой травой. Сладко так, даже щемяще… И теплыми древними камнями пахло. И, конечно, водорослями. Море сонно ворочалось под обрывами. Звезды были белые, мохнатые, размером чуть не с кулак. Победно, словно завладели этим миром, трещали цикады. Ниже звезд, в черном пространстве моря, мигали маяки и створные знаки. А справа, за смутными развалинами цитадели, громоздил свои огни город. И самое удивительное — то, чего я еще не видел — это мосты над бухтами. Они возносились великанскими сверкающими арками. Их словно сделали

из граненого стекла, а внутри зажгли тысячи фонарей.

Я сел на какой-то бетонный уступ. Улыбнулся этой ночи благодарно и безоглядно. Не было теперь ни печали, ни сомнений. Казалось, что впереди ждет много хорошего. В конце концов, я имел право на этот отдых души. Ведь то, что задумано, сделано больше чем наполовину. И дальше идет как надо. И я вернулся. Это ли не счастье?..

Неслышно подошел Юджин:

— Дышишь?

— Ага… Мосты какие отгрохали…

— Да. Во всех туристских путеводителях о них написано… Да только, слава Богу, туристов и курортников тут немного. Теперь городок даже малолюднее стал, чем раньше.

— Почему?

— Пляжей-то мало, и не песок, а галька. А народ нынче привередливый… Раньше город флотом жил, а теперь флота почти нет, береговая охрана только. Мир во всем мире… Идем?

Я встал.

— Куртку возьми. — Юджин протянул мне что-то темное, просторное.

— Зачем? Жарко ведь. Или в ту забегаловку без фраков не пускают?

— Не будет жарко, это тетраткань. Наоборот, холодит. А в холод — греет. Твой микроклимат всегда с тобой. Кроме того, в ней аварийный датчик, на всякий случай… А это положи в брючный карман. — Юджин сунул мне в ладонь плоскую вещицу.

— Что это?

— Пистолет-парализатор… Только не ставь на полную мощность — а то угрохаешь кого-нибудь ненароком.

— Зачем он? Ты же говоришь: все спокойно в этом мире!

— Для пущей романтики. — Он усмехнулся. — Все же приморский город, ночной кабак… К тому же не забывай, что ты по-прежнему офицер спецслужбы. Или даже, наверно, генерал, если выслугу учесть…

— Да спецслужбы-то нет!

— Кой-какая все же имеется, куда без нее, без родимой… Там под лацканом куртки даже значок…

Я затолкал легкий, как игрушка, пистолет в задний карман, кинул куртку на плечо, и мы пошли. Город сиял у нас за спиной, но здесь было темно. Юджин вел меня каменистой тропинкой недалеко от обрыва. Головки травы скребли по штанинам.

— Юджин, помнишь, как однажды в сумерках ты угодил в какой-то лаз и мы с дедом вытаскивали тебя на веревке?

— Еще бы! Я там тогда монетку с якорем нашел. На ощупь!.. Потом я ее на цепочке носил…

— Сохранилась монетка-то?

— Да где же! Столько лет прошло…

"Всего два года", — подумал я. Но не сказал. Теперь казалось, что и я пробыл в Пространстве чуть не полвека и прежняя жизнь далеко-далеко…

…Ресторанчик был милый такой, тихий, почти пустой. С неяркими светильниками в виде древних каменных плошек. На терракотовых стенах — черные фигуры героев эпоса и квадратные завитки эллинского орнамента. Тренькала музыка — словно кто-то щупал струны у лютни.

За нарочито грубым некрашеным столом нас ждали: врач Митя Горский, рыжий и кудлатый вакуум-навигатор Витя Осинкин (Виктор) и заместитель Юджина, которого все звали Матвеич. Он был сухонький, как прошлогодний стручок акации, редкозубый и веселый. С мужчинами оказались две особы женского пола: совсем юное создание в шортах, безрукавке и с льняными волосами до пояса (видимо, симпатия Мити) и дама

лет тридцати — в глухом платье с блестками, в меру подштукатуренная косметикой, пухловатая, с добродушным, домашним таким лицом. Юную звали Евой, особу постарше — Кариной.

Компания шумно и без церемоний приветствовала нас. Девица в короткой тунике принесла бутыль из мутного, пылью подернутого стекла, керамические бокалы. Потом глиняные тарелки со всякими салатами и горячее, с запахом трав, тушеное мясо.

Я загляделся на коричневые, оплетенные ремешками греческих сандалий икры этой приветливой девицы и не сразу понял, что там объясняет Юджин. А объяснял он про вино. Оказывается, оно изготовлено строго по рецептам греческих виноделов, живших тут во времена Фемистокла.

— Напиток прекрасный, но коварный. Недаром греки всегда разбавляли вино водою. И вам советую…

Мы вняли совету. Вино и правда было чудесное. Раньше, в "доуходные" времена, я ничего подобного не пробовал. Тем более на "Игле"… Я не удержался и глотнул неразбавленного.

Хорошо тут было. И салаты, и мясо (кстати, как выяснилось, искусственное, белковое), и напи-

ток Эллады, и бестолковый разговор ни о чем. И даже сидевшая напротив меня Карина. Она была троюродной сестрой Виктора и владела небольшим, расположенным на Верхней набережной магазином игрушек. "Да-да, именно! Плюшевые тигры, электронные марсиане-попрыгунчики, мини-роботы, "живые" матрешки и старинные пищалки "уйди-уйди". В ваши времена ведь тоже были такие, не правда ли?"

Она казалась мне малость глуповатой, но симпатичной. Уютной такой. Улыбалась мне, подвигала тарелки, потом округлила глаза и призналась:

— Ох, как это все-таки интересно и непонятно! Может, вы объясните, а? Звездолет летит там, непонятно где, а вы тут, с нами... В голове не укладывается...

Я был в блаженной беззаботности, и угловатый греческий орнамент непослушно змеился у меня в глазах. Но тут я подобрался. Глянул на Юджина со строгим упреком:

— Вот те на! А секретность?

— Да брось ты, Питвик. Кому она нужна, эта секретность? Кто хочет, все уже знает про наши дела. Да, по правде сказать, никто почти и не хочет... А в программах все равно никому не разобраться.

И никому не повторить Конус.

Мне стало крайне обидно.

— Однако позвольте… д-дамы и коллеги… Все же мероприятие галактического масштаба. Туннель до звезды… не важно до какой, но до… весьма неблизкой. И что же, на Земле никого это не волнует?

Редкозубый сморщенный Матвеич как-то обрадованно разъяснил:

— Ага!.. А полсотни лет назад вспомните! Многих ли волновали все эти "Маринеры", "Пионеры", "Венеры" и прочие штуки, которые летели к другим планетам? Толком никто и не помнил, чего, куда и зачем запустили… Всех больше переделы границ волновали.

— Но это же… нес… справедливо, господа…

— Ты докажи это ученому совету, — вздохнул Юджин. — Хорошо хоть, что пока финансирование не прекратили. Да и то лишний грош не выпросишь…

А Карина перегнулась ко мне через стол (и ее коралловая цепочка угодила в салат).

— Ох, но мне это непонятно… Неужели вы все-таки одновременно и здесь, и там?..

Нет, она в самом деле была славная. И я стал добросовестно объяснять, что ее суждение не со-

всем верно. В принципе да, это возможно, чтобы человек сразу был в двух местах…

— Это основано на теории корпускулярности времени… Возьмите дрожащую гитарную струну: она так часто вибрирует, что практически находится сразу и в левом, и в правом положении… — Я ладонями изобразил движение струны. На полу что-то, кажется, звякнуло. Но меня не остановили. Наоборот, внимательно слушали. Слушала даже девица в тунике и с ремешками на коричневых икрах. И Карина… — То есть корпускулы времени заполнены пребыванием объекта не сплошь, а через одну. Но на практике это не играет роли, потому что интервал между ними все равно супер-микро-ско-пичен… В нашем случае, однако, такое явление может иметь место лишь в условиях темпорального сбал… лансирования. А при разномасштабности измерений темпорального потока… н-ни фига не получится. Говорят даже, что может произойти раздвоение субъекта, но это ф-фантастика…

Девушка в тунике вдруг сказала:

— Я, конечно, очень извиняюсь, но мы ведь уже закрываемся.

Мы шумно заспешили, тоже заизвинялись. Не хотелось затруднять и обижать работников этого

славного заведения.

Но на улице я вдруг почувствовал, что на базу мне ужасно не хочется. Опять в казенный гостевой бункер — почти такой же, как жилые отсеки на "Игле".

— Может, еще погуляем? Вон какая ночь! Разве можно сейчас под землю…

Юджин сказал:

— Я вот что думаю. Все равно тебе, Питвик, нужна квартира. Не будешь ведь постоянно торчать на базе, надо устраиваться по-человечески… А у Карины две свободные комнаты, она иногда их туристам сдает… База оплатит, есть на это статья…

— Жилье, правда, староватое, на Шкиперской улице, но зато все по-домашнему, — скромно вступила в разговор Карина. — Да вы… не подумайте чего-нибудь такого…

Я ничего такого не думал. И мне ужасно захотелось в старый земной дом, на Шкиперскую улицу, тем более что в давние времена я жил неподалеку от тех мест.

На маленькой площади с зеленым корабельным фонарем была стоянка таксомоторов. Машины в стиле ретро: колеса со спицами, клеенчатые тенты. Митя и Ева заявили, что поедут

провожать меня и Карину. Мы погрузились в осевший на рессорах кабриолет. Я барственно помахал оставшимся ладонью. Митя на светящемся пульте автоводителя понажимал кнопки, опустил в щель магнитную карточку. Поехали…

Быстро миновали сияющий огнями, гудящий музыкой центр. Покатили по окраинам. Здесь были желтые фонарики, белые одноэтажные улочки, плиточные мостовые. Все как раньше. Дорога запетляла, круто повела в гору. Наше авто вдруг затормозило. Автоводитель хрипло сообщил через динамик, что за такой подъем полагается дополнительная плата.

— Вот жлоб, — сказал Митя. Еще раз толкнул карточку в щель. Кабриолет рывком взял с места…

Две мои комнаты оказались не очень просторными, но приятными. Мебель была старая, люстры тоже почти музейные. Но это и хорошо для такого реликта, как я. В окнах тем не менее торчали вполне современные кондиционеры, а в простенке темнел крупный стереоэкран. А на резном, с львиными головами письменном столе — персоналка девятого поколения, класса "Доцент"…

Я пооглядывался, понажимал клавиши "До-

цента", подумал, что надо спросить про постель. Хмель почти выветрился, но было мне по-прежнему хорошо и беззаботно.

Карина окликнула из прихожей:

— Петр Петрович, хотите, я поставлю кофе?

— Ради Бога, зовите меня Питвик, я так привык… А кофе… Наверно, уже поздно, вы устали…

— Какие пустяки!

Мы пили кофе в ее комнате с зеленым торшером и с клеткой, где спали два волнистых попугайчика. Пили из тонких чашечек — наверно, настоящий китайский фарфор. У нас с мамой когда-то была чашечка, похожая на эти… Где-то звонко тикали часы…

Карина поднялась, обошла меня, встала за спиной. Положила мне на плечи ладони.

— Ох, Питвик, вы уже спите, по-моему… Да?

— Нет, отчего же… — Я закинул руки, взял ее за мягкие запястья с тугими ленточками браслетов…

3

Проснулся я от солнца и от гвалта попугаев. Они скандалили, как воробьиная стая. Карины не было. На краю стола — сразу заметно — лежал

магнитный "секретарь". Я нажал клавишу. Голос Карины пожелал мне доброго утра, объяснил, где завтрак, и сообщил, что "я убегаю в свою лавку, сегодня должен прийти лайнер, туристы с детишками, увидимся вечером".

Завтрак я нашел. Вкусно. Нашлась и бритва (ай да Карина!). Из кармана куртки я вытащил капсулу радиотелефона, разбудил Юджина, сообщил, что сегодня у него не появлюсь, буду "вживаться" в город.

— Вживайся, — разрешил Юджин.

Лишь после этого я стал натягивать брюки…

И кто это придумал, что я толстый? Ну округловатый, да. Но не так уж. И вполне еще достойный мужчина во всех отношениях. Даже спина не ноет ничуть…

Что-то твердое мешало мне в заднем кармане… Ба, да это же пистолет! Юджин, балда, сунул, не объяснил даже, как обращаться. Система совсем незнакомая, излучатель… Впрочем, ничего сложного: предохранитель, переключатель интенсивности. Красная риска с крошечным черепом и костями (р-романтика) означает действие на смертельное поражение. Фу ты, бред какой, кому это надо? И разве такие штуки носят без специального разрешения?.. Хотя я же чин

Службы безопасности. Вот и значок на левой стороне лацкана: маленькая ладонь из желтого металла, а на ней буквы "ОГ". Видимо, Объединенная Гвардия. Ну и ну…

С курткой на плече я вышел из дома. В самом безмятежном настроении. И пошел наугад бродить по городу, в котором раньше жил почти что с детства и который не видал полвека без малого…

Шкиперская улица и вся Нагорная слободка были почти такими, как прежде. Только антенны над крышами — незнакомой конструкции, да у каждой калитки — голубые аккуратные дверцы пневмопочты.

Густо зеленели акации. На платанах кромки листьев кое-где чуть подсохли — самый отдаленный намек на осень. Но было очень тепло. Стояла первая половина сентября — здесь это совсем летняя пора, хотя и без большого зноя…

Запутанными переулками и лестницами я перевалил Зеленую горку и оказался на улице Парусных капитанов, ведущей на бульвар Первой осады, к старым бастионам.

На бастионах тоже было почти все как прежде. Так же цвела сурепка у вросших в землю лафетов. Так же чугунные бомбарды грели на солнце свои изъеденные оспинами тела. Так же, как раньше,

коричневые полуголые мальчишки лазали по орудиям. На самых младших несердито покрикивали со скамеек бабушки. А в амбразурах и над краем брустверa синело спокойное море. В нем недалеко от берега неспешно расцветал парусами громадный пятимачтовый барк — наверно, учебное судно.

Я постоял, посмотрел, подышал и зашагал к центру.

Ноги уже слегка гудели от ходьбы (отвык топать подолгу), спина постанывала. К счастью, попалась на пути стоянка такси-автоматов. Я плюхнулся на сиденье открытой машины в стиле "Фаэтон-1909" и припомнил объяснения Юджина, как пользоваться этой техникой. Ага… вот схема городских маршрутов, вот кнопки… Ч-черт, сразу не разберешь. Начал нажимать. Динамик вдруг сказал голосом дворника-алкоголика:

— Не тычь пальцем, если не умеешь… Говори по-человечески…

— Ох… виноват, шеф. Значит, так. По всем улицам центра и по Спиральному бульвару до вершины холма.

— Сперва аванс… Карточка-то есть?

Кредитная карточка у меня была. И на карточке кое-что было. Долгое отсутствие имеет свои

преимущества, за полвека на счете накопилось столько, что я мог бы, наверно, одним чохом купить целый парк таких авто и уютненькую виллу с яхтой в придачу… А вот возьму, да так и сделаю (насчет виллы и яхты). И женюсь на Карине. Потому как вовсе еще не старик. И тоже буду торговать игрушками, пока Конус там проковыривает многомерные миры… Но это позже. А пока я послушно сунул карточку в щель на панели.

— Не спеша, пожалуйста.

Фаэтон мягко взял с места. Со скоростью легкового извозчика.

Я развалился на податливой мякоти сиденья и поглядывал на жизнь.

Центр оказался почти незнакомым. Новая архитектура с громадными стеклами овальных окон, плавными изгибами уходящие вверх здания. Встречались и старые дома, но они были затеряны в современных постройках. Тянулись, вздымались, нависали над улицами многочисленные мосты, эстакады, террасы — все в зелени. Этакие висячие сады Семирамиды. Красиво, ничего не скажешь. По верхним эстакадам пробегали среди листвы разноцветные вагоны и кабинки…

Народу было немало, но без обычной для юга суеты и толкотни. Зато пестрота! Казалось, нынче

все тут сговорились одеваться так, чтобы удивлять друг друга или потешить свою фантазию. Попадались навстречу юнцы в разноцветных рубашках с подобием эполет и в головных уборах как у старинных польских улан. Девицы щеголяли в самом легоньком убранстве, состоящем в основном из шнурков и блесток, или, наоборот, в длинных хламидах наподобие кимоно. Многие мужчины были в шароварах и рубашках с украинской вышивкой: все новое — хорошо забытое старое… А попадались вовсе оригинальные типы: вот голый по пояс парень в цветной татуировке и с тяжелым ожерельем то ли из камней, то ли из зубов кашалота. Вот шагает загорелая дочерна старуха в полосатых шортах, в безрукавке из дерюги и в соломенном брыле, как у гоголевского пасечника. С помощью миниатюрного пульта она управляет детской коляской и при этом курит громадную сигару. А вот марширует по панели дюжина мальчишек в алых накидках и серебристых спартанских шлемах, с круглыми щитами и тонкими копьями. Отряд такой, что ли? На мальчишек смотрят с радостным удивлением две крашеные дамы в платьях, напоминающих укороченные кринолины, а точнее — шелковые абажуры с бахромой. (Интересно, сохранились

ли до нынешнего времени такие абажуры?)

Впрочем, было много прохожих и в "нормальной" одежде. Мужчины часто шли в куртках, похожих на мою.

Куртка, кстати, оказалась просто прелесть. Я надел ее, когда стала донимать жара, и ощущение сделалось такое, словно только что под прохладный душ слазил. С виду куртка была как из искусственной замши, но очень легкая. Тетраткань — она и не ткань даже, а синтетический, мягкий на ощупь пористый материал небывалой прочности. А цвет у тетраткани разный, у моей куртки, например, стальной…

Фаэтон послушно катил на малой скорости и минут через сорок доставил меня на вершину холма.

Храм на холме — желтовато-серый собор в византийском стиле — в прежние времена стоял полуразрушенный со времен Второй мировой. А сейчас он был словно только что построенный, сверкал наружными мозаиками и золотом купола. Я вошел в полутемную прохладу. Было пусто, кое-где мерцали лампады и свечки. В автомате у входа я купил тонкую желтую свечу, зажег от другой свечи и поставил в боковом приделе у маленького образа Богоматери с Младенцем

— похожего на тот.

— Я вернулся… Спасибо…

А может быть, поехать в Старотополь? Я ведь не был там с детства, с той поры, как переехали с мамой сюда… Интересно, сохранилась ли та красная церковь над оврагом? Незадолго до Ухода я слышал, что завод "Красный химик" по-прежнему отравляет там воздух… Только я ни за что уже не пролезу в ту щель в фундаменте…

Впрочем, Старотополь — это позже. Надо еще узнать, какие нынче правила проезда. Теперь ведь там заграница… Надо же, чушь какая…

Ладно, чтобы отдать дань воспоминаниям детства, отправлюсь-ка я пока на Камчатскую.

На Камчатской я жил в первые годы после переезда из Старотополя. На этой улице кончилось мое детство. Там я впервые влюбился — в заносчивую соседку-восьмиклассницу Ленку — и познал всю горечь неразделенного чувства…

Фаэтон, несмотря на мое приказание ждать на стоянке у собора, бессовестно укатил. Ладно, не буду расстраиваться. Я опять двинулся пешком…

…Старый трехэтажный дом на Камчатской сохранился. Правда, с двух сторон его обступили новые белые здания "корабельной" архитектуры. Двор был прежний, только пирамидальные то-

польки стали великанами. На дворе две храбрые девчонки — рыжая и белобрысая — прыгали на доске, перекинутой через обломок пластиковой трубы. Посмотрели на меня, переглянулись, захихикали. Тоже растут будущие ленки-сердцеедки, чье-то горькое испытание. Поглядел я на бывшее Ленкино окно на первом этаже, поглядел на свое — на третьем — и пошел. Вниз по Смирновскому спуску, к школе, где когда-то получил аттестат…

Школа тоже сохранилась, только красное кирпичное здание окружено было теперь всякими пристройками и корпусами со стеклянными крышами. Я увидел знакомое крыльцо с гранитными ступенями, с навесом на кронштейнах из узорчатого чугуна. Милое, неизменное… Я и прежде захаживал сюда, когда был уже взрослым (ишь расчувствовался, старая бестия)…

Неторопливо обошел я дом-ветеран. Услышал ребячьи голоса. У торца старого здания была площадка, окруженная бетонной решеткой. На площадке — турник и какие-то хитрые штуки из труб и лесенок, наверно, чтобы лазать и вертеться.

У решетки площадка обросла здешним колючим татарником и прочими сорняками (надо же, другая эпоха, а у заборов тот же чертополох!). А

в центре трава была вытоптана. И немудрено, если здесь каждый день так! Полтора десятка мальчишек с веселыми кличами носились за красным, звонко гудящим мячом. Игра была столь же древняя, как чертополох: мяч ребята перебрасывали друг другу, а один, посреди круга, ловил его. Поймает, вляпает по кому-нибудь, и, значит, уже тот — водящий…

Они играли азартно, резво, но без малейшей сердитости друг на друга, без досадливых выкриков и обид… Как раньше…

Я вспомнил, что, приехав сюда, не сразу поверил открытости и доброте приморских мальчишек. Какие-то не такие они были, как старотопольские мои знакомые. Тем палец в рот не клади, а у этих такие характеры, что все наружу: и смех, и слезы, и все свои секреты — без ехидных насмешек. Если и подерутся — это как вспышка на минуту, а потом — никакого злопамятства. Если и прозвище у кого, то веселое, озорное, без дразнилки. А если у кого случайный синяк или ссадина, окружат, сочувствуют, каждый что-то советует… Сперва в их открытости, в готовности к дружбе, даже в ласковости какой-то чудился мне подвох. Не раз я выпускал колючки, а ребята искренне удивлялись. Но скоро я понял: все

по правде… Да и что удивительного? Такими и должны быть нормальные пацаны. Ведь и в хоре у Эльзы порой было что-то похожее. А Валька Сапегин вообще весь такой. Жаль только, что он остался в Старотополе… Мы встретились опять уже в университете, но тогда уж — на всю жизнь. На его жизнь, на Валькину…

Я загляделся на игру: на полеты яркого, полупрозрачного, но, видимо, тяжелого мяча, на мельканье смуглых рук и ног, на солнечные вспышки в разлетающихся волосах… Ребятишки, видимо, из средних классов, лет десяти-двенадцати. Наверно, уроки уже кончились, а домой идти неохота. Пестрые сумки и мешки брошены кучей у изгороди…

На многих мальчишках были короткие безрукавки из разноцветной тетраткани, со шнуровкой на груди, с накладными карманами, похожими на черкесские газыри. В прежние времена я такой моды не встречал. Скорее всего это было что-то вроде школьной униформы, но, видимо, не обязательной, потому что некоторые ребята бегали в разноцветных рубашках или ярких майках. При этом кое-кто босиком. Наверно, в нынешнюю эпоху такое дело не считалось предосудительным…

Мяч звенел и ухал под ударами ладоней и порой

улетал мимо зарослей. Это не вызывало досады, только смех. И крепенький беловолосый мальчуган лет десяти тут же бросался в заросли. Он — в отличие от других в плотном желто-красном комбинезоне — каждый раз бесстрашно лез в колючки. Он же кинулся и через изгородь, когда мяч перелетел с площадки во двор, прямо ко мне.

Я поднял мяч (увесистый и почему-то холодный), протянул мальчишке. Он сказал с достоинством:

— Спасибо, сударь.

Старинное обращение "сударь" в прежнее, в мое время еще только возвращалось в обиход. А теперь было уже привычным. Мальчик смотрел без любопытства, но по-хорошему:

— Вы кого-то ждете? — Видимо, была в нем готовность помочь, найти, позвать кого надо.

Я ответил без хитрости:

— Учился здесь когда-то. Теперь вот, случается, прихожу иногда, вспоминаю. Правда, очень давно уже не был…

Рядом оказались еще несколько мальчишек. Один откликнулся с пониманием:

— Да, наша школа старинная…

— Еще бы! Даже когда я учился, она была старинная. Бывшая мужская гимназия…

— Сейчас тоже мужская гимназия, — сообщил остроплечий, похожий на маленького Юджина мальчуган. — С гуманитарным направлением…

— А в наши времена была просто средняя школа… Вон там, на третьем этаже, окна моего класса…

— Там сейчас хранилище дискет! В этом здании почти никто не учится, только аудитория для занятий по философии осталась…

— А скажите-ка, философы, почему у вас спортплощадка такая чахлая? В наши трудные времена и то лучше была.

— А это не площадка! — загалдели они. — Стадион ниже по спуску, а здесь просто дворик! Мы здесь любим играть!

— Ну, это другое дело… А то, я смотрю, турник такой жиденький и кривой…

— Ничего не жиденький, — заступился за турник мальчишка с круглыми щеками и поцарапанным носом. — Хоть и кривой, но любого выдержит… Даже вас… Ой, извините… — Это потому, что похожий на Юджина мальчик толкнул его локтем.

— А чего же вы извиняетесь, сударь? В том смысле, что я уже не гожусь для турника?

Тот виновато засопел поцарапанным носом. А

у остальных смешинки в глазах. Но не улыбаются открыто — воспитанное поколение… Меня слегка заело. Этакий школьный азарт.

— А давайте-ка поглядим… — И я пошел в калитку. Они, с недоверчивой переглядкой, за мной.

Я снял куртку, дотянулся до перекладины. И в самом деле крепкая. Я повис на правой руке. Сперва — как мешок. Потом тренированным усилием убрал из тела тяжесть. Подтянулся раз, другой, третий. Сменил руку, выжался на левой. А потом еще с десяток раз на двух руках. Сделал переворот (перекладина застонала, спина, по правде сказать, тоже)… Мальчишки стояли с приоткрытыми ртами. Наверно, слон, забравшийся на кипарис, не удивил бы их так.

Я снова обмяк, грузно спрыгнул, больно отдалось в позвоночнике. Ну ничего… Приложил два пальца к виску, подобрал куртку и зашагал с площадки. Услышал сзади запоздалое "до свидания", а потом неуверенное:

— Наверно, из цирка…

От школы я побрел наугад и вышел к подвальному ресторанчику с милым названием "У нас все есть". Вспомнил, что время обеденное. В ресторанчике действительно было все, кроме посетителей. Последнее обстоятельство особен-

но мне понравилось, поскольку бармен и два супервежливых официанта-робота (этакие сооруженьица на колесиках, с четырьмя членистыми руками и глуповатыми резиновыми лицами) полностью излили свое гостеприимство на мою персону.

Белое вино и рыбные блюда были восхитительны, хотя я и подозревал, что запеченная осетрина — искусственного происхождения. Обед подвигнул меня на продолжение экскурсии, а улица Ржавых якорей (насколько я помнил — бывшая Первых пятилеток) привела меня к широкому белому зданию кинотеатра "Посейдон".

Показывали вторую серию "Властелина колец" — по старинной эпопее Толкиена. Я зашел: любопытно, какое оно, нынешнее кино? В полукруглом зале распахнулся громадный стереоэкран…

Игра артистов не очень мне понравилась. Была в ней нарочитая трагедийность. По-моему, хоббит не должен вещать как Гамлет. Но технически фильм был сделан отлично. Сумрачные пространства Средиземья дышали в зал древними запахами заповедных лесов и болот. Глубина и ширь были абсолютно реальными. Дикие птицы проносились у лица. А во время одной битвы чей-то меч по-настоящему вылетел из экрана и

зазвенел на авансцене. Не знаю, как уж это было сделано.

Фильм был очень длинный. Когда я вышел, уже вечерело. А когда оказался на Корабельной набережной с памятником Парусной эскадре, малиновое солнце тонуло в светлой воде.

Я постоял, посмотрел на закат.

Зажглись фонари. Сзади, в Приморском саду, играла музыка. Старая мелодия Листа, "Грезы любви". Воистину вечная музыка…

Я пошел сквозь полутьму аллей и оказался на площадке перед эстрадой. Узнал это место: эстрада та же, что в прошлые времена, те же каменные львы по краям. Только скамейки другие, с удобными спинками.

К сожалению, я опоздал: пианист уже уходил со сцены… Публика, однако, не расходилась. Ее, кстати, много было, публики. Я с трудом нашел свободное место недалеко от прохода. Посмотрим, какой музыкой тут еще угостят.

Люди вдруг зааплодировали. На освещенную эстраду выходили мальчики. Сразу видно — хор. В концертных костюмах: серые брюки, узкие черные курточки до пояса, пышные жабо. Этакая праздничность и в то же время академизм… Певцов этих здесь, видимо, знали и любили. Пока

ребята выстраивались на ступенях в три ряда, аплодисменты не стихали. Лишь когда вышел вперед маленький объявляла, стало тихо. (Так это все знакомо! Аж сердце защемило.)

Голос у мальчишки натренированный — чистый и громкий:

— Дамы и господа! Вас приветствует хор мальчиков "Приморские голоса". Руководитель хора Феликс Антуан Полоз!

Ишь как, "Феликс Антуан"...

Маэстро Полоз вышел под аплодисменты, склонился, постоял так несколько секунд. Качались очень длинные рыжие локоны. Потом он выпрямился. Тонкий, высокий, неулыбчивый. Лицо его мне показалось не очень-то приятным — с тенями под глазами, длинное, но с округлым и дряблым подбородком. Впрочем, издалека не разглядеть...

Сперва исполняли кантату Олега Савченко "Легенда о черном альбатросе". О композиторе таком я не слыхал раньше, но музыка была хорошая и пели мальчишки отлично. И я хлопал вместе с остальными от души.

Потом стройный белокурый солист лет двенадцати прекрасно исполнил "Аве Марию", и публика опять бурно выразила свой восторг. Со-

лист и Полоз поклонились, стоя рядом. Мальчик ушел, а Феликс Антуан Полоз обвел притихшую площадку тяжеловатым взглядом и заговорил. Голос был неожиданно глухой и низкий:

— Почтенные наши слушатели. Я вижу среди вас много знакомых лиц. Следовательно, здесь собралось немало поклонников нашего дружного творческого коллектива. Все, кто знаком с "Приморскими голосам" давно, знают, что я занимаюсь историей хорового пения. Точнее — историей пения мальчиков. Это древнее искусство, оно уходит корнями в глубь тысячелетий, когда чистые голоса мальчиков под сводами храмов просили у разных богов благоволения и помощи в земном бытии... — Полоз говорил, не поднимая лица. Рыжие локоны покачивались у плеч. — Многое из этого искусства дошло до наших дней. Но гораздо больше скрыто в напластованиях времен. Скрыты гимны, молитвы и песни удивительной искренности и красоты, большой теплоты и лиричности... Интуиция исследователя и новейшая техника помогают мне иногда раскапывать крохи этих скрытых от нас сокровищ. Вы помните, конечно, что наш хор уже неоднократно знакомил вас с забытыми произведениями прошлых веков — результатами

таких находок...

Полоза слушали в почтительной тишине. Кажется, никто не замечал, что за уважительным тоном кроется этакая снисходительность. Даже еле заметное пренебрежение к сидящим перед эстрадой.

Или мне показалось? Собственно, что я мог иметь к Полозу? Я его совсем не знал, хор его пел прекрасно, и сам маэстро, судя по всему, от души был увлечен этим искусством. И все же, все же... Может быть, царапнули меня его слова о проникновении в прошлое? Но что здесь плохого?

Я отогнал от себя непонятную досадливость. Однако какое-то предчувствие осталось. Ожидание чего-то не такого. Как там, в "Игле", когда вроде бы во всем полное благополучие, но вдруг мы трое — Рухадзе, Дон и я — переглядываемся и ждем. И точно — через несколько минут датчик начинает сигналить, что барахлит вакуумный изолятор...

— Господа, сегодня я познакомлю вас с гостем из прошлого века. В том сумрачном столетии было много непризнанных и забытых талантов. Судьбы их оказались горькими, музыка их до нас не дошла. Среди них — Юлий Александрович Траубе, автор незаконченной оперетты "Остров

сокровищ"...

Я, словно на тренажере-антиграве (были полсотни лет назад такие), начал проваливаться в невесомость. Усилием воли задавил в себе жутковатое замирание. Даже мысленно прикрикнул на себя: "Ну чего ты, дурак! Радуйся! Такое счастливое совпадение! Весточка из детства!"

Совпадение?

Ну а чем еще это может быть? Ведь не специально же для меня готовил Полоз такой номер. О моем возвращении знали всего несколько человек...

— Я не называю вам имени солиста, — продолжал глуховато вещать Феликс Антуан. — Пусть для вас, так же как и для меня, это будет просто гость из прошлого. Из того времени, когда только закончилась Вторая мировая война...

Я не смог полностью убедить себя в обычности происходящего. Нервы мои были уже готовы ко многому. И они почти не дрогнули, стало даже как-то спокойнее, когда вопреки всякой логике ожидание сбылось. Когда на эстраду впереди хора вышел... я.

"ГУСИНАЯ ЛАПКА"
1

Надо же было так подобрать мальчишку! Двойник, да и только.

В детстве я, грешен был, часто украдкой вертелся перед зеркалом: изучал свое лицо, повадки, движения. Пытался отыскать в себе хоть какие-то признаки героичности, не находил и огорчался. Но зато прекрасно изучил себя. Все это в памяти сохранилось навсегда, и теперь я узнал тогдашнего Петьку Викулова. Мгновенно. По манере чуть настороженно взглядывать на зрителей, по тому, как он споткнулся о неровную плитку пола и шевельнул губами (символически сплюнул: ведь запнуться левой ногой — это к неудаче). Как зашевелил пальцами у оттопыренных карманов на мятых потрепанных штанах.

Я не мог ясно различить лицо, но все же узнавал и его. И отросшую белобрысую челку, в которой одна прядка торчала непослушно, как вздыбленная клавиша…

Да, это безусловно был я. И не просто я, а из того запомнившегося дня, когда Эльза Оттовна

изловила меня у оврага и уговорила выступить на ответственном концерте. Я тогда только что выбрался из церковного подвала, где оставил сосновый кораблик. Оставил с молитвой о спасении меня от одиночества. И было мне в тот момент вовсе не до песен. К тому же в хор я уже не ходил, обиделся на что-то. Или на то, что мне там не достался концертный костюм, или… А, вспомнил! В школе у меня отобрали пионерский галстук, а без него я выступать отказывался. Этакая жгучая реакция на несправедливость…

Но Эльза Оттовна все же уговорила меня. Сказала, что для этого номера годится моя обычная одежда, а вместо галстука дала свою косынку — "морскую", синюю с белыми полосками…

Вот сейчас, почти через сто лет, я и стоял такой, как тогда. С этой самой косынкой на трикотажной полосатой рубашке, в стоптанных сандалиях на босу ногу, в перемазанных глиной штанах, застегнутых под коленками. Впрочем, одна пуговица оторвалась и штанина болталась вокруг ноги.

Мальчишка в точности моим жестом потер под носом согнутым указательным пальцем, быстро облизнул губы, глотнул и стал смотреть поверх голов, слушая, что говорит объявляла.

— Песня юнги Джима из оперетты "Остров со-

кровищ". Музыка и слова Юлия Траубе…

Я почти успокоился. Совсем успокоился. Отодвинул тревогу, догадки, вопросы назад. Все потом… Из динамика мощным вздохом донеслась музыка оркестрового вступления и сразу сбавила свою мощь, уступая место голосу…

Я никогда не слышал свое детское пение со стороны. Ведь в то время мы еще не знали магнитофонов. И сейчас мне показалось, что этот голос — не мой, что я в мальчишечьи годы пел вовсе не так чисто, звонко и ясно. Впрочем, сейчас мальчику, видимо, помогал микрофон. Мысль об этом проскочила и забылась. В следующие секунды я уже весь ушел в песню, буквально сливаясь с маленьким солистом и ощущая себя там, на эстраде…

С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго.

Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра…

Слышишь, бакен-ревун на мели воет голосом волка?

Это ветер пошел… Помоги мне осилить мой страх…

Я чувствовал каждым нервом: мальчишка поет

с настоящей горечью расставания. С закипающими в душе слезами. Так же, как я тогда! Ведь в тот день это было для меня не простое выступление. Я знал: что-то ломается в моей жизни. И пел — словно в последний раз. Мало того, сразу после выступления убежал со сцены и разревелся в кустах за эстрадой…

Да, я ощутил себя на месте этого мальчика. Вместе с ним дышал знакомой мелодией, повторял каждое слово.

Разве я виноват

В том, что создал Господь океан

И на острове дальнем

Клинками скрестились пути?..

Вспышка на скрещенных рельсах мгновенно сверкнула в памяти, но песня уводила дальше:

Я молю, помоги мне в пути моем бурном и длинном,

Не оставь меня в мыслях, в молитвах и в сердце своем…

Мальчик закончил (я закончил!) петь. Стихли заключительные аккорды.

Нет, этот Петька Викулов не убежал. Он стоял, опустив голову, мял у карманов материю старых

штанов. Потом, когда Полоз тронул его за плечо, он неловко поклонился. И вместе с Полозом они ушли в боковую дверцу.

Через четверть минуты Полоз вернулся.

И только сейчас грянули аплодисменты. Сумасшедшие! С топотом и восторженными воплями! Многие орали: "Бис! Бис!!" Но Полоз покачал головой, показал на дверцу, за которой скрылся мальчик, тронул горло: солисту, мол, трудно петь второй раз...

Шум и хлопанье постепенно стихли.

Объявляла громко сообщил, что в заключение концерта хор исполнит песню "Лунная дорога". Это вызвало у публики новое оживление и одобрение. Но я "Лунную дорогу" слушать не стал. Выбрался с площадки, прошел через темные кусты и встал позади эстрады.

Здесь неярко светил одинокий фонарь. Неподалеку стоял длинный серебристый автофургон, похожий на притаившийся под деревьями аэростат.

Я замер у кромки кустов и думал: что же делать?

В том, что какие-то действия нужны, сомнений у меня не было.

Песня Джима все еще звучала во мне и властно

уводила назад, в разбуженное старотопольское детство, но мысли уже были четкими (ох, четкими ли? Очень даже растрепанными. Но все же связными).

Все это явно не случайно.

Но зачем все это понадобилось Феликсу Антуану Полозу?

В самом деле хотел удивить слушателей "Песней Джима", которую раскопал хитрым способом?

Ну допустим. Но откуда он узнал про меня? Как? И зачем? Для чего этот маскарад солиста?

Да нет, не простой маскарад. Точнейшее повторение Петьки Викулова через девяносто с лишним лет…

Правдоподобнее всего было предположить, что маэстро все же как-то узнал о моем возвращении. Возможно, он знаком с кем-то из наших с базы. И решил сделать мне сюрприз…

Нет, чушь! Как он мог догадаться, что я окажусь в этот вечер у эстрады? Ведь никто меня не приглашал…

И в любом случае Полоз не мог знать столько всего. Ну, допустим, нашел песню, узнал, что пел ее именно я, но как он мог раскопать мельчайшие детали: вплоть до синей косынки, до оторванной

пуговицы?.. И как он сумел найти мальчишку, который даже под носом почесывает тем же движением, что и я?..

Это была мистика…

Впрочем, о мистике ли говорить тому, кто связан с Конусом и корпускулярной теорией времени? Наш брат нагляделся на всякое. И все-таки мы знаем точно: обратного хода Времени нет. Значит, и чуда быть не могло…

Но оно было…

Или чудо, или какая-то мистификация. Жутковатая…

Тревога опять крепко стиснула мне душу. Нехорошо стало. И вот что странно — тревога была за того мальчишку.

По опыту я знал, что с предчувствиями шутить не следует. Предчувствие — это эхо информации, опережающее связный сигнал. И кроме того, я все равно не успокоюсь, пока не выясню, что к чему…

Но то же предчувствие подсказывало: обращаться к Полозу не следует. По крайней мере, нельзя это делать сразу, сейчас.

"Лунная дорога" (оказывается, старая неаполитанская мелодия без слов) отзвучала. Отзвучали и аплодисменты. Слушатели стали шумно рас-

ходиться с площадки. А из двери позади эстрады стали выскакивать под свет фонаря хористы. И бежали в автофургон.

"Неужели уедут?" — испугался я.

Но нет, вскоре мальчишки стали выпрыгивать обратно. Видимо, фургон служил костюмерной. Ребята оставляли там концертные наряды и выскакивали уже в обычной летней одежонке. Правда, на некоторых сверху были еще свитеры или короткие плащи-накидки. Видимо, юные таланты опасались вечерней зябкости, хотя, по-моему, ее вовсе не чувствовалось. Воздух был теплый, ласковый, пересыпанный трелями цикад.

Я обратил внимание, что кое-кому из мальчиков верхней одеждой служили мужские куртки со взрослого плеча. Вроде моей. Просторные, с подвернутыми рукавами, они балахонисто болтались на щуплых пацанах, укрывая их до колен. Из-под курток забавно торчали тонкие смуглые ноги, иногда босые. Моему непривычному взгляду подобный наряд казался довольно нелепым. Но видимо, здесь была такая мода. Никто из взрослых не удивлялся, не обращал на мальчишек в больших куртках внимания.

Взрослые подходили к ребятам и уводили их с

собой. Видимо, это были родители, сидевшие на концерте. Их, кстати, оказалось немного. Большинство маленьких артистов разбегалось без мам и пап — стайками и в одиночку.

Полоза и моего маленького двойника не было видно. И я даже был рад этому. А то выйдут — и что мне делать?

Я понимал, что для начала следует завести разговор с кем-нибудь из ребят. Глянул, чтобы выбрать собеседника. И тут мне повезло. Прямо на меня выскочили двое, причем один — знакомый! С поцарапанным носом! Из тех, с кем я днем беседовал у школы.

Я стоял у кустов, загораживая тропинку. Мальчишки буквально влепились в мой обширный живот.

— Ой, извините…

— Ничего, — сказал я снисходительно. И сделал вид, что весело удивился: — О, да мы уже встречались нынче! Рад видеть вас опять, маэстро!

— Ага… Здрасьте… — "Маэстро" слегка смущенно шмыгнул поцарапанным носом.

Его приятель деликатно осведомился:

— Мы вас не очень стукнули?

— Не очень. Меня трудно своротить с места…

Они посмеялись. И смотрели открыто, без бо-

язни и подозрения, вольные дети счастливого города, где нет никакой опасности для маленьких жителей. Большие тетратканевые куртки висели на их плечах, как рыцарские плащи.

— Я слушал ваш концерт, — сказал я. — Замечательно вы поете. Могу сказать со знанием дела, поскольку в детстве сам пел в мальчишечьем хоре. Правда, было это в незапамятные времена. И сейчас в это трудно поверить, глядя на мою монументальную фигуру…

Мой знакомый опять вежливо посмеялся, а его приятель — рыженький и серьезный — сдержанно возразил:

— Ну почему же…

Видимо, он уловил, что я подлаживаюсь к ним.

Надо было приступать к делу.

— Кстати… — сказал я и ощутил, как засосало под сердцем. — Я очень был похож на вашего юного коллегу, который пел "Песню Джима". И, между прочим, сам я тоже исполнял эту песню. Любопытно узнать, как зовут этого голосистого юнгу?

Фонарь светил ребятам в спину, лица их были в тени, но я все же заметил, как скользнуло по лицам недовольство.

— Мы не знаем, — неохотно отозвался хорист с

поцарапанным носом.

А другой проговорил чуть насупленно:

— Это же не наш солист…

Чего-то подобного я ждал! И стало еще тревожнее. Но я изобразил легкое такое, небрежное удивление:

— Вот как? Ваш руководитель маэстро Полоз практикует приглашение звезд со стороны?

— Он много чего практикует, нас не спрашивает, — уже с откровенной хмуростью сообщил рыженький. — Он любит эффекты.

— Ага, — простодушно подтвердил обладатель поцарапанного носа. — Приведет незнакомого пацана прямо на концерт и говорит: "Этот мальчик будет сегодня петь с нами…"

— Но как же так? Без репетиции?

— Репетиции бывают, но с кем-нибудь из наших солистов. А в последний момент — здрасьте, вот вам новенький.

— А после концерта — до свидания, — вздохнул рыженький. — Даже познакомиться не хватает времени…

— Почему так?

— Ну… — Поцарапанный нос пожал плечами. — Он говорит: "Эти дети из других коллективов, им надо скорее обратно…"

— Обидно вам? — посочувствовал я.

Рыженький возразил рассудительно, однако не очень искренне:

— Главное, чтобы номер получился, а обид в искусстве быть не должно.

— Это господин Полоз так говорит?

— Ага… — выдохнул поцарапанный нос. Сокрушенно и дурашливо.

— Значит, ничего вы про этого юнгу не знаете…

— Не-е, Полоз нам не говорил… А вы спросите его самого! — оживился поцарапанный нос. — Вон они идут!

От эстрады — не там, где фургон, а с другой стороны — шли Полоз и загадочный солист. Мальчик был в той же одежде, что на сцене. Он что-то возбужденно говорил Полозу. Тот наклонялся и, отвечая, придерживал его за плечо.

Они уходили.

— До свидания, судари мои, — торопливо сказал я мальчишкам. И через кусты, спиной вперед вышел на аллею.

Полоз и мальчик были метрах в десяти. Я двинулся следом. Они свернули к выходу из сада. Недалеко от арки стоял на обочине темно-красный, плоский, как черепаха, автомобиль. Полоз

открыл дверцу, мягко, но настойчиво поторопил мальчика (тот будто сомневался: ехать или нет?). Сели, дверца захлопнулась.

Что было делать? Крикнуть: "Подождите"? Я чувствовал: нельзя. Но ведь сейчас уедут, и тогда ищи-свищи... Вот машина уже тронулась...

К счастью, такси с автоводителем высадило у тротуара парочку и зажгло зеленый фонарик. Я прыгнул в фаэтон:

— Вперед! Вон за той красной машиной!

— Преследование запрещено правилами, — капризным жестяным голосом сообщил динамик.

— Балда! Это мои друзья, мы едем в гости! Если отстану — заблужусь, не знаю адреса. Жми!

— Тогда двойная плата, — сообщил этот механический жлоб.

— Черт с тобой! — я сунул кредитную карточку в щель из панели.

Машина Полоза уже мигала рубиновыми огоньками в конце квартала. Но получивший двойную плату электронный водитель оказался мастером. Скоро догнал красную "черепаху" и поехал сзади метрах в сорока.

Сперва мы катили среди других машин, и Полоз едва ли мог заподозрить слежку. Но скоро магистрали центра сменились нешумными улицами

с бледными фонарями. А затем потянулась каштановая аллея, где сквозь листву еле пробивался свет окон. Это был район окраинных коттеджей.

— Не приближайся, держи интервал, — велел я. — И пригаси фары.

— А говорил — друзья, — хмыкнул электронный нахал.

— Тебе заплатили, сколько просил! Делай, что сказано.

Машина капризно вильнула, но послушалась.

Через минуту я увидел, что автомобиль Полоза свернул в какие-то ворота.

— Проедешь мимо и затормозишь метрах в двадцати…

Фаэтон так и сделал. Уже без комментариев. Я вышел.

— Прикажете ждать? — официально спросил динамик.

— Можешь ехать.

2

Такси укатило. Я быстро пошел назад, к решетчатым воротам, над которыми висел граненый фонарик с яркой лампочкой-свечкой.

За воротами в глубине темных зарослей све-

тились окна. Судя по всему, там стоял средних размеров особняк.

Я услышал на миг два голоса: мальчишечий и взрослый — Полоза. Потом закрылась дверь.

Самое теперь было дело — перемахнуть невысокую узорчатую изгородь и пробраться к окнам. Но я понимал, что изгородь наверняка с электронным сторожем. Сразу в доме поднимется трезвон!

Я торопливо пошел вдоль заборчика. Он скоро закончился. Точнее, свернул, следуя узкой аллее, которая огибала двор и сад. И я свернул. И оказался совсем недалеко от боковой стены дома, в которой горело широкое овальное окно. Гореть-то горело, но увидеть ничего я не мог: нижнюю половину окна закрывали кусты.

Я обернулся. Неподалеку выступал из тьмы толстый изогнутый ствол дерева. Я подошел, положил руки на теплую бугристую кору.

"Ну, ты прямо совсем как пацан, — мелькнула мысль. — Затеял игру в сыщики, старый дурень…" Но предчувствие было сильнее насмешки. Нет, не до игры тут… Я поднапрягся, прогоняя из тела остеохондроз и лишнюю тяжесть. Все-таки великое дело аутотренинг по системе доктора Павлова-Садовского, вечная ему память… Напру-

жинил руки, скакнул на изгиб ствола. Отсюда ствол уходил вверх вертикально, однако было на нем немало удобных выступов и сучьев. Я, проталкиваясь головой через листья, поднялся метра на три. Колючий каштан угодил мне за шиворот. Будь он проклят, пришлось вытряхивать… Повозившись, я отыскал в черных разлапистых листьях разрыв, глянул сквозь него.

Окно было передо мной. И — вот удача! — не задернутое шторами. Сквозь него я увидел просторную комнату или, вернее, холл с зеленой мягкой мебелью. Ну… а дальше-то что? Холл был пуст. И чего я добьюсь, разглядывая кресла и паркетные плитки?..

А вокруг была душная тьма, в которой надрывались цикады. Сладковато и печально пахло миртом или еще каким-то кладбищенским растением.

Я опять подумал, что все это глупо и неприлично. И хотел полезть вниз. Тут-то и появились в холле Полоз и мальчик.

Мальчик что-то нерешительно и встревоженно спрашивал. Полоз, кажется, его успокаивал и давал объяснения. Потом, обняв за плечи, повел мальчика к двери за салатовой портьерой, мягко подтолкнул его, заставил переступить порог

и дверь закрыл. Показалось даже — повернул ручку запора.

В этот миг я снова ясно ощутил себя на месте мальчика — как боюсь идти в незнакомую комнату и в то же время стесняюсь показать эту боязнь и стараюсь потянуть время нервными вопросами…

Полоз остался один, постоял, взял себя за локоны и… стянул их с головы. Парик!.. Голова у Полоза сразу стала похожа на огурец, украшенный темным ежиком короткой стрижки.

Феликс Антуан положил свою артистическую шевелюру на полированный столик, сел в глубокое кресло, откинулся, но голову держал напряженно. Похлопал тонкими пальцами по пухлым подлокотникам. Лицо у него было какое-то… выжидательное, что ли. С неприятно обмякшими губами и подбородком…

Я вдруг крепко разозлился на себя. Сколько можно валять дурака? Если что-то хочу узнать, надо действовать решительно!

Через полминуты я опять был у ворот. Отыскал глазами клавишу сигнала (под металлической картинкой с гномиком), рывком надавил. Почти сразу рядом задышал скрытый динамик. И отозвался картавым лилипутским голосом:

— Что вам угодно, сударь?

— Я хотел бы видеть маэстро Полоза.

— Кто вы, сударь? — осведомился динамик.

— Я… ну, скажем, поклонник творчества господина Полоза…

— Но… — в картавом голосе проступило вежливое негодование, — маэстро не принимает в столь позднее время. Он устал после концерта.

Я понял, что известная доля решительности здесь не повредит.

— Маэстро, возможно, догадается, что, если ему наносят визит именно в такой час, на то есть причины. — И добавил уже совсем нахально: — Полагаю, что наша встреча в интересах самого маэстро.

В динамике нерешительно задышали. За дыханием ощутилось пустое пространство, из глубины которого донеслось:

— Отопри, Карлуша, и проводи. Не спорь…

— Вы один? — осведомился динамик. Это было глупо. Инфракрасный глаз электронного привратника видел, конечно, что я один.

— В полном одиночестве, без злых умыслов и без оружия, — добродушно откликнулся я. И понял, что соврал. Потому что в ту же секунду вспомнил о маленьком "ПП" — пистолете-парализаторе в

заднем кармане. Вспомнил с удовольствием, хотя тут же упрекнул себя в мальчишестве.

Решетчатая калитка звякнула и отошла. Я пошел к дому по хрустящему ракушечнику. Над кустами зажглась цепочка фонариков. Вышел на крыльцо и заковылял ко мне навстречу кособокий человечек с бабьим лицом и длинными руками: полукарлик-полуурод. Сказал знакомым лилипутским голосом:

— Следуйте за мной, сударь.

Видимо, это и был Карлуша.

Он ввел меня в мягко освещенный зеленый холл. Полоз встретил гостя стоя. Он опять был в парике.

Осторожность подсказывала мне, что не следует называть свое полное имя и фамилию.

— Добрый вечер, маэстро. Позвольте представиться. Петр Питвик, сотрудник лаборатории темпоральных исследований…

Полоз чуть заметно дрогнул лицом, но не изменил брюзгливого выражения. Протянул узкую холодную ладонь. Потом показал на кресло. Молча.

Сели.

— Прежде всего прошу принять извинения за столь позднее и непрошеное появление, — свет-

ски начал я.

Полоз принужденно улыбнулся:

— Как сотрудник темпоральной лаборатории, вы наверняка знаете о ценности времени. Я тоже. Посему приступим сразу к причине вашего визита.

Я напряг спину (заболела не вовремя, скотина) и глянул в глаза маэстро. Они были слегка навыкате, ярко-синие, со стеклянной прозрачностью и оранжевыми жилками на белках.

— Господин Полоз, я имел удовольствие присутствовать на концерте вашего хора и вынес с него самые глубокие впечатления…

Полоз шевельнул губами в чуть заметной недоверчивой улыбке. Слегка наклонил голову. Я продолжал:

— Все номера безусловно хороши, но самый яркий из них — "Песня Джима". Она запала мне в душу столь глубоко, что возникло неодолимое желание побольше узнать о главном исполнителе…

Полоз мигнул. Я не отводил взгляда от его зрачков.

— Кто этот солист? Как его зовут и где вы этого мальчика нашли?

Полоз наконец опустил глаза:

— Однако же, сударь… Вам не кажется, что ваши вопросы и сам ваш тон отдают некоторой бесцеремонностью? Почему я должен отвечать?

— Думаю, вы догадываетесь, что у меня есть веские причины для вопросов…

— Догадываюсь, что есть. Но хотел бы их знать. Разве это не логично!

Я чувствовал, как нарастает в нем напряжение. И сам я тоже сохранял спокойствие с трудом. Потому что во время всего разговора помнил, знал, ощущал, что в соседней комнате заперт мальчишка. Тот, который необъяснимо связан со мной. И которому, кажется, что-то грозит.

Видимо, пора было идти напролом. Тем более, что Полоз опять смотрел мне в глаза — теперь скучновато и уверенно. Возможно, уверенность эту придал Полозу Карлуша — он бесшумно возник рядом с его креслом.

— Да, Карлуша, да, — сказал Полоз, не отрывая от меня глаз. — Немедленно… А потом принеси кофейку…

Что значит "Да, немедленно"? Я скользнул взглядом за Карлушой. Но он проковылял не к двери за портьерой, а из холла.

Не знаю почему, но я опять вспомнил о "ПП". И шевельнулся в кресле так, чтобы задний карман

был посвободнее. В эту секунду резко мигнул в лампах свет. И еще раз… Я вздрогнул. Нервы, черт возьми. А Полоз — тот, наоборот, неуловимо расслабился. И напомнил мне со смесью учтивости и вызова:

— Так какие же у вас причины… господин Питвик?.. Я правильно вас назвал?

"Пора", — подумал я. И невольно поднес согнутый палец к губе: почесать под носом, прежде чем сделать решительный выпад.

При этом рука зацепилась за лацкан. Я ощутил под ним тяжелый значок. И меня осенило. Словно бы случайно, а может, и не совсем случайно (понимайте, маэстро, как угодно) я отогнул на секунду лацкан — так, чтобы Полоз увидел значок с буквами "ОГ".

Он увидел.

Его лицо посерело и одрябло.

Потом он с усилием улыбнулся:

— Странно… Никогда не думал, что чем-то могу заинтересовать столь солидное ведомство…

— Как видите, заинтересовали, — сказал я, радуясь в душе, что значок сработал. — Поэтому причину моих вопросов я изложу несколько позже, а пока… Короче, что это за мальчик?

Полоз уже справился с замешательством. По

крайней мере внешне он обрел прежнюю уверенность. Но отозвался покладисто и мягко:

— Вообще-то я крайне болезненно воспринимаю всякое вмешательство в мой творческий процесс. Но вам, разумеется, отвечу… Видите ли, это не совсем мальчик. Точнее, совсем не мальчик…

— А кто же?

— Как бы это объяснить поточнее… Это… скажем так — технический прием. Сценический образ, созданный на основе новейшей концертной технологии… Его следует рассматривать в одном ряду со световыми и акустическими эффектами, не более…

Я не выдержал, сорвался:

— Что вы мелете чепуху! Я отлично видел, как этот "световой эффект" вы везли в машине, а затем впихнули вон в ту дверь!

Я и сейчас был уверен, что мальчик томится взаперти, за этой дверью. Почти физически ощущал его тревогу и горькое непонимание случившегося. Интуиция редко подводила меня, а в такой вот напряженный момент — тем более…

Полоз произнес чуть снисходительно:

— Разумеется, в определенный отрезок времени результат эксперимента обретает некоторую

материальную плотность. Но это не более чем плотность кристалла с видеозаписью. И вскоре она исчезает...

Я нетерпеливо дернулся, готовый потребовать: "Ну-ка, покажите мне эту "видеозапись". Но тут появился Карлуша. Ковыляя, прикатил столик с кофейником, чашками и сухариками.

— Дорогой мой, — обратился к нему Полоз. — Сделай еще одолжение, привези сюда мой хроно-скоп... Так надо, — добавил он, уловив на уродливо-бабьем лице Карлуши недоумение. — Я без утайки продемонстрирую господину Питвику свой метод. Во избежание подозрений, которые, видимо, у господина Питвика возникли.

Карлуша уковылял, Полоз разлил по чашечкам кофе. При этом поглядывал на меня сквозь упавшие на лицо локоны парика. Было в его поведении что-то ненастоящее, как эти локоны. Я видел, что он и боится, и в то же время быстро наглеет, а показать старается невозмутимость.

"Подождем с вашими демонстрациями. Сначала — мальчик", — хотел оборвать его я. И в этот момент тихонько завибрировала во внутреннем кармане коробочка радиофона. А я и забыл о нем!

Я вынул капсулу, прицепил к уху микронауш-

ник. И услышал Юджина:

— Питвик! Ты куда канул? Ни слуху от тебя, ни духу…

— Развлекаюсь, — усмехнулся я в капсулу. — Сейчас вот в гостях у маэстро Полоза, руководителя детского хора "Приморские голоса". Слышал о таком?

— Ну как же, как же, — отозвался Юджин. На мой взгляд, слишком быстро и встревоженно. — А какого… лешего ты там ищешь?

— В силу некоторых обстоятельств… — сказал я небрежно. Это с детских лет Юджина у нас с ним был пароль. Он означал: "Будь осторожен, дело серьезное, не болтай зря" и так далее. Например, когда надо было скрыть от его деда наши излишне рискованные путешествия по развалинам… — В силу некоторых обстоятельств я счел необходимым нанести господину Полозу визит, и он любезно согласился побеседовать со мной… Кстати, если данные обстоятельства покажутся тебе странными или вдруг, не дай Бог, прервется связь со мной, у тебя будут все основания попросить у господина Полоза объяснения…

Все это я выговорил, глядя в лицо Полозу. Тот принужденно улыбался.

Юджин — он умница. Не стал сыпать на меня

лишние вопросы. Только проговорил:

— Может, мне подъехать к дому этого господина? С кем-нибудь?

Это была мысль! Я так и сказал:

— Это мысль. Подъезжайте. И подождите в машине у ворот. Адрес… — Я вопросительно глянул на хозяина дома.

— Я найду, — быстро отозвался Юджин.

— Отлично! — и я отключился.

Видимо, я все же дал промашку. Полоз тут же сообразил:

— У меня создалось впечатление, что вы действуете не по заданию ОГ, а скорее по личной инициативе.

— Вы полагаете, это меняет дело? — досадливо огрызнулся я.

— Пейте кофе, прошу вас. Уверяю, он не отравлен.

Мы оба посмеялись, отдавая дань шутке. Но едва я взял чашечку, как опять возник Карлуша. Он катил на треноге с роликами длинный черный ящик.

— Спасибо, милый. Иди отдыхай…

Карлуша исчез, а Полоз подвинулся с креслом к ящику. Что-то нажал на нем. Плавно откинулась назад плоская крышка.

Я увидел клавиши, кнопки, циферблаты. Эта штука напоминала концертный синтезатор, который был в ходу у ансамблей в прежние времена (а может, и сейчас тоже, кто их знает).

Полоз оглянулся на меня. Взгляд был теперь тяжелый, без всякой светскости. Голос опять стал глухим. Слова, впрочем, были вежливы:

— Маленькая лекция, если позволите… Надеюсь, вам известны основы теории неисчезающей информации? Той самой, из которой следует, что никакое явление в мире не проходит бесследно, обязательно оставляет тот или иной отпечаток. Разыскав такой отпечаток, можно с определенной степенью достоверности воспроизвести явление, имевшее место в давние времена, и…

— Не утомляйте себя азбучными предисловиями, — сказал я.

— Виноват! Вы же специалист по темпоральным проблемам… Этот прибор, примитивно именуемый мною хроноскопом, настроен на… если можно так выразиться, на проникновение в звуки прошлых времен. Эти времена продолжают звучать в нашем пространстве, эхо их не умолкает, хотя в нашей обыденной жизни мы его не слышим… — Полоз, кажется, вдохновился. Или притворялся? Он согнулся над клавиатурой,

опустил голову, быстро глянул на меня сквозь волнистую сетку искусственных волос. — Хроноскоп проникает в глубь любой эпохи, где раздавались голоса певцов! Уверяю вас, это совсем не сложный прибор. Сложна его программа, на которую я потратил полжизни! Но зато — вот…

Он ударил по клавишам, словно на фортепьяно… У дальней стены сгустился воздух. В серое облако. Тут же это облако превратилось в полутемную, с цветными витражами и огоньками свечей глубину готического собора. Ощущение пространства было совершенно реальным (как сегодня днем в кино). В пространстве возникла шеренга детских фигурок в длинных светло-серых одеяниях. Дети пели. Сначала мелодия была еле слышной, затем выросла и стихла. Из глубины надвинулось на нас бледное лицо мальчика. Слегка запрокинутое, с острым подбородком, в обрамлении прямых светлых волос. А на длинном натянувшемся горле дрожали крошечные капельки.

— А-аве-э Мари-и-и-ия-а-а… — тоненько вывел мальчик.

И вдруг все исчезло. Я резко глянул на Полоза.

— Ну и так далее, — сказал он, почти лежа щекой на клавиатуре. — Таким вот образом мой

хроноскоп отыскивает во времени нужные эпизоды…

— Изумительно, — искренне сказал я. — Но пока это не более чем стереокино. Голографический эффект. А…

— Да-да! — он вскинулся, сел прямо. — Следующий этап сложней. Выбрать исполнителя и… сделать так, чтобы он оказался здесь. Главное — уловить момент, когда мальчик на вершине вдохновения! Все остальное — дело техники! Он появляется у нас и как бы продолжает исполнение своего номера. В звездный час своего концертного творчества!

— То есть вы живьем переносите ребенка сюда!

Он разъяснил снисходительно:

— Не переношу, а воспроизвожу. Здесь материализуется дубликат, запрограммированный лишь на одно — на исполнение своего номера. Когда задача выполнена… результат эксперимента исчезает.

— Как… исчезает? — с усилием спросил я.

— Бесследно. Происходит дематериализация. Примерно через полчаса после исполнения. Ну, бывает, правда, задержка, если молекулярные связи оказываются чересчур прочными. Как сего-

дня, например…

Как сегодня!.. Значит, там, за дверью с портьерой, сидел взаперти второй я! И он еще не исчез, я чувствовал это! И должен был сгинуть с минуты на минуту!

— Ты же убийца! — вырвалось у меня.

Он так дернул головой, что локоны разлетелись.

— Побойтесь Бога! Кого я убиваю? Это копия, слепок!.. Все равно что кинопленка! Это… просто мое произведение!

— Это произведение — живое! Оно же дышит, чувствует!

— Да бросьте вы! Оно не более живо, чем фигура на экране! И чувствует не больше, чем граммофонная пластинка с записью голоса! Вы же не станете считать живой пластинку только потому, что она поет?

— Не врите! Я видел — это настоящий мальчик!

— Это зомби! Точнее, аппарат с записью голоса!

"Покажи мне его!" — это, естественно, я должен был потребовать немедленно. И… струсил. Да. Мысль, что увижу сейчас себя, живого Петьку Викулова, заставила замереть душу. А от мысли,

что этот Петька может исчезнуть у меня на глазах, стало жутко. Пряча страх, я сказал небрежно (хватило сил притворяться, черт возьми!):

— И вы не боитесь ответственности, господин Полоз?

Он картинно поднял брови:

— За что?!

— Вот за это... за все. Конечно, вы гениальный изобретатель. Но формула, что гений и злодейство несовместны, в данном случае сомнительна.

Он расслабился, снисходительно улыбнулся:

— В каком Уголовном кодексе вы найдете статью, которая объявила бы меня преступником? Любой служитель муз вправе создавать художественные образы. И чем живее образ — тем больше успех...

— Существует Международная конвенция! О запрете воспроизводить живые существа искусственным путем! Без особого разрешения.

— Опять вы о том же! "Живые"... Кто докажет?

— А как вы объясните появление на концерте певца, который потом бесследно исчезает?!

— Так и объясню! Киноэффектом высокого уровня!

— У вас потребуют доказательств!

— Ну и докажу!.. Или... — Он вдруг кулаками

прошелся по клавиатуре и уперся пальцем в крайнюю клавишу.

Хроноскоп тонко загудел. А Полоз проговорил с горьким торжеством:

— Вот и все! Аппарат, к сожалению, испорчен, программа стерта. Жаль, конечно, воспроизвести ее будет нелегко. Зато нет никаких следов моей "преступной" деятельности… господин Питвик.

— Есть! — я встал. — Отоприте вон ту дверь. Я знаю, что мальчик там. И надеюсь, он не исчезнет до приезда свидетелей. И… не советую шутить, господин Полоз. — Я незаметно тронул задний карман.

Полоз тоже встал. Сказал сочувственно:

— Нет там никакого мальчика. Уже нет… И как не вспомнить старую фразу литературного классика: "А был ли мальчик?.."

— Откройте дверь!

— Охотно. Вы сможете убедиться в отсутствии… предмета нашего спора. А также в том, что нет там другого выхода, через который он мог бы исчезнуть.

Полоз шагнул, отдернул портьеру, повернул ручку. Театрально толкнул дверь.

— Прошу!

Я тоже шагнул к двери.

Мальчик в комнате был.

3

Испуганный, съеженный, он прижимался к стене и суетливо кутался в плед, видимо сорванный с кресла. Такими клетчатыми пледами была укрыта здесь мягкая мебель.

Я впервые близко увидел его лицо — горестное, растерянное — и узнал себя сразу. И резануло по сердцу.

Петька метнулся по нам сырыми глазами и сказал сипловато, боязливо, но с остатками мальчишечьего гонора:

— Что вам от меня надо?.. Где моя одежда?

Из-под пледа внизу торчали босые ноги, а вверху — голое плечо.

— Почему он раздет? — резко спросил я Полоза.

Тот был растерян, перепуган без притворства. Парик на нем перекосился.

— Это… да, это бывает… Одежда иногда исчезает раньше, живая материя сперва сопротивляется… Но… его тоже не должно быть… уже…

Я скрутил свою ненависть к Полозу и спросил у Петьки:

— Что с тобой случилось… малыш?

Он почуял ласковую нотку и, кажется, душой потянулся ко мне как к спасителю.

— Я не знаю! Вот он… привел сюда. Сказал: скоро поедем домой. А потом тут что-то… Меня выбросило из кресла. И как ударит по ногам… И одежды нету…

Я глянул под ноги. Пол был из металлических плиток с выпуклым узором. Как в соборе или вестибюле старинного дома. И вообще в комнате было что-то от сумрачной часовни. Восьмиугольное замкнутое помещение с глухими узкими нишами вместо окон. Только мебель — современная, низкая, разлапистая.

Я, не скрывая, переложил "ПП" из брючного кармана в просторный карман куртки. Сказал очень ровно, чтобы не заорать:

— Господин Полоз, не откажите в любезности, сядьте вон в то кресло, подальше от двери…

— Да, но…

— Сядьте, господин Полоз… — Я опустил руку в карман. — Вот так, благодарю вас. Ваше присутствие здесь, надеюсь, остановит Карлушу в желании повторить фокус с рубильником…

— Какой фокус? — прошептал Полоз, нелепо проваливаясь в мякоть кресла.

— Тот, когда на пол дается напряжение. Чтобы материя стала неживой и поскорее исчезла. Не так ли?.. Вы не знали, что у нас с Петушком от рождения иммунитет на удары тока… — И я опять повернулся к Петьке: — Не бойся, Петушок. Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда.

Никакой он был не зомби, не дубликат, не биоробот! Он был настоящий Петька! Изумленно вскинул мокрые ресницы:

— Откуда вы меня знаете?

— Потом объясню… Я про тебя все знаю.

Он опять прижался к стене: испуганно, недоверчиво.

— Правда, — улыбнулся я как можно добродушнее. — Абсолютно все. Даже то, что у тебя на левой лопатке "гусиная лапка"…

И тут я испугался: вдруг родинки нет? Шагнул к Петьке, потянул вниз край пледа на плече. Петька дернулся. Но я успел заметить — на острой лопатке гусиный след. И еще одно успел — самое главное! Коснувшись на миг горячего мальчишкиного плеча, понял окончательно, что Петька настоящий, живой и что никуда он не исчезнет!

А он, шарахнувшись, потребовал — все еще со слезинкой, но дерзко:

— Отдавайте мои штаны и рубаху!

Я посмотрел на Полоза.

— Вы напрасно считаете, что… — начал лепетать он.

— Есть у вас одежда для мальчика?

— Ну… откуда же? В доме нет детей…

— Черт возьми! Хотя бы концертный костюм!

— Но они все в костюмерной… Если хотите, я пошлю Карлушу. Но это будет непросто, потому что…

— Если Карлуша сунется из дома, его пристрелят, — сообщил я. И вынул радиофон: — Юджин! Ты где?

— Только что подъехали. Я, Горский и Виктор. Войти?

— Пока не надо. Никого не выпускайте из дома. В силу некоторых обстоятельств…

— Ясно… — сказал он слегка растерянно.

— Мы скоро сами выйдем, Южик… — Я убрал радиофон, опять сунул "ПП" в брючный карман и скинул куртку. — Петушок, надень пока вот это. — Положил куртку ему на плечо и отвернулся. Спиной загородил Петьку от Полоза. Я ведь помнил, каким стеснительным был в детстве.

Полоз вдруг сказал, дрябло двигая подбородком:

— Зря вы все это. Он… то есть объект ваших

забот… протянет не больше десяти минут. И… растворится в пространстве…

Я подошел, остановился перед ним. Между нами был низкий столик. Я уперся в полированное дерево кулаками. Сказал шепотом, сквозь зубы:

— Тогда и ты растворишься. Следом… Клянусь…

Он понял, что я не шучу. Опять посерел…

— Впрочем, не бойся, — усмехнулся я, ощутив толчок ласковой печали. — Никуда Петька не денется.

— Откуда вы его знаете? — прошептал Полоз. — Это невозможно…

Что мне было терять? Да и злость подкатила так, что через край.

— Знаю потому, что ты, сволочь такая, вытащил сюда из прошлого меня самого…

Полоз, наверно, с минуту сидел с отвисшей губой. У меня за спиной суетливо возился с курткой Петька. Мой злой шепот он едва ли слышал. А если и слышал, то не понял.

Полоз опять пролепетал:

— Это невозможно… Это середина прошлого века.

— Вот именно… Тогда мне был двенадцатый год. А потом, через сорок с лишним лет, я ушел в

Пространство на "Игле" и вернулся лишь вчера…

Он, видимо, слышал про "Иглу". Как-никак он был связан с темпоральными проблемами, иначе не сумел бы склепать свой хроноскоп. И главное — он сразу поверил.

А поверив, он вдруг приободрился. Наверно, оттого, что разъяснил для себя загадку.

— Кто же мог подумать… господин Питвик. Такое невероятное совпадение. Один шанс из миллиона… из миллиарда. Почти сто лет прошло, да и город совсем другой…

Петька перестал возиться. Я оглянулся. Он, запахнув балахонистую куртку, вопросительно и тревожно смотрел на меня.

— Сейчас поедем отсюда, Петушок… — И я снова глянул на Полоза.

Он сказал совсем уже по-деловому. И примирительно:

— Вы напрасно гневаетесь на меня. Разве я хотел причинить вам зло?.. Это дикая случайность. И я вижу для нее лишь одно объяснение…

— Какое? — спросил я машинально. Вообще-то наплевать мне было сейчас на его объяснения.

— Боюсь, что с научной точки зрения неприемлемое. Но пока единственное… Когда вы увидели мальчика на сцене, то так потянулись к нему…

душой, что душа ваша… или частичка ее… если, конечно, вообще верить в существование души… переселилась в него… Этим и объясняется его… гм… стабильность…

Я (видимо, в отличие от Полоза) верил в существование души. И опять оглянулся на "стабильного" Петьку. Снова сказал:

— Сейчас…

А Полоз вдруг совсем тихо, но очень деловито заявил:

— Имейте в виду, мы оба одинаково завязаны в этот узел. И распутывать его надо вместе.

— Нет уж, маэстро! Распутывать… а вернее, выпутываться вам придется одному.

— Значит, вы оставляете мальчика мне? — не то испугался, не то обрадовался он.

— Вы что, рехнулись?

— Но тогда… что вы с ним будете делать?

— Это уж мои проблемы.

— Но… кстати, зря вы пригласили ваших… коллег. Впрочем, они еще ничего не знают. А мальчик… — Полоз вдруг нагнулся ко мне близко-близко. Жилки набухли в белках глаз. Он смотрел снизу вверх, будто из норы. — Это минутное дело. Совсем безболезненная инъекция, и… у меня есть аннигилятор. Никаких следов…

Я подался назад, как если бы мне к лицу придвинули мусорный бачок. И сказал от души:

— Только естественное отвращение мешает мне дать вам по морде. Долго потом отмывать ладонь.

Он поморщился. Ответил пренебрежительно и вроде бы сочувственно:

— Все равно дитя протянет не больше суток. Вы окажетесь в нелепом положении.

— Я уже сказал вам: в этом случае немногим дольше протянете и вы.

— А правосудие? Вы, очевидно, незнакомы с его нынешним уровнем…

— А я и не буду знакомиться! Я всегда могу уйти на "Иглу", и кто достанет меня там? А вернусь, когда нынешнее ваше правосудие канет в историю… Но, думаю, в этом не будет нужды. Думаю, мы с Петькой в любом случае переживем вас…

И я встал. И со злорадством почувствовал, в каком смятении, в какой панике оставляю Полоза.

— Идем, Петушок.

Он не спросил куда, не спросил зачем. Чуть оттопырил губу и мотнул подолом:

— В этой хламиде?

— Мы поедем в машине. К тому же многие мальчишки ходят в таких хламидах, здесь это модно.

— Где это — здесь? — сказал он с прорвавшейся тревогой.

— Я все объясню. Не бойся и пойдем… — Я взял Петьку за плечо.

Он послушался. Мы пересекли холл. От двери — боком, словно краб — шарахнулся и засеменил прочь Карлуша.

4

Машина ждала нас у ворот. За рулем — Юджин, рядом с ним — Виктор. На заднем сиденье — Митя Горский. Он распахнул дверцу. Я подтолкнул Петьку. Он послушно забрался на сиденье, уселся между Митей и мной.

Поехали.

— Ну? — сказал Юджин.

— Все в порядке, — сказал я.

— Куда прикажете? — спросил он официально.

— Домой.

— Домой ко мне? — шевельнулся Петька.

— Пока ко мне. Твой дом, к сожалению… далеко. Я все объясню…

Объяснять надо было не только Петьке. Я чувствовал, как и Юджин, и Митя, и Виктор прямо-таки излучают вопросы. Тогда я сообщил

спине Юджина:

— Полоз держал мальчика взаперти. Я узнал это… в силу некоторых обстоятельств. Подробности потом. Не удивляйтесь.

Митя проговорил, не оборачиваясь:

— Не удивляемся. О Полозе слышали кое-что и раньше.

— Думаю, что слышали не все. Этот тип таланта небывалого. Но и сукин сын… Главное, однако, сейчас покормить и уложить Петьку спать. Чтобы он успокоился и отдохнул.

— Но я не хочу спать! — дернулся Петька. — Я вообще не понимаю! Почему ночь? Был день — и вдруг сразу… темно…

— Расскажи подробнее, как ты попал к Полозу, — осторожно попросил я.

— Не знаю! Я пел в нашем саду на эстраде. Потом что-то вспыхнуло… Ну, будто солнце на рельсах… И я… рядом с этим дядькой, с Полозом… Он говорит: "Мы приглашаем тебя выступить с нашим хором. Споешь, и я отвезу тебя домой". А сам… в эту тюрьму меня…

— Постой! А ты не удивился, почему оказался здесь? Не испугался?

— Я… не знаю. Я будто во сне был. Только хотелось петь, вот и все… А очнулся, когда он меня

уже к машине вел… Я где?

— Это город Византийск. У моря, Петушок, — вздохнул я. — Видишь, занесло тебя. Ты не удивляйся, бывает…

Он отозвался довольно спокойно, хотя и непонятно:

— Вот, значит, как… Это когда скрестились рельсы… А я думал, что догоню маму…

"Никогда ты уже не догонишь маму, бедняга", — подумал я. И стало мне так жаль его, словно я сам осиротел и затерялся в незнакомом мире.

А Петька держался спокойно. Даже чересчур спокойно. Неужели я на его месте вел бы себя так же? Не верится… Впрочем, кто знает? Хотя и кажется, что я хорошо помню себя мальчишкой, но все же столько лет прошло…

Юджин спросил сдержанно:

— Что же все-таки случилось? Хотя бы без деталей…

Тогда я сказал:

— Темпоральный перенос дубликата с матрицы на сотню лет. Небывалая вещь, но факт. Полоз умеет многое…

— Великий Хронос… — вполголоса отозвался Юджин и даже слегка вильнул рулем. Остальные промолчали.

Петька ничего, конечно, не понял. И вдруг насупленно поинтересовался:

— А там, куда мы едем, кто-нибудь есть?

— Да. Там… тетя Карина.

— А… куртку там снимать не надо?

— Елки-палки… — охнул я. В самом деле! Что скажет хозяйка, когда я привезу мальчишку, на котором, кроме моей куртки, ни лоскуточка. — Братцы! Можно где-нибудь сейчас купить одежду для мальчишки? Петьке нужен фрак и панталоны, чтобы представиться мадам Карине. У Полоза-то я его забрал… в натуральном виде.

— Делов-то, — сказал Митя. — Юджин, сверни на Изумрудную…

С безлюдной слабоосвещенной улицы мы выскочили на шумную Изумрудную. Здесь огни и рекламные вспышки, словно оправдывая название, сияли в основном зеленым светом.

Юджин остановил машину у похожего на громадный, освещенный изнутри аквариум универмага. Это был магазин "Пиноккио", о чем сообщала огненная надпись — она искрилась и бегала вокруг фигуры длинноносого человечка.

Петька выбрался из машины и задрал на рекламу голову. Кажется, забыл обо всем. Ничего похожего он не видел в своем древнем и захо-

лустном Старотополе. Вся эта иллюминация обрушилась на него неожиданной сказкой. Мы с Митей взяли его за руки.

Несмотря на поздний час, народу в магазине было немало. В том числе и взрослых с детьми. Увидев мальчишек в таких же, как у него, куртках, Петька перестал испуганно ежиться и вертел головой.

Было на что посмотреть пацану из районной глуши прошлого века. Кружились под потолком звездолеты, компания электронных клоунов играла на флейтах и барабанах, эскалаторы, переливаясь огоньками, несли на этажи пестро одетых людей. Какие-то цветные конструкции рассыпались на кубики, зажигали громадные цифры и складывались в мозаики. Совершенно настоящий зеленый динозавр выплевывал в прохожих разноцветные воздушные шарики. А Пиноккио сидел у динозавра на шее и махал тонкими ногами в остроконечных башмаках. Башмаки время от времени срывались с ног, но не долетали до пола, а взрывались над головами покупателей яркими фейерверками…

Признаться, я и сам глазел кругом как дитя. В "мое" время, перед уходом "Иглы", таких чудес тут еще не было.

Один Митя остался деловитым. Взглядом закройщика поглядывая на Петьку, он набирал на пультах комбинацию цифр и ловко подхватывал пакеты, которые падали из небольших овальных люков (над люками не забывала зажигаться надпись: "Спасибо. Приходите снова"). Потом пришли мы к примерочной кабине.

В кабину Петька нас решительно не пустил. Но через минуту, уже в трусиках и майке, высунулся и виновато сказал:

— Как тут это... — Он вертел в руках тетратканевую безрукавку со спутанной шнуровкой.

Митя ловко помог ему одеться и застегнуть на ногах магнитные пряжки сандалий. Объяснил мне с удовольствием:

— Не забыл еще, как облачаться в школьную амуницию.

Петька пощупал блестящие клепки на шортиках, подергал шнуровку. Недоверчиво поднял глаза:

— У вас, что ли, вот в таком в школу ходят?

— Именно, — лаконично отозвался Митя. — А у вас?

— Какая-то... заграничность. Задразнили бы...

Черт меня дернул за язык.

— Еще бы! Особенно вредный Нохря...

Петька метнул в меня испуганный взгляд и съежился. Будто от нового страха. Когда шли обратно, он уже не смотрел по сторонам. И в машине молчал (а я проклинал себя и не знал, что сказать). И вдруг Петька всхлипнул.

— Ты что, Петушок? — дернулся я.

Он сказал со звонким отчаянием:

— Я так не могу! Объясните мне все! Что вы в загадки играете!

Митя быстро обернулся ко мне:

— Питвик, надо объяснить. Иначе он перегорит, он весь на нервах. Это я как врач говорю… Юджин, останови.

Машина остановилась. Мы были на каком-то пустом окраинном бульваре. У дороги стояли кипарисы, за ними была набережная.

— Вам лучше бы пройтись пешком, — посоветовал Митя непривычно строгим докторским тоном. А я вдруг опять как бы подключился к Петькиным нервам. Ощутил всю его тревогу, смятение, непонимание.

— Пойдем, Петушок…

Мы вышли под свет зеленоватого фонаря. Петька посопел, повертел головой и неожиданно показал подбородком в сторону набережной:

— Там море, да?

— Да…

Он шмыгнул носом:

— А можно мы пойдем туда?

— Ребята, вы уж подождите нас немного. С полчасика, — виновато попросил я.

— Да уж подождем, — хмыкнул Юджин.

Мы прямо сквозь кусты выбрались к парапету. Море было темным, в нем лишь изредка мелькали огоньки, и слева на мысу вспыхивала каждые три секунды белая звезда маяка.

Сильно пахло водорослями.

И опять я услышал трели неуемных цикад.

От каменной площадки вели вниз крутые ступени. Фонарь издалека высвечивал там нагромождения прибрежных камней… Иногда накатывали из тьмы еле заметные пенные гребешки.

— Давайте спустимся, — прошептал Петька.

Я взял его за руку. Мы пошли по ступеням, а потом пробрались почти к самой воде. Устроились на плоском камне. Петька охватил коленки, придвинулся ко мне плечом, помолчал. И опять шепотом сказал:

— Ну…

— Что?

— Говорите.

5

Здесь, в тишине и сумраке, на меня навалилось ощущение тяжкой нереальности. До этой минуты я в суете и хлопотах о Петьке почти забыл, кто он такой. Казалось, просто мальчишка. Ну вроде неожиданно свалившегося на голову родственника. А теперь… неровно забухало сердце. Нас было здесь двое, и каждый был — я…

И все же он был маленький, а я — взрослый дядька. И я отвечал за мальчишку.

Я начал сбивчиво, хрипловато даже:

— Вот что, Петя… Ты должен постараться ничему не удивляться.

— Ладно, — покладисто вздохнул он.

— Ты… слышал что-нибудь о машине времени?.. Да, ты ведь читал про нее у Герберта Уэллса, я знаю…

Он прошептал с явным предчувствием:

— Ну… и что?

— И вот, этот Полоз… он такую штуку смастерил…

Петька дернулся и задал вопрос, совсем для меня неожиданный:

— Зачем?

— Ну… например, чтобы вытаскивать из прошлого таких вот талантливых певцов и заставлять их петь со своим хором. Он очень любит… пение мальчиков.

— И для этого построил машину? — почти весело и как-то по-домашнему изумился Петька.

— Да… Судя по всему, он сумасшедший.

— Разве бывают сумасшедшие изобретатели?

— Сколько угодно, — мрачно сказал я. — И плохо, когда они мерзавцы.

— И… — Петька наконец понял, притиснулся ко мне плечом. — Он, значит, и меня… Да?

— Да, Петушок.

— Но… — выдохнул он неуверенно. — Так ведь не бывает…

— В это трудно поверить, но это случилось, никуда не денешься… Завтра проснешься и увидишь, что это не сон.

Он повозился, зябко потер ноги и прошептал:

— Значит, я попал в будущее?

— Да…

Он повозился опять и вдруг задумчиво и тихо возразил:

— Нет, наверно, это не Полоз сделал. Наверно, это я сам, когда скрестились рельсы…

Я не понял, но допытываться не стал. Главное,

чтобы он скорее примирился с неизбежным. Я сказал неуверенно:

— Между прочим, здесь не так уж плохо…

Он спустил с камня ноги и толчком повернулся ко мне:

— Уже построили коммунизм, да?

— Ну… это не совсем так называется, но… здесь есть на что посмотреть. И порадоваться.

Петька замолчал надолго. Тревожно так. Я уже хотел окликнуть его. Но он вдруг спросил еле слышно:

— А я-то как?

— Что?

— Кому я тут нужен?

Я решительно обнял его за плечи:

— Ты нужен мне, Петух… раз уж так получилось.

Он мягко, но решительно высвободился. Отодвинулся так, что я еле различал его в сумраке. Он сказал со звонкой слезинкой:

— Но вы кто? Я даже не знаю, как вас зовут!

— Зови меня Пит. Вернее, дядя Пит… Видишь ли, я твой дальний родственник. Точнее, далекий потомок.

— Далекий? А… сколько лет прошло? После меня?..

Главное, что он поверил. Половина задачи была решена.

— Много, Петушок. Примерно сто лет…

Он почему-то разочаровался:

— Ну, это не так уж много. Я думал, тыща…

— Век — это тоже немало.

— Да, пожалуй, — снисходительно согласился он. И вдруг спохватился: — Да, немало! И тогда…

— Что?

— Тогда… откуда вы столько про меня знаете? И что я… Петушок? И про Нохрю! И даже… что "гусиная лапка" у меня!

Вот так он меня припечатал! И что здесь придумать, я не знал. И… надо ли придумывать? Имею я право что-то скрывать и прятаться от судьбы, если уж случилось такое?

И я сказал как можно небрежнее:

— Да потому что, Петух, я — это ты. Только через много лет.

Он вскочил. И — надо же! — так озорно, будто во время уличной игры:

— Вот это да!

— Именно "вот это да". Так хитро свело наши пути время…

— Значит, я и вы… и ты… одно и то же?

— Почти. По крайней мере, если верить Полозу,

душа у нас одна на двоих…

— Нет. Не верю, — вздохнул он.

— Не веришь в живую душу? — удивился я. Потому что сам в его годы, по-моему, верил.

— Я не про то, — насупился он в темноте. — Просто мы не похожи.

— Вот вырастешь, будем похожи.

— Не хочу я, — пробормотал Петька. — С чего это я буду таким толстым… — Он сел и обиженно засопел.

— Ах вот оно что! — не удержался я от смеха. — Ну и не будь! Не потолстеешь, если станешь следить за собой и делать зарядку.

— А вы почему не делали? — подозрительно спросил он.

— Да так вот… работа затягивала. Про все забываешь, когда уходишь с головой…

— А какая у вас… у тебя работа?

— Долго объяснять. Потом расскажу. В общем, связано это с загадками времени и с дальними звездами.

— Ух ты… Ну тогда ничего, что ты толстый.

— Я так же думаю.

— В конце концов, ты все равно больше ста лет прожил. Сейчас так подолгу живут, да?

Ох, он ведь ничего про меня не знал!

— Нет, Петь, тут другое дело. Я часть жизни провел на "Игле". Ну, это вроде корабля для путешествий в межзвездном пространстве. Там время идет иначе, вот и сэкономил полвека. Недавно вернулся, а здесь уже все другое. Мы с тобой, можно сказать, оба новички в этом мире... Так что давай держаться друг за друга.

Я опять хотел обнять его за плечо, но он толчком отодвинулся. И сказал резко:

— Нет, я вам не верю.

— Но почему?! Петушок...

— Потому что так не бывает.

— Бывает! Раз случилось... Ну хочешь, расскажу такое, что знаем только мы. Например, как ты... как я в детском саду влюбился в Наташку Ракитину и как плакал потихоньку, когда она убегала играть с Вовкой Гуляевым? Или как вечером под одеялом шептал специальную считалку, чтобы не приснилось страшное:

Солнце, звезды и луна,

Мне не надо злого сна...

Или... про кораблик...

Петька слушал не дыша, и я чувствовал, как натянута в нем каждая жилка. Потом он расслабился и возразил утомленно:

— Нет… Наверно, здесь, в будущем, просто научились читать чужие человеческие мысли. А чтобы вы — это я, все равно не может быть…

— Да почему?!

Петька сказал печально и снисходительно:

— Сами посудите. Если Полоз перенес меня сюда, как вы смогли там вырасти и сделаться вот таким? Ведь вас там не стало!

Вот умница! Я загордился Петькой и, значит, собой.

Такой вот рассудительный мальчик!

— Ты мыслишь совершенно логично. Только Полоз не переносил тебя… то есть меня… то есть… тьфу! Не переносил никого из нас сюда в натуре. Он как бы сделал фотоснимок, а по этому снимку воссоздал здесь такого же в точности пацана. Вот и оказалось, что Петька Викулов — и там, и здесь. И один из них успел вырасти… В общем-то никаких чудес, просто новейшая наука и техника…

— Это значит… я искусственный, что ли?

Вот еще одна психологическая проблема! И сколько их еще впереди!

— Петька, ты абсолютно настоящий! Посмотри на себя, прислушайся к себе… Ну стукни себя по глазу — будет настоящий синяк! У искусственных разве бывают синяки?

Он с минуту обдумывал мой аргумент.

— Нет, не верю.

— Ну и дурак, — обиделся я. Совсем как маленький Петька.

Видимо, это подействовало на него убедительнее всего. Он опять подсел вплотную. Прижался боком, будто братишка. Или сын, или внук… Передернул плечами, снова зябко потер ноги и голые локти. От воды несло прохладой, плескали у камней небольшие волны, и порой от них долетали брызги. Я стянул куртку и укутал Петьку с ногами. Он благодарно посопел. Но затем вновь упрямо напружинил под курткой плечи. Прошептал даже не мне, а себе:

— Есть одно самое-самое доказательство, чтобы я поверил…

— Господи, какое еще…

— Родинки… они ведь не исчезают у человека никогда в жизни…

— Ох и негодник ты, Петух, — сказал я с облегчением. — Ну что же, пойдем. Здесь-то темно.

Мы поднялись на площадку, где светил фонарь. Там по-прежнему было пусто.

— Смотри, Фома неверующий! — я повернулся к Петьке спиной и рывком задрал рубашку до шеи. И почуял, как Петька тепло дышит мне в спину.

Он тихо выдохнул:

— Похожая. Только выросла маленько…

— Ну так и сам я вырос!.. Убедился? — и я опустил рубашку.

— Ага… "Фома неверующий" — это тетя Глаша так говорила.

— Это когда дядя Костя просил денег на опохмелку, а она уверяла, что нету… — подтвердил я. И сразу испугался: "А вдруг вспомнит про маму".

Но Петька тоже чего-то испугался. Как-то обмяк, осунулся.

— Ой…

— Что?

— А этот… Полоз… он говорил, что я могу исчезнуть, раз я ненастоящий… Раствориться…

Тут страх сжал и меня. Сотряс крупным ознобом. Но я — ради Петьки — скрутил этот страх. И, разозлившись на себя, рявкнул, как сердитый папаша:

— Я вот тебе растворюсь!.. Ну-ка, пошли в машину, там уж небось заждались…

СКВЕРНЫЙ МАЛЬЧИШКА

1

Конечно, он не растворился. Никуда не делся.

Утром я стоял над Петькиной постелью и смотрел, как он спит.

Спал Петька носом к стене, знакомо свернувшись калачиком, — колени к подбородку. Цветастое покрывало сбилось, я видел "гусиную лапку" на лопатке и длинную засохшую царапину на плече. Заработал ее Петька, видимо, еще сто лет назад, в Старотополе.

Подумав об этом, я опять чуть не задохнулся от смеси всяких чувств. Потому что ведь этот мальчишка был я. Я — собственной моей персоной. Я — во втором лице. И сознавать этот факт до конца было трудно, странно, жутковато даже… И в то же время это был заброшенный на чужбину, затерянный в безжалостной путанице темпоральных явлений пацаненок. И не было теперь у него никого, кроме меня. Поэтому разглядывал я спящего Петьку с боязнью и нежностью. А он дышал ровно, и тихо шевелилась на голове торчащая, будто клавиша, плоская прядка…

В дверь заглянула Карина. Она куталась в халат.

— Рано еще. Пусть малыш выспится…

Вчера ночью я наплел ей, что в одном из интернатов отыскал малолетнего родственника, праправнука своей младшей сестры (которая, кстати, у меня и правда была когда-то, но умерла, не дожив до года, и я ее не помнил). И поскольку мальчик — сирота, я взял его на воспитание. И ему будет хорошо, и мне. Легче жить, когда кто-то родной рядом.

Карина, добрая душа, шептала, вздыхая и ворочаясь рядом:

— Конечно, конечно, Пит… Вы только от меня не уезжайте, ладно? А то вдруг захотите квартиру попросторнее…

— Нет, что ты! Нам у тебя будет хорошо. К тому же мальчику нужен женский глаз…

— И тебе. Ты сам еще как мальчишка.

— Ага. Только толстый и старый…

— Ох уж, старый!..

Сейчас она сказала, что приготовит завтрак и помчится к себе в магазин: туда привезли контейнер с новыми игрушками.

Едва Карина ушла, как появился Юджин. С утра пораньше. Ему не терпелось, конечно, знать подробности.

Петька все дрыхнул.

Мы с Юджином засели в другой комнате, и я

наконец во всех деталях изложил вчерашние события.

Юджин почти не перебивал. Иногда нервно барабанил пальцами по колену, порой вытягивал в трубочку губы, словно присвистнуть хотел.

Потом на цыпочках мы вдвоем сходили к Петьке. Он спал все так же, носом в коленки. Юджин постоял, посмотрел, усмехнулся:

— Гусиный след… В точности как у тебя. Твой я помню еще с той поры, когда пацаном плясал на твоей спине… Ладно, пошли. Пусть спит…

Мы вернулись на прежнее место — в кресла у кофейного столика. Помолчали.

— Вот такая история… — сказал я, ощущая почему-то сильную скованность.

— Клянусь темпоральными спиралями, это самое удивительное, чему я был в жизни свидетелем, — заявил Юджин. Серьезно и все же с намеком на обычную иронию. — Хотя, если разобраться, случай не совсем неожиданный.

— Неужели? — я даже слегка обиделся.

— Да… Ты же сам в пору разработки Конуса предполагал возможность подобных эффектов…

— Я?!

— Ну, не в точности таких, но все же… Возможность воссоздания прошлых событий на

основе скрытых остатков информации. А мой отец решительно отрубил эту ветвь исследований. "Это, — сказал, — псевдонаука, ибо никакое обратное следование по темпоральному вектору невозможно". Я читал материалы тех лет, знаю. А при чем тут обратное следование? Здесь же совсем иной принцип! Да ты сам это знаешь лучше меня.

— Ну, во-первых, никто всерьез за эту тему и не брался. Мы с твоим отцом спорили о другом. Я хотел ввести в Конус еще одну программу: о многовариантности одного явления в параллельных темпоральных потоках. То есть когда одно событие может на практике давать ряд разных, но равноправных последствий и далее развитие идет параллельными путями. Так называемая формула: a, деленное на n, равно a, умноженному на n...

— Отец зарубил и эту тему...

— Да, и это во-вторых. Он был прав. Если бы мы взялись еще и за такую программу, "Игла" не ушла бы до сих пор... И вообще, не смей критиковать отца! Мал еще.

— Слушаюсь, дядя Пит...

— То-то же. Лучше скажи, как быть с этим типом, с Полозом? Нельзя же все так оставить...

Юджин помрачнел и сказал, глядя мимо меня:

— Полоз — личность известная. Во многих смыслах.

— То есть?

— Ну, то, что он музыкальный и прочий талант, это само собой… Был он, кстати, сначала ведущим инженером известного комплекса "Электрон-Солнце", а затем подался в искусство и в дело эстетического воспитания подрастающего поколения. На этом поприще имел вначале некоторые неприятности…

— Немудрено… — буркнул я.

— Да… Кое-кто начал высказываться, что интерес Полоза к мальчикам не только музыкальный. Ну, ты понимаешь. Был некоторый шум, но доказательств не нашлось, а слухи он гордо отмел и начал со своими "Приморскими голосами" триумфальное шествие по сценам Побережья и далее. Победы на конкурсах, лавры, аплодисменты…

— Эти юные "голоса" высказываются о нем, однако, сдержанно, — заметил я. — Вчера мне удалось побеседовать с двумя…

— Возможно. Говорят, он теперь со своими питомцами весьма сух и официален… Однако поет хор здорово…

— Еще бы! С такими вот "приглашенными"

солистами...

— Во всем этом надо разобраться аккуратно, — сказал Юджин. — Так, чтобы до сути докопаться и в то же время зря не дергать Петьку.

Он сказал о Петьке, как о самом обыкновенном мальчишке.

— Да, — согласился я. — Ему и так нагрузочка на нервы...

— А что касается Полоза, я неофициально попрошу знакомых ребят из оперативного отдела ОГ пощупать его. Осторожно...

Я невольно поморщился.

Юджин снисходительно объяснил:

— Зря ты кривишься. У тебя об этой фирме представление полувековой давности. В ту пору огэшники занимались борьбой с инакомыслием. А нынче в этом нет смысла, ибо каждый может мыслить как угодно или не мыслить совсем...

— Последнее, очевидно, предпочтительнее, — язвительно заметил я. — Ибо, поразмыслив, ты понял бы, что неофициальное "пощупывание" мало вяжется с демократией, которой здесь нынче гордятся.

Юджин проговорил наставительно:

— Я сказал "неофициально попрошу". А "пощупают" его вполне официально, хотя и без шума.

Поводов достаточно… И вообще это моя проблема. А тебе хватит забот с… юным пришельцем из слежавшихся темпоральных слоев.

— Ох… Что же мне с ним делать-то? — опять отдался я сомнениям и тревогам.

Юджин откликнулся беззаботно:

— Как — что? Будешь воспитывать. Ты же знаешь его как самого себя… Выучится в школе, станет продолжателем твоих дел. Пустит Конусы на конвейерный поток…

— Трепло, — вздохнул я.

— Отнюдь…

— Для начала он в школе обрастет двойками. Программы-то нынче совсем не те… В свои детские годы я даже слова такого не слыхал — "компьютер". Не говоря уже о кибернетических лекторах и системе обучения профессора Наумова…

— При любой гимназии есть группа адаптации. Для тех, кто более или менее почему-то отстал. Там в момент подтянут до общего уровня любого ребенка, если он не идиот от природы… Ты ведь в детстве, кажется, не был полным кретином?

— Ни кретином, ни нахалом. В отличие от некоторых…

Юджин потянулся, сказал с завистью:

— Ох и сладко спит наш найденыш. А я поднялся ни свет ни заря.

Но Петька уже не спал. Дверь приоткрылась, и просунулась голова со взъерошенной челкой.

"Ну вот и начались психологические проблемы, — со страхом подумал я. — Всякие синдромы темпорально-пространственной некомфортности и ностальгия по прошлому..."

Петька сказал:

— Здрасьте... Дядя Пит, а где тут уборная?

2

Несколько дней у меня и правда не было проблем, кроме Петьки. Я приучал его к новой жизни. И приучался сам заодно. Мы вместе вживались в незнакомый мир. Он казался нам радостным и пестрым. Петьке — особенно. Он смотрел на все распахнутыми глазами мальчишки, который попал внутрь фантастического романа о будущем. Да так, по сути дела, и было.

А кроме всяких чудес, волшебного изобилия и невиданных зрелищ, радовало Петьку море. Ведь о нем он страстно мечтал еще там, в Старотополе.

Митя Горский был яхтсменом, и несколько раз

мы выходили в открытое море на его "Эскулапе". Петька млел от счастья.

И надо сказать, я тоже…

Но Митя не только ублажал нас парусными утехами. Он провернул еще и очень важное дело: договорился с клиникой Института Космоса, и там Петьку подвергли недолгому, но старательному обследованию.

Не нашлось в моем двойнике никаких отклонений и ненормальностей. Самый обычный мальчишка одиннадцати с половиной лет. Правда, мелковат был по сравнению с нынешними ребятами его возраста, но это не очень заметно. Да еще нашли у него хронический холецистит, которым в детстве маялся я. Хворь теперь прогнали из Петьки за несколько часов, а я окончательно убедился, что "растворение в пространстве" моему воспитаннику не грозит.

Настораживало и даже огорчало меня в Петьке теперь другое: он почти не вспоминал о Старотополе. И никакой тоски, кажется, не испытывал. Конечно, оказался мальчишка среди сказочного мира, и мир этот закружил, околдовал его. Но неужели сердце ни разу не позвало назад? К тем, кто его любил… И неужели я на его месте вел бы себя таким же образом?

Я прикидывал так и этак. Нет, я, по-моему, скоро начал бы сохнуть от печали. А может, для Петьки просто еще время не пришло? Или он притворяется, чтобы не терзать ни себя, ни меня?..

Надо было думать, наконец, о нормальной, будничной жизни. Я записал Петьку в ту школу, где когда-то учился сам. В ней и правда была группа адаптации. Но Петька провел в ней всего неделю, пока осваивал работу на школьных персоналках и калькуляторах. Основы нынешней пространственной и гуманитарной математики я объяснил ему сам: штука эта вполне для детсадовского восприятия, если подавать с умением… Вскоре любезная Юмма Григорьевна, наставница Петькиной группы, сказала, что ему пора идти в основной класс.

— Конечно, мальчик сильно отстал из-за болезни, но он все схватывает на лету и у него врожденное аналитическое мышление.

Я загордился Петькой и, следовательно, собой…

Со мной Петька держался свободно и беззаботно. В общем-то вел себя послушно, хотя иногда и упрямился по пустякам. Я не обижался, помня себя. Он звал меня "дядя Пит" или просто "Пит" и говорил мне "ты". Как близкому родственнику,

дядюшке например. Видимо, странность своего происхождения и необычность нашего родства мало Петьку волновали. И я, кажется, стал привыкать. Смотрел на него вроде как на любимого племянника.

Хотя, с другой стороны, разговоров о нашем прошлом мы не избегали. Наоборот. По вечерам Петька часто забирался ко мне на постель и требовал рассказать, "что было потом". То есть как я жил после того, когда он попал сюда.

Я рассказывал. Но больше уже о юношеских делах, об учебе в университете, потом о работе над Конусом. И о полете в "Игле". Про детство мы говорили осторожно. Я боялся упоминать о взрослых, с которыми мы жили тогда. Легко ли говорить о тех, кого нет! Особенно о маме…

И Петька о маме ни разу не спросил. Я не мог представить, что он про нее не вспоминает. Ясно, что он просто держал эту память глубоко в себе, горько понимая, что возвращение невозможно.

А насчет отца он однажды все-таки завел разговор:

— Пит, удалось тебе тогда убежать к отцу?

— Убежать? Когда?

— Ну, я же собирался к нему сразу после того концерта! Значит, и ты! Разве не помнишь?

Я не помнил. Воспоминания о том концерте были у меня достаточно сбивчивые. А вообще-то бежать к отцу в Дмитров я собирался не раз, в горькие минуты. Не знал тогда, что отец умер еще в сорок шестом году, в дмитровском госпитале, от ран, полученных на фронте.

Об этом я осторожно и сообщил Петьке. И замер: вдруг сейчас он спросит и о маме? Но Петька только вздохнул:

— Значит, все было бы зря. И кораблик… — Но тут же встряхнулся. — Нет, не зря! Ведь Дорога все равно получилась…

Да уж, Дорога у него получилась. Такая, что длиннее некуда… Я взлохматил ему отросшую челку:

— Беги спать, Петушок. А то тетя Карина задаст нам…

Карину Петька слушался больше, чем меня. Она обращалась с ним весело, по-свойски. Иногда и покрикивала: если чересчур дурачился или допоздна засиживался у стереоэкрана. А один раз даже дала шлепка, когда Петух полез без спросу этот экран ремонтировать.

— Что за безголовое создание! Жить надоело? Знаешь, какое там напряжение?!

Он ничуть не обиделся. Только сказал гордо:

— Подумаешь. Меня никакой ток не берет.

— Балда ты, там же несколько тысяч вольт! — вмешался я. — Марш умываться и спать, курица растрепанная... — Ухватил его под мышку и потащил в ванную.

Петька дурашливо заболтал коричневыми босыми ногами. Как и многие здешние мальчишки, он привык гулять босиком. Тем более, что все еще стояло лето.

3

Когда же начался наш разлад? Может быть, когда Петька притащил из школы сразу несколько "неудов" и я всерьез разозлился, а он сказал нахально:

— Подумаешь! Сам-то, что ли, отличником был?

— Ты вот порассуждай! Кончится тем, что выдеру!

— Сам себя, значит. Как унтер-офицерская вдова, — хмыкнул он. В школе они как раз проходили Гоголя.

Я малость опешил от такой его находчивой дерзости, но он уже сделался дурашливо-ласковым и промурлыкал:

— Дядюшка Пит, моя совесть не спит. Она меня гложет, на лопатки положит... Я все выучу и пересдам.

— Обормот, — с облегчением сказал я. А он умчался к мальчишкам в ближний парк.

Но скоро я заметил, что Петька огрызается все чаще и чаще. Может, возраст такой наступал? А может... что-то еще?

Вот ведь повороты судьбы!

Что я хотел от жизни? Моя задача с Конусом была блестяще выполнена. "Игла" шла в Пространстве, туннель существовал — это была непреложная данность. Я свою миссию выполнил до конца. Правда, предстояла еще посадка Конуса на далекую планету и практическое освоение туннеля, но это уже было дело других, специально подготовленных людей. А я, порядком вымотанный тридцатилетней, всего меня без остатка забравшей работой и двухлетней вахтой на "Игле", сейчас был намерен предаваться заслуженному отдыху и прочим человеческим радостям бытия... Нет, конечно, не сплошному отдыху. Буду работать над статьями по корпускулярной теории Времени, над монографией-отчетом о своем отрезке пути на "Игле", о свойствах туннеля, но все это — неспешная,

уютная такая деятельность...

Так я рассчитывал.

А судьба мне, всю жизнь бездетному и холостому (хотя и немало пострадавшему на сердечном фронте), подкинула роль папаши упрямого сорванца. Никак иначе эту роль не назовешь, несмотря на необычность случившегося.

Когда Петька чересчур вредничал, я думал: "Неужели я был в его возрасте таким?" Казалось, что нет, не таким. Спокойнее, покладистее. Но, с другой стороны, я ведь и не оказывался в такой вот обстановке. Переселение в другое время кому хочешь может поменять характер...

Казалось бы, при нашей-то одинаковости я должен угадывать, просто читать все его мысли. Но куда там! Я понятия не имел, что у него нынче в этих мыслях-то.

Однажды я засиделся до ночи за журналом "Галактика", и вдруг показалось, что Петька в своей комнате, за прикрытой дверью, тихонько плачет.

Тревога толчком подняла меня на ноги. "Это должно было случиться, — подумал я. — Столько всего навалилось на беднягу. Днем, понятное дело, школьные заботы, приятели, игры и веселье, а вот ночью-то оно и приходит — печаль и

тяжелые раздумья..."

Я на цыпочках шагнул в комнату. Мягко горел зеленый, в виде лесного гномика, ночник. Я подошел к постели.

Петька не плакал. Но и не спал. Смотрел в потолок. Без удивления повернулся ко мне.

— Что не спишь, Петушок?

— Так. Думаю...

Что тут скажешь? "Не думай, спи" или "Завтра рано вставать, в школу идти"?

Я сел на край постели. Молча.

Петька сказал хорошо так, ласково:

— А сам-то почему не ложишься, Пит?

— Читаю. Статью одну интересную раскопал.

— А-а... — протянул он. И вдруг спросил, опять уставившись в потолок: — А когда прочитаешь, опять пойдешь к ней?

Я обалдел. И не нашел ничего ответить, как только:

— А тебе-то что?

— Так... Зачем ты к ней ходишь?

Он прекрасно знал зачем. Потому что я в одиннадцать лет все про такие вещи знал тоже. Что нам было дурака валять друг перед другом?

— Я же взрослый мужик... Природа...

— Ага, "природа". А если от нее ребенок полу-

чится?

— Не получится. Карина не хочет… А если бы и получился, чего плохого?

— Вот еще, — буркнул он.

— Ты же сам хотел маленького братишку или сестренку. Там еще, в Старотополе.

Петька возмутился:

— Когда это я хотел? Не придумывай!

— А ты не отпирайся. Я же отлично помню.

— Ты много помнишь… чего на самом деле не было.

Он явно напрашивался на ссору. И я понял почему. Ему порой досадно и неловко было оттого, что я знаю про него все. По крайней мере, все из старотопольской жизни. Его дела, мысли, тайные движения души. Поступки, о которых не хочется вспоминать. Все слабости и привычки. В том числе и такие, о которых стыдно говорить. И тот случай с Турунчиком…

И поэтому не раз уже Петька огрызался в ответ на мои даже вполне безобидные воспоминания. Говорил, что я все путаю и "ничего подобного не было".

Конечно, и он, в свою очередь, все знал про мое детство. Но именно про детство, про старотопольское время. А про дальнейшую жизнь — только

с моих слов. Поэтому условия игры были очень неравные.

И сейчас я спорить не стал. Сказал примирительно:

— Ладно, Петух, не топорщи перья, спи…

Он сердито отвернулся к стене.

Я в подобных случаях отворачивался так же… Нет, что ни говори, а мы были одно и то же…

Может быть, это "одно и то же" в конце концов и стало между нами колючей загородкой. Тут уж я один был виноват. Когда мы прожили вместе около двух недель, я стал себя ловить на странных ощущениях. Стоило мне вспомнить, кто Петька на самом деле, и я не мог заставить себя дотронуться до него. Вернее, мог, но с усилием. Нет, это было не отвращение, не страх, но… в общем, что-то отталкивало меня. Словно я рядом с каким-то противоестественным существом. Казалось бы — наоборот: полностью своя плоть и кровь. Но, видимо, этого и не принимала человеческая природа. Не готова была к столкновению внутри себя двух одинаковых "я".

В конце концов это стало настолько меня мучить, что однажды я не выдержал, поделился с Юджином и Митей Горским. С Юджином — как с единственным другом. А Митя — он же врач.

Мы сидели поздно вечером у меня в комнате за бутылочкой "Византийского рубина", Петька спал, Карина тоже, и я излил душу:

— В детстве был у меня один страшный сон. Часто повторялся. Будто мне поездом отрезало руку, и она живет теперь отдельно. У меня дома живет, как кошка или щенок. Спит в углу, лазает по комнатам, царапает пальцами половицы. Помогает маме посуду мыть (и за это мама хвалит ее чаще, чем меня). И я тоже живу нормально. Не помню уж — с одной рукой, или вторая потом выросла снова… Но время от времени наступает жуткий момент: на той, на самостоятельной руке отрастают ногти, и меня заставляют их стричь. А я не могу, обмираю от какого-то ужаса. От непонимания: как это так — моя рука и в то же время отдельная! И живая!.. И… вот сейчас порой так же…

Выплеснув это, я почувствовал себя порядочной скотиной, но в то же время сделалось легче. Я залпом хлопнул целый стакан и стал смотреть в темное окно. Попросил:

— Митя, посоветуй что-нибудь…

Митя сказал довольно спокойно:

— Не так сразу. Надо подумать.

На следующий день, когда Юджин опять наве-

стил меня, я смущенно спросил:

— Ну, не советовал Дмитрий что-нибудь… по поводу того, что я болтал вчера?

— Советовал, — вздохнул Юджин.

— Что?!

— Он и сам бы мог сказать, еще вчера, но не посмел, исходя из разницы возрастов и уважения к твоей персоне. А мне рекомендовал…

— Что именно?

— Извини, но дать тебе по зубам. Как следует. Это, говорит, снимет у старого дурня все комплексы и синдромы… Лучше бы, говорит, следил за Петькой, чтобы тот не шастал с другими юными авантюристами по скалам и по зарослям в старой крепости, а то ходит мальчишка тощий и ободранный, как недокормленный Маугли…

Это точно! Петька в самом деле нашел в классе приятелей и любил с ними лазать где не надо. И это меня порядком беспокоило. Но сейчас я испытал большущее облегчение. Неожиданный Митин рецепт (даже не осуществленный на практике) словно встряхнул меня. Вроде той оплеухи, которую я заработал в детстве от Игоря Яшкина. И я не обиделся на Митю и на Юджина за нахальство, хотя сделал вид, конечно, что обиделся, и обозвал их сопливыми мальчишками.

Юджин довольно погоготал. Потом стал серьезным, оглянулся на дверь и тихо сообщил:

— Ребята из оперотдела Полозом поинтересовались. Очень всерьез.

— Ну… и что?

— Гад! — резко сказал Юджин. — Ты даже не представляешь, какой гад.

— В общем-то представляю…

— Не представляешь… что ждало бы Петьку, если бы ты не подоспел.

У Юджина закаменело острое, плохо выбритое лицо. А я молчал и ждал. И почему-то опять стало страшно, будто опасность рядом.

— Ты решил, что железный пол — это, так сказать, средство ускорения, да? Живую материю побыстрее превращать в неживую, чтобы она вовремя исчезала, да?

Я кивнул. Было очень тошно.

Юджин глухо сказал:

— Черта с два… Живая материя тех маленьких биороботов… если они и правда были только биороботами… никогда не исчезала сама по себе. Ее необходимо было превратить в неживую. Но Полоз… поступал так не сразу. Сперва он… развлекался с этими ребятишками как хотел. Это очень удобно и безопасно. Сознание у них затуманено,

способности к сопротивлению никакой, одежда исчезает сама собой...

Меня замутило. Я переглотнул и сказал искренне:

— До чего же жаль, что я не пристрелил эту сволочь...

— И сам оказался бы вне закона.

— Ну и хрен с ним, с вашим законом. Ушел бы опять...

— А Петька?

Да, а Петька... Один, сирота в чужом мире...

— Но теперь-то этого гада взяли?

— Ты слушай уж до конца, — недовольно и почти через силу проговорил Юджин. — Ты думаешь, все так просто? Думаешь, чем он занимался? "Попугает" полуобморочного ребенка, включит рубильник — и конец?.. Нет, он изувер до последнего атома. Живую материю переводить в неживую доставляло ему особое удовольствие. Железный пол и рубильник — это лишь аварийное средство для срочных случаев. А вообще-то у него оборудован подвал со специальными приспособлениями. И маленький электрический стул, и... многое другое. Даже мини-гильотина... по мальчишескому росту... Там, в подвале, он давал... "подопытному субъекту" стимулятор,

чтобы у него прояснилось сознание, чтобы тот все понимал и чувствовал, как нормальный ребенок. Потом скорбным голосом читал приговор и сочувственно объяснял: ничего, мол, не поделаешь, другого выхода нет… И, наслаждаясь ужасом ребенка, совершал "акцию". Один или с помощью Карлуши… И — никаких следов. Жертва почти сразу распадалась на элементарные частицы, которые исчезали в подпространстве… Даже капельки крови исчезали. Стерильность… Ты чего? Сердце?

А я — ничего. Только малость звенело в ушах и пасмурно стало за окнами. Я мотнул головой, отгоняя жуткое ощущение: будто я, маленький Петька Викулов, в лапах этого чудовища… Откашлялся, спросил:

— Как про это про все узнали-то? Сам рассказал?

— Ну да, держи карман… Прочитали его дневники. Ну, то есть записи на компьютерном кристалле. Он их подробно делал, эти записи, с изложением всех деталей и своих ощущений… Конечно, они были зашифрованы ключом, составленным на четырехмерном уровне. Формула x плюс n. Еще полгода назад возможность прочтения была исключена. Но сейчас в отделе

расшифровки есть один гениальный паренек, он изобрел для кристаллов суперключ, который перетряхивает до миллиарда комбинаций в секунду. Плюс небывалая интуиция самого дешифровщика при начальном подходе…

— Значит, все доказано? Арестовали гада?

— Если бы… — вздохнул Юджин. — Во-первых, с дневника сумели взять лишь копию, без личного молекулярного клейма. И во-вторых, сам по себе этот способ дешифровки юристами еще не признан официально. Они говорят: "Интуиция интуицией, а полного технического обоснования нет…" И кроме того, Полоз хладнокровно заявил, что эти записи — чисто литературный труд, наброски романа ужасов, который он, Полоз, вознамерился сочинить на досуге.

— А подвал и эти… приспособления?

— Ну и что? Хобби, странность оригинала. Никому же не запрещено коллекционировать любые предметы. Ведь следов-то на этих предметах ни малейших… А железный пол — это своего рода тренажер для него, для Полоза. На чугунные плитки, мол, подавался ток разного напряжения, который стимулировал подвижность и энергию во время физкультурных упражнений…

— И… значит, он будет жить по-прежнему? —

потерянно сказал я.

— Ну... во-первых, он все же достаточно напуган. И уже официально объявил, что оставляет руководство хором. Под каким-то удобным предлогом. Во-вторых, специальные люди теперь не спустят с него глаз. А больше сделать ничего нельзя. Чтобы возбудить дело, необходимо заявление от кого-то из пострадавших и наглядные доказательства преступлений... А живой пострадавший только один Петька. Но если Петьку сейчас втягивать в эту историю, представляешь, сколько всего на беднягу свалится?

Я представлял. Втягивать было нельзя. Петьке надо было жить нормально, без лишних испытаний нервов и души. Привыкать к нынешним временам...

И тут меня опять обдало страхом: "Единственный живой пострадавший!" Значит, единственный свидетель!.. А ведь Полоз на свободе. И понимает, что единственный свидетель — реальная опасность.

Это я перепуганно и высказал Юджину. Он поморщился:

— Да ну, не посмеет. Как и все сволочи подобного рода, он трус... Впрочем, хорошо, конечно, если Петька не будет болтаться по пустынным

местам один…

Я подумал, что он, к счастью, всегда с приятелями или со мной. Но все равно надо быть внимательнее… Я отчетливо видел перед собой длинное лицо Полоза — с выпуклыми синими глазами, дряблым подбородком, в обрамлении рыжих повисших локонов. И дернулся от боязливого отвращения.

— Ну как природа может допустить, чтобы в человеке было столько мерзости и зверства…

Юджин сказал очень серьезно:

— Это не человек. Это оборотень, воплощенное зло. Исчадие Сатаны… Странно звучит в наш просвещенный век, но это так, я уверен.

— И нет против него никакого средства?

Юджин шевельнул плечом:

— Поживем — увидим… Ну а как Петух-то? В школе все нормально?

4

В школе у Петьки было нормально. Если не все, то в основном. Он подружился с Никиткой Горячевым — тем самым обладателем поцарапанного носа, моим старым знакомым. Для Никитки (и для всех знакомых) сочинили нехитрую историю:

Петька, мол, сирота, жил в интернате, а я вернулся из дальнего космического рейса и, оказавшись на концерте хора, узнал в солисте дальнего родственника и забрал мальчика к себе.

Никитка был самый близкий Петькин приятель, но и с другими ребятами Петька ладил. По крайней мере больше, чем со мной. У меня с ним то и дело случались стычки. Одна из причин — та, что, помня о Полозе, я теперь каждый день ходил встречать Петьку после занятий. Это его злило. Во-первых, "что за мной ходят, как за маленьким", во-вторых, ему хотелось после уроков еще поиграть с приятелями, погонять мячик, полазать по развалинам цитадели или до вечера усвистать в сказочный городок — там в громадных круглых павильонах могучие базовые компьютеры с помощью стереотехники и роботов создавали полную иллюзию сказочной и приключенческой обстановки. Можешь с головой окунаться в похождения пиратов и золотоискателей, в полеты на волшебные планеты и в схватки с нечистой силой… Кстати, стоили такие удовольствия немало, но Петька выклянчил у меня кредитный жетон с кругленькой суммой и щедро платил за себя и за друзей… А я, если этого сорванца долго не было дома, места себе не находил.

Случалось, что я час или два сидел у школьной площадки, терпеливо дожидаясь, когда Петька устанет резвиться с одноклассниками. Или тащился за ними к морю, с деланной бодростью уверяя, что не меньше мальчишек люблю купаться в прохладной воде.

Да, море уже было прохладным, хотя в общем-то погода все еще оставалась летней. Стояла первая неделя октября. Со дня нашей встречи с Петькой прошло около месяца. Всего-то. А казалось, целый год прошел, столько всяких событий вместилось в эти четыре недели. И Петька будто был со мной рядом давным-давно. Только не всегда это "рядом" приносило радость.

Я заметил, что с каждым днем он скучнеет. Раньше он если и огрызался, то с озорной ноткой, полушутливо. А в последние дни сделался хмурым. Я ничего не мог понять. В добавление ко всему Петька отыскал где-то бродячего кота и принес в дом. Заявил, что кот будет жить у нас.

— Он сожрет у Карины попугаев! — перепугался я.

— Они же электронные! Неужели ты не знал?

Я этого и правда не знал.

Карина посмеялась, покормила кота и сказала, что пусть живет, не жалко. Ну и я спорить не

стал: чем бы дитя ни тешилось…

Но внутренне я вздрагивал, видя, как Петька лижется с этим отвратным существом. Кот был обшарпанный, тощий, с короткой пыльно-серой шерстью и рваным ухом. Его узкая морда была лишена всякой кошачьей симпатичности и ласковости. Характер — смесь лени, вороватости и бессмысленной дури: иногда этот идиот начинал носиться по квартире, сшибая со столов разные предметы.

Петьку я просто не понимал. Сам я в детстве был равнодушен к кошкам. При случае мог погладить, приласкать, но чтобы всерьез привязаться к драному коту, это было немыслимо.

Петька же охотно сажал эту скотину себе на колени, таскал на руках и укладывал с собой спать. Он звал его примитивным именем Кыс.

Надо сказать, что скоро Кыс начал отвечать Петьке той же преданностью. Ходил по пятам, просился на руки и, как собачонка, бежал к двери, когда Петька являлся из школы.

— Кыс, миленький ты мой… — начинал причитать Петух, садясь на корточки. — Иди ко мне, мой хороший… — И подхватывал это урчащее от приторной ласковости страшилище.

Однажды я не выдержал:

— Ну что ты нашел в этом обитателе помоек?

Петька стрельнул неласковым взглядом и впечатал в меня тихий, но тяжкий ответ:

— А потому что… только ему я и нужен на этом свете.

Я так и сел на табурет в прихожей. И у того подломилась ножка.

— Петька, да ты что! Сдурел?

— Ничего я не сдурел… Иди ко мне, Кыс, иди, мой славный…

Я решил, что сегодня вечером плюну на все, позвоню Юджину и Мите Горскому, и мы напьемся в "Разбитой амфоре". По крайней мере я…

Но вместо этого весь вечер просидел дома. Тем более что Петька, видимо, чувствовал себя виноватым. Слегка подлизывался, и мы разговаривали с ним по-хорошему, вспоминая разные приключения в Старотополе…

На следующий день судьба отплатила мне за хороший вечер.

Петька утром обещал сразу после уроков прибежать домой, и я решил не встречать его. Ну что может случиться с мальчишкой среди бела дня на протяжении пяти людных кварталов?

Но к полудню, как было обещано, он не пришел. И к часу дня не пришел. И к двум. Я задергался

всеми нервами, пошел к школе, но там ни Петьки, ни его приятелей не оказалось. Я сходил на маленький пляж под обрывом, где они обычно купались, — никого.

Я вернулся домой. Карина была в своем магазине, Кыс неприкаянно ходил по комнатам и смотрел на меня с упреком: словно это я куда-то запрятал его хозяина…

Петька появился в пятом часу. Исцарапанный и потрепанный, словно спасся из-под горной лавины.

— Это, по-твоему, двенадцать часов? — спросил я сперва еще довольно сдержанно.

Он понимал, конечно, что виноват, но понимание это спрятал за хмурым нахальством:

— А чего такого? Погулять нельзя?

— Где тебя холера носила?!

— На Песчаной горе. Мы там один старый бастион откопали, со старинной пушкой…

— Там же такие откосы и провалы!..

— Ага, — сказал он с мрачным удовольствием. — Я два раза сверху донизу катился. Кубарем… Кыс, иди сюда, мой хороший. Соскучился, маленький…

— Оставь кота, когда с тобой разговаривают!.. Посмотри, на кого похож! Ноги все ободраны,

одежду измочалил…

Он, гладя на груди урчащего кота, сказал еще более нахально:

— А тебе жалко, что ли, новую купить? Сам говорил, что денег куры не клюют.

— Дубина! Тебя жалко! Если бы там шею свернул…

Он угрюмо глянул из-под сильно отросшей выгоревшей челки:

— Ну и свернул бы. Кому какое дело? Все равно я… это… дубликат.

Нет, не со зла, а скорее от мгновенного страха, от тоскливой растерянности я дал ему оплеуху. Звонко получилось, крепко.

Он отшатнулся. Не уронил, а поставил на пол кота, выпрямился. Глянул опять. Глаза стали мокрые, но губы он скривил презрительно:

— Унтер-офицерская вдова… В ухе не звенит?

Мне захотелось повеситься, и я сказал беспомощно:

— Извини, Петушок.

— Да ладно, чего там, — опять скривил он рот. — Хорошо хоть, что не побоялся…

— Чего… не побоялся?

— Дотронуться, — хмыкнул он снова и вдруг сердито всхлипнул. — Думаешь, я не знаю? Я же

слышал…

— Господи… что ты слышал?

— Как ты про свой сон… про отрезанную руку… дяде Юджину…

Боже ж ты мой! Я-то уже и думать забыл про это! После разговора с Юджином о Полозе все другие страхи и сомнения, все "комплексы" отскочили от меня, как высохшая кожура. Одна была мысль: только бы с Петькой ничего не случилось. А он, значит, подслушал ту мою дурацкую исповедь и после этого маялся все дни!

— Петька! Это же давно было! И случайно! Это… ну, приступ дури такой, минутный! А ты, глупый, вбил себе в голову!..

Я хотел подхватить его на руки, но в последний миг не решился. Только взял за тонкие запястья — коричневые, в ссадинах, с бьющимися жилками пульса. Петька постоял, опустил голову и… прижался лицом к моей куртке. И заплакал. Но уже без обиды, без горечи, а с облегчением. И не стесняясь.

Я пальцами лохматил Петькины волосы и чувствовал, как со слезами уходят из него колючесть, печаль одиночества, невысказанность горя. И понимал, что жить обоим нам теперь будет легче. И не останавливал, не утешал Петьку. Пусть

поплачет.

Он потерся наконец о куртку мокрыми щеками и пробормотал:

— А Кыса ты не ругай. Он хороший…

— Я и не ругал никогда. А сегодня даже гладил. Мы вдвоем скучали по тебе. И нервничали…

Петька сказал уже слегка дурашливо:

— Я больше не буду… лазать где попало без спросу… И падать с обрыва.

— Да, уж сделай одолжение. А то вон какой весь, как с поля битвы. Придется ехать в "Пиноккио", а то завтра не в чем в школу пойти…

— Я эти штаны и жилетку отчищу! А тетя Карина зашьет! Сейчас даже модно ходить в заштопанном. У Никитки три заплаты!

— Все равно тебе нужен костюм для холодной погоды. Лето вот-вот кончится.

Петька поднял мокрое лицо. На ресницах — прозрачный бисер. Шмыгнул носом.

— Знаешь что? Ты лучше подари мне свою куртку. Чтобы все думали…

— Что думали?

— Ну… разве ты не знаешь? Такие куртки носят те, у кого есть отцы. Так и называется — "папина куртка".

Я понял наконец, что это за обычай! Большая

мужская куртка — это предмет мальчишечьей гордости. Это значит — в доме есть отец: опора, защита, символ незыблемой семьи.

А отцы — я уже знал это — были далеко не у всех. Как и в прежние, знакомые мне времена. Увы, не все в этом благополучном и праздничном мире было хорошо. Может быть, именно сытость и отсутствие боязни за будущее делали семьи непрочными. И ребята порой знали отцов лишь понаслышке или по коротким встречам. А то и не знали совсем…

Да и был ли он благополучным, этот нынешний мир? Чем дальше, тем больше я узнавал, что далеко не всем живется спокойно. На границах нет-нет да и случались всякие неприятности. То на таможенных постах, то между гарнизонами. Казалось бы, чего делить? Но что-то делили…

А потом вдруг в нашем городе заговорили о террористах. Какая-то группа "Черное солнце" объявила сытость и беззаботность этого государства пороком и зародышем будущих бед. Лихие парни сперва рванули один из мостов над бухтой, а потом несколько домов на окраинах. Были жертвы. Город всполошился. Появились на улицах патрули в полевой униформе. Комментаторы на стереоэкранах ругали правительство.

Растерянно оправдывался бледный министр безопасности, а проповедники разных сект вспоминали, что именно этот год был предсказан как начало страшной, искупительной эпохи.

— Ни фига себе, построили светлое будущее, — сказал я Юджину, когда мы встретились на базе. Митя Горский таскал Петьку по всяким таинственным помещениям, а мы сидели в служебном бункере начальника.

— Хорошо бывает только в светлом прошлом, — философски отозвался Юджин. — Да и то не в реальном, а в придуманном… Впрочем, нет худа без добра…

— То есть?

— Сегодня в ночных новостях скажут… Взорвался и сгорел особняк маэстро Феликса Антуана Полоза. Найдены трупы домашнего служителя Карла Куши и самого хозяина дома…

Я помолчал, переваривая информацию. Потом присвистнул. Затем усомнился:

— А если этот подонок просто замел след?

— Экспертиза установила, что один из трупов — точно Полоз. Лицо, кстати, не обгорело…

— Он ведь мог все что угодно… Если умел делать дубликаты мальчишек прошлых времен, то разве не сделал бы копию самого себя, когда

приспичило?

— Логично, — вздохнул Юджин. — Однако в этом случае труп должен был исчезнуть, как только… стал трупом…

— Черт его знает… Маэстро хитроумен и мог придумать способ…

— Ну, если даже и так, то в сфере нашего внимания маэстро едва ли когда-нибудь появится, — беспечно отозвался Юджин. На мой взгляд, излишне беспечно. И, по-моему, он меня просто успокаивал. — Едва ли этот оборотень заметал следы для того, чтобы опять вынырнуть у нас на пути…

"Но ведь он вынырнет на пути у других", — подумал я. И Юджин понял, о чем я думаю.

— Очень маловероятно все это, — сказал он. — Нет никаких оснований сомневаться, что эта нечисть убралась к себе в преисподнюю.

И я почувствовал облегчение. В самом деле, сколько можно жить с оглядкой?

Словно успокаивая меня и Юджина, ровно горел на письменном столе зеленый маячок — точная копия маяка на Георгиевском мысу. Это означало, что "Игла" продолжает благополучно сверлить пространство и наше дело живет и движется, несмотря на все земные потрясения.

А Петька в соседнем бункере хохотал и дурачился с Митей. Потом выбежал к нам:

— Дядя Пит, дядя Юджин! Митя грозится выкинуть меня в межпространственный вакуум!

— И правильно сделает, — сказал я. — А то ты скоро всю базу разнесешь.

— У, какой… — Он с притворной обидой надул губы и бросился в тамбур — как торпеда. За открытой дверью снова послышались вопли и хохот.

Я сидел, откинувшись в кресле, и отдыхал от всяких переживаний. Потом признался Юджину:

— Ты знаешь, теперь без этого чертенка я просто не смог бы жить.

— Надо полагать, — усмехнулся Юджин. — Вы же… такая родня друг другу, что роднее не придумаешь. Одна только разница — в размерах. Как у большого маяка и вот у этого…

"А душа вообще одна на двоих", — подумал я.

РАЗВИЛКА
1

Я купил Петьке патефон. Вернее, Петьке и себе. Чтобы крепче помнить сороковые годы двадцатого века и милый наш Старотополь.

Кстати, сейчас уже мало кто знает, что такое

патефон. Это механический проигрыватель, древнее изобретение. Такие штуки воспроизводили звукозапись, сделанную на черных пластиковых дисках с цветными наклейками и дырками посередине. Пластик был тяжелый и хрупкий — что-то вроде застывшей асфальтовой смолы. Уронишь на пол — и прощай музыка.

Патефон сделан в форме чемоданчика. Поднимаешь крышку, вставляешь в боковое отверстие изогнутую ручку, закручиваешь пружину двигателя, сажаешь диск на шпенек в центре оклеенного цветным сукном круга, нажимаешь рычажок пуска — круг завертелся. На край диска опускаешь никелированную головку на изогнутой, как лебединая шея, блестящей трубке. В головке — игла. От бороздок на диске звук передается мембране, а от нее через трубку — в железный рупор, спрятанный внутри чемоданчика. И пожалуйста — вальсы, фокстроты и всякие песни…

Ну, звук от такой старинной штуки, конечно, не ахти какой: с металлической вибрацией, шипением и скрежетом. Но именно эти скрежет и шипение вперемешку с забытыми сейчас песнями тешили мое и Петькино сердце — голос детства, голос родного дома…

Кстати, продавалась эта штука в лавке со вся-

кими древностями и стоила сногсшибательно — как автомобиль среднего класса. Но я почесал в затылке, потоптался у прилавка и все-таки отсчитал на автомате нужную сумму. Тем более что к патефону прилагалось два десятка пластинок с записями, которые в нынешнее время никто уже не знал (разве что кроме Феликса Антуана Полоза, не к ночи будет помянут). Здесь была и милая нам "Рио-Рита", и Клавдия Шульженко с песнями про Челиту и синий платочек, и озорная мексиканская "Кукарача", и песни из военных фильмов, и щемящий душу вальс "Ночь коротка", и песенка Паганеля из фильма "Дети капитана Гранта", и еще многое в том же духе…

Петька просто обомлел от счастья. Целую неделю, вернувшись из школы, накручивал ручку, меняя пластинку за пластинкой. Только и слышалось в квартире: "Летят перелетные птицы…", "В далекий край товарищ улетает…", "Давай закурим, товарищ, по одной…" и так далее.

С неожиданным интересом и, я бы сказал, с пониманием к патефону отнесся Кыс. Едва эта штука начинала играть, он прыгал на стол, садился рядом и пристально смотрел на вертящуюся пластинку. Порой Кыс поднимал растопыренную лапу и протягивал к головке с мембраной, но не

тронул ни разу: видимо, сознавал, что нельзя переходить грань дозволенного. А когда музыка кончалась, Кыс вставал, горбил спину и терся боком о поднятую крышку. Наверно, в знак благодарности.

Иногда Петька приводил Никитку и других приятелей. Мальчишки слушали сиплые, с "жестяным" привкусом мелодии, открыв рты. Дивились чуду прошловековой цивилизации и сперва не верили, что внутри чемодана нет никакой электроники, а только пружина, шестеренки и валики. Пришлось патефон осторожно вскрыть и показать гостям механические потроха.

Никитка рассказал, кстати, что после гибели Полоза хор "Приморские голоса" закрылся, нового руководителя найти не удалось.

— А я бы все равно из "Голосов" ушел, — сообщил Никитка. — Там репетициями совсем замучили. У нас в гимназии свой хор создается, называется "Солнечный парус", я в него пойду…

Я посмотрел на Петьку: "А ты?"

Петька засопел и отвернулся.

Никитка сказал:

— Стесняется почему-то. Сам же говорил, что в интернатском хоре целый год занимался. И на нашем концерте вон как здорово тогда выступил…

Я понял, что Петька сочинил про себя обстоятельную легенду. Ну и правильно. Никому не надо знать, откуда он на самом деле…

Петька пробормотал:

— У меня все равно скоро голос будет ломаться…

— Не выдумывай, — сказал я. — Еще очень не скоро.

— А руководительница в "Парусе" в тыщу раз лучше, чем Полоз, — добавил Никитка и смутился: вспомнил, что о мертвых плохо не говорят. Он ведь ничего не знал…

Через неделю после того разговора Петька пришел из школы очень возбужденный и в то же время молчаливый. Я на "Доценте" считал кое-какие параметры формул типа "n + a" (свертывание необычных явлений при достижении Конусом предельной скорости). Петька встал сбоку от меня, завздыхал, заперебирал худыми ногами, почесывая пятками щиколотки.

— Ты чего танцуешь, будто в туалет не терпится? — подозрительно спросил я.

Петька запахнулся в мою куртку, как в черкесскую бурку, вздохнул еще раз и признался:

— Я в ту самую лавку заходил. В ан-тик-варную… Там такую пластинку продают…

— Какую?

— Совсем-совсем старинную… Как у нас в Старотополе была. Еще не для патефона даже, а для граммофона с трубой. До революции выпущенная…

У нас в самом деле было когда-то несколько таких пластинок — от маминой бабушки остались. С Шаляпиным, с известной в начале того века певицей Вяльцевой…

— А какая именно, Петух? — поинтересовался я осторожно. Очень уж он был напряженный.

— Ну, та самая. Из оперы "Дубровский". Где он поет перед портретом своей мамы: "О, дай мне забвенье, родная…" Мамина любимая… — Петька вдруг заморгал и отвернулся. И добавил чуть слышно: — Только она стоит… почти как целый патефон…

Я не помнил такую пластинку. Любимая мамина? Нет, не помнил… Наверно, Петька что-то придумал или путает. Но он впервые заговорил о маме, и я не возразил ни слова. Тут же, прямо через "Доцента", связался с антикварным магазином, узнал про пластинку, с кредитной карточки перечислил (даже не охнув) сумасшедшее число и попросил доставить пластинку с посыльным.

Через полчаса на детском роллере прикатил

блестящий и мигающий огоньками робот-мальчишка (новинка здешнего сервиса). Петька на время забыл даже о пластинке — ходил вокруг этого электронного существа и задавал ему всякие вопросы. Роботенок вежливо отвечал механическим, но приятным голоском. Он отдал Петьке плоский небьющийся футляр, попросил "господ покупателей" подтвердить по связи получение заказа и уехал, мигая горящими пониже спины красными сигналами.

Петька сразу забыл о роботенке. Торопливо распечатал футляр, вытащил большущий диск.

Это было тяжелое асфальтовое блюдо с бороздками записи лишь на одной стороне. А на оборотной — во всю ширину печать фирмы: "GRAMOPHONE. TPADE MARK". Лаковая, розовая с золотом наклейка блестела как новая. Знаменитая полтора века назад марка "Пишущій амуръ". Пухлый пацаненок с крылышками сидит на черной пластинке и водит по ней гусиным пером. Надпись сообщала, что "романсъ Дубровскаго "О, дай мне забвенье, родная" исполняет "Д.А. Смирновъ, арт. Имп. Театр. с орк.".

Все было знакомо: и увесистость диска, и амур с пером, и "ять" с твердыми знаками, и даже зубчатая марка "Общества авт. правъ "Апра" сбоку

на этикетке. Но знакомо по другим, хотя и похожим на эту пластинкам. А такой, с Дубровским, я вспомнить не мог.

И Петька это понял. Он посмотрел на меня укоризненно, горько даже. Сказал шепотом:

— Ну как ты мог забыть… такое. Самая любимая мамина. Мы же эту пластинку с ней вдвоем слушали тогда вечером. Накануне…

Я спросил виновато:

— Накануне… чего?

У него потемнели глаза.

— Ну… перед тем, как утром она уехала в Боровиху…

"Каким именно утром?" — думал я. Мама часто ездила в Боровиху к своей знакомой, тете Жене. Ходили они за ягодами, за грибами. Иногда и меня с собой брали…

— Она будто чувствовала, — прошептал Петька. — Сказала тогда: "Ты, Петушок, потом будешь вспоминать меня, когда услышишь эту арию…" Я испугался, а она засмеялась: "Да шучу, шучу… Я до ста лет не умру…" А на самом деле… — Он сморщил лицо и отвернулся.

Я проговорил через силу:

— Что… "на самом деле"?

Тогда Петька яростно повернулся ко мне. Даже

капли полетели у него с ресниц.

— Ты что?! Даже не помнишь, как погибла мама?! Вагон слетел под откос, потому что лопнул рельс... — И добавил уже еле слышно: — Она... одна из всех пассажиров... Остальные успели...

Мне показалось, что я в черной пустоте. И пустота эта с неслышным свистом летела мимо меня. Таким бывает первое впечатление в капсуле тренажера "Межпространственный вакуум".

Великий Хронос, неужели это возможно? Неужели Валька Сапегин ошибся, "обрубая" ветвь программы, посвященной многовариантности одного события?

Я тихо сел на стул. Тихо подумал. Тихо сказал:

— Иди ко мне, Петушок. Попробуем разобраться.

Он обмяк, уронил с плеч куртку, подошел. Я посадил его на колено. Он не сопротивлялся, только отворачивался и вытирал глаза.

— Видишь ли, в чем дело, Петь... До сих пор я знал, что мама не погибла... Она, правда, один раз сильно простудилась в Боровихе, лежала в больнице с воспалением легких, и я даже поставил в церковном подвале кораблик — с молитвой, чтобы она скорей поправилась... И мама поправилась, и мы с ней приехали потом сюда. И она

жила еще долго. Умерла, когда мне было тридцать семь лет. Сразу, от остановки сердца. Во сне… И похоронена здесь, на старом Приморском кладбище.

Глаза у Петьки были теперь большущие, и он смотрел мне в лицо неотрывно. Не перебивал.

Когда я кончил, он спросил с какой-то незнакомой тревогой и со взрослой озабоченностью:

— Пит, а ты правда… был Петькой Викуловым?

— Клянусь.

— Но тогда… почему? Вот так…

— Давай… Вот что давай, Петушок. Спокойно посидим, передохнем. У меня ведь тоже в голове сумятица… Но для начала попробуем все это объяснить хотя бы самым простым способом…

— Каким? — шепнул он.

— Сейчас… Есть научное предположение о тесном сосуществовании множества параллельных миров. Они вроде бы очень похожи друг на друга, но некоторые события в них могут отличаться. В одном случае лопнувший рельс не выдержал тяжести вагона, в другом выдержал. Разные варианты… Была даже придумана формула для определения возможного числа вариантов…

Петьке плевать было на формулу. Он ладонью вытер щеки и все еще шепотом спросил:

— Значит, мы с тобой все-таки не совсем одно и то же?

— В чем-то одно, а в чем-то… Ох, Петька, чем дальше мы копаем загадки Вселенной, тем они непостижимее. Что мы знаем о многомерности Времени и Пространства? Помнишь старинную картинку: монах подобрался к самому краю небосвода, нашел дыру, сунул голову и обалдело смотрит на всякие небесные механизмы? Вот и мы так же. Вроде бы и добрались до дальних планет, ковыряем межзведные дали, нащупали корпускулы времени, но это ведь самые крохи знания…

Говорил я почти машинально. Лишь для того, чтобы расслабить у Петьки (и у себя) нервы. С Петькой это, кажется, получилось лучше, скорее. Он повозился у меня на колене и пробормотал:

— Значит, наша с тобой жизнь катилась как по параллельным рельсам, да?

— Выходит. До поры…

— А потом рельсы пересеклись, — вздохнул он. — Я знаю, когда… Хотел догнать маму, а вышло вон что…

— Это там, на концерте?

— Да…

— Кто же знал, что дьявол дернет Полоза су-

нуться туда со своим хроноскопом, — сумрачно сказал я.

Петька опять поглядел мне в лицо мокрыми глазами:

— Я думаю, дело здесь не только в Полозе…

— А в ком еще?

— Не знаю… в ком или в чем… Пит!

— Что, Петушок?

Он сунулся носом мне в плечо и спросил еле слышно:

— А мамина могила сохранилась… здесь?

На Приморском кладбище давно никого не хоронили, но и не сносили его. Здесь было много всяких исторических памятников: адмиралам, художникам, ученым, изучавшим древности этого края… Мамина могила сохранилась. Все долгие годы, когда меня не было, за ней присматривал Юджин. А после возвращения приезжал я сюда уже два раза — по утрам, когда Петька сидел в школе…

А сейчас мы с ним вдвоем шли мимо замшелых надгробий с черными якорями и корабельными цепями, мимо покосившихся мраморных колонн, гранитных и бронзовых бюстов, часовенок и камней с чугунными барельефами парусников и броненосцев.

Хотя городские власти и старались поддерживать здесь порядок, многие участки заросли дремучим шиповником, белоцветом и чертополохом. Как ни выбирай дорогу, все равно приходилось шагать сквозь всякие сорняки. Меня они хватали колючками за штанины, а Петька на ходу растирал на икрах царапины, тихонько шипел сквозь зубы, но не отставал. И не говорил ни слова.

Наконец мы пришли.

Солнце желтыми, уже вечерними лучами светило сквозь кроны вековых каштанов. Кроны были еще густые, хотя листья с подсохшими краями часто падали на траву и на гранит.

На холмике, обложенном по бокам серыми плитками, доцветали бархатцы и синие цветы дикого, от прилетевших семян, цикория. И еще какие-то мелкие желтые цветы — вроде тех, что густо усыпают крепостные развалины. Я их не выдергивал: всякая трава имеет право жить и радоваться солнцу на том месте, где проросла…

Памятник был простой: красноватый гранит высотою мне до плеча, отглаженный с одной стороны. На гладком месте — надпись и фаянсовый медальон-портрет.

Мы с Петькой стояли рядышком и ничего не

говорили. Петька переступал с ноги на ногу, трогал коленками пушистые шарики белоцвета, что выросли рядом с холмиком, и неотрывно смотрел на медальон. Потом прошептал не оборачиваясь:

— Похожая… Только старенькая… Там, в Старотополе, тоже была фотография на камне… только молодая. И камень не такой. Поменьше и серый.

Я обнял его за плечи. Он замер, но скоро мягко высвободился, оставил у меня в руках куртку. Опустился на корточки, взял бумажный кораблик — тот белел у подножия камня среди густых стеблей. С тихой улыбкой глянул на меня:

— Это ты сделал?

— Да. Оставил в прошлый раз. Я всегда оставляю такой, когда прихожу.

— Я тоже оставлял… там… Все-таки мы почти одно и то же, да?

— Почти, — послушно отозвался я. И виновато спохватился: — Сегодня бумагу для кораблика я забыл.

— А я не забыл… — Петька взял у меня куртку, вынул из кармана сложенный вчетверо листок — такой, какие вставляются в домашние принтеры. — Можно, я сам сделаю кораблик?

— Сделай, конечно…

Петька опять сел на корточки, примостил бу-

магу на коленках, начал сгибать и складывать. Засопел тихонько. Я смотрел, как шевелятся волосы на его заросшем затылке, и тихо поражался смеси обыденного и фантастического. Обыкновенный мальчик, обыкновенный кораблик из бумаги. Обыкновенный пятипалый лист каштана спланировал Петьке на спину и зацепился за голубую ткань рубашки… И в то же время все это на невидимой грани разных времен и пространств. Внутри какой-то загадки раздвоенного мира… А Петька, видимо, уже притерпелся к этой вновь открывшейся фантастике. Кажется, и не думал о ней.

Он смастерил лодочку, поставил ее в траву у камня, рядом с моей, выпрямился. Снова глянул на портрет. По желтоватому, в мелких трещинках фаянсу ползла зеленая гусеница. Петька дотянулся, снял гусеницу сухим стебельком.

— Глупая, иди в траву…

Оглянулся на меня:

— Пойдем?

— Пойдем, — кивнул я.

Мы не стали возвращаться прежней дорогой. Прошли немного на север, до обрыва, и по крутой тропинке среди скал спустились к морю.

Под скалами тянулся пустой узкий пляж. Мел-

кий галечник вперемешку с песком.

Вода еле плескалась.

Солнце висело уже у горизонта — сплюснутое, оранжевое. От него по перламутровой поверхности моря размоталась медная чешуйчатая полоса.

Петька взял в руки сандалии и пошел в воду. Все дальше и дальше, пока она не коснулась краев куртки. У меня вдруг появилась испуганная, страшновато-сказочная мысль: вдруг он сейчас уйдет от меня по дрожащей световой дорожке? В свое время, в свой Старотополь!..

Я еле удержался, чтобы не окликнуть Петьку.

Он, конечно, по солнечной дорожке не пошел, а двинулся вдоль берега, бултыхая ногами. Чтобы стряхнуть с себя нелепый испуг, я сказал недовольно:

— Холодная уже вода-то. Хочешь вернуть себе свой столетний тонзиллит?

— Не-а, ни капельки не холодная… — И он опять весело бултыхнул ногами.

Я вдруг снова как бы подключился к Петькиным нервам. Ощутил, что вода в самом деле теплая, ласковая и успокоительно пощипывает растворенным йодом свежие царапины. И кожу щекочут вырывающиеся со дна струйки

пузырьков — там, где под ступни попадают грудки увядших донных водорослей. А солнце последними лучами осторожно и пушисто трогает затылок…

Через полмили мы дошагали до эскалатора и поднялись к старинной ротонде, что стоит в начале Кипарисного проезда. Я поймал у края тротуара такси-кабриолет…

Дома Петька сказал:

— Давай послушаем пластинку.

Мы заперлись в моей комнате, чтобы Карина не надоедала напоминаниями про ужин, и открыли патефон.

Кстати, он выглядел как новенький: темно-красный, блестящий, с хорошо различимой маркой Молотовского завода на внутренней стороне крышки, с ярко-вишневым сукном на круге.

Петька очень осторожно положил пластинку на сукно, чуть дыша опустил иглу на бегущий выпуклый край…

Звук оказался на удивление чистым. Ясный тенор запел:

О, дай мне забвенье, родная,
Согрей у себя на груди…

Это Владимир Дубровский прощался с портретом матери, перед тем как сжечь родной дом и уйти в разбойники. Звучал голос артиста, который жил полтора столетия назад.

И сыновней печалью своей этот голос мне напомнил "Песню Джима"...

А Кыс сидел рядом с патефоном, очень смирный, и даже ни разу не потянулся лапой к мембране. Тоже понимал что-то...

После ужина Петька приткнулся ко мне на диване и шепотом попросил:

— Расскажи, как вы жили с мамой. Ну... потом...

Потом — это когда его мамы уже не было... У меня аж в горле зацарапало. А Петька объяснил совсем еле слышно:

— Я буду представлять, будто я... тоже с ней...

И допоздна рассказывал я Петьке про наш с мамой переезд в Византийск, про нашу жизнь и всякие случаи (старался больше про забавные). И как мама волновалась, когда я сдавал всякие экзамены, и как переживала мои любовные неудачи, и как приезжала в дальний степной гарнизон, где я два года тянул лямку солдата-ракетчика...

Наконец Петьку сморило, и я отнес его в постель.

Сам я засиделся до ночи, пытаясь вспомнить графики и формулы несостоявшейся в былое время программы по анализу многовариантности. Ночевать лег в моей комнате.

Где-то под утро Петька разбудил меня тревожным шепотом и толчками.

— Что случилось, Петух?

— Пит, послушай… Я лежал, думал, думал… Это ведь нечестно получается.

— Что нечестно?

— Будто я здесь… примазался, а про свою маму забыл. А она ведь все равно там. В Старотополе… Может, и могилу еще можно найти, если постараться… Пит, поедем, а?

Я погладил ему волосы, застегнул скомканную пижаму.

— Завтра. То есть даже сегодня. Только надо отпросить тебя в школе.

2

В тот день уехать не удалось.

Приходилось принимать во внимание политическую обстановку. Как ни дико это мне казалось, но Старотополь находился теперь за границей. В так называемой ОРСВО — Объединенной Республ-

лике Северо-Восточных областей.

Граница была открытая, виз и разрешений не требовалось, но в Агентстве международных сообщений мне разъяснили: во-первых, надо оформить документ на мальчика, который едет со мной ("Там у них с этим строго"), а во-вторых, лучше сразу перечислить энную сумму на счет в Старотополе, потому что там иная валюта и с ней бывает немало путаницы.

Впрочем, все эти заботы милая девушка из агентства взяла на себя, и к вечеру все было готово. В течение дня я побывал в школе и отпросил Петьку у его классной дамы на несколько дней, а потом встретился с Юджином. И рассказал ему про наши с Петькой новые "открытия".

Юджин вдруг крепко разозлился. Не на меня и не на Петьку, а на Комиссию по планированию научных разработок. Эта комиссия со своими "компьютерно-куриными мозгами" практически не давала ни гроша для работы Базовой группы и Лаборатории темпоральных исследований.

— Говорят: летит ваш Конус, и слава Богу, чего вам еще-то. А дальнейшее, мол, копание в природе Времени — это, извините, сплошная мистика и несерьезное занятие… А ведь Петька-то — живое доказательство многомерности Пространства

и параллельности миров. Сейчас бы вплотную приступить к этой проклятой формуле…

Юджин был прав, но я поморщился. Делать Петьку объектом исследований и экспериментов не хотелось. "Живое доказательство" в это время дурачилось с Митей Горским в кают-компании базы.

Юджин сказал:

— Я понимаю, почему ты насупился. Бережешь пацана. И себя заодно. И правильно… Мне, честно говоря, Петька тоже дороже всех темпоральных и пространственных проблем.

Я поверил Юджину. Я знал, что к Петьке он привязан. Может, потому, что вспоминает своих внуков, Егорку и Кирилла, с которыми почти не видится. Единственное дитя Юджина — дочка Елена — с отцом не ладила и свидания своих сыновей с дедом не одобряла…

А Юджин продолжал:

— Но ведь обидно, черт возьми! Государственная лаборатория, учреждение особой важности, а отношение к нему хуже, чем к захудалой мастерской… Этот подонок Полоз один сумел создать, по сути дела, целый институт по вылавливанию жителей прошлого, а мы все на том же уровне, что полвека назад…

— Ну какой там у него институт… — осторожно возразил я.

— А ты что думал? Что его хроноскоп — машинка с пианинной клавиатурой? Это же был только пульт. А подвалы были набиты энергоблоками и конденсаторами биополя. Как бы иначе он сумел добиться материализации живых тел!

Я опять поморщился: не хотелось об этом. Но все же заспорил:

— Само по себе это дело нехитрое, когда есть программа…

— Нехитрое в принципе, но технологически емкое. И надо сказать, что этот тип…

— Слушай, ну его к свиньям! — не выдержал я. — Не надо о пакостном перед дорогой.

— И то правда… Ну тогда один совет на дорогу. Там, в Старотополе, ты будь повнимательней…

— В каком смысле?

— Во всех. Не та страна, что у нас. Степень благополучия на порядок ниже.

— Ох, а здесь уж "степень благополучия", — буркнул я, вспомнив недавние вылазки террористов.

— И все-таки… — серьезно сказал Юджин.

Выехали мы следующим утром. Поездом. Решили поглядеть в окна, какая она нынче, ма-

тушка-Земля. До Старотополя было около двух с половиной тысяч километров. Экспресс-торпеда свистела по насыпям и эстакадам со скоростью полтысячи километров в час. Первую половину пути Петька плющил нос о выгнутое стекло громадного иллюминатора. Да и я почти не отрывался от окна.

Земля была красива: с пестрыми красками осени на горных склонах, с синими, выгнутыми, словно края гигантского блюда, горизонтами, с шапками облаков, пробитых веерными лучами. С белой россыпью городов и поселков на берегах и холмах...

Все эти картины разворачивались, наплывали и убегали назад с небывалой быстротой.

Когда поезд взлетал на эстакады, казалось, что мы в самолете. Впрочем, Петька сказал иначе:

— Это, наверно, как твоя "Игла", которая прокалывает космос...

Было совсем не похоже, но я отозвался покладисто:

— Пожалуй...

— Пит, а зачем вообще прокалывать Пространство? Зачем туннели к другим звездам?

— Трудный вопрос... Говорить "зачем" тут, пожалуй, бессмысленно. Человечество раздвигает

границы мира… Сейчас вот уже открыта обитаемая станция на Плутоне, почти что на границе системы. И приходит черед путешествий к другим звездам.

Петька съежился в пухлом кресле и уже не смотрел в окно. Сказал досадливо:

— Ты как-то не так объясняешь. Слишком просто.

— Извини уж. Как умею…

— Ты не обижайся. Но, по-моему, ты же сам понимаешь…

— Что?

— Что туннель в Пространстве — это… ну, не просто дорога к другой звезде. Это что-то вообще совсем новое. И тут загадка — зачем он нужен?..

Вот копнул, негодник! То самое, что всегда царапало всех нас и чему не было названия. Потому что это было предчувствие, а предчувствиям нет места в программе. По крайней мере, так утверждал строгий Валентин Сапегин. Он был прав. Настройка Конуса требовала предельной четкости…

Я хотел было пробурчать, что эта тема не для философов в коротких штанишках. Но сразу пришло воспоминание, как я, десятилетний, сижу поздним вечером на крыше, жду маму,

которая почему-то долго не идет со станции, и смотрю сквозь созвездие Большой Медведицы в дальнюю-дальнюю глубину миров. И возникает "замирательное" чувство слияния с этой бесконечностью. А сквозь него все равно пробивается тревога: почему же мамы так долго нет? Поезд опоздал, что ли?..

И вырвалось у меня то, чего говорить Петьке, конечно, не следовало. Просто не удержался.

— Может, он для того, этот туннель, чтобы каждый мог догнать маму. Если ушла по рельсам…

Я тут же испугался. А Петька молчал. Словно задремал. Я проговорил поспешно:

— А в общем-то никто не знает, чего можно ждать в конце туннеля…

Петька спросил, не глядя на меня:

— А тебе… разве не интересно, что там?

— Ну почему же…

— А зачем ты тогда ушел с "Иглы"?

Он опять копнул то, что я и сам-то лишний раз трогать опасался. Но ответил я честно:

— Много причин… Во-первых, стало страшно совсем оторваться от своего времени. А тут все-таки хоть что-то осталось. И Юджин… А самое главное: у каждого заранее была своя задача. Идти до конца должны двое — Дон и Рухадзе. Они

себя к этому готовили. А я должен был за два года отладить навигационные системы, внести все коррективы, убедиться в полной контактности Конуса с теми двумя и уйти… Моя главная задача во всей этой работе была добиться, чтобы туннель возник, начал существовать в Пространстве. А его окончание — дело других.

Петька повозился в кресле:

— По-моему, Пит, ты сам себе пудришь мозги…

— Сейчас получишь по заднице!

— Вдова, — хихикнул он.

Тогда я сказал мстительно:

— Если бы я не вернулся в положенное время, как бы мы встретились? Кто бы пришел на выручку вашей светлости?

— Тогда, значит, судьба, — примирительно согласился он.

— То-то же…

— А ты веришь в судьбу?

— Еще бы…

— А в бессмертную душу?

— Если бы не она, то одна сопливая вредная личность осталась бы безмозглым биороботом…

— Ну, это еще надо доказать, — строптиво заявил Петька.

Однако почему-то протянул руку через мягкий

подлокотник и взял меня за локоть. А потом и лег щекой на мое плечо.

— То-то же… — опять сказал я.

Петька подышал рядышком и задал неожиданный вопрос:

— А в Конусе тоже есть бессмертная душа? Ты ведь говорил, что он совсем как живое существо, как человек, только в тыщу раз умнее.

— Не умнее, а мыслит иными, многопространственными категориями…

— Ну тем более…

— Кто его знает, — вздохнул я. — Мы, Петух, пока топчемся у границы Запределья и пытаемся найти щелку, чтобы заглянуть в него…

— Не искать надо, а ковырять, — мудро заметил он.

— Вот и ковыряем. Для того и туннель…

Петька не стал больше спорить. Долго молчал. Я понемногу забеспокоился:

— Чего притих?

— Думаю, как там Кыс. Будет без меня скучать, бедный…

3

Старотополь вырос из-за горизонта разноцветными башнями высотных строений, мачтами межпланетной связи. Ничего похожего на прежний наш родной город мы не увидели — ни при подходе поезда, ни тогда, когда катили в наемной машине (с живым водителем) по шумным, современно-пестрым улицам. Можно было подумать сперва, что и не уезжали из Византийска. Впрочем, погода была совсем не южная. Серая и сырая — настоящая осень. Петьку я еще в поезде заставил переодеться в теплый костюм — теперь он щеголял в черно-оранжевой курточке с подогревом и брюках из искусственной замши. Но мою тетратканевую куртку продолжал упрямо таскать на плечах.

Двухкомнатный номер для нас был заказан заранее. В незнакомом отеле "Морской" на незнакомой улице Чаек. Портье-компьютер, гостеприимно помигав огоньками, выдвинул пластмассовую ладонь с ключом и поздравил нас с приездом. В номере на девятом этаже Петька тут же кинулся к персоналке "Агат" с принтером. Он уже поднаторел в современной электронике.

Умело вызвал справочную службу и попросил карту Старотополя. Принтер безотказно выдал цветную схему на шести стандартных листах.

— Смотри, — прошептал Петька. — Кладбище сохранилось. — Вот оно…

На юго-западе центральной части зеленело неровное пятно, усыпанное мелкими крестиками. В точности, как на старых топографических картах. И надпись была: "Загорское кл-ще (ст.)". Очевидно, "ст." — это "старое".

Мы условились, что сегодня на кладбище не пойдем. Этот поход с разведкой требовал… ну, особого настроения, что ли. И решили мы, что отправимся туда с утра, со свежими силами и с приготовленной для такого дела душой. А сегодня побродим по городу и поищем знакомые места…

Мы бродили до вечера, хотя погода не располагала к прогулкам.

Лет двадцать назад в Старополе и в окрестных землях произошли события "географического масштаба". Исполнилась мечта идиотов: деятели из Института гидрографии и мелиорации добились осуществления проекта, который обсуждался еще во времена моего детства. Были построены гигантские плотины, ближние низменности превратились в систему водохра-

нилищ, а город сделался морским портом.

Помню, что в детские годы меня эти планы приводили в восторг: чудились водные горизонты, океанские просторы и маяки на речном обрыве, который стал морским берегом. Позже сделалась ясной бредовость этих планов: природу трогать было нельзя, и так над ней поиздевались достаточно. Однако потом выросло новое поколение кретинов, и, когда я был на "Игле", старотопольское рукотворное море появилось на картах.

Всякие последствия сказались быстро. И прежде всего на климате. Это и сейчас ощущалось. Сырой ветер приносил от воды промозглую морось, пасмурное небо давило на город.

Даже Петька был недоволен. Раньше-то он, как и я, мечтал о морских просторах у родного города, но сейчас был согласен, что здесь они ни к чему. Он ведь теперь и так жил у моря, а в Старотополе ему жаль было знакомой реки Салги, слившейся с водохранилищем, жаль оврага, который превратился в извилистый залив с бетонной набережной и высокими ажурными мостами. Жаль было прежней сухой старотопольской осени с проблесками солнца и шуршанием листьев…

И вообще обоим нам жаль было старого города.

Его следы мы отыскали не сразу. Лишь потом, приглядевшись, стали узнавать знакомые кирпичные дома, зажатые среди современных высотных корпусов. С радостью увидели на берегу здание музея со знакомыми курантами. Затем сквозь сеющий дождик различили на фоне серых небоскребов башни и колокольни Троицкого монастыря.

Ни старый деревянный дом наш в Полынном переулке, ни сам переулок, ни даже улица Гончарная не сохранились. Мы этого ожидали, но все равно стало грустно.

— А может, хотя бы церковь осталась? — тихо спросил Петька. — Ну та, с подвалом. У оврага…

Церковь осталась. Но нашли ее мы не сразу. Берег оврага (то есть Овражной бухты теперь) оказался смещен, передвинут, укреплен бетонными плитами, и церковь стояла поодаль от воды. К тому же узнать ее было трудно: кирпич покрыли голубоватой штукатуркой, выстроили заново колокольню в стиле позднего барокко с белыми полуколоннами, изящными обводами арок и шпилем. И мало того — неподалеку от нашей церкви стояли еще две: одна — небольшая, белая, с древнерусской шатровой колоколенкой, другая — просторная, с порталом и круглым куполом

— этакий образец классицизма девятнадцатого века.

Построили их, конечно, не в очень далекие времена, однако стиль соблюдали прекрасно.

Церкви стояли по углам маленькой треугольной площади. Оказалось, что она так и называется — площадь Трех церквей.

Здесь был кусочек прежнего Старотополя, хотя две церкви мы видели впервые, а третью узнали кое-как. Все равно в этой площади чудилось что-то родное.

У высокого крыльца нашей церкви лежали по сторонам два громадных морских якоря. И мы с Петькой разом подумали, что, видимо, не зря оставили в подвале свой маленький парусник: сохранился здесь морской дух…

К сожалению, эта церковь оказалась закрыта, и мы зашли в соседнюю — ту, что с шатровой колоколенкой.

Было пусто и полутемно, лишь кое-где горели лампадки. Мы купили в автомате две тонкие свечки из натурального воска, затеплили перед маленьким образом Богородицы с Младенцем. Заискрился узорный золотистый нимб. Такой похожий на тот…

— Теперь можно не бояться, — вздохнул я. —

Никто не выгонит из пионеров.

— Я и тогда не боялся, — шепнул этот упрямец. Впрочем, не сердито.

Мы постояли перед иконой, обняв друг друга — он меня за обширную талию, я его за плечо. Потом вышли на площадь.

Морось в воздухе исчезла, ветер стал суше, в облаках появились желтые проблески. В нашем настроении — тоже. Мы быстро зашагали вдоль Овражной бухты, на дне которой когда-то играли в разведчиков и партизан.

Теперь между высоких берегов тянулась лента желтовато-серой воды. У причалов толпились баржи, катера, лодки, небольшие прогулочные суда. В общем, всякий мелкий флот прибрежного плавания. Здесь же — на склонах и террасах, на площадках набережной — пестрели кафе, магазинчики, павильоны. Среди облетевших тополей извивались каменные лесенки-трапы.

Пожалуй, было здесь похоже на приморский Византийск. Но не совсем похоже. Во-первых, непривычная зябкость. Во-вторых, какая-то неряшливость, бедноватость, неухоженность. Мусор на тротуарах и ступенях. Груды пустых ящиков и бочонков у торговых лавок…

Несколько раз попадались навстречу юркие

компании довольно замызганных ребятишек. Видеть таких на улицах Византийска мне в нынешние дни не приходилось. Там, даже если мальчишки были босые, растрепанные и ободранные после всяких приключений, в них была заметна ухоженность благополучных детей. Пусть многие жили без отцов, пусть не все было у них гладко, но это были отнюдь не голодные, а к тому же вольные и смелые дети — незнакомые с бедностью и страхом. И это даже самим сорванцам придавало оттенок аристократизма. Они всем встречным ясно смотрели в глаза.

Здешние ребята казались не такими. Я не о тех говорю, кто с родителями гулял по нарядному центру, а вот об этих, что держались опасливыми стайками. Была в них настороженность, печать бесприютности, цепкий, но боязливый интерес во взглядах…

Набережные становились все неухоженнее, магазинчики все беднее, тротуары все чаще сменялись скользкими тропинками. И на одной из тропинок нас встретил полицейский. В черном мундире, в нелепой, как у английского констебля времен Шерлока Холмса, каске. Пожилой, подтянутый. Поднес два пальца к козырьку:

— Прошу прощения, сударь. Вы иностранец?

Конечно, я насторожился.

— Да. Но я уроженец этого города. Хожу, вспоминаю детство. Полагаю, в этом занятии нет криминала?

Он интеллигентно улыбнулся:

— Ни малейшего. Но я не рекомендовал бы вам идти дальше в этом направлении. Нехорошее там место. Так называемые Пристаня.

— Что за Пристаня?

— Трущобы, прямо надо сказать. И за безопасность постороннего человека там трудно поручиться. Стараемся, конечно, и все-таки… Тем более вы с ребенком…

Петька оттопырил губы — оскорбился за "ребенка". Но я сказал:

— Благодарю вас, сударь… Пойдем-ка, Петь, обратно. Кстати, уже и ноги гудят, натопались…

К отелю "Морской" мы пошли через небольшой сад со столетними тополями и березами. Довольно запущенный. С одной стороны сад замыкала темная кирпичная стена с поросшим кустиками верхом. Дорожка шла вдоль стены.

Петька вдруг взял меня за рукав:

— Это знаешь что? Это стена старой пекарни! Раньше здесь так вкусно свежим хлебом пахло! Помнишь?

Я вспомнил. Еще бы! Мимо пекарни я бегал в Дом пионеров на занятия хора! И однажды мы с Валькой Сапегиным выцарапали железным болтом на кирпичах наши инициалы. Просто так.

— Помнишь, Петька? Было такое?

— Ага, было! Пошли!

Мы двинулись, разглядывая в метре от земли каждый кирпич. То, что мы искали, Петька увидел первый.

— Вот! Смотри!

Глубокие буквы на двух соседних кирпичах — почти черных от старости — были вполне различимы: "В. С." и "П. В.", а еще на одном кирпиче — "1949".

Мы с Петькой погладили кирпичи, отошли и сели неподалеку на садовую скамейку из влажных реек. Сидели и смотрели на эту стену. И вспоминали сладкий хлебный запах давней поры.

А у стены тем временем появились пятеро пацанят. Разные, лет от восьми до двенадцати. Все такая же стайка — в неряшливой одежде, нестриженые, с повадками боязливых зверят. На нас глянули с подозрением, но потом успокоились. И занялись… чем бы вы думали? Старинной игрой в пристенок. Той, в которую дулись в детстве еще мы — украдкой от взрослых. Проигрывали друг

другу тяжелые желтые пятаки, до боли в жилах растягивали пальцы, стараясь дотянуться от одной упавшей монетки до другой…

Я вдруг услышал, как Петька шумно звенит мелочью в кармане куртки (я сегодня наменял для него в банковском автомате целую горсть здешних латунных денежек со старинным гербом Старотополя). Он азартно следил за игроками. Потом выдохнул:

— Не умеют играть…

— Петух, не смей, — запоздало сказал я. Но он уже бесстрашно шагал к незнакомым мальчишкам.

Я напрягся, но… не двинулся. Хотя и понимал, что эта мелкая шпана встретит аккуратного, благополучного мальчика неласково. Ладно, не съедят. Пусть знает, как соваться к кому не надо.

Однако мальчишки встретили Петьку беззлобно. И кажется, без большого удивления. От скамейки до стены было шагов пятнадцать, я не различал слов негромкого разговора, но услышал вполне дружелюбный смех старшего мальчика — этакого Гавроша с черными, ниже ушей волосами и в мешковатом грязном свитере.

И они начали играть! Спокойно, будто знакомые. Петька иногда что-то объяснял тонким

своим бесстрашным голоском. Бил о стену монеткой легко, даже с изяществом, потом быстро приседал, растягивал пальцы и небрежно бросал в карман выигранные денежки. Оно и понятно! Я тоже в свое время играл неплохо… Сейчас я даже загляделся на Петьку.

Он, кажется, общелкал всех. Мальчишки стояли, переглядывались, слегка разводили руками в потрепанных рукавах. Самый маленький отвернулся, отошел в сторону, начал тереть глаза. Он был белоголовый, чумазый, в большущих ботинках без шнурков, в каком-то нелепом жилете. И, несмотря на холод, с голыми руками и в коротеньких обтрепанных штанах.

На него наконец все оглянулись. Петька брякнул полной пригоршней мелочи, подошел к малышу и молча опустил деньги в карман его жилета. По-моему, не только выигранные, но и свои. Затем… он поступил вовсе уж неожиданно. Сбросил мою куртку, дал ее подержать одному из мальчишек, сдернул с себя новую черно-оранжевую курточку с подогревом и накинул на плечи малыша. Снова запахнулся в мою куртку. Я чувствовал, как Петьке хочется оглянуться на меня и как он себе это запрещает. Ладно, негодник, поговорим позже. А впрочем…

Они с полминуты еще побеседовали. Малыш все трогал на себе Петькину курточку и как-то по-взрослому покачивал белой заросшей головой. Потом ребята пошли вдоль стены, а Петька ко мне.

Я чувствовал, как ему неловко, и ожидал с некоторым злорадством.

Он подошел, глянул исподлобья. Пробубнил:

— А чего… Мне и в этой не холодно.

— Ну-ну…

— А они… почти что бездомные…

— Ты, кажется, оправдываешься, — язвительно сказал я.

— Ну и оправдываюсь… Ты небось ругаться будешь.

— Буду. Чего тебя понесло в эту компанию? Вот накостыляли бы — и драпать. И правильно бы сделали…

— Не накостыляли бы! Они ребят не трогают!

— Смотря каких…

— Никаких!

— Как это ты усмотрел в них такое благородство? С виду весьма характерные юные уголовники.

Петька хихикнул:

— Даже и не с виду… Но ребят правда не трога-

ют. И деньги, которые проиграли, отдали сразу. Хотя и не должны были.

— Почему же не должны?

— Потому что между собой они, оказывается, играли понарошку. У них деньги общие. А я не знал, начал всерьез…

— Между собой понарошку, а если бы обыграли тебя, не вернули бы ни гроша, будь уверен…

— Нет, — вздохнул Петька. — Ты не понимаешь. Они какие-то не такие.

— Какие "не такие"?

— Ну, ты, наверно, думаешь, это как сарайские пацаны в сорок девятом году…

Я, признаться, так и думал. Юные жители окраинного поселка Сараи были известны в свое время всему Старотополю.

— Сейчас другое время, — философски разъяснил Петька. — И нравы другие…

— Нравы!..

Петька сел рядышком и серьезно спросил:

— Знаешь, что они про тебя сказали?

— Про меня?.. Спорим, что знаю! "Тот толстый фраер на скамейке небось твой папахен? Не зашибет за куртку?"

— Нет. Один попросил: "Скажи своему папе спасибо за куртку, он хороший…"

— Елки-палки, прямо рождественский рассказ, — крякнул я.

Петька взбодрился и весело сообщил:

— Теперь, между прочим, я свободно могу ходить по этим Пристаням. И ты со мной…

4

Но никакие Пристаня мы посещать, конечно, не стали. Следующим утром отправились на Загорское кладбище.

Это был густой массив косматых, черных от старости сосен, дремучих берез и тополей. А внизу — сплошные кусты, репейники и бурьян.

Лишь к маленькой кладбищенской часовне тянулась расчищенная дорога. А дальше — джунгли.

Хорошо хоть, что с погодой нам повезло: утро выдалось неожиданно сухое и ясное.

Сквозь хвою и облетевшие ветки колюче светило холодное солнце, синели клочки неба. Но заросли, через которые мы пробирались, хранили в себе запахи вчерашнего дождя. Бр-р…

Петька уверенно ломился вперед. Кое-где среди могильных решеток сохранились намеки на дорожки, но чаще приходилось двигаться

напролом.

Я сказал Петьке в спину:

— Неужели ты что-то помнишь? Ведь ничего же прежнего не осталось…

Он выговорил, отдувая от лица сухие листья и паутину:

— Главное — найти тот дом. Сторожку… А от нее точно на запад сто пятнадцать шагов. Я помню…

Ну да, он помнил, конечно. Для него-то много ли времени прошло! Но здесь прошло около сотни лет. И ничего памятного для Петьки безжалостное время не оставило.

Для меня тоже.

Где-то здесь были похоронены тетя Глаша и дядя Костя. Я, уже взрослый (но еще, конечно, до старта "Иглы"), приезжал в Старотополь, бывал на их могилах. Но теперь и не помышлял найти их в этом заросшем хаосе…

А Петька уверенно пробирался вперед, будто внутри у него был компас.

И мы вышли к древней кладбищенской сторожке! Я тоже узнал ее. Точнее, это была не сторожка, а длинный приземистый дом с узкими окнами и крутой двухскатной крышей. Сложенный наполовину из кирпича, а наполовину из плоских серых камней. Он врос в землю по самые окна. И

все же, судя по протоптанной от крыльца дорожке, был обитаем…

Петька подошел к углу дома, прищурился, глянул вдоль стены и решительно зашагал, что-то бормоча под нос. Про меня будто забыл.

И опять были заросли, косые ржавые решетки, кресты, переплетение веток и твердого, как проволока и жесть, репейника.

Вдруг Петька остановился. Резко. В двух шагах от могучего, прямо поднебесного тополя. Поднял голову, сказал шепотом:

— Ух, какой ты сделался…

— Это ты мне? — беспонятливо отозвался я.

— Это я ему. Тополю… Я его посадил вот таким. — Петька, не оглядываясь, поднял руку до плеча. — Это был большой сук, его отломило грозой от тополя на нашей улице, и я вкопал здесь. И он прижился…

— Ты уверен, что это он?

— Конечно! Смотри — шина! Я ее положил тогда как загородку вокруг саженца. А теперь — вот…

Метрах в двух от земли на могучем стволе сидела старинная автомобильная шина. Видимо, тополек, превратившись в тополь, заполнил все ее кольцевое пространство, а потом, вырастая, поднял этот резиновый пояс в высоту. Мало того,

он в конце концов разорвал шину. И все же она сидела плотно, охватив ствол подковой…

"Ну а где же…" — стесненно подумал я. Или, кажется, сказал вслух. Вокруг была колючая высокая трава. Никакого намека на памятник.

Петька быстро оглянулся на меня, встал на колени, скрывшись в траве по плечи. Начал вырывать стебли и рыть землю руками. Потом оглянулся опять:

— Смотри…

Я опустился рядом. Из-под земли и стеблей торчал угол темного камня.

К счастью, у меня хватило ума взять с собой большой складной нож. Мы начали им рыть податливую почву, резать корни. И через четверть часа очистили верхнюю часть поваленного гранита. Открылся на темной поверхности желтоватый, с трещинками фаянс. Петька старательно протер его ладонями. И глянула на нас мама. Молодая…

Нечего было и думать самим поднять памятник. Мы пошли назад, к сторожке. Оказалось, что там кладбищенская контора. Вполне современная, несмотря на заброшенный вид дома. Даже с аппаратами всех внешних коммуникаций. Двое молодых мужчин вполне интеллигентной (я бы

сказал "аспирантской") внешности выслушали меня, затем вместе с нами сходили к отрытому камню. И сказали, что за три дня поставят памятник и приведут могилу в порядок.

В конторе мы оформили соглашение. Эти ребята запросили совсем небольшую сумму, и я заплатил вдвое — натуральными пластиковыми ассигнациями здешнего банка.

Все были довольны друг другом. Правда, Петька не выдержал, упрекнул:

— А чего тут у вас такое захолустье? Не проберешься.

Воспитанные кладбищенские смотрители не обиделись. Объяснили, что смотреть за всем кладбищем здешняя служба не в состоянии. И рады бы, да нет ни сил, ни средств.

— Но когда просят, мы помогаем, восстанавливаем, — сообщил очкастый служитель. — Сейчас, кстати, часто обращаются, просыпается у людей голос крови…

"Голос крови… Голос крови… — толкалось у меня в голове, когда в такси-фаэтоне ехали в гостиницу. — Кто же мы с Петькой друг другу? Двойники? Братья? Люди из разных миров, сведенные вместе каким-то аномальным поворотом межпространственных космических дорог? Или

все-таки я и он — одно и то же? Одно целое?.. А мама?.. А этот Старотополь — он чей? Петькин или мой?.."

Петьку же, оказывается, занимали совсем другие мысли, более приземленные. Когда поднялись в номер, он спросил:

— Как ты думаешь, не надуют нас эти парни? А то деньги получили вперед и теперь решат, что можно ничего не делать…

— Через три дня сходим посмотрим…

— А… — Петька растерянно мигнул. — Разве мы будем здесь еще три дня?

— А разве нет?

Он виновато обмяк.

— Что с тобой, Петух?

— Я думал, мы сегодня вечером уедем обратно. Понимаешь… я послезавтра должен петь… Ну, "Песню Джима". Я обещал. В школьном хоре…

— Записался, что ли?

— Ага…

— И ничего не говорил!

Он завздыхал и засопел.

— Ну а если пропустишь это выступление, что страшного? Тебя же отпустили в эту поездку…

Петька молчал. И я чувствовал, что для него эта песня в назначенный день — очень важное

дело. Может быть, связь между прошлой и нынешней жизнью. Может быть, способ отчистить эту песню от липкого воспоминания о Полозе. Или что-то еще. Какое-то внутреннее оправдание и утверждение…

Петька прошептал, глядя в пол:

— Ты, наверно, думаешь: "Вот какой… бессовестный. Сам рвался искать мамину могилу, а нашел — бросает…"

— Ну что ты, Петушок. Кто бросает? Ладно, уедем завтра, а потом вернемся. Через неделю. Или в ближайшие каникулы… Правда, у меня тут еще было дело, хотел провернуть поскорее…

— Какое?

— В архив хотел заглянуть, кое в чем разобраться… Ну ладно, потом…

Петька вскинул глаза:

— А почему потом? Ты оставайся, а я поеду. Маленький я, что ли?.. Ну позвони дяде Юджину, он меня встретит. А из поезда я куда денусь?

Это была мысль! Но в первый момент я отогнал ее со страхом. Отпустить Петьку от себя? Жутко подумать. Изведусь я тут от беспокойства…

— Пит, я ведь все равно не смогу быть всегда как пришитый к тебе. Я же… расту…

Он был, конечно, прав. И, почуяв мои колеба-

ния, он добавил уже с улыбкой:

— Чего ты боишься-то? Полоза все равно больше нет на свете.

Зря он сейчас вспомнил о Полозе. Но с другой стороны… Сколько можно жить с суеверным страхом? Да и в самом деле, куда Петька денется, будучи под неусыпными очами Карины и Юджина?

А мне очень хотелось задержаться в Старотополе. Не отпускал он меня своими неразрешенными загадками.

Я вынул радиофон, чтобы вызвать Юджина. Оказалось, однако, что радиофонные каналы заблокированы местной службой связи: хочешь разговаривать с заграницей — связывайся через общую электронную сеть, предварительно заплатив.

Я вызвал Юджина через "Агат", стоящий в гостиничном номере. Юджин появился на экране — улыбчивый, небритый, надежный. Я изложил ситуацию. И, конечно, Юджин сказал, что встретит Петьку и будет его "пасти" до моего возвращения.

— Только отправь его не поездом, а на аэробусе. Это всего час дороги…

Петька, узнав про аэробус, возликовал и заволновался.

новался: он еще никогда не летал на самолетах. Ни на каких…

Я отвез Петьку в аэропорт и сдал на руки милейшей стюардессе, которая обещала "передать этого чудесного мальчика в Византийске прямо в руки встречающим".

"Чудесный мальчик", в свою очередь, пообещал мне всячески оправдывать это звание в самолете и дома. А на прощанье шепотом попросил:

— Когда все будет готово… там… Ты оставь бумажный кораблик, ладно?

— Конечно, Петушок…

Часа полтора, чтобы протянуть время и приглушить беспокойство, я бродил по Старотополю, все чаще узнавая знакомые дома и закоулки. День по-прежнему стоял сухой, хотя солнце уже пряталось в серой пелене, а от воды несло зябким ветром.

Потом я вернулся в гостиницу. И почти сразу меня вызвал Юджин. Он говорил от Карины. Сказал, что Петька уже здесь, дома, в полном порядке. Занимается сразу тремя делами. Лопает вареники с грибами, которые в громадном количестве сварила Карина, слушает "вашу ржавую шарманку" и не забывает обниматься с ненаглядным Кысом. Кстати, Кыс тоже ест вареники с

грибами, что для нормального кота совершенно противоестественно.

С той минуты на оставляло меня ощущение счастливой беззаботности и освобождения от всяких тревог. Петька был под надежным присмотром, а я отвечал только за себя. Это было впервые после того, как судьба свела меня с Петькой.

Я решил, что сегодня не стану заниматься ничем серьезным, не буду ломать голову межпространственными и темпоральными проблемами, а опять пойду болтаться по Старотополю. Буду бездумно смотреть на окружающее и развлекаться.

Это бродяжничество снова привело меня к Овражной бухте, на бестолково-живописную набережную с лестницами, уступами и террасами, где лепились друг к другу магазинчики и уютные забегаловки. Мне понравилась вывеска на одном из ресторанчиков: "Три рапиры". Жестяной геральдический щит с тремя скрещенными клинками раскачивался на ветру с весьма романтическим средневековым скрежетом.

Я усмехнулся, вспомнив Атоса, Портоса и Арамиса, поднялся на крутое крыльцо и толкнул застекленную дверь.

ГОСПОДА ДВОРЯНЕ
1

Не знаю, как назвать это заведение. Трактир, кабачок, ресторанчик? Была здесь какая-то смесь аристократизма с простотой портовой таверны. И в посетителях, и в обстановке. Комната с витражами в высоких готических окнах, со сводчатым потолком, с которого на цепи спущен был довольно низко светильник, сделанный в форме корабля.

Эта сверкающая электрическими свечками каравелла пришлась мне весьма по сердцу. Показалось, что все здесь будет хорошо, приветливо, беззаботно.

Посреди комнаты стояли два длинных дощатых, нарочито грубых стола (я вспомнил "Разбитую амфору"). У стен — столики для двух-трех человек. Посетителей было довольно много, причем весьма пестрый люд. И вполне изящная публика, и потертые обитатели пристанского района в мятых фуфайках и обвисших свитерах.

Звякал какую-то нехитрую мелодию музыкальный автомат. Заглушая его, у дальнего столика

пели:

А был он, ребята, и молод и смел,

А главное — верен в любви.

Да только он в спину стрелять не умел,

Вот сам и умылся в крови...

Ла-ла! Ла-ла-ла-ла!

Вот такие, братцы, дела!

И, конечно же, вокруг сияющего огоньками корабля плавал табачный дым. Ну прямо питейное заведение в Порт-Рояле времен Моргана и Кида.

Пахло сигаретами, жареным луком, косметикой и пролитым кислым вином.

Я отыскал глазами свободный столик у дальнего простенка, прошел, сел на заскрипевший жиденький стул. Почти сразу возник у столика крепкий курчавый парень в кожаной безрукавке с бахромой. Наклонился доверительно:

— Что будет угодно мсье? — Судя по всему, здесь был принят французский стиль общения.

Я отозвался столь же дружески:

— Мсье здесь первый раз, приехал издалека. Что вы можете порекомендовать?

— Для знакомства с нашими "Рапирами" — бу-

тылочку "Пласа де торос", это красное испанское. И наш фирменный набор блюд, главное из которых — жареное седло ламы в соусе "Мушкетер".

— Валяйте!

— Мсье будет один или кого-то ждет?

— Один, — вздохнул я. — Видите, мне и одному-то за этим столом тесновато.

Парень понимающе посмеялся, исчез, через минуту вернулся с бутылкой, стаканом и тарелкой, полной какой-то еды, густо усыпанной курчавой зеленью. Налил стакан и сообщил прежним доверительным тоном, что седло уже жарится. Потом скрылся.

Я глотнул. Вино было восхитительное. Я полностью разнежился. Сидел, ковырял вилкой закуску, так и не разобравшись, что это такое (по вкусу — вроде запеканки из крабов с орехами под острой приправой). Поглядывал на людей.

За одним длинным столом бесхитростно веселились простоватые на вид мужчины с двумя девицами, которые сдержанно хихикали в ответ на игривые тосты. У другого такого же стола — ближе ко мне — расположилась компания, которая появилась тут вскоре после меня. Более аристократическая, чем соседи. Это были три тонколицые дамы с тяжелыми серьгами, том-

ными глазами и высокими прическами и пять кавалеров в ладно скроенных кожаных сюртуках. Было нечто старомодное в их широких обшлагах с блестящими пуговицами и в белых, похожих на взбитые сливки жабо между черных лацканов.

До меня долетали фразы:

— Однако, господа, странно было бы видеть несравненную Терезу в этой роли…

— Его жеребец был резвее моей Красотки, но не в пример капризнее, и это дало мне счастливый случай выиграть позицию…

— Я и говорю: "Сударыня, надежды ваши весьма беспочвенны, ибо этот господин не имеет обыкновения платить долги…"

Один из этой компании — тощий, лысоватый, маленький — часто вставал и мимо меня уходил к стойке, затем возвращался. Он прихрамывал, но движения его были быстрые и не лишенные верткого изящества.

Изящество это, однако, не спасло его от неловкости, с которой он и зацепил спинку моего стула. Сделав по инерции три шага, он плавно оглянулся. Неторопливо ощупал меня бесцветными глазками, а потом сказал чуть пренебрежительно:

— Па-ардон, мсье.

Мне это не понравилось: и взгляд, и тон. Однако я отозвался добродушно:

— Пустяки, сударь. — В самом деле, не затевать же склоку. Тем более, что "Пласа де торос" нравилось мне все больше. Закуска — тоже.

Умиротворенность так овладела мной, что и второй толчок неосторожного вертуна я снес довольно мирно.

— Па-ардон, мсье…

— Ничего-ничего…

Но сколько же можно! Не успел я пропустить еще стаканчик, как опять — трах! По краю стола. Чуть посуда не посыпалась.

— Па-ардон, мсье… — сказал он с той же ленцой и рыбьим взглядом.

— Сударь! Не кажется ли вам, что вы несколько однообразны?

Видимо, я это довольно громко сказал. По крайней мере отчетливо. Красное испанское приятно растворялось в крови, и мне не хотелось, чтобы кто-то портил мой обед.

Вертлявый тип встал прямо. Маленький, как подросток, но с залысинами и морщинистым пренебрежительным ртом.

— У мсье какие-то претензии?

Я сел удобнее.

Парень в безрукавке — он только что принес мне пахучее жаркое — сказал очень тихо:

— Не связывайтесь…

Но я ощутил в себе Петьку — обиженного пацана, который никого не трогал, а к нему нахально пристали и нарываются на драку. Думают, что если я один, то все можно? Думают, что Петька Викулов не читал "Трех мушкетеров"?

— Пока у меня претензий нет, — старательно разъяснил я. — Но если у вас, шевалье, возникнет желание четвертый раз зацепить мой стул или столик, придумайте какую-нибудь иную фразу. Мне не нравятся повторения.

Он склонил набок голову, скрестил руки:

— А что вам нравится мсье?

— Не советую, — опять шепнул мне официант.

Я кивнул ему:

— Благодарю. Вы свободны… — А вертлявому сообщил: — Мне нравится еще, когда слушают мои советы. На данный момент совет мой таков: обходите меня стороной. А то странно видеть, как господин со столь изящной талией не проявляет ни малейшей ловкости. Другое дело, если бы это был я, с моей комплекцией…

Последней фразой я давал еще возможность обратить дело в шутку. И вертлявый, кажется,

понял меня. Молча кивнул и отошел к своему столу, за которым все внимательно слушали наш разговор.

Вертлявый и друзья, не глядя на меня, стали тихо переговариваться. Их дамы, склонив прически, оживленно зашептались. Я с полминуты наблюдал за компанией. Потом остыл и принялся за жаркое. Решил, что вопрос исчерпан. Однако прежней беззаботности уже не было.

Вскоре я увидел, как два приятеля вертлявого поднялись и направились ко мне. Один был высокий, крючконосый, с гладкой прической. Другой — пониже, с лицом, обрамленным тонкой черной бородкой, как у испанского шкипера из кино. Только нос у него был не испанский, разлапистый.

Я напрягся, но оба держались учтиво. Крючконосый с полупоклоном осведомился:

— Прошу прощения, сударь, вы дворянин?

Я сперва чуть не подавился. Но быстро ухватил правила игры.

— У вас есть сомнения на этот счет?

— Ни малейших, мсье! — темпераментно воскликнул шкипер. — Но хотелось бы услышать подтверждение из ваших уст!

Это становилось забавно. Хотя в глубине души

уже шевельнулся червячок нешуточной тревоги.

— Мой отец, — сказал я, — был начальником штаба Отдельного гвардейского орденов Суворова и Александра Невского полка. Полагаю, вам этого должно быть достаточно.

— Вполне, — наклонил голову крючконосый. — И я полагаю, что, будучи сыном столь достойного кавалера, вы знаете, как между людьми нашего круга решаются вопросы чести.

Я сел поудобнее. И попружинистее.

— Объяснитесь, мсье.

Крючконосый объяснился:

— Минуту назад вы оскорбили нашего товарища, отставного штабс-капитана Гвальского. К сожалению, господин Гвальский, по причине полученного в сражении увечья, на которое вы столь неучтиво намекнули, не имеет возможности драться на поединке сам. Эту роль великодушно согласился взять на себя наш общий друг граф Угин…

Шкипер умело щелкнул каблуками и наклонил голову с бородкой-пояском и носом-лаптем. Я подумал, что это скорее всего такой же граф, как я — солист балета. А сидевший внутри меня Петька словно воскликнул: "Ни фига себе! Вы что это, ребята? По правде?"

Сам я, однако, отозвался в меру насмешливо и в меру вежливо:

— Не помню, чтобы я имел неосторожность оскорбить пострадавшего в боях штабс-капитана. Мне казалось, наоборот…

— Вам угодно увиливать, сударь? — надменно осведомился крючконосый.

— Мне угодно задать господам вопрос: как вам видятся последствия дуэли? Мне кажется, что исход был бы одинаково печален для обоих противников: для одного кладбище или госпиталь, для другого тюрьма…

Шкипер — граф Угин — презрительно фыркнул полными губами. Крючконосый разъяснил снисходительно:

— Понимаю, что вы издалека. Вам неведомо, что в нашем городе дуэли разрешены специальным решением муниципалитета. Все происходит совершенно законно, по протоколу.

Тут опять Петька: "Елки-палки! Значит, по правде убить могут?" А я: "Что-то не похоже на обычную кабацкую стычку… Кому это надо?" И вслух:

— Мне кажется, господа, вы ищете легкой победы. Велика ли заслуга попасть из пистолета в такую обширную мишень, как я? Или распороть

такому тюфяку шпагой брюхо…

— Сударь, ваша фигура — это ваша проблема, — заявил крючконосый. — Кодекс чести распространяется на всех, независимо от комплекции. Угодно вам назвать себя и указать час и место, где вы завтра сможете принять агента фирмы "Барьер", чтобы обговорить все условия?.. Или вы предпочитаете иметь дело с полицией, куда мы вынуждены будем заявить об оскорблении нашего друга?..

Крючконосый и граф оглянулись на дверь. У нее, будто по заказу, маячила фигура в белых ремнях и высокой каске. А тут еще замигали белые вспышки — два юрких репортера обстреливали нас из объективов. Скорее всего, эта история появится в завтрашних утренних выпусках.

Не хватало мне свой визит в родной Старотополь отметить трусостью!

Да и разве я сильно рискую?

Но самое главное — узнать бы: кому это надо?

Я встал, опрокинув стул. Бросил рядом с тарелкой визитную карточку:

— Завтра в девять утра. Отель "Морской", номер девятьсот пять…

И все разом успокоилось. Господа дворяне ушли к своему столу и больше на меня не смотрели. Ре-

портеры исчезли. Полицейский мирно беседовал с барменом и потягивал из стакана.

Я пожал плечами и сел. Допил и доел все, что было на столе. Расплатился с официантом, который теперь индифферентно молчал. Вышел на улицу.

Нельзя сказать, что я был очень встревожен. Скорее озадачен. Впрочем, когда я подходил к гостинице, недавний случай все больше казался мне дурацкой выходкой ресторанных завсегдатаев, которые решили поиграть в гусар. И в номере я завалился спать, подавив желание позвонить еще раз в Византийск, Петьке. Спит уже небось.

Уснул и я, подумав напоследок, что никакого агента фирмы "Барьер" я завтра, конечно, не дождусь.

2

Агент пришел. Мне сообщил о нем дежурный робот: стукнул в дверь пластиковым пальцем, бархатно сказал через динамик:

— Прошу прощения. К вам пришли. Прошу прощения. К вам пришли.

Я был еще в постели. Чертыхаясь, прыгнул в брюки, головой нырнул в свитер. Ноги — в шле-

панцы. Отпер дверь.

Робот укатил на роликах, а передо мной оказался пожилой человек с плоским портфелем. Это был, без сомнения, клерк. Очень подходило к нему такое название — "клерк". Среднего роста, сухощавый, чуть сутулый и седоватый мужчина со строгим пробором прически, в сером отглаженном костюме, в старомодных, с металлической оправой очках. С выражением официальной доброжелательности на лице. Лицо было с аккуратными морщинками, пожилое.

— Доброе утро, господин Викулов. Я — от фирмы "Барьер".

Елки-палки! Значит, не приснилось? И не шутка?

Я машинально посторонился. И стоял с обалделым видом. Клерк сказал:

— Извините, господин Викулов, я, кажется, не вовремя? Но вы сами назначили этот час…

— Назначил, — насупленно признался я. — Было дело.

— Если вам сейчас неудобно, я зайду позже.

— Да чего уж там… Давайте к делу, раз пришли.

— Вы позволите мне присесть?

Он деловито устроился у письменного стола,

извлек из портфеля плоский принтер, какие-то бумаги, придавил их непонятной тяжелой штучкой. Оглянулся на меня:

— Как вы, очевидно, догадались, мне поручено составить контракт и протокол поединка, о котором вы имели честь договориться с господином Угиным и его друзьями…

— Нельзя сказать, чтобы я очень стремился договориться, — сообщил я откровенно. — До сих пор не понимаю, чего они прилипли. Из-за совершеннейшей ерунды…

Клерк отозвался с сочувствием:

— Скорее всего, ерунда была поводом. Видимо, причины глубже. Сейчас редко вызывают исключительно из-за принципов чести.

Он подтолкнул мои вчерашние мысли: "Кому все это надо?"

Нет, в самом деле — кому? Зачем?

— Не понимаю, — сказал я. — Кажется, никому дорогу я не переходил… Ерунда какая-то! Мальчишество! Неужели здесь этим занимаются всерьез?

— Дуэлями? Вполне всерьез… Впрочем, есть ведь простой способ избавиться от нее, — объяснил клерк доброжелательно. — Надо только принести извинения с публикацией в одной из

газет. И если другой причины, кроме ссоры в "Трех рапирах", действительно нет, эти люди оставят вас в покое… Кстати, бланк с официальной формой извинения у меня есть, стоит лишь вписать имена и еще три-четыре слова. И расписаться.

Конечно, это был самый простой выход. Ведь ты же не задиристый подросток! Сколько тебе лет! И разве ты за этим сюда приехал?

Я вспомнил нахальные глаза "аристократов": отставного штабс-капитана Гвальского, крючконосого графа Угина (интересно, он в самом деле граф?).

А завтра в газетах (моего родного города Старотополя) напечатают: "Инцидент, имевший место в таверне "Три рапиры", закончился вполне благополучно. Вызванный графом Угиным господин Петр Викулов, приехавший из Византийска, принес свои глубокие извинения графу и его друзьям…"

Ну что же ты за мерзавец, Петька! Чего ты опять крутишься во мне, как еж, засунутый в мешок!.. Вот сейчас возьму и подпишу!..

"Как стало известно нашему корреспонденту, господин Викулов — сын офицера гвардейского орденоносного полка прошлых времен, следовательно, обладает всеми правами на звание и

достоинство потомственного дворянина. Однако трудно было ожидать от человека таких лет и такой представительной внешности, что он проявит склонность отстаивать свою честь путем дуэли..."

Экая чушь лезет в голову!.. Петька, заткнись!

И все же я не взял бланк. Спросил с хмурым сомнением:

— А если дело не только в ссоре? Тогда что?

— Боюсь, что тогда все сложнее. У этих людей руки длинные. Будут искать вас даже за границей.

— Что это за люди?

— Это... своего рода клуб. Любители старины, интриг, аристократических фокусов. И кроме того... сами видите, что не прочь и убрать кого-то, если он... кому-то не нравится.

— Однако вы не очень бережете тайны клиентов вашей фирмы, — усмехнулся я. — Не боитесь, что она разорится, если дуэлянты узнают об этом?

Клерк пожал плечами:

— Это не постоянные клиенты. Фирма занимается дуэлями от случая к случаю.

— А я думал, что "Барьер"... это специфика.

— Наша специфика шире. Имеется в виду ба-

рьер беззаконию. У нас обширная юридическая практика. Адвокатура, имущественные процессы, вопросы наследования… Кстати, если вам угодно оставить завещание, то…

— Нет, подожду. Не думаю, что дуэль кончится столь уж плачевно.

Клерк смотрел на меня через плечо со смесью сочувствия и профессионального интереса.

— У вас есть опыт в таких делах?

— Нет, но… в общем, посмотрим.

Он покачал головой. Начал щелкать на принтере и скоро подал мне лист с отпечатанным протоколом. В нем говорилось, что "г-н П. Викулов, уважая обычаи и законы г. Старотополя, согласился с г-ном Угиным участвовать в поединке, который имеет быть 4 ноября сего года на ристалище "Гостиный двор" в полдень. Противники вправе иметь своих секундантов, но фирма "Барьер", которая берет на себя устройство данного мероприятия, направит к месту действия двух своих представителей для наблюдения за неуклонным исполнением правил, изложенных в прилагаемом протоколе… За указанные услуги господа дуэлянты благоволят заранее внести плату на счет фирмы "Барьер" в сумме…".

— Ого, — сказал я, увидев сумму. — И это за

удовольствие быть продырявленным.

Клерк развел руками:

— Налоги, сударь.

Несмотря на свою зловещую роль, клерк был мне симпатичен. И кажется, я ему тоже.

Он протянул мне бланк протокола.

"...до смертельного исхода или ранения, когда один из противников не в состоянии продолжать поединок..."

"Будучи обезоруженным, дуэлянт обязан принести извинения или дать соответствующие объяснения, в ином случае противник его имеет право на последний выстрел или удар..."

Великий Хронос, ну и правила!

"Право выбора оружия принадлежит вызванному на поединок. Вызывающий обязан принять этот вид без оговорок, если данное оружие имеется в реестре дуэльного кодекса..."

В пункте "Вид оружия" был пропуск. Его следовало заполнить.

— Если у вас нет опыта, советую выбрать пистолеты "флибустьер". Небольшие такие, вроде этой игрушки... — И клерк показал на вещицу, которой он придавил бумаги.

Это был оловянный пистолетик. Самодельный, отлитый в глиняной форме... Знакомый такой...

Клерк продолжал между тем:

— Правда, в руках профессионалов и они смертельны, но все же дают противнику некоторый шанс. Прицельность у них минимальная… Для вас ведь главное не то, чтобы попасть в кого-то, а чтобы в вас не попали. Правильно я понимаю?

— Правильно вы понимаете… Только как-то очень уж буднично говорите о вещах, от которых пахнет погребальной службой. А вместе с тем вы ничуть не похожи на Харона, сопровождающего души на тот свет…

Он виновато, по-домашнему как-то улыбнулся:

— Извините, привычка…

— Кстати, как вас зовут? Не могу же я всерьез именовать вас Хароном.

Клерк быстро встал:

— Я не представился. Непростительная оплошность, старею… Моя фамилия Турунов. Ефрем Георгиевич. Старший агент отдела разовых мероприятий и так далее…

Вот так, Петенька!.. Я с ощущением грусти и неожиданной хорошей встречи смотрел на пистолетик. Можно сказать, "с печальной радостью".

— Догадываюсь, что вы здешний уроженец…

Он охотно покивал:

— Да. И предки мои тоже…

— Смею спросить, откуда у вас эта вещица? Казалось бы, детская игрушка…

— Игрушка и есть. Своего рода талисман. В детстве мне подарил ее дед. Она и у него была талисманом… Дед рассказывал, что, когда он был мальчиком, получил этот пистолетик в подарок от хорошего друга. А друг этот вскоре таинственно исчез из города. Вот дед и хранил память о нем… И я ношу с собой… Все мы в душе бываем сентиментальны.

— Бываем, — согласился я. И подумал: "Друг… Всего-то и была у нас одна хорошая встреча…"

— А позвольте спросить, господин Викулов, почему вас заинтересовала эта безделица?

— В детстве мастерил такие. И заряжал их головками от спичек. Тогда еще были в ходу серные спички… Стреляло это оружие громко, но безобидно.

— Сейчас, к сожалению, этим нельзя ограничиться, — виновато сказал Ефим Георгиевич, внук Юрки Турунчика.

— Понимаю… Сообщите графу Угину и его… сообщникам, что я выбираю холодное оружие. Сабли или шпаги. Возможно, это удивит их, но таково мое решение, на которое я имею право.

Турунов, кажется, обрадовался:

— У вас есть опыт?

— Опыт детства, Ефрем Георгиевич. На исчезнувшей ныне улице Гончарной, где сейчас магазин "Одетая Одетта", были чудесные дворы и дровяные сараи. И такие там случались мушкетерские бои…

Я обманул внука Юрки Турунчика. Мой фехтовальный опыт не ограничивался мушкетерскими играми на старотопольских дворах. Кое-что показывал мне и моим одноклассникам учитель физкультуры — мастер боя на эспадронах, чемпион Византийска и всего Полуострова. Это было уже в старших классах. Спортсменом-фехтовальщиком я не стал, но боевую стойку и основные приемы помнил. Этого хватит, чтобы не выглядеть перед графом Угиным полным тюфяком. Разумеется, сабельным искусством мой противник владеет в совершенстве. Профессионал! Но едва ли ему знакомо искусство другого рода — темпоральная коррекция. Я же, слава Богу, ею владел.

По этой причине особой тревоги за исход поединка я не испытывал. Досадно только, что ждать придется три дня. Таковы правила. Предполагалось, что за этот срок противники могут остыть и помириться.

Графу Угину с приятелями остывать нечего.

Они и вчера действовали вполне холодно и расчетливо. Знать бы зачем. Вот и Ефрем Георгиевич Турунов дал понять: кому-то выгодно. Кому? Такой вопрос и точил меня.

Впрочем, так было лишь половину первого дня. Потом я успокоился (даже как-то слишком), растворился опять в этаком умиротворении, долгими часами бродил по Старотополю, отыскивая приметы прежних времен. И постепенно почти перестал думать о предстоящей дуэли.

Идти в городской архив мне расхотелось. Вначале была мысль: спросить, не сохранились ли школьные документы середины прошлого века. И есть ли в списках шестого класса школы номер двадцать пять ученик Петя Викулов? Или после пятого класса он там не значится? И посмотреть газеты тех лет: нет ли заметки о таинственном исчезновении во время концерта (или после концерта) солиста детского хора?

Но потом решил: не пойду. Какой бы ни был результат архивных поисков — что это решит? Только добавит вопросов…

Я бродил, вспоминал детство. Турунчика, например. Почему он сказал внуку, что мы были друзьями? А может, и сам верил в это? Наверно, никто к нему не относился лучше меня, хотя и

я-то сделал всего один добрый пустяк — подарил пистолетик. Перед отъездом в пионерский лагерь встретил Турунчика на улице, почему-то пожалел его и сунул ему в ладонь тяжелую игрушку…

А Петька рассказывал, что это случилось, когда он собрался к отцу и потом оказался в Византийске. Исчез, одним словом… Но я-то не исчезал! Я потом еще не раз встречался с Турунчиком до отъезда в Византийск. А Турунчик рассказывал внуку, что друг его пропал… Значит, здесь "работает" Петькин вариант. Этот Старотополь — его!.. И мамина могила — здесь…

Незачем и в архив идти, чтобы понять — это Петькин город. Петькино пространство. А где же мой Старотополь? В каких временах и пространствах затерялся? И был ли вообще?

Тьфу ты, голова может лопнуть от всего от этого… Все равно это мой Старотополь! Петькин и мой. Мы — одно и то же…

Так я уговаривал себя и в подтверждение этих уговоров находил все больше знакомых мест.

Однажды я оказался в старых кварталах недалеко от реки, за Троицким монастырем. И увидел, что кварталы эти сохранились с прошлого века почти полностью. Запутанные переулки, старые особняки, площадь, от которой лучами разбе-

гались улицы с низкими кирпичными домами, витые фонарные столбы из чугуна.

В детстве я не любил эти места, они были далеко от моей Гончарной улицы и казались чужими. Но сейчас я обрадовался им всей душой. Один раз, воровато оглянувшись, даже присел на корточки и погладил булыжники старой мостовой — сохранилась такая в кривом Кирилловском переулке…

Я вспомнил, как летним вечером зашли мы сюда с мамой, искали дом какой-то портнихи (было мне тогда лет восемь). Я шагал босиком и с удовольствием ступал по гладким выпуклым булыжникам. Они были очень теплые, а между ними росли щекочущие травинки.

Вон в том двухэтажном доме с чугунной решеткой балкона жила портниха.

Надо спросить Петьку, помнит ли он такое…

В центре Старотополя ничего знакомого почти не осталось. Сплошная современная цивилизация, как и в нынешнем Византийске. И все же мало походил Старотополь на Византийск. Не было праздничности, беспечности. Хмурость и озабоченность витали на улицах. Я разменял в автомате несколько купюр на груду мелочи и раздавал ее нищим, которые встречались в каждом

квартале. А у кладбища нищие сидели длинной шеренгой, хотя, казалось бы, ждать подаяния там не от кого. Кто ходит на заброшенные могилы?

На кладбище я приехал утром третьего дня.

Памятник был отчищен, вымыт и стоял прямо. На старом месте.

Все как полагается: гладкий гранит, надпись, эмалевый медальон с фото. Мамино молодое лицо было таким живым… Я почему-то ощутил себя виноватым и отвел глаза.

Из большого карманного блокнота я выдернул листок, сделал кораблик и оставил его в увядшей траве у камня.

И пошел драться на дуэли.

3

Место, отведенное властями для дуэлей, выглядело весьма романтично. Когда-то здесь был старинный гостиный двор — в детстве я видел его еще не разрушенным. Теперь от длинного двухэтажного здания остались только высоченные кирпичные стены с пустыми проемами арочных окон. Внутри было похоже на узкий крепостной двор, поросший жесткой травой. Было зябко, вверху бежали серые быстрые облака. Со стен

светили круглые прожекторы. В одном углу этого двора-здания был выстроен пластиковый домик. Контора.

В конторе я встретился со своим противником и его секундантами. Секунданты были, разумеется, крючконосый и отставной штабс-капитан Гвальский. Мы раскланялись с холодной учтивостью. У меня секундантов не было, но два молодых человека (внешностью и манерами похожие на лощеных официантов) заверили меня, что они, представители фирмы "Барьер", будут со всей тщательностью соблюдать мои интересы.

Признаться, все это мне казалось ненастоящим. Полусон-полутеатр... Я не запомнил ни подробностей, ни лиц. Официанты открыли передо мной длинный футляр. В нем на бордовом плюше блестели несколько клинков разной формы.

— Выбирайте, мсье.

Я выбрал тонкий палаш с удобной защищенной рукоятью. Вернее даже, саблю, потому что узкий клинок с желобком был еле заметно изогнут.

Графу Угину дали такое же оружие.

"Официанты" что-то вежливо объясняли мне, я машинально кивал. Было уже все равно.

— Советую вам снять куртку, — сказал один из секундантов.

— Сойдет и так…

Нас отвели к площадке у стены. Прожекторы мягко высвечивали утоптанную землю. У края площадки я заметил полного мужчину в белом халате, двух юрких типов со съемочными камерами и седого усатого распорядителя с талией танцора и повадками старого кавалергарда.

Мне и графу дали последний раз расписаться в протоколе: примирения, мол, быть не может, готовы к сражению до окончательного результата.

Затем распорядитель-кавалергард решительным жестом отправил секундантов, репортеров и врача за пределы площадки, а графа и меня развел по углам, как боксеров на ринге.

— Прошу в позицию, господа!

Граф Угин изящно встал в боевую стойку. Я тоже быстро изготовился. Я все время почему-то вспоминал серый камень и бумажный кораблик на кладбище.

Граф Угин, глядя мне в глаза, иронически улыбался. Его секунданты (я увидел это мельком!) — тоже. Наверно, они усматривали во мне дилетанта, где-то нахватавшегося верхушек фехтовального мастерства и решившего теперь возместить недостаток опыта натиском и энергией. Этакий пышущий боевым энтузиазмом

толстяк, готовое чучело для уколов и рубки.

"Пора", — подумал я. Быстро вздохнул, напряг и расслабил мышцы. Толчком нервов послал по жилам привычное электрическое щекотание. Свет прожекторов потускнел. Движения людей стали медленными. Воздух загустел. Я шевельнул клинком. В таком состоянии главное — рассчитать инерцию. При сильном взмахе клинок может уйти далеко в сторону, а рукоять вырваться из ладони...

Распорядитель очень плавно поднял руку (а на самом деле вскинул ее). Стал шевелить губами. Я понял, что он говорит:

— Готовы, господа? Начали!..

Граф Угин медленно, словно купальщик в воде, двинулся на меня, поднимая клинок. Я, стараясь не спешить, поднял саблю, отвел его оружие, пропустил противника мимо себя, развернулся. Граф — тоже. Я увидел его озадаченное лицо. Он напал снова, я немного поиграл с ним, аккуратно отводя удары и подчеркнуто демонстрируя атаки. Граф заметался.

Я наблюдал его метание в замедленном ритме, как в фильме со специальной спортивной съемкой, когда время растянуто на экране в десять раз. А он-то, бедняга, видел перед собой нечто вроде

взбесившегося самолета (клинок — пропеллер)...

Наконец я "привел" графа Угина к стене, заставил его прижаться к ней спиною, сделал движение, словно обматываю своим клинком его саблю. "Обмотал", дернул. Сабля Угина взмыла над стеной. Я очень аккуратно вдвинул лезвие под бородку графа, острием коснулся горла. И "отключил" коррекцию.

Навалились шум, свет, голоса. Взмокший граф дышал часто, со всхлипами.

— Ну? — сказал я.

— Приношу... свои... извинения... — с кашлем выговорил граф.

У меня за спиной со звоном упала с высоты его сабля.

— Это не все, господин Угин! — я не убрал клинок. — Мне нужны кое-какие объяснения.

— Прекратите! — закричал крючконосый. — Вы не вправе! Господин арбитр!..

— Я вправе! — кое-что из фехтовальных правил я помнил. — Моя атака сделана в один темп с действием на оружие противника. Его сабля еще не упала, когда я приставил клинок. И я по всем законам могу довести поражающее движение до конца!

— Господин Викулов прав, — хладнокров-

но подтвердил кавалергард. — По правилам поединка жизнь графа в его руках. Прошу не вмешиваться, господа.

Господа и не вмешивались, понимая, что я успею раньше. И граф Угин это понимал. На его не совсем аристократическом носу выступили похожие на стеклянные шарики капли.

— Что вам… надо?

— Надо знать, граф, кто поручил вам разыграть эту дуэль. Кому я помешал?

— Я… не…

— У вас пять секунд. Раз…

— Но я…

— Два…

— Его зовут… Ром Заялов…

— Кто он такой?

— Честное слово, я не знаю. Кажется, приезжий…

— Где живет?

— Честное слово… Мы встретились случайно… В "Рапирах"…

— Сколько он вам заплатил? Впрочем, наплевать. Как он выглядит?

— Я не помню…

— У вас еще две секунды.

— Высокий, синие глаза, длинное лицо. Мед-

ленная речь…

Я убрал от графского горла клинок. Старательно отсалютовал арбитру, воткнул саблю в землю и пошел с "Гостиного двора". На всякий случай тронул кистью руки куртку — то место, где прощупывался в кармане плоский "ПП". Никто меня не окликнул, никто не задерживал. Судя по всему, фирма "Барьер" соблюдала правила неукоснительно.

Я вернулся в отель.

Кто такой Ром Заялов, у меня почти не было сомнений. Потому что в глубине души я никогда не верил, что гибель Полоза при пожаре — это по правде.

В номере я через систему "Агат" вызвал справочное, узнал номер "Барьера", позвонил туда и попросил к экрану старшего агента Турунова.

Он, кажется, искренне обрадовался, увидев меня живым.

— Ефрем Георгиевич, вы были правы насчет "другой причины". И сейчас у меня к вам просьба. Не в службу, а в дружбу…

Он слегка улыбнулся:

— Но "в службу" мы выполняем просьбы гораздо квалифицированнее. А что касается оплаты…

— Дело не в оплате. Просто я не знаю, занима-

ется ли "Барьер" такими делами официально. А больше мне обратиться не к кому… Надо кое-что узнать об одном человеке…

У Турунова в очках мелькнула озабоченность.

— Однако это и в самом деле не по адресу. Могу вам порекомендовать…

— Ефрем Георгиевич. Ваш дед не говорил, как звали его друга, подарившего игрушечный пистолет?

— М-м… одну минуту…

— Его звали Петька. Петька Викулов, по прозвищу Патефон…

— Постойте… Имя не помню, а прозвище… Патефон, да!

— Это… как бы выразиться поточнее… мой прямой предок. Не правда ли, такое совпадение к чему-то обязывает? Особенно если вспомнить разговор о всем нам присущей некоторой сентиментальности…

Турунов помолчал, покусывая губы и словно пряча улыбку.

— Хорошо… Петр Петрович. Кто вас интересует?

— Некий Ром Заялов, появившийся в Старотополе недавно.

— Я позвоню… скажем, через полчаса.

Он позвонил через десять минут:

— Ром Заялов — эмигрант из Византийска. Он последовательно сменил несколько имен, подлинность которых за столь короткое время не установить.

— Нет ли среди этих имен такого: Феликс Антуан Полоз?

— Гм… Но я прошу вас, Петр Петрович, официально не ссылаться на меня. Эту информацию я добыл для вас… по своим каналам.

— Благодарю вас, Ефрем Георгиевич. Обещаю не ссылаться… Берегите пистолетик. По-моему, он должен принести вам удачу…

Минут пять я лежал на диване, приводя в порядок мысли. Главная была та, что лететь домой надо немедленно. А сначала позвонить Юджину: "Будь настороже!"

Я вскочил, шагнул к "Агату" и услышал сигнал. Это Юджин, опередив меня, звонил сам.

Лицо его на экране было какое-то… чересчур спокойное.

— Пит, не волнуйся только. Теперь уже опасность позади…

— Что случилось?!

— Только без нервов. Петьку ранили. Вчера вечером, из арбалета, стальной стрелой. Он шел

из школы, и вот у самого дома…

Слабея, проваливаясь в тартарары и понимая, что все это должно было случиться, я вытолкнул слово:

— Он… живой?

— Да не бойся! Теперь он почти в порядке. Хорошо, что он был в твоей куртке…

— Почему… хорошо?

— Ну, там же датчик вшит! Аварийный! Если что, сразу сигнал на базу. Мы подобрали его через десять минут. Яд со стрелы не сработал полностью, не успел… Сейчас Петька в госпитале космослужбы, скоро все будет нормально.

Понимая, что ничего не будет нормально, я еще спрашивал о чем-то, а Юджин что-то объяснял. Потом, чтобы встряхнуть меня, заорал, что я расхлябанная баба и ударяюсь в истерику, когда нет для этого причины.

— Не хнычь, а приезжай скорее. Тут и будем думать, что дальше…

ГОСПИТАЛЬ
1

Было далеко не так "нормально", как уверял меня Юджин.

Было гораздо хуже.

Первый раз я увидел Петьку в госпитале в таком состоянии, что лучше бы и не видеть. Он лежал под прозрачным колпаком, будто в саркофаге. Весь в каких-то присосках, датчиках, проводах. Бледный, неподвижный. Будто и не живой. У меня аж в глазах поплыло.

Но знаменитый профессор Кудрявцев, который лично и неустанно возился с Петькой, дал мне самое честное слово, что угрозы для жизни уже нет. Подтвердил это и Митя Горский, который сейчас был при профессоре кем-то вроде ассистента и адъютанта. Ради Петьки.

Юджин, конечно, смотрел виновато, говорил покаянным тоном. Был помят и небрит больше обыкновенного.

— Ну дай ты мне по морде, что ли! Конечно, мерзавец я, не уследил…

Но разве была у него возможность ходить за непоседливым мальчишкой по пятам? И кто мог подумать, что у самого дома случится такое? Нашелся же какой-то гад…

Юджин показал мне стрелу. Вернее, стрелку — длиной в ладонь. Стальная, тонкая, как спица, с зазубренным наконечником и перышками из пластмассы. Стрелявший почти промахнулся:

наконечник только зацепил плечо — порвал куртку, рассек кожу. Но был в наконечнике сильный яд…

Если бы не зашитый в куртке аварийный датчик, не видать бы мне больше Петьку…

А я про этот датчик и не вспомнил, когда подарил куртку Петьке… Вот удача-то, что подарил! Крошечный прибор сработал мгновенно, базу сотрясло сигналом тревоги, на плане города кровяной каплей набухла координатная точка. Санитарная машина и Юджин с Митей примчались на Шкиперскую улицу одновременно.

Все это я узнал, когда мы сидели в кают-компании базы и Юджин с Митей отпаивали меня какой-то пахучей жидкостью. Гадость была невероятная, но действовала безотказно. Скоро я чувствовал себя измотанным, но достаточно спокойным.

Митя еще раз сказал, что все обойдется.

— Но почему он до сих пор без сознания?

— Да просто спит! В него же то и дело всякие снадобья вгоняют… Вот сделаем еще одно переливание крови и будем приводить парня в чувство. Жаль только, что кровь искусственная. От живого донора — это было бы лучше.

— Так возьмите у меня! Я не похудею!

— А в самом деле! — Митя хлопнул себя по лбу. — Как я раньше-то… Давай, только анализ сделаю, годится ли твоя группа…

— Митя, ты откуда упал? Что значит — годится ли? Его кровь — моя кровь! Уж более одинаковой не может быть ни у кого!

Митя опять огрел себя по лбу. Засмеялся:

— В самом деле! Все забываю… Но, знаешь, закон есть закон, я обязан проверить все равно. Железное правило… Не бойся, это не больно.

— Дурень, — вздохнул я.

Митя принес белый чемоданчик, безобидно кольнул мне палец, удалился куда-то, а через четверть часа явился взъерошенный и озабоченный.

— Ну, Пит! Под монастырь меня хотел, да?

— Что с тобой?

— У тебя третья группа, у него вторая! И резусы разные!

Я вскочил:

— Не может такого быть!

— Значит, может, — отозвался Горский официально. — Прибор никогда не врет.

Я сел и обалдело замолчал.

Разная кровь. По-че-му? И… плохо это или хорошо? Значит, Петька не дубль, не слепок, не

близнец?

— Ничего не могу понять…

— Ты только это не можешь понять? — спросил Юджин язвительно. — Иди-ка поспи…

И я лег на диван и уснул. Но успел подумать: "Кто же ты, Петька?"

2

Петьку привели в чувство на следующий день. Без утайки рассказали ему, что случилось. Петька не испугался. Слабо улыбнулся:

— Вот приключение…

Меня даже злость взяла: "Приключение! Дурья башка. Все бы тебе играть…"

Кстати, стрелявшего быстро нашли. Оказалось — подонок, наркоман, пошел на это дело за несколько порций порошка.

Признался, что подговорил его тип, похожий на Полоза.

О Полозе по линии Международной полицейской службы ушли в Старотополь всякие телеграммы и предписания. Об этом Петьке тоже сообщили: не бойся, мол, теперь этого гада точно найдут.

А Петька и не боялся. Его интересовало другое:

— А где Кыс?

В прежние времена такое было бы невозможно (помнил я о неумолимых медиках), но сейчас Кыса полили каким-то антисептиком и пустили к Петьке в отдельную палату. Надо было видеть эту трогательную встречу!

Впрочем, и меня Петька удостоил своим вниманием. Не меньше, чем Кыса. Я часами сидел на его кровати, и мы разговаривали.

Я, ничего не скрывая, поведал о дуэли. Эта история Петьку восхитила.

— А ты научишь меня темпоральной коррекции?

— Этому учатся не один год. Ты сперва хотя бы поднимись с постели.

— Я бы давно поднялся, да не велят. Говорят, еще одно переливание надо… А правда, у нас группы крови разные?

— Увы…

— Почему — увы? Наоборот — ура! Значит, я полностью настоящий!

— А до сих пор ты сомневался, балда?

Он подышал тихонько и признался:

— Маленько…

— Бестолковое ты создание…

— Ну и пусть… — Он завозился, придвинулся ко

мне, ухватил за локоть. — Это ничего, что группы разные. Так даже у отца с сыном бывает, мне Митя говорил. Теперь я тебя еще больше люблю…

Я замигал и стал смотреть в окно. Как это Ефрем Георгиевич тогда высказался насчет сентиментальности-то?

Я рассказал Петьке, что памятник восстановили. В прежнем виде. И что бумажный кораблик я там оставил.

Он прошептал:

— Потом еще съездим, ладно? Только в дуэли больше не ввязывайся. Хоть и коррекция, а лучше не надо…

— Постараюсь.

Приходила Карина. Приносила всякие фрукты и яства. Петька старательно благодарил, обещал все это съесть, но потом почти не притрагивался.

— Лопай, — говорил я. — Вон какой тощий.

— Ага, "лопай"! И потом стану такой, как ты!

— Не станешь, не бойся.

— Не бойся! Ты вот не боялся и стал. А мы ведь все-таки похожие, хотя и разные группы крови.

— Я стал таким, потому что не следил за собой…

— А почему не следил?

— Я же объяснял тебе! Была масса работы. Не до режима было и не до диеты!

— У меня тоже будет масса работы. Такой же. Потому что я буду тоже… туннельщиком…

— Ты это точно решил?

— Куда точнее… К тому времени, как вырасту, Конус дойдет до звезды, и я там буду все исследовать. А потом — дальше.

— Ладно, давай. Значит, продолжишь мою работу. По наследству.

— Пит…

— Что, Петушок?

— Пит, а ты… почему не стал продолжать?

— Петька, я же тебе сто раз растолковывал! Свое дело я сделал! У каждого была своя задача. Моя — решена. Дальше — дело других.

— И тебе ни капельки не хочется… снова туда? Узнать, что там будет?

— Если доживу, и так узнаю… А быть активным участником — меня на это уже не хватит. Чего хорошего, если я помру на "Игле", не дождавшись конца?

— Я вот тебе помру!

— Тогда не копай мне душу немытым пальцем… Думаешь, все так просто? Не очень-то легко было уходить с корабля…

Это и правда было нелегко. И мысль, что финала я могу не увидеть, конечно, не радовала. Но на Землю тоже хотелось отчаянно… И, кроме того, все было расписано. Программа.

— На "Игле" жесткий режим жизнеобеспечения. Сейчас он рассчитан только на двоих…

— Ты будто оправдываешься. А я ведь просто так спросил.

— Чего это мне оправдываться? Петух ты общипанный…

Скоро Петьке разрешили вставать. Но ненадолго. Чаще он лежал. Читал что-нибудь или смотрел стереомультики — экран был у него в ногах, над спинкой кровати.

Ноги у Петьки всегда были укрыты поверх одеяла нашей знаменитой курткой. На куртке часто лежал Кыс. Иногда он принюхивался и лапой трогал место, где был вшит датчик.

Петька однажды спросил:

— Такие датчики есть у всех туннельщиков?

— Не только у них. У каждого, кто на опасной работе.

— А в твоей нынешней куртке есть?

— Мне зачем? Я пенсионер.

— А если… опять? Полоз…

— Полоза, Петенька, взяли. Тепленького. В на-

шем родном Старотополе. Неделю назад. Пришла информация по спецсвязи. Сидит сейчас в особом заведении на Щучьем острове, есть такое уютное место посреди нового водохранилища. Грехов на нем, на Полозе, столько, что сидеть ему до конца дней…

Это была правда.

Я увидел, что у Петьки будто гора с плеч.

— Вот хорошо-то!

— Конечно. Живи теперь без опаски, не бойся.

— Я за себя, что ли, боялся?!

— За меня?

— За Николая Васильича Гоголя, — буркнул он.

— Обезьяна ты лохматая.

— А ты лысый… Пит, я все равно боюсь.

— Чего?!

— Ну… что ты уедешь опять. Один.

— Куда это я уеду без тебя?

— Не знаю… Мало ли.

— Не выдумывай.

— Ладно… Пит, принеси завтра патефон!

— С ума сошел! Ты весь госпиталь на уши поставишь!

— Вот и хорошо! Скорее выпишут. Принеси…

— Так и быть. Только не крути его весь день.

— Не буду… Пит…

— Ну, что с тобой?

— Я все равно боюсь… Мне кажется, Конус тебя не отпустит насовсем. Вдруг ты опять уйдешь…

— Ну что ты за чушь мелешь! — почти заорал я. И — холодок по спине…

А Петька — он словно чувствовал. Накликал…

Я был дома, когда меня вызвал Юджин. Поздно вечером. И лицо его на экране опять было такое.

— Что?! Петька?..

— Все нормально с Петькой… Пит, аварийная информация с "Иглы". В Конусе дисбаланс навигационной системы.

— Что за бред! Этого не может быть.

— Значит, может… Там дела-то на пять минут, но Дон и Рухадзе не знают Ключа для прямого контакта. А система может сойти с линии.

Мне сейчас трудно объяснить, что такое прямой контакт с Конусом и Ключ для него. Это знал только я. Наладка нейросхемы навигационного блока шла прямо через меня, мозг фактически сращивался с мозгом Конуса. Мы знали друг друга. Дона и Рухадзе навигационный блок не знал. Это и не было нужно. Никому в голову прийти не могло, что система, отлаженная навечно, монолитная, как чугунная тумба на причале, вдруг породит в себе какие-то изменения.

— Нужна коррекция, Пит. Надо тебе… туда…

Я выключил "Доцента", посидел минут десять. Сказал Карине:

— Вызывают. Форс-мажор… — И стал одеваться.

Может, и в самом деле работы там было на пять минут. Но с переходом туда-сюда, со всякими сопутствующими делами — не меньше суток. А сутки там — это несколько месяцев здесь. Темпоральные эффекты нарастают по мере удаления "Иглы"… Как же Петька-то без меня?

— Может, и к лучшему, — сумрачно утешил Юджин. — Станет самостоятельнее. Пусть привыкает. Все равно всю жизнь рядышком с тобой не будет…

— Пошел ты, — уныло сказал я.

Это все, что я мог. Я был туннельщик-навигатор и обязан был идти туда, раз такое дело. Конус был моим детищем. И Дон с Рухадзе были моими товарищами, хотя я с ними уже и распрощался навсегда.

И если не идти, если Конус и правда сойдет с линии, тогда что? Зачем тогда была вся жизнь?

Впрочем, это я сейчас так подробно рассуждаю. А тогда неумолимое "надо" сидело внутри просто как холодное стальное ядрышко…

С Петькой мы попрощались довольно спокойно. Глаза у него, правда, слегка намокли, и он прошептал:

— Я же говорил. Будто чувствовал…

— Это не так уж долго. Месяцев шесть. Поживешь у тети Карины, а иногда и у Юджина. Как захочется. А вернусь — будет лето. Купим домик у моря, яхту заведем, отправимся в плавание. Опять махнем в Старотополь. Летом там замечательно.

— Ладно…

— И Кыс тут с тобой, не соскучишься…

— Ага… Скорее бы выгнали из госпиталя, в школу хочется.

— Через неделю выгонят, — бодро пообещал Митя Горский.

Петька облапил меня за шею, подышал мне в плечо. Я погладил его по макушке, опустил на постель и поскорее вышел из палаты.

И через полчаса шагнул в капсулу туннельной связи…

Часть II
ЧЕРНЫЕ ПАРОХОДЫ
ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУСТОТЫ. В ПУСТОТУ...
1

Коля Донченко и Владик Рухов были самыми молодыми из нас, туннельщиков. Судьбой их и добровольной участью стала последняя задача: финиш на планете у Звезды, разведка, стабилизация Конуса, развертывание базы и открытие постоянного туннельного сообщения между Солнечной системой и орбитой Звезды. Лишь после этого они собирались вернуться.

Если вообще собирались...

Судя по всему, Земля их не тянула. "Игла" стала их домом, полет — смыслом бытия. Не скажу, что радостного бытия, но — единственного. Помимо всяких причин и особенностей характеров, было тут и одно чисто космическое объяснение. Вернее, межпространственное: обоих коснулось дыхание пустоты. Физическое ощущение того непостижимого вакуума, который прокалывала "Игла". Меня, слава Богу, эта чаша миновала, а

их — нет. Да они и не хотели, чтобы миновала. Безропотно (а может, и с горькой радостью) отдались этой болезни. Вернее, не болезни, а почти наркотической завороженности, когда человек ощущает себя растворившимся в мировом пространстве и боится покинуть его, как рыба боится быть вытащенной из воды.

Конечно, оба скрывали это под сумрачным юмором.

Оба они были меланхолики, хотя и непохожие друг на друга. Коля Донченко носил кличку Дон, однако вовсе не был похож на испанца — рыхловатый, белобрысый, с лицом огорченного деревенского гармониста из кинокомедий моего детства. Владика Рухова звали Рухадзе. Говорят, в начале прошлого века была на Кавказе водка с таким названием. Он и правда был похож на грузина, но только лицом, а не темпераментом.

Дон любил повторять, что вообще не вернется на матушку-Землю, а осядет на новой планете, построит хутор и будет разводить местных розовых ящериц или шестиногих крыс и выращивать оранжевые тыквы, фаршированные сладкими лягушками.

Рухадзе говорил, что, пожалуй, вернется, но не раньше, чем на Земле научатся всерьез лечить от

наследственного алкоголизма. Он любил строить из себя пьяницу.

Первое, что Рухадзе спросил при встрече: не прихватил ли я с собой чего-нибудь крепенького. Я дал ему плоскую бутылку пятизвездного "Капитана Немо". Он повертел ее и со вздохом поставил на полку. Я знал, что настоящая причина его меланхолии — не пристрастие к спиртному, а драма несостоявшейся любви. Причем драма суровая…

— Ну, как там? — индифферентным тоном спросил Владик. — Что нового на нашем замшелом шарике?

— По-всякому, — буркнул я. — Вы много не проиграли, что сидите здесь… Что случилось-то?

— Нестабильность курса, — меланхолично объяснил Рухадзе. — Дядя Кон психует, а толком объяснить не хочет. Или не может. Желает тебя…

Чего было тянуть? Я всеми нервами ощущал, как здешние минуты стремительными сутками утекают там, на Земле.

Шагнул в кабину, надел шлем полного контакта, набрал код и формулу развертки. Зажмурился…

Тьма в глазах прокололась искорками, исчезло ощущение тесной кабины — словно распахну-

лось вокруг громадное пространство. Это было сознание Конуса. Оно мягко, по-дружески вошло в меня, и дядюшка Кон ворчливо сказал:

— Ну наконец-то…

— Что случилось, старина?

— А хрен его знает… Давай смотреть вместе.

Смотреть — это значит слушать, ощущать нервами, довериться интуиции, ждать мгновенного озарения, разгадки. Может, дождешься, а может, будешь сидеть, пока голова не разбухнет, как оранжевая, начиненная лягушками тыква…

— Ну а все-таки, Кон? В чем проблема?

— В ощущении, что прямая курса раздваивается. Я как бы в двух плоскостях. Тебе знакомо такое?

Я подумал, что (черт возьми!) знакомо. Но это не имело отношения к данной ситуации.

— Разве это так страшно? — сказал я со сдержанной строгостью. — Что за паника, дружище? Скорее всего, влияние многополюсных гравитационных областей…

— Эти области я нейтрализую без труда. Я могу сам на пути строить гравитационные структуры.

— Тем более! Неужели сам не можешь разобраться в ложном эффекте раздвоения курса?

— Если бы в ложном… Я не могу один, Пит.

Нужны два интеллектуальных полюса, два мыслящих субъекта, которые знают Ключ. Это для создания стереоскопичности в системе. Здесь же многомерность и темпоральная разобщенность, плоской схемой не отделаешься…

— По-моему, ты малость перетрусил. Оказался не готов к непредвиденной неполадке.

Конус отозвался миролюбиво:

— А как тут можно все предвидеть? Что мы знаем о пространстве, которое взялись проковыривать? Конечно, я не ждал такого дела. Раздвоения… Зря вы, кстати, не впихнули в меня программу, предусматривающую многовариантность развития…

Он был прав — зря. Но сейчас я бодро возразил:

— Знаешь ведь, некогда было. И какое отношение имеет та программа к нынешним делам?

— Не знаю… Знаю только, что ее отсутствие нам еще аукнется…

— Давай-ка, друг, без пророчеств. Посидим, послушаем…

Дальше началось то, что описывать я не могу. Это действо не имеет названия, и очень трудно подобрать слова, чтобы рассказать о чувствах, мыслях и решениях, когда ты одновременно — и повисший в многомерном пространстве мозг,

и само пространство, и музыкант, играющий на миллионе тончайших невидимых струн, и компьютер, впитывающий эту мелодию, дробящий ее на формулы, не имеющие графического выражения, и толчком упругой мысли вколачивающий эти формулы в тугую схему Генеральной программы "Бур".

Схема послушно глотала поправки. Как больной, который нарушил режим и теперь виновато принимает от медсестры таблетки и выговор…

— Ну, старик, в норме сейчас? Не двоится?

— В норме, — откликнулся Конус тоном насупленного пацана, у которого вытащили из пятки занозу. — Но что это было?

— Видимо, ты все же где-то прозевал гравитационный сгусток, вот и тряхнуло. Конечно, вещь почти невероятная. Один шанс из миллиона…

— Ну, может быть… — буркнул Конус недоверчиво. Потом вздохнул по-человечески: — Спасибо, Пит…

— Не стоит благодарности. Будь здоров, старина…

— Будь… Постой. Знаешь, я все же попробую сам построить кой-какой блок для анализа поливариантности. А?

— Попробуй. Только без ущерба для всего

остального.

— Само собой.

Я порядком измотался. Рухадзе и Дон почти волоком вытащили меня из кабины. Дали глотнуть "Капитана".

— Ну хватит, хватит. Присосался… — Рухадзе отобрал фляжку. — Что там случилось-то?

— Видимо, двойной скок в гравитационном анализаторе. Сбой… По теории вероятности следующий раз такое может произойти через миллион лет. Здешних…

— Ну, мы тогда опять позовем, — хмыкнул Дон.

— Договорились.

— Уходишь?

— Ухожу, ребята. У меня там… приемный сын. Отыскал потомка. Боюсь за мальчишку, он… сирота.

— А что, сиротам и нынче несладко на шарике? — спросил Рухадзе.

— Им всегда несладко…

Как назло, заело контакт в пусковом блоке камеры. Пришлось развинчивать пульт. Возились несколько часов. Я боялся смотреть на бегущую стрелку земного циферблата, на скачущие цифры электронного табло. Там, на шарике, наступало уже лето следующего года.

— Ну все… Счастливо, братцы!

Они помахали руками и задвинули дверь шлюза. Я дождался звонка-сигнала и опять отодвинул дверь. И шагнул в приемный тамбур базы.

2

База была пуста.

Она совсем была пуста! Безжизненна!

Вполнакала горел плафон — аварийный свет, который оставляют в законсервированных отсеках. Какой-то мусор шелестел на полу.

Я с растущей тоскливой тревогой обошел бункер. Ни души. Ни намека на то, что случилось. Связь была наглухо отключена.

Что же это? Война? Катастрофа?

Я кинулся к выходу. Он был на полном электронном блоке. Я набрал код. Слава Богу, сработало!

Земля встретила меня солнцем, зеленью, блеском моря. По заповеднику бродили беззаботные туристы, на воде пестрели паруса. Я вздохнул с некоторым облегчением. Но ушла лишь малая толика тревоги.

У выхода из заповедника я поймал фаэтон и кинулся домой.

Дома была Карина. Причем не одна. Тут же

по-домашнему развалился на диване волосатый крупный мужик в пестрой рубахе.

Карина, стоя посреди комнаты, протирала тряпицей блестящий керамический кувшин. Дальше — все как в дешевой кинодраме.

— Ах!.. — И кувшин об пол.

Слезы, объятия. Но объятия какие-то вялые. И наконец:

— Господи Боже ты мой! Ты живой?!

— А какой же еще? Да в чем дело, черт возьми?

— Но… ведь сообщили же… что "Игла" взорвалась…

— Когда?!

Я разомкнул ее мягкие, словно вареные, руки. Дядька на диване смотрел, приоткрыв рот. Ладно, это потом… Сперва… А что сперва?

"Стоп, стоп, стоп", — велел я себе. Раскрутил в голове календарь.

Февраль… Здесь было явное несовпадение. В это время я, по всем расчетам, еще возился с Конусом. А взрыв произошел позже, когда я был уже в капсуле, а капсула была растянута в Пространстве. Иначе бы я не уцелел… Значит, во время взрыва скрутилась темпоральная петля — последняя горькая шутка межпространственного вакуума… А может, не шутка? Может, отчаянная попытка

дядюшки Кона спасти в последний миг хотя бы меня? Почему именно меня?.. Никто никогда ничего не узнает…

В общем, повезло тебе, старик.

А Дону и Рухадзе не повезло…

Нам всем не повезло. Все, ради чего столько работали, исчезло в один миг. Вся жизнь…

Но эта безнадежная мысль в ту минуту ударила меня не очень сильно. Вернее, я не очень болезненно воспринял удар. Наверно, мозг поставил защиту. Потому что слишком уж страшно, слишком безнадежно.

И вообще вся эта тоска, все горе были в тот момент позади другой тревоги, главной.

— А Петька? Он где?

— Он… так сильно плакал тогда… Потом его взял к себе Юджин.

— Они здесь, в Византийске?

— Юджин… он сейчас в Антарктиде. Там какая-то станция… или лаборатория. Ты спроси у Виктора, он все знает. Он сейчас здесь, работает на грузовой космостанции.

— А Петька? С Юджином?

— Он сперва уехал туда, потом вернулся. Трудно там детям… Ну… и вообще… я не знаю…

— Где он?!

— Сперва жил у меня. Потом ушел в интернат… Петенька, я не виновата, я… мы его не обижали, он сам захотел. Все было по-хорошему. Он сперва прибегал почти каждый день. Кота навещал. А потом ему разрешили взять Кыса к себе… Ну и… — Она опять всхлипнула.

Волосатый дядька вдруг встал с дивана. Грузный, с обвисшими руками.

— Я, кажется, врубился в ситуацию. Даже и не знаю… как теперь…

— Мне бы ваши проблемы, — искренне сказал я. — Карина, интернат этот где?

— Да при той самой школе! Небольшой такой, уютный. Для ребятишек, у которых родители в отъезде… Петя, ты прости меня…

— Прощаю… Собери мои вещички, потом зайду.

— Петя, я же… Постой! Ребята сейчас все равно в загородном лагере!

Но я кинулся к школе. Там было пусто, лишь дежурила бестолковая девица-практикантка. Она подтвердила, что ребята в лагере, но как связаться с ними — не знала. Я выяснил это в справочном, связался сам. Из лагеря ответили, что все дети в шлюпочном походе, вернутся к вечеру.

Значит, еще несколько часов Петька будет ду-

мать, что я мертв!

Но что было делать?

Я позвонил на грузовую космостанцию, спросил о Викторе. Его быстро отыскали. Он увидел меня на экране, охнул, отвесил губу. Но быстро пришел в себя.

— Питвик, приезжайте сюда! По связи все не объяснишь.

Мы встретились в комнате отдыха диспетчеров. Виктор даже пощупал меня: правда ли это я?

— Повезло вам, Питвик. Глазам не верю.

— Как это все случилось?

— Ну, как… Сработали датчики, компьютеры проанализировали событие: взрыв в Пространстве. Аннигиляция…

— Но этого не могло быть! Это исключено!

— Ничего полностью не исключено, — похоронно ответил он. — Что мы знаем о межпространственном вакууме?..

И я вспомнил похожие слова Конуса.

Бедняга Конус. Бедняги Дон и Рухадзе. Коля и Владик… А может, им даже легче, чем Юджину, мне, Мите Горскому. И Виктору…

— Горский вместе с Юджином? — спросил я его.

— Да. Все там, кроме меня… Я, по правде говоря,

решил, что все, крышка этому делу. А они пытаются еще что-то спасти. Хотя бы теоретическую часть. Сохранить схемы для будущего. Кое-что восстанавливают… Для нового Конуса. Но его теперь не построить и через полсотни лет.

— Ну почему же…

— Правительство прекратило выплаты и законсервировало базу.

— А там, в Антарктиде?

— Там автономные лаборатории Международного общества межпространственных проблем. Дали ребятам участок. Но мощности-то мизерные…

— Виктор, можно отсюда связаться с ними?

— С ними сейчас ниоткуда нельзя связаться. Они под землей, там темпоральная автономия и магнитная блокада — для отладки микромодели Конуса. Следующий сеанс связи только через две недели… И если даже прилетишь к ним, вниз все равно не пустят, режим… Пит, а Карину-то видел?

— Видел…

— Ну… и что?

— А что "что"? И в этом ли сейчас дело…

Он вздохнул, будто виноват был.

Я поднялся.

— Поеду в лагерь, к Петьке. Боюсь я за него почему-то.

3

Фаэтон-автомат, узнав, куда мне надо, развязно сообщил:

— Недешево обойдется. Две сотни километров.

— Поехали… — Мне не хотелось ни на поезд, ни на вертолет. Тяжело было видеть людей. А на этой неторопливой машине к вечеру как раз успею на мыс Три Паруса, в лагерь "Зюйд-вест"…

И успел.

Ребята уже вернулись из похода. Смуглые, веселые. Многие так похожи были на Петьку, я вздрагивал.

Но Петьки не было.

Он вообще не приезжал в лагерь.

Пожилая директорша сказала беспомощно:

— Он ведь ушел от нас в начале июня. Совсем. Забрал своего кота и ушел. Ничего не сказал. Лишь через три дня позвонил издалека, из Старотополя: "Не волнуйтесь за меня, я останусь здесь". — "Как останешься? — говорю. — Где, с кем?" А он отключил связь… Конечно, мы направили запрос в Старотопольское бюро по охране

детства, в полицию. Оттуда сообщили, что сигнал принят, ведется розыск. А потом — ни звука. Оно и понятно — чужое государство…

Я вылетел в Старотополь в тот же вечер, был на месте ночью.

Утром позвонил в фирму "Барьер", Турунову. Изложил все как есть. Даже не скрыл на сей раз, кто я такой на самом деле.

Турунов был здесь единственный человек, на которого я мог хоть как-то положиться.

Но, кажется, надеялся я зря. Ефрем Георгиевич повздыхал и неуверенно обещал навести справки. Потом посоветовал:

— Вы все-таки обратитесь в Бюро по охране детства. Там должны регистрировать всех беспризорных…

Я не стал звонить, узнал адрес бюро и поехал туда. Потому что пока ты в пути, есть надежда.

Меня без проволочек принял очень пожилой и очень усталый чиновник. Предложил без всяких эмоций:

— Оставьте данные мальчика и свой номер. Когда что-то выяснится, сообщим.

Я оставил. И вернулся к себе в отель "Морской". Почти сразу раздался сигнал "Агата".

— Господин Викулов? К сожалению, среди за-

регистрированных безнадзорных детей вашего мальчика нет.

— Понятно... А что, есть и незарегистрированные?

Чиновник утомленно глянул с экрана:

— Вы с Луны упали? Посмотрите, что делается в городе.

Я пошел по Старотополю. Смотрел. Их было в самом деле много — помятых, бесприютного вида пацанов. Всяких — и совсем малышей, и почти взрослых. Только не было нигде Петьки.

И опять за мыслями о Петьке почти позабылась другая беда. Тем более, что ту беду все равно исправить было нельзя. А Петька...

Я вышел на площадь Трех церквей. Посмотрел на башню той церкви. Закрыл глаза. Ощутил себя мальчишкой, стоящим в подвале по колено в ледяной воде.

Блеск электрической свечки, лоскутные паруса кораблика, искры на латунном кружеве оклада.

"Помогите мне найти его... Ведь он — это единственное, что у меня есть в жизни! Помогите... Не отнимайте надежду!"

Потом я опять шел по улицам. Смотрел. И надежда жила. Я вспомнил сосновый свой кораблик. Корабли — они ведь символы надежды...

От этого соснового кораблика мысли перешли к другому — бумажному. К тому, который я оставил в траве у памятника.

Если Петька в Старотополе, он, конечно же, бывает там, у мамы. И наверняка тоже оставляет кораблики. И это — знак. Это след.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТОРОЖ
1

Бумажного кораблика на могиле не было. Вернее, был, но не Петькин, а мой, старый. Тот, что я оставил здесь прошлой осенью. Он съежился, потемнел, серым комочком прятался в путанице прошлогодней и свежей травы.

Вот и все… Как быть дальше, я не знал.

Мама смотрела с эмалевого медальона как-то виновато и с печальной просьбой: "Ты уж постарайся, найди его…" Я отвел глаза… Что я могу ответить, что сделать?

И все же я не уходил.

Если и была хоть какая-то надежда найти след, зацепить ниточку поиска, то именно здесь, в этом печальном месте.

И я стоял у заросшего холмика с серым камнем, словно ждал чего-то. Хотя, если подумать, чего

было ждать-то?

День выдался пасмурный. Было полутемно. Кругом чаща из кустов сирени, бузины и шиповника. А над ней столетние березы и почти черные сосны. Оттуда сквозь листву иногда пробивался редкий дождик.

Я наконец оглянулся. И вспомнил, что недалеко за кустами каменный дом, где обитали парни, которые восстанавливали памятник.

Может быть, они видели Петьку?

Это была бы зацепка и новая надежда.

Путаясь башмаками в плетях мышиного гороха, я пошел к тропинке. Зашагал мимо кривых оградок и обелисков. И услышал встречные шелестящие шаги.

Из гущи рябин вышел на тропинку сутулый высокий дед в длинном одеянии, похожем на ветхий темно-серый халат. Косматостью дед напоминал Леонардо да Винчи. Только борода и светлые волосы не были ухожены, как у известного по портретам знаменитого итальянца.

Возможно, это был один из тех бесприютных старцев, что жили в хибарах и склепах на заброшенных кладбищах (и, кстати, неплохо там устраивались). Я слышал о таких.

В движениях старика, однако, не было свой-

ственной нищему нарочитой робости. Он шел по-хозяйски. Подол его хламиды размашисто пригибал головки травы по краям тропинки.

Я сделал шаг в сторону, чтобы пропустить старика. Он мельком, вроде бы безучастно, глянул на меня светло-серыми глазами с покрасневшими старческими веками и густыми прожилками на белках.

Мы разошлись. Но почти сразу шелест шагов позади меня стих.

— Постойте, сударь.

Голос был негромкий, но сильный, густой. На таком глуховатом выдохе.

Я обернулся. Дед, сутулясь, глядел на меня из-под кустистых бровей. Так смотрит строгий, но не злой и достаточно воспитанный сторож, повстречавший незваного посетителя в запертом саду. Впрочем, следующая его фраза прозвучала мягче:

— Мне показалось, что вы кого-то ищете.

Что мне было терять? И что скрывать? А тут — вдруг какой-то проблеск?

— Да, — отозвался я и вздрогнул от надрыва в собственном голосе. — Я ищу мальчика. Мы жили в Византийске, я уехал в дальнюю экспедицию, а он остался в интернате. Когда я вернулся, мне

сказали, что он ушел из интерната и уехал сюда. Здесь у него… родина. Но ни друзей, ни знакомых… И вот — ищу…

— А давно он оказался в Старотополе?

— Судя по всему, в начале июня…

Старик подумал, глядя в сторону, пошевелил бровями. Сказал то ли мне, то ли себе как-то отрешенно:

— С тех пор мальчиков привозили четыре раза…

— Куда… привозили? — выговорил я. Понял не все, но страхом обдало с головы до ног.

Старик опять глянул мне в лицо:

— Вы же сами решили искать здесь… Но это на другом краю. Идемте.

Я послушно, с нехорошей слабостью и тоской двинулся за стариком. Кое-где по тропинкам, а порой и прямо через кусты.

Не оборачиваясь, дед проговорил все так же глухо, с выдохом:

— В основном привозят мальчиков. Девочек было всего шесть. А всего, начиная с января, восемьдесят шесть человек… Но вас ведь интересуют лишь те, что летом. Их было сорок четыре. Последние девять — в прошлый понедельник. Чаще всего привозят по понедельникам…

Это был какой-то жуткий сон, бред. Мы шли, шли, а он говорил, спокойно так…

Наконец оказались мы у кривой кладбищенской изгороди — здесь она была сложена из кирпича — высокая, глухая.

На голом месте — без кустов, с невысокой травой — тянулись длинные, редко поросшие валики глинистой земли. На них стояли палки с дощечками — редко и косо. Они похожи были на фанерные лопатки, какими в раннем детстве я разгребал снег.

— Вот… — Старик остановился. — Последний приют тех, у кого в жизни приюта не было… Да и жизни-то, можно сказать, почти не было…

Он что-то прошептал, перекрестился, взмахивая широким рукавом, и отошел, словно говоря: "Теперь смотрите сами".

Я будто сквозь сонную серую пелену смотрел на некрашеные деревянные дощечки. На каждой был сверху нарисован черный крестик, а потом шли надписи:

18.05.2048. Костик Стрельцов, 9 лет. Тим Караулов, 12 лет. Ян Красаускас, 8 лет. Андрей, 14 лет. Сережа, 5 лет. Щелчок, 10 лет. Мухомор, 11 лет. Неизвестный мальчик, ок. 13 лет. Неизвестный мальчик, ок. 11 лет. Неизвестный мальчик, ок.

14 лет…

Завороженно, как в гипнозе, я переходил от таблички к табличке. От одной длинной могилы к другой. И осознанным чувством было лишь одно: перехватившее горло жуткое ожидание, что сейчас увижу: "Петя Викулов, 12 лет"…

Но имен было немного. Чаще "неизвестный", "неизвестный"…

А Петька… кому он здесь мог быть известен?!

— Как имя вашего мальчика? — спросил старик. Он опять подошел и стоял сзади.

— Петр… Петька… Петя Викулов…

— Нет здесь такого, — ласково сказал старик, и я ощутил мгновенную режущую благодарность — и за ласковость, и за это "нет". Но облегчение было секундным.

— Здесь же… столько неизвестных… которым двенадцать…

— Молитесь, чтобы не было его и среди них…

Я молился. Отчаянно, без слов, одной болью сердца.

— Но как узнать?..

— Пойдемте ко мне, посмотрим.

— Что… посмотрим?

— Пойдемте, сударь, вам надо передохнуть. Вы же едва стоите. Да и вымокли.

В самом деле, сюда на площадку сыпался равномерный — не крупный и не мелкий — дождь. Я лишь сейчас заметил…

2

Старик привел меня к знакомому приземистому дому в кладбищенской чаще.

— Раньше здесь жили рабочие, — слабо сказал я. Просто так, чтобы показать, что я размяк не окончательно.

Дед кивнул:

— Жили. Но ушли. Сейчас тут я живу. Один… Я здешний сторож…

Манерами он не очень походил на сторожа. Чувствовалась интеллигентность. Но, впрочем, мало ли было во все времена философов, ушедших в сторожа?

Мы вошли. В просторной комнате стояло сухое тепло. И было почти пусто: некрашеный стол, три табурета, железная старомодная кровать, узкий глухой шкаф у двери. Несколько образов в углу с искрой-лампадкой (то ли настоящей, то ли электрической; невольно вспомнил я подвал, свой кораблик и свечку).

— Сядьте, сударь… Лучше туда, на кровать,

привалитесь к стенке. На вас лица нет…

Но я сел на табурет, к столу. Нельзя же полностью терять себя.

— Это пройдет. Сами понимаете, зрелище было… не для всякого.

— Понимаю, — отозвался он суховато. — Но давайте уж доведем дело до конца. Насколько возможно… Вы же сами этого хотели.

— До какого… конца?

Он раскрыл скрипучий шкаф, достал плоскую серую книгу. Вроде тех, что в старину назывались амбарными. Сел напротив меня, полистал.

— Вот, начиная с конца мая… Двенадцать лет, говорите?

— Да. То есть уже почти тринадцать…

— А как выглядел?

— Светлый… худенький такой, курносый… Невысокий… Впрочем, возможно, подрос, пока меня не было…

— Посмотрим… Неизвестный, около двенадцати лет, волосы черные, курчавые… Нет, не он, конечно… Неизвестный, одиннадцать-двенадцать лет, рыжеватый, шрам над левой бровью…

Я опять стал погружаться в серый, какой-то волокнистый страх.

— …неизвестный двенадцати-тринадцати лет,

русый, брови светлые, нос вздернутый, на груди и животе крупные черные родинки…

— Подождите, — сказал я со стоном. — Вы… что же, осматриваете каждого? И описываете потом?

Он поднял косматую голову. Сказал тяжело, будто гирю положил перед собой:

— Да. Я настоял на этом. Перед тем как хоронить, осматриваем каждого в кладбищенской часовне. Может быть, потом кто-то станет их искать, хотя шансов на это мало. Или по крайней мере со временем удастся установить имя у тех, кто неизвестен. Чтобы я мог поименно каждого назвать в поминальной молитве… Я ведь не только сторож, но и священник в здешней часовне…

То, что я сказал дальше, далось мне далеко не сразу. Пришлось прорываться сквозь страх, сквозь суеверный внутренний крик "Не надо!", словно сквозь черные джунгли. Но неизвестность страшнее всего, и я выговорил:

— У Петьки… на левой лопатке… родинка, похожая на гусиную лапку. Размером с пятак…

Священник думал секунды три. Потом решительно мотнул головой:

— Нет, сударь. Такого мальчика не было. Я говорю твердо, я помнил бы… — И уже мягче, словно тоже отходя от страха, проговорил: — Всех погиб-

ших детей привозят только сюда, значит, среди мертвых вашего Пети нет. Ищите среди живых…

Я помолчал, подышал, загоняя в себя слезы. Ощутил новую надежду. Старик проговорил слегка наставительно:

— Понимаю, что все это тяжело, особенно для непривычного человека. Но вам надо было через это пройти, коли уж решились искать мальчика здесь…

— Но я искал-то его живого…

— На кладбище?!

— Да… У него здесь похоронена мать. Я был уверен, что он придет на могилу. И у него обычай — каждый раз оставлять там бумажный кораблик. Вот я и надеялся…

Старик слушал внимательно. Косматые брови приподнялись, глаза странно просветлели, даже красных прожилок стало меньше. Он чуть улыбнулся заросшим ртом:

— Кораблик… надо же… Ну, Бог даст, мальчик еще придет. А возможно, и приходил, да не мог оставить кораблик по какой-то причине. Скажем, бумагу не нашел… А вы сами-то оставили там о себе какой-то знак?

— Я… нет… — Как же я не сообразил? Ведь в самом деле надо написать на доске или картоне:

"Петька, я жив! Петька, я тебя ищу! Отзовись!"

— Благодарю вас, отец… Простите, как ваше имя?

— Отец Венедикт.

— А меня зовут Петр Викулов, так же, как мальчика. А иногда — Питвик… Была такая традиция в компании моих друзей давать прозвища.

Он улыбнулся опять:

— Вам подходит. Похоже на Пиквика…

Видимо, у меня сделалось недоуменное лицо. Он объяснил:

— Был такой персонаж в старинном английском романе. Полный, очень добродушный мужчина. Не обижайтесь…

— Я не обижаюсь! Просто не думал, что в наше время кто-то помнит Диккенса.

— Ну вот вы, оказывается, помните…

— Я-то… да… В силу ряда причин…

— А я окончил филологический факультет и Новокурашскую семинарию, там и там великолепно преподавали старую литературу.

Видимо, на лице моем явно обозначился вопрос.

— Понимаю, — вздохнул отец Венедикт, — священник заброшенный часовни и кладбищенский смотритель с несколькими высшими образова-

ниями. Непонятно, да…

— Я сразу понял, что вы не простой сторож. Но что выпускник университета и семинарии…

— И духовной академии, кстати…

— Извините…

— Да чего же извиняться, недоумение ваше естественно… Знаете что… мистер Питвик? Сейчас я согрею чай. Вам он будет полезен. А потом уж займетесь письмом вашему мальчику.

Я не спорил. Уходить мне не хотелось. От старика словно шло излучение, дающее надежду.

Отец Венедикт скрылся за дверью, стал там звякать посудой. Минуты через три вернулся.

— Чайник греется… — И, словно продолжая разговор, сообщил: — Я до нынешней зимы был ректором здешнего духовного училища и настоятелем одного из храмов. Но… согрешил. — В глазах у него мелькнуло отнюдь не раскаяние. Жесткая усмешка. — И был направлен сюда. Слава Богу, что не лишили сана.

Я не посмел спросить, в чем состоял грех отца Венедикта. Спросил о другом:

— А в каком храме были вы настоятелем? Я хорошо знаю Старотополь.

— На площади Трех церквей. Церковь Пресвятой Богородицы. Иначе этот храм называют еще

Корабельным. Или Детским…

Это совпадение словно дружески подтолкнуло и согрело меня. Но не показалось удивительным. Словно я ждал чего-то похожего.

— Я хорошо знаю этот храм. Хотя и не был в нем… очень давно. Но то, что у него такие названия, не знал.

— Лет пятьдесят назад, когда церковь восстанавливали после разрушения и поругания, в подвале нашли доску, похожую на икону. Ликов на доске не было, но жестяной нимб как бы обрисовывал головы Богоматери и Младенца… А перед этой доской стоял в нише кораблик из сосновой коры с парусами из лоскутков… Такое впечатление, что какой-то ребенок в давние годы принес его и поставил перед самодельной иконой… Может быть, с детской и чистой молитвой о Божьей помощи… Потом на этой найденной доске мастер написал святые лики, а нимб оставили прежний…

Всей душой ушел я в прошлое и спросил как бы оттуда, издалека:

— Эта икона и сейчас в церкви?

— Разумеется. И кораблик — перед нею. А вскоре неизвестно кто положил начало обычаю: дети приносили самодельные кораблики и оставляли

перед образом с тайными своими молитвами и просьбами…

— И… много корабликов?

— Много… Порой скапливалось столько, что большинство приходилось отпускать в плавание. Прямо из храма… Под фундаментом обнаружили родник, его вывели внутрь церкви, к стене, сделали каменное русло и направили в речку Тополинку, что впадает сейчас в водохранилище. По ней и уплывали кораблики. В море… Но самые красивые мы сохраняли надолго… А тот, первый, хотя он и не самый искусный, хранится всегда…

"Сказать? — думал я. — А зачем? И поверит ли?.."

А отец Венедикт продолжал:

— Детей всегда было много. В том числе и бесприютных. По мере сил старался я оказывать им помощь. И словом, и… ну, как мог.

— Бесприютные тоже оставляли кораблики? — спросил я хмуро. Мысли пошли по другому пути.

— Конечно… — Он снова пристально посмотрел на меня. — Знаю, о чем думаете. Не очень-то кораблики им помогали… Я… согласен с вами. Но ко вселенской борьбе добра и зла как подходить с земными мерками справедливости?.. А иных мер у нас нет. Вот и думаешь: взрослые часто сами

виновники своих бед. А дети-то при чем? Я знаю, что Господь утешит их в своем царстве. Но отчего не дано им было прожить полную земную жизнь? Или и те краткие годы, что выпали им, — разве они были жизнью?.. Или есть какой-то всеобщий закон развития мира, по которому без детского страдания не обойтись?.. Или впереди такая награда, что искупит все?

— Я не знаю…

— И я не знаю… Наверно, незнание это и ввело меня в грех. Впрочем, я верю, что Господь грех этот мне простит. В отличие от земного начальства…

Я вопросительно молчал.

Отец Венедикт помолчал тоже и наконец объяснил с сумрачной усмешкой:

— Я прямо в церкви тяжко избил человека. И выкинул его с крыльца… Человек этот… зная о моей известности среди маленьких прихожан, пришел с чудовищным предложением. Чтобы я напутствовал перед смертью мальчика, которого должны были расстрелять на глазах у собравшихся зрителей…

— Вы… отец Венедикт, это правда?

— Увы…

— Разве такое возможно?

— Публично до сих пор никого не казнили. Но многим ли лучше, когда убивают тайком и хоронят безымянными?

— Как убивают?.. Зачем?

— Вы… сын мой, и в самом деле, видимо, нездешний. И долго были в экспедиции… А откуда, по-вашему, берутся эти несчастные, о которых я молюсь целыми ночами? Те, кто… закопан там, у стены…

— Я… думал, это несчастные случаи. Болезни от бесприютности, от голода…

— Бывает и такое… Но чаще привозят с пулевыми и ножевыми ранами…

— Господи Боже ты мой… Но почему?! Кто это делает?!

— Делают… Есть такой "Эскадрон Рио"… Название идет еще с двадцатого века, из Бразилии. В ту пору страну захлестнула волна детской беспризорности, миллионы бродячих ребятишек. И конечно, от этого воровство, грабежи, насилия, никуда не денешься. Тем более, что дети вырастают и лучше не становятся. И вот появились некие эскадроны смерти, которые устраивали охоту на беспризорных детей. Каждое утро люди находили маленькие трупы… Конечно, официальные власти возмущались, полиция вроде бы искала

преступников. Но… втайне многие поддерживали эти эскадроны. Те ведь якобы воевали за идею. За очистку общества от криминального элемента, с которым страна справиться не могла…

Я вспомнил, что в давние годы читал об этом.

— Но это же было столько лет назад!

— В нашей стране этот опыт вспомнили нынче. Замкнутый круг. Чтобы приютить, обогреть, накормить и выучить такую армию бездомных малышей, у общества нет средств…

— Но международные фонды…

— Они пытаются. Но государство блюдет свой престиж и скрывает масштабы детской безнадзорности. А она увеличивается. Потому что увеличивается, в свою очередь, жестокость взрослых. Дети бегут из приютов, из семей…

— Из семей-то почему?

— Растет общая суровость общества. Материнская и отцовская любовь, увы, давно уже перестала быть неотъемлемым признаком семьи… Не все мальчики привязаны к своим матерям, как ваш Петя… Но, честное слово, вы будто с другой планеты.

— Я… из Византийска.

— Это благополучный край, понимаю. Но информация-то доходит и туда…

— Я… слишком погружен был в свою работу… Но что же это за человек, который предложил вам такое?

— Это активный деятель ЧПИДа.

— Чего?

— Чрезвычайной педагогической инспекции по делам детства. Ходят слухи, что она недалеко ушла от "Рио". Задачи-то в принципе одни: очистить общество от плесени и паразитов…

— Неужели детская преступность так потрясает вашу Республику?

— В известной степени потрясает. Бывает всякое. Но власти гораздо больше боятся другого. Грядущего потрясения иного рода. В детских кланах, среди обитателей пустырей и трущоб возникает организация. Точнее, подобие какого-то особого сообщества. Возникает цель. Знающие люди говорят, что подобного раньше не было никогда. И последствия непредсказуемы. Это пугает и социологов, и правительство гораздо больше, чем кражи в продовольственных магазинах или толпы маленьких попрошаек на вокзалах… Тем более, что среди этих ребят нет прежней дикости и жестокости. Многие ведь попадают на улицу не из трущобных семейств, а из приличного общества. С опытом гимназического и лицейского

воспитания... Кстати, замечено, что беспризорные мальчишки теперь никогда не нападают на детей. Даже на самых благополучных и беззащитных.

— И... это тоже пугает?

— Представьте себе! В этом усматривают, и не без основания, какие-то убеждения, какое-то новое понимание и ощущение общности. Уже не бездумная нищенская толпа, а нечто иное: общество со своей моралью.

— У такого общества должен быть вдохновитель...

— Есть... Вернее, был. Некий учитель или (так говорят некоторые) оставивший службу и прихожан священник. По крайней мере, звали его отец Олег...

— Звали...

— Его убили. Видимо, те же, из "Рио". Он похоронен где-то на глухой окраине, и дети крепко хранят тайну этого места... Отца Олега я никогда не видел и знаю о нем очень мало, хотя обычно дети ничего не скрывали от меня...

— Ну а расстрел-то?! Как такое можно допустить? Есть же законы...

— Это была страшная выдумка. Но не лишенная своей, дьявольской логики. Главная цель:

неумолимой, властной жестокостью закона испугать бесприютных детей… Именно закона! Оказывается, некоторые статьи нашего уголовного свода не менялись больше ста лет. И этот инициатор ЧПИДа выкопал закон, по которому за ряд преступлений высшая мера могла применяться к детям с двенадцати лет… И вот представьте: находят подходящего мальчика, вменяют ему, кроме бродяжничества, что-то еще, соответствующее нужным статьям. Доказать это можно всегда… Строгие, но объективные судьи со скорбными лицами выносят суровый, но единственно возможный и справедливый приговор… Затем — страна замирает у комнатных и уличных экранов. Торжественно-похоронная процедура. Симпатичного мальчика (а такого выберут специально и сделают инъекцию, чтобы не сопротивлялся) ставят на борту плавучей тюрьмы, исповедуют, причащают, завязывают глаза. Все это — крупным планом… Затем взвод полиции особого назначения выстраивается и заряжает старинные карабины… Последняя речь прокурора: дети, смотрите внимательнее и делайте выводы. Закон, мол, одинаков для больших и для маленьких… Залп…

— Целый сценарий… — выдавил я.

— Еще бы! Этот мерзавец успел изложить мне все подробно, прежде чем… Ну, надо сказать, бил я его крепко. Я стар, но еще силен. Если бы не два подоспевших дьякона, убил бы, наверно… А он кричал в оправдание, что это для пользы общества. И что мальчик-то даже будет не настоящий, а… как это? Зомби! Искусственный. Тело без души… Для виду, мол…

— Отец Венедикт! Как зовут этого гада?

— Не помню… Нет, помню. Фамилия — Заялов. Да-да… Ром Заялов…

3

Я рассказал отцу Венедикту все. Абсолютно все. И про кораблик с названием "Обет", и про Конус, и про Полоза. И кто такой Петька.

Если верить в судьбу (а как в нее не верить после всего, что случилось?), именно она свела меня с отцом Венедиктом. Все сплелось в один клубок. Так я думал. А отец Венедикт сказал вслух:

— Видать, не случайно сошлись мы на этой тропинке…

— И на ней же, на тропинке этой — Полоз. Поперек дороги… Опять извернулся, сволочь, выпустили его. А был слух, что попал за решетку

навеки…

— Нужен стал, вот и выпустили, — угрюмо отозвался отец Венедикт. — Нашли повод, объявили, наверно, что ничего не доказано…

— Но неужели ваши власти не понимают, что это маньяк, преступник? Что он опасен!

— Отчего же не понимают… Наоборот…

— И откуда берутся такие нелюди!..

— Элементарно. Концентрация зла… Думаете, он один такой? Просто он по изощренности ума сильнее других. А вообще-то их немало. Те, что убивают ребятишек на улицах, разве не маньяки? А отцы, избивающие детей с безумной яростью? А воспитатели, тешащие себе душу жестоким сладострастием, которое обращают на маленьких?.. Все мы, дорогой мой Петр, есть смешение добра и зла, и дьявольские семена прячутся в каждом изначально. Только нормальные люди не дают им взойти, давят эти ростки в себе, потому что ощущают в душе Божье начало, питающее любовь и жалость к другим людям. А если этой любви в человеке нет?.. Вот и прорастает сладкое желание дать себе радость за счет мучений слабого и беззащитного, за счет своей безграничной власти… Чем-то же надо заполнять пустую душу…

— Значит, это изначально заложено в челове-

ке? Если он гад, значит, с такой душой родился?

— Вот как раз и нет. Душа вырастает в борении и споре. С самого младенчества. Порой начинается с пойманного кузнечика, когда ты в сомнении: оборвать ему ножки или отпустить? И щекочущее любопытство к чужим мучениям, и жалость к живой твари. Что окажется сильнее?

Я подумал, что в детстве никогда не испытывал желания отрывать ножки кузнечикам… Но вдруг вспомнил, как били Турунчика. И, кажется, покраснел, будто не взрослый толстый Питвик, а пойманный с поличным мальчишка…

— Злодеи, коим чужая боль давала сладкую радость, были во все времена, — слегка монотонно продолжал отец Венедикт. — Это сатанинская рать. И это страшно. Во сто крат страшнее, однако, когда имеющие власть над страною берут это злодейство себе на пользу. Когда Полоз становится нужен правителям государства… Это уже печать проклятия, и власть такая обречена. Но сколько еще крови и горя будет, прежде чем придет возмездие… И Петька наш — лишь малая капля в этом потоке…

Он сказал "наш", и это обрадовало меня. Но совсем не обрадовала мысль, что Петька — лишь капля. Легко ли отыскать каплю? И… получается,

значит, что одна капля среди миллиона не стоит слишком большой тревоги и забот?

Я хотел сказать, что при всем понимании общей беды, эта капля для меня самая родная. Но отец Венедикт вдруг взвыл и бросился за дверь. Там что-то шипело. Я учуял запах горелой пластмассы.

Отец Венедикт вернулся через минуту.

— Чай выкипел, чайник расплавился. Любимый был…

— Это я виноват.

— Оба виноваты, пустились в философию… А другого у меня нет, нечем угостить теперь…

— Спасибо. Я пойду…

— Куда вы сейчас? Мы еще и не договорили, что делать-то.

— Сначала оставлю письмо… там, у камня. Потом пойду по улицам. Может, повезет, увижу!..

Я понимал, что едва ли повезет. Но все же это будет поиск. Будет надежда… А если надежда исчезнет, если узнаю… самое страшное, тогда отыщу и убью Полоза. И пусть меня ловят! Уйду на "Иглу" и там — лет на сто вперед! Потому что в этом времени меня уже ничто не держит… Но… Господи Боже ты мой! В непомерной тревоге за Петьку, в горькой этой тоске я же забыл, что слу-

чилось с "Иглой", с Конусом! С Доном и Рухадзе! С нашим общим делом!

Разве можно хоть на миг забыть такое?

И вот оказалось, что можно. Видимо, потому, что того дела, той цели уже не было и все, что касалось Петьки, теперь сделалось не просто главным, а единственным…

От всех этих мыслей я опять обессиленно обмяк за столом. Но отец Венедикт сказал:

— Пишите письмо… — Он принес толстый черный карандаш и деревянную дощечку.

Я суеверно зажмурился: дощечка была такая же, как там, на братских могилах. Отец Венедикт кивнул:

— Понимаю. Но это лучше, чем бумага, надежнее. Неизвестно ведь, сколько там лежать вашему письму.

Я вывел на желтом дереве: "Петька, это я, Пит. Я живой. Найди меня, отзовись…" — и задержал руку. Дать свой гостиничный адрес и номер связи? Что-то подсказывало: не надо.

— Напишите, чтобы нашел меня. Это проще, — посоветовал отец Венедикт. — Уж я-то его не отпущу… А вам нет смысла оставаться в гостинице. Полоз-то на свободе. Дело может кончиться не только дуэлью…

Я написал: "Спроси про меня у отца Венедикта. Он живет в кладбищенском доме..." — и вопросительно поднял глаза:

— Что же мне теперь делать? Тоже оставаться здесь? Я, наверно, стесню вас...

— Не стесните, но... Я вам дам адрес одной своей знакомой, это в старом квартале, укромный дом. Снимите там комнату. Если будут новости, сразу сообщу.

— Спасибо... Отец Венедикт! А всю эту историю, весь его... сволочной план с расстрелом вы не пытались как-то сделать достоянием гласности? Через газеты, через эфир...

— Ну как же не пытался! Но пресса у нас, как известно, абсолютно свободная. Хочет — выступает, хочет — молчит. Тут ей, видимо, кто-то посоветовал, что выгоднее молчать. Чего, мол, делать сенсацию из фантазий свихнувшегося старика. И господа журналисты свободно и добровольно приняли решение помалкивать... Я связался было с небольшой частной телекомпанией, но там, в силу несчастного совпадения, произошла авария передатчика... Одно хорошо: план свой Полоз, видимо, все-таки пока оставил...

— Пока... Вы упомянули о зомби. Значит, этот подонок продолжает свои эксперименты!

— Кто знает... Возможно, это была лишь отговорка, чтобы уломать меня. Ему ведь любого мальчонку угробить — одна радость.

"А если этим зомби был Петька?" — ожгло меня. И пришлось помолчать, сглатывая страх, приходя в себя. Потом я решительно встал. Отец Венедикт не удерживал меня, дал клочок бумаги с адресом.

— Заберите в гостинице вещи и давайте-ка на эту квартиру...

4

С адресом в кармане, с дощечкой-письмом в руке я опять двинулся сквозь кладбищенские джунгли.

Пока мы беседовали с отцом Венедиктом, дождь шуршал за окном, но сейчас перестал. В серости облаков пробивалась солнечная желтизна. Сильно пахло мокрой травой. Брюки внизу и замшевые башмаки у меня промокли.

Я добрался до могилы, прислонил к памятнику дощечку и пошел дальше. Не к воротам, а к ближней стене, где был пролом. Инстинкт подталкивал меня избегать привычных путей.

Через пролом я выбрался на улицу.

Впрочем, улицы в полном понимании не было. Позади меня — кирпичная стена, впереди — глубокий травянистый кювет, а за дорогой — частые тополя и разноцветные пластиковые ангары. И ни души…

Я стал ждать такси-автомат или какие-то другие колеса, потому что ни станцией воздушной дороги, ни входом в подземку поблизости и не пахло…

Скоро я понял — черта с два здесь кого-нибудь дождешься.

Сверху опять мелко забрызгало. Я прижался к бугристому стволу тополя (ощутив к нему что-то вроде братского чувства за могучую толщину).

Наконец показалась машина. Широкий, похожий на такси автомобиль, но неприятного темно-лилового цвета и без фонарика над ветровым стеклом. Явно не таксомотор. Но… остановился. Из-за меня? Едва ли. Слишком далеко, метрах в десяти.

Откинулась дверца, задом выбрался грузный (чуть ли не как я) мужик. Следом стал вылезать второй, странно возился. И вдруг мимо этих двоих комочком выкатился третий. Маленький! Упал в кювет, вскочил, зайчонком кинулся вдоль стены. Явно — в страхе и отчаянии!

Грузный выхватил что-то похожее на старинный «маузер». Второй — в черно-зеленой пятнистой униформе — сдавленно завопил:

— Подожди! Не здесь!..

Оба резко кинулись за мальчишкой. Тот бежал очень быстро, но как-то ковыляюще. И вдруг споткнулся, упал ничком. Охватил затылок, дернулся, заверещал пронзительно, предсмертно:

— Дядечка, не надо!!

И я видел это и слышал. И руки работали сами. "ПП" — наружу (вместе с подкладкой кармана, ч-черт)! Ползунок ограничителя — на ноль девять: так, чтобы не насмерть, но надолго. Муфту излучателя — вперед, чтобы сузить прицельный луч... Рукоятку в две ладони, как в старом фильме-вестерне (учили нас все-таки неплохо). И два горячих выхлопа: ах-х! Ах-х! У таких пистолетов не бывает отдачи...

Грузный сразу зарылся башкой в траву. Пятнистый успел оглянуться и упал у стены навзничь.

Я подошел. Взял у грузного «маузер». Это и правда было пулевое оружие. Я вытащил обойму, высыпал патроны в ладонь, горстью швырнул через дорогу. А пистолет — через стену. В кармане у пятнистого я нашел "ПП" — такой же, как мой. Разрядил, тоже кинул через ограду.

Мальчик лежал все так же, обхватив затылок грязными худыми пальцами.

— Вставай, малыш. Не бойся.

Он чуть заметно шевельнулся.

Я присел, взял его за бока.

— Вставай. Надо уходить, пока эти не очухались…

Он медленно убрал с затылка ладони. Боязливо повернул голову. Не поднимаясь. Маленькое лицо — в грязных подтеках. Сквозь щетинистые слипшиеся ресницы — недоверчивый слезливый блеск.

— Не бойся меня. Вставай…

Он поднялся на четвереньки.

— А вы… кто?

— Прохожий… Увидел, что за тобой гонятся, ну и вот…

— А эти… где?

— Вот, прилегли… — Небрежностью тона старался успокоить мальчишку.

Все в той же позе, на четвереньках, маленький беглец глянул на своих прилегших врагов. Потом на меня.

— А вы не чпид?

— Да Господь с тобой! Ну, давай же…

Он поднялся наконец. Маленький, мне чуть вы-

ше пояса. Лет девять. Этакое трущобное, немытое дитя. Жесткие спутанные волосы непонятного цвета, острые скулы, толстые губы в трещинках и болячках, босые ноги. Классические лохмотья: заскорузлая, похожая на серый мешок рубаха, драные штаны с бахромой у щиколоток.

Я опять сказал:

— Ты меня не бойся. И давай уйдем поскорее…

Он вдруг торопливо кивнул и вцепился в мой рукав. Прижался. Видать, поверил. А что ему оставалось делать?

Мы пролезли в кирпичный пролом на кладбище. Здесь было глухо и казалось, что безопасно. Двинулись по сырой тропинке. Мальчик не отпускал мой рукав. Но вдруг сильно захромал. Остановился.

— Что с ногой-то?

Он сказал всхлипывающим шепотом:

— Подвернул. Когда убегал. Не здесь, а там, когда облава…

— Что они с тобой хотели сделать?

Он глянул неожиданно распахнувшимися глазами — мокрыми, светло-карими.

— Известно что! Плямбу в затылок — и в кусты…

Я отвел взгляд. Будто виноват был.

— Теперь не смогут…

Он кивнул и отпустил мой рукав. Тем же шепотом сказал:

— Я теперь пойду, ладно?

— А есть куда идти-то?

— Ага… Только не замели бы по дороге…

— Хромого могут замести.

Малыш сумрачно пожал плечами: мол, всякое может случиться.

Он стоял съеженный, косматый и почему-то напомнил мне шахматного конька, которого срубили и убрали с доски.

— Пойдем-ка со мной. В одно место. Переждешь пока, а там будет видно.

Конек не спросил, куда, опять кивнул, послушно так. Видимо, боялся остаться один.

Мы пошли снова, но мальчик почти сразу ойкнул, присел. Ухватился за щиколотку. Глянул снизу вверх умоляюще: не бросай.

Тогда я решительно взял его на руки.

От мальчишки пахло подземной плесенью, немытым телом, гнилым тряпьем, но я, честное слово, не чувствовал никакого отвращения.

Только хмурую нежность к спасенному существу и гордость, что сумел, отобрал малыша у смерти. И теплела на донышке сознания мысль,

что, может быть, этим хоть немного умилостивил судьбу, добыл у нее лишний шанс и для Петьки…

Малыш посапывал у моего плеча.

— Как тебя зовут?

Он выдохнул что-то неразборчивое.

— Как ты сказал?

— Сивка, — повторил он отчетливее.

— Что за имя такое?

— Ну… потому что как Сивка-Бурка. Говорят, похож на лошадку.

А и правда похож…

— Ну а настоящее-то имя есть?

— Есть, почти такое же. Севка…

— Что ж, годится…

Я принес Сивку отцу Венедикту. Рассказал, что было. С сердитой виноватостью: вот, мол, вам еще обуза, но что делать-то…

Старик не удивился, не показал неудовольствия.

— Пусть поживет у меня. Здесь не найдут. А сунутся… Господи, прости меня, грешного…

Прежде всего он осмотрел у Сивки ногу.

— Растянул, кажется. Ничего… Забинтую потуже, надо только сперва отмыть это чадо. Есть хочешь?

— Ага…

— Ну вот и живое дело для меня нашлось... А ты, Пит, ступай, как договорились.

Он обратился ко мне так неожиданно по-свойски — "Пит", — что я ощутил себя мальчишкой, которого приласкали. И легче стало на душе, сильнее сделалась надежда.

5

Адрес, который дал отец Венедикт, привел меня в Западный Береговой район. Тот самый, где я бродил накануне дуэли. И это мне тоже показалось хорошим предзнаменованием.

От площади со старинными фонарями я по Кузнечной улице дошел до первого угла и свернул в Усадебный переулок. Нужный мне дом показался совсем небольшим — три окошка под треугольным фронтоном двускатной крыши. Но когда я вошел во двор, увидел, что в длину это строение — весьма изрядное.

Скорее всего, это был флигель старинной и давно снесенной усадьбы. Вдоль одной стены тянулась галерея с арками и кирпичными столбиками. Она была завалена всякой рухлядью. К одному столбику прислонялось большущее тележное колесо (уж не от кареты ли восемна-

дцатого века?). Вдоль другой стены, близко от нее шел дощатый забор, такой же древний, как колесо.

Узкий двор глухо зарос всякими сорняками, из которых торчали два кривых каменных вазона и какое-то чугунное сооружение, похожее на фабричный пресс.

Заброшенность и тишина очень пришлись мне по душе. Хозяйка тоже. Она уже знала о моем приходе, встретила приветливо:

— Весьма рада, сударь. Я уступлю вам комнату моего мужа, царство ему небесное. Там вам будет удобно, я полагаю…

Худая, старая, она похожа была на Эльзу Оттовну, только с более манерным поведением. Впрочем, эта старомодная (порой слегка карикатурная) манерность ничуть не раздражала. Была она безобидная и даже милая.

Комната оказалась такая, что я озирался минут пять. Даже в детские годы она удивила бы меня стариной, а в нынешнее время… ну, сплошной антиквариат.

Была тут картина в бронзовой раме с завитками (на полотне смутные полуголые фигуры в античных шлемах). Тяжело ходил маятник стоячих, с меня ростом часов. За стеклами резных

шкафов виднелась черная и рыжая кожа могучих книжных корешков. Письменный стол украшали узорчатые латунные накладки. На столе теснились фарфоровые и бронзовые статуэтки, а над ними возвышалась астрономическая сфера из медных обручей и медный же звездный глобус.

— Муж был большой любитель старины, — пояснила хозяйка. — Он преподавал географию в здешнем лицее, а потом заведовал отделом краеведческого музея.

Далее она сообщила, что ее зовут Эдда Андриановна.

— А вас, если позволите, я буду звать мсье Пьер. Вы мне очень напоминаете Пьера Безухова из романа графа Толстого. Вы слышали о такой книге?

Я любезно разъяснил, что не только слышал о "Войне и мире", но и неоднократно читал это выдающееся произведение. И тем еще больше расположил к себе милейшую Эдду Андриановну.

— Если у вас, мсье Пьер, возникнет необходимость с кем-то поговорить по связи, милости прошу ко мне в комнату. У меня неплохой "Орион" со стереоэкраном новой серии.

...С полчаса я лежал на диване, вспоминая все, что было, и раскладывая по полочкам. Потом

опять резко подкатила тоска. И страх за Петьку. Я вскочил, набросил куртку, проверил "ПП". И вышел на улицу.

Бродил по городу, вздрагивал, когда видел похожих на Петьку мальчишек. Понимал, что шансов на встречу почти нет, но все же это было дело, поиск, надежда…

Когда завечерело, я вдруг сильно устал и вернулся к себе в Усадебный переулок. Опять лег. Кружилась голова. Вспомнил, что ничего сегодня не ел. Однако отказался, когда Эдда Андриановна сладким голосом через дверь пригласила меня к чаю. Сказал, что очень утомился и хочу уснуть.

— Ну, не смею быть назойливой…

Однако через минуту я услышал опять:

— Мсье Пьер! Мсье Пье-эр!..

Ох, пропади ты пропадом.

Но она приоткрыла дверь:

— Мсье Пьер, вас к экрану…

Я вскочил, чуть не развалив антикварный диван.

Вызывал меня отец Венедикт.

— Пит… Ты давай-ка ко мне. Сейчас… Есть кое-что.

— Что?

— Ну приходи. Есть… Только двигайся с огляд-

кой. Сам понимаешь…

Я понимал. Те двое наверняка уже очухались, а один-то из них тогда видел меня. И, возможно, запомнил. Странно, что я не подумал об этом раньше, когда болтался по городу… Да и Полоз мог уже обо мне пронюхать. В гостинице-то я не скрывал свое имя.

Я пешком дошел до улицы Кочегаров — не очень оживленной, но и не безлюдной. Остановил фаэтон-автомат. Вышел из машины за два квартала до кладбища и опять двинулся пешком. Поглядывал, не идет ли кто следом. Были густые августовские сумерки, а на кладбище — полная тьма. Тревожно трещал ночной кузнечик. Я шел, почти ничего не видя перед собою — на ощупь, по памяти. И наконец разглядел среди веток неяркое желтое окно.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОЛ

1

По правде говоря, я надеялся на чудо. Несмело, но надеялся. Вдруг Петька нашелся, а отец Венедикт не стал мне сообщать заранее, чтобы я от радости не потерял голову.

Но чуда не случилось. Священник и Сивка

ждали меня вдвоем. Отец Венедикт впустил меня в дом, а Сивка с ногами сидел на кровати — отмытый, переодетый, почти неузнаваемый. Я мельком отметил это, когда с угасающей надеждой обшаривал глазами комнату.

Светила желтоватая лампа.

Перехватив мой погрустневший взгляд, отец Венедикт кашлянул и сказал:

— Такое дело… Боюсь говорить с полной твердостью, но, по-моему, этот Сивка-Бурка знает вашего Петушка…

— Да?! Сивка, правда?!

Я сел, почти упал рядом с ним на кровать, едва не раздавив ее. Сивка деликатно подвинулся. От него пахло шампунем и новой одеждой. Вымытые волосы оказались бронзового цвета — жесткие спутанные кольца.

— Что ты знаешь, Сивка?

Он ответил солидно. Видимо, чуял важность момента.

— Знаю того, о ком речь. Вашего Петьку.

— Где он?!

— На Пристанях, где же еще. Завтра пойдем, сами увидите.

— А если сейчас?!

— Рискованно в темноте-то, — охладил мой

пыл отец Венедикт. — Да и нога у него еще побаливает.

Я устыдился и опомнился.

— Сивка, а ты уверен, что это он?

Тот сказал тоном начитанного мальчика из хорошей семьи:

— Посудите сами. Во-первых, он — Петька. Во-вторых, из Византийска…

"Мало ли Петек из Византийска", — подумал я с боязнью, но и растущей радостью.

— …а в-третьих, кот. Дядя Венедикт… ой, отец Венедикт говорил, что у вашего Петьки был кот. И у этого… Его еще дразнят: "Пит — с котом спит". Ну, не зловредно дразнят, а так, шутя. Потому что кот хороший. И Петька тоже.

Неужели он притащил с собой Кыса?.. А что! Ведь, кроме кота, никого у него не осталось…

— Серый кот-то?

— Серый. И кончик хвоста загнут…

Чувствуя, что раскисаю от счастья, я помолчал, подышал, успокоился:

— Зовут-то это животное как? Помнишь?

— Нет. Все просто "кыс" да "кыс"…

Я ощутил, что люблю до слез не только Петьку, но и тощего Кыса с загнутым кончиком хвоста. И Сивку. И отца Венедикта…

Отец Венедикт встретился со мной глазами, опять кашлянул смущенно так:

— Ну, все сошлось, значит? Бог даст, завтра увидитесь… Я вам советую: ночуйте здесь. А с утра и пойдете.

— Не стесню?

— Хватит места… А хозяйке вашей я позвоню, чтобы не тревожилась, а то она дама впечатлительная… Ну-ка, Бурка-Сивка, гнедая гривка, пошли на кухню ставить чай. В новом чайнике…

И наш конек-горбунок на одной ноге ускакал за отцом Венедиктом.

Через минуту он вернулся, начал с хрустом разворачивать на столе скатерть из белого микропластика. Двигался он уже на двух ногах, но прихрамывал. На левой щиколотке под чулком проступала повязка.

В Сивке мало что осталось от недавнего беспризорника. Если смотреть пристально, можно было еще заметить на лице след прежней бесприютности, этакую трудно смываемую печать улицы — в излишней обостренности скул, в тени под глазами, в беспокойном подергивании бровей. Но исчезли коросточки на губах, чистыми стали щеки, разгладился лоб и уже не щетинились, а были весело загнуты вверх желтые ресницы. И

одет Сивка был как ухоженное дитя обеспеченных родителей, "шахматенком".

Я обратил внимание на эту новую ребячью моду еще днем, когда бродил по городу. Чуть не половина "благополучных" старотопольских мальчишек щеголяла в одежде, украшенной шахматными знаками. На Сивкиных темно-серых чулочках с отворотами у колен были вытканы серебристые пешки. Наружный карман тетратканевой безрукавки украшали два шахматных конька — один тоже серебристый, другой черный. На бежевую тетраткань был выпущен откидной воротник желтой шелковистой рубашки с широкими рукавами. В общем, то ли мальчик в карнавальном костюме шахматной фигурки, то ли юный персонаж старинной шотландской баллады. Только вместо юбочки — просторные, длиной до колен штаны в черно-желтую крупную клетку.

Сивка заметил, что я его разглядываю, застеснялся, засопел. Я сказал одобрительно:

— Тебя и не узнать теперь. Когда это успели раздобыть такой костюм?

— Дядя... отец Венедикт позвонил кому-то, и тетенька принесла. Быстро... — Он вдруг присел на табурет, лег щекой на стол, глянул на меня из-за бронзовых спутанных завитков. — Отец

Венедикт говорит: "Живи у меня, будешь как внук..." Я вот думаю...

— Чего думать-то? Соглашайся.

— Ага, я, наверно, соглашусь. Он говорит: "Снимем квартиру в городе, если ты боишься здесь, на кладбище..." А я и не боюсь. Главное, что свой дом... Только другого боюсь...

— Чего?

— Ну... что по ребятам буду скучать. По нашим... Мы ведь привыкли вместе...

— Можно будет навещать их... Или они рассердятся, что ты от них ушел?

— Ничуточки не рассердятся! Наоборот, скажут, что хорошо. Все рады, когда кто-то находит дом.

— Тогда чего же раздумывать!

— Не знаю... А вы Петьку с котом увезете в Византийск или здесь останетесь?

— Видно будет. Главное — найти...

— Найдете, чего там...

Он повозился, поставил пятки на табурет, спустил чулок, начал поправлять бинт и при этом тихонько морщился. Повыше бинта я увидел пятнышко — то ли ссадина, то ли родинка. И вспомнил о главной примете. И спросил с новой боязнью (хотя, казалось бы, все уже ясно):

— Сивка, а ты не замечал у Петьки на левой ло-

патке родимое пятно? Как гусиная лапка. Может, когда купались или бегали без рубашек…

Сивка отозвался сразу, без удивления:

— Замечал, конечно. Я эту "лапку" вот так, у самого носа видел. — Он придвинул к лицу ладонь. — Это когда Петька меня спас…

— Спас? От чего? Что случилось?

— Это на "Розалине". То есть на барже. Мы там вместе были.

— Что за баржа?

Сивка сказал опять солидно, с этакой интеллигентной ноткой:

— Хорошо, я расскажу. Но это длинная история, если про все по порядку. Давайте после ужина.

И я, подыгрывая этому оттаявшему от страха и бесприютности малышу, согласился:

— Хорошо, после ужина…

Отец Венедикт отвел мне место в каморке со старым и продавленным, но уютным диваном. Я и Сивка уселись рядышком на этом скрипучем сооружении. Горела небольшая лампочка, в щель между шторками светила яркая луна — она была разорвана на куски ветками кладбищенских берез.

В общем, была та самая обстановка для рассказа о грустных и страшных событиях.

А они такими и были, события Петькиной жизни, когда он оказался в Старотополе.

Сивка рассказывал долго. Но я потом не помнил ни слов его, ни голоса. Произошел какой-то сдвиг сознания. Возможно, потому, что мы с Петькой — несмотря на разные группы крови — все-таки во многом едины. Можно сказать, один человек.

К Сивкиному рассказу в дальнейшем добавилось и другое — то, что я узнал от Петьки позже. И то, что знал раньше. И теперь кажется, что я знаю все это — о себе. Знаю со всеми подробностями, со всеми ощущениями. С болью и страхами, с горечью и проблесками радости — все, что было в те дни…

И потому мне легче рассказывать это от имени Петьки. Словно он сам был тогда бездомным, второй раз осиротевшим Петушком. И кто знает — вдруг это так на самом деле?

2

Итак, я, Петька Викулов, двенадцати с половиной лет, оставил интернат в Византийске и купил на свои сбережения билет до Старотополя.

Вообще-то мальчишкам одним ездить через границу не полагалось. Могли и задержать. Но

контроль был слабенький, а я хитро притерся к шумной группе туристов.

Больше всего я боялся за Кыса: не заметили бы его! Но он — умница: послушно сидел в сумке и даже ушей не высовывал. Поглажу его украдкой, он помурлыкает — не тревожься, мол — и дремлет опять…

В общем, вполне благополучно я оказался в Старотополе.

…А зачем я сюда приехал?

Словами я не мог бы объяснить. Просто не было жизни от тоски. С той поры, когда я узнал, что "Игла" взорвалась и Питвик погиб — это вообще была уже не жизнь. Словно погиб я сам. Вернее, половина меня. А вторая половина мучилась постоянной болью.

Первые дни тогда я просто заходился от слез. И Юджин, и Карина не знали, что делать. А потом я успокоился. Снаружи успокоился… И стал опять жить как все. Улетел с Юджином в Антарктиду, там была крошечная школа для детей сотрудников лаборатории. Но в этом белом заполярном крае тоска и страх стали грызть меня с новой силой. И Юджин опять не знал, что со мной делать. И я видел, что мучается он и в то же время досада его берет. Кроме меня, у него хватало

тяжких забот: хотя бы в модели восстановить основные схемы Конуса. Чтобы сохранить проект для будущего.

Я запросился обратно в Византийск. Стал жить у Карины. И старался, чтобы внешне было все как раньше. В школу ходил, даже в хоре там пел. И с Никиткой дружил. Но он скоро уехал на Камчатку. А у Карины появился дядя Макс. Он работал в фирме электронных игрушек…

Нет, они меня не обижали. Наоборот, даже чересчур ласковые были. И я на Карину не обижался. Что же ей делать-то, раз Питвика нет… И все же я ушел в интернат. Думал, когда все время буду с ребятами, тоска поубавится.

Она, конечно, не грызла меня ежеминутно. Я иногда забывался, играл с ребятами, смеялся. И учился нормально. Зато порой становилось так пусто и безнадежно, что даже для слез не было сил… Кто я? Зачем на свете? Почему один? Почему кругом чужое время?

Когда был Питвик, не появлялось этих "почему". Во-первых, он связывал для меня прошлое и нынешнее время и я чувствовал себя на Земле твердо. А главное — мы любили друг друга. Как сын и отец, как два брата, как Петька и Питвик…

А теперь что?

Я уже в апреле решил, что сбегу в Старотополь. Только пусть станет там потеплее…

Мне казалось, что это единственный шанс избавиться от горя. В Старотополе есть хотя бы остатки чего-то родного. И я надеялся, что станет мне здесь полегче. Может быть, почувствую, пойму, зачем жить дальше.

Все это были, конечно, не четкие мысли, а ощущения. Почти что инстинкт…

В общем, я приехал. И пошел на Пристаня. А куда мне было еще идти? Встретил полузнакомых мальчишек. Сразу сказал, что остался один и что не знаю, где жить.

И стал жить там. В этом поселке из хибар, складов, сараев, сохнущих на берегу старых пароходов и всяких пристанских сооружений.

Здесь было много обитателей — и взрослых, и ребят. Ребят — нищих, живущих без отцов и матерей. Всякие были мальчишки и девчонки. Кое-кто едва умел читать, хотя был старше меня. Но встречались и такие, кто знал теорию многомерности и поэмы Гомера — прямо как из лицея. Потому что всякие сюда попадали ребята и отовсюду. Если кто-то не хотел говорить, откуда он, то в душу не лезли.

И старались не обижать друг друга. Говорили

новичкам вполголоса и строго: "Так отец Олег учил. Потому что иначе не выживем..."

Конечно, в городе весь пристанский люд попрошайничал, воровал и зарабатывал как мог, без особых понятий о честности. Но здесь, на Пристанях, можно было своих не бояться. Случались, конечно, ссоры и стычки, но не часто, и кончались обычно без крови, даже между взрослыми. А маленьких взрослые вообще не задевали. Почти. Я знал только один такой случай, но он для мужика кончился совсем плохо... У мальчишек, правда, бывало, что двое сцепятся в драке, особенно малыши, но их тут же растаскивали...

Меня с Кысом приняли нормально. Едой делились, угол нашли, чтобы ночевать. Я малость отошел от своего горя. Стал даже иногда петь под гитару у вечерних огоньков. Бывали такие. Разведут костерок на пустыре, соберутся в кружок большие и маленькие и зовут: "Петь, иди петь!" Но чаще меня звали по-другому, посмеиваясь: "Пит — с котом спит". Потому что с Кысом я не расставался и он всегда ночевал у меня в ногах.

Кыса, кстати, все баловали. Скоро он стал раскормленным, солидным. Но меня покидал редко. Если даже загуляет днем, к ночи приходит обязательно, а если не может меня отыскать, орет на

все Пристаня?...

Скоро я устроился на житье у Китайца. Это был худой дядька с темным, почти как у негра, лицом, но с раскосыми глазами. Молчаливый и добродушный. У него была жена (тоже вроде бы китаянка) и дочка двух лет. Китаец из всякого мусора, из палочек и обрезков жести делал забавные фигурки: балерин, клоунов, лягушат и дракончиков. И продавал свои поделки на рынке у Морского вокзала, где было немало приезжего люда. Товар его брали охотно. Как же! "Трущобные сувениры", экзотика!

Китаец без лишних вопросов уступил мне крошечную, как курятник, каморку в своей хибаре. Хибара эта была наполовину мазанка, а наполовину — перевернутый корпус деревянного старого катера. Я помогал Китайцу мастерить игрушки, собирал для него жесть, обрезки досок и всякие лоскутки. Иногда возился с Дайкой — его дочкой. А он меня кормил, если было чем. Но я мог бы не помогать, не собирать, не возиться с девочкой. Китаец все равно кормил бы меня и Кыса. Такой уж он был. И жена его тоже...

Теперь моя жизнь была ни капельки не похожа на прежнюю. Ни на давнюю, старотопольскую, ни на "вторую", в Византийске. Казалось бы, все в

сто раз труднее. А на душе стало легче.

Конечно, я понимал, что эта жизнь без будущего. Тут я не закончу школу, и никогда мне уже не сделаться прокладчиком межзвездных туннелей. Ну и не надо! К чему мне это? Все равно Питвика нет, Конус погиб…

Я думаю теперь не о будущем, а о прошлом. Все больше мне казалось, что оно ушло не совсем. По ночам, пригревшись с Кысом в своей конуре, я часто видел хороший сон. Будто прихожу на Гончарную улицу, а там все как прежде. И дом наш — целехонький. И если взбегу на второй этаж, увижу маму. Только… только не надо соглашаться на ее просьбу, идти на вокзал и покупать билет до Боровихи на завтрашний поезд. Пусть на этот раз поездка сорвется…

Было в этом сне все такое настоящее, такое… можно сказать, явное, что после этого я несколько раз бегал в район бывшей Гончарной улицы с обжигающей душу надеждой: а вдруг в самом деле…

Но, конечно, не было нашего дома. И даже памяти о нем не было…

И все же, появившись однажды, эта мысль меня не отпускала. Мысль об уходе назад.

Если можно было перенести меня сюда, на сто

лет вперед, почему нельзя обратно?

Кто меня перенес? Полоз! Вот пускай он же и уводит меня в середину прошлого века!..

Я знал, что Полоз в Старотополе. И боялся его встретить. Так боялся, что даже на маминой могиле не оставлял корабликов, когда приходил к ней. Чтобы не было от меня ни малейшего следа. "Не обижайся, мама. Может быть, потом..."

Но я боялся Полоза пока. А на будущее у меня зрел план: поймать этого гада и заставить его перенести меня, Петьку Викулова, в родное время. Причем не в то, из которого я пришел, а в более раннее, когда жива была мама...

План был еще в самом начале. Я о нем не говорил пока никому, даже тем приятелям, которых собирался просить о помощи. Главное, что появился впереди просвет...

Но судьба подготовила мне совсем не такую встречу с Полозом, о которой я мечтал.

Мы все, конечно, знали, как охотятся за беспризорными пацанами "Рио" и чпиды. Бандюги из "Рио" — те просто убивали. Такое же, говорят, могли сделать и чпиды. Но чаще они устраивали в городе официальные облавы. Вместе с полицией. И пойманных отправляли в специнтернаты.

Однажды захомутали и меня. Причем так

по-глупому я попался. Шел себе спокойно от приморского рынка, грыз украденный с лотка вчерашний батон, и вдруг двое мужиков хвать за плечи!

— Мальчик, ты где живешь?..

Так я и попал на "Розалину".

3

Это была полушкола-полутюрьма. Впрочем, что касается тюрьмы, то не "полу", а полная. Плавучая.

Ветхий, столетней давности пароход "Розалина" стоял в заливе на якоре в миле от берега. Неуклюжее громадное судно с высоким черным корпусом и грязно-белыми обшарпанными надстройками. Сюда свозили всех пойманных в Старотополе беспризорников. К моменту, когда я попал на "Розалину", набралось там нашего брата тысяч шесть. Причем одни мальчишки. Девочек увозили в другое место…

Наше пленное население было разбито по группам разных возрастов, потом по классам, потом по кубрикам. Жили мы в кубриках по восемь-десять человек, спали на двухъярусных койках.

Разные группы обитали на разных палубах (то

есть на пароходных этажах). С палубы на палубу ходить запрещалось, переходы были заперты.

Тут вообще все запрещалось: бегать, громко говорить, подходить к бортам, собираться кучками, разговаривать после отбоя, подолгу находиться на открытой палубе. Чпидовские воспитательницы — могучие толстозадые тетки в коричневых куртках и пилотках — торчали повсюду.

В шесть утра — подъем, зарядка, пение гимна, хоровое чтение благодарности государству за заботу. Потом завтрак, уроки до обеда, уроки после обеда. Час — на игры в закрытом спортзале, полчаса — прогулка по палубе (от кормы до носа и обратно). Час — у экрана, когда новости и детская передача. В девять — постель. Нам объяснили, что все мы изначально преступники, потому что бродячий образ жизни — сам по себе уже нарушение законов Республики. И мы должны быть благодарны правительству, премьеру и Государственному совету за то, что теперь наше будущее обеспечено: нас выучат и сделают полноценными гражданами. По крайней мере тех, кто не станет нарушать режим.

Для тех же, кто режим нарушал, имелся карцер. Железная каютка без иллюминатора. Душная, глухая. Но это было самое слабое наказание — для

тех, кто не знал урока, не поздоровался с воспитателем, замешкался при подъеме или отбое. Провинившихся более серьезно брали "на особый учет" (это было самое страшное). О возможных наказаниях ходили всякие слухи. Говорили даже, что по решению чпидовской судебной коллегии могут и расстрелять. Есть, мол, такой давний, но не отмененный закон.

Старшая воспитательница нашей палубы госпожа Изольда особенно любила напоминать об этом. Намекала, что такое наказание неизбежно для тех, кто попытается бежать. Никто и не пытался. Лодку не раздобыть, все спасательные круги были сняты, а просто так, вплавь, до берега не добраться, далеко. А если и доберешься, если не заметят и не поймают (хотя все равно заметят, пока плывешь), куда денешься в своей арестантской одежде? Мы носили широкие пятнистые комбинезоны с глухим воротом и застежками на щиколотках. И с белой эмблемой "Школа ЧПИД" на спине…

Главным чувством на "Розалине" был страх. И беспомощность. Бригада воспитателей действовала так умело, что моментально гасила самые крошечные искорки бунта. Даже не бунта, а простого недовольства.

Я помню только одну попытку протеста. Приехали какие-то высокие гости (кажется, из магистрата), и у нас, выстроенных на палубе, гладкий чиновник в старомодном, похожем на фрак костюме елейным голосом спросил:

— Скажите, дети, всем ли вы здесь довольны? Или есть жалобы? Если есть, не бойтесь, говорите.

И незнакомый мне мальчишка на дальнем конце строя вдруг шагнул вперед. И звонким от переломленного страха и отчаяния голосом выкрикнул:

— Не всем! Совсем недовольны! Нас здесь бьют! И вообще… издеваются!..

Легкий шум прошел по шеренгам. Еще немного — и начнется общий крик. Чиновник во фраке закатил глаза от горестного изумления:

— Какой ужас! Это правда?

Две дамы по бокам от него заквохтали:

— Мальчик, ты немедленно поедешь с нами! Все нам расскажешь. Мы подробно разберемся… — И комиссия с мальчишкой торопливо отчалила на катере… А нас разогнали по кубрикам. И — все…

Через пару дней госпожа Изольда усмехаясь сообщила, что мальчик на берегу повел себя крайне

неразумно: выскочил из машины, бросился бежать и попал под автомобиль...

— Конечно, жаль его, как и всякого ребенка, но своим поступком он доказал, что жалобы его — ложь. Знал, что ложь разоблачат, потому и ударился в бегство... Вот так, уважаемые господа воспитанники. А теперь спать. И кто шелохнется... не забывайте, что завтра банный день.

Банного дня боялись даже больше, чем разговоров о всяких специальных детских тюрьмах и расстрелах. Потому что разговоры — это все-таки что-то неясное, слухи. А банный день — он грозная неизбежность.

Каждую пятницу с утра подваливала к "Розалине" железная, пышущая паром санитарная баржа. Мы оставляли всю одежду в кубриках и вереницами, под конвоем дежурных воспитательниц брели на "помывочную процедуру". Это само по себе уже было страшно — жуткая беспомощность и стыд, от которого хотелось съежиться в комочек, превратиться в мышонка или комара. Но в конце концов каждый из нас к этому притерпелся. Однако нельзя было притерпеться к страху. Никто не знал, что его ждет после мытья в гулком, наполненном душным туманом трюме. Никому в точности не было известно, не оказался

ли он на этой неделе в каком-нибудь штрафном списке.

У выхода из моечного трюма был "распределитель" — контрольный тамбур, где со списком сидела дежурная воспитательница и сортировала нас: кого направо, кого налево… Того, кто "налево", ждали уже крепкие чпидовские тетушки — любительницы этого дела. Отводили в железные клетушки. Особенно тетушкам нравились младшие ребята — те, у кого силенок мало и кто быстро слабеет от страха. Возни с ними немного — положишь животом к себе на колени, и… Прутья были искусственные, пластиковые. Из-за ржавых дверей доносился поросячий визг. А в распределителе томилась жутким ожиданием другая группа приговоренных.

С ребятами постарше управлялись воспитатели-мужчины. И если кто-то брыкался, не хотел идти, тому добавляли за непослушание…

Меня судьба пока хранила от такого ужаса. Но я знал, что рано или поздно это случится. С каждым когда-нибудь случалось. И вот однажды, в третий четверг своего пребывания на "Розалине", я ощутил, что изнемогаю от тоскливого страха. От предчувствия.

Никакой вины я за собой не помнил, но был

уверен в близкой беде. Потому что утром в числе гостей-проверяющих я увидел Полоза.

Да, его! Я сразу узнал, хотя он был без парика, в соломенной шляпе и с бородкой. Я видел его до этого только раз, тем вечером, в полубреду, но сейчас понял сразу — это он. И обмер.

Мы опять были выстроены на верхней палубе, и я съежился, опустил голову, чтобы Полоз не узнал меня. Чуял — если узнает, случится страшное.

И я стоял, стоял так, а эти проверяющие медленно шли вдоль строя. И когда я не выдержал, поднял глаза, Полоз оказался как раз передо мной. Мы встретились взглядами!

Нет, ничего не случилось. Полоз отвел глаза и равнодушно прошел мимо. Но я сердцем почувствовал: узнал!

Он стал что-то тихо говорить незнакомой тетке в чпидовской пилотке, и та — издалека уже — оглянулась на меня. И наша Изольда — тоже. Ни скрыться, ни убежать…

С этой минуты я был уверен: беда не минует меня. Какая только, не знал…

В четверг ничего не случилось. А утром в пятницу дежурная надзирательница даже похвалила меня за гладко заправленную койку. Но я все равно боялся.

Потом повели нас на баржу, где после мытья настало страшное время сортировки — направо, налево…

Приближаясь к тамбуру, я обмирал все больше. И вот…

Дежурная мадам Грета глянула на меня, в список, опять на меня. Мигнула.

— А, Викулов! Постой вот здесь. В сторонке. Сейчас за тобой придут.

Ни направо, ни налево. Это еще страшнее, потому что непонятно… Не выдержал я, сказал плаксиво:

— Что я сделал-то?

— Стой, говорят…

Стоял я всего полминуты. Незнакомый дядька — похоже, что из экипажа баржи — взял меня за плечо заскорузлой лапой:

— Этот, что ли? Пошли…

— Что я сделал-то?..

Он дал мне ладонью между лопаток, я от толчка двинулся рысцой по железному коридору. Уперся в глухую дверь с заклепками. Дядька пихнул меня в эту дверь. Сзади лязгнул засов. Я съежился, стал оглядываться.

Похоже было на карцер. Голые эмалевые стены, яркая лампочка. Окошек не было, лишь в двери

— тюремный глазок. В босые ступни впивались клепки железного пола. Он был почему-то очень холодный. Я запританцовывал. Тут опять залязгала дверь и в камеру втолкнули двух мальчишек. Один — лет девяти, темно-рыжий, сутулый, другой — совсем малыш. Наверно, шестилетка.

Старшего я немного знал, раньше он тоже обитал на Пристанях. Несколько раз мы сходились у одного костра, а однажды я помог сделать ему кораблик из куска пористого пластика. Звали его Сивка. Сивка-Бурка… Но на "Розалине" я Сивку ни разу не встречал. Наверняка он был с другой палубы. А малыша я вообще видел первый раз в жизни. Он был тощий, с редкими белобрысыми волосами. Перепуганный. Он сел на корточки, поднял на меня синие глазищи и шепотом спросил:

— Зачем нас… сюда?..

А Сивка смотрел молча, но тоже перепуганно.

А я, глядя на них, перестал бояться. Вот так, сразу. Будто выключилось во мне что-то. И подступила к горлу горячая злость.

За что они нас так? Будто не людей, а каких-то кроликов, готовых на убой! Мы разве для такой жизни родились на свет? Мы — люди!

Такое возмущение порой толкалось во мне

и раньше, но задавленное, тайное. Потому что все вокруг боялись. И все мы были одинаковы — воспитанники четвертой палубы. А здесь были маленькие, гораздо слабее меня. И смотрели… ну, так, будто я мог их защитить… Раньше я не особенно обращал внимание на маленьких, неинтересно мне было с ними. Но сейчас понял — ударю первого же чпида головой в живот, стану кусаться, бить руками и ногами. Пусть убьют! Мне было уже все равно!

Однако никто не открывал. А за белыми стенами вдруг послышалось напряженное гудение, и в ноги через пол пошла щекотка. Сильная такая.

Сивка закричал, запрыгал, а малыш скорчился, раскрыл рот, вытаращил глаза и клубком стал кататься по железным листам с заклепками.

Ток! Фашисты!..

Мне-то напряжение было не страшно, а эти, маленькие, изнемогали. Я подхватил младшего на руки.

— Сивка, прыгай на спину!

И он понял, прыгнул. Завсхлипывал, задышал мне в затылок. А малыш обморочно повис у меня на руках. Я стоял на расставленных ногах и тихо стонал от тяжести. Только бы не уронить их… Да когда же это кончится?!

Электричество било мне в ступни, сильными щипками дергало икры, но выше колен ток не шел. Наверно, специалисты-энергетики скажут, что так не бывает, но, видимо, у меня какой-то особый организм. По крайней мере, я своим телом не пустил напряжение к Сивке и малышу…

И наконец ток выключили. И я упал вместе с мальчишками. И тут же залязгала дверь. Теперь уже не было сил драться, я только всхлипнул и обозвал охранника всеми словами, каким научился на Пристанях. Он поволок меня по коридору, оставив Сивку и малыша в незапертой камере.

Меня вытащили на верхнюю палубу баржи. На белый свет, на горячее солнце.

Тот, что держал меня (слабо трепыхавшегося и плюющегося ругательствами), сказал, слегка запыхавшись:

— Заберете с собой, господин Заялов? Тогда надо шмотки… Или так сойдет?

И я вновь увидел Полоза. Он прилип ко мне клейким, как синяя изолента, взглядом. Я не испугался, просто кончились запасы страха. Но меня ознобом сотрясло отвращение. И дало новые силы. Я рванулся, кинулся к борту. Понимал, что это гибель, но лучше такая, чем от этого палача!

Прыгнул вниз головой и сразу ушел на глубину.

4

Вода в первый миг показалась холодной, стиснула меня жестко, неласково. Я, однако, не вынырнул. Потому что тогда — сразу в лапы чпидов и Полоза! Я крутнулся в воде, раскрыл глаза и увидел, что сбоку нависает надо мной китовое брюхо баржи. И я поплыл под это брюхо с мыслью о последней маленькой мести: пусть поищут меня, утонувшего, пусть попсихуют.

Я понимал, что лучше сразу хлебнуть воды — чтобы меньше мучиться. Но инстинкт жизни оказался сильнее. Я плыл не открывая рта, с давящей жаждой воздуха в груди. И вдруг увидел просвет. Надо мной сквозь толщу воды узкой полосой проступало солнечное небо.

Я вынырнул, задышал.

Оказалось, что я — между баржей и "Розалиной". Борта их сходились не вплотную, между ними были громадные плетеные валики. Они называются "кранцы".

Случай подарил мне оттяжку гибели. А может быть, и спасение?

Искать меня в этой щели сразу не догадаются.

Скорее решат, что потонул там же, где нырнул. И может, не очень-то станут искать утопленника? Ведь если я нужен зачем-то Полозу, то, конечно, живой…

Вода уже не казалась холодной. Можно выдержать долго… А если под нависающей кормой у баржи найти какую-нибудь зацепку? Баржа уйдет к причалу, там, дождавшись темноты, можно выбраться на берег. Подобрать в порту, среди мусора, какое-нибудь тряпье или хотя бы бумагу — вместо одежды. Закоулками, окраинами добраться до Пристаней…

Но нет, под кормой винты, измелют в котлету, баржа-то самоходная. А здесь, у днища, ничего подходящего — ни скоб, ни даже выступающих кромок обшивки… Зато в борту "Розалины" — какая-то ниша. Верхний край ее выступает над водой. Можно отсидеться, если станут искать!

Я поднырнул, опять оказался в полумраке, но все же разобрал, что там такое. Это было гнездо для винта вспомогательного бортового двигателя. Верхний лепесток винта торчал над водой. Он был с меня ростом.

Я нащупал скрытую в воде ось винта, встал на нее. Вертикальная лопасть заслонила меня снаружи полностью. Если даже кто-то заглянет в

гнездо, когда баржа отойдет, меня не заметят…

Да, но что же дальше-то? Дождаться ночи и плыть? Но пловец я такой, что до берега ни за что не дотяну. Вот если бы найти доску, или кусок пенопласта, или буек какой-нибудь… Но не было ничего.

Я стоял по колено в воде, обмирал, оглядывался. До меня долетели приглушенные голоса, потом завыла сирена аварийного катера. Высоко сверху, по трапам между баржей и пароходом, двигались сотни людей: сперва гнали ребят, потом бегали туда-сюда взрослые. Раздавалось какое-то плюханье, плеск: может быть, это спускались водолазы. Я на всякий случай опять по уши погрузился в воду…

Часа через полтора баржа отошла. Я увидел перед собой просторный солнечный залив. Солнце было уже невысоко (мыться мы пошли после обеда). Я снова выбрался на ось винта.

В нише теперь было гораздо светлее. Я осмотрел ее и увидел над собой узкий лаз. Такую квадратную шахту со скобами. Наверно, по ней спускались, чтобы проверять и ремонтировать винт.

Когда стемнеет и все уснут, можно попробовать пробраться по этой шахте в трюм. Едва ли там

кто-то есть. Может быть, отыщу что-нибудь плавучее и тогда уж... Терять мне все равно нечего, хуже не будет.

Самое трудное оказалось дождаться сумерек! Время еле ползло, а я продрог в сырой ржавой тени. И чтобы отвлечься, я стал думать, кому из ребят и взрослых там, на Пристанях, доверить свои планы? Кто поможет поймать Полоза? Про взрослых так ничего и не решил. А среди мальчишек я знал человек пять очень надежных. Прежде мы не были большими друзьями, но я надеялся, что они не откажутся. Потому что давний пристанский проповедник отец Олег учил: "Если ты не поможешь кому-то сегодня, кто тебе поможет завтра?"

Хороший, говорят, он был человек. Уж он-то обязательно помог бы. Но я не застал его в живых. Видел только его могилу — у обломка кирпичной стены, среди зарослей черемухи, в дальнем пристанском закоулке. На кирпичах — ни имени, ни других каких-то слов, только выбитый зубилом крест...

Да, но когда мы поймаем Полоза, он же отопрется. Скажет, что не может вернуть меня на сто лет назад. И что же тогда? Как заставить? Пытать? Я передернул плечами. Не смогу я. И никто из

нас не сможет. А если бы смогли? Чем тогда мы лучше Полоза?.. Так ничего я и не придумал…

Солнце наконец ушло за мыс, на котором чернели портовые эстакады. Потом еще около часа неторопливо густели сумерки. Наконец зажглись звезды, небо почернело. Вверху, на палубах, раздалась мелодия колыбельной песни. Этой сладенькой музыкой нас отправляли в постели. И попробуй опоздать…

Я подождал еще минут пятнадцать. Пошевелил закоченевшими руками и ногами, подтянулся и полез по скобам в кромешной темноте.

Подниматься пришлось невысоко, метра три. Потом голова уперлась в твердое. Неужели тупик? Я надавил железо макушкой изо всех сил. С отчаянием! Крышка с чавканьем приподнялась. Я даванул еще. Крышка отвалилась с гулким ударом. Я замер, съежился и сидел так еще, наверно, целый час. Но не услышал ни звука. И тогда пролез в какое-то черное пространство.

Сперва казалось, что мгла полная. Потом вдали увидел я чуть заметный тонкий просвет. Стал пробираться, больно ударяясь и царапаясь о какие-то вентили, рычаги, трубы…

Просвет был щелью в железной двери. Незапертой. Глянул я в щель. За дверью, судя по

всему, тянулся грузовой трюм — просторный, освещенный зеленоватой дежурной лампочкой. И не было никого.

Я отодвинул дверь, шагнул. Постоял, готовый скользнуть обратно. Потом нервами ощутил, что нет поблизости ни единой живой души и можно не вздрагивать каждую секунду.

Правда, я продолжал вздрагивать, но уже не от боязни, а от выходящего из меня озноба. В трюме стояло душное, пахнущее ржавчиной и старой краской тепло.

Всюду громоздились пластиковые ящики с разноцветными наклейками и номерами. Верхние ящики оказались не закупорены, легко откидывались крышки.

В одном ящике была ребячья обувь. Всякая. Во втором — постельное белье и полотенца. В третьем — рубашки… Я понял, что это вещи, которые жители города собирали для "бедных сироток". Только на "Розалине" нам такое имущество не давали, обряжали "сироток" во все казенное. А собранные вещи хранили в трюме. Для чего, я не понял. Да и не очень думал об этом. Просто кидался от ящика к ящику…

Скоро я нашел все, чтобы выглядеть как нормальный, "благополучный" старотопольский

пацан: в легких спортивных башмаках, в шортах из синтетической замши, в майке с портретом веселой обезьяны из фильма "Раз — космос, два — космос!". А потом отыскал еще безрукавку с карманами и пряжками. И сразу почувствовал себя человеком. Когда без одежды — такое ощущение беззащитности, а теперь был уверен, что спасусь.

И уверенность эта подтверждалась шаг за шагом. Во-первых, я нашел коробку с шоколадными батонами и сразу стрескал две штуки. Потому что в обед ничего не ел из-за всех своих переживаний и предчувствий и теперь был совсем измотанный. А тут — новые калории и силы!.. Потом повезло еще больше. Среди ящиков лежала стопа детских спасательных жилетов. Такой у меня был, когда я прошлым летом ходил с Питвиком и Митей на яхте… Как давно это было! И как тогда было хорошо…

Мне захотелось сесть тут же на эти жилеты и заплакать в голос. Но я сцепил зубы. Один жилет я надел на себя, из другого скрутил муфту и внутрь ее засунул одежду и башмаки.

Теперь — в шахту, к винту и в воду…

На обратном пути я заплутал, оказался в тесном отсеке, где лежали ящики другой формы: квад-

ратные, черные, под пломбами. А еще — какие-то штуки, похожие на газовые баллоны или торпеды. К одной была прислонена коробка, вроде старинного аккумулятора, а на ней поблескивала штучка вроде латунной консервной банки с двумя рычажками и зубчатым ободом.

Я не стал разбираться, что тут такое. Выбрался в главный трюм, оттуда — в черное помещение с трубами, а из него, на ощупь, к шахте винта.

Плыл я долго и осторожно. Однако не боялся. Жилет хорошо держал меня. Примерно через час выбрался я у окраинных причалов на сушу, перелез через несколько изгородей и кирпичную стену, оказался в глухом переулке. Это была Портовая слобода. Я знал, как добраться до Пристаней. И добрался. Правда, не скоро, потому что выбрал для безопасности окольный путь, по самым безлюдным улицам.

Китаец встретил меня без особого удивления, но обрадовался:

— Пит! Ай, окаянный, где гулял три недели! Твой Кыс вовсе отощал, ничего не жрет от тоски…

— Живой?!

— Вот он, швабра-лахудра…

Я присел, исхудалый Кыс прыгнул мне на грудь,

стал тереться усатой мордой, совать голову мне под мышку.

Вот тогда я заплакал…

А через два дня появились на Пристанях Сивка и малыш, которого звали Гошка Заяц. Они, оказывается, тогда улизнули из камеры в глухие недра баржи и больше суток прятались в переплетенных отопительных трубах. И наконец выбрались на причал.

Все радовались — и мне, и Севке с Гошкой. Но вообще-то висела над Пристанями тревога. Ходил слух, что готовится грандиозная облава, при которой спецы и чпиды будут прочищать самые дальние трущобы.

Впрочем, такие слухи возникали не в первый раз, и мы, ребята, боялись, но не очень. На крайний случай знали мы такие тайные закоулки, что не найдет никто…

5

Такую вот историю Петькиных похождений узнал я, взрослый Петр Викулов, Питвик.

Узнал, конечно, не сразу. А в тот вечер, из рассказа Сивки, мне стали известны лишь главные события.

Но и этого хватило для тревоги и жалости. Даже сердце заболело…

А Сивка под конец начал сбиваться, бормотать неразборчиво. Видно было — совсем уже засыпает бедняга. И я перестал мучить его вопросами.

Отец Венедикт унес Сивку на постель, я тоже лег в своей комнатушке, выключил свет.

Разорванная ветками луна ярко ударила сквозь стекла.

Уснул я быстро, но во время сна меня не оставлял этот неласковый, электрический какой-то свет луны. Будто я лежу с открытыми глазами.

А ведь я спал. По крайней мере именно во сне удостоил меня подробной беседы господин Феликс Антуан Полоз.

Наяву не пришлось говорить с ним столь подробно, только мысленно я иногда вел с ним диалоги — когда думал о природе этой нечеловеческой мерзости. Иногда диалоги были обжигающе злые, иногда — подчеркнуто спокойные: мне хотелось проникнуть в суть. А потом казалось: чего проникать-то? Гад, подонок, несмотря на весь свой научный и музыкальный талант, вот и все. Мало ли мы знали ученых подлецов!

Сейчас Полоз возник передо мной в этаком отрешенном, исключенном из обычного измерения

пространстве (просвеченном тем не менее все той же луной). Возник не весь, а только лицо, обрамленное локонами рыжего парика. Длинное, скучноватое лицо сказало:

— Вы, кажется, желали побеседовать со мной, господин Викулов?

— Я?! С чего ты взял?

— Ваше неистребимое стремление растворено во всех слоях подпространства.

— Что ты знаешь о подпространстве, кретин?..

— Не меньше, чем ваш Конус, канувший в эти загадочные глубины…

— Сам бы ты канул куда-нибудь… — Я с трудом преодолевал сонливость. Потом встряхнулся. — Кстати, ты знаешь, что если я не найду Петьку, то убью тебя?.. Впрочем, если и найду… Кто-то же должен это сделать…

Он, кажется, удивился искренне:

— Зачем?

— Чтобы восстановить сбалансированность природы. Тебе в ней не место.

— Почему вы так решили, Питвик? — похоже, что он обиделся. — Сбалансированность как раз нарушится, если я исчезну. Создатель ничего не делает бессмысленно, значит, нужны в мире и такие, как мы…

— Оставь Создателя, подонок! Такие, как ты — продукт не Его, а вышедших из-под контроля дьявольских сил. Они взбесились и решили испохабить Вселенную.

— Ну, допустим. Однако разве эти силы не нужны? Создавая Вселенную, полную противоречий, Бог предусмотрел и такой вариант. С нами. Ибо без борения невозможно развитие мира. Это элементарно. А в борении есть проигравшие, и тогда, естественно, горе им…

— Горе — кому? Беззащитным пацанам, которых вы, сволочи, мучаете для услады своих гадских инстинктов?! У ребятишек-то какая борьба? И какая вина?

— А откуда ты взял, что страдать должны виноватые? Боль виноватых — заслуженна, сбалансированна и не влияет на стабильность мировой оси. А ось эта искривлена грехами, необходимо искупление. В основе же искупления — всегда страдания невиновных.

— Кто тебе сказал такую чушь?

— Чушь? — усмехнулся он. — Спроси отца Венедикта, если сам еще не проникся вашей христианской моралью. Ведь именно безгрешный, ни в чем не виноватый и чистый Иисус явился в мир, чтобы своими страданиями искупить грехи

всех смертных. Другое дело, что у него ничего не вышло, но тут нет его вины. Смешно думать, что кто-то один, пускай даже Богочеловек, может заплатить собою за бесчинства и беззаконие миллионов. Мировая математическая логика требует, чтобы для расплаты страдали тоже миллионы. Миллионы невинных, с нетронутыми душами. Это заложено в самой основе Мироздания…

Когда он говорил, лицо его то приближалось, то удалялось. Но угловые размеры лица оставались одинаковыми. Когда оно было близким, то казалось обычным, человеческой величины. А отдаляясь — росло. И порой уходило в страшную даль — сквозь потолок и стены, сквозь просвеченные луною клочья облаков, дальше бледных звезд. И становилось неизмеримо громадным — словно подтверждало космический масштаб своих суждений.

— …Это заложено в самой основе Мироздания… — И лицо приблизилось опять. Стало как у сидящего рядом собеседника. Я видел прыщик снаружи левой ноздри. И несмотря на артистическую удлиненность и локоны, мелькало в этой физиономии что-то боязливо-обывательское. Как у бродячего торгаша без патента.

— Итак, ты, Феликс Антуан, один из столпов

Мироздания? От скромности не умрешь…

— Не претендую на столь вселенскую роль. Но я тебе уже доказал, что для искупления мира необходимы страдания. А кто-то же должен их осуществлять! Следовательно, нужен я. И такие, как я… Мы — необходимые рычаги в механизме, созданном Вседержителем, и смешно негодовать на нас за это. Мы — неизбежны…

— Зря ты прячешься за высокую миссию. Ты — грязный маньяк, и дело не в мировых законах, а в том, что ты и тебе подобные находят сладкую радость в мучении слабых и в своей похотливой власти над беззащитными.

— Конечно! — он улыбнулся самодовольно и снисходительно. — Разумеется! Наша работа высока по своей задаче и требует вдохновения. Она сродни искусству, а искусство должно приносить радость художнику. И в трепете страдающих детских тел для нас то же наслаждение, что для музыканта — в прекрасной мелодии…

Лицо "художника" висело от меня метрах в пяти и размером было со стол.

"Конечно же, это не сам Полоз, — думал я. — Это его призрак или какой-то гнусный, не подвластный обычной природе дубликат. Ни кулаком, ни лучом из "ПП" не возьмешь…"

Оставалось продолжить дискуссию.

— Тебя послушать, так и даже Иуда ни в чем не виноват, потому что Христос заранее предсказал, что будет предан и распят. Выходит, Иуда тоже "рычаг механизма"? И не за что его осуждать?

— Конечно! Он и не был никем осужден, кроме разносчиков досужей молвы! В чем его вина? Если бы он не донес на Иисуса, разве тот смог бы выполнить задуманное и пострадать во имя человечества?.. Ну, что вы тут скажете, мистер Питвик? Ты когда-нибудь думал над евангельской историей всерьез? Это тебе не кораблики ставить перед самодельной иконой в розовом отрочестве…

Я дернулся. Но из глубины пришел глуховатый, с выдохом, голос отца Венедикта:

— Ты, Феликс Антоныч, не путай понятия. Христос потому и пришел на землю, что на ней были такие, как Иуда. Спасать мир именно от них пришел. И нет им оправдания, предателям и злодеям. Так же, как и тебе… А вот меня бы Господь простил, если бы я тогда успел удушить тебя. Ну да ты свое еще найдешь…

— Не ранее, отец мой, чем исполню свое предназначение до конца…

— Я тебе, дьявольское отродье, не отец! — взре-

вел священник Венедикт, и я испугался, что проснется Сивка. — Достань его, Пит, дотянись!

Но Полоз опять сделался громадным и ушел в недостижимую высь…

— Придет время, дотянусь, — пообещал я. И вдруг сообразил: — А ты ведь, гад, охотился за Петькой, чтобы именно его расстрелять на страх другим! Потому и говорил — зомби!

— Конечно! — смеялся Полоз из-за звезд, которые были почему-то черными.

— Ты врешь, он не зомби! Он человек с живой душой!

— Как и те остальные, кого я перетаскивал из прошлого! Думаешь, это были дубликаты? Я пудрил мозги и тебе, и другим. Чтобы не отвечать перед слюнявыми "человеческими" законами. — Он опять постепенно приблизился. — Все мальчики были настоящие. Для страдания нужны только настоящие дети, Питвик. Природа искупления не терпит подделок…

Я все же выхватил из-под подушки пистолет. Дернул предохранитель, выпалил в повисшее совсем рядом лицо.

Ах-х! — и белая вспышка. Лицо исчезло. Сразу. И ночь исчезла. Я сидел на диване с "ПП" в руках. В окно пробивалось сквозь лисья веселое такое,

раннее солнце.

ПРИСТАНЯ
1

Сивка еще прихрамывал, но шагал рядом со мной бодро и бесстрашно. Видимо, он считал, что костюм "хорошего мальчика" ограждает его от всяких подозрений и опасностей, которые грозят беспризорникам. А кроме того, с ним шел "дядя Питвик" — крепкий решительный мужчина с пистолетом в кармане. Вчера он уже спас Сивку от беды. Спасет, если надо, и снова.

Веселая Сивкина беззаботность заразила и меня. В самом деле, кто мог нам угрожать? Полоз, чпиды, "Рио"? Но вряд ли они посмеют напасть солнечным утром посреди улицы, где полно людей. Или подкатит полиция и предъявит официальное обвинение, что вчера я напал на двух представителей Чрезвычайной педагогической инспекции? Но едва ли те жаловались в полицию. К тому же дело бесспорное: я спасал ребенка от двух мерзавцев, грозивших ему гибелью. Да и уложил я их не насовсем, а лишь на полчасика…

В конце концов, какое бы ни было здесь дурацкое государство, какое бы подлое правительство

ни вершило власть, но есть же законы, адвокатура, суд. Тем более что я гражданин Полуострова, скандал будет международный…

Впрочем, никто нас не потревожил, не обидел по дороге. В трех кварталах от кладбища мы сели в фаэтон-автомат.

Сивка цвел как георгин. Признался, что ни разу не ездил внутри автомобиля.

— А снаружи?

— Ха! Фиг ли спрашивать! Сзади скакнешь на бампер, уцепишься и газуй! Главное, чтобы клюв не захомутал!

Я понял, что клюв — это полицейский.

— Да ведь загреметь можно на ходу.

— Ага! — с удовольствием подтвердил Сивка. — Один раз — во! Он поддернул широкий рукав, показал на коричневом локте розовый неровный рубец. — С прошлого года не сходит. И не загорает. На всю жизнь клеймуха…

Все же он был дитя Пристаней, несмотря на нынешнюю благопристойную внешность. И я подумал, что отца Венедикта ждет немало хлопот.

А меня? Какой он сейчас, Петька-то? Наверняка обитание на Пристанях и для него не прошло бесследно…

Пристаня начинались за той набережной, где

я прошлой осенью схлопотал вызов на дуэль. Идиотская история… Однако благодаря ей я узнал о Полозе.

Интересно, как поживает сейчас эта компания? Вертлявый отставной штабс-капитан Гвальский, граф Угин? Все так же играют в кабачковых аристократов? Или подались в какие-нибудь банды вроде "Рио"? Их "дворянская" мораль тому, наверно, не преграда… А может, угодили за решетку? Едва ли. Уж если Полоз на свободе и процветает…

Недавний сон о Полозе я старался не вспоминать. Но он сидел во мне крепко, словно это и не сон, а настоящий разговор… А может, и правда не сон? Вернее, не совсем сон… Да ну его к черту! Главное теперь — Петька!

Мы не поехали по той романтической набережной. Сивка показал окольную дорогу безлюдными переулками. Автомат-водитель наконец заскрипел и заругался: машина не приспособлена для таких "колдобистых" мостовых.

Я сказал, что он не машина, а утиль и я запишу его номер, чтобы "тебя, ржавую канистру, завтра же отправили на переплавку".

"Канистра" оскорбилась, мертво стала на обочине. Я плюнул, и мы с Сивкой вышли. Все равно

Пристаня были рядом.

Переулок привел к кирпичной стене с разломанным верхом. В стене была дыра — такая, что я свободно пролез вслед за Сивкой. Сивка стал собранным и деловитым. Этаким юным хозяином.

— Не отставайте…

Всюду виднелись кривые приземистые сараи и фантастические сооружения из разномастных ящиков и гофрированного пластика. Моталось на веревках разноцветное тряпье.

Под осевшим железным навесом старик царапал долотом перевернутую лодку. Распрямился, глянул на нас колюче: ходят, мол, тут всякие нездешние. А потом и спросил:

— Кого ищете, господа туристы?

Сивка глубоко сунул руки в клетчатые карманы. И вдруг негромко, но четко выдал стишок:

Три копейки, пять рублей,
Не чихай и не болей.
Раз иду на Пристаня,
Значит, дело у меня.

Это был явно здешний пароль. Старик уронил долото, заулыбался черным беззубым ртом:

— Тутошний, что ли?.. У, да это никак Сивка-Бурка. И не признать сразу…

Сивка независимо сообщил:

— А это Петькин отец. Ну, того, который Пит с котом! Петька думал, что он умер, а он — вот! Ищет!

Старик не показал удивления:

— Это хорошо, что отец. Тогда конечно… Ступайте, ищите. Их, пацанов-то тутошних, сразу не найти, лазают где попало…

— А вы моего Петьку не видели? — не удержался я.

— Как не видел? Позавчерась он со своим зверем ребятишкам представление казал. Не только маленькие глядели, а всякий народ. Сплошной цирк… А вообще-то он, говорят, у Китайца живет, это ведь на том краю. Добираться вам ой сколько…

— Доберемся, дед, — солидно сказал Сивка.

И мы пошли. Вернее, стали пробираться. Среди заборов и землянок. Мимо пакгаузов без крыш и вытащенных на сушу развалившихся пароходов и барж. Сквозь ольховые заросли и великанский репейник, в котором ржавели якоря, бочки и упавшие портовые краны. Под разрушенными эстакадами и трубопроводами. Через рельсы, рядом с которыми валялись поломанные вагонетки. Мимо домишек, выстроенных из судовых

рубок, товарных вагонов и контейнеров.

Всюду шастала замурзанная малышня. Останавливались, разевали рты, глядя на великолепного Сивку и на незнакомого господина.

— Пита с котом не видели? — небрежно спрашивал Сивка.

— Не-а…

— Вчера видели…

— Говорят, он с черной баржи окуней ловит. Для Кыса…

— Не-е! Это Петька Жмых ловит!

— Ладно, пойдем, — снисходительно говорил Сивка мне.

Он тут был свой среди своих. Двигался уверенно, убегал вперед. Перестал хромать. Иногда вскакивал на рельсы и балки, шел по ним, балансируя, и его клетчатые штаны парусили на ветерке…

Когда Сивка убегал далеко, мне делалось не по себе, как мальчишке в чужом квартале с недобрыми жителями. Но в конце концов я освоился.

Взрослые обитатели Пристаней ни о чем нас не спрашивали, провожали глазами с любопытством, но молча. Похоже, что весть о нас по здешней, невидимой мне связи уже разнеслась по Пристаням и все знали, кто я и зачем пришел.

Дымили у хибар железные печурки. Худые, небрежно одетые тетки возились у них с кастрюлями и сковородками, пахло жареной рыбой. Молодые мужики похмельного вида кучками стояли на поросших сурепкой лужайках. Один спросил вежливо:

— Закурить не найдется, сударь?

Я развел руками: не курю, мол.

Он сказал покладисто:

— Ну ничего, шагайте. Только через "Пассаж" не ходите, мало ли что.

Ребят Петькиного и Сивкиного возраста встречалось мало: видать, были заняты где-то своими делами и промыслами.

В колючках паслись клочкастые козы. В тени лежали добродушные псы. Смотрели желтыми глазами и ни разу не гавкнули.

Сивка горделиво сообщил:

— Кыс ни капельки не боится собак. А они его боятся. Знают: чуть что — он сразу по мордам. Когтистой лапой…

— Молодец Кыс… Сивка, скоро придем?

— Ага, скоро…

Я, конечно же, думал прежде всего о Петьке. И тем не менее оглядывался с любопытством. Это надо же, чтобы в наш электронный и меж-

планетный век, в большом городе сохранились и жили своей независимой жизнью такие вот... Пристаня?.

Конечно, убогость, бедность, безделье, воровство и наверняка все прочие "прелести" трущоб, но все же... все же казалось мне, что есть тут какая-то своя романтика. И загадочность.

"Это потому, что смотришь со стороны, — ехидно одернул я себя. — А вот пожил бы здесь..."

Но завороженность этим "нетеперешним" миром не оставляла меня.

Порой попадались совсем фантастические сооружения: круглая приземистая башня из кирпича, опоясанная спиралью железной лестницы и увенчанная невесть как закинутым туда маленьким катером с пробитыми бортами. Каменная аркада, будто перенесенная сюда из развалин средневекового города. Гулкий, пустой внутри ангар с кружевом железных перекрытий под крышей, а в нем, посередине, громадная безголовая статуя какого-то деятеля в мундире с эполетами...

Несмотря на совет мужика, пошли мы и через "Пассаж". Сивка пренебрежительно сказал:

— Вот еще, "не ходите"... Там Гошка Заяц живет.

"Пассаж" — это было кошмарно длинное здание — то ли бывший склад, то ли барак. Мы шли по замусоренному коридору, а с двух сторон были распахнутые двери, и за ними шла всякая здешняя жизнь: где-то стирали, где-то ругались, где-то спали вповалку. Кто-то стучал клепальным молотком по медному листу, кто-то жарил на сковороде подгоревшие лепешки. Ревели младенцы. И в то же время доносились аккорды пианино (явно не электронного, настоящего). Потом в одной из дверей я увидел девушку на подоконнике — ну будто с портрета девятнадцатого века: с косой, в просвеченном солнцем желтом платье, с книгой на коленях. Девушка рассеянно взглянула на нас и перелистнула страницу… А из одной двери, перегороженной дощатым прилавком, старичок, похожий на часового мастера, спросил:

— Господина, случайно, не интересует то, что стреляет? Имеется выбор…

— Спасибо, у него есть, — гордо отозвался Сивка.

— Прощения просим…

Казалось, не будет конца у этого дома-улицы… Но все же вот он, конец. Шагнули опять в траву. И Сивка вдруг завопил:

— Гошка! Зайчик!

Подбежал к нам белобрысый, чуть раскосый мальчишка лет шести, в какой-то немыслимой мешковине до колен. С робким восторгом уставился на Сивку.

— Дядя Питвик, это Гошка. Ну, тот самый, который тогда с нами… — Сивка оттащил Зайчика в сторону, что-то зашептал ему. Тот неуверенно улыбался, мигал. Кивал.

Наконец Сивка взял меня за рукав:

— Идемте…

А Гошка Заяц, приоткрыв рот, смотрел нам вслед.

— Что ты ему сказал? — поинтересовался я.

— Объяснил про вас… А еще — что скоро возьму его к себе.

— К себе… то есть к отцу Венедикту?

— Ну да!

— Ты думаешь, отец Венедикт обрадуется? — не удержался я.

— Ага!.. Мы же с Зайчиком как братья.

— П-понятно… Сивка, а долго еще идти?

— Не-а…

2

Пристаня тянулись по берегу бывшего оврага, который после затопления сделался узким заливом или, вернее, этакой извилистой бухтой. Одно время бухту использовали для стоянки всякого мелкого флота и старых, списанных судов. Потом все хозяйство оказалось заброшенным, тогда-то и начал расти здесь этот фантастический, никакими планами и законами не предусмотренный поселок. Убежище тех, кто не нужен Республике (и кому Республика тоже не нужна).

Многие тропинки вели к берегу. Сюда же тянулись рельсы узкоколеек. Решетчатые мостки, развалившиеся причалы, разбитые и обгорелые дебаркадеры занимали почти всю границу воды и суши.

Скоро места сделались более глухими. Больше стало необитаемых развалин и широких, поросших белоцветом пустырей.

На краю такого пустыря, прижимаясь к останкам бетонной косой изгороди, стояло жилище Китайца. Стены обмазаны глиной, крыша — из днища старого катера.

Китаец сидел у распахнутой двери. Колупался

в обрезках жести. Двухлетняя девочка в замурзанном платье возилась у его ног с ярким пластиковым корпусом компьютерного стереокомбайна. Воззрилась на меня и на Сивку, мусоля большой палец.

— Дайка, привет… Дядя Кий, это отец Пита. Пит думает, что он погиб, а он — вот… — У Сивки был явный талант излагать в двух словах трудные ситуации.

Китаец был старый, с темной негритянской кожей. Но явно китаец, не негр. Он, видимо, как и многие, уже слышал про нас. Глянул невозмутимыми, с резким блеском белков глазами, покивал с буддийским спокойствием:

— Отец — хорошо. Петька будет рад… Да, он очень будет рад… Девочка, не соси палец. Ай, какая девочка, что скажет дядя…

— А он где, Петька-то?! — не выдержал я.

— Гуляет. Он гуляет. Кыс гуляет. Чего еще делать? У нас всегда есть время… Вот и ходит. Наверно, где Сор-гора ходит. Я сказал: "Петька, собирай всякую мелочь, банки, склянки, кусочки, будем делать солдатиков. Сделаем много, деньги будут, тебе штаны-фуфайку купим, скоро осень, как без них?" Не знали, что папа приедет. Он не знал, я не знал…

— Где эта Сор-гора?

Сивка дернул меня:

— Пойдем, дядя Пит!

Оказалось, что Сор-гора — это холм на месте старой заросшей свалки. Рядом с Пристанями. Там, если постараться, отыскать можно что хочешь. Вот пристанские мальчишки и ходят туда за добычей.

— Дядя Пит, не горюй! Там-то мы его точно найдем!

К Сор-горе вел узкий проход между остатками кирпичных складов и развалившейся загородкой из пористых бетонных плит. Опять пришлось пробираться через сорняки, перемешанные с обрывками колючей проволоки. Зато гора была уже вот она, перед нами. Серая, похожая на гигантский муравейник, покрытый кустами и всякой рухлядью. И на склонах — будто и правда деловитые муравьи — копошились десятки ребятишек.

Там, совсем недалеко, где-то и мой Петька! Скорей же!!

Мы были у подножия, когда раздался тонкий вскрик. И сразу — еще крики:

— Робины, чух! Клюва идут!

И заметались, кинулись с горы.

Я замер, Сивка тоже.

"Робины" — значит "ребята", это я знал. "Чух" — "берегись". "Клюва" — "полицейские". Это меня, что ли, мальчишки заподозрили?

Нет, не во мне дело! Рослые служаки в серых форменных блузах и высоких касках цепью бежали из-за бугра. Вроде бы не шибко бежали, но как-то случилось, что у них в охапках оказывались орущие, бьющие руками-ногами мальчишки. А сверху с негромким шелестом винтов спускались два черно-голубых вертолета…

Господи, вот еще напасть! Ни раньше, ни позже!

Из-за ржавого кузова фаэтона выскочил голенастый пацан в грязной майке с обезьяньей рожей на груди. В десяти шагах от меня. Он бежал, а руки прижимал к плечам — держал что-то. Вокруг шеи у мальчишки был… серый мохнатый воротник. С блестящими глазами.

— Петька-а!! — я кинулся навстречу.

Он встал. Замер. Уронил руки. Кот упал в траву.

Петька сморщил лицо, закричал как от боли:

— А-а!.. — подскочил, ткнулся мне в куртку лицом, обхватил меня, как толстое дерево, прижался щекой. Задергался в плаче. — Пит… Правда, ты?..

В этот момент к нам широко шагнул из сорня-

ков пожилой полицейский с лейтенантскими звездочками над козырьком белого шлема. Крепко взял Петьку за локоть.

— Назад! — сказал я со смесью ярости и счастья.

— В чем дело, сударь?

— А вы не знаете, лейтенант? Девятая статья Международной конвенции о неприкосновенности личности! В том числе и ребенка!

— Но есть и закон об охране детства, сударь. В соответствии с ним мы и задерживаем бесприютных детей. Чтобы уберечь и спасти…

— Это не бесприютный, а мой!

Лейтенант сказал менее уверенно:

— Странно, однако. И не очень правдоподобно. Объяснитесь тогда…

— Объясняюсь… — Я понимал, что лучше ничего не придумывать и не скрывать. — Мальчик ушел из дома, потому что думал, что я погиб в экспедиции. А я уцелел. И вот нашел его… Затем, чтобы вы его у меня отобрали?

Петька притиснулся ко мне плотнее. Вцепился намертво.

Пожилой лейтенант, видимо, не был отъявленным службистом. И лицо довольно интеллигентное.

— Странная, однако, история. Согласитесь, сударь, что мне трудно вот так взять и сразу поверить…

— Во что поверить, черт возьми? Что я уцелел и не погиб?

— В то, что это ваш сын.

— Да с какой стати я буду хвататься за чужого мальчишку?!

— Бывает, что хватаются. Этакие добренькие спасатели! Выручат от нас, а потом опять — гуляй, мальчик, бродяжничай…

— Это мой отец, — сдавленно сказал Петька. — Отстаньте от нас… — Он не отрывал от меня лица.

— И все-таки… — Лейтенант был в явном замешательстве. — У вас есть какие-нибудь доказательства?

— Какие еще доказательства? Посмотрите на мальчика!.. А время паспортов и личных картотек, по-моему, давно прошло.

— Тогда по закону необходим свидетель. Хотя бы один… Чтобы я мог отпустить вас, не нарушив инструкцию.

— Я свидетель! — звонко заявил Сивка. Он стоял тут же, с Кысом на руках. Смело задрал подбородок.

— А ты, "свидетель", помалкивай, — ворчливо сказал я. — Петькин двоюродный брат.

А что мне оставалось делать?

— Да! — дерзко подтвердил Сивка. — Пит! Скажи!

Петька кивнул, по-прежнему не отрывая лица от моей куртки — мазнул по ней щекой.

— И все же нам лучше отправиться в отделение, — мягко, но непреклонно проговорил лейтенант. — Поймите меня. Полицейские — рабы всяких правил... Это недолго, на нашем вертолете...

Этого еще не хватало!

Во-первых, где я возьму свидетеля? Во-вторых, станет ясно, что Сивка — не родственник. В-третьих, может всплыть многое, в том числе и вчерашнее приключение со стрельбой. Еще неизвестно, чем это кончится...

И меня осенило!

— Постойте, лейтенант! Есть доказательство. Смотрите... — Я подцепил на Петькиной пояснице подол майки, задрал его выше лопаток. — Видите родинку? Вот... А теперь извините за вынужденный стриптиз... Петушок, отцепись... — Я сбросил куртку и рывком поднял на спине рубашку. — Гляньте, лейтенант! Похожее клеймо? По-моему,

нет свидетельства вернее, чем генетический код.

Лейтенант был явно смущен и в то же время успокоен.

— В самом деле… Ну, рад за вас, сударь. И за вашего сына. Не бегай больше, постреленок… Можете быть свободны, господа. Тем более, что мальчик у нас еще не зарегистрирован среди задержанных. Честь имею… — Он взял под козырек, сделал шаг в сторону и озабоченно глянул на склон Сор-горы.

Там все уже было кончено. Видимо, кое-кому из мальчишек удалось уйти, а последних из пойманных заталкивали в вертолеты.

Петька, тихонько всхлипывая, опять вцепился в меня. В локоть.

Полицейский снова глянул на нас. Развел руками:

— Такая вот работа… Вашему сыну повезло, а этих-то куда девать? Вот и приходится… А они, дурни, бегают, не понимают своего счастья…

— Это где счастье? На "Розалине", что ли? — вдруг ощетинился Петька. Горько и бесстрашно. — А вы знаете, какая там каторга?!

Лейтенант не рассердился. Кивнул. У него были усталые глаза с темными, будто запыленными веками.

— Ну, было там всякое, знаю… Худо приходилось ребятишкам. Сейчас разобрались, прогнали кого следует. А нынешний план — операция "Розалина" — это чем плохо? Я бы и своих отправил, кабы позволили.

— Что за операция? — неуверенно спросил я. И погладил Петьку по лохматой макушке — мол, все страшное позади, Петушок.

— Вот те на! — лейтенант неофициально развел руками. — Откуда вы свалились, господа? Несколько дней все газеты и экраны трубят: "Операция "Розалина"!", "Операция "Розалина"!". Да вот, гляньте сами. Чтобы не думали, что "клюва" забирают детишек в тюрьму…

Из прицепленного к поясу планшета он вытащил сложенную газету. "Старотопольские ведомости", по-моему. Развернул. В глаза сразу бросились заголовки:

"Наконец-то правительство вспомнило о беспризорных детях!"

"Операция "Розалина" — под международным контролем!"

"Бывшая тюрьма становится островом счастья!"

"Это будет рейс радости и надежды!"

Я бегло пробежал кое-какие строчки. И понял

вот что: ЧПИД все же погорел на своих "педагогических методах", нравы детской плавучей каторги стали известны какой-то независимой внеправительственной комиссии. Воспитателей-садистов прогнали. А Международное общество охраны детства и всякие другие организации разработали грандиозный проект.

По этому проекту "Розалина" и второе громадное судно — "Розалина-2", где колония для нескольких тысяч девочек — через наше мелководное водохранилище и каналы выйдут в настоящее море. Там их встретят несколько современных океанских судов. Ребятишек расселят по каютам. И весь этот народ отправится в долгое, на несколько месяцев, плавание к берегам разных стран, к южным островам. Будут знакомиться с планетой, будут отвыкать от прежней жизни, учиться у опытных и умных наставников-добровольцев. А в это время здесь, в Республике, власти развернут строительство новых поселков для детей. В них дети станут жить с приемными родителями, которых немало будет найдено за этот срок. Или с добрыми воспитателями. Не в казармах, а под уютной семейной крышей.

То есть уедут около двенадцати тысяч безнадзорных, ощетинившихся, не верящих ни во что

хорошее ребятишек, а вернутся перевоспитанные юные граждане, оценившие заботу и любовь, и жизнь у них начнется радужная…

По крайней мере, так я понял этот план. И не было времени и желания размышлять над ним и обсуждать его. Потому что главное — Петька! Вот он!..

Лейтенант оглянулся на вертолет:

— Газету — дарю. На память о счастливой вашей встрече. И желаю благополучия… — Он козырнул и рысцой двинулся к вертолету.

Вертолет взлетел. За ним другой.

Петька, шмыгая носом, сказал совсем по-младенчески:

— Пит, а ты правда живой? А?..

"РОЗАЛИНА"
1

Мы отвезли Сивку к отцу Венедикту и сразу собрались домой — в Усадебный переулок, к Эдде Андриановне. Отец Венедикт нас не удерживал, понимал, что хотим остаться вдвоем. Он только в точности моим жестом взлохматил Петьке макушку и сказал шепотом Деда Мороза, который притворяется строгим:

— Больше не бегай, путешественник. А то… — И насупил косматые брови.

Петька улыбался виновато и счастливо. И прятал лицо за Кысом, которого не спускал с рук…

Эдда Андриановна приняла нас со сдержанным умилением. Промокнула платочком глаза, когда узнала, что Петька — мой потерянный и нашедшийся сын. Заявила, что будет звать его в отличие от меня Маленьким Пьером. То есть Пети-Пьером. Затем она приготовила для замурзанного Пети-Пьера ванну (которая, кстати, в этом старом доме была вполне современная). Кинула в прачечный комбайн Петькину пропыленную одежду…

Потом она кормила меня и отмытого, отмякшего Петуха творожной запеканкой с земляникой, а Кыса — специальными консервами "Мяу-шмяк", которые заказала в ближайшем магазинчике. ("Какое милое животное!.. У нас с Валентином Модестовичем когда-то был такой же славный кот, только белый. Все понимал, как человек…")

Кыс раздулся и, задрав лапы, уснул на столе рядом со звездным глобусом из меди.

Мы с Петькой весь оставшийся день провели в этой старинной комнате, сидя рядышком на диване. Рассказывали друг другу все, что с нами случилось. Иногда говорили бурно, торопливо,

перебивая друг друга. Иногда надолго замолкали. И тогда слышно было, как в своей комнате Эдда Андриановна густым контральто поет:

Цветы осенние, последние цветы,

Я их принес тебе на память и проща-нье…

— Мне здесь нравится, — сказал Петька, приткнувшись к моему боку. — Давай здесь жить всегда. Если Эдда Андриановна не прогонит.

— Давай… А обратно в Византийск не хочешь?

— Не знаю… Нет. Что там делать?

Наконец мы улеглись. Я — на широком плюшевом диване. Петька — на дачной раскладной кровати, которую отыскала в чулане заботливая наша хозяйка.

Небо за окнами было светлым, лунным, но сама луна к нам не заглядывала, светила с другой стороны.

По Петькиному дыханию я угадывал, что он не спит. Кровать скрипела. Потом Петька опять забрался ко мне на диван.

— Пит… Я еще не все сказал. Ну, про то, почему убежал сюда…

— Почему, Петушок?

— Я… не верил, что ты погиб. То есть не совсем

верил. И загадал…

— Что?

— Если увижу, что в Корабельной церкви сохранился мой… наш кораблик, значит, ты живой. Пришел туда — и кораблик там… Я три дня ходил счастливый… А потом такая мысль: если ты живой, то вернуться-то все равно не сможешь. Остался где-нибудь там… в межпространственном вакууме. И… еще хуже сделалось, чем раньше…

Я уложил его рядом и ощутил, какой он весь натянутый, напрягшийся, будто новой беды боится.

— Видишь, я вернулся. Дон и Рухадзе… остались. А мне повезло. Спи, Петух, ночь уже…

— Пит, я боюсь…

— Чего?

— Проснусь — а тебя нет!

— Куда я денусь, такой большущий? Ладно, держи меня за руку, не отпускай…

— Пит… Завтра давай сходим в Корабельную церковь, посмотрим кораблик…

— Обязательно…

И утром пошли мы в Корабельную церковь.

Двери были открыты, а внутри — никого. В боковой нише перед образом Богоматери с Младенцем светила желтая лампадка. Я понял сразу,

что на иконе тот самый нимб из потемневшей узорчатой латуни.

Мастер хорошо написал икону. Лицо Марии было ласковым и со скрытой тревогой во взгляде, которым она смотрела на Сына. Мальчик же отвечал понимающим взглядом: "Не бойся. Что бы ни случилось, мама, я к тебе все равно вернусь..."

Кораблик из почерневшей сосновой коры с мачтами-лучинками, с парусами из серого от старости батиста стоял перед иконой чуть сбоку, и увеличенная тень его темнела на боковой стенке ниши...

А еще много-много корабликов — деревянных, бумажных, пластмассовых и всяких других — стояли на полках, прибитых ниже углубления. И просто на полу они стояли. Там в каменных плитах был сделан желоб шириной сантиметров тридцать. По нему с еле слышным журчанием бежал очень прозрачный ручей.

Петька сел на корточки, обмакнул руку. Коснулся мокрой ладони губами.

Бесшумно подошел молодой чернобородый священник. Чуть улыбнулся, сказал тихонько:

— Здравствуйте. Христос с вами...

Стал брать с полки кораблик за кораблико м и опускать в ручей. Кораблики уплывали в малень-

кий черный туннель у пола.

Священник опять посмотрел на нас:

— Надо освободить место. Скоро пойдут дети с новыми корабликами. Те, кто собирается плыть на "Розалине".

Петька еще раз макнул руку и вдруг спросил:

— Вы думаете, будет все по-хорошему? Эта операция "Розалина". Без обмана?

— Надо надеяться. На все воля Божья…

Петька спросил опять негромко, без вызова, даже с жалобой какой-то:

— На все-все воля Божья, да? — дальше был молчаливый, но понятный вопрос.

Священник посмотрел внимательнее. Потом отвернулся, опустил очередной кораблик. И, глядя ему вслед, сказал:

— Разве не исполнилось то, чего ты желал? О чем просил в душе…

— У меня исполнилось… А у других… Разве они просили хуже?..

— В конце концов каждый получит то, что заслужил. Просто путь сложен и далек…

Я взял Петьку за плечо, слегка надавил. А священнику сказал:

— Извините мальчика. Он столько всего испытал недавно…

— Я знаю, я догадался, кто вы. Отец Венедикт мне вчера говорил о вас…

Петька виновато крутнул головой, потом спросил примирительно:

— Значит, вы знаете, что вон тот кораблик у иконы — наш?

— Знаю, конечно… Он-то всегда останется здесь… А эти пусть плывут, ищут свою дорогу. Помоги, мальчик, отпускать их в путь.

И Петька стал помогать священнику отправлять суденышки. Я тоже.

Когда полки опустели, мы попрощались со священником (звали его отец Федор) и ушли из церкви.

Петька тихо, но настойчиво потребовал:

— Теперь пойдем туда. Нынче-то уж можно там оставить бумажный кораблик.

И мы опять поехали на кладбище. Постояли у заросшего холмика с серым гранитом и оставили в траве белый кораблик, сделанный из листа моего блокнота.

Петька вдруг сказал:

— Все же это хорошо, когда человек остался на земле. И живой, и… после… А у Рухадзе и Дона нету никакой могилы. Никакого следа…

И сразу память о погибшей "Игле" и о погиб-

шем нашем деле придвинулась плотно, холодно, неумолимо. Петька, по-моему, испугался даже, видя, как я закаменел. Притих рядом. Я сказал через силу, но упрямо:

— Ты не прав. След остался. В делах и в памяти. И… не все еще ясно…

В нагрудном кармане у меня затрепетала плашка радиофона. Я вытащил его.

— Питвик, утро доброе тебе и Петушку! Это отец Венедикт. Чую, что вы неподалеку. Зашли бы, а? Сивка-Бурка тут уже соскучился, бьет копытом.

— Конечно! Мы и так собирались…

2

Сивка обрадованно затанцевал вокруг Петьки:

— А где Кыс?

— Остался дома. Спит.

— Не отошел еще от вчерашнего обжорства, — объяснил я.

Петька покосился недовольно. Не любил, когда обижали ненаглядного Кыса даже словом. Даже шутя.

— Сивка-Бурка, конь-огонь, иди-ка приготовь чай гостям, — велел отец Венедикт.

И Сивка ускакал, полоща клетчатыми шта-

нами.

Отец Венедикт, глядя ему вслед, сказал:

— Упрашивает меня взять к нам одного мальчика. Какого-то Зайчонка. Я не знаю, как быть. С одним-то не ведаю, как управлюсь. Он вот с каждым часом все резвее, все смелее…

— Не бойтесь, отец Венедикт, — серьезно отозвался Петька. — Сивка хороший. И Зайчонок тоже. Им вдвоем лучше будет.

— Так-то оно так…

— А один, без ребят, Сивка не сможет, не привык он. Будет убегать на Пристаня?.

Он это с какой-то сумрачностью сказал. И впервые после нашей встречи я глянул на Петьку с тревогой.

Отец Венедикт — большой, лохматый — встал у окна, запустил пальцы в свою "леонардовскую" бороду.

— Сомнение у меня. Прав ли я, что притянул Сивку-Бурку к себе? А теперь и Зайчонка этого судьба посылает… Что я им в жизни дам? Да и долго ли протяну?

— Теперь поздно сомневаться, — довольно безжалостно сообщил Петька. — Сивка от вас не отлипнет. А от него — Гошка Заяц.

— Может, на "Розалине"-то лучше бы им было?

И потом...

Но это он уже явно не всерьез. Со скрытой усмешкой даже. Для того, чтобы мы его поскорее переубедили.

Я сказал:

— Отец Венедикт, вы верите в этот проект? По-моему, авантюра какая-то. Таскать по океанам двенадцать тысяч детишек и готовить в это время для них райские кущи на берегу... Ну, плавание — это ладно. Это, может быть, исполнят. А где ваша Республика возьмет столько средств для детских городков, откуда наберется столько приемных родителей? Это в условиях растущей семейной жестокости, о которой трубят газеты! От родных-то отцов-матерей дети бегут, а тут...

— Я и сам о том же размышляю, когда слушаю передачи о "Розалине". Много розовых слюней вокруг этого дела напустили. И как-то неожиданно всплыл этот проект. Откуда, почему? Однако нельзя не согласиться, что замысел добрый...

— Кто за это взялся-то?

— Специальная комиссия по детским вопросам при самом премьере. Называется "Радужный мост".

— Не ЧПИД?

— Упаси Господи! Всех деятелей ЧПИДа прогна-

ли с "Розалины", там сейчас возятся с детишками добровольцы, молодежь из учительских лицеев… Оно, конечно, трудно верится, что за полгода подготовят для ребят иную жизнь, да всегда хочется уповать на лучшее… А хуже все равно уже не будет. Некуда…

— Есть куда, — набычился Петька. — После счастливого путешествия загонят опять всех в тюрьму…

Отец Венедикт ответил с недовольной ноткой:

— Не гневи Бога, чадо, надейся на хорошее. Детишки эти хлебнули столько, что заслужили счастливую судьбу… К тому же и международные фонды принимают участие…

Потом пили мы чай с вкусными сухарями и земляничной пастилой. И смотрели стереоэкран. Шел смешной фильм про пиратов, которые готовили хорошим людям разные ловушки и сами в них попадались. Решили взорвать парусник своих противников, но перепутали сундуки: вместо взрывчатки сунули в чужой трюм ящик с сокровищами, адскую же машину оставили у себя. И рвануло так, что от экрана донесся настоящий жар и запах гари. Неудачливых флибустьеров унесло взрывом на необитаемый остров. Там они, ободранные, перепуганные, и остались до начала

новой серии.

Сивка и Петька хохотали. Сивка — от души, Петька, по-моему, за компанию. Глаза у него не очень-то смеялись.

А когда мы шли от дома отца Венедикта, Петька стал совсем грустно-задумчивый.

— Петух! Давай договоримся: не будем сегодня думать ни о чем печальном. Ну разве не заслужили мы хоть день жизни без всяких тревог?

— Ага… не будем о печальном. Только… — Он быстро и просительно глянул на меня искоса.

— Что?

— Давай об этом еще немного. Чтобы уж закончить… Пять минут…

— Ну давай, — вздохнул я. И выжидательно замолчал.

Мы вышли с кладбища и шагали вдоль решетки. Было очень тепло, началось второе цветение одуванчиков, они солнечно желтели у изгороди.

— Пит… А не могло случиться, что "Игла" взорвалась не сама?

— То есть?..

— Ну… кто-то нарочно… подстроил…

— Зачем?! И кто?!

— А если Полоз?

Я даже разозлился:

— Знаешь что, дорогой? Извини, но тебя надо показать врачу. Чтобы избавить от дурацких пустых страхов!

Иногда такая вот сердитая прямота встряхивает лучше лекарства.

Но Петька никак не встряхнулся. Сказал подавленно и упрямо:

— Он, по-моему, все может…

— Что он может? Без капсулы, без подготовки и знания Ключа перенестись по туннелю на "Иглу" и засунуть под пульт ящик с эр-тэ?

Петька отозвался все тем же тоном:

— Не знаю. Иногда кажется… — И вдруг дернул головой, вскинул незнакомые, колючие глаза. — Пит! Ящик с чем?

— С реанатином. Взрывчатка такая. Применяется для строительных работ. Я вспомнил потому, что с ее помощью базу строили… Петька, что с тобой?

— Ты сказал… эр-тэ?

— Ну да, сокращенно. Марка такая…

— В треугольнике?

— Что в треугольнике?

— Пит, дай блокнот! — он сам полез мне за пазуху, вытащил кожаную книжку с калькулятором, часами и электронным карандашом,

развернул. — Смотри! Вот так, да?

На листе появились буквы "RT", замкнутые в треугольник, а вокруг треугольника — эллипс, похожий на знак планетарной орбиты.

— Д-да… кажется. Петька, я…

— Пит! В трюме "Розалины" ящики с таким клеймом!

3

Я не стал успокаивать Петьку, хотя он был крепко напуган. Не стал говорить: "Петушок, ты, наверно, ошибся, не волнуйся, это скорее всего упаковка, которую использовали для чего-то другого…" Если на громадном пароходе собраны шесть тысяч мальчишек (никому не нужных!), а в трюме ящики с маркой "RT", здесь не до болтовни.

Я вспомнил опять радужные планы строительства детских городков. Откуда у Республики средства для такого грандиозного проекта? Она до сих пор не может прийти в себя после осуществления идиотских планов с водохранилищами. Были выброшены миллиарды и миллиарды — только для того, чтобы затопить леса и пахотные угодья да изуродовать климат. На берегу рукотворного

моря Республика осталась в полном смысле слова у разбитого корыта. Отсюда и бедность, и остервенение, и толпы беспризорников...

Зачем строить для этих беспризорников какие-то фантастические города, если... одно нажатие кнопки на дистанционном взрывателе — и нет шести тысячи бесприютных пацанов, каждый из которых — проблема!

Еще одно нажатие — и нет "Розалины-2", что стоит в соседней бухте с несколькими тысячами девочек на борту.

И конечно: "Ужасное несчастье! Трагическая случайность, жуткое совпадение или чей-то преступный замысел?" Но пойди разыщи, чей!.. А может, кого-то и "разыщут", пожертвуют пешкой. Зато как потом вздохнет Республика, освобожденная от армии юных "безработных и преступников", которые вскоре выросли бы и наплодили новое беспризорное поколение!

Дико? Неправдоподобно? А ЧПИД, "Рио"? А Полоз, который вновь на свободе и ходит где-то неподалеку черными кругами, как стервятник...

Я сам не заметил, как вошел в столбняк. Темпоральная коррекция нужна не только на дуэли. Нужна и для стремительных решений, когда мысли мчатся с компьютерной скоростью.

"Что делать? К кому кинуться со страшной новостью? Здесь нет такого человека. Впрочем, есть отец Венедикт, но помочь он не сможет. Его аппарат связи наверняка "под колпаком", накроют вмиг. Проще говорить с автомата. Но говорить с кем? Служба безопасности? Но где гарантия, что там не нарвешься на тех, кто поддерживает заговорщиков? Я же ничего и никого здесь не знаю. А медлить нельзя ни секунды. Кнопку могут нажать в любой миг. Недаром ЧПИД убрал оттуда своих людей...

Хотя нет, в заливе, на виду у города, взрывать не станут. Другое дело — в пустом море... Но если что-то заподозрят, могут и сейчас... Господи, насколько проще было бы в Византийске! А если..."

Петька чуть не со слезами тряс меня за локоть:

— Пит, что с тобой?!

— А?.. — я с трудом вошел в нормальный режим. — Ничего, все в порядке. Идем...

Я зашагал к ближней стоянке фаэтонов. Почти бегом. Петька — вприпрыжку за мной. Ни о чем не спрашивал, видел, что я уже с решением.

Мы прыгнули в шелковистую, стеганую утробу машины, я крикнул в микрофон:

— Площадь Рождества! Скорее! Двойная плата!

Рыдван помчался.

На окруженной тополями маленькой площади Рождества, затерянной на задах небоскребов-офисов, была уютная, всегда пустая станция Всеобщей связи. Мы с Петькой заперлись в кабине, я сунул в кассовую щель кредитную карточку: без этого здесь не свяжешься с другой страной. Набрал код Византийска. Потом три семерки — номер диспетчера общей Службы безопасности.

Засветился, стал глубоким стереоэкран, в нем возник симпатичный, спортивного вида паренек в куртке с сержантскими нашивками. Я свой объектив прикрыл ладонью.

Паренек сказал приветливо, будто служащий страховой фирмы:

— Добрый день. Я вас внимательно слушаю.

— Мне нужна вахта ОГ. Крайне важно и срочно.

— Вы из Старотополя?

— Да!

— А почему же…

— Скорее! Дело категории "супер".

Он слегка обиженно пожал плечами, что-то даванул на пульте. Сразу появилось другое лицо. Пожилое и предельно штатское, как у архивного работника.

— Слушаю вас… Но не вижу, к сожалению.

— Это не важно. Прошу экранированный канал. Дело "супер"…

— Даю. Одну секунду… — Изображение слегка потускнело. — Что случилось? И… с кем имею честь?

Я открыл объектив:

— Петр Викулов из экипажа "Иглы", межпространственного корабля спецназначения, который…

— Питвик?! — он удивился и обрадовался чрезвычайно. — Слава Богу! А мальчика нашли?

— Вот он. Сейчас, однако, я…

— До чего здорово! Тут вас разыскивают Виктор и Юджин. Юджин свалился как снег на голову, поставил на уши половину оперативников: ищите Питвика! Уж он-то, говорит, не мальчик, прятаться не будет! Мы хотели уже сами связаться с вами…

"Как они могли связаться со мной? Впрочем, не до того сейчас…" Я перебил официально:

— Прошу прощения. Как вас зовут?

— Старший консультант оперативной службы Кирилл Климович Рыльский. — Он сразу почуял, что не до болтовни.

— Господин Рыльский, повторяю: чрезвычайная ситуация. Связаться со здешними властями

я не имею возможности. Есть у вас в Старотополе люди, которые связаны с местной Службой безопасности? Причем такие люди и с такой службой, которая не сделает уступок правительственному аппарату.

— Ну… безусловно. — Он вдруг непонятно улыбнулся. Немножко авантюрно.

А я торопился:

— Мне надо немедленно войти в контакт с ними. Речь идет о возможной катастрофе громадного масштаба, и время не ждет.

— Так излагайте прямо мне! Сразу!

— По связи?!

— Канал же экранирован.

— О Боже! Господин старший консультант! К аппарату в эту минуту липнут уже не менее дюжины слухачей!

— А что, дело и правда такое… чрезвычайное? — он заметно озаботился.

— Черт возьми, Рыльский! Я, по-вашему, в игрушки играю?

Он стал совсем серьезным. Сухим чиновником.

— Хорошо. Сейчас же отправляйтесь домой. Наш человек разыщет вас немедленно.

— Но адрес! Я что же, должен еще его назвать? На весь эфир.

— Не надо. Мы узнали его полчаса назад по крайне счастливому совпадению… Этот человек скажет: "Доброе утро, мистер Питвик". Вы ответите: "Разве утро? Я думал, дело идет к обеду". Он возразит: "И тем не менее".

— Прямо как в шпионском фильме.

— А вы как думали… — Старший консультант Рыльский опять улыбнулся. — Ну и вдобавок он передаст привет от меня. У вас не останется сомнений… Договорились? Чудесно. А Юджину я тоже дам ваши координаты. Конец связи…

Петька слушал все это, хлопая ресницами. Со смесью тревоги и восхищения. Будто и правда шпионский фильм смотрел, а вернее — сам сделался героем этого фильма.

Я выдвинул его из кабины:

— Шпарим домой! И не радуйся, это не книжка про майора Пронина. — Был такой роман о разведчиках в годы нашего давнего детства. — Это по правде. И опасно, имей в виду.

Петька на ходу обиделся:

— Это ты мне говоришь? Будто не в меня стреляли из арбалета! До сих пор иногда плечо болит. В опасные минуты…

Верно ведь! Я и забыл в этой суматохе, что Петька не новичок в подобных делах.

— Тем более. Сегодня надо жить с оглядкой…

Мы пересекли площадь Рождества, опять ухватили на стоянке скрипучий фаэтон-автомат, оставили его за квартал от дома (конспирация) и через две минуты, слегка запыхавшись, предстали пред очи Эдды Андриановны. Она обрадованно улыбалась.

— Добрый день, Эдда Андриановна! Меня никто здесь не искал, не спрашивал? Должен был зайти… один знакомый.

— Никто… Доброе утро, мистер Питвик.

Не знаю, что стало с моим лицом, а у Петьки округло открылся рот и брови вылезли на середину лба.

Эдда Андриановна улыбнулась еще приветливее:

— Ну что же вы, мсье Пьер?.. Кстати, Кирилл Климович просил кланяться…

Я выговорил почти механически:

— Спасибо… Разве утро? Я думал… дело к обеду.

— Ага… — радостно подтвердил Петька. Этот авантюрист пришел в себя быстрее меня.

— И тем не менее, — значительно произнесла Эдда Андриановна и подняла палец. Потом этим же пальцем надавила Петькин нос, погрозила, а меня поманила в соседнюю комнату.

На Петькином лице изобразилось глубочайшее разочарование.

— Бди, — сказал я ему, — сквозь окна. Чтобы никто на улице и во дворе…

Петька слегка утешился.

В своей комнате Эдда Андриановна указала мне на кресло.

— Итак, Кирилл Климович просил передать привет… Милейший человек, не правда ли? Кстати, мы учились когда-то в одной школе, только он тремя классами младше… Ну-с, мсье Пьер? Дело и правда — "супер"?

Я уже полностью пришел в себя:

— У вас есть диктофон?.. Ах да, естественно. Включите, чтобы мне потом не повторяться.

Я изложил все, что знал. Первое — Петькин рассказ. Второе — свои мысли и наблюдения о ситуации с беспризорными детьми в этом "процветающем государстве". Третье — как эту ситуацию "заинтересованные люди" могут разрешить нажатием кнопки.

— Конечно, трудно сразу поверить в такое, но множество фактов говорит, что это возможно…

Эдда Андриановна мелко кивала, покусывала губы. Когда я замолчал, сказала вполголоса:

— Благодарю вас… Петр Петрович. — И подошла

к аппарату "Орион". Набрала номер. — Виктор Гаврилович? Простите, ради Бога, но у меня к вам нижайшая просьба. Не могли бы вы выручить старуху и приехать прямо сейчас? Что-то случилось с кондиционером, ужасно гудит, гонит горячий воздух и не желает отключаться. Я боюсь, что взорвется… Спасибо, миленький… — Затем обернулась ко мне. Уже прежняя, слегка кокетливая пожилая дама. — Я думаю, мсье Пьер, на этом ваша миссия закончена. Если только вы не жаждете пожинать лавры. Но в любом случае это не сейчас.

— Ни сейчас, ни потом не жажду. И Петька тоже. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше…

— Я тоже так считаю… Ох, а вот и Виктор Гаврилович, это ученик моего мужа, он всегда меня выручает, если авария… Замечательный человек, но ужасно стеснительный. Так что я, наверно, не стану вас знакомить, если не настаиваете…

Я не настаивал.

— Мы с Виктором поговорим, а затем я накормлю вас обедом. У меня сегодня великолепные яичные клецки и фруктовое рагу с банановым соусом…

4

Обед состоялся через полчаса — на просторной и солнечной кухне, где сияли боками старинные самовары и медные ступки.

Эдда Андриановна тоже сдержанно сияла:

— Полагаю, что в шестнадцать часов нам следует посмотреть передачу "Голос Республики"... Пети-Пьер, не облизывай пальцы, это не комильфо. Вот салфетки. Ты, конечно же, герой, но салфетки не противопоказаны и тем, кто совершает подвиги... Кстати, мсье Пьер, я надеюсь, что Петенька знаком с некоторыми условностями нашей работы и не станет распространяться о роли старой Эдды в этой истории, и вообще...

— Петенька не станет, — слегка обиженно пообещал он. И демонстративно облизал палец.

— А вы, мсье Пьер, конечно, тоже удивлены... моей принадлежностью к определенным кругам.

— Вначале удивился, а теперь... пожалуй, ничего особенного. Даже логично. Ваша личность и образ жизни едва ли вызовут подозрения...

— Я, признаться, боюсь уже не подозрений, а... обывательских суждений. Существует мнение,

что наша работа — это нечто за пределами общепринятой морали: шпионство, обманы. Грех, одним словом.

— Если спасут детишек, все грехи простятся вам стократно, даже если таковые и были…

— Если они и были, то… слава Богу, не в этой сфере. Думаю, моя работа не принесла зла никому из хороших людей… Дело в том, что мы с мужем в молодости были до конца среди тех, кто боролся против раскола… Ну, скажите, что хорошего в том, что Полуостров, Республика и еще столько разных областей стали разными странами?.. Когда это все же случилось, наша группа превратилась в оппозицию. Ну а потом оказалось, что нужна служба, которая соблюдает интересы более широкие, чем амбиции мелкопоместных лидеров…

— И правильно… Эдда Андриановна, вы уверены, что Виктор Гаврилович и его коллеги… ну, вы понимаете…

Она опять улыбнулась:

— Хотите еще чаю, мсье Пьер? Пейте, не волнуйтесь…

После обеда мы с Петькой пошли прогуляться по старым переулкам. Просто так, чтобы убить время.

Петька, на мой взгляд, был настроен легкомысленно. Видимо, он считал, что дело сделано и все теперь в порядке. Прыгал вокруг меня, дурачился и предлагал всякие рецепты, чтобы похудеть.

— Дядя Кий… ну, тот Китаец на Пристанях, знает, как для этого делать специальный настой. Из трав, которые прямо под заборами растут…

— Я чувствую, что ты и сам долго рос под заборами. Сегодня за столом пальцами в тарелку… Срам.

— Подумаешь…

Было очень тепло, хотя кое-где желтели клены, признаки близкой осени.

Мы прошли до набережной в конце улицы Речных капитанов. Оттуда видна была стоящая на рейде "Розалина". На ней — вроде бы никакой жизни.

А если вдруг… прямо сейчас…

У меня стало холодно под сердцем.

Петька потянул меня за куртку:

— Пошли… Я знаю, о чем ты думаешь. Не бойся, мы же сделали все как надо.

Мы-то сделали. А сделают ли другие?

И все же по дороге домой я малость успокоился.

Мы пришли без четверти четыре, а в четыре

Эдда Андриановна включила канал республиканских новостей. У диктора был слегка взъерошенный и значительный вид.

"Господа! Экстренное сообщение. Час назад опергруппа Службы республиканской безопасности закончила операцию, благодаря которой были спасены жизни нескольких тысяч юных граждан Республики. На пароходах "Розалина" и "Розалина-2" обезврежены большие запасы взрывчатки. Злоумышленники готовили взрывы этих судов, когда те выйдут с детьми в открытое море для осуществления известного плана "Розалина"... Несколько инициаторов чудовищного преступления уже взяты под арест. Один из них цинично заявил, что злоумышленники "руководствовались государственными интересами". Вот его слова, которые вызовут негодование у всякого нормального человека:

"Во все исторические эпохи разные страны стремились так или иначе избавиться от излишков люмпенизированного населения, особенно младшего возраста. Это обычная государственная практика, и смешно объявлять ее преступлением, основываясь на сентиментальной морали, которую всегда провозглашали, но которой никогда не придерживались. Для своего процветания

Республика должна пойти на хирургическую операцию и отсечь паразитические наросты на теле общества..."

Члены спецгруппы, — вещал далее возбужденный диктор, — чьи имена мы назовем позднее, выполнили свою задачу блестяще. Она осложнялась тем, что нельзя было заранее эвакуировать детей, поскольку это могло вызвать подозрение преступников и они не остановились бы перед тем, чтобы нажать кнопки дистанционных взрывателей немедленно. Такие люди, как известно, в реализации своих кровавых планов идут до конца... Теперь начинается эвакуация детей с этих пароходов. Она вызвана уже не опасностью взрывов, а необходимостью тщательной работы следовательских групп на обоих судах. Дети будут временно размещены на базах муниципальной гвардии, которая сейчас находится в летних лагерях... Подробности, связанные с разоблачением зловещего плана, который назывался "Черные пароходы", мы сообщим в следующих выпусках новостей. А пока — реклама..."

И на экране запрыгал Кукольный заяц с большущей морковью — на ней было написано: "Фирма "Скок-Сок".

Петька буквально вжимался в меня. Дышал ча-

сто, как после бега. На лбу и на горле — капельки. Но улыбался. Мы встретились глазами.

— Ну вот и все, Петушок. Молодчина…

— Мистер Питвик и мсье Пети-Пьер, — церемонно обратилась Эдда Андриановна. — Думаю, что на одной из площадей родного города вам должны поставить памятник. Но это со временем…

— Да, можно не спешить, — отозвался Петька без лишней скромности, но серьезно. — Ой, Эдда Андриановна, а где Кыс?! Я его с утра не видел!

— Любезнейший Кыс интересовался, где ты, а потом наелся говяжьей печени и почивает во дворе, на солнышке… А еще, пока вы гуляли, вами интересовался очень милый, хотя и небритый господин, назвавший себя Юджином. Он будет звонить снова… через двадцать минут.

И он позвонил:

— Питвик! В самом деле ты… Пока не увидел, не верил.

— Я…

— А Петька?

— Вот он.

— Вот он я, дядя Юджин!

— Имей в виду, уши оторву, когда встретимся. Я из-за тебя по ночам не спал, сидя там, под айс-

бергами… А нынче будто почуял что-то — выбил сеанс внеплановой связи, узнал про тебя, Питвик… Прилетайте немедленно в Византийск! Я уже здесь.

— А может, лучше ты сюда, к нам?

— Нет уж, лучше ты! И Петух!

— А уши… — осторожно сказал Петька.

— Оторву!

— Не-а…

Я подумал, что нам, возможно, и в самом деле полезно на несколько дней исчезнуть из Старотополя.

— Хорошо, завтра утром.

— Почему не сейчас?

— Есть одно дело…

Петька смотрел на меня понимающе. Мы думали об одном: надо поехать к отцу Венедикту, все обсудить, все объяснить.

Отец Венедикт был в курсе всех дел. И очень обрадовался нам. Петькину роль в случившемся он понял с двух слов, а о подробностях не спрашивал. Он был озабочен и спешил: только что с ним связалось прежнее начальство. Сначала извинялось по поводу прошлых "недоразумений", потом обратилось с просьбой: надо выступить перед мальчишками и девчонками, которых

срочно свозили на берег. Лучше всего это будет сделать на стадионе муниципальных гвардейцев. Надо сказать что-то вроде проповеди или речи, успокоить ребят, объяснить, что опасности уже никакой нет, и уговорить не разбегаться. Мол, несмотря ни на что, добрые дяди и тети теперь не оставят детишек своими заботами и устроят им лучшую жизнь. А кому говорить с ребятами, как не настоятелю Детской церкви, которого знают множество маленьких прихожан… Что? Бывшему настоятелю? Но отец Венедикт должен понимать, что обстоятельства меняются и приходит время исправления досадных ошибок и поспешных решений…

— Пойду, конечно. Не придумал только, куда Сивку-Бурку девать, с собой брать не хочется. Это дело небось затянется допоздна…

— Пускай у нас переночует! — подскочил Петька. И Сивка просиял.

Вечером, за ужином у Эдды Андриановны, Сивка вел себя в отличие от Петьки просто аристократически, и я подумал, что ничего о нем не знаю: кто родители, как он жил, пока не попал на Пристаня?. И когда туда попал, и почему?.. А Эдда Андриановна им просто умилялась. После ужина сказала мне шепотом:

— Отец Венедикт обрел чудесного сына… или внука, как угодно…

— Эдда Андриановна, простите за любопытство. Отец Венедикт знал о… вашей работе, когда направлял меня сюда?

— М-м, не думаю. Это просто совпадение. Хотя, возможно, о чем-то он догадывался. Наверно, подумал, что здесь, на окраине, вам будет удобно и спокойно. Безопасно…

— Он был прав.

— Надеюсь, вы не говорили ему обо мне… ничего лишнего?

— Упаси Господь!

— Благодарю… Мальчикам, наверно, пора спать. Тем более, что они, как все мальчики, еще подурачатся перед сном. А вставать вам рано, если хотите попасть на утренний рейс.

— Вы правы.

…Утром мы отвезли Сивку отцу Венедикту и отправились в аэропорт. С Кысом в мягкой дорожной сумке.

ВСТРЕЧИ И ПРОЩАНИЯ

1

Юджин встретил нас на аэровокзале. Приехали к Юджину в его пустую квартиру (жена с дочерью и внуками отдыхала где-то на дальних берегах).

Юджин рассказал подробно о гибели "Иглы". Хотя какие там подробности! Сигнал о взрыве, вот и все. Точнее, не о взрыве, а о мгновенном исчезновении. Было несколько версий, но самая вероятная — аннигиляция. Скорее всего она случилась, когда "Игла" вошла в плотный сгусток антипространства в заблокированном темпоральном поле. Причем это случилось в тот миг, когда система переключала блок питания отражателей и на микроскопическую долю секунды оставила корабль без защиты. С точки зрения теории вероятности событие почти немыслимое.

— И все же это наиболее допустимое объяснение, — вздохнул Юджин.

— Если не единственное, — согласился я.

— Ну… теоретически все-таки не единственное. Мог аннигилировать сам Конус. Если в нем начался разлад. Если… Конечно, это сплошная фантастика, но иногда я думаю: вдруг в его мозгах родилась идея о бессмысленности всего нашего дела? О бессмысленности всякого бытия? И он

решил перестать быть...

— Что за чушь? С какой стати он мог к этому прийти? Когда мы прощались, он был... вполне...

— Пока твоя капсула была в переходном тамбуре, могло случиться многое. В конце концов откуда мы знаем, как Пространство влияет на искусственный интеллект?

"В самом деле..." — подумал я.

— Кстати, что там у него было с навигационной программой?

— Малость сдвинулся на идее раздвоения путей и сознания.

— Ну вот видишь...

— Все равно Конус не стал бы губить Дона и Рухадзе.

— Он мог не рассчитать... Может быть, думал, что "Игла" уцелеет и вернется без него по тунелю.

— Конус не мог рассчитать?

— Ладно, что теперь гадать... А тебе повезло, что успел уйти.

— Я иногда чувствую себя дезертиром...

— Дурак ты, Питвик, — искренне сказал Юджин.

— Это возможно...

Мы не чокаясь выпили "Капитана Немо", помя-

нули Дона и Рухадзе.

Петька в это время возился с нашим старым патефоном, который оказался у Юджина. Поставил "Дубровского".

О, дай мне забвенье, родная,

Согрей у себя на груди, —

запел тенор Смирнов, живший полтора века назад. Печальная эта песня была под стать настроению.

Мы вдвоем смотрели на Петьку. Патефон стоял на полу, Петька сидел перед ним на корточках. Кыс устроился рядом и слушал, наклонив голову. Петька гладил его, а про нас будто забыл.

— Если бы ты знал, как я изводился из-за этого обормота, — сумрачно сказал Юджин, — когда стало известно, что он исчез. И лабораторию бросить нельзя, и связь раз в две недели, и... Я поднял на ноги всех знакомых из ОГ. Но ведь Старотополь — не Византийск, там с поиском не развернешься...

Пластинка кончилась, и Петька услышал, о чем разговор. Нахохлился, спрятал лицо за торчащими облупленными коленями и сказал, будто из кокона, глухо и упрямо:

— Если бы я не ушел, ничего не узнал бы про

эр-тэ…

Телепередачи о "Розалинах" шли непрерывно. Даже здесь, в Византийске, им отводилась масса времени.

"Дети спасены благодаря счастливой случайности!"

"Служба безопасности предотвратила неслыханное злодейство всех времен!"

Никто из репортеров не знал, конечно, о Петькиной и о моей роли в этом деле. И слава Богу!

С каждым часом выяснялись новые подробности.

"Это был глубоко продуманный садистский план, отличавшийся особой изощренностью и в то же время дьявольским рационализмом! Политики экстремистского толка решили, что это наиболее простой способ избавиться от целого поколения безнадзорных детей и тем самым решить массу социальных проблем…"

"Премьер заявил, что правительство готово уйти в отставку, но отрицает свою хотя бы малейшую связь с так называемой группой "Радужный мост"…"

"Премьер поспешил в своем утверждении о непричастности правительственных кругов к группе "Радужный мост" и плану "Черные паро-

ходы"! По меньшей мере пять высших чинов из государственного аппарата уличены в связях с людьми, имеющими отношение к разработке чудовищной операции. Имена их в интересах следствия пока не сообщаются. По большей части это деятели так называемого ЧПИДа, хотя данная организация недавно инсценировала свое отстранение от проекта "Розалина"..."

"Найдены и расшифрованы кристаллы с подробностями преступного плана "Черные пароходы". Злоумышленники полагали, что шифр не может быть разгадан электроникой нынешнего поколения, но следственная аппаратура субмолекулярного уровня справилась с задачей за несколько часов. Службе безопасности нашей Республики помогала бригада коллег одного сопредельного государства..."

"Председатель Международной лиги охраны прав человека Алехандро Манолин-Сикейрос высказался за экстренное собрание лиги, на котором должен быть поставлен вопрос о проблемах детства в нашей Республике..."

А вот еще. Пожалуй, самое невыносимое:

"Стали известны новые детали зловещего плана. В нем — смесь лишенного всякой морали холодного расчета и сатанинской сентименталь-

ности маньяков-некрофилов. Было задумано не только уничтожить несколько тысяч мальчиков и девочек, но и пролить потом крокодиловы слезы. Заранее был составлен план поминальной службы, статей-некрологов и даже приготовлен проект памятника погибшим детям..."

На экране возник обелиск со множеством детских лиц на узких гранях, а у подножия — каменная фигура. Вроде как женщина, закутанная в покрывало. Видимо, символ "скорбящей Республики".

"...Автором памятника называют некоего Рома Заялова, инженера и музыканта, одного из инициаторов ЧПИДа и группы "Радужный мост". По последним данным, Ром Заялов во время ареста покончил с собой... А теперь посмотрите рекламу..."

Смотреть рекламу мы не стали. Юджин выключил экран. Петька зябко взял себя за плечи и сказал:

— Не верю я, что он покончил. Этот гад еще всплывет.

Юджин хотел успокоить его:

— На этот раз едва ли. Он ведь погиб на глазах тех, кто его арестовывал.

Петька только хмыкнул. И опять стал колючий,

неласковый…

Я не выдержал:

— Мне кажется, эти маньяки оживают, как нелюди в фильмах про вампиров.

И тогда Юджин сказал то, что я уже слышал от отца Венедикта:

— Страшно не то, что Полоз был маньяк… То есть это страшно, но в тысячу раз страшнее другое. То, что такие, как он, стали нужны господам политикам… Он-то едва ли оживет, но ведь есть и другие… Хорошо, что вы оттуда выбрались, ребята.

Мы с Петькой переглянулись. Петька взял на руки Кыса. И Юджин сразу понял: мы опять собираемся туда.

— Зачем? — сказал он. Не просто сказал, а с болью.

Ну как ему объяснить? Там было сейчас главное. Все, что случилось, привязало нас именно к Старотополю. И новые друзья там: отец Венедикт, маленький Сивка. И… это же родина, в конце концов. Пусть неустроенная, с бестолковой жизнью, с жестокостью и опасностями, но… Маленькая площадь со странными фонарями и бугристая мостовая Усадебного переулка были мне сейчас дороже всего Византийска. Хотя и Византийск

я любил…

— Южик, там для нас много всего… важного. А что мы здесь?

— Я думал, ты поедешь со мной. Для модели Конуса ты ох как сейчас нужен.

— Юджин, все, что я знаю и умею, есть в записях, в энцефалограммах. А сам я уже не тот. Понимаешь… сейчас копаться в схемах Конуса для меня все равно что… ну, препарировать кого-то близкого после смерти. Или свой собственный мозг. На этом уровне отторжения все равно я беспомощен… Да и с Петькой расставаться я больше не хочу.

Петька быстро глянул на меня и промолчал.

Юджин не стал спорить, говорить, что можно ехать и с Петькой. Понял, что бесполезно.

Мы прожили в Византийске еще сутки. Достаточно беззаботно, весело даже, словно договорились больше не касаться тревожных тем. Гуляли, вспоминали прежние хорошие времена и старых друзей. Но была, конечно, у троих у нас в душе напряженность — ожидание скорого прощания.

И, по правде говоря, я почувствовал даже облегчение, когда этот момент настал.

Мы с Петькой решили не лететь, а ехать экспрессом — как в первый раз. На вокзале Юджин

сказал:

— Возьми на память вот эту вещь. — И протянул что-то похожее на старинные карманные часы.

— Что это?

— Катапульта.

— ?

— Придумали эту штуку незадолго до взрыва. Когда ты был на пути домой. Механизм для бескапсульного перехода по туннелю — от стартовой точки до Конуса. Стоит встать где-нибудь между двумя стенами или заборами, нажать пуск, и через три минуты — старт. А захотел обратно — снова нажатие. Правда, рассчитана эта машина только на одно путешествие — туда и обратно... При пуске надо смотреть, чтобы рядом — никого. А то катапульта может прихватить случайного попутчика. Тогда — двойная нагрузка, и обратно уже никак...

— Ты, Юджин, так объясняешь, будто есть куда лететь, — грустно сказал я.

— Да... по привычке... Жалко, славная такая получилась штучка — и без пользы... Их сделали две. Одну я оставил себе, а вторая — вот. Этакий сувенир...

— Спасибо... — И я подумал опять: "Скорей бы в вагон..."

В вагоне работал большой стереоэкран. И, конечно же, опять передавали репортажи о разоблачении "беспримерного по своему злодейству плана "Черные пароходы".

— Лучше бы мультик пустили, — угрюмо сказал Петька и закутался в старую тетратканевую куртку. Это Юджин отыскал ее и отдал перед отъездом Петьке. Петька обрадовался. Я поначалу тоже. Даже штопка на плече не вызвала суеверного опасения. Мне показалось, что Петька в этой куртке сделался прежним. Он, правда, малость вытянулся за год, но в тот момент стал совсем как прошлогодний Петушок — лохматый, улыбчивый пацан, с торчащими из-под подола побитыми загорелыми ногами…

Но сейчас и куртка не скрывала угрюмую Петькину озабоченность.

— Хватит уж терзаться-то, — попросил я. — Что было, то прошло. Надо жить дальше.

— Ладно, — покладисто отозвался он. И через мягкий подлокотник привалился ко мне плечом.

Но забыть о случившемся не давал экран. Немыслимо красивая девица — этакая "Мисс Вселенная" — вещала:

"Представитель правительства заявил, что, несмотря на чудовищные происки заговорщи-

ков, проект "Розалина" не отменяется. После тщательной проверки судов дети снова займут свои места в каютах и отправятся в порт Ново-Находкино, где пересядут на комфортабельные океанские лайнеры. К сожалению, эти современные пассажирские корабли не рискуют идти в Старотополь по мелководному водохранилищу, поэтому начальный этап путешествия дети проделают на "Розалинах". По этой причине решено и не менять название операции. Провалившиеся замыслы преступников не должны бросать тень на светлую идею спасения несчастных детишек. Международные фонды "Око Вселенной" и "Христианский мир" заявили о своей готовности включиться в строительство детских городков..."

— Может, и правда помогут ребятам... Петь, ты что так на меня смотришь?

— Ничего. Обыкновенно смотрю... Дай взглянуть на катапульту.

Я дал. Петька положил "секундомер" на подлокотник, пощелкал бесполезной кнопкой.

— Вот перенесусь куда-нибудь...

— Я вот тебе перенесусь, — пообещал я малость испуганно. И сделал усилие, чтобы не отобрать катапульту. Глупо же...

Петька еще повертел прибор в ладонях и отдал

мне:

— Похоже на часы, которые у дяди Гоши были, трофейные. Помнишь?

Я не помнил, но сказал:

— Да…

— Пит, знаешь что? Я насчет этого… реанатина. Я еще там, в трюме, какую-то тревогу почуял. Знаешь, почему? Там рядом с этими ящиками стояла деревянная коробка, а в ней что-то вроде часов. Не таких, а похожих на будильник. И на них — медное кольцо с зубчиками. Я такие в кино про шпионов видел, это была адская машина. Ставишь на нужное время, а потом… Но я тогда весь такой был… задерганный. Во мне это мелькнуло и забылось…

— Едва ли стали бы взрывать пароход с помощью старинной адской машины. Это сейчас проще делается: сидит человек за сотню миль, нажимает кнопку на передатчике… Петух! Мы же условились больше не говорить об этом!

— Ладно…

С экрана теперь обращался к зрителям обаятельный молодой комментатор. Он весь прямо исходил доброжелательностью:

"Милые дамы и господа! Теперь, когда вы уделили ваше любезное внимание нашей рекламе, мы

вновь предлагаем вам обзор последних мировых событий. В городах Северо-Восточной Республики не унимаются страсти по поводу разоблачения плана "Черные пароходы". Особенно большой резонанс это вызвало в Старотополе. Второй день на главной площади не стихают митинги с требованием сурово наказать заговорщиков..."

Мы увидели на экране массу людей. Толкотня, плакаты, открытые рты. Седой разлохмаченный дядька что-то неразборчиво кричал в мегафон. Полная тетушка пробивалась к нему локтями.

Петька сказал пренебрежительно:

— Вот так же они вопили бы в поддержку расстрела.

— Какого?

— Ну, если бы Полоз поймал меня и устроил бы суд. Обвинил бы меня в тысяче страшных преступлений и объяснил бы всем, что такое наказание необходимо... Толпа орала бы в поддержку. Ей все равно, что орать...

— Ты уверен, что Полоз хотел... использовать именно тебя? Для... этого дела...

— А зачем же он меня испытывал на железном полу? Чтобы показать своим сообщникам: видите, маленькие корчатся, а этому хоть бы хны. Значит, не настоящий, а зомби. И ничего, мол,

нам не будет, если даже потом кто-то возмутится. Мы, мол, искусственного гробанули, куклу для спектакля…

— Петька, ты опять об этом!

— Ну всё, всё…

2

И правда, потом уже мы не говорили ни о Полозе, ни о "Черных пароходах".

Два дня спокойно прожили под крылышком Эдды Андриановны. Гуляли по городу, обходя шумный центр и отыскивая все больше старых, знакомых уголков. Навещали отца Венедикта и Сивку. Оказалось, что к ним уже перебрался Гошка Заяц. Тоже выглядел теперь благополучным мальчиком, но Сивкиной уверенности не обрел. Смотрел на всех робкими преданными глазами и говорил шепотом.

Кстати, отец Венедикт с ребятами покинул кладбищенский дом. Ему спешно вернули все должности, и он перебрался в прежнюю казенную квартиру при духовном училище. Он аккуратно подстриг бороду и ходил в новой шелковой рясе.

Сивка и Зайчонок иногда гуляли вместе с нами. Сивка заметно льнул к Петьке. Тот обращался с

ним с нарочитой сердитостью, но Сивку это не пугало.

По вечерам Петька разглядывал и вертел всякие старинные приборы в нашей комнате: медный шар с гравированными созвездиями и готическими буквами названий, астрономическую сферу, какую-то сложную штуку с латунными дисками и часовым механизмом.

— Сломаешь что-нибудь, — ворчал я.

— Не-а…

Отыскался у Эдды Андриановны и патефон — почти такой же, как наш. И пластинки. Петька часто слушал их, но мне кажется, что без прежнего интереса, рассеянно.

На третий день Петька сказал, что хочет побывать на Пристанях. Я, конечно, всполошился:

— Зачем?

Он вскинул удивленные глаза:

— Непонятно разве? Соскучился… Там же ребята наши. И вообще…

— Пошли тогда вместе.

Он зыркнул недовольно так, отчужденно:

— Тебе-то там что?

— Мне-то там ничего. Но буду опять изводиться: где ты, что с тобой?

— Ничего со мной не случится.

— А если опять облава?

— Теперь-то? После такого шума из-за "Розалины"!

— Слушай, а разве не все ребята ушли с Пристаней на "Розалину"? Ведь было же приглашение: приходите добровольно, не упустите ваше счастье...

Петька фыркнул.

Я сказал угрюмо:

— Ну да. Вольная бродячая жизнь лучше всякого комфорта. Сам себе хозяин, учиться не надо...

— Не в этом дело.

— А в чем?

— Не верят потому что...

— Вот ты возьми и объясни им...

— Как же я объясню, если ты меня не пускаешь?

"Не пускаешь"! Я чувствовал: если не пустить, он уйдет без разрешения. Опять он сделался колючий и словно загородился глухой дверцей.

Чтобы смягчить спор, я спросил небрежно:

— А правду отец Венедикт говорил, что у вас там целая организация?

Петька оттопырил губу:

— Какая организация... Была бы она, могли бы тогда чего-нибудь добиться. А то ведь на "Ро-

залине" никто пикнуть не смел… Ну что могут сделать пацаны против полиции и правительства с пушками? — это он так по-взрослому выдал, устало. Горько.

— А… что бы вы хотели сделать?

— В том-то и дело, что никто ничего не хотел. И не хочет. Об одном только договорились: никогда не ссориться, маленьких не обижать и не приставать ни к каким ребятам… Это для того, чтобы выжить. Иначе нас давно бы изничтожили, без такой вот… связки…

— Ну… иди, раз такая "связка". Только не гуляй там допоздна.

Он обрадовался:

— В семь часов вечера — как штык!

И правда вернулся точно. Однако это утешения мне не принесло. Я принюхался.

— Дитя мое! Что за подозрительный запах от тебя исходит?

— Куртка дымом пропиталась, у костра сидели.

— А пасть твоя пропиталась табаком… Нет, ты не отворачивайся!

Петька не стал отпираться:

— Я маленько. Это такой… обычай. Вроде как трубка мира, символически.

— А если я тебе сейчас надаю по шее? И не символически, а всерьез!

Он дурашливо надул губы:

— Я больше не буду…

— Не ломайся!

— Ну, я правда не буду. Честное слово.

— Конечно, не будешь! Потому что ни на какие Пристаня? больше ни ногой!

Петька не стал спорить. Завел патефон и поставил пластинку с песней "Я на подвиг тебя провожала…". Это из давнего-давнего фильма "Остров сокровищ". Намек какой-то, что ли?

Весь вечер Петька молчал, а утром объявил, что опять собирается на Пристаня?. Причем на этот раз вместе с Кысом. По этому четвероногому там, видите ли, соскучилась маленькая Дайка.

Я, разумеется, на дыбы:

— Никаких Пристаней, никаких Даек!

— Ну, Пит…

— Я сказал!

Тогда он ощетинился, как никогда раньше. Скинул с плеча куртку, расставил ноги, сощурил мокрые глаза:

— А какое ты имеешь право запрещать?!

— Выходит, не имею? Ну… тогда иди к… этой шпане! Хоть на всю жизнь!

Петька зазвеневшим голосом крикнул:

— А что ты знаешь про них?! Ты же… ничего! А я там целое лето жил! Что ты знаешь про Китайца? Шпана, да? А он меня все это время поил-кормил! Как своего! А ребята? Я бы без них подох! Что ты знаешь про Витьку Чижа или Скрипача?! Они для меня свежую малину воровали на рынке, когда я от кашля помирал! Или, думаешь, они глупые? Да они, может, не меньше тебя разбираются во всяком таком… и в многомерных пространствах, и в бессмертии души!.. И ни про кого не говорят, что шпана…

Он был прав. Ничего я толком не знал ни о жизни его на Пристанях, ни о друзьях его там. А ведь с ними он прожил, пожалуй, не меньше, чем со мной…

И я наконец увидел, что он — не мой Петька. Незнакомый. Даже внешне уже не тот, не прежний. Выросший, тощий, угловатый. Клочковато-заросший, с длинной напрягшейся шеей. С непримиримым взглядом. И ощущение новой потери вмиг опустошило меня. Я сказал с тоскливым равнодушием:

— Да иди ты куда хочешь…

Он сразу обмяк:

— Пит, я в семь вернусь…

— Можешь хоть совсем не возвращаться… — Это я будто в яму шагнул. Удержаться не смог.

— Нет, я приду в семь. Пит…

— Иди…

День я провел, не выходя из дома. В бессмысленном ничегонеделании. Сидел у стола, качал щелкающий маятник непонятного прибора. Эдда, что-то почуяв, не тревожила меня. Время, как ни странно, прошло довольно быстро. Петька вернулся раньше срока, в начале седьмого.

— Видишь, я не опоздал.

— Ну и хорошо… Обед на кухне, Эдда Андриановна покажет.

— Пит, ну не злись…

— Я не злюсь, — объяснил я искренне. — Только… не знаю. Все как-то не так.

— Пит, я завтра никуда не пойду.

Тут я слегка повеселел.

На следующий день мы опять навестили отца Венедикта, Сивку и Зайчонка. Они приводили в порядок квартиру: двигали мебель и вешали шторы. Мы взялись помогать.

Отец Венедикт был в необычном костюме: в башмаках с крагами, темно-синих брюках и такой же, военного фасона, куртке с голубым бархатным крестом над левым карманом. Увидев,

как мы изумились, объяснил:

— Старая форма. Когда-то был я капелланом в бригаде береговой охраны. Вот, вспомнил прежние годы на старости лет.

Мы заверили экс-капеллана, что нет у него никакой старости, а есть самый цветущий бодрый возраст...

О "Розалине" мы, как по уговору, не беседовали.

После обеда я и мальчишки поехали на "Остров Белоснежки" — это такой парк аттракционов со стереоэффектами: идешь по аллеям и видишь, как вокруг меняются пейзажи разных стран и планет...

Потом проводили Сивку и Зайчонка к отцу Венедикту. И почувствовали, что ужасно устали.

— Пит, ловим фаэтон и домой! Ага?

"Домой, — подумал я. — Быстро привыкли мы к старой комнате в Усадебном переулке. Будто и правда дом родной".

В машине я бодро сказал:

— Петушок, надо решать. Будем по-прежнему жить у Эдды или снимем более комфортабельное жилье. А?

— Зачем комфортабельное... — откликнулся он рассеянно. — И так хорошо...

Эта рассеянность опять царапнула меня тревогой.

— Петь, давай-ка не отрешайся от житейских забот. Надо, кстати, и о школе думать. Сентябрь на носу.

Петька молчал.

Я сказал уже с явным беспокойством:

— Неподалеку есть частный лицей. В государственную гимназию могут не взять, ты не гражданин здешней Республики… Ну, что ты молчишь?

— Пит… я не молчу. Я сказать хочу… Пит, не надо сейчас мне в школу.

— Почему?

— Я поплыву с ребятами. На "Розалине"…

Я как будто заранее чуял что-то подобное. Даже не удивился. Только опять навалилось ощущение потери.

Я молчал. А неторопливый фаэтон покачивал нас на рессорах.

Я понимал, что отговаривать и спорить нет смысла. Не поможет. И только спросил с горькой досадой:

— Что же ты раньше-то не сказал?

— Раньше… я и сам не думал. А тут узнал, сколько там наших. Они хотят, чтобы и я…

— Они хотят… И ты хочешь, да?

Он кивнул.

— Обо мне ты, конечно, не подумал.

— Пит, я подумал… Но я ведь вернусь. Через полгода. А там я… ну надо мне обязательно. Ребята к моим песням привыкли, и я должен… пока голос еще не начал ломаться… И вообще…

— Что "вообще"?

— Дело не в том, что я хочу, а в том, что… так надо. Понимаешь, когда я тот кораблик в подвале ставил, я же обет дал. Что не уйду с пути. А теперь получается, будто сбежал.

— Да почему ты решил, что плавание "Розалины" — твой путь?

— Потому что там ребята… Получается, что я их спас, а сам в это не верю и боюсь. Ну и вообще… Тут много всего. Обет…

"Ты ведь тоже ставил кораблик, — сказал я себе. — А где твой путь? Ты прошел его до конца? Говоришь, Конус погиб! Но ведь Юджин старается что-то спасти, бьется. И другие…"

Но не мог я думать о Конусе. Я думал о Петьке. Думал с безнадежным чувством близкого прощания.

Петька будто прочитал, что я думаю:

— Пит, тебе нельзя всего себя… на меня расхо-

довать. Я же все равно скоро вырасту. А ты… что?

— А я состарюсь и, слава Богу, помру.

— Я серьезно. Тебе надо вместе с Юджином. Это же твое главное дело.

— Как-нибудь разберусь… Какое мое главное дело.

А что я еще мог сказать?

3

Несколько раз мелькала мысль: напроситься на "Розалину". В роли воспитателя или еще кого-нибудь. И не хлопоты меня останавливали, а ясное понимание: Петьке это будет не по душе. Так не по душе, что можем рассориться накрепко.

Если трезво подумать, ничего страшного не случилось. Полгода — невелик срок. Поработаю в самом деле с Юджином, потом Петька вернется, и мы будем жить-поживать вместе.

Но я понимал, что спокойной жизни не будет. И дело даже не в том, что Петька вернется еще более выросшим и отчужденным. Просто я чувствовал, что в прощании нашем есть какая-то роковая предопределенность. Будто оно — навсегда.

Чего я боялся? Полоза нет, не грозит он больше ни мне, ни Петьке. Безопасность плавания

теперь обеспечена стократно. Это даже хорошо, что Петька повидает мир. И что у него такое вот понимание долга…

Но мысли были здравые, а чувства — наоборот… Не было у меня никакой прочности в будущем. Словно я сошел на случайном полустанке, а поезд укатил, не дождавшись меня. И будут ли еще поезда, не знает никто. Что делать? Жить здесь? Или идти по шпалам? А куда?

Город-полустанок, планета-полустанок, жизнь-полустанок…

Но последние два дня до отплытия мы с Петькой провели нормально. По-дружески. Разговаривали о том, как он вернется и станем опять жить вместе. Обсуждали маршрут предстоящего путешествия: какие города и острова Петька повидает.

Он даже взял у Эдды Андриановны обшарпанную гитару и спел мне пару песен — из тех, что выучил на Пристанях. Ничего, славные были песни. Одна — о незнакомой планете, которая снится мальчишке, другая — о грустном пирате: у него потерялся щенок, и стало не до сокровищ и абордажей… Вот такие были песни, без всякого блатного и уголовного оттенка. Витька Чиж сочинил…

Двадцать пятого августа был прохладный и облачный день, похожий на вечер. С утра в Корабельную-Детскую церковь потянулись вереницы мальчишек и девочек с деревянными и бумажными корабликами в руках. На каждом горела капля-фонарик. Этакий электрический светлячок (они продавались за копейки в любой лавочке).

Ребят в церкви встречали молодой отец Федор и отец Венедикт, который опять был назначен настоятелем этого храма.

Ребята не ставили кораблики на полки: такое количество там все равно не уместилось бы. Они сразу опускали свои суденышки в бегущий по желобу ручей. И те, светясь огоньками, уплывали по Тополинке в море…

Шествие это было долгим и растянулось до вечера. Я, Петька, Сивка и Зайчик смотрели на него со стороны. Петька сказал, что свой (то есть наш) кораблик он поставил уже давно. А Сивке и Гошке это было ни к чему, они ведь не уплывали, оставались с отцом Венедиктом.

Сивка то и дело надоедал Петьке всякими вопросами, Петька огрызался довольно сурово.

Я наконец не выдержал:

— Что ты так рычишь на него? Он к тебе всей душой, а ты…

Петька шепотом объяснил:

— Потому и рычу. Он ко мне видишь как приклеился. Хочу, чтобы наоборот. А то будет скучать…

— Рычи тогда и на меня…

Петька щекой прижался к моему рукаву:

— Я на тебя и так вон сколько рычал. Не обижайся, ладно?

— Ладно уж…

Потом в числе последних мы зашли в церковь. Петька постоял перед нишей с иконой и корабликом. После этого попрощался с отцом Венедиктом. Тот положил на лохматую Петькину голову ладонь:

— Господь с тобой. Не забывай нас, путешественник, посылай весточки с пути…

Утром я проводил Петьку на "Розалину". Вернее, на паром, который ходил туда-сюда, отвозя ребятишек на судно.

Мы коротко, без всяких слов обнялись. Я потрепал по ушам Кыса, который сидел у Петьки на руках (конечно же он отправлялся вместе с Петькой).

Затем Петька помахал еще с паромной палубы и затерялся среди пестрых мальчишек (наряженных, наверно, в ту самую одежду, которую Петька

видел в трюме).

В миле от берега, недалеко от "Розалины", стояла теперь и "Розалина-2". Оба судна были украшены флагами расцвечивания.

Наконец "Розалины" выбрали якоря, погудели и начали медленно вытягиваться с рейда. С берега махали провожающие. Их было довольно много: и просто зеваки, и республиканские и городские чины, и телеоператоры, и даже старинного вида духовой оркестр в гренадерских костюмах…

Где-то здесь наверняка был и отец Венедикт со своими мальчишками. Но я не стал их искать. Я знал, что буду завидовать отцу Венедикту: у него есть Сивка и Заяц, а у меня теперь никого…

Я пошел домой.

По дороге я увидел в витрине магазинчика с игрушками зеленоглазого кота с серой синтетической шкурой и загнутым кончиком хвоста. Зашел и купил этого зверя, поддавшись сентиментальному чувству (разумеется, непростительному для пожилого толстого дядьки с нервами исследователя межзвездных пространств — бывшего, впрочем…).

Дома я посадил кота на стол рядом со звездным глобусом.

— Ну вот, Кыс, остался я один…

Искусственный Кыс молчал.

Я качнул маятник непонятного прибора. Тик-так… Время. Медленное, счет на секунды…

Если бы не погибла "Игла", ушел бы на нее и там за сутки отсчитал бы земные полгода. До Петькиного возвращения.

Не было "Иглы"… А сам-то я — был ли? Затерявшийся пассажир на случайном полустанке…

Когда тоска налилась совсем уже невыносимой тяжестью, я услышал за дверью:

— Мсье Пьер! Мсье Пье-эр! Вас к экрану!

Господи, что еще? Неужели что-то с "Розалиной"?

Но это вызывал меня из Византийска Юджин. Лицо у него было какое-то странно озабоченное, что ли. Он словно сам не верил тому, что говорит.

— Питвик, есть сигнал… Конус цел, он сел на планету.

ПЛАНЕТА-ПОЛУСТАНОК
1

Я тупо сказал:

— На какую планету?

— Не знаю. Скорее всего, вроде нашей. Он был

запрограммирован на тип "Терра".

— Кто запрограммирован?

— Да Конус же! Очнись ты, черт возьми!!

— Какой Конус?.. Он же взорвался! Нет его!

— Значит, есть... Питвик, что с тобой? Встряхни башкой и уясни информацию по порядку.

Но я уже и так уяснил. И на миг даже забыл о Петьке.

— Постой... Так. Значит, Конус сел. А "Игла"?

— Про "Иглу" ничего не известно. Там случилось что-то непонятное. И когда это случилось, Конус, видимо, отделился от "Иглы"... ну, как боеголовка от старинной ракеты. Вошел в гравитационное поле какой-то планеты и сделал посадку...

— Без двигателей, без тормозов? Он бы сгорел...

— С его-то защитой? Питвик, я же прошу: приди в себя.

— Я пришел... да... Слушай, значит, есть надежда, что "Игла" тоже цела?! И Дон с Рухадзе...

— Не знаю... С чего ты взял? — сумрачно сказал Юджин. — Скорее всего, Конус ушел на планету именно из-за взрыва "Иглы".

— Но как он тогда мог послать сигнал? Туннель-то идет исключительно через "Иглу"!

— Туннель — да. А канал антитемпоральной связи автономен. Связь с Антарктической базой.

Оттуда сообщили мне…

— И все же, Юджин… Надо же проверить! Если восстановилась связь, может быть, заработал туннель? И можно вызволить Рухадзе и Дона?

Юджин проговорил, как мальчишка, виноватый в большой беде:

— Сейчас не проверить. Мы же на днях размонтировали блок-нейтрализатор капсулы. Она была нужна для постройки темпорального блока модели… Кто же знал…

— Идиоты!

— Кто же знал…

— Что сообщает Конус?

— Такое впечатление, что он все же крепко треснулся об эту планету, тряхнул мозги. Бормочет непонятное: "Сел. Ушел в верхний слой. Условия выясняю. Координаты прежние…"

— Какие прежние?

— Вот и ребята его спросили: "Что значит — прежние?" А он: "Скажите Питвику, он прав. Это планета-полустанок…" Питвик, что это значит?

— Понятия не имею, — искренне ответил я. Но в душу скользнул холодок.

— И все же? — осторожно спросил Юджин.

— Ну правда не знаю!.. Он, видимо, в самом деле здорово треснулся и теперь выдает в эфир всякую

кашу… Возможно, при последнем контакте он покопался у меня в подкорковой области и выудил то, что я сам не понимаю…

Но ведь о планете-полустанке я думал уже после контакта с Конусом. Здесь, недавно… Великое Пространство, непонятны дела твои…

— Когда вы сможете восстановить капсулу?

— Второго блока нет, а отладка ручная… Года через два. Если дадут средства…

Я тихо присвистнул.

— А что еще сообщает Конус?

— Ничего толкового, Пит. Бесспорны только два факта: что он относительно цел и что он сел на какую-то планету… Может, придет в себя после встряски и объяснит хотя бы, почему оторвался от "Иглы". А о самой планете что он может сказать, если зарылся в толщу… Да, была еще одна сбивчивая фраза, опять о тебе…

— Какая фраза?!

— "Скажите Питвику, программа многовариантности необходима, а если ее нет, она зарождается сама, и тогда…" На этом замолчал. Питвик, что тогда?

— Не знаю… Возможно, он сам начал строить в себе эту программу. Зачем-то она ему понадобилась…

— Зачем?

— Боже мой, откуда я знаю?.. Может, раскопал у меня в мозгах историю с Петькой и... Ну я не знаю, что "и". Может, какая-то дикая идея о разных путях развития одного начала... И он решил поправить...

— Что поправить, Пит? — шепотом спросил Юджин.

— Откуда я знаю... спроси его самого!

— Беда в том, что он почти не отвечает на вопросы. Связь практически односторонняя... Питвик, ты сказал о развитии одного начала... У меня сумасшедшая мысль...

— Ну, говори...

— Пит... Может быть, уже два Конуса? Один по-прежнему на "Игле", а другой на этом... полустанке...

— Непонятно, кто треснулся о планету, Конус или ты, — уныло отозвался я. И за этой унылостью спрятал новую тревогу. Она росла во мне, как вой сирены на приближающемся аварийном автомобиле.

Юджин покорно вздохнул. Но сказал:

— А все-таки...

— Если один Конус по-прежнему на "Игле" и она цела, почему был сигнал о взрыве?

— Может быть, в момент этого… расчленения?

— А почему исчез туннель?

— Тоже из-за этого. Временно. А теперь не восстановить, аппаратура наполовину снята.

— Кретины.

— Ага… — Он посопел, как в десятилетнем возрасте.

— Слушай! А эти штуки-то! Катапульты! Они же связаны с Конусом напрямую! Ты сам говорил! Этот-то туннель должен работать, если Конус и правда цел!

— Да никуда эти фиговины не годятся! Безделушки. Я уже проверял… Смотри… — И он вытащил из-за пазухи похожую на часы-секундомер межпространственную катапульту. — Если бы работала, горел бы индикатор, а здесь — глухо… Ох, Питвик… А у тебя?

У меня внутри словно что-то обрушилось. Тяжко и бесшумно, как песочная башня. Я лихорадочно нащупал в брючном кармане тяжелый круглый секундомер. Выдернул.

В верхней части циферблата алая капелька сигнала пульсировала в такт моему сердцу.

2

Все встало на свои места. То, что Петька на "Розалине", теперь оказалось удачей. Не будет лишних терзаний, новых прощаний. Пусть привыкает к самостоятельной жизни. А когда вернется, отец Венедикт и Юджин позаботятся о нем. Если меня в это время не окажется на Земле.

Скорее всего, не окажется. По крайней мере, шансы на благополучное и своевременное возвращение были невелики. Кто знает, какая там планета? И какой у этого туннеля темпоральный индекс? И не расплавлюсь ли я в первый же момент под излучением чужого солнца? И не сожрет ли меня местный тираннозавр прямо на месте посадки Конуса? И не унесет ли меня катапульта куда-нибудь за сотни лет?

...Конечно, сперва Юджин истерически завопил, чтобы я и думать не смел о броске к Конусу. Если соответствующая комиссия и признает путешествие необходимым, то это дело не для старых толстых авантюристов. Есть молодые, сильные ребята, не ведающие, что такое остеохондроз, и специально подготовленные для выживания в экстремальных условиях.

Я обстоятельно, без многоточий, объяснил, в какое место должен идти Юджин вместе с соответствующей комиссией и специально подготовленными ребятами.

— Пойми, что самый полный контакт с Конусом был именно у меня. Недаром этот дурак и сейчас вспоминает обо мне.

— Но туда должны идти те, кто виноват! Кто раньше срока начал размонтировать базу!

— Балда! — сказал я злорадно. — Тут надо думать не о моральных терзаниях, а о пользе дела.

— Я и думаю... Господин Викулов! Я как командир базы предписываю вам безотлагательно прибыть в Византийск и сдать катапульту. Это казенное имущество!

— Командир ты... у разбитого корыта. Вот тебе! — и я поднес к объективу приемника дулю. В Византийске перед Юджином она сделалась величиной с арбуз и заполнила стереоэкран (я подумал об этом с удовольствием).

Юджин сморщился, будто нюхнул уксуса. И попросил жалобно:

— Питвик, не делай глупостей.

— Я и не собираюсь. Наоборот, это будет самое умное. Логическое завершение всего. Видишь, Юк, я ошибся, думая, что моя миссия давно закон-

чена. На самом деле я был чуть ли не дезертиром. Хвала судьбе, она сама вернула меня на прежние рельсы. Уж теперь-то я пойду до конца.

— О Петьке подумай!! — взревел он.

— Я думаю. Слава Богу, его сейчас рядом нет. А вернется — ты его больше не оставишь. Верно?

Юджин не воспринял упрека. Он боялся за меня, и это было главное.

— Пит, ты выжил из ума! Это авантюра небывалых размеров! Ты… проходимец межзвездного масштаба!

— Сопляк! Как ты разговариваешь со старшим! Я тебя трехлетнего учил штаны застегивать! Давно уши не драли?

Он сказал опять жалобно и очень осторожно:

— Пит, давай будем серьезными.

— Давай, дружище… А чего ты боишься? Надавлю кнопку — и сразу там, у дядюшки Кона. Посмотрю, что и как… А если кругом некомфортно — вмиг обратный пуск…

Он только вздохнул.

— Конечно, мне нужен костюм индивидуальной защиты и ранец с минимальным жизнеобеспечением… Но если ты не дашь и будешь мешать, скажи лучше сразу…

— И что тогда? — безнадежно спросил Юджин.

— Тогда я прямо сейчас выйду во двор и… Место подходящее: с одной стороны дом, с другой забор. Прямо настоящий туннель… Щелк — и там. Обойдусь без снаряжения. Не думаю, что дядюшка Кон выбрал совсем уж поганую планету…

— Пит, надеюсь, ты не сделаешь этого, — сумрачно сказал Юджин.

— А ты дашь мне, что надо для броска?

— Где я только возьму костюм для такого толстого и нахального… специалиста по краже межпространственных катапульт.

— Сам подарил!

— Ладно, прилетай…

А что еще он мог сказать? Катапульта была у меня. Если что — палец на кнопку…

Мы договорились не пороть горячку. Я решил еще сутки провести в Старотополе. Малость успокоиться, попрощаться со всеми, побродить по знакомым местам. Придется ли еще когда-нибудь?..

А потом прилечу в Византийск и оттуда уж — к дяде Кону.

Вот ведь как повернулось дело! Кто бы мог подумать!..

"А ты ведь в глубине души хотел чего-то такого, — сказал я себе. — И даже ждал. Просто

ожидание это пряталось позади тревог и забот о Петьке".

Теперь Петьке не так уж и нужны мои заботы. Не пропадет. Он растет, делается все тверже и умнее…

Он вообще с самого начала был умнее меня. Мудрее, смелее даже. Тринадцати лет нет пацану, а что такое долг — понял до конца. Потому и ушел с ребятами на "Розалине".

А может, и не только поэтому. Еще из-за привязанности к этим ребятам. К друзьям, с которыми делил все невзгоды на Пристанях… Впрочем, где граница между привязанностью и долгом? Одно помогает другому… Всегда ли помогает? Сейчас привязанность к Петьке как раз то единственное, что держит меня на Земле. Но я уйду. Потому что у него — свой путь, а у меня свой. И Петька не простит, если я сейчас откажусь от этого пути. Вот потому я уйду. Во многом — ради Петьки. Чтобы он потом, когда вырастет, поступил в подобном случае так же.

Мне не страшно, потому что в здешней жизни у меня есть продолжение — Петька. И в то же время мы — одно и то же. Сейчас я с каждым часом чувствую это все сильнее. Не важно, что группы крови разные. Душа одна. Он — во мне,

я — в нем. Судьба зачем-то сыграла с нами эту сложную игру. Но сейчас я благодарен судьбе, что она сделала такой поворот — вновь открыла передо мной туннель.

Так я думал, пока неторопливо бродил по старым кварталам, за крышами которых торчали равнодушные, ненужные мне башни и шпили небоскребов. А в голове, создавая фон для этих мыслей, все звучала песенка, которую пел недавно Петька:

Никакой другой дороги нету,
Сзади порвалась тропинка к дому.
Я пешком отправлюсь на планету,
Где растут ромашки по-земному…

Из пристанского репертуара.

Я опять подумал, что ничего толком до сих пор не знаю о Петькиной жизни на Пристанях. И какая же я скотина — ни разу не побывал у Китайца, не сказал ему спасибо за то, что он как мог заботился о Петьке (и о его ненаглядном Кысе)!

Я зашел домой, взял искусственного Кыса и отправился на Пристаня?.

Пристанские обитатели, как в прошлый раз, глазели мне вслед, но никто не останавливал, не спрашивал.

Дорогу я помнил плохо и долго плутал, тем более что не решился идти через "Пассаж". Расспрашивать взрослых мне не хотелось, а ребят смышленого вида я не встретил (неужели все уплыли на "Розалинах"?).

Наконец я отыскал хибару Китайца.

Хозяин, как и в прошлый раз, сидел у входа, что-то мастерил из жестяных полосок. Дайка тут же играла самодельной тележкой с пластмассовыми петушками (они вертелись). Я протянул ей кукольного Кыса, и она молча вцепилась в него. С отчаянной просьбой глянула на отца. Китаец кивнул: возьми. А мне улыбнулся, чуть-чуть:

— Садись. Как Петька?

— Уплыл… — Я присел на чурбак.

— Да, уплыл. Знаю. Приплывет — пусть приходит.

— Придет… Я тоже уезжаю. Может, надолго. Очень…

Китаец, не отрываясь от своей поделки, покивал: бывает, мол.

— Спасибо вам за Петьку.

— Чего там спасибо. Ему спасибо. Хороший мальчик. Помогал. С Дайкой играл… — Он говорил простые слова, а смотрел понимающе, глубоко. Будто знал, куда я иду. В узких глазах

— буддийская мудрость.

Я встал:

— Пойду. Прощайте.

Он опять кивнул. И больше не отрывался от жести.

3

Казалось, столько всего успело случиться с момента отхода "Розалины". А прошло лишь несколько часов. День едва перевалил за половину.

Я вернулся с Пристаней домой, и бодрая кокетливая Эдда накормила меня обедом. Огорчилась моим неважным аппетитом и рассеянностью и отнесла это на счет грусти о Петьке. О моих планах она ничего не знала.

Потом я сидел в своей комнате и рассеянно крутил медный глобус со звездами. Где, в каком созвездии звезда, у которой Конус выбрал планету для посадки? Что с ним? Сумею ли узнать, когда окажусь там? И как встретит меня чужая планета?

Но никакого страха не было. Только этакое чувство освобождения вперемешку с грустью.

— Мсье Пьер! Мсье Пье-эр! Вас просит к экрану

отец Венедикт.

Я встряхнулся. Уж кто-кто, а отец Венедикт должен знать все.

Он — веселый такой, с ухоженной бородой и гривой — гулко спросил:

— Почему на глаза не показываешься, чадо мое? Все печалишься об отроке? Не горюй, все теперь будет славно. Бог милостив. Приезжай, угощу наливкой из натуральной смородины. Изгоняет хвори и скорбь…

И я поехал к отцу Венедикту.

Сивка-Бурка запрыгал вокруг меня, поднимая ветер своими широкими клетчатыми штанами. Гошка Заяц робко улыбался издалека. Белобрысенький тихий Зайчонок в синей матроске — неискоренимой мальчишечьей одежде трех веков…

За наливочкой — небрежно так, словно о рядовой экспедиции — рассказал я отцу Венедикту о предстоящем деле. Мой беспечный тон его не обманул.

— Надо ли, Пит? Не искушаешь ли судьбу?

— Надо. Иначе вся жизнь теряет смысл… Только там есть возможность узнать все подробно. В том числе и про "Иглу". Про Владика и Николая.

Отец Венедикт встал, перекрестился, махая

широкими рукавом:

— Помоги, Пресвятая Богородица… — Потом глянул на меня из-под волос. — Пойдем.

Я понял — куда. И мы поехали в Корабельную церковь.

Оказалось, что у отца Венедикта своя машина — плоский, как черепаха, лимузинчик пыльно-шоколадного цвета. Старенький, без автоводителя. Отец Венедикт в своей шелковой рясе умело сел за руль.

Сивка и Зайчонок увязались, конечно, за нами и вели себя смирно. Приткнулись на заднем сиденье, шептались о чем-то.

В церкви было пусто. Теплились редкие огоньки. На улице уже вечерело, солнце входило в окна желтыми косыми лучами.

Ниша с корабликом была в тени, но лампада освещала икону. Я шепотом сказал за себя и за Петьку Богородице и Сыну:

— Помогите в пути. Время такое пришло — последний шаг… Будьте с нами до конца. Всем сердцем прошу, как в тот раз, когда был маленьким…

Что еще сказать? Молиться по правилам я так и не научился за всю жизнь.

Отец Венедикт что-то неразличимо шептал

рядом. Шелковый рукав его несколько раз прошелестел от взмахов. Сивка и Зайчонок притихли в отдалении.

Мы постояли молча минуту-две. Потом я сказал:

— Отец Венедикт, не пора ли отпустить кораблик?

Он не удивился:

— Делай как знаешь. Твой кораблик…

— И Петькин…

— Делай, как велит душа.

Душа подсказывала: пора отпустить, чтобы плыл вместе со всеми. Может, здесь и не было прямой логики, но я чувствовал — это как бы подтверждение давнего обета. Тогда — принес, нынче — отправляю в плавание. Начало и завершение одного действия. И Те, перед кем кораблик стоял столько лет, поймут меня. И он поплывет — как символ вечного пути.

Петька сейчас поступил бы так же.

Я взял кораблик на ладонь — сухой, невесомый. На миг представил себя прежним Петькой Викуловым и осторожно опустил сосновое суденышко в журчащий поток. Оно побежало и скрылось в черном туннеле.

В туннеле!..

Я постоял перед образом еще минуту. Со всеми мыслями и молчаливой просьбой о Петьке и (если заслужил) о себе. О Доне и Рухадзе…

— Я пойду, отец Венедикт…

— Идем.

Мы вышли на церковное крыльцо.

Площадь была освещена ровным неярким солнцем. Кое-где блестели старые булыжники. По ним бежал к церкви худой мальчишка в развевающейся за плечами взрослой куртке. Он прижимал к груди серого кота.

Сивка радостно завопил и бросился Петьке навстречу. Зайчонок секунду подумал — и тоже, только молча. Ко мне и к отцу Венедикту Петька подошел в сопровождении двух сияющих адъютантов.

Подошел, опустил к ногам кота, выпрямился. Глянул со смесью веселья и виноватости:

— Вот… я.

— Вижу, — сказал я. В голове была полная каша. И радость, что вот он, Петух, и… а как же теперь быть? И почему он здесь?

— Почему ты здесь?

Видимо, вышло это чересчур хмуро. Веселье на Петькином лице не пропало совсем, но я почуял, как он опасливо ощетинился. Ответил, однако,

беспечно:

— Вернулся. На катере, который повез на берег провожающих… А чего?

Если бы он знал, "чего".

Еще утром я был бы счастливейшим человеком, увидев Петьку вернувшимся. А сейчас? Что я ему скажу?

Петька засопел, опустил голову, шевельнул смирно сидевшего Кыса коричневой, в частых царапинах ногой.

— Мне сказали, что коты не живут долго на железных кораблях. Помирают… Как же тогда?

Мы все молчали.

Он глянул исподлобья:

— Не думай, я не сбежал, меня отпустили. Даже заставили… Потому что здесь осталось еще много наших. И… потому что здесь ты…

Тогда я взял его за плечи, прижал. Ох, Петух ты мой непутевый…

Он потерся носом о мою куртку, поднял счастливое лицо. Будто мы увиделись после долгой разлуки.

Потом он опять чуть насупился:

— Меня только одно скребет: не нарушил ли я обет?.. Ну, тот давний, с корабликом…

Отец Венедикт и я переглянулись. Отец Вене-

дикт сказал:

— Все хорошо теперь. Ты, Петушок, не нарушил. Наоборот. Здесь ты нужен во сто крат больше, чем там…

— Ага… — Глаза его блестели. — Пит, мне знаешь еще что показалось? Будто нас с тобой ждут другие путешествия, гораздо дальше, чем на "Розалине"… Пит… я больше не хочу без тебя…

Я вздрогнул. Я обязан был немедленно ответить: "Да, Петька, возможно, у нас будут когда-нибудь путешествия. Но сначала дальнее путешествие ждет меня одного. Самое главное и самое опасное в моей жизни. И это неизбежно. Будь готов теперь снова прощаться, а потом тревожиться, мучиться и ждать. И неизвестно сколько…"

Лучше сказать об этом сразу. Так — честнее и легче.

И я сказал бы. Но в этот момент мы услыхали опять частый топот. Еще один мальчишка мчался через площадь. Незнакомый, ростом с Петьку. В рваной куртке и в таких же, как у Сивки, полощущихся клетчатых штанах, только старых. Смуглый, черноволосый, нестриженый.

— Чиж! — крикнул Петька. — Ты откуда?! Тебе все искали на "Розалине"! — и подхватил кота. Видимо, машинально.

Чиж подбежал. Даже я, за два метра, ощутил, как пышет от него жаром. Он стрельнул в нас глазами, схватил Петьку за куртку, оттащил на пять шагов, что-то отчаянно зашептал на ухо.

Я увидел, как Петька побледнел. Резко. Закусил губу. Кивнул.

Потом он странным, чуть ли не строевым шагом подошел к нам, вскинул подбородок. И сказал казенно, словно рапорт отдавал на давней пионерской линейке:

— Чиж говорит: ребята поймали Полоза!

КАТАПУЛЬТА
1

Сивка с Зайцем припустили вперед, и, когда мы подбежали, они были уже в машине. Но отец Венедикт велел:

— Сивка-Гошка, домой. Сидеть там тихо и ждать меня.

— У-у… — сказали они. Сивка громко, а Заяц одними губами.

Но отец Венедикт насупил дедморозовские брови:

— Всеволод — брысь… — И тот, сопя, полез из автомобиля. Безропотный Зайчонок — следом.

А мы рванули на Пристаня. Стремительно, с визгом колес на поворотах. Я сразу вспомнил, что когда-то отец Венедикт был в береговой охране.

Мы с Петькой мотались на заднем сиденье, Чиж съёженно и цепко сидел рядом с отцом Венедиктом. Я видел черные нечесаные волосы, тонкую мальчишечью шею и плечо в прорехе. Шея и плечо были одного цвета с этой машиной. И чувствовалось — они закаменели.

Мы мчались извилистыми проулками, в объезд стеклянно-многоэтажного центра. Видимо, Чиж командовал. Наконец машина стала у развалившегося забора из пластиковых плит. Мы пролезли в дыру. Оказались на тропинке среди брошенных дырявых лодок и разбитых катеров. Репейники и белоцвет — ребятам по плечи.

— Скорее, — нервно попросил я.

Чиж оглянулся. Глаза — черные, сумрачные и… спокойные.

— А зачем спешить? — сказал он хрипловато. — Никуда теперь не уйдет…

— Сколько раз уходил…

— А теперь не уйдет, — повторил Чиж. И неторопливо пошел впереди.

Петька придержал меня за рукав:

— Пит, оружие с тобой?

Еще бы! Я не вынимал руку из кармана куртки, где лежал "ПП". И качнул этой рукой: здесь, мол.

— Это хорошо… Пит, стреляй сразу, полным напряжением. Чтобы наверняка…

— А… разве я должен стрелять?

— А что же ты должен делать? — изумился Петька.

— Сдать в полицию. Для следствия, для суда…

— Ох, Пит, — укорил меня Петька, словно младенца.

Я оглянулся на отца Венедикта, тот шуршал рясой в двух шагах позади нас. Спросил глазами: "Как мне быть? Что скажете вы?"

— Я священник, а не судья, — сказал он. — Решайте сами… Полоз — воплощение дьявола, и если вы сумеете уничтожить сатанинскую силу, это не грех, а благо…

Чиж, который шел впереди, вдруг посмотрел на нас. Видимо, слышал разговор. Спросил громко:

— Но все же он ведь и человек тоже?

— В какой-то степени. К сожалению, — ответил отец Венедикт.

Петька на ходу попросил меня шепотом:

— Когда будешь стрелять, попроси ребят, чтобы ушли. Но Чижа не прогоняй.

— Почему?

— Так… Он должен убедиться…

— В чем?

— В том, что можно стрелять… в живого. Иногда…

— Зачем ему это?

— Чтобы не ходить вот таким… виноватым. Он застрелил одного недавно…

— Как? — я сбил шаг.

Все тем же шепотом Петька объяснил:

— Одного гада. Из самодельного пистолета, вроде поджига… Потому что тот гад полез на Чижика…

— Как полез?

Петька сбоку глянул на меня с угрюмой досадой:

— Не знаешь, что ли, как взрослые скоты лезут на мальчишек?

"Вот тебе и Пристаня, — подумал я. — Романтика вольной жизни…"

— Петь, а к тебе… никто не приставал?

— У нас у всех были поджиги. Или заточки… На всякий случай… — Он посмотрел назад. — Отец Венедикт, можно Чижу простить этот грех? Он же защищался…

— Бог простит, — сказал тот одними губами. — А смотреть, как Питвик стреляет, все-таки не

надо…

У меня внутри словно колыхалась тяжелая вода, у самого горла. Такое вот волнение… Не страх, не тревога, а ожидание неизбежного.

Никто не попался навстречу. Мы прошли недалеко от хибары Китайца, рядом с ней тоже никого не было.

Опять потянулся узкий проход — с одной стороны кирпичные развалины пакгауза, с другой — глухая бетонная стена с остатками проволоки наверху. И тропинка среди высокой сурепки.

Тропинка вывела на берег. На свободный травянистый пятачок, загороженный со всех сторон. Слева — вытащенная на сушу баржа, справа — груда вагонеток и штабель гнилых ящиков. Из-под них тянулись и сворачивали к берегу ржавые рельсы узкоколейки. Выходили на решетчатый мосток. Он был с покатым наклоном и обрывался над водой. У въезда на мосток стояла на рельсах грузовая тележка с поручнями.

На тележке в скорченной позе, обхватив одной рукой поднятое к подбородку колено, сидел Феликс Антуан Полоз.

Несколько мальчишек, разных, но чем-то одинаково похожих на Чижа (выражением лиц, может быть?), стояли цепочкой. Спиной к Полозу.

Оборванные, невозмутимые. На нас взглянули без удивления.

Чиж сказал все так же сипловато, глухо:

— Все, робины. Идите…

Они молча пошли мимо нас — в проход за нашими спинами. Шагая мимо отца Венедикта, каждый шепотом говорил "здравствуйте".

Мы подошли ближе к Полозу. И я понял, почему он не может бежать. Его правая кисть была прикована к поручню тележки черным металлическим наручником.

2

Тихо-тихо было. Только стрекозы шуршали крыльями. Под низким солнцем светились в сорняках мелкие желтые цветы. Блестело битое стекло. Голубела в узкой Овражной бухте вода, на том берегу курчавились заросли заброшенного сада. Чирикнул воробей, сел на поручень рядом с Полозом. Хорошо ему было, воробью. А Полозу плохо…

Но он держался спокойно. Узкое складчатое лицо его — без парика, с темной стрижкой ежиком — казалось чересчур длинным. И была на нем смесь пренебрежения и скуки.

Полоз проговорил негромко:

— Ну вот и явились. Вся компания…

— Как вы его изловили? — спросил отец Венедикт у Чижа.

Тот, глядя в землю, сказал с покашливанием:

— Выследили… Он думал, что здесь искать не станут, затеряется. Полиция и не искала. Но мы знали…

— Ловкие мальчики, — снисходительно заметил Полоз. — Я не учел… Даже кандалы раздобыли.

— Добра-то… — выдохнул Чиж. И кашлянул опять.

— Ключик от кандалов у тебя? — спросил отец Венедикт. — Дай-ка мне…

Чиж глянул быстро, колюче:

— Но вы с него не снимайте! Уйдет!

— С живого не сниму, — тихо сказал отец Венедикт. И сунул ключик в складки рясы.

Полоз принужденно улыбнулся:

— Все же пришлось присутствовать на казни, святой отец…

— Не на той, на какой тебе хотелось, — отозвался отец Венедикт. — Да и не казнь это, а… уборка нечистот.

— А вот это вы зря, — серьезно возразил он. —

Всегда следует уважать противника… По крайней мере настолько, чтобы выслушать его перед концом… А вы, господин Викулов, согласны со мной? — он опустил ногу, сел удобнее, наклонил набок голову.

Страха в его глазах не было.

Но и у меня не было. Прежняя тяжесть растаяла. Осталось лишь досадливое нетерпение, с которым обычно хочется вытащить засевшую занозу. Будет неприятно сперва, но потом — облегчение. Надо только прижечь ранку, чтобы не осталось заразы. Я прижгу ее с сознанием, что уничтоженный мною Полоз больше никогда никому не принесет вреда.

Я вынул пистолет, сдвинул до конца ползунок регулятора мощности и муфту фокусировки. Теперь можно было уложить наповал мамонта.

Полоз наблюдал молча.

— Шли бы вы отсюда, ребята, — сказал отец Венедикт.

Но Чиж не двинулся — стоял, расставив ноги и глядя на свои разбитые башмаки. А Петька плечом прижался к моему левому боку.

Полоз сел поудобнее. Смотрел на меня, не отрываясь. Он был в мятых брюках, в старых туфлях на босу ногу и в засаленной клетчатой рубахе.

И правда будто житель Пристаней. Но это был Полоз. Он смотрел мне прямо в глаза. Змеиными своими зрачками.

— Бесполезно, — сказал я. — Ты хороший гипнотизер, но сейчас не уйдешь. — И поднял пистолет. Петька прижался ко мне плотнее.

Полоз бархатно так, сочувственно проговорил:

— Надо ли стрелять, Питвик? Выбейте полено из-под колеса, и делу конец…

И правда, этого хватило бы! Мосток с рельсами уходил к воде наклонно, тележку сдерживал только сунутый под колесо деревянный брусок. Выдернуть — и тяжелая тележка, набирая скорость, покатит к отвесу. А глубина здесь — сразу. Бывший овраг…

— Нет, — сказал я. — Лишняя гарантия не помешает. Ты слишком изворотлив.

— Ну стреляй, — согласился он с коротким зевком. — А ты когда-нибудь убивал людей? Не боишься взять грех на душу?

— А ты не человек. Ты воплощенная гнусность. Садист и некрофильская дрянь! Тебе мало было мучить отдельных пацанов, захотелось государственного масштаба… Откуда столько ненависти в одном… в одной оболочке? Что за дикий вывих природы?

Признаться, он своими зрачками все же тормозил меня. Я ощущал, что растет неуверенность. И тогда представил огненный шар над черным пароходом и взлетающие в горячий воздух ребячьи тела. А еще — как у кладбищенского забора вжимается в травку Сивка-Бурка: "Дядечка, не надо!" Тряхнул головой, двумя руками поднял "ПП". Петька у меня под боком сжался.

— Подожди, — громко сказал Полоз. — Минуту! Я хочу справедливости. Хочу, чтобы ты знал… Откуда ты взял, что у меня была ненависть? Я любил детей! Да! Любил их как раз за страдания, которые через меня посылала им судьба. За то, что этими страданиями они искупают грехи мира. За то, что вносят в мир гармонию, уравновешивая своей болью счастье других. Ибо изначально Вселенная построена на равновесии добра и зла… Я ведь уже объяснял тебе это однажды…

— Когда?!

— Недавно. Ночью…

— Значит, это был не сон?

Он мелко засмеялся, складки его лица затряслись. Худое тело — тоже…

— Межпространственник… Так и не понял, что такое сон и где граница…

— Ладно, как-нибудь разберусь. А сейчас, уж

не обессудь, я нарушу гармонию и равновесие между добром и злом. — И я снова поднял "ПП".

— Еще секундочку… Послушайте, господин Викулов. А вы всерьез уверены, что имеете право осудить меня на смерть?.. Да нет, я не о юридическом праве! Вы точно уверены, что сами лучше меня?

— А ты юморист, Полоз! — это я уже с новой злостью.

— Отнюдь, — светски возразил он. — Просто ваша судьба в давние годы милостиво перевела стрелку на ваших рельсах. Рукою десятиклассника Яшкина, который дал вам оплеуху. А если бы не это? Вспомните ваш тайный интерес, когда били Турунчика! Как вы часто дышали при виде чужого страдания! Во что это могло развиться, если бы не Яшкин?

Я обмяк. Опустил пистолет. Откуда он знает? Хотя ведь он дьявол. И умеет проходить сквозь время… Ну, тем хуже для него.

Я сцепил зубы и снова навел ствол:

— Дело не во мне!.. Я и себя уничтожил бы без жалости, если бы почуял, что становлюсь таким! Но сейчас это зло в тебе. И поэтому я тебя убью.

— Ладно, стреляй, — процедил он. — Только подойди поближе, чтобы не промахнуться. И

смотри, в кого стреляешь. Смотри! — он свободной рукой разодрал до низа рубаху. Сбросил рукав, рубаха повисла на правом плече. Полоз нелепо крутнулся, повернулся ко мне спиной. Она была бледная, с редкими волосками. На левой лопатке… темнело родимое пятно — "гусиная лапка".

Такая же, как у меня. И у Петьки.

Я уронил руки.

И опять услышал, какая вокруг тишина. Звенящая. Обморочная.

Лицо Полоза оскалилось лошадиной улыбкой.

— Ну, что же ты, Питвик? Стреляй в брата своего!

И тогда я услышал Петьку. Он сказал шепотом, но непримиримо:

— Стреляй.

И я ватными руками поднял пистолет — в который уже раз…

Полоз перестал скалиться. Помертвел лицом, закатил глаза. И обмяк на железной площадке, вывернув прикованную руку.

— Подожди, — велел мне отец Венедикт. Подошел к Полозу. Нагнулся.

Я и мальчишки не шевелились.

Отец Венедикт стоял над Полозом долго. Потом

вернулся к нам. Сказал, глядя в сторону:

— Паралич сердца.

— Вы уверены? — угрюмо и виновато спросил я.

— Уверен. Я в свое время насмотрелся на такие дела… Ступайте отсюда. Подождите меня там, в проходе. Я сам толкну тележку. И помолюсь…

Чиж вскинул черные глаза-кинжалы:

— За него?

— За нас, грешных… Ступайте.

Мы ушли. Встали у кирпичной развалины. Я машинально поставил "ПП" на предохранитель. Убрал его в карман.

Петька тихо дернул меня за рукав:

— Пит, это же просто совпадение… Ну, родинка…

— Да, конечно, — бормотнул я, зная, что таких совпадений не бывает.

Несколько минут мы стояли молча. Отец Венедикт подошел, бросил в траву черные наручники.

— Зачем вы их сняли? — набыченно спросил Чиж. — Он всплывет.

— Ну и пусть всплывет. Найдут — определят, что разрыв сердца. А если когда-нибудь вытащили бы со дна, прикованного, решили бы, что

убийство…

Я подумал, что с такой глубины едва ли когда-нибудь подняли бы тележку. Но промолчал… Все-таки хорошо, что я не стрелял…

— Дело свершилось, и в этом — рука Господа, — тихо проговорил отец Венедикт. — Радости мало, но и скорбеть нечего. Случилось то, что справедливо… Поедем теперь ко мне. А то душа неспокойна, как там эти два сорванца одни-то…

Чиж отступил назад:

— Я пойду… Мне надо…

— Увидимся, — сказал Петька.

— Не знаю. На всякий случай — прощай… — И Чиж скользнул в оконный проем разрушенного склада. Петька тревожно смотрел ему вслед.

— Отец Венедикт, мы приедем позже, — сказал я. — Вы нас извините… Нам с Петькой очень надо поговорить. С глазу на глаз.

— Понимаю. Но… прямо сейчас? Здесь?

— Да. Ни к чему тянуть…

— Понимаю, — опять сказал отец Венедикт. — Ну что же, приезжайте после… А кота давайте, я с собой прихвачу. Что вам с ним возиться…

Только сейчас я сообразил, что Петька держит на плече Кыса. Видимо, так и держал все время — пока ехали, пока шли, пока стояли там…

— Нет, — насупился Петька. — Пусть со мной.

— Ну, как знаешь... Кстати! — отец Венедикт пристально и с усмешкой глянул на меня: — Вас, кажется, озадачило родимое пятно этого оборотня. Да? Не бойтесь, это была его последняя дьявольская шутка. Косметика... — И отец Венедикт уронил из ладони что-то вроде дохлого мотылька. Мотылек упал рядом с наручниками.

Я с недоверием и брезгливостью поднял его. "Гусиная лапка" была вырезана из легкого бугристого пластика.

Не передать словами, какое я испытал облегчение. Хотелось тут же сесть на землю и зареветь, как мальчишка, которому грозили жутким наказанием, но неожиданно пожалели и простили. Не сел, не заревел. И не потому, что стеснялся Петьки, а потому, что... где-то в глубине души осталась вина...

Я стоял и машинально вертел "гусиную лапку" в пальцах.

Петьку передернуло:

— Брось ты это...

— Бросил... А ты тоже брось эту гадость. Нашел игрушку...

Петька, оказывается, поднял из травы наручники.

Он сказал смущенно:

— Я не могу. Видишь, прицепились нечаянно.

— Нечаянно! Балда…

Он, видите ли, сунул руку в кольцо, то и защелкнулось. Браслет был с автоматической регулировкой, плотно охватил тонкое запястье.

Петька покачал свободным браслетом на цепочке:

— Теперь не снять, пока не приедем к отцу Венедикту. Ключ-то у него…

— Олух! Как по городу пойдем?

— Подумаешь. Спрячу под курткой… А о чем ты хотел говорить?

Да, это было главное. То, от чего никуда не уйти.

— Сядем… вон там.

У кирпичной стены был широкий выступ, в полуметре от земли. Петька расстелил на нем куртку. Сел. Опустил с рук ненаглядного Кыса. Тот улегся ему на сандалии.

Я сел рядом.

— Петушок…

Он посмотрел с ожиданием новой беды:

— Что-то опять случилось, да?

— Да…

3

Я рассказал ему все о Конусе и катапульте.

Петька молчал, колупая на колене коросточку.

— Вот так, Петушок… Никуда нам от этого не спрятаться. Судьба.

Он съежился, прошептал:

— Почему она такая? Судьба… Почему не дает нам, чтобы вместе?

— Вернусь, и будем вместе. Тогда уже точно.

Петька сказал беспомощно:

— Я не думаю, что ты вернешься. И ты сам так не думаешь.

— С чего ты взял?! — старательно возмутился я.

— А вот взял… Я понял, что, если мы далеко друг от друга, ничего хорошего не случается…

— Глупости.

— Не глупости… Пит, возьми меня с собой.

— Ты что, сдурел?

— Я ведь уже не маленький…

— Не в этом дело. Катапульта — она как маятник в пространстве. Качок туда, качок обратно. И запас энергии на одного человека. Если двое — на обратный ход не хватит, оба останемся там…

— А если… что-то случится и ты останешься там один? Тогда я как?

— Не надо, Петух… Ты же хотел самостоятельной жизни. Недаром ушел на "Розалине"…

— Но я же не ушел, вернулся! За тем, что ли, чтобы опять врозь?..

— Но тут уж ничего не поделаешь…

Он сник:

— Да, я понимаю.

Лучше бы уж ругался и спорил.

— Это ведь еще не сегодня, — беспомощно сказал я. — Будет еще подготовка, то да се…

Он кивнул, не поднимая головы. Потом вдруг попросил:

— Покажи хоть эту чертову катапульту. Какая она?

— Ты же видел! Тогда, в поезде…

— Я не помню…

Я достал секундомер. Индикатор мигал рубиновым глазком.

— Дай, — шепнул Петька.

— Только без фокусов. Ничего не нажимай.

— Что я, сумасшедший?

Впрочем, был тайный предохранитель, о котором Петька не знал, поэтому я не боялся. Даже демонстративно стал смотреть в сторону.

...Как он сумел отколупнуть крышку, поддеть ногтем тот самый лепесток и нажать головку?!

Похожий на кузнечика зуммер резанул меня по нервам пуще громкой сирены. Я рванулся (Кыс перепуганно вскочил). Выхватил у Петьки катапульту:

— Идиот! Ты же ее запустил!

Он глупо мигал:

— Разве нельзя остановить?

"Остановить"! Мчащийся по склону тысячетонный шар! Летящий под откос поезд! Ракету на взлете!.. Хотя ракету можно взорвать сигналом с пульта, а здесь... Здесь ничего! Пространство уже начало сворачиваться в бесконечно длинный смерч со стержнем из абсолютной — внепространственной — пустоты. И скоро этот смерч втянет меня — неумолимо и мгновенно.

Через три минуты.

Лишь бы не зацепило Петьку!

Не нужна была темпоральная коррекция. Мысли и так выстраивались четко и стремительно.

— Петух, слушай! Это приказ! Ты сейчас немедленно отправишься к отцу Венедикту. И будешь слушаться его во всем. Позвони Юджину. Скажи — Питвик ушел раньше срока! Так получилось, случайно... Я вернусь. За секунду там со мной

ничего не случится. Я мгновенно пущу обратный ход, если увижу опасность.

— Пит, прости…

— Хорошо, прощаю. Не в этом дело. Теперь — к отцу Венедикту. Сию секунду! Ты не должен быть здесь, может задеть антитемпоральным эхом. Или утянуть совсем…

— Хорошо, — понуро отозвался Петька. И встал. — Давай тогда… попрощаемся.

— Давай. Но быстро.

Он вроде бы хотел обнять меня. И вдруг испугался:

— А что у тебя на руке?

— Где?

— Вот! — Холодный браслет плотно и беспощадно сжал мне кисть.

— Негодяй! Отпусти!!

— Как? — сказал Петька со счастливым облегчением.

— Что ты наделал, идиот!

— Еще две минуты. Давай сядем. Здесь подходящее место между двух стен.

— Вдвоем мы не сможем вернуться!!

— Ну и фиг с ним, с возвращением, — сказал он с усталою беспечностью. — Может, там ничуть не хуже, чем здесь.

Я обессиленно сел, потянув Петьку за собой. Он плюхнулся рядом. Кыс потерся мордой о его ноги.

— А тебе нельзя, — объяснил Кысу Петька. — Никак нельзя. Ты третий. Да и мало ли что. Вдруг там не приспособлено для котов… Ты, Кыс, иди. Иди, мой хороший. Иди к Китайцу, это недалеко. И живи у него… Слышишь? Иди к дяде Кию и к Дайке. Я кому сказал!

Кыс, оглядываясь, пошел. Морда с зелеными глазами была у него грустная и удивленная. Потом он обиженно дернул изогнутым кончиком хвоста и скрылся в чертополохе.

Петька вдруг всхлипнул:

— Жалко Кыса…

Ни себя, ни меня ему не было жалко. Я так ему и сказал:

— А себя не жалеешь? И меня, дурака, заодно…

— Да ну… Все обойдется.

Слава Богу, он не понимал до конца, что случится через две… нет, уже через одну минуту.

Впрочем, я и сам-то, кажется, не понимал. По крайней мере, страха не было. Только слабость и ощущение той спокойной беспомощности, когда знаешь: ничего-ничего-ничего нельзя изменить…

Можно только сидеть, слушать тишину и ждать.

Но в ожидании этом не было тоскливого томления. Так, усталость…

Петька привычно, как в прежние времена, приткнулся ко мне.

— Дурень ты, — вздохнул я.

— Конечно, дурень… Но ты не бойся, хуже смерти ничего не будет.

— Это уж точно…

— А душа, она ведь все равно бессмертна… Только знаешь что?

— Что?

— У нас, по-моему, одна душа. А если две, то, когда мы… растаем, они все равно сольются в одну.

— Не хочу я сливаться с такою шпаной и обормотом…

Петька ласково засмеялся и удобнее устроился у меня под боком.

Я прикрыл глаза.

Звенела тишина. Вернее, звенел в ней тихий зуммер катапульты. Я слушал его с новой мыслью, с новой догадкой о спасении! Почему же, почему не пришла мне сразу самая-самая простая мысль?! Что это было — затмение, помрачение ума? Ведь стоит закинуть катапульту за двадцать

шагов, и она сработает вхолостую, без нас!

И все же в какой-то необъяснимой роковой расслабленности я сидел еще секунды три. Что меня держало?..

А когда я размахнулся, чтобы швырнуть катапульту, она исчезла из пальцев.

Исчезли и наручники.

Вместо эпилога
ПАТЕФОН В РОМАШКАХ
1

Итак, наручники исчезли. Катапульта тоже.

А больше ничего не случилось.

Только бетонный забор, что серел перед нами, оказался теперь из досок. Но возможно, таким он здесь и был, я точно не помнил.

Мы с Петькой посмотрели друг на друга. Потом себе на руки. Потом снова друг на друга.

Петька встал. Потянул из-под меня куртку:

— Пошли.

Я тоже встал:

— Выходит, ничего не случилось, Петушок…

Он глянул удивленно. Однако согласился:

— Конечно… А что должно было случиться?

"Ох и вредина", — подумал я. Но без досады, лениво так.

Мы пошли между складом (который был вроде бы и не склад, а заброшенная кирпичная мельница) и забором. Тропинка вывела нас на пустырь, широкий, как луг. За ним поднимался наш город со знакомыми колокольнями, башнями, арочны-

ми мостами над Большими Оврагами (по мостам вверх-вниз бежали цветные вагончики).

На пустыре вперемешку росли луговые цветы и сорняки. Было много мелких ромашек. Тихо-тихо плыли в воздухе невесомые шелковые пауки — семена белоцвета. Я вдруг увидел, какое синее над этой поляной и над городом небо. И в нем поднимались башни-облака из неподвижных белых клубов. Этакие округлые сахарные головы космического масштаба. Но они не заслоняли синеву и солнце, которое почему-то опять стояло высоко.

Петька держал куртку на плече. Он взял меня за руку. Тропинка исчезла, и он раздвигал траву своими петушиными коричневыми ногами. Смотрел на облака. Потом вдруг сказал:

— А все-таки интересно, куда пропали наручники…

— Какие наручники?

— Ты что, не помнишь?

Я поморщился. Вспомнил. С усилием. А Петька, видимо, тут же забыл.

Было тихо, только трещали кузнечики.

— Теперь-то уж это точно не зуммер катапульты, — заметил я.

— Какой катапульты? — удивился Петька.

Тогда и я хотел удивиться — его забывчивости. Но тут сквозь кузнечиков, сквозь тихий звон августовского дня (именно дня, а не вечера) проступил еще один звук. И стал нарастать. Где-то неподалеку играла пластинка.

Мы не сговариваясь пошли на этот голос.

Голос был патефонный и… мальчишечий. Он пел знакомую песню:

Я боюсь, ты меня
Не простишь за уход, за обман.
На коленях молю:
Не сердись, пожалей и прости.
Разве я виноват
В том, что создал Господь океан,
И на острове дальнем
Клинками скрестились пути.

Я молю: помоги мне в пути моем бурном и длинном…

Мы ускорили шаги. И скоро увидели: в ромашках стоит обшарпанный синий патефон, и на нем вертится черная пластинка с пунцовой круглой этикеткой.

Покачивалась мембрана с изогнутой трубкой.

На изгибе трубки качался нестерпимо яркий солнечный зайчик.

— Вот это да… — одними губами сказал Петька. И присел у патефона на корточки.

Помоги одолеть мне

И жажду, и голод, и боль…

Я стоял рядом — без удивления, только с ласковой печалью. Так стоят на старом перроне те, кто после долгих лет странствий вышел из вагона на вокзальную платформу родного городка.

Я вернусь, только ты не оставь меня памятью доброй,

Не оставь меня в мыслях, молитвах и сердце своем…

Пластинка кончилась, патефон зашипел, мембрана стала рыскать на кольце замкнутого витка. Петька поднял ее, запрокинул на "лебедином горле" хромированной трубки. Снял с диска пластинку.

Тут из кустов репейника вышел мальчишка. Лет девяти. В синих сатиновых трусиках и голубой майке с пятнами помидорного сока на животе. Босиком. Он был с деревянным мечом, со щитом из фанеры и в шлеме из обрезков

оцинкованной жести, которых много на свалках Старотополя. Забрало шлема было поднято. Конопатое лицо было опасливым и строгим. В щели шлема выбивались бронзовые кудряшки (как у Сивки!).

Мальчишка насупленно сказал:

— Это мой патефон. И моя пластинка.

— Мы ведь ничего не испортим. Только посмотрим, — очень миролюбиво отозвался Петька. — Мы просто услыхали и подошли. Такая хорошая песня.

Тогда мальчик заулыбался — щербато и доверчиво:

— Ага, хорошая…

— Мы и не знали, что есть такая пластинка, — опять заговорил Петька. — Давно она появилась?

— Конечно, давно! Еще до войны.

В самом деле, на пунцовой этикетке была марка Московского завода имени 1905 года — ласточка с нотным ключом. Такие пластинки выпускались в тридцатых годах прошлого века…

Какого?..

Прошлого?..

Серебряными буковками было отпечатано: "Песня Джима из оперетты "Остров сокровищ". Муз. Ю.А. Траубе. Исп. дет. хор. г. Москвы под упр.

И.А. Петрова. Солист Коля Ловцов".

Не я, значит, в детстве исполняю. Не Петька… Ну и ладно. Никакой обиды я не ощутил. Петушок, по-моему, тоже. Просто спросил:

— А на той стороне что?

— Она же односторонняя. Старинная.

На другой стороне — черной, глянцевой — были оттиснуты ласточка с нотным ключом и название завода.

Ну и дела! Раньше я был уверен, что пластинки с записью на одной стороне выпускались только до революции.

Я спросил:

— А почему ты крутишь ее здесь, в чистом поле?

— Дома бабушка ругается, говорит: надоел. А я разучиваю. Для хора. Я там пою… И воюю, пока она играет, с репейниками… — Он показал мечом на сорняковую чащу.

Петька ревниво заметил:

— По-моему, у песни другое настроение. Не военное…

— Ага. Но я раздваиваюсь. Один воюет, а другой слушает.

— Раздваиваться опасно, — сказал Петька и поглядел на меня. С чертиками в глазах.

— Не опасно. Не слушай его, — сказал я мальчику.

Он засмеялся и кивнул. Сел на корточки, стал вертеть ручку патефона. Поставил пластинку снова… И не ушел, прослушал ее вместе с нами.

Только после этого мы двинулись дальше, сказав мальчику "счастливо"…

2

Отошли мы совсем недалеко. Опять запетляла в ромашках тропинка и привела нас к заросшей по краям круглой дыре. Широкой, словно туда провалилась железнодорожная цистерна. Черная глубина дышала холодной влагой — как заброшенный колодец.

Петька зябко запереступал на краю, заглянул в черноту. Я ухватил его за куртку.

Петька оглянулся:

— По-моему, он там…

— Кто "он"?

— Конус!

— А-а… — сказал я. Словно отряхивая с себя сон. Тоже нагнулся. Крикнул: — Ау!

— Ау-у-у! — прокричал и Петька.

Но не было никакого отклика. Да и что могло

быть? Конус не откликнется так просто, нужен контактный шлем. А где его тут возьмешь?

Но эта мысль не особенно огорчила меня. Не то чтобы проблема Конуса меня вовсе не волновала, но казалось, что для решения ее будет еще много времени.

Так я и сказал Петьке. И добавил:

— К тому же я не уверен, что здесь именно он.

Петька пожал плечами: мол, ну и рассуждения у тебя. Однако спешки тоже не показал. Взял меня за руку:

— Пойдем…

И мы пошли. Прямо по траве, потому что тропинка была узкая.

— Никогда не обращал внимания, какие замечательные над Старотополем облака, — сказал я.

— Потому что некогда было смотреть вверх.

Старотополь на фоне сахарных облаков и на фоне синевы между ними вставал во всей красе. Желтовато-серая громада старой крепости была весело освещена солнцем. Сколько в этой крепости у нас, у мальчишек, было приключений! Кружевной Стеклянный мост выгибался над крепостью искрящейся дугой, а выше его висели два серебристых аэростата и держали громадный плакат с клоуном — рекламу Старотопольского

цирка. Я подумал, что ужасно давно не был в нашем цирке… Вон купол его блестит, словно крышка алюминиевого чайника… Сторожевые башни и колокольни Троицкого монастыря поднимаются на речном обрыве, словно сказочный городок. Слева от него — круглая, могучая Башня аттракционов, опоясанная спиралью детской железной дороги. А на террасах-станциях курчавится зелень здешних акаций и кленов… Не видно никаких небоскребов, а за пологим холмом с домиками Привокзальной слободы торчит вышка стадиона, от которого начинается наша Гончарная улица.

Может быть, на этот раз нам повезет?

Мы ступили в первый переулок окраины. Дурашливый серый щенок бросился нам под ноги, заливисто тявкнул и ухватил меня за штанину. Следом выскочили мальчик и девочка — оба смуглые, веселые, растрепанные. Лет семи.

— Не бойтесь, он не кусается!

Мы не боялись. Я потрепал песика по ушам, а Петька вздохнул. Вспомнил Кыса?

Мимо домов с резными карнизами и узорчатыми деревянными воротами мы вышли на улицу Храбрых пожарных (где высокая белая каланча), прямо к знакомому магазину "Всякая книга".

За стеклом магазина стояла все та же метровая фанерная обложка: "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Сам Буратино с желтым ключом наперевес замер на ней в своем вечном радостном танце…

Отсюда ходил к рынку открытый дребезжащий трамвайчик номер два. Он как раз подъехал, и мы заскочили на площадку.

Толстая кондукторша с разноцветными рулонами билетов на груди спросила с добродушной иронией:

— А как насчет оплаты проезда, дорогие граждане?

— Ой… — Петька зашарил по карманам. Я тоже. Денег не было… А кредитная карточка из магнитного пластика здесь явно не годилась.

— Понимаете, мы только вернулись… — заискивающе сказал я.

— Вернулись они… — хмыкнула кондукторша, но не сердито и отошла.

Петька встал на цыпочки и прошептал мне в ухо:

— Это знаешь кто? Это мама Витьки Засохина из нашего класса. Помнишь?

Я, кажется, помнил. Или нет? На всякий случай сказал:

— Ну конечно…

— А тот мальчик с патефоном — это Стасик Валентинов. Из нашего хора…

Трамвайчик обогнул рынок, и мы вышли, сказав маме Витьки Засохина спасибо… Она погрозила толстым пальцем.

Старые тополя росли здесь так густо, что солнце еле пробивалось. И пахли эти тополя, словно здесь недавно прошел теплый дождь. А может, и правда прошел? На потрескавшемся асфальте искрились лужицы.

Мы прошагали под Рыночным мостом (по нему резво бежали разноцветные "эмки", "Победы", "газики" и трофейные "бээмвэшки", деревянный мост поскрипывал), потом — вдоль забора стадиона. И наконец, оказались на Гончарной улице. Здесь все было как раньше. Мы свернули в Полынный переулок.

Вот и наш двухэтажный покосившийся дом. С наколоченным узором-солнышком на кривых воротах. Со знакомыми занавесками за стеклами тех самых окон.

Мы стояли на дощатом тротуаре. Мы понимали, что заходить внутрь не надо, там сейчас другое. И все же стоять так и смотреть было хорошо.

Из подворотни вышел серый кот — со знакомой

мордой, знакомыми зелеными глазами и загнутым кончиком хвоста.

— Кыс! — Петька стремительно сел на корточки.

Кот громко муркнул, прыгнул к Петьке на руки, заурчал, стал тереться мордой о плечо.

— Кыс ты мой хороший… Маленький мой…

Ничего себе маленький! Этакое животное…

Петька повернул ко мне сияющее лицо:

— Значит, он тоже перенесся! Не успел уйти из зоны действия катапульты!

— Какой катапульты?.. Ах да…

Петька только отмахнулся. И опять:

— Усатенький ты мой…

Из калитки вышла девочка. Лет одиннадцати, белоголовая, с неодинаково торчащими косичками (на концах их были аптечные резинки). Сказала:

— Это наш кот. — Тем же тоном, что мальчик на пустыре, когда говорил о патефоне. И сердито уставилась на Петьку.

Петька, к моему удивлению, не заспорил. Протянул Кыса девочке:

— Возьми, если ваш. Я ведь только погладил… — Обернулся ко мне, шепнул: — Главное, что он живой-здоровый.

Девочка смотрела все еще с неудовольствием, но уже не так насупленно. Я спросил:

— Ты в этом доме живешь?

— Конечно! Вон там… — Одной рукой она показала на наши окна, а другой прижимала к голубому своему платьицу кота.

— Понятно, — вздохнул я. — А как тебя звать?

— Меня? Женя…

Вот и еще одно совпадение. У меня могла быть сестренка Женя, на год младше. Но она умерла совсем крошечной. Мама рассказывала…

Петька это, конечно, тоже помнил. Он вдруг тихо спросил:

— А как зовут твою маму?

— Тебе зачем?

Я объяснил поспешно:

— Когда-то давно мы жили на этой улице. И теперь вспоминаем знакомых.

— Маму зовут Татьяна Герасимовна Викулова, — отчетливо сказала девочка Женя. Подхватила поудобнее послушного Кыса и хотела уйти.

— Постой! — сказал Петька. — А у тебя есть… братья?

— Братья? — она фыркнула. — Больно надо… — И пошла. И Кыс не старался вырваться.

Она была уже у калитки, когда я не выдержал,

окликнул:

— Подожди! А мама… дома?

Женя снисходительно сообщила:

— Мама пошла к тете Гале примерять кофточку. Скоро придет. Если хотите, дожидайтесь… — И звякнула за собой щеколдой.

Мы опять переглянулись.

— Петушок… — сказал я.

Он понял: ждать не надо. В этом доме живет нынче девочка Женя, и мама, которая придет, — ее мама… Но я знал: потом он украдкой не раз прибежит сюда.

Это был первый толчок печали с той минуты, как мы вернулись в Старотополь.

— Петька! Нам ведь надо подумать о жилье! Пойдем в гостиницу или постараемся снять комнату?

Петька глянул на меня озабоченными глазами. Ох, сейчас он вполне разумно спросит: "А деньги?" Но он сказал:

— Пойдем сперва на пустырь.

— Зачем?

— Надо же что-то делать… с Конусом.

Да, конечно. Я об этом тоже подумал. Но… что делать-то?

Однако я послушался, пошел следом за Петь-

кой.

3

Через полчаса мы вернулись туда, где стоял в траве патефон. Он играл ту же песню. Мальчик сидел у патефона на корточках.

— Больше не воюешь? — сказал Петька.

— Не-а. Не хочется.

— Не получилось, значит, раздвоение, — заметил я.

Он пожал шелушащимися от загара плечами. И слушал песню дальше. Его рыцарское вооружение валялось неподалеку.

Я смотрел на шлем из оцинкованных жестяных полосок, и ко мне понемногу приходило понимание, что надо делать.

Когда песня очередной раз кончилась, я спросил:

— Стасик, можно, я померяю шлем?

Он не удивился, что я знаю его имя.

— Меряйте, пожалуйста… — И опять стал крутить ручку.

— Не налезет, — ревниво заметил Петька. Он, конечно, догадался о моем плане и досадовал, что не сообразил первый.

— Налезет.

И правда, шлем аккуратно обхватил мою голову, только пришлось раздвинуть жестяные наушники.

С этим сооружением на голове я пошел к знакомому круглому колодцу. Глубина по-прежнему дышала влагой и тайной.

Я лег на живот у края, заглянул в черноту. Позвал шепотом:

— Эй… Конус…

Молчание.

— Дядюшка Кон…

В самодельном контактном шлеме отозвалось — недовольным тоном проснувшегося старика:

— Чего тебе?

— Это я, Питвик…

— Наконец-то.

— Как ты там?

— Как было задумано…

— Разве это было задумано?

— А разве нет?

— Не понимаю, — сказал я.

— Вырастешь — поймешь, — хмыкнул он.

Я малость обиделся. Ну да ладно. Главное — узнать побольше.

— Что с "Иглой"? Дон и Рухадзе живы?

— А чего им… Юджин склепает капсулу, и опять будет контакт.

— А ты?

— А я пока останусь здесь.

— Кон!.. Зачем тебя сюда занесло?

— По твоей милости, — хмыкнул он.

— Ты рехнулся?

— Ничуть… Разве ты не хочешь исправить ошибку?

— Какую?

— Ладно, сам сообразишь…

— Послушай, старик! — я опять разозлился. Мне казалось маловразумительным его бормотание. — Неужели мы для того тебя делали, чтобы ты плюхался на случайные планеты ради исправления мальчишечьих ошибок?

Я думал, он рассердится в ответ. Но он отозвался добродушно:

— Это же не насовсем. Так, небольшая передышка. Планета-полустанок, остановка в пути. А ошибки исправлять необходимо. Скажи спасибо…

Я не знал, стоит ли говорить спасибо. Хотя нет, знал! Только из упрямства не хотел согласиться сразу. А Конус помолчал и продолжил речь:

— И не воображай, что это вы меня сделали. Вы

просто слегка меня поддержали. Оживили. Когда занесло меня на вашу планету.

— Да, видать, ты крепко треснулся здесь о почву! — не сдержался я.

— Не груби старшим.

— Кто это — старший?

— Я… Я и на Землю-то залетел, чтобы там оказался ты.

— Зачем?

— Вот те на! А кто бы спас от взрыва пароходы?..

На меня вдруг навалилась целая гора всяких чувств. И смущение, и недоверие, и смесь догадок. А в ответ я только пробормотал:

— Не я ведь спас, а Петька…

— А ты — кто?.. Да ты не бойся, я выкарабкаюсь отсюда, чтобы достроить туннель, раз уж начал. Ты поможешь… Главное — всегда успевать туда, где сбегаются рельсы… А теперь иди, я хочу спать. У нас есть еще время.

— Куда идти-то?

— Иди, иди. Не мешай…

Я полежал на краю колодца еще… Так было не в первый раз. Набормочет он что-нибудь непонятное, а ты лежи и размышляй. Догадывайся. Иногда жутковато даже делается. Впрочем, сего-

дня — нет. И лежать на краю колодца мне было хорошо. Солнце грело спину сквозь полосатую трикотажную рубашку. Одно только мешало: синяя косынка Эльзы Оттовны, что была у меня вместо галстука, сбилась и давила шею. А потом еще какой-то жук пошел по ноге, защекотал кожу.

Я сел. Снял Стаськин шлем. Стасик неподалеку опять заводил патефон. Он был хороший, этот Стасик Валентинов, и я знал, что мы скоро крепко подружимся. Поэтому я ничуть не обижался, что он хочет, как и я, стать в хоре у Эльзы Оттовны солистом и петь мою песню.

Я подошел к Стасику (он был мне чуть повыше плеча), отдал шлем. Сказал полушутя:

— Смотри, совсем заездил пластинку. Эльза Оттовна тебе задаст...

— Не-е... Я только еще разик... А ты уже уходишь?

— Мне надо на рынок за картошкой.

Мы улыбнулись друг другу, и я пошел к городу. Пушистые головки белоцвета шелестели по моим старым штанам из ткани "елочка". Одна штанина была застегнута под коленом, а у второй оторвалась пуговица и манжет болтался вокруг ноги. Эльза Оттовна опять скажет: "Петя, когда

ты перестанешь ходить неряхой?" А я что? Я уже сколько раз талдычил Женьке: "Пришей пуговицу, пришей!" А она: "Сам не можешь, что ли?" Будто это мальчишечье дело — иголки да нитки!

Она вообще-то ничего сестренка, но порой бывает ужасно вредная. Особенно когда спорим из-за Кыса: на чьей кровати ему спать. Он всегда ночует у кого-нибудь из нас в ногах. Я говорю: "Давай честно, по очереди!" А она: "Ты лягаешься во сне и не даешь ему уснуть, он делается нервный". От таких разговоров я сам делаюсь нервный. И конечно: "Мама, чего Петька дерется!.."

Будто я правда дерусь! Только сделаю вид, что хочу ухватить за косу.

Мама сразу: "Будете скандалить, позову к нам из Омска тетю Глашу. Уж она-то вас воспитает!"

Мы, конечно, затихаем. Тети Глаши нам только и не хватало...

4

Женька оказалась легка на помине. Догнала меня здесь, на пустыре. Кыс рысью мчался рядом с ней.

Я остановился. Но сделал вид, что не ради Женьки, а вытряхиваю из сандалии крошку.

Женька ехидно сказала:

— За картошкой пошел?

— А куда еще? По грибы, что ли?

— А в чем ее понесешь?

Я хлопнул себя ладонью по лбу. Самокритично:

— Вот голова дырявая!

— На… — Женька протянула авоську. Миролюбиво так. И я сразу опять понял, какая она славная. Вон сколько бежала, чтобы догнать меня.

Женька сообщила:

— Кыс по дороге устроил взбучку какой-то моське. Она залаяла, а он бах ее по носу лапой! Моська — бежать.

Я засмеялся и на ходу погладил взъерошенного Кыса.

Кыс пошел впереди, а мы с Женькой рядом. Не спеша.

Я опять стал думать про колодец. Я точно знал, что его сказки — не совсем сказки. Вовсе не сказки! Когда я вырасту, мне придется отыскать волшебный камень-конус и отправиться с его помощью к дальним звездам… Конечно, это будет не скоро. Очень даже не скоро. И потому думал я об этом без особого волнения. Но знал.

Впрочем, иногда казалось, что все это мои соб-

ственные фантазии. Хотя один мой знакомый говорил, что нет. Сперва фантазии или даже сон, а потом — правда.

С этим веселым толстым дядькой мы познакомились на цирковом представлении, когда сидели рядом и хохотали над проделками клоунов Мишки и Варфоломея. Оказалось, что этот мой новый знакомый живет неподалеку от нас, на улице Астрономов. Он сочиняет фантастические книжки.

Я уже не раз прибегал к нему в гости, и мы подружились.

— ...Я тебе говорю, говорю, а ты будто спишь на ходу!

Я встряхнулся:

— Задумался... Ты о чем?

— Дядька тебя искал какой-то. С длинным таким лицом и лошадиными зубами. И с локонами, как у тетеньки. Спрашивал, дома ли... Петь, чего ему надо?

— А! Он хочет переманить меня от Эльзы в свой хор.

— Не ходи!

— Я что, чокнутый? Фиг ему!..

Кыс непримиримо вздыбил шерсть на спине и распушил хвост.

Он всегда меня понимал.

Мы подошли к перекрестку Рыночной и Спортивной.

— Ладно, Петь, я домой. Кыс, идем со мной… Ой, Петька, чуть не забыла! Мама просила тебя зайти на станцию, купить на завтра билет в Боровиху. Она давно собиралась…

Я кивнул. Потом проводил Женьку глазами и пошел к рынку, щелкая авоськой по расстегнутой штанине. Я твердо знал, что на станцию не пойду. Билет покупать не стану. А дома скажу, что билетов на завтра нет. Ни на один поезд.

Ну да, врать нехорошо, это всем известно. Однако я знал и другое: мама завтра не поедет в Боровиху. Ни за что! Пускай мне даже пришлось бы для этого взорвать железнодорожный мост через Тополинку. Или просто лечь на сверкающие и гудящие рельсы…

СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Котам Максу и Тяпе,
а также тряпичному зайцу Митьке —
героям моих нескольких повестей

1

У Травяного Зайца голова была круглая и плоская, будто плюшевая подушечка для иголок. Размером с чайное блюдце. На ней светилась вышитая розовыми нитками улыбка, чернел квадратный пластмассовый нос и блестели зеленые глаза. В глазах временами искрилось лукавство, хотя вообще-то это были стеклянные пуговицы.

Тряпичное туловище зайца было в желтую и зеленую поперечные полоски. Не яркое, а словно с пыльным налетом. Длинные уши мягко болтались, лапы торчали в стороны. И вот еще что! На задних лапах была обувь: нечто вроде тапочек из черной клеенки. Я называл их «лёпы». Не знаю почему. Возможно, оттого, что похоже на «шлёпанцы».

Мне казалось, что такой заяц был у меня в дав-

нем-давнем детстве. Мама говорила, что не было, что он приснился мне в младенческих снах, которые похожи на явь. Но я знал — он был. Просто мама почему-то не хотела признаться в этом. Впрочем, я не обижался на маму. Наши споры о зайце были вроде игры.

Но о Травяном Зайце это я так, к слову. Речь сейчас о других снах, не детских. Вернее, о том состоянии, когда начинаешь засыпать. О кратком таинственном времени между явью и сном.

В эти минуты или секунды иногда приоткрывается непостижимое. Возникают в сознании странные построения, переплетения неуловимых пространств, непонятные формулы, конструкции, которые состоят не из твердого материала, а из рассуждений, загадок и ощущений близкого открытия. Однако открытия не случается. Не хватает времени, чтобы постигнуть систему этих явившихся из иного мира головоломок. Порой удается ухватить нить. Но время убегает, нить лопается, и ты уходишь или в сон, или в пробуждение. Сон вообще стирает память о только что виденном. А при пробуждении пытаешься лихорадочно запомнить: что же было?

Да, *было*, но что?

Нет, не вспомнить. И остается только ощуще-

ние ласковости.

Да, в том странном пространстве, среди хрупких конструкций из неведомых в нашей жизни понятий нет ни малейшего намека на раздражение, сердитость, насмешку по поводу моего непонимания. Наоборот! *Оно* пытается помочь мне, подсказать. *Оно* не виновато, что у меня мало времени. В следующий раз *оно* будет стараться снова, с прежней ласковостью… Хотя, кажется, я выбрал неточное слово. «Ласковость» — это поверхностное чувство. Вроде как погладил по головке и отошел. А здесь все пространство состоит из терпеливой доброты и… ну, если не любви, то явной симпатии. Бескорыстной и неизменной. И это, по правде говоря, странно. Потому что *кто* я для него, для этого неизвестного мира?

Такое отношение к себе от посторонних я испытал лишь однажды. Очень давно.

Мне было лет семь-восемь. Кто-то подарил мне самокат — красный, блестящий, на белых дутых шинах. Сперва я гонял по дощатым тротуарам в своем квартале, но счастье распирало меня, и постепенно я уезжал все дальше — по плитам и асфальту ближних, а потом и не очень ближних улиц. И наконец увидел на углу кирпичного дома табличку «Ключевской спуск».

Улочка была незнакомая. Она мне понравилась. Тихая, малолюдная, со старинными одноэтажными магазинчиками, мастерскими и аптеками. Посредине тянулась в обрамлении травяных газонов булыжная мостовая, а у домов — узкие, но гладкие полосы асфальта. И главное, что они вели под уклон! Ура!

Я помчался, не ощутив сначала ни капли страха. А когда ощутил, оказалось, что тормозная планка под пяткой ослабела и не сдерживает скорости. Окна, вывески, трава, фонари летели по сторонам от меня, размазываясь в полосы. В одном месте тротуар образовывал плавную дугу. Для кого плавную, а для кого… Мама!.. Звон, сверканье и грохот. Это я на «всем скаку» пробил большущее сплошное стекло — оно было вровень с асфальтом. Следом влетела в помещение туча осколков. Я сел на желтых гладких половицах и, ничего еще не чувствуя, заревел, потому что надо мной склонились люди.

— Я больше не буду!

— Вы посмотрите на этого молодого человека! Он больше не будет! Это очень даже приятно слышать! Потому что такого случая вполне уже хватит на всю жизнь! Где у тебя болит?! — Это кричал низенький худой старик с загорелой

лысиной, седыми клочками на висках и блестящими очками на кончике носа. — Отвечай сейчас же, что ты разбил, сломал и порезал?!

— Я нечаянно!.. У меня есть знакомый стекольщик дядя Митя, он вставит стекло!

— Вы послушайте эти речи, он говорит про стекло! Я спрашиваю про тебя! Скажи спасибо, что ты, кажется, живой и только немного поцарапанный!.. Эти пьяницы из жестяной артели опять украли решетку, что стояла перед окном, и вот мальчик чуть-чуть не стал инвалидом! Это надо же видеть, как у людей совсем пропала совесть!.. Сонечка, возьми в аптечке белый пузырек, вату и бинт…

Высокая старуха в старомодном зеленом платье, бормоча и сокрушенно мотая головой, тут же принесла все перечисленное. Старик ухватил меня под мышки, усадил в высокое кресло.

— Покажи руки, ноги и уши. Не бойся, щипать не будет, это тебе я говорю, Матвей Борисович Гольдштейн, а люди знают, что мастер Гольдштейн всю жизнь говорит только правду…

Он смазал чем-то шипучим и забинтовал мне колено (и правда не щипало), украсил узкой марлевой повязкой лоб, хотя царапина на нем была тонкая и неглубокая. Больше ран и порезов

не обнаружилось. Самой большой потерей был, пожалуй, галстучек моей сатиновой матроски, который стекло срезало напрочь, словно бритвой. Но старуха Сонечка тут же, прямо на мне, аккуратно пришила галстучек синими, под цвет сатина нитками. Потом поставила к стене мой самокат и стала заметать осколки. Я уже совсем пришел в себя. Оглядывался и понимал, что оказался в фотомастерской. Потому что надо мной была прозрачная косая крыша из стеклянных квадратиков, на стене — декорация с острыми кавказскими горами и всадником в черкеске, у которого под кубанкой дыра вместо лица. По углам стояли на треногах желтые деревянные ящики с медными планками и закрытыми кожей объективами. Повсюду висели фотопортреты очень разных людей. Мне запомнился снимок худенькой девчонки с веснушками на треугольном лице. Серьезная такая и… будто даже знакомая. Но вспомнить я не успел — за разбитой витриной остановились два красноармейца. В обмотках, в серых скатках через плечо, с жестяными звездочками на пыльных пилотках. Над плечами — тонкие штыки с солнечными искорками на остриях.

— Хозяин! Карточки для боевых подруг сде-

лаете?

— Охотно, молодые люди! Только не сейчас, после обеда! Тут, видите ли, у нас нечто вроде последствий небольшой бомбежки. Пока не до съемки…

Но когда красноармейцы ушли, Матвей Борисович выкатил на середину мастерской один из аппаратов.

— А вас, молодой человек, я просто обязан запечатлеть! В память о счастливом случае, результатом которого стало наше приятное знакомство.

Ничего себе счастливый случай! Я им стекло разнес вдребезги, а они со мной как с дорогим гостем…

Однако я уже не испытывал ни испуга, ни смущения. От мастера Гольдштейна и от старой, сумрачной на первый взгляд Сонечки исходило такое доброжелательство, словно я был их внуком. Я чувствовал, что они в самом деле рады мне. И не в том дело, что я счастливо избежал серьезных увечий, а в том, что я просто *есть*! Отчего это, я не понимал и понять не пытался. Мне было здесь хорошо, вот и все.

Старики завесили одеялами разбитое окно, вскипятили самовар, напоили меня сладким ры-

жим чаем с морковным пирожным. При этом не спрашивали, как я учусь, хорошо ли себя веду и где мой папа (где он, мы с мамой тогда не знали). Старик говорил больше про себя. Рассказал, как он в юности, когда только начал увлекаться фотографией, вздумал сделать портрет соседского козла для фотовыставки о животных и был атакован этим неинтеллигентным рогатым созданием. Я смеялся и болтал ногами. И все хотел спросить про веснушчатую девочку на портрете, но так и не спросил, постеснялся.

Матвей Борисович проводил меня до знакомой улицы Котовского. Сказал, чтобы я зашел в гости через несколько дней, тогда получу фотокарточку. И я, конечно, обещал. Но через день заболел корью и пролежал до школы. Карточка пришла по почте.

В сентябре я отправился в фотомастерскую, чтобы сказать мастеру Гольдштейну спасибо и, если получится, еще раз окунуться в необыкновенную ласковость, которую ощутил там летом. Но отыскать Ключевской спуск я никак не мог. И кого ни спрашивал, никто не слышал про такую улицу. Маме было жаль меня, и она несколько раз ходила со мной, но толку никакого. А старшая сестра сказала, что Ключевского спуска вообще

нет, мастерской и старого мастера — тоже. Это одна из моих фантазий.

— Каждый день новые сказки! То какой-то травянистый заяц, то самокат! Ты же знаешь: нет у тебя никакого самоката, никто тебе его не дарил.

— Но фотокарточка-то есть! Где я с бинтами! Карточка и правда была. Я на ней с повязкой на лбу, как раненый партизанский командир.

— Это тебя сфотографировал Мотя. В тот день, когда ты слетел с качелей!

Мотя (кстати, по фамилии Гольдштейн!) был приятель сестры, ее одноклассник. Он и правда иногда снимал нас похожим на гармошку аппаратом, а потом уехал на фронт…

Я теперь не понимаю: какой фронт? Ведь если дело было во время войны, откуда мог взяться самокат на пухлых надувных шинах? Такие стали делать гораздо позже. А откуда у разбитой витрины мастерской взялись красноармейцы в обмотках и с трехлинейками? Когда я был первоклассником (в той самой синей матроске), солдаты ходили в начищенных кирзовых сапогах, без оружия и скаток, в новеньких гимнастерках или мундирах с красными и черными погонами. У тех, что постарше, были медали «За победу над Германией»…

Теперь во всех этих давних воспоминаниях — такая же запутанность, как в загадочных построениях на грани яви и сна. Да, ласковость, но и запутанность, в которую я много раз хотел проникнуть, но не умел, не успевал…

Порой случалось: придешь в себя, и какой-то миг еще держится смутное, зыбкое, как рябь на воде воспоминание. Но сглаживается прежде, чем успеваешь закрепить его в сознании…

И все же один раз мне удалось ухватить кусочек странного мира. Я вцепился в него всеми когтями памяти, не дал ускользнуть, оторвал от хитрой многомерной головоломки, которая принялась было выстраиваться вокруг меня в зыбком мире полусна. Я резко встряхнулся, непостижимое построение исчезло, но кусочек его остался у меня в руках. То есть в голове. В том смысле, что я его помнил.

2

Это был синий треугольник.

Точнее так — Синий Треугольник. Большие буквы объясняются тем, что иначе я не могу выразить странность и многозначительность этого *нечто*.

По правде говоря, никакого треугольника я

не видел. Я сидел на скомканной постели (за окнами была предрассветная муть с жидким фонарем), держал на подтянутых коленях кисти рук с повернутыми вверх ладонями, и на ладонях, кажется, было *что-то*. Невесомое, зыбкое, слегка пушистое и… как мне показалось, отливающее синевой. Именно показалось, поскольку на самом деле это *что-то* разглядеть в сумраке было невозможно.

И было ощущение неожиданной добычи. В мире моментально забывшегося сна, в неведомом пространстве с чуждыми нашему миру законами я ухватил и сумел удержать какую-то деталь. И перенес в нашу явь. Хотя в слове «деталь» чувствуется твердость, материальность, а *это* было без прочности и массы. Лишь еле-еле, не руками, а самыми кончиками нервов я чувствовал паутинчатую структуру — не то из магнитных нитей, не то из чьих-то непонятных мыслей.

И эта структура была живая! И мне представлялось почему-то, что она ограничена контурами треугольника. Размером с пионерский галстук, какой я носил в школьные годы.

Только галстук был красный, а в этом треугольнике — я уже говорил — была ощутима синева. Причем не ясная, а что-то вроде голубовато-си-

зого тумана.

Я тогда сразу подумал про свою добычу: «Синий Треугольник». И потом так и называл это странное существо.

Конечно, это было существо. Или, по крайней мере, мыслящая материя. И мы тут же вступили в контакт. В телепатический. Вернее, я говорил шепотом, а Синий Треугольник отвечал мыслями, которые щекотали мне мозговые извилины.

— Попался… — неуверенно сказал я. Сердце стукало, в голове таяла последняя слабенькая память о недавнем сне про *неведомое*, и я понимал, что никак не соображу, частью *чего* является Треугольник. И все же испытывал некоторое злорадство.

— Да уж, попался… — хмыкнул он (мысленно, конечно). В его тоне ощущалась снисходительность взрослого человека, который играл в шахматы с неопытным школьником и получил мат из-за нелепого и досадного зевка.

— Теперь никуда не денешься…

— По крайней мере до перепрыга, — добродушно согласился он.

— До чего? — замигал я.

— Кажется, я выразился с максимальной простотой, — сказал он с легким недоумением. — До

пе-ре-пры-га. До момента, когда нити Всеобщей Координационной Сети поменяются местами. Неужели не ясно?

— Напрасно ты иронизируешь. Мы ведь из разных… так сказать, сфер. Я не знаком с вашей терминологией.

Он буркнул что-то вроде «извини».

— Ты меня тоже извини. Я вовсе не хочу делать тебя заложником…

Похоже, что он чуть-чуть хихикнул. В том смысле, что «попробовал бы…».

— Я просто хочу, чтобы ты помог мне разобраться… во всем… — неловко объяснил я.

— В чем *во всем*?

— Ну… в том, что вижу, но не понимаю. Я про свои сны. — У-у…

В этом «у-у» была явная ирония.

— Думаешь, я совсем тупой? — обиделся я.

Синий Треугольник чуть шевельнулся (легко и щекочуще) у меня на ладонях.

— Не совсем… но ты даже не понимаешь, что это не сны. Вернее, не понимаешь, *что такое сны*.

— Вот и объясни… — Я решил не обижаться.

— Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе общие закономерности многомерного континуума, где законы *твоего* пространства — это лишь

один из миллионного множества вариантов? А в каждом таком варианте еще многомиллионные разнообразности причинно-следственных и следственно-причинных (а также всяких других) связей… Честно говоря, я и сам не могу объяснить всего… Никто не может… Кроме Создателя.

Мы помолчали. За окнами светлело, желтый фонарь погас. Видимо, было около четырех часов утра. Где-то коротко провыла милицейская сирена. Я вдруг испугался, что Синий Треугольник мне приснился, как и недавние лабиринты чужих пространств. Но он был тут, со мной. Я даже сумел разглядеть теперь что-то похожее на клок тумана размытой треугольной формы. Сквозь туман проступали мои растопыренные ладони. Я пошевелил пальцами (их кольнули электрические мурашки) и спросил с сумрачной неловкостью:

— Но хоть на *какие-то вопросы* ты мог бы ответить? Он ответил, по-моему, излишне поспешно:

— На какие-то — да. Конечно… Вот, например, недавно ты видел переплетение несинхронных вибрирующих линий, на пересечении которых желтые узлы пытались войти в резонанс с подтекстом симфонической поэмы Ростислава Галкина. Ты воспринял это лишь краем сознания, только

внешнюю структуру, а если бы использовал, как ключ, теорию нейтральных чисел в применении к слабо искривленному пространству шестимерного уровня…

— Подожди, будь добр, — перебил я, стараясь быть деликатным. — Давай… вот что. Недавно я с полной реальностью, с занозами на досках заборов и с прожилками на листьях тополей видел улицы… одного города. Вроде бы это город моего детства, но… не совсем. Как бы в ином мире. Странный и в то же время очень знакомый… — Я чуть не сказал «родной», но постеснялся. — И вот я хожу по нему…

— И что же? — сказал Синий Треугольник. В первый миг мне почудилась усмешка. Но нет, усмешки не было. Была этакая… осторожность, что ли.

— Ну и вот… — продолжал я насупленно. — Хожу и узнаю многое. И наконец… встречаю маму. И мы не удивляемся друг другу, будто все так и надо. Идем рядышком и радуемся, что снова вместе… Скажи, это всего лишь простое сновидение? Игра заторможенных клеток мозга и только?

Он отозвался сразу. Как мне показалось — с легкой досадою:

— Ты же сам знаешь, что не *только*. Вернее,

совсем *не то*…

«А тогда *что*? И можно ли остаться *там* насовсем?» — я не решился сказать это голосом (даже шепотом), но Синий Треугольник уловил и мысли.

— Придет время… — ответил он уже с явной усмешкой. Потом быстро уплыл к потолку, в угол над книжной полкой, засветлел там, будто клок обычного тумана, и сообщил небрежно:

— Я пока поживу у тебя… раз уж так получилось.

— Живи, — кивнул я. И стал прислушиваться к себе и ко всему, что вокруг.

Так бывало со мной не раз спросонья. Очнешься, сядешь и мотаешь головой, пытаясь понять: какой год, какое число? Весна или зима? Кто ты на сей раз и сколько тебе лет: семьдесят, двадцать пять, десять? Собирать ли в кирзовую полевую сумку задачник, «Родную речь» и тетрадки с недоделанным домашним заданием или толкать в папку-органайзер распечатку статьи, которую ждут в редакции «Завтрашнего утра» (дурацкое название, не правда ли?). Или никуда не надо спешить, потому что на часах нет еще восьми, а пенсию знакомая ворчливая почтальонка Татьяна Николаевна принесет лишь в полдень…

Наконец, тряхнув еще раз головой, восстанавливаю «самую реальную реальность». На улице начало июля (будет жарко). До пенсии еще далеко (к сожалению). Школа — в далеком прошлом (тоже к сожалению, хотя в ней хватало *всякого*). А вчера меня выгнали с работы. И не просто, а со скандалом, даже с истерикой, которая случилась с главной редакторшей Маргаритой Глебовной Долгопень. До нее и до владельцев газеты наконец дошло, что серия моих репортажей о путешествии на шхуне «Томас Манн» не что иное, как плод чистейшей фантазии. Я их сочинил, сидя на даче у своего знакомого, художника Вити Корягина. Он в свое время ходил на больших яхтах и во время моего «борзописания» с удовольствием подбрасывал мне корабельные подробности. Вышло, кстати говоря, очень убедительно.

— И я… и я… — рыдала грузная крашеная Маргарита, — я верила всему… этому бреду… как последняя дура…

— Почему же «как», — вежливо сказал я.

— Вон… — выдохнула она, как опавший кузнечный мех.

— Скажи бухгалтерше, чтобы выдала расчет и выходное пособие, — напомнил я.

— Вот… тебе… а не пособие… — Маргарита Дол-

гопень сложила пухлую фигу (пальцы были туго перетянуты кольцами с камушками).

Я засмеялся. Пособие все равно выдадут. А за место в «Завтрашнем утре» я не держался, меня давно уже звали в «Наши задачи» заведовать отделом писем. Работа хлопотная, но зато в письмах всегда масса интереснейшего материала… Впрочем, не буду спешить. Месяц посижу без должности, чтобы оглядеться и передохнуть…

Вчера мы в небольшой компании, в кафе «Гусиное перо», трогательно отметили конец моего сотрудничества с «Морген-моргеном» (так в своем кругу именовалось «Завтрашнее утро»). Домой я пришел ночью, в состоянии «зыбкого равновесия». Немудрено, что во сне и спросонок чудятся всякие туманные треугольники с сизым отливом…

Нет, не чудятся…

Вернее, не чудится. Треугольный клок тумана синим дымком колыхался над шеренгой пыльных томов давно не читанных Генрика Сенкевича и Ключевского.

— Доброе утро, — хмуро сказал я, будто не виделись давным-давно. Мозги были тяжелыми, в затылке сидел занозистый деревянный кубик.

— Привет, — иронично отозвался Синий Тре-

угольник. — Что, гудит головушка?

— Тебе бы так, — буркнул я, не испытывая никакого удивления от присутствия представителя неведомого мира.

— Ладно, сейчас, — хмыкнул он. Щекочущие электрические искорки пробежали по моим мозговым извилинам, кубик в затылке превратился в пушистый комок и растаял. Я ощутил свежесть и бодрость готового к восхождениям альпиниста.

— Вот это да! Значит, ты умеешь убирать из мозгов всякую пакость?

— Не всякую, — «вздохнул» Синий Треугольник. — Печаль, например, не умею…

— Печаль — не всегда пакость, — философски заметил я. И тут же ощутил ее, печаль эту. Впрочем, не сильную. Просто вспомнилось, что моя двухкомнатная обитель пуста и не прибрана, что быт неустроен, а будущее туманно, хотя уже четвертый десяток мужику.

Квартирка была мамина. Сюда я перебрался, когда не заладилось с Раисой. Вернее, сперва с Еленой, а потом с Раисой. Ну, с Ленкой-то была недолгая история, оба вовремя поняли, что «число точек соприкосновения — минимально». И разбежались без всяких терзаний. А с Раисой сперва все было «как у людей». Четыре года под-

ряд. А потом… видимо, тоже «как у людей», если учесть, что каждая вторая семья существует не более пяти лет. И на сей раз никаких скандалов не было.

— Ты же убедился, что мы совершенно разные люди…

— Ага, — бодро согласился я, хотя было тошно. И перебрался к маме. В комнатку с желтыми полинялыми обоями и старой пружинной тахтой, на которой и раньше ночевал многократно.

Мама, конечно, печалилась:

— Я-то все ждала, что внучата будут.

— Да ведь и я ждал… А она…

Впрочем, упреками и сожалениями мама меня не мучила. Только беспомощно выговаривала, если без предупреждения задерживался в командировке или до утра застревал у приятелей на пьянке.

— Ты не представляешь, каково это не спать всю ночь и думать: «Где он, что с ним…» Неужели нельзя было позвонить?— Мам, да там телефона не было… Ну, маленький я, что ли? Нельзя же трястись надо мной, как над школьником…

— Были бы у тебя свои дети, тогда понял бы…

— Да будут еще, будут, честное слово… — я виновато обнимал ее. «В самом деле, какая же я

скотина…»

А три года назад мамы не стало. В одночасье, от сердца…

И до сих пор мне часто кажется, что в соседней комнате и на кухне я слышу ее шаги и вздохи. И как она звякает посудой, когда готовит мне завтрак. И вспыхивает порой секундная надежда: а может быть, правда? Может быть, ничего того не было, просто приснилось, а сейчас милосердное пространство-время восстановило нормальную структуру бытия?

Нет, не восстановило… Но порой опять кажется: вот шагну на кухню, а там…

Вот и сейчас на кухне и в прихожей чьи-то чуть слышные шаркающие шаги. Но нет, скорее всего, это скребет по половицам своими «лёпами» Травяной Заяц, который (как мне кажется иногда) тайно живет в моей квартире. На глаза он показывается редко (чаще всего, когда я в подпитии), но постоянно дает о себе знать. То опрокинет на кухне бутылку с недопитым пивом, то возится и шебуршит в кладовке, то в соседней комнате листает журналы и щелкает выключателем торшера.

— Перестань безобразничать! — иногда требую я. Он в ответ насмешливо «пфыкает». Видимо,

считает, что хозяин в квартире он, а не я.

Впрочем, он довольно ласковое существо. По ночам, когда уже выключен свет и ко мне приходит дремота, Травяной Заяц забирается ко мне на постель и укладывается в ногах. Я его не вижу, но прекрасно чувствую. Ощущение такое же, как в детстве, когда ко мне на кровать приходила любимая серая кошка. Повозится в ногах и затихнет… Потом кошку убил отчим — за то, что она таскала из зимней кладовки привезенное им с охоты лосиное мясо. Этого я не простил отчиму никогда…

Кстати, Травяной Заяц сам похож на кошку. Вернее, на кота. Круглая усатая мордаха его вполне могла бы сойти за кошачью, если бы не длинные уши. И, кроме того, у него длинный полосатый хвост. Не заячий, а совершенно кошкин.

Поэтому я иногда зову его именем «Котозай». Кроме того, он не только Травяной, но и Песчаный Заяц, потому что многие полосы на его тряпичном теле серовато-желтые, как песок на отмелях под обрывами Туры.

Видимо, Котозай часто шастает на этих отмелях и в травах городских окраин. По крайней мере, он иногда исчезает из дома на неделю, на две. Я о нем не тревожусь, знаю: никуда не денется.

Иногда и не вспоминаю подолгу…

Кстати, сейчас я удивляюсь сам себе. С чего это я опять начал вспоминать о Травяном Зайце? По сути дела, отношения к этой повести он не имеет, на сюжет никак не влияет.

Да и сюжета, по правде говоря, никакого нет.

Здесь самое время объясниться с читателями.

Если кто-то вначале принял эту повесть за фантастическую историю, где будут всякие приключения, хитрые события в иных мирах, тайны и встречи с инопланетянами, то я прошу прощения. Лучше уж не читайте дальше. Потому что это не фантастика, а просто-напросто автобиографическая повесть. Точнее говоря, мемуары. Только в основе ее не события привычной повседневной жизни, а сны. Те, что приходят ко мне в течение всей жизни и стали ее неотъемлемой частью.

В прежние времена, когда в моей «самой счастливой» стране метод социалистического реализма был объявлен единственно приемлемым для нашей литературы, я, пожалуй бы, не стал писать эту вещь. Все равно не напечатают, да еще и заклеймят за отрыв от «современной героической действительности». Но сейчас-то никого уже не удивишь и не напугаешь откровениями любого толка. И я могу без опаски признаться,

что мир снов считаю реальным не меньше, чем тот, в котором мы ежедневно бежим на работу, ссоримся с женами, смотрим вечерние новости о парламентских склоках и очередных катастрофах и хлопочем о хлебе насущном.

Ну а поскольку сны — тоже действительность (по крайней мере для меня), значит, они — часть жизни. И потому имеют право быть темою мемуаров. Не правда ли, ловкое рассуждение?

А в мемуарах позволено многое из того, что недопустимо в обычных повестях и романах. Можно, например, нарушать строгий ход повествования и «прыгать памятью туда-сюда». Можно повторяться. Я, мол, вспоминаю, как писал ту или иную вещь, и не обессудьте, если уже читали про это. И потому я честно признаюсь, что тема повести «Лоцман» — путешествие с мальчишкой-проводником — прозвучит здесь снова. Что поделаешь, если сны повторяются… И о сшитых из лоскутков зайцах я писал уже в нескольких прежних повестях. Впрочем, не совсем о таких, как этот Травяной (и Песчаный) Заяц.

Надо же, опять я о нем! Странно… Ведь ничего он в этой повести не делает. Однако чем дальше, тем отчетливее я понимаю — присутствовать он в ней будет. Потому что ему так хочется. Потому

что таковы Сны…

Ну, хватит отступлений. Поехали дальше…

3

Синий Треугольник прижился у меня. Нельзя сказать, что мы стали друзьями — слишком уж разные, — но относились друг к другу с симпатией. Часто беседовали по вечерам. И Синий Треугольник, несмотря на мою человеческую бестолковость, кое-что все же сумел объяснить мне о хитростях многомерного, многовариантного, кристаллического и замкнутого в бесконечную петлю Мёбиуса мироздания. И о природе бесконечно-конечного и подвижно-неподвижного Времени.

То есть я понимал все это (или почти все), когда слушал Треугольника. А потом — увы — забывал. Особенно про Время. Поэтому не обижайтесь и не удивляйтесь, что, например, Мотя Гольдштейн в моих мемуарах то старик, то погибший на фронте выпускник школы, то мой ровесник и современник. И сам я, родившийся до Второй мировой войны, вдруг в нынешние годы, на грани двух тысячелетий, оказался вполне еще цветущим мужчиной. В хитрых лабиринтах непостижимого для простых умов мироздания у Времени свои

законы… А, вот в чем дело! Синий Треугольник объяснял, что Всемирное Время не признает старости в ее земном понимании. Старость для него, для Времени, аномалия. Нарушение нормальных законов. Поэтому в своих снах я ни разу не видел себя стариком. Пацаном в вельветовом костюмчике образца сорок восьмого года и со школьной сумкой через плечо — сколько угодно. Студентом, обмирающим перед экзаменом или млеющим на свидании с первокурсницей Лариской Боковой — тоже. И горящим жаждою сенсаций и открытий молодым корреспондентом на борту океанского парусника — многократно. А скрюченным от радикулита пенсионером — НИ-КО-ГДА.

Вот и в пору общения с Синим Треугольником я был молод и крепок, хотя год наступил уже… Впрочем, какое значение имеет здесь *год*…

Итак, я бездельничал, иногда развлекался с приятелями, порой грустил по поводу неосуществленных планов, а по вечерам беседовал с Синим Треугольником.

Обычно я садился на тахту, у торшера, а он устраивался у меня на коленях. Колыхался и слегка искрился. Мои потертые джинсы виднелись сквозь его туманное тело. Был Треугольник совсем небольшим, но порой меня охватывало

жутковатое понимание (озарение какое-то!), что я касаюсь чего-то неизмеримо громадного и непостижимого, как если бы взял в ладони скопление галактик. Вскоре, однако, такое ощущение таяло. Треугольник делался маленьким и уже привычным (почти как Травяной Заяц). Иногда он сгущался, твердел и становился похожим на кусок сизого пластика с лохматыми краями. В такие моменты я его гладил, будто кота, и, кажется, ему это нравилось. Ну, по крайней мере, он никогда не возражал.

Однако ощущение необычности и громадности Треугольника никогда не исчезало из моего сознания полностью, тихонько жило там. И однажды я полушутя сказал:

— Слушай, а Бермудский Треугольник на нашей планете, случайно, не твой родственник? Или, может быть, твое отражение? Вдруг ты однажды повис над Атлантикой, отразился в ней и появилось там такое колдовское место…

— Чушь какая, — отозвался он с зевком.

Однако я был в дурашливом настроении и настаивал:

— Вовсе не чушь. Рассуди здраво. Там треугольник, и ты — тоже. Ты синий, и там вода синяя… Он ответил с неожиданной досадой:

— Тебе пора бы понять, что вовсе я не синий. И никакой не треугольник. Ты цепляешься за случайные ассоциации…

Я почему-то смутился и, скрывая это, пробурчал:

— Согласись все-таки: что-то… тройное… в тебе ощущается. Разве нет?

Он хмыкнул:

— Ну, разве как в «Тройном» одеколоне…

Надо сказать, с юмором у него было все в порядке. Возможно, это общее свойство многомерных миров.

— По крайней мере, в данный момент ты сейчас не что иное, как треугольная сатиновая косынка, — продолжал я. Таким он в ту минуту и был, а мне хотелось скрыть свою неловкость.

— Ну и что?

— Да ничего. Просто сравниваю. Тебя даже можно завязать узлом, как обычный платок.

— А ну-ка завяжи, — сказал он с непонятной интонацией. То ли подначивал меня, то ли что-то задумал.

«Ах, так?..» Я начал связывать прямым морским узлом два конца «косынки». И опасался при этом, что они, чего доброго, затвердеют, спружинят и хлестанут меня по носу. Но ничего не случи-

лось. Треугольник не сопротивлялся. Наоборот, вытянул длинным языком третий, тупой угол косынки: завяжи, мол, и его. Я обвязал язык петлею вокруг прямого узла.

— Неплохо… — заметил Синий Треугольник (превратившийся теперь в тряпичный комок). — Даже интереснее, чем я думал. Моте Гольдштейну понравилось бы. Сколько негативов сразу легло друг на друга. И рельсы переплелись самым неожиданным образом. Вот только левый край сигма-пограничной области чуть перекосило, но это, видимо, неизбежно…

Я, конечно, ничего не понял и виновато спросил:

— Развязать?

— Ни в коем случае! Конфигурацию надо сохранить… Возможно, это не случайно… Сделай вот что. Открой верхний пустой ящик своего стола. Осторожно положи меня туда. Запри на ключ. Ключ никому не давай…

Я почему-то ослабел от непонятных предчувствий. Выполнил все беспрекословно. И опасливо спросил у Синего Треугольника (вернее, у блестящего замка на ящике, в котором Треугольник был заперт):

— А теперь что?

Он ответил отчетливо, но непонятно:

— Больше ничего. Живи…

Я не решился переспрашивать. Был поздний вечер, лампа не горела, за окном, над крышами и тополями, светился июльский закат. Створки были открыты. Даже сюда, на пятый этаж, долетал запах бензина и нагретого асфальта.

Почему-то я чувствовал себя как набедокуривший мальчишка, который спешит улечься в постель, чтобы никто не догадался о его проделке. И я улегся. И спал всю ночь без снов. А проснувшись, сразу посмотрел на ящик стола. Замочек на нем искрился.

— Треугольник… — неуверенно позвал я. Он отозвался недовольно и сонливо:

— Чего тебе? Я ведь сказал: живи… А про меня считай, что я улетел… к себе…

— Насовсем? — печально спросил я.

— Насовсем ничего не бывает, — назидательно ответствовал он. — А пока не мешай…

Что мне было делать? Оделся, побрился… Стал думать: какие самые неотложные дела. И понял — не знаю. То есть были они, дела-то, но ни за одно браться чудовищно не хотелось. Все казалось нудным, бесполезным и скучным до тошноты. Видимо, я зашел в какой-то тупик. Захотелось

сделаться маленьким и пожаловаться маме. Это было невозможно. Однако искорка памяти о времени, когда был пацаненком, не угасла. Сделалась даже ярче. Побежала, провела меня по улицам города, где я жил в свою школьную пору.

Так все ясно и тепло вспомнилось. И если уж нельзя полностью вернуться в школьные годы, то оказаться в местах своего детства — дело вполне доступное. Особенно если не занят работой, а в бумажнике есть кое-какая сумма…

Ну, сумма-то есть, а в том городе, в Малогде, — что? Никого и ничего. Ни друзей, ни близких знакомых. Всех жизнь раскидала по разным краям.

Неужели всех? Память услужливо подсказала: «Помнишь, три года назад к тебе в редакцию заходил Альберт Гавриков, который когда-то учился в параллельном классе? Ты в «Б», а он в «А». Вы были в редколлегии школьной газеты. Конечно, не друзья, но все-таки… Он был здесь проездом, посидел в редакции всего полчаса, но все же кое-что вспомнили по-доброму, выпили по бутылке пива, и он оставил свой телефон…»

Где он, телефон-то? Разве найдешь теперь?

— В старой записной книжке, в тумбочке под телевизором, — сонно сказал из ящика Синий

Треугольник.

Я нашел эту книжку — пухлую, потрепанную, стянутую тонкой резинкой. Когда я сдернул резинку, из книжки посыпались поблекшие автобусные билеты (со счастливыми номерами), какие-то квитанции и чьи-то забытые визитные карточки. Телефон Альберта я тоже нашел. Только не на «Г», а на «Т» — «Тавриков». 55–00–71. И код Малогды, состоящий в основном из двоек.

Я почему-то заволновался (глупо, не правда ли?). Набрал на своем кнопочном аппарате все цифры. Противный девичий голос (так и представилась капризная красотка с маникюром) начал злорадно повторять: «Неправильно набран номер… Неправильно набран номер… Неправильно наб…»

Я досадливо брякнул трубку. Кажется, начиналась телефонная абракадабра из моих многочисленных снов, когда надо срочно куда-то дозвониться (маме, друзьям или в Гавану — другу детства Сашке Метёлкину, — а связь срывается, срывается…).

— Уточни в справочном, — лениво и досадливо посоветовал из ящика Синий Треугольник.

Я дозвонился сперва до справочного междугородной АТС, потом до справочного Малогды.

Оказалось, что теперь там семизначные телефоны, начинаются с двойки. Я начал опять набирать цифру за цифрой. Было занято, занято… Утро за окнами превратилось в полдень — какой-то странный, зеленоватый, будто над улицей сгустилась тропическая листва. В прихожей прошлепал по половицам своими «лёпами» Травяной Заяц и с любопытством глянул на меня в дверную щель. И когда глянул, телефон отозвался наконец длинными гудками. А затем и полузнакомым мужским голосом Гаврикова (или Таврикова):

— Слушаю вас…

— Извините… это Альберт?

— Я…

— А я… — и назвал себя. — Помнишь, ты как-то заходил ко мне в редакцию, года три назад…

Голос разом изменился:

— Славка!.. Что значит «помнишь»!.. Ты откуда звонишь? От себя или к нам пожаловал?

— Пока от себя… Но хотел пожаловать на пару дней. И такой вопрос: можно заскочить к тебе? Это на первые два-три часа. Конечно, я устроюсь в гостинице, но сперва надо осмотреться…

Я не услышал, а скорее просто ощутил, как Альберт на том конце связи поскучнел:

— Конечно, старик. О чем разговор… Только…

— Ну, если это неудобно, то извини. Я понимаю…

— При чем тут неудобно! Просто сегодня вечером я с супругой и дочкой отбываю в Сочи… Ох как все это досадно… Но послушай… У тебя билет уже есть?

— Пока нет…

— Тогда вот что. Купи сегодня билет и до семи вечера позвони мне. Скажешь номер поезда и вагона. Я договорюсь, что тебя встретит мой племянник, даст тебе ключ. Увидеться мы уже не успеем, но квартира и холодильник будут в твоем распоряжении. А то в гостиницах-то цены сейчас ого-го… Лады?

— Лады, — сказал я со смесью досады и благодарности. Все-таки школьное товарищество — вещь добрая и крепкая…

Купить билет было непросто — отпускной сезон. Я, размахивая газетным удостоверением (Долгопень забыла его отобрать), пробился к начальнику касс. Излил на него бурную историю о срочной корреспондентской командировке. Измученный начальник сказал, что есть билеты только в вагон СВ, с двухместными купе. Цена была почти как на самолет, но я махнул рукой: ради поездки в родные места можно себе позволить…

Потом я опять позвонил Альберту. Того не было дома, ответила его жена — дама с бархатистым голосом. Она была в курсе, но отнюдь не в восторге от неожиданного квартиранта. И не проявила излишней деликатности:— Надеюсь, вы будете аккуратны с газовой плитой. И с холодильником. То есть в отношении его содержимого проявите «щадящий режим»…

— Да что вы! Я в него даже не загляну!… И вообще… Если я… как говорится, не ко двору, то…

— Ладно, ладно, — смягчилась она. — Не обижайтесь… Поезд приходит утром? Я все передам Альберту, вас встретят… — И хлоп! Короткие гудки…

Ну и ладно. Могу ведь и в гостиницу… Интересно, а кто встретит-то?

Я начал собирать чемодан. Спросил у Треугольника:

— Взять тебя с собой?

— Еще чего… — буркнул он из ящика (разумеется, телепатически).

— А что ты будешь тут делать один?

— Что значит «один»? — хмыкнул он. — Впрочем, оставь ключ от ящика.

— Кому? Соседке, что ли?

— Травяному Зайцу…

— И Песчаному? — ехидно подыграл я.

— И Песчаному…

— Где же я его найду? Он прячется по сусекам…

— Оставь ключ на столе. Только продерни в кольцо шнурок. Заяц потом наденет на шею…

— Как мило… — недоверчиво буркнул я, но послушался.

4

Поезд отходил в десять вечера. На перроне было душно, пахло горячим асфальтом, в воздухе плавал редкий пух тополей (они поздно и неохотно цвели в этом году). Над рельсами висел неяркий закат. В нем были зеленые краски — как и в нынешнем странном полдне. На мутноватой зелени облаков и неба чернело кружево мачт, проводов и виадуков. Стало как-то неуютно, я поскорее зашел в вагон.

В купе было прохладно, пахло чистым бельем и салфетками. Соседом оказался добродушный толстяк, он сразу спросил, не хочу ли я пива. Я хотел. Мы выпили по три бутылки, поезд тем временем тронулся. После пива мне захотелось в туалет. Когда я вернулся, сосед мирно спал носом к стене, по его лысине пробегали блики мелькающих за окном огоньков.

Плафоны в купе не горели, я не стал включать ни один. Не раздеваясь, лег навзничь поверх постели. Почему-то вспомнилось, как в таком же дорогом и комфортабельном вагоне я ехал в Калининград, чтобы там оказаться на борту шхуны «Томас Манн». (Тьфу, черт! Не было же никакой поездки и шхуны! А в Калининграде я был только в детстве, со школьной экскурсией.)

Запрокинув голову, я смотрел в окно, в зеленовато-белесое небо. Туда выплыла и неподвижно повисла над мчащимся вагоном пухлощекая луна. Ее «лицо» напоминало рожицу Травяного Зайца. Сосед похрапывал негромко, неназойливо и не мешал моему общению с луной.

— Привет, — сказал я ей.

Тогда появился и сам Заяц. Я его не видел, но почувствовал, как он забрался на постель и устроился у меня в ногах. По джинсовым штанинам царапнул висевший на шее у Зайца ключ.

— А как же Синий Треугольник? — спросил я. — Ты его оставил взаперти?

Травяной (и Песчаный) Заяц не удостоил меня ответом и притих.

Я уснул.

Мне снилось что-то хорошее, из «серии» снов про заманчивые рельсовые дороги и странные,

просторные, как дома, вагоны, сцепленные в длинные поезда. В этих поездах можно было заблудиться, как в незнакомых кварталах. Вагоны весело встряхивало на стыках. За широченными окнами — то над верхушками лесов, то над шпилями причудливых городов — слева мчалось косматое желтое солнце, а справа белая большущая половинка луны…

Но я помню этот сон смутно. И вместо него расскажу другой. По содержанию он мало похож на тот, полузабытый, но по ощущению — похож. В нем то же самое ожидание необычного. Вернее, я просто вставлю сюда несколько страниц своего старого дневника. В обычной повести я не решился бы на столь дерзкое нарушение правил, на разрыв и ломку сюжета, на затягивание действия. Но ведь сейчас-то — мемуары. В них вполне допустимы авторские отступления и документальные вставки. Итак…

«10 апреля 1997 г.

Вчера ездил выступать в уралмашевскую школу № 144.

Милые пожилые учительницы (явно преданные своему делу). Славные умные шестиклассники (по прежним меркам — пятый класс).

Внизу, в вестибюле — охранник интеллигент-

ного вида, в аккуратной униформе — штрих эпохи…

Среди слушателей (их было человек шестьдесят) рыжий Ванечка, очень похожий на Фаддейку из моей повести «Оранжевый портрет с крапинками». Только без веснушек и, видимо, с более благополучной судьбой — сын преподавателя французского языка, ведущего в этой школе факультатив. Юный литератор. Исписывает общие тетради «историческими романами». Мне это рассказала учительница, которая провожала меня до стоянки такси. Видимо, Ванечка — ее любимец.

А потом этот интеллигентик с рыжими локонами приснился мне в очередном сне про *Город и поезда*. Будто мы с другом (похожим на Леню Шубина) приехали в Тюмень (сказочную) по какому-то делу, и с нами этот бесенок — то ли сынишка, то ли племянник Леонида. И в то же время это сын моих севастопольских друзей Юрка Вихрев в его бытность пятиклассником (он хотя и не рыжий был, но тоже с локонами).

Мы ходили по Тюмени, попадали в какие-то приключения (почти сразу забытые), слегка заблудились в логу. Но главная наша (моя и Леонида) задача каждый день была — достать на

вечер бутылку коньяка. В городе — трудности со спиртным и продуктами. За бутылками мы ходили на окраину, в дом за зеленым забором, к частной торговке — симпатичной тетушке, которая (мы это видели) благоволит нам. Причем каждый раз оказывалось, что ее дом уже не в Тюмени, а где-то на окраине Москвы, но мы это воспринимали как должное.

Итак, мы покупаем бутылку, а наш юный адъютант Ванечка дурачится и поддразнивает нас за порочное пристрастие к горячительным напиткам. Но поддразнивает в меру, не переходя грань. И мы на него не сердимся.

Наконец приходит вечер отъезда. Мы последний раз идем за коньяком. Тетушка дает нам длинный сосуд с греческим пойлом типа «Арго» и виновато говорит, что другого нет.

— А закуски, извините, вообще никакой. Даже хлеба нет. Городское начальство прохлопало ушами, и сегодня вся Москва осталась без хлеба.

И вот мы уже в поезде, в купе (где почему-то стеклянная крыша). Ванечка старательно переодевается и оказывается в новенькой пионерской форме — такой, какую надевал Юрос Вихрев в первые сентябрьские дни 85-го года (смотри повесть «Заяц Митька»).

— Ты чего это так нарядился?

— А как же! Мы ведь домой едем, а это праздник!

Я не совсем понимаю, что значит «домой». Это понятие во сне окутано неким мистическим смыслом. Но такие соображения не мешают мне согласиться с Леней, что пора пропустить по рюмочке — в честь того, что поезд вот-вот дернется и повезет нас (куда? — я не знаю, но в этом незнании есть ожидание новых приключений). Я чувствую, что поедем мы не просто по железнодорожному пути, а по сказочной *Дороге*…

Но негодный Ванечка не дает нам отметить это событие. Он хватает бутылку, выскакивает с ней в коридор и начинает по-обезьяньи прыгать перед дверью, дразня нас.

Этакий внешне образцовый мальчик — и вдруг с коньяком! Он дискредитирует и себя, и нас!

— Иван, выдеру! — жалобно говорит Леня.

Ванечка продолжает дурачиться. Бурая жидкость бултыхается в длинной бутылке и грозит выплеснуться, потому что пробка уже вынута. Вдруг поезд дергается. Ванечка, поскользнувшись, с размаху садится на линолеум вагонного пола, раскидывает коричневые журавлиные ноги широкой буквой V. Тоже мне «виктори»!

Леня подхватывает Ванечку, а я бутылку.

— Ой… — Ванечка с болезненной улыбкой трет ушибленное место.

— Сильно стукнулся? — сдержанно сочувствуем мы. — А вот и нисколечко!

Он входит в купе, упирается в столик ладонями и прижимается носом к стеклу. За окном тихо проплывают странные городские и станционные постройки. В том числе и громадное кирпичное здание с часами, похожее на английский Вестминстер.

Под отглаженной рубашкой Ванечки топорщатся острые лопатки. И меня вдруг пронзает резкое беспокойство за этого пацаненка. Я понимаю, что его веселость и дурашливость — способ скрыть какую-то болезненную тревогу. За кого? За себя, за нас всех?..

И просыпаюсь…»

И я проснулся. С этой самой тревогой и в то же время с ожиданием каких-то необычных случаев (хотя, повторяю, сон был не тот, что я сейчас пересказал). За окном пролетали перелески, сверкало яркое утро. Травяного Зайца в ногах, конечно, не оказалось. Не было и добродушного толстяка на соседнем диване. Я сел. И понял, что ни умываться, ни завтракать уже некогда. За перелесками

проплыло знакомое здание элеватора, прогудел под колесами мост через речку Галчиху — значит, поезд подходил к Малогде.

Я вдруг подумал: «А почему «Малогда»? Разве так назывался город моего детства раньше?» И… вспомнить не мог. Зато пришла догадка. Название это похоже на Вологду, но сходство случайное. «Вологда» — оттого, что где-то в тех краях в старину волоком передвигали суда. А «Малогда» — из той же компании, что «когда», «никогда», «всегда», «иногда»… Означает «мало когда», «в редких случаях». Может быть, потому, что сейчас меня ждали здесь какие-то необычные события?

Да чего ждать-то, кроме встреч со знакомыми улицами, старым зданием школы и береговыми кручами над Турою?

Но все-таки, все-таки… Может быть, не случайно вчера днем и вечером стоял в воздухе зеленоватый свет, а ночью снилось странное… Кстати, откуда это выражение — «желать странного»? Кажется, из Стругацких.

Поезд сбавил ход, тормозил. И вместо «странного» появилась здравая и скучная мысль: «Ну, а чего меня сюда принесло-то? В эту… Малогду? Чего я здесь ищу?» Спросить бы у Синего Треугольника (это, по-моему, он во всем виноват), но

разве до него сейчас докричишься?..

Вагон дернулся и замер. Я подхватил чемодан и вышел на платформу — единственный из всех ехавших в этом «СВ» пассажиров.

5

Станционное здание было двухэтажное, кирпичное, с побеленными архитектурными выступами и карнизами. Выступы между окнами и под крышей складывались в орнамент из плавных линий — модерн первых лет двадцатого века. Тогда в этом стиле часто строили вокзалы, водонапорные башни, электростанции и городские училища.

«Странное дело», — подумал я. Потому что знал: в Малогде еще десять лет назад построили новый вокзал. Здесь, на кирпичном фронтоне было написано: «Малогда-I». Может быть, новое здание на станции «Малогда-II»?

Впрочем, ломать голову не было смысла. Если уж завязал на Синем Треугольнике узлы, можно теперь ожидать чего угодно…

Никто меня, конечно, не встречал. Дощатая, уже теплая от солнца платформа была пуста. Вдоль вокзального фасада сонно ходил туда-сюда белобрысый милиционер с фуражкой в заложен-

ных за спину руках. У решетчатого забора сидели несколько тетушек — торговки подсолнечными семечками. Дремали, не видя покупателей. Неподалеку от них безразлично прислонился к столбу и грыз длинный огурец мальчишка в балохонистой пестрой одежке.

Потом — стук-стук-стук каблучками — возникли два юных создания с ослепительными обесцвеченными волосами, в кожаных мини-юбочках и таких же куцых, похожих на лифчики жилетках. Переглянулись, кокетливо заулыбались и… пошли ко мне, качая тяжелыми клипсами.

— Здрасте…

— Рад вас приветствовать, — изысканно отозвался я, противясь желанию пройтись еще раз глазами по их смуглым ногам. — Я могу быть чем-то полезен сеньоритам?

— Да… то есть… ой… а это правда *вы*? — с каким-то чересчур искренним, несовременным смущением выговорила одна, с клипсами из красных кристалликов.

— То есть я — это правда я. Без всякого сомнения. А в чем дело?

— Значит, вы правда… — и другая девица назвала мои имя и фамилию. — Да?

— Я… да… А! Вы от Альберта Гаврикова? То есть

Таврикова!

— Нет, — сказали обе разом. И та, что с красными кристалликами, объяснила: — Мы хотели… ваш автограф…

— М-м… а зачем? Я не звезда, не знаменитость. Не понимаю…

В самом деле, что им стукнуло в голову? Зачем им автограф рядового корреспондента городской газеты (к тому же нездешней)?

— Но ведь это вы написали про плавание на шхуне «Томас Манн»?

О, елки-палки! Неужели слава моих скандальных публикаций докатилась и сюда? Маргарита Долгопень должна ценить: я сделал ее газете междугородную рекламу!

— Вообще-то да, я. Но…

— Ну, пожалуйста! — попросили обе с томными голливудскими улыбками.

Признаться, все это сладко пощекотало мое авторское самолюбие.

— Хорошо… Только авторучка у меня в чемодане… — И, нагибаясь, я улучил секунду, чтобы снова скользнуть взглядом по идеальным, как у фотомоделей, ножкам.

— У нас есть! Вот! Распишитесь два раза, пожалуйста! — Они протягивали мне ручку и две

белые брошюрки. Это оказались «Программы для поступающих в средние учебные заведения с гуманитарным уклоном». Я крупно, с завитками, расписался на обеих книжицах.

— Большое сэнкью, — синхронно и певуче сказали девочки. И с переливчатым смехом двинулись прочь (стук-стук-стук). Обернулись, помахали мне брошюрками. Я нерешительно помахал в ответ. Подружки (или сестры? — очень уж похожие) быстро скрылись за вокзальными киосками. А я спохватился, что не вернул им ручку. Кричать и догонять было неловко (опять же милиционер тут — еще подумает что-нибудь). Ладно, ручка дешевенькая, пустяк… Или все-таки догнать?

Пока я растерянно размышлял, рядом вновь ощутились шаги — шевельнулись старые доски платформы. Это приблизился мальчишка с огурцом.

Он стоял в трех шагах. Наискосок от него лежала на досках четкая тонконогая тень.

Мальчишка вопросительно (и будто на знакомого) смотрел на меня зеленовато-серыми глазами.

— Вот… — Я повертел в пальцах ручку. — Забыл отдать. Ты не мог бы догнать тех девчат, вернуть

им? А то я с чемоданом…

Он последний раз куснул огурец, бросил далеко назад, через плечо (и через забор) зеленый огрызок и сообщил:

— Переживут. Это Нэлька и Зинка Патраковы, их папаша владелец кожевенной фабрики, ездит на «мерсе». Если надо, купит им тыщу заграничных ручек.

Говорил он сипловато, словно с остатками простуды. В словах его ощущалась давняя неприязнь к девицам Патраковым. А ко мне у этого пацана, кажется, был какой-то интерес. По крайней мере, мальчишка не уходил.

Он стоял, чуть расставив ноги в старых кедах без шнурков, и его широкие трикотажные штаны от ветерка колыхались у немытых колен. И подол колыхался…

По правде говоря, не нравится мне мода нынешних пацанов на такие вот пестрые обвисающие костюмы. Ребята в них выглядят как стоячие вешалки с гардеробными плечиками, на которые небрежно брошено разукрашенное рекламами тряпье. В мои школьные времена мальчишку в таком одеянии насмешники сжили бы со света за полчаса.

Впрочем, у каждого времени свои вкусы.

«А что такое *время*?» — ехидно вставил в мои мысли реплику Травяной и Песчаный Заяц, который, кажется, прятался в лопухах у края платформы. Я не успел отреагировать. По путям без остановки промчался столичный экспресс — красные вагоны, блестящие стекла. Вихрь взметнул над досками подсолнуховую шелуху. Мальчишкины штаны и майка-фуфайка заполоскали, как порванные шквалом паруса. Он ухватил подол и прижал к бедрам. Полинялая одежда мальчишки была пыльно-синего цвета, с широкими желтыми поперечными полосками на штанинах, с белым кругом на груди, в котором зеленело непонятное существо — не то кенгуренок, не то маленький динозавр. Под кругом по дуге выстроились буквы непонятной желто-зеленой надписи: CICIMORA.

Что же от меня хочет этот юный «кикимора»?

Он вдруг сказал, не отводя глаз:

— А мне вы можете дать автограф?

— Н-ну… пожалуйста… А на чем?

— Сейчас… — он зашарил в трикотажных складках. — Поморщился: — Кажется, ни одной бумажки в карманах. Ветром выдуло, что ли…

— Подожди… — В заднем кармане джинсов я нащупал записную книжку, открыл и широко

расписался на чистом листке. Вырвал, протянул:

— Держи…

Хотел спросить: «Неужели ты читал мои репортажи?», но почему-то не решился.

Мальчишка аккуратно взял листок, поразглядывал, пошевелил толстыми потрескавшимися губами, словно разбирал мою подпись по слогам. И вдруг сказал деловито:

— Ага, и вправду это вы… Тогда что? Идем?

— Куда? — слегка опешил я.

— Ну, вы же просили, чтобы вас встретили. Вот…

— Постой! Так, значит, ты племянник Альберта… — Я вдруг сообразил, что не знаю отчества давнего приятеля. — Альберта Таврикова?

— Ага… Гаврикова.

— Вот оно что!

Мне почему-то казалось, что племянник Альберта — юноша студенческого возраста, а тут этакий сверчок. Лет десяти на вид. Ну, самое большее одиннадцати. Значит, кроме него некому было исполнить важную миссию встречи. Ну и на том спасибо…

— А как тебя зовут-то… племянник? Он сказал с прежней сипловатостью:

— Ерофей.

— Ого…

— Почему «ого»? — спросил он подозрительно.

— Солидное имя. В давние времена был казак Ерофей Хабаров, открыватель Сибири. В честь его — город Хабаровск.

Щуплый Ерофей хмыкнул.

— Да знаю я… Есть еще станция Ерофей Павлович. Только я тут ни при чем…

— Понятно… Так тебя и звать — Ерофеем? Или есть еще какое-то имя? Так сказать, для домашнего пользования?

Он шевельнул уголком рта (вроде улыбки), провел тыльной стороной ладони под носом.

— Можно Ерошка…

Имя Ерошка ему подходило. Его растрепанной пыльной одежонке, кедам без шнурков и простецкому скуластому лицу со вздернутым носом, обветренными губами и коротенькими насупленными бровями. Единственное, что не вписывалось в портрет, — это волосы. Ерошке полагается быть кудлатым, а у этого — прическа аккуратного английского школьника. Пряди пепельно-песчаного цвета были тщательно расчесаны на косой пробор. Слева лежали на виске коротким крылышком, справа накрывали голову широким гладким крылом, край которого чуть

загибался над ухом. Я подумал, что, может быть, Ерошку специально приукрасили так перед встречей незнакомого гостя.

Он словно прочитал мои мысли. Сердито лизнул ладонь и провел ею по волосам. Глянул исподлобья:

— Ну что? Идем?

— Идем! — Я с готовностью подхватил чемодан. И понял, что почему-то слегка робею перед этим насупленным пацаненком. Словно незнакомый Ерошка знал про меня больше, чем следует.

Он пошел впереди, и тонкая трикотажная кофта колыхалась на нем, как обвисший флаг на древке. На спине тоже была желтая надпись «CICIMORA» («кикимора» или «цицимора»?), но уже без зеленого существа.

Не оглядываясь, Ерошка вдруг сказал:

— А можно я буду говорить вам «дядя Слава»? А то с отчеством слишком длинно.

— Пожалуйста! — я даже обрадовался. Такое родственное обращение могло способствовать налаживанию отношений. Ерошка тряхнул головой (отчего прическа слегка растрепалась). Оглянулся. Теперь он улыбался. Блестели крупные и желтоватые (видать, давно не чищенные) зубы. И в глазах искорки. Он задержал шаг и

пошел рядом. Взялся за ручку чемодана:

— Давай… то есть давайте я помогу.

— Да что ты, он не тяжелый…

С вокзала мы вышли на Станционную улицу. Знакомые двухэтажные дома с чугунными балконами, булыжная мостовая. Тротуары из гранитных плит и такие же гранитные столбики с железными кольцами. Лет сто назад к ним привязывали извозчичьих лошадей. Роняли редкий пух знакомые высокие тополя.

— Далеко идти?

— Не очень, на Кольцовскую. Ты… вы разве не помните? Я дипломатично промолчал. Потому что не помнил. То есть я представлял, где Кольцовская, но не помнил, где там дом Альберта. Кажется, я даже и не бывал у него никогда…

Ерошка вел меня старыми переулками. У заборов было много одуванчиков. Некоторые еще желтели, но большинство стояло с пушистыми головками. Ерошка сорвал один, дунул. Быстро глянул на меня. Я одобрительно улыбнулся. Над заборами белела новая колокольня с блестящим крестом и желто-медными, еще не потускневшими колоколами. Я понял, что недавно ее вновь построили над Никольской церковью, которая во времена моего детства была просто домом

с куполообразной крышей (в нем находилась контора «Загот-зерно»). Мы миновали овражек с деревянными лесенками на заросших полынью и белоцветом берегах. По дну овражка журчал среди осоки мелкий ручей. Я перешел его по камушкам, а Ерошка просто так — отчего кеды его набухли и теперь пузырчато чавкали.

— Зачем ноги-то промочил, — сказал я тоном ворчливого дядюшки.

— Подумаешь. Высохнут…

— А почему ты ходишь без шнурков? Неловко же, хлюпают…

— А они и со шнурками хлюпают. Потому что лёпы…

— Что-что? — я даже слегка испугался.

— Ну, *лёпы*, — хихикнул он. — Как у Травяного Зайца.

— Ты откуда знаешь про Зайца?

Он быстро глянул на меня сбоку и снизу вверх. Серо-зелеными хитрыми глазами.

— А что такого? Многие знают про Травяного и Песчаного Зайца…. Только мало кто видел.

— А ты… видел?

Ерошка опять непонятно хихикнул и оглянулся. Словно хотел проверить: нет ли Зайца в ближних травяных зарослях.

«Ерошка, ты кто?» — чуть не сказал я. Но тут мы из прохода между глухими заборами вывернули на Кольцовскую. Улица была такая же заросшая, как ближние переулки. Знакомая. Она вела от маленькой площади с водонапорной башней к рынку. По ней я бегал со своей улицы Грибоедова в школу.

Мы прошли под тополями к могучим кривым воротам, которые благодаря обветшавшему орнаменту на створках и жестяным верхушкам-теремкам на столбах вполне могли считаться памятником деревянного зодчества. Ерошка щуплым плечом нажал скрипучую калитку.

Мы оказались в обширном дворе с густой кленовой порослью. Сквозь нее, у кирпичной стены первого этажа, торчали два крылечка с деревянными столбами и косыми навесами. Ерошка подошел к дощатой двери. На ней висел старинного вида замок — из тех, что называют амбарными. Ерошка из-под ворота фуфайки вытащил ключ на длинном шнурке. Поковырял им в скважине. Шепотом сказал: «Вот скотина». Оглянулся.

— Заело… Попробуйте повернуть, у меня силы мало… Я попробовал. Никакого результата.

— А знаешь… знаете, что! — Ерошка непонятно

оживился. — Давайте бросим ваш чемодан в сарайчик! И сразу пойдем. Все равно в доме делать нечего!

Вот тебе на! Я надеялся малость передохнуть. Думал, что, может быть, чаем угостят. И хорошо бы принять душ… Хотя какой душ в этой постройке девятнадцатого века? Дом явно из купеческой эпохи. Кирпичный низ, деревянный верх с карнизами и наличниками из резных узоров и завитков. Все это изрядно покосившееся и поломанное.

Странно, что Альберт обитает в таком непрестижном жилище. При встрече он показался мне преуспевающим бизнесменом.

Ерошка выжидательно топтался рядом.

— Ну… давай, — покорился я обстоятельствам. — А не сопрут чемодан из сарая?

Он, кажется, слегка обиделся:

— Здесь такого сроду не бывало!

На двери утонувшего в зарослях сарайчика был такой же замок, что и на крыльце. Но он послушался Ерошку сразу. В прорезанном тонкими лучами полумраке пахло березовыми дровами. Кто-то копошился в дальнем углу. Ерошка пристроил чемодан у поленницы. Мы опять вышли на солнце.

Было очень тихо на дворе. И пусто. Лишь бродили в траве две пыльные, помеченные чернильным крапом курицы. Да еще прошел от крыльца к забору серо-полосатый большой кот.

— Кис-кис! — обрадованно сказал ему Ерошка. Но кот дернул кончиком хвоста и пропал в кленовой зелени. Ерошка смущенно посмотрел на меня.

«Ну а что дальше?» — подумалось мне. А он сказал:

— Идем, да?

— М-м… а куда идем-то?

— Разве вы не хотели погулять по городу?

«А разве я тебе про это говорил?» Впрочем, спорить я не стал. Только спросил:

— Ты что, собираешься сопровождать меня? Он слегка удивился:

— А зачем же я т… вас встречал тогда? Или… вы не хотите?

— Да нет, отчего же. Пойдем. Вдвоем веселее… — Неловко было вот так сразу взять и отшить мальчишку. И к тому же где я его потом найду, когда вернусь за чемоданом?.. Но это были «внешние» соображения. А глубоко внутри шевелилась догадка, что у моей встречи с Ерошкой есть какая-то сюжетная зацепка. Впрочем, в догадке этой

не было беспокойства. Мной овладела беззаботность человека, который оставил все хлопоты и вырвался в долгожданный отпуск: теперь куда ни пойдешь, что ни сделаешь — все будет славно.

Ерошка откровенно обрадовался моему согласию. Подпрыгнул. Сырые кеды его опять чавкнули. Он их сбросил, поочередно дрыгнув ногами. Поднял, повертел у лица и… зашвырнул к забору, в лопухи.

— Босиком потопаешь? — с пониманием спросил я.

— А чего такого…

— Да ничего. Я тоже так любил когда-то… Гляди только ногу не наколи.

— Не-а… — Ерошка с удовольствием пошевелил босыми ступнями. Они были светлее загорелых щиколоток. На левой ступне маленький прямой мизинец слегка оттопыривался. Надо же, в точности как у меня в детстве. Соседская девчонка Лилька дразнила меня из-за этого Торчалкой. И говорила, что мизинец может отсохнуть. Мы иногда дрались, и мне доставалось чаще, чем ей…

Признаться, сейчас я с удовольствием сбросил бы полуботинки и носки, чтобы пошлепать босиком по теплым плитам и асфальту, побродить по щекочущей лебеде и подорожникам. Увы, где

они, невозвратные времена? При этой мысли мне опять почудилась в лопухах хитрая физиономия Травяного Зайца, но лишь на миг…

6

Мы неторопливо двинулись по Кольцовской. За квартал от площади с башней-водокачкой она (если верить табличкам на воротах) стала почему-то называться «Сонная-Кольцевая», но меня это ничуть не удивило. Все было «как надо».

На площади, окруженной кирпичными магазинчиками, несколько мальчишек (в таких же, как у Ерошки, пыльно-пестрых одежках) гоняли футбольный мяч. Он отлетел к нам, и Ерошка умело отпасовал его босой ногой. Весело покосился на меня: во как я умею. Надо сказать, в нем все меньше оставалось прежней деловитости и сдержанности. Сейчас это был просто беззаботный, в меру озорной пацаненок. И словно давно знакомый (а я ведь ничего не знал про него). Он весело скакал справа от меня и порой брался за рукав моей летней куртки с частыми клепками на светло-кофейной ткани.

«Английская» прическа Ерошки изрядно растрепалась. Порой он спохватывался и приглаживал волосы помусоленной ладонью. Я наконец

сказал:— Оставь ты в покое свою лондонскую стрижку. Тебе этот фасон идет, как… шелковый бантик соломенному чучелу.

— Да? — живо отозвался он. Без обиды и с интересом. — А как надо?

— А вот так! — Я засмеялся и взлохматил ему голову.

Ерошка весело взвизгнул. Отскочил. Побежал назад, к башне-водокачке. Там, у лужи под изогнутой железной трубой, он присел и полюбовался своим отражением. Через плечо показал мне большой палец. Попрыгал посреди лужи — так что на миг в брызгах зажглась радуга. Вернулся вприпрыжку. И на минуту стал стопроцентным взъерошенным Ерошкой. Но потом (когда думал, что я не вижу) опять пригладил волосы.

Мы зашагали живее, спустились от площади по извилистой гранитной лесенке на улицу, которую я не помнил. Прошли вдоль решетки сквера с гипсовыми физкультурниками (ну и древность!), свернули налево, и…

— Ерошка! Это же Ключевской спуск!

— Да! Ну и что?

— Н-ничего… Просто очень давно не был здесь…

— Тогда пойдем по нему до конца. А там и река

недалеко…

Мы пошли. Я узнавал одноэтажные магазинчики, мастерские, аптеки. Так, словно лишь вчера промчался здесь на самокате с надувными шинами! А вот и фотомастерская старого Гольдштейна… Ого! В широченном стекле чернела дыра величиной с Ерошку! Мне даже почудилось, что в пробоине угадываются контуры мальчишечьей фигурки.

— Вот это да! — подскочил Ерошка. — Кто-то опять врезался! Вот звону-то было!

— Чему ты радуешься? А если человек покалечился?

— Не! Здесь не калечатся! Только царапины…

А у меня отчетливо заболело порезанное в давние годы колено. Я даже глянул вниз: нет ли на тощей мальчишечьей ноге свежего бинта. Но была джинсовая штанина, и от ее вида боль сразу кончилась.

— Когда-то в этой мастерской работал славный старик Гольдштейн, — вздохнул я. Но Ерошка тянул меня дальше, дыра в витрине его больше не интересовала. Я подчинился, однако через несколько шагов оглянулся: не покажется в пробоине маленький старик с седыми кудряшками на висках?

Гольдштейн, конечно, не показался. Но зато навстречу нам попались два красноармейца — в обмотках, в белесых пилотках и выгоревших гимнастерках с малиновыми петлицами на отложных воротниках, без погон. Скатки через плечо, тонкие штыки над плечами. Оба худые, с твердыми загорелыми лицами, они прямо и как-то отрешенно смотрели перед собой.

— Откуда такие? — спросил я у Ерошки. Почему-то шепотом.

— А! — отмахнулся он. — Опять, наверно, кино снимают неподалеку… — Но мне почудилась в его голосе еле уловимая тревога. Словно в ближних переулках застоялось лето сорок второго года с его повестками, похоронками, сводками Сов-информбюро и запахом карболки из окон недалекого госпиталя… Хотя откуда про это знать Ерошке?

«А тебе откуда знать? — насмешливо шепнул Травяной и Песчаный Заяц, который, видимо, ухитрялся незаметно пробираться за нами по кустам и заросшим канавам. — Тебе же всего тридцать с небольшим».

«Не твое дело, — буркнул я. — Тебе следует не шастать, а сидеть дома и охранять ящик с Синим Треугольником».

Заяц хихикнул похоже на Ерошку. А сам Ерошка деловито спросил:

— Дальше как двинемся? Вверху, по Октябрьской улице, или спустимся к воде? — Потому что мы оказались на высоком берегу.

Желтоватая вода еще не совсем спала после разлива, река была широкой. За ней раскинулась Заречная слобода с грудами старых домишек и белым хребтом высотных домов-новостроек. Дальше синели луговые просторы с темной кромкой леса у горизонта. Справа тянулся мост, которого я раньше не видел. По мосту скользили разноцветные капельки-автомобили. Справа вздымал могучие соборы белый Свято-Троицкий монастырь. Над куполами поблескивали узорчатые кресты, которых в прежние годы тоже не было…

Я вздохнул — родина…

— Ну так что? — нетерпеливо переступил рядом Ерошка. — Как пойдем?

— А, собственно, куда мы должны идти?

— Но вы же хотели на Точку!

Я хотел на Точку? Пожалуй, да… Но он-то, этот сорванец, как про нее узнал? Такое название придумал я сам и никому его не говорил.

— Откуда ты знаешь про Точку?

— Но ты… но вы же сами про нее сказали недавно… — Ерошка неловко посопел.

— Я?! Ничего подобного.

— Ну вот! Сказали, а теперь отпираетесь… — Похоже, он обиделся.

— Ну ладно, — примирительно вздохнул я. — О чем разговор. На Точку так на Точку. Посидим там, отдохнем…

Ерошка сразу обрел прежнюю жизнерадостность. Подскочил:

— Ну а как?! По верху или у воды?

— Решай, как лучше.

— Внизу труднее, но интереснее…

— Тогда пошли вниз.

Деревянной извилистой лестницей мы спустились к воде. Здесь была плавучая пристань паромной переправы. От нее по прибрежному песку тянулась в сторону пассажирского порта тропинка. Но скоро она пропала среди выброшенного водой мусора: коряг, автомобильных покрышек, лодочных обломков, разных спасательных кругов и (непонятно, почему) битых пластинок от старых патефонов.

Я поднял один обломок. Это была знаменитая старинная «Рио-Рита». Мамина любимая мелодия. Когда я был маленьким, под эту музыку мы

встречали Новый год. А сестра на домашних вечеринках танцевала под нее с Мотей Гольдштейном и другими одноклассниками…

Мотив «Рио-Риты» тут же включился у меня в голове. И ненавязчиво звучал там во время всего путешествия до Точки.

А путешествие становилось весьма… р-романтическим (черт бы побрал этого мальчишку!). Ветвистые коряги лежали все гуще — порой настоящие завалы. Иногда путь преграждали кучи гнилых деревянных ящиков и разбитых бочек. Тропинка появилась опять, но тянулась теперь не по песку, а по сырой глине, в которой вязли ступни. Мне пришлось разуться и подвернуть джинсы. (Кто увидит — подумает: «Вот понесло взрослого дурня заодно с бестолковым пацаном».) И свернуть было некуда: слева вода, справа крутые, заросшие бурьяном откосы без всяких лестниц и тропок. Ерошка, посапывая, шагал впереди.

— Ерофей, — тяжело обратился я к трикотажной спине с надписью «CICIMORA». — Ты когда-нибудь слышал про Ивана Сусанина?

Он, не оглядываясь, засопел громче и виноватее.

— Ага, слышал… Потерпи, скоро выберемся на

сухое…

И мы выбрались наконец. Через дыру в бетонной изгороди — на территорию порта. Здесь было почти пусто. У дебаркадера — ни одного судна. В небе с пухлыми белыми облаками замерли два крана. На пристанских путях лязгали вагоны и что-то покрикивал в мегафон диспетчер, но это в отдалении, а рядом с нами лишь галдели воробьи — они прыгали по лежавшим у кирпичного склада контейнерам и по груде ящиков, от которых пахло соленой рыбой…

Я решил было ополоснуть с трапа ноги, обуться и подняться по пристанской лестнице на Пароходную улицу. Хватит приключений! Но Ерошка расстроился чуть не до слез:

— Дядя Слава! Не надо! По верху знаете какой дальний путь! А здесь уже недалеко! И будет легче, вот увидишь… ой, увидите…

— Сударь, — сказал я, покоряясь судьбе (или хитростям Синего Треугольника). — У тебя на языке то и дело прыгает желание говорить мне «ты». Ну и говори. Это лучше, чем все время ойкать…

Он очень-очень обрадовался, странно даже:

— Правда?! Можно?!

— На здоровье… Я еще не столь уж солидный мужчина. К тому же мы с твоим дядюшкой дав-

ние приятели, а ему ты наверняка не говоришь «вы»...

— Кому не говорю? — почему-то удивился он.

— Дяде Альберту.

— Кому?.. А! Да, конечно... — и он запрыгал, отклеивая от ступни прилепившийся клок бумажной упаковки. Дальнейшая дорога и правда сперва показалась легче прежней. Потому что мы пошли по рельсовым путям. Хмурый стрелочник поглядел на нас, но ничего не сказал. Мы миновали товарный состав, от которого пахло конским навозом, и бодро зашагали по шпалам. На них от солнца выступила смола, она прилипала к голым подошвам. Это было не противно, а даже приятно.

«Исполнилась мечта о детстве, — хихикнул из густого осота у насыпи Травяной Заяц. — Шлепаешь босиком...»

«Ну, вот что, друг любезный, — отозвался я строгим тоном. — Ты или кончай играть в прятки и пойдем вместе, или — брысь домой».

«Лучше я «брысь», — опять хихикнул он. В осоте мелькнул полосатый хвост. (И с той минуты Травяной Заяц долго не давал о себе знать.)

А Ерошка вдруг сказал:

— Не потерял бы он лёпы. Они ведь у него тоже

без шнурков.

Я не стал удивляться и говорить «о ком это ты?».

Звенела солнечная тишина. Пахло рекой и железной дорогой, мир и спокойствие были в моей душе, Ерошка вдруг показался удивительно славным пацаном, почти родственником. Негромкая «Рио-Рита», что звучала у меня в голове (или опять же в душе?), обещала почему-то увлекательные и неопасные приключения. И слово «ласковость» снова шевельнулось у меня в памяти…

Но так было недолго. Рельсовые пути плавно повернули направо и ушли под обрыв, в черный полукруглый туннель. А нам с Ерошкой осталась хлипкая узкоколейка. Вот уж поистине «узко…» — шириной с приставную лестницу, по которой лазят на крышу. Она тянулась между водой и откосами, по прибрежной полосе, а полоса эта снова делалась захламленной, глинистой, заваленной корягами, а то и ржавой колючей проволокой. Порой рельсы со шпалами провисали над заполненными жидкой глиной провалами, как настоящие, перекинутые через ямы лесенки. Того и гляди ухнешь в эту жижу. Я шел за Ерошкой и в опасные моменты придерживал его за плечи

(тонкие, будто и правда гардеробная вешалка). Ерошка не возражал, сопел благодарно.

Иногда узкоколейка ныряла под кривые дощатые навесы. Под ними валялись по сторонам ржавые катера с пробитыми днищами, пароходные трубы и части гребных колес. Видел я и несколько якорей — большущих, вполне морских. Наверно, остались от той поры, когда реки были полноводными и до Малогды ходили с моря крупные купеческие барки.

Скоро оказалось, что, несмотря на хлипкость и заброшенный вид, этот рельсовый путь — действующий. Навстречу нам стали попадаться низкие гулкие тележки на колесах-роликах. На каждой стояли две плоские бетонные панели, составленные домиком. Ростом с меня. Толкали эти нелегкие сооружения сумрачные небритые дядьки. Нам приходилось уступать дорогу. Дядьки однако не ругали нас. Терпеливо ждали, когда мы найдем в стороне от колеи местечко посуше. Потом один оглянулся, устало спросил:

— Закурить не найдется, люди хорошие?

— Не курю, — виновато сказал я.

— А пацан тоже не курит?

— Тоже! — слегка ощетинился Ерошка.

Дядька, однако, не заметил его сердитости.

Сказал миролюбиво:

— Ну, оно и ладно…

— Куда они катят такую тяжесть? — спросил я, когда тележка отъехала.

— Это облицовка для туннеля, — со знанием дела разъяснил Ерошка. — За рекой строят Институт времени. Частицы времени будут разгонять в кольцевом туннеле, и эти плиты — для него.

На меня так и повеяло близостью Синего Треугольника. Но я проговорил обычным тоном:

— А почему вручную-то возят? Вроде бы не восемнадцатый век…

— Наверно, боятся, что мотовоз тут провалится…

Рельсы вывели на мостик, что перекинут был через овражек, в котором валялись друг на друге гнилые лодки. За мостиком началась покрытая высохшим тростником низина. Река отошла влево, откосы — далеко вправо. Ерошка, видать, не хуже меня знал дорогу. У столбика с жестяной ржавой табличкой прыгнул со шпал в трескучий тростник, и там обнаружилась тропинка. Она вела к невысокому бугру, который зеленой горбушкой подымался из сухой тростниковой желтизны. Это и была Точка.

7

Такое название придумал я в детские годы. Прочитал в какой-то книжке слова «точка на карте» и решил, что бугорок тоже как зеленая круглая точка среди желтого простора.

Наткнулся на бугорок я в те дни, когда впервые в жизни бродил в одиночку по окраинам Малогды. А бродил потому, что печалился. Жил я в ту пору у старшей сестры и ее мужа, а мама уехала в город Тавдинск, где «застрял» в долгой командировке некий Артур Сергеевич — мамин хороший знакомый и впоследствии мой будущий отчим (отец после войны поселился далеко в Белоруссии с другой семьей)…

Я тосковал по маме. Уезжая в Тавдинск, она обещала, что вернется через два дня и только «в самом крайнем случае» может задержаться там, но никак не дольше, чем на неделю. Все, даже я, доверчивый пацаненок восьми с половиною лет, понимали, что «крайний случай» неизбежен. А неделя показалась мне длинной, как месяц.

Она, эта неделя, должна была кончиться первого августа. Но, может быть, мама все-таки вернется раньше?

С утра я уходил на окраину города, по треску-

чему тростнику и болотной жиже пробирался на бугорок. С Точки прекрасно видна была излучина реки. Издалека желтоватая вода казалась голубой и отражала пухлые облака. Я терпеливо ждал полудня, когда из-за поворота появлялся колесный двухпалубный пароход «Победа» или маленький винтовой «Суворов». Они по очереди ходили до Тавдинска и обратно.

Ждать приходилось долго. Но я не скучал. В ожидании была надежда. Я жевал прихваченную из дома горбушку, следил за блестящими длиннокрылыми стрекозами, которые безбоязненно садились мне на плечи и на колени. Впитывал облупленными от загара плечами летнее солнце. Иногда оглядывался на ровную луговину, что зеленела позади желтого болотца. Там, далеко, ярко светилась под солнцем одинокая белая церковь.

Не знаю, почему ее выстроили посреди пустого поля, далеко от домов, но тогда мне казалось, что это очень правильно. Ей, этой церкви, было совершенно необходимо стоять там, среди ровной зелени, под летней синевой с белыми кучевыми облаками.

Церковь была стройная, с плавными сводами у крыши и круглой башней, увенчанной куполом-луковицей. Купол был пробит, один угол

здания обрушен, и все же мне этот храм казался удивительно красивым. Сказочным. То, что он *есть*, вселяло в меня тихую радость и прогоняло тревожные мысли.

Когда показывался пароход, я вскакивал и мчался через тростник, через всякие чертополохи, потом по извилистым переулкам, деревянным лестницам и мостикам через овраги. Вдоль воды (как шли сегодня) я не бегал, потому что боялся сердитых сторожей в будках у рельсов.

Я прибегал на пристань как раз в тот момент, когда пароход подваливал к дебаркадеру. Забирался на пирамиду пустых, пахнувших селедками бочек и, замирая, следил за пассажирами, что вереницей шли по сходням. Чем дольше, тем жиже делалась вереница, тем печальнее становился я. И когда сходили на берег последние задержавшиеся старушки с мешками и появлялось горькое понимание, что ждать уже не имеет смысла, я спускался с бочек. И, отрешенный от всего, брел домой — босой, в штанах с оторванной лямкой, с цепкими семенами сорняков на полинялой майке и в белобрысой отросшей челке.

Дома взрослая сестрица привычно ругала меня:

— Носишься неизвестно где! Обед уже давно

остыл… Приедет мама, все расскажу…

Ох, да только бы приехала! Я и сам расскажу без утайки про все свои грехи. Даже про то, как мы с Толькой Петровым пробрались на задний двор соседней пекарни и стырили там два тележных колеса для пушки, которую мастерили из водосточной ржавой трубы…

Я жевал холодную картошку, запивал жидкой простоквашей и послушно обещал сестрице, что «больше со двора ни ногой». И знал, что завтра утром снова убегу на Точку. И снова будут тишина, солнце, стрекозы, синяя излучина и белая церковь в лугах. Будет *надежда*… И надежда сбылась! Спасибо белой церкви! Мама вернулась не первого августа, а на день раньше. Она сошла по трапу, тоненькая, как девочка, в белой косынке и знакомой синей кофточке, с легким фанерным чемоданчиком, с корзинкой, полной красной смородины…

Я летел навстречу, за мной прыгала и гудела слетевшая с верхушки пирамиды бочка.

— Ма-ма! Я здесь!..

А на пароходе «Победа» играли «Рио-Риту».

Эта неслышная музыка звучала и сейчас над Точкой. Звучала сквозь безмолвие и шелест бабочек (стрекоз нынче не было), сквозь посапывание

притихшего Ерошки, что устроился в двух шагах от меня.

Я лежал в траве навзничь и видел над собой пухлые облака. А еще видел — не глазами уже, а всем существом — излучину, пушистые верхушки белоцвета, лиловый иван-чай и стройную церковь, что ярко белела вдали, за тростником и высокими травами.

Потом я перевел взгляд вбок, на Ерошку. Он сидел, чуть откинувшись и опираясь позади себя ладонями. Смотрел вперед, приподняв подбородок, и шевелил губами. Трикотажную кофту с кенгуренком он сбросил в траву и был в безрукавной белой маечке с дыркой на боку. Тощий, ребристый, беззащитный какой-то. И быстрая тревога за это щуплое существо вдруг мгновенно кольнула меня — как в давнем сне про поезд и озорного Ванюшку. Но… кольнула и растаяла под тихим безмятежным солнцем. Ерошка шевельнулся, подтянул к подбородку колени. Широкие штанины съехали от колен далеко назад. Худенькое незагорелое бедро засветилось, как свежая древесина. Я увидел на коже расположенные подковой коричневые шрамики-бугорки. Словно след укуса.

Ерошка торчком поставил на пятку ступню. На

оттопыренный мизинец села лимонная бабочка. Ерошка быстро шевелил мизинцем, но бабочка не улетала. Да он этого, наверно, и не хотел, играл с ней.

Я посмотрел на свою левую ступню. Но мой мизинец давно уже стал нормальным, не высовывался из общего строя.

Потом бабочка все же улетела, а Ерошка, не глядя на меня, попросил:

— Дядя Слава, выключи «Рио-Риту»…

Я не стал удивляться, что он слышит мою «мысленную» музыку. (Наверно, в такой тишине все возможно.) Только сказал:

— Это старинная мелодия… Тебе не нравится?

— Нравится. Но может разонравиться, если очень долго… Я сделал усилие, представил, что убрал с пластинки иглу.

Стало еще тише. Ерошка погладил шрамики на бедре (может, ощутил мой жалостливый взгляд).

— Кто это тебя так цапнул? — осторожно спросил я.

— Это не «цапнул». Это колючая проволока. В мае приезжал зверинец, клетки стояли на площади, где водокачка. А кругом забор с проволокой.

— И ты полез без билета…

— Я и еще два пацана… Денег не было, а очень

хотелось поглядеть на обезьяну. А сторож увидел… Дядя Слава…

— Что?

— А ты не думаешь, что Травяной и Песчаный Заяц был сперва обезьяной?

— С чего ты взял?

— Не знаю… Мне помнится, что давно-давно у меня, у трехлетнего, была тряпичная обезьяна. Я, наверно, с ней плохо обращался, потому что она куда-то пропала…

Ерошка говорил тихо и сипловато, и мне в его голосе вдруг послышалась нешуточная печаль.

— Нет, Ерошка. По-моему, раньше он был котом. Хвост у него до сих пор кошачий…

— А по-моему, он все же был обезьяной, — вздохнул Ерошка, словно о чем-то важном. — Дядя Слава…

Что его еще беспокоило?

— Слушаю вас, сударь…

— Дядя Слава, а у тебя есть сейчас жена?

— Нету… сейчас.

— А почему?

Не хотелось мне дипломатничать. И лень было, и… горьковато стало.

— А вот так… Разные мы оказались. Я хотел, чтобы у нас был ребятенок, а она желала светской

жизни. И сделала аборт… небось, знаешь, что это такое…

Он только хмыкнул. Конечно, современный ребенок…

— И ты ее прогнал?

— Просто расстались. Причем не сразу и по-мирному… Не мог я дальше…

— Потому что она будто предала… да? — понимающе сказал он.

Вот уж не думал, что когда-нибудь стану обсуждать эти проблемы с десятилетним сорванцом. Но чего только не случается, если в Синем Треугольнике узлами перетянуты пространства и события… Или Заяц уже отпер ящик и развязал узлы? От него всего можно ждать…

Я сказал честно (и даже в горле щекотнуло):

— Понимаешь, я ждал: будет, мол, мальчонка или девчурка… а вместо этого…

Помолчали мы, и под мирным солнцем горькие мысли снова быстро исчезли. Но не совсем. Потому что Ерошка спросил:

— А ты хотел, чтобы кто был: *он* или *она*?

— Я… да лучше, чтобы сразу оба. Так ведь случается иногда.

— Но хлопот-то сколько… — серьезно заметил Ерошка. Словно речь шла о реальных планах.

— Ну и пусть, — так же серьезно отозвался я.

— Тогда что... тогда уже пойдем, наверно? — Ерошка легко вскочил. Поднял из травы и накинул на себя кофту.

Мне еще не хотелось уходить. Но Ерошка... может, он спешит куда-то? В самом деле, сколько он может нянчиться со мной!

Перед уходом я попрощался глазами с церковью. Теперь она была с целым, покрытым зеленой краской куполом, с большим крестом из тонкого золоченого кружева. Неподалеку от нее стояла новая, тоже белая колокольня.

8

Обратная дорога показалась более короткой и легкой. Хотя на пути опять попадались тележки с панелями и хмурыми возчиками.

— Ерошка, а почему они снова едут навстречу? С грузом!

— Наверно, потому, что туннель кольцевой, — не очень-то понятно откликнулся он.

От пристани мы решили идти верхними улицами — хватит прибрежной экзотики. На мостках рядом с дебаркадером помыли ноги, я наконец обулся, и мы двинулись по лестнице, что вела вверх от дощатого речного вокзала. Лестница

была извилистая, скрипучая. Время от времени она прерывалась площадками с некрашеными перилами и скамейками. На полпути мы присели отдохнуть. Ерошка сел боком к перилам, положил подбородок на занозистый брус. Стал смотреть куда-то за реку. Его плечо остро торчало под пыльным обвисшим трикотажем.

— Замучился ты со мной, — нерешительно сказал я. Он шевельнул плечом:

— Да нет, все о'кей… — Это молодецкое «все о'кей» прозвучало у него как-то не по-настоящему. Потом Ерошка встряхнулся, начал машинально приглаживать облизанной ладошкой растрепанную прическу. Посмотрел на меня, рассмеялся, разлохматил себя снова. Но мне показалось, что за смехом его — какое-то беспокойство.

— Тебе небось домой пора. Наверно, уже волнуются: куда ты девался…

— Кто волнуется? — бесцветным голосом отозвался он.

— Ну, кто… не знаю… — (Может, он сирота?) — Или дядя Альберт тебя одного дома оставил, когда уехал?

Ерошка поставил пятки на скамью. Обнял колени, уткнулся в них подбородком. В таком положении развернулся ко мне лицом. Серо-зе-

леные глаза стали очень темными. Даже тени появились под ними.

— Какой дядя Альберт? — с усталым вздохом сказал Ерошка.

— То есть… как какой…

Он выговорил, глядя в упор:

— Ну, неужели ты не понял до сих пор? Никакого дяди Альберта нет.

Холодок прошел у меня под рубашкой. Потому что я сразу поверил, понял: *никакого Альберта нет. И не было*. Пространство как бы перелистнуло прозрачную страницу, слегка изменив свою структуру.

Однако, все еще цепляясь за прежнюю реальность, я попытался спорить:

— А как же дом, у которого мы были? Крыльцо… Они чьи?

— Понятия не имею… — искренне сказал Ерошка. И сильно пожал плечами. Потом левой рукой взялся за оттопыренный мизинец на ноге, стал шевелить его и внимательно разглядывать.

— Послушай, а… сарай? Мой чемодан там…

— Нашел о чем думать… — бормотнул он.

«Но у меня же там рубашка чистая, носки, бритва. Я не могу ходить обормотом, как ты! И вообще, что все это значит…» — запрыгали в

голове заготовки правильных фраз. Вместо этого я тихо спросил:

— Тогда объясни: зачем ты пришел на вокзал? Он оставил в покое мизинец. Глянул исподлобья.

— А ты… так ничего и не понял?

Глаза были все те же — темные, с тенью под нижними веками. Но вроде бы мелькнули в зрачках желтые искорки. И я спросил, приблизив к нему лицо:

— Ерошка, ты кто?

Он сбросил пятки со скамьи. Отвалился спиной к перилам, раскинул по ним руки. Стал совсем другим Ерошкой — спокойно-озорным, без всякой печали.

— Посмотри как следует! Разве не видишь? Я — это ты.

Вопреки всякой логике его неожиданное озорство передалось и мне. Будто самое главное было теперь — победить в веселом споре.

— Ничего похожего! Вот ни настолько! — Про оттопыренный мизинец я помнил, но осторожно умолчал.

— Конечно! — обрадованно согласился он. — Потому что я состою как раз из того, чего у тебя никогда не было. Оно в тебя не влезло, когда тебя делали, и осталось, как лишние детали. И пошло

на меня.

Я не сдержал ехидства:

— Боюсь, что это не лучшие детали…

— Ну, как сказать! Кое-что тебе не помешало бы!

— Например? — уязвленно сказал я.

— Помнишь, как в моем возрасте ты ужасно боялся ос и шмелей? А я запросто ловлю их в кулак.

— Не было такого! Никогда я не боялся!

— *Здес*ь не боялся. А когда жил в Ермильске…

— В каком еще Ермильске! Даже и не слыхал про такой!

— Ох уж… — брызнул Ерошка насмешкой.

Мне бы рассердиться, но вместо этого в голове началась беспомощная сумятица, как при дремотных видениях иных пространств и головоломок: задержать, запомнить хоть какую-то деталь! Разгадать…

Я отчаянно прислушался к себе, к шелесту ветра в береговой траве, к гудкам катеров и тепловозов. Может, пространство перевернет еще один лист, и тогда все станет ясно?

Однако ничего не случилось. А Ерошка болтал босыми ногами и поглядывал выжидательно.

— Послушай… а сам-то ты где живешь? С кем?

На него опять словно тень легла. Не грусть, но озабоченность какая-то. Серьезность.

— Не все ли равно… Я, может, еще и *не живу* вовсе…

Что за дурацкая философия? У такого-то малька!

Но я не стал его поучать и воспитывать. Вместо этого поверил, что он и правда никуда не спешит. Никуда не хочет уходить… Потому что не к кому?

В обычной реальности я, конечно же, занялся бы выяснениями и расспросами. И повел бы ершистого пацана домой. Но сейчас действовали законы Синего Треугольника (завязанного к тому же узлами). В его пространствах жила логика снов (порою более закономерная и понятная, чем в моей прежней бестолковой действительности). И я без всякого сопротивления подчинился этой логике. Принял простой факт, что данный Ерошка теперь повешен судьбой на меня и я отвечаю за него… Перед кем? Перед собой, перед Треугольником, перед Травяным и Песчаным Зайцем. Смешно, да? А вот окажитесь в Малогде и увидите — не смешно, а все по правде.

— Тогда что? Идем? — сказал я. Он вскочил.

— Идем!

— А куда?

— Куда-нибудь, — беспечно сказал Ерошка.

И мы как-то сразу оказались на Ключевском спуске, недалеко от фотомастерской.

…Стекло уже было вставлено. Оно отражало улицу, деревья, прохожих, и внутри было ничего не разглядеть. Рядом с витриной оказалось еще одно окно, поменьше. За его стеклом были выставлены разные фотоаппараты. Старых образцов. Лейки, «Фэды», «Любители», «Комсомольцы», трофейные маленькие камеры с гармошками. И все они — вот странно (или не странно, а логично?) — были покрыты зеленой, точнее — военно-полевой краской. Может, их принесли сюда фронтовые корреспонденты? (Хотя едва ли даже на фронте красили фотокамеры в зеленый цвет.)

Лишь один аппарат был черным. Довоенного образца, «Фотокор». Ледериновая плоская коробка с выдвинутой на никелированных полозках гармошкой и гибким тросиком у блестящего объектива. В точности такой, каким снимал меня когда-то Мотя Гольдштейн!

На каждом аппарате был бумажный ярлычок с цифрами. Точнее, с ценами. Ясно, что аппараты продавались. И «Фотокор» стоил буквально гроши — «22 р.».

— Ерошка! Я хочу купить это… На память о давних временах.

Он отнесся с полным пониманием:

— Обязательно! — Подпрыгнул даже.

Мы по трем ступенькам вошли в прохладное помещение. И сразу я учуял знакомый запах старой фотомастерской — деревянных аппаратов, растворов, лака, крашеного холста громадной декорации. Из-за ширмы выдвинулась рослая пожилая тетка в зеленом платье до пола. Похожая на давнюю старуху Сонечку, но, конечно, не она. И в отличие от Сонечки разговорчивая и приветливая.

— Молодые люди пришли сниматься? Главного мастера нет, но я прекрасно управляюсь с заказами, можете мне доверять! Спросите клиентов, испортила ли Софья Мироновна Гольдштейн хоть один снимок! И пусть мне никогда больше не вставить стекло в эту витрину, если найдется бессовестный человек, который таки скажет «да»!.. Двойной портрет, не так ли? Крупный формат! Папа на стуле, мальчик справа, у плеча, в традициях давних времен. В этих традициях немало хорошего, уверяю вас…

Все-таки *она* или не *она*!

Как-то в беседах с Треугольником я услышал от

него рассказ о частичках (корпускулах!) времени, нанизанных на так называемый темпоральный вектор. Бывает, что эта нить рвется. Корпускулы перемешиваются в пространственно-временном континууме, и, когда их нанизывают (кто нанизывает, я не понял) снова на вектор, они могут перепутаться. И начинается чехарда с календарями, прыжками в прошлые времена, неожиданными встречами и событиями, которые случаются раньше своих причин…

Это проскочило в голове быстро и как о вещах в общем-то заурядных. Я галантно сказал:

— Виноват, сударыня, но мы посетили вас по иной причине. В окне выставлены аппараты. Если не ошибаюсь, на продажу…

— О да! Да!.. Времена непростые, иногда не имеешь, на что купить химикаты. Пришлось пожертвовать частью коллекции… Что вас привлекло?

— «Фотокор».

— А! Вы имеете правильный выбор! Замечательная камера. И вполне действующая… У Моти была когда-то такая же, но пришлось обменять на буханку, когда он нечаянно потерял хлебные карточки…

— Вы позволите взглянуть?

Софья Мироновна торопливо принесла аппарат. Я немного помнил, как им пользоваться. Вдвинул гармошку, захлопнул коробку. Потом открыл камеру опять. Взвел спуск, щелкнул…

— К нему полагается еще футляр и пять кассет, — суетилась старуха Сонечка. (Все-таки явно *она*. А кто же Мотя? Сын, внук? Ну, ясно же, что не муж, тот был *другой* Мотя. Что с ними сейчас? И какое в данный миг *сейчас*?) — Жаль только, что не сохранился штатив. Но можно ставить аппарат на стол, на скамейку. Мотя часто так и делал…

Она принесла черную квадратную коробку с блестящим замочком — футляр — и пять плоских кассет.

— Пластинки в них старые, но еще вполне пригодные…

— Благодарю вас. Позвольте расплатиться.

— Ах да… А может быть, вы все-таки согласитесь на портрет? Такой замечательный папа, такой фотогеничный мальчик…

Я прикусил губу: этот-то охламон? Впрочем, мастеру виднее. Посмотрел на Ерошку:

— Согласимся, Ерофей?

— Ага… — радостно выдохнул он.

— Чудесно! — возликовала Софья Мироновна. — А то сегодня еще не было ни одного посетителя!

Если не считать юное создание, чуть помладше Ерофея. Но как его можно считать приличным клиентом, если оно влетело сюда сквозь стекло на этой ужасной новомодной доске с роликами, у которой заграничное название. Дети носятся на них, не думая, какое горе будет у мамы и папы, если ребенок свихнет себе шею…

— Но это создание не свихнуло? — опасливо спросил я (шея с готовностью заболела).

— Слава Богу, нет! Герой отделался царапинами…

— А был герой… случайно не в матроске?

— Представьте себе, да! Именно да! Матроски нынче не очень-то в моде, но этот оказался таки с большим синим воротником и якорями на рукавах, как в свое время у Моти… А вы его знаете, этого наездника?

— Просто на улице обратил внимание на мальчика с пришитым матросским галстуком и забинтованным коленом.

— Да-да… Ну, мы можем уже приступать, не так ли? Ерофей, голубчик, выдвини на середину вон тот высокий стул, будь добр…

Ерошка с готовностью поволок из угла нечто вроде трона с резной спинкой и бархатным сиденьем.

— Подожди, мальчик! А почему ты хромаешь? Разве он хромал? Я и не заметил.

— Да ерунда, — быстро сказал Ерошка. — Немного наступил на крошку от шлака.

— Мальчик говорит «немного наступил»! Там наверняка прокол!

— Да нет же, не насквозь! Просто надавило. Вот… — Он поджал ногу и вывернул ступню.

— Ну-ка? Да, хорошо, что не до крови. Но ведь болит?

— Не сильно…

— И зачем это мальчики так любят гулять босыми? Мотя тоже… Ничего не могла с ним поделать. Вы не поверите, один раз даже отшлепала…

— Пожалуй, мне придется поступить так же, — сообщил я, без большого труда входя в роль папаши. Ерошка тоже сыграл свою роль: не возмутился, не отрекся от моего отцовства, а надул губы и виновато пробубнил:

— А чего… Если кеды потерялись, а новых нету…

— Отсюда пойдем в обувной магазин…

— Зачем ходить в какой-то магазин, где с вас возьмут двойную цену! — всполошилась хозяйка мастерской. — Я имею для недорогой продажи все, что вам надо! Жизнь такая, что заставляет

заниматься не только искусством, но и мелким ширпотребом… Вот! — Она сгребла в сторону створчатую ширму, и у стены обнаружились наклонные полки со всяким товаром. Парфюмерная мелочь, повисшие разноцветными языками носки и галстуки, пластмассовые фигурки, флаконы и несколько пар летней обуви разного размера.

— Вот славные башмачки! — Софья Мироновна похлопала подошвой о подошву бело-зелеными, легонькими на вид кроссовками. — Как раз для мальчика, который много гуляет с папой…

Мальчик нерешительно посмотрел на нее и на «папу»:

— Дорогие небось…

— Сущие пустяки! Главное, чтобы пришлись впору. Сядь и примерь.

Ерошка боязливо зашевелил ступнями.

— Да ну… Лапы вон какие грязные…

— Надень носки, они потом легко отстираются. С ними будет даже симпатичнее, ведь сниматься-то будете в полный рост.

Софья Мироновна дала Ерошке ребячьи носочки — белые, с рисунком из крупных зеленых кузнечиков. Похожих на кенгуренка по имени «Cicimora».

В этих носочках и новеньких кроссовках помя-

тый Ерошка вдруг обрел вполне интеллигентный вид. Особенно когда Софья Мироновна велела ему подтянуть штаны и заправить в них балахонистую майку-фуфайку — под поясок со шнур-ком. А после того как она гребешком реставрировала на Ерошке прежнюю «английскую» прическу и влажной фланелевой рукавицей оттерла колени, получилось прямо образцовое дитя. Этакий мальчик из чинного лондонского пригорода.

Ерошка не сопротивлялся. Кажется, был даже рад такой метаморфозе…

Съемка оказалась минутным делом.

Я расплатился за аппарат и обувь (бумажник был с собой). А про плату за снимки хозяйка мастерской сказала, что пока не надо.

— Потом, когда получите портреты. Приходите за ними на той неделе…

9

«На какой «на той неделе»? — думал я, уходя из мастерской. — Будет ли она? И найду ли я снова Ключевской спуск?»

Ерошку такие мысли не беспокоили. Он весело пританцовывал на ходу в своих новеньких кроссовках. Сказал даже:

— Дядя Слава, спасибо. Замечательные лёпы…

А потом опять:

— Дядя Слава…

— Что, дитя мое?

— Можно, я понесу аппарат?

— Сделай одолжение.

Ерошка с удовольствием надел через плечо прикрепленный к футляру ремешок.

— Дядя Слава, а ты дашь мне разок щелкнуть аппаратом? Я знаю как…

— На здоровье. Сам я и не собираюсь им снимать.

— А зачем купил?

— Я же говорил: на память…

Ерошка присмирел. Кажется, он чутко уловил в моем голосе нотку раздражения. Оно и правда зашевелилось во мне. От неожиданно трезвых мыслей. «Ну а дальше-то все-таки *что*? Куда идти, чем заниматься? И кто же все-таки *он*? Как с ним быть дальше?»

Ерошка сбил шаг, сказал вполголоса:

— Ты на меня злишься, да?

— С чего ты взял?

— Ну… про дядьку Альберта наврал. Новые башмаки выпросил…

— Ничего ты не выпрашивал, я сам купил! Подумаешь, расход какой…

— И вообще. Приклеился и таскаюсь следом… Но я не виноват…

— Дурень, — сообщил я с моментальным раскаянием. — Ничего такого я не думаю. А думаю… что оба мы голодные. Где-нибудь поблизости есть столовая?

— Есть… Только опять будешь на меня тратиться. Сперва кроссовки, потом обед…

До чего щепетильный субъект! Я уже собрался заявить, что если он готов глотать слюни, когда я буду лопать щи и котлету с макаронами, то пожалуйста…

И тут нам встретились знакомые — на тротуаре у входа в компьютерный салон «Семь измерений». Вышли оттуда и округлили глаза.

Это были «Нэлька и Зинка Патраковы», дочки кожевенного бизнесмена.

— Здрасте, — сказали они мне. А Ерошке: — О-о! Кого мы видим! Сам Ерофей Ерофеич! И в каком-то непривычно джентльменистом обличий…

— Ты, Зинка, помолчи лучше, — сумрачно ответствовал Ерошка девице с кристалликами на ушах. Другая (очевидно, Нэлька) обратилась ко мне:

— Вы не доверяйте этому типу. Внутри он знаете какая коварная личность. И про нас небось

наговорил вам всякое…

— М-м… нет…

— Небось, что мы дочки миллионера или торговки наркотиками. Или еще кто похуже…

— Ничего я не говорил! — Мы стояли посреди тротуара, и Ерошка тяжко сопел, растопырив локти.

— Говорил, говорил, — не поверила ему и мне Зинка. — А знаете почему? Сводит счеты. Мы ему три дня назад на пляже ухи накрутили.

— Молчи, козлиха крашеная, — с пружинистой угрозой произнес Ерошка и качнулся вперед. Я удержал его за плечо.

— За что же вы подвергли ребенка столь мучительной процедуре?— Ха! Еще не так надо было подвергнуть! — разом воскликнули красавицы. А Зинка, мотая клипсами, разъяснила: — Он знаете что? Он вертелся там у женских раздевалок и подглядывал…

— Врете! — взвыл Ерошка. — Дядя Слава, врут! Вот хоть кто буду, врут! Было бы на что глядеть, воблы драные!.. — Он рванулся, сжав кулаки, я опять ухватил цыплячьи плечи. В голосе Ерошки звучали нешуточные слезы. Девицы обворожительно просияли и пошли прочь, умело двигая попками.

— Шкыдлы паршивые! — взвыл им вслед Ерошка. — Дядя Слава, ну врут же совсем по-гадючьи!.. — В глазах его дрожали капли. Лопухастые уши были помидорными, словно их накрутили сей момент.

— Будь мужчиной, Ерофей. Стоит ли так реагировать на девчоночий треп! Я и сам вижу, что врут. Ты небось просто шел там, а они привязались…

Он все еще колюче растопыривал локти и дышал, как перегретая скороварка.

— Я… не просто шел… Мне там… надо было…

— Искал кого-то? — подсказал я.

— Да… — Он стал дышать потише, указательным пальцем почесал под носом. — Хотел встретить Еську…

— Кого?

— Одну… девочку. Она должна приехать сюда… и оказаться у реки… — Он еще раз чиркнул пальцем под носом и крепко замолчал. Будто понял, что сказал лишнее.

«Ну и ладно, не хочешь — не говори», — слегка обиделся я. Но сказал бодро:

— Инцидент исчерпан. Идем искать заведение общепита. Ерошка вскинул глаза. В них все еще был излишек сырости, но «ухи» уже принимали

нормальную окраску.

— Если еще раз коснешься финансовых вопросов, поступлю с тобой как Нэлька и Зинка, — сурово предупредил я. — Или как Софья Мироновна с Мотей. Она сочла меня твоим папашей, значит, имею право…

Он не возмутился. Конфузливо шмыгнул носом, хихикнул:

— Не надо как Мотю, я уже большой. Лучше просто дай по шее тума`ка.

— Чего-чего?

— Тума`ка, — увесисто повторил Ерошка. И на ходу пнул кроссовкой блестящую пивную пробку.

— Могу и дать. Только надо говорить «ту-ма-ка`». Грамотей…

— Можно и так… Но «тума`ка» больше подходит.

— Для твоей шеи? — хмыкнул я. Он глянул искоса и буркнул:

— Не для шеи, а для стихов…

— Это для каких же?

Ерошка поддал ногой очередную пробку. Вздохнул:

— Которые… я сочинил.

Я помолчал, переваривая информацию. Надо

же — он сочиняет стихи! И сказал очень осторожно:

— А про что они?

— Ну, так… про обезьяну…

— Из-за которой ты ногу ободрал? — вспомнил я.

— Не… Про другую. — Ерошка шел сбоку от меня, с опущенной головой, на которой все еще сохранялась «интеллигентная» прическа.

Я сказал с прежней осторожностью:

— Может, расскажешь… стихи-то?

Ерошка не стал упрямиться. Лишь спросил тихонько:

— Смеяться не будешь?

— Я, по-твоему, кто? Полная скотина?

— Ну ладно… — И, не поднимая головы, он забубнил на ходу. Негромко, но разборчиво:

У меня жила макака —
Очень вредная была.
Я разок ей дал тума`ка,
И тогда она ушла.
Насовсем…

Хоть была она вреднюга,
Но меня печаль грызет.

А она живет на юге
И обратно не придет.
Никогда...

Иногда меня заплакать
Даже тянет по ночам —
Так мне жаль мою макаку,
Что я стукнул сгоряча
Кулаком...

Он попыхтел, словно закончил тяжкую работу. И буркнул:

— Ну вот... все...

— М-м... у тебя несомненный литературный дар, — сказал я почти честно.

Он хихикнул — знакомо так, «по-ерошечьи»:

— Есть в кого...

— Это в кого же?

— Мало ли... А тебе понравилось?

— Да... Ощущается в твоих виршах этакая... драматическая струна...

Ерошка вдруг развеселился:

— Чего-чего? Это же дурацкие стихи! Шуточные! А ты думал, в них душевное страдание? Ха!..

Я хотел сгрести его за кофту и дать тумака. Или поступить как с Мотей. Но этот «Кикимора» от-

скочил и заприплясывал в трех шагах.

— Иди сюда, пиит недозрелый! А то хуже будет! — зверски сказал я.

Он, танцуя, вытянул руку:

— Смотри! Вон столовая.

Мы подошли. Дверь была распахнута, но поперек прохода висел шнурок с табличкой «Обед».

— Кому обед, а кому шиш без масла, — резюмировал я. Впрочем, без большой досады. Запах, доносившийся из полутемного помещения, не повышал аппетита: кислая капуста и вчерашняя вермишель.

Ерошка примирительно взял меня за рукав.

— Дядя Слава, да ну ее, столовую. Пойдем на Катерную пристань. Там есть один человек, мой знакомый. Он в это время всегда варит обед. Хватит на всех…

— Что за человек? — спросил я без удовольствия.

— Ну, заведующий пристанью, дядя Жора. Он с дядей Альбертом учился в одном классе…

— Слушай! Но ты же знаешь, что никакого дяди Альберта нет! И не было…

Ерошка опять весело отодвинулся.

— Дяди Альберта нет, а дядя Жора есть.

— С тобой не заскучаешь, — только и сказал я.

— Ага… — выдохнул Ерошка, но уже без прежней веселости.

…Мы прошагали через новые многоэтажные кварталы, которые были мне совсем незнакомы. И снова оказались на берегу — неподалеку от похожего на крепость монастыря. Здесь берег был особенно высок. И он спускался к воде не просто крутыми откосами, как помнилось мне с малых лет. Теперь откосы эти перебивались длинными террасами, по которым тянулись одноэтажные улочки с тесовыми крышами, с рябиной и сиренью в палисадниках. Вот удивительно: улицы старые, с кривыми домишками явно довоенной постройки, а я их не помню…

Да, но как же не помню, если знаю, что верхняя называется Тополиный Скат, средняя — Лесосплавщиков, а нижняя — Лодочная!

Я тряхнул головой. Пространство охотно перелистнуло еще один прозрачный слой, и то, что было странным, стало обычным (только Малогда ли это или уже нечто другое?).

Когда-то на Лодочной, в кривом и приземистом доме с мезонином, обитала пожилая дама, которую звали Нина Адольфовна Кирхгоф. (И кто-то еще там обитал, но я не помню.) Нина Адольфовна была давняя знакомая моего отчима. По его пору-

чению, а также и по своему интересу, я регулярно ходил к ней за книгами. У Нины Адольфовны была большая библиотека из книг, сохранившихся еще с «до революции». Для отчима я выбирал тяжелые тома Сенкевича (Артур Сергеич любил исторические романы), а для себя — Майна Рида и Стивенсона с индейцами и пузатыми парусниками на пестрых, с позолотой, обложках.

Я брал увесистый клеенчатый портфель с прочитанными книгами, чтобы обменять их на другие, брал крючок-каталку из толстой проволоки и обруч от бочонка и отправлялся в путешествие.

Лодочная улица мне нравилась. На ней было много домиков с причудливыми крылечками, хитрыми чердачными надстройками и овальными «венецианскими» окошками. У заборов подымались джунгли уличных трав с пушистыми головками и желтыми соцветиями. С одной стороны громоздились на круче, над домами и заборами, сарайчики, баньки и голубятни. С другой убегали к реке — с ее плотами, буксирами икатерами — береговые откосы. Они, как пыльно-зеленой шубой, укрыты были бурьяном, крапивой, полынью…

Однако путешествие всегда было связано с

риском. Послушный каталке обруч беззаботно прыгал передо мной по упругим доскам тротуара, но портфель предупреждающе чиркал по ноге жесткой чешуей потрескавшейся клеенки: не зевай, гляди по сторонам.

Потому что в любую минуту могла появиться компания, которой командовал некий Стаська Язвицкий.

Не могу сказать, что это была шпана. Пацаны как пацаны, хотя, конечно, не ангелы. Но я-то был для них чужаком, который то и дело нахально шастал по «несвоей» улице. К тому же за моей потрепанной внешностью они проницательно разглядели сущность «маминой птички» и мечтателя-книголюба (они говорили «книголуп»). Поскольку я ходил здесь регулярно, как еженедельный почтальон, мои недруги дали мне кличку — нечто среднее между «почтальоном» и «читателем». «Читальён»! Конечно, Стаська придумал. Этот белобрысый тощий парнишка, где-то на год постарше меня, был весьма не глуп, сам любил книжки и отличался склонностью к язвительному рифмоплетству.

Когда «язвицкая» ватага выскакивала из засады, я сразу слышал злорадную боевую песню:

Чита-чита-читальён!

Пустим Читу на бульон!
Перца и укропу
Натолкаем в…

Конечно, перец и укроп туда они не толкали, но пинков по этому месту я получал немало (не очень болезненных, но оскорбительных). Могли также закатать в волосы и напихать за шиворот репьев. Могли сдернуть и завязать тугими узлами лямки штанов. Могли задрать майку и углем изобразить на животе какую-нибудь рожу. Несколько человек держат за локти и за щиколотки, а один рисует, облизывая от удовольствия губы. И ладно, если урода или клоуна. А то ведь может и фашиста в рогатой каске начертить…

Такое обращение с пленником называлось «мойдодырить». Наверно, потому, что эти процедуры были столь же кошмарны и унизительны, как издевательства кусачих мочалок, гонявших неумытого пацана «по Садовой, по Сенной». Только никакой добрый крокодил ни разу не спас меня.

Спасал железный обруч. Последнее средство. В самый безвыходный момент можно было надеть это железное колесо через плечо, как шинельную скатку. И тогда никто уж не мог тебя затронуть.

Опоясавший себя обручем как бы говорил: «Чур-чурок, я не игрок! Видите, я уже не гоняю колесо, а спешу по серьезному делу!» Сейчас трудно поверить, но в ту пору жили среди ребячьего народа разные твердые законы. Этакие кодексы уличного рыцарства. Кучей на одного и со спины не нападать, железками не драться, младших братьев своих врагов не задевать, купленные игрушки ни у кого не отбирать…

Вот и насчет обруча был закон. И несколько раз он меня выручал. Однако вскоре выручать перестал. Потому что недруги придумали новую песню. Видя на мне обруч, они меня не трогали, но всей компанией провожали до самого дома Нины Адольфовны, распевая звонкими голосами:

Чалка-чалка-обручалка!
Подотри себя мочалкой!
Обосрался с перепугу,
На себя надел подпругу!

И я стал ходить по Лодочной без обруча, уповая на везение или на быстрые ноги.

Был, конечно, и наиболее достойный выход. Бросить портфель, обвести врагов негодующим взором и гордо сказать: «Всей кодлой на одного, да? Один на один пыху не хватает?» И тогда все,

конечно, завопят: «Да ты чё! Давай с кем хочешь!» И добросовестно помогут выбрать равного по росту и силе противника.

Два раза я так и поступал. Но, увы, в поединках не преуспел, поскольку боевыми доблестями не отличался. И оставалось одно: проявлять повышенную бдительность и, приметив заранее врагов, давать деру.

Кстати, бегство не считалось недостойным приемом. Понимали же люди: больше некуда деться слабому одиночке. Мало того, такое отступление со стороны даже выглядело проявлением отваги. Спеша оторваться от улюлюкавших «догонялыциков», я с разгона прыгал вниз по откосу, в гущу чертополоха и крапивы. Враги не решались — уж очень ядовитыми были береговые заросли. Но я не боялся. С малых лет я открыл в себе свойство: всякие жгучие-колючие сорняки были ко мне снисходительны. Даже самая отчаянная крапива не жалила всерьез, а только чуть покусывала прокаленные солнцем икры и локти. Она была моей союзницей, и «язвицкие» злодеи малодушно отступали перед нею.

Но однажды мне ох как не повезло. Разгадавшие мою хитрость Стаськины приятели отрезали путь к откосу. Осталось одно — удирать вдоль

улицы. Я мчался по упругим доскам, а сзади нарастал топот.

Тем, кто догоняет, всегда легче. К тому же я был с портфелем, где лежали только что взятые у Нины Адольфовны два тяжелых тома. Тротуар делал плавный поворот. Чтобы сократить путь, я кинулся через плоскую груду кирпичного щебня, который кто-то высыпал в траву. На мне были сандалии с кожаными подошвами (ходить босиком в дом семейства Кирхгоф считалось неприличным). Стертая кожа скользнула на кирпичных обломках, я с маху полетел головой вперед…

Ободрал, конечно, все, что можно ободрать: нос, подбородок, локти, колени. Майка разорвалась на животе. Красные круги в глазах, боль во всем теле, как горячие угли. Но сильнее боли — справедливая ярость! Чего им от меня надо?! Шел, никого не трогал, а они… Гады!

Я вскочил. Не было уже ни капельки страха. Сквозь мокрые ресницы я разглядел подбегавших недругов. Сжал кулаки (с костяшек падали капельки крови).

Мальчишки полукругом встали в двух шагах. В их глазах я не увидел ни радости, ни желания поиздеваться. Лишь один — пухлолицый и

безбровый — улыбался с нерешительным злорадством:

— Ага, вляпался, Обручалка…

— Заткнись, — велел ему Стаська Язвицкий. Сорвал в траве подорожник и стал стирать у меня кровь с переносицы и подбородка. Тогда и другие принесли подорожники — молчаливо и деловито. Я ощущал касание прохладных листьев, боль делалась мягче, злость угасала. А растерявшие охотничий азарт мальчишки дышали сосредоточенно и виновато.

Краем глаза я видел, как самый маленький из них — стриженный под машинку и похожий на желтую шахматную пешку — подбирает вылетевшие из портфеля книги, сдувает с них кирпичную пыль…

— Ни фига, не помрешь, — неловко утешил меня Стаська. — Царапины неглубокие, скоро засохнут.

— Засохнут, конечно. Я привычный…

Малыш (которого так и звали — Пешка) принес портфель и книги. Стаська взял Майна Рида.

— А, «Квартеронка». Я читал… Остроносый приятель сунулся ему под локоть.

— Буквы какие-то «несоветские»… — Видимо, он усмотрел старинные «і», «фиты» и «яти» цар-

ского времени.

— Сам ты… — Яська хлопнул его по щетинистой макушке. А мне сказал: — Ты ничего пацан. Ладно, ходи по нашей улице, больше не будем мойдодырить.

Я испытал теплый прилив благодарности, но реагировал сдержанно: молча кивнул. Стал укладывать книги в портфель, мне помогали, путаясь руками. Пешка вдруг протянул прямоугольную бумажку.

— Вот… Она из зеленой книги вылетела…

Это был листок отрывного календаря — с числом «четырнадцать» и картинкой-корабликом. Наверно, его использовали как закладку. Я не стал толкать бумажку обратно в «зеленую книгу» (в Сенкевича), сунул в портфель отдельно.

…С той поры я ходил по Лодочной беспрепятственно. Мальчишки говорили мне «здоро`во», как знакомому, а Пешка даже подарил жестяную свистульку. Я теперь без опаски любовался живописными постройками, кручами и лесенками с узорчатыми перилами. Но… сделались эти путешествия какими-то пресноватыми. Не было в них прежней остроты и риска.

А в тот день, когда случилось примирение, я вернулся домой, вытащил книги, а за ними и

листок — и увидел, что он не обычный. Не от простого календаря. От иностранного. В ту пору, когда все иностранное было под запретом, он мог считаться редкостью.

Бумага была глянцевая, плотная. Над крупными цифрами 14 чернела надпись из фигурных (готических!) букв — OKTOBER. Еще выше — непонятные заграничные слова, а сбоку от них обозначение года — 192… Уголок с последней цифрой оказался оторван, не узнать, какой год. Под числом — тоже готический шрифт: Freitag (после сестра объяснила, что это — пятница). Вот интересно — я тоже родился четырнадцатого октября! Правда, не в двадцатых годах, а в тридцать восьмом, но все равно совпадение…

А самым интересным был тонко и четко отпечатанный рисунок. Легкий, накренившийся на быстром ходу двухмачтовый кораблик со множеством треугольных и четырехугольных парусов. Они круто выгибались под ветром. Я долго разглядывал его. Чудился какой-то «зов морей». Как в кино, когда смотришь «Дети капитана Гранта»…

Под рисунком была мелкая подпись: «Der Schoner mit Rahsegeln».

Уже после, в пятом классе, учитель Вильгельм Яковлевич Цвиккер перевел мне: «Шхуна с па-

русами на реях». И объяснил, что это особый тип судна со смешанным парусным вооружением. А пока я просто смотрел на суденышко и будто слышал: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!..»

Вот ведь как перепутываются в жизни беды и радости! Не грохнулся бы я на щебенке — и не было бы у меня листка со шхуной. (И не запала бы она мне в душу, и не появились бы потом репортажи о моем фантастическом плавании на шхуне «Томас Манн».) Потому что бумажка эта лежала в томе Сенкевича, которого я читать не собирался, считал скучным. Я и во взрослые-то годы его не очень любил и прочитал с интересом лишь «Камо грядеши»...

Обратная сторона листка была пустой. Без текста. Но я разглядел на ней нечто вроде водяного знака: проступал на гладкой белизне разлапистый, оплетенный канатом якорь, а под ним какое-то слово. Я пригляделся и снова разобрал иностранные буквы (начитанное дитя, знающее латинский шрифт): Bremerhaven. Догадался, что это название приморского города. И подумал, что календарь был наверняка специальный, морской, и висел в каюте у какого-нибудь капитана дальнего плавания...

Потом листок потерялся. И я даже думал иногда — а был он или приснился? Да и была ли улица Лодочная с домом Нины Адольфовны Кирхгоф?

Но вот, выходит, была. И есть.

Я взял Ерошку за руку, и мы стали спускаться по шаткой, похожей на деревянный трап лестнице. Через Тополиный Скат, через улицу Лесосплавщиков, на Лодочную…

10

Все здесь было как прежде, только дом Нины Адольфовны покосился пуще прежнего. И люди на Лодочной жили теперь, конечно, другие. Хотя кто знает? Вдруг снова раздастся из репейной чащи: «Чита-чита-читальён!»… Да нет же, я ведь с ними помирился!

Впрочем, ни одного мальчишки мы не встретили. А несколько девочек в разноцветных сарафанчиках и адидасовских майках вертели посреди немощеной дороги веревку и прыгали через нее. Ради меня они веревку опустили — чтобы перешагнул, а перед Ерошкой вздернули: перескочишь, мол, не барин. И он послушно перескочил и даже попрыгал, когда девочки вновь завертели скакалку (и при каждом прыжке все больше обретал прежний растрепанный вид).

Я прошагал вперед, а Ерошка, перестав скакать, с полминуты еще мирно говорил с девочками. Потом догнал меня.

— О чем это ты с ними беседовал? Он сказал без охоты, но сразу:

— Так… Спросил, не встречалась ли им девочка по имени Еська. — И стал опять приглаживать растрепавшиеся волосы. Заметил мой иронический взгляд и насупленно объяснил: — А иначе Еська может меня не узнать…

— Да кто она такая?

— Ну, кто… Просто Еська. Сам увидишь… — и начал старательно заталкивать майку с кенгуренком (или динозавром) под шнурок на поясе…

На изгибе улицы, на лужайке, где когда-то я проехался пузом по кирпичной щебенке, светились под солнцем несколько бетонных панелей. Вроде тех, что мы видели на тележках. Тоже были составлены домиком. Перед ними прыгала девочка лет семи — с легкими желтыми волосами и в платьице с рисунком из цветов-подсолнухов. Она бросала о панель красный мячик, и он ловко отскакивал ей в ладони. Мне почудилось, что на каждый удар мячика бетон отзывается еле слышным бронзовым звоном.

Ерошка понаблюдал за девочкой (машинально

приглаживая прическу). Потом озабоченно оглянулся на меня:

— Так ведь можно чего хочешь настукать. Мячиком-то…

— А что именно?

— Чего хочешь, — повторил он и вздохнул. — Панели, похоже, из *того* туннеля…

Я не понял Ерошку и никакой тревоги не ощутил. Мирно и беззаботно было на улице Лодочной.

Девочке Ерошка ничего не сказал. Вздохнул еще раз и тронул меня за рукав:

— Дядя Слава, идем…

Мы стали спускаться еще по одной лесенке. Ерошка впереди. Высокая крапива перегнулась через перильца и верхушкой зацепила его локоть. Ерошка по-девчоночьи взвизгнул.

— Вот нежности! Я в твои годы не обращал внимания ни на какую кусачую зелень.

Он быстро оглянулся.

— Ну и что? Я же говорил: я сделан из всего, чего нет у тебя…

Надо же, не забыл свою шуточку…

На песчаной полосе, недалеко от воды, стояла зеленая фанерная будка с прожектором на крыше и спасательными кругами на обшарпанной стен-

ке. От будки тянулся над водой дощатый пирс. На некрашеных перилах тоже краснели круги. А ниже их — наполовину в воде — висели бок о бок автомобильные покрышки.

Судя по всему, это и была Катерная пристань.

Рядом с будкой дымила прокопченная железная печурка с кривой трубой. На печурке булькал походный котелок.

Из-за будки возник босой широкоплечий дядька в тельняшке. Кудлатый, синеглазый, с трехдневной рыжеватой щетиной на лице. Увидал нас и расплылся в крепкозубой улыбке.

Я узнал сразу. Это улыбался мой бывший одноклассник. Не какой-то там мифический Гавриков (или Тавриков), а настоящий Жорка Аланов.

Славный такой парень. Он еще в младших классах часто заступался за меня, если приставали всякие дылды и агрессоры вроде Юрки Савёлова по прозвищу Танкист…

Жора, Ерошка и я сидели на корточках перед большим фанерным ящиком, недалеко от печки. Ящик заменял нам стол. Мы обедали. Ерошка оказался прав: каши, что сварилась в котелке, хватило на всех. Это была пшенка с прожилками говядины — такую продают в брикетах, для туристов. Она и пахла «по-туристически», дымком,

будто с костра, а не с печки.

А еще пахло речной водой, песком, теплым железом от печки и какой-то береговой травой, чей запах я помнил с малых лет, но названия травы не знал.

Было нежарко. В воздухе появился тонкий, чуть заметный туман, желтое солнце светило сквозь него мягко и уютно. Нам было хорошо.

Мы ели кашу из алюминиевых мисок и беседовали. Как и положено однокашникам, которые не виделись много лет. Впрочем, немногословно, без эмоций.

— Женат небось? — сказал Жора.

— Был…

— Понятное дело… А я так и не собрался. Не получается из меня благополучный житель государства Российского.

— Оно теперь далеко не у всех получается…

— Похоже на то, — кивнул Жора. — Но кое-кому все же везет. Борьку Тесёмкина помнишь? Такая сейчас фигура, банком «Аметист» ворочает да еще всякими предприятиями. Без охранников ни шагу. Уже два раза в него стреляли…

— Тоже мне везение…

— Ну… везение хотя бы то, что жив остался. Мы посмеялись.

— А Стасика Язвицкого помнишь? Он тут неподалеку жил.

Я сказал сдержанно:

— Припоминаю.

— Штурманом дальнего плавания стал, старпомом. И не где-нибудь, а на учебном фрегате «Лисянский». Я с ним два рейса корабельным плотником ходил, в Гибралтар и на Кубу… Я ведь служил на субмарине, а после дембеля потянуло поплавать по морской поверхности. На сейнерах поболтался, потом попал на парусник. А пару лет назад доктора прихлопнули мне медицинскую карту. «Чегой-то, — говорят, — юноша, у тебя клапана барахлят, подлечись». Ну, как поется в песне, «вернулся я на родину, шумят березки встречные…». Поступил вот на эту должность. Тоже вроде при флоте. И сторож, и спасатель, и начальник пристани, и сам себе капитан…

— И смотритель маяка, — кивнул на прожектор Ерошка. До этого он деликатно не встревал во взрослую беседу, деловито скреб ложкой о миску.

— И смотритель… Ну а до этого «смотрительства» все же успел поглядеть на белый свет.

— По-моему, тебе повезло больше, чем Тесёмкину, — искренне сказал я.

— По крайней мере, больше шансов уцелеть, — хмыкнул он. — Только… опять как в песне: «Никто замуж не берет девушку за это…»

— Не спеши. Семейная жизнь — штука обоюдоострая. Жора аккуратно перевел разговор:

— А ты, я слышал, тоже успел поплавать.

— Да кто тебе сказал? Газетчик я. К тому же нынче безработный.

— Ну, а книжка-то твоя! Про синий кливер!

— Какой еще кливер?

— Ну, ты и скромник! Каким был в школе, таким остался… Подожди-ка!

Жора быстро сходил в будку и принес книжицу в сизой бумажной корочке с рисунком из круто выгнутых парусов (один треугольный парус был синий). Я увидел свое имя и фамилию. И название: «Под синим кливером».

С ума сойти… Откуда это?!

Торопливо открыл. На титульном листе — то же название, а ниже подзаголовок: «Путешествие на шхуне «Томас Манн» вдоль заморских берегов».

— Елки-палки… Жора, это кто-то собрал вместе мои репортажи и выпустил отдельной брошюрой!

— Не кто-то, а здешнее издательство, «Малогда-пресс».

Говорят, какая-то презентация была, да тебя не нашли, чтобы пригласить. А эта книжка теперь и в школьном музее стоит…

Вот скандал-то!

Я сказал честно и покаянно:

— Жора, я же все это выдумал! Это не рассказ о настоящем плавании, а… сплошное литературное творчество! А эти идиоты… без спросу…

Жору мое сообщение ничуть не раздосадовало.

— Ну и что же! Значит, интересно выдумал, раз всем нравится. Братья Стругацкие в своих книжках тоже все выдумали, а читаешь взахлеб…

— Или «Волшебник Изумрудного города», — опять вставил слово Ерошка. — Тоже выдумка, а будто по правде…

После этой реплики он деловито собрал миски и понес к воде. Я вспомнил, как он попросил у меня на вокзале автограф. Неужели тоже читал книжку «Под синим кливером»? Кстати, я никогда не давал своим репортажам такого названия. И не придумывал синего кливера для шхуны. Откуда там это?

А вот прочту все внимательно да устрою этой «Малогде-пресс» тарарам по поводу нарушения авторских прав!

А вдруг не было нарушения? Вдруг скажут: «Да

вы что, господин хороший» — и предъявят подписанный мною договор? В последнее время чего только не случается… И может быть, девочка-подсолнух на Лодочной настукала красным мячиком очередной перескок в хитром пространстве Синего Треугольника? Недаром же Ерошка опасался…

Я посмотрел на Ерошку. Он стоял по колено в воде и добросовестно оттирал миску пучком травы. Интересно, всегда он такой старательный? Не знаю… А что я вообще о нем знаю?

— Жора, ты помнишь в соседнем классе Альберта Таврикова? Или Гаврикова…

— Не помню… То есть не было такого. Был Глебка Тариков, на класс старше нас, он после девятого ушел в техникум связи…

— Нет, я про Альберта… Вот в чем дело. Вот этот юный друг говорит, будто вы с Альбертом Тариковым приятели, а он — его племянник.

— Тю-у… — вытянул губы Жора. — Ты его слушай больше. Он порой такого порассказывает, куда там Стругацким!

— А что это вообще за личность? Я-то с ним познакомился случайно, утром на вокзале…

Жора поскреб затылок.

— Да, признаться, я и не спрашивал. Думаю, из местных пацанов, а чей и где живет, как-то не

было случая узнать. Ерошка и Ерошка… Отирается тут иногда, помогает катера швартовать, когда подойдут. Болтаем порой, сидя у огонька…

— Смышленый пацан, но какой-то бесприютный… — сказал я. — Такое впечатление, будто ему некуда идти…

— Ну, не такой уж бесприютный, — отозвался Жора, который, как я понял, не любил в жизни лишних сложностей. — И одежка вроде не рваная, и кроссовочки, я заметил, нынче новенькие, купил же кто-то…

— Н-ну, да… — кивнул я.

— Ты подпиши книжечку-то на память старому школьному другу, — напомнил Жора.

Я вынул из внутреннего кармана курточки ручку (которую так и не вернул девицам). Положил книжку на ящик, присел, стал писать:

«Георгию Аланову, который, в отличие от нахального автора этой книжицы, плавал на настоящих, а не на придуманных кораблях…»

Подошедший с мисками Ерошка уважительно посапывал у меня за плечом. Жора тоже смотрел, как я пишу. Спросил:

— А шхуна «Томас Манн» есть на самом деле? Что-то я не слыхал про такую…

— В том-то и дело, что нет. Я ее придумал, как

все остальное…

— А кто он такой, этот Манн?

— Был немецкий писатель…

— Видать, нравится тебе?

— Да ничуть! То есть я почти не читал его. Только роман «Иосиф и его братья», да и то через пень-колоду. А откуда это название мне в голову стукнуло, сам не пойму. Привязалось, вот и все…

— Это не от писателя название, — вдруг веско сообщил Ерошка. — Это от кота…

— От какого кота? — сказали Жора и я разом.

— Который на верфи жил, где шхуну строили. В Бем… Брер…

— В Бремерхафене? — вспомнил я календарный листок.

— Ну да! Он там дружил с корабельщиками! Звали его Томас. И умный он был, как человек. А человек по-немецки «манн». Вот строители и дали шхуне такое название…

— Откуда ты это взял? Ерошка хихикнул:

— Вот те на! Сам написал в своей книжке, а теперь «откуда».

— Не писал я такого!.. Не помню.

— Это бывает, — снисходительно утешил Ерошка. — Сперва придумаешь, потом забудешь… Дядя Слава, можно, я сделаю аппаратом один снимок?

Я умею.

— На здоровье. Можешь хоть все пять. Сколько кассет…

— Правда? — возликовал он.

— Щелкай, сколько можешь.

Сам я не собирался снимать «Фотокором». Купил просто как сувенир. И теперь уже думал: «Зачем он мне? Был бы в самом деле Мотин, тогда хоть память о детстве, а то ведь просто похожий… Наверно, подарю Ерошке, когда будем расставаться».

А расставаться, конечно, придется. И, видимо, скоро. Солнце тихонько съезжало к вечеру.

Ерошка схватил футляр с аппаратом, отбежал с ним шагов на двадцать, туда, где валялся еще один ящик. Установил на ящике аппарат. Задрал на себе майку-фуфайку, присел, подолом укрыл себе голову вместе с камерой. Повозился, вставил кассету. Объектив был наведен на нас.

— Сейчас нас увековечат для потомков, — предупредил я. Слышно было, как щелкнул спуск.

Потом Ерошка снял идущий по реке буксир «Слава», пейзаж (заречную даль) и себя: уселся по-турецки перед объективом, взведя автоспуск (оказывается, была и такая штука в старинном аппарате).

И подбежал к нам.

— Дядя Жора, можно я проявлю пластинки в миске?

— Валяй.

— Откуда у тебя химикаты? — удивился я.

— А зачем они! Можно в воде!

— Ты спятил?

— Ничуть! Я сколько раз так делал!

Я хотел заспорить. Ведь испортит пластинки, балда! Но Жора сказал:

— Да пусть. Небось, он знает, что делает. В нашу реку столько химикалий спускают, что целую фотофабрику можно тут поставить…

Я пожал плечами. Два дурня — большой и малый. Но спорить не хотелось. Слегка осоловел я после каши, под мягким желтым солнышком. Издалека видел, как прямо на свету Ерошка достает из плоских кассет желтые стекла и бултыхает их в алюминиевой миске. Вот чудо-юдо бестолковое.

— Надо бы чайник согреть… — нехотя зашевелился на песке Жора. И вдруг хлопнул себя по лбу: — Совсем забыл! Тебе сестра звонила. Утром еще, велела передать, чтобы, если появишься, позвонил ей до пяти вечера. Обязательно…

Я замигал.

— Какая сестра?

— Как какая? У тебя одна сестра, по-моему… Ругалась. Говорит, почему он, такой-сякой, с вокзала сразу к нам не пошел…

— Да, но…

Однако с прозрачным стрекозиным шелестом перевернулся еще один лист пространства и сдул мое недоумение, как крошки со стола. Я тоже хлопнул себя по лбу. Ясно же, что сестра живет здесь, в Малогде, а не в Штатах (как мне казалось почему-то до сей поры). В Штаты она ездила лишь на месяц, к дочери и внукам… И почему я, идиот такой, не телеграфировал ей о приезде, а выдумывал какого-то Альберта?

— Жора! А как она узнала, что я приеду? И что загляну сюда!

— Без понятия… Ты давай-ка не медли. Телефон в будке… Ох, только бы этот кретин не разобрал его снова!.. Я тут взял в помощники Юрку Савёлова. Помнишь Танкиста? Самый тупой был в классе. Сейчас безработный, пришлось пожалеть…

Танкист! Мне ли не помнить эту скотину!

— Но я не помню номера! Который у сестры! У нее раньше не было телефона!

— Я нацарапал там, на кожухе…

Мы вошли в будку. У дощатого стола пыхтел

детина в пропотевшей майке. С покрытыми веснушчатой россыпью плечами и бритым складчатым затылком. По веснушкам и пыхтенью я сразу понял: Танкист.

Он копался в железном аппарате, похожем на старую партизанскую рацию. Она мигала огоньками и попискивала. На обшарпанном боку висела телефонная трубка и блестел никелированный диск с дырками и цифрами.

— Это и есть ваш телефон? — сказал я с сомнением.

— Он и есть… Коммутатор для связи с другими пристанями… Танкист! Починил? А то…

— Так точно, Георгий Максимыч, все в ажуре! — Он оглянулся, увидел меня, замигал. Заулыбался. — Ух ты… Никак, Мумчик? Откуда?

Непонятным прозвищем «Мумчик» звали меня в школе. Не все, конечно, а такие, вроде Танкиста. Ох, сколько натерпелся я от него в свое время!

— Это я, Танкист. Как дела? С электронным утилем труднее небось возиться, чем Мумчика изводить?

Он растопыренной лапой потер веснушчатые щеки.

— Да ладно, чё старое вспоминать… Давай пятерню, поздороваемся. С одного класса все же.

Я подумал и дал. В самом деле, чего старое вспоминать. Жора нехотя сказал:

— Там в котелке каша осталась. Иди пожуй… если правда все наладил. А то…

— Все в лучшем стандарте, командир, век баб не целовать! Звоните хоть на Марс!

Он торопливо протиснул себя из будки через хлипкий дверной проем (будка зашаталась). Жора сказал вслед:

— Лодырь, без палки ни одного полезного движения… Жрать не даю, пока дело не сделает… Ну, звони, номер вот он.

11

На облезлой краске кожуха было выцарапано: 222–72–11.

— Выход в город через «девятку», — объяснил Жора. — Но с диска она никогда не набирается, ты просто соедини эти два проводка… Действуй. А я пойду чайник греть.

— Ясно, — обреченно кивнул я. Потому что всеми нервами почуял. Начинается снова телефонный кошмар, который много раз мучил меня в «межпространственных» снах. Я обычно видел, что надо срочно узнать что-то неотложное, выяснить, все ли в порядке у тех, за кого тревожусь,

а цифры набираются неправильно, диск срывается, в трубке помехи, аппарат разваливается, кнопочная панель превращается то в подобие пишущей машинки, то в музыкальную клавиатуру, а играть я не умею…

И здесь — то же самое, хотя и не во сне (а не во сне ли?). Присев на табурет перед электронным сооружением, я соединил зачищенные концы двух проводов, снял трубку. И началось!

Сначала я услышал мелодию «Рио-Риты», и сейчас она меня вовсе не обрадовала. Раздернул и сжал провода снова.

— Неправильно набран номер… Неправильно набран номер… — механически задолдонил девичий голос.

— Дура! — в сердцах сказал я. — Ничего еще я не набирал!

— А если наберешь, все равно будет неправильно, — в прежней тональности отозвалась магнитофонная девица.

Я снова расцепил и сжал опять в пальцах контакты… Уф! В трубке ровно загудел эфир. Я завертел диск… Не надо было так поспешно. Диск соскочил с оси, звякнул на полу и укатился под стол… Ух, сколько слов я сказал горячим шепотом, отыскивая его на половицах!

И опять — провода… эфир… скрипучий диск… Наконец-то гудок!

— Неправильно набран номер… Непра…

— Ах ты… … … … …

Снова скрипучий набор. Снова обнадеживающий гудок. И…

— Аллочка, это ты? Сколько можно ждать! Вовочка уже варит пунш, а ты… Где ты застряла?

— В … — сказал я хриплым баритоном, чтобы не было сомнения: это именно Аллочка. И опять: 222–72–11…

— Дежурный по четвертому отделу прапорщик Гедеонов слушает…

— Я убью этого Танкиста! — взвыл я, забыв повесить трубку.

— Угроза убийства карается статьей номер… номер… сейчас…

Я не стал посылать прапорщика, все-таки на службе человек. И к тому же опять разъединились провода. Я застонал.

— Дядя Слава!..

Тебя мне сейчас и не хватало.

— Дядя Слава! Негативы уже готовы! У тебя есть в записной книжке чистые листки? Я на них напечатаю снимки.

«Не вздумай психовать, ребенок ни при чем.

Играет мальчик, чего такого…»

Я выдернул из блокнота несколько листов.

— Годятся?

— Маловаты, ну да ладно… — И ускакал. Чем бы дитя ни тешилось…

Взялся за телефон снова… Через пять минут взмок. Наконец диск сорвался снова и угодил в глубокую щель между половицами.

Я аккуратно повесил трубку. Аккуратно сжал кулак. И от души врезал по корпусу телефонной развалины.

Тут же взорвался трезвон. Я обалдело схватил трубку.

— Владислав! — раздалось в наушнике. — Ну, наконец-то! Ты куда провалился? Нет, ну ты совершенно бессовестный тип!

— Да я… я прибегу сейчас!

— *Сейчас* бежать уже нет смысла! Мы с Николаем уходим через пять минут. На вокзал! Едем в Москву, а оттуда летим в Атланту. К твоей ненаглядной племяннице, она опять прислала вызов. Еле выбили визы и наскребли на билеты… Слушай, не перебивай! Ключ в коридоре, под подоконником. Ну, ты знаешь… Живи сколько хочешь, пользуйся тем, что в холодильнике… Ты надолго?

— Не знаю. Может, совсем останусь, если найду работу и угол…

— Как тебе не стыдно! «Угол»! У нас три комнаты… Дождись нас обязательно! Целуем! — И в трубке: «Пи-и… Пи-и…»

Даже не успел спросить: «Откуда ты узнала, что я здесь?» Ну, ладно. По крайней мере, вопрос с жильем решен… Я утомленно обмяк на табурете.

— Дядя Слава! Смотри, что получилось! — Ерошка, в мокром и перекошенном своем костюме протягивал на ладонях сырые листки. — Я их прямо под солнышком! Шлеп, шлеп в воду — и готово!

Что такое?.. На бумаге из моего блокнота и правда было что-то вроде фотоснимков. Мутноватые, из мелких точек, будто третьесортные газетные оттиски, но все же… Да, можно различить меня и Жору на корточках у ящика. А вот буксир с неразборчивыми буквами на кожухе гребного колеса. И нечто похожее на заречную панораму…

— Как это ты ухитрился?

— Я же говорил, что умею! А вот это… смотри!

На четвертом снимке полагалось быть Ерошке. Он и был. Не очень похожий, но все же узнаваемый — по оттопыренным ушам, тонкой шее и кенгуренке в белом круге на груди. Но… он был

не один! Рядом торчала еще одна ребячья голова. С длинными, ниже ушей волосами.

— А это кто?

— Как «кто»! Конечно, Еська!

— Откуда она взялась? И когда ты успел снять?

— Да не взялась еще! И ничего я не успел! Просто это значит, что пора звонить! — Ерошка потянулся к телефонной рухляди.

В голове у меня была каша-неразбериха. Я тупо сказал:

— Диск отлетел, он в щели на полу.

— Достанем! — Ерошка повел над полом ладонью, и диск сам (так мне увиделось) выскочил из щели, будто к магниту.

Да, Ерошка не был подвержен телефонным кошмарам. Провода соединил в один миг, нужный номер набрал в две секунды. И…

— Еська!.. Ты — Еська? А это я!.. Ну, так давай же скорее, сколько можно ждать!

Он с размаха надел трубку на крюк. Оглянулся на меня — глаза были блестящие, радостные.

— А чего же ты раньше-то ей не звонил? — сказал я. — Ходил, расспрашивал…

Сияние в глазах у него поубавилось.

— Потому что номера не знал.

— А теперь как узнал?

— Ну… догадался посмотреть…

— Где посмотреть?

— Ну… — он слегка надул губы. Видимо, не хотел говорить почему-то, но и упрямиться не решался. — На бумажке.

— На какой бумажке? — продолжал глупо приставать я.

— Из твоего блокнота. Не помнишь, что ли…

— Да я же дал тебе чистые листки!

— Это для фоток чистые. А утром, с подписью-то…

— И он был чистый!

— А вот и нет!

— А вот и да! Не пудри мне мозги!

В самом деле, что за чушь! Откуда в моей записной книжке номер телефона какой-то незнакомой Еськи?

Ерошка, сжав губы, зашарил в трикотажных складках, протянул мне листок. Я замигал. Это… это был листок не из блокнота, а из старого немецкого календаря. Из *того самого*. С числом 14, с готическими буквами, с оттиснутым тонким рисунком-шхуной. На краю и правда был мой размашистый автограф. Однако…

— А где телефон-то? — глупо спросил я.

— Посмотри на просвет.

Я пожал плечами и посмотрел.

На бумаге, как и раньше, проступал разлапистый якорь с канатом. И буквы под ним. Только не «Bremerhaven», а «Malogda». А пониже — цифры: 002234.

Я чувствовал себя полным идиотом. Ерошка сопел — кажется, слегка злорадно. Потом недовольным шепотом объяснил:

— Пришлось только двойку спереди добавить… Каша в моей голове замесилась круче.

— А… — хотел я начать новые идиотские вопросы.

— Ну-ка, прекрати, — неслышно и строго сказал мне Травяной Заяц. Не из ближнего угла, а через большущее пространство. — Хочешь все поломать? Я хлопнул губами. Подумал и спросил обыкновенным тоном:

— А когда эта твоя Еська появится? Ерошка весело подпрыгнул.

— Наверно, уже появилась! Идем!

Еська и правда была уже здесь. Когда мы вышли из будки, она стояла в трех шагах от двери. Смотрела, нетерпеливо сжав опущенные кулачки. Девочка ростом с Ерошку и, видимо, ровесница.

Была она в куцей вельветовой юбочке, в желтой футболке с надписью «Велоспорт», в старых

сандалетках на босу ногу. Тонконогая, с коленками, похожими на крупные картофелины, с жидкими волосами того же цвета, что у Ерошки, с глазастым треугольным лицом и большим редкозубым ртом. Да, не красавица… Хотя… Если такие девочки улыбаются, то могут делаться славными. Кажется, у Заболоцкого есть на этот счет стихотворение…

Впрочем, такие мысли появились позже. А сейчас я растерянно «лупал» глазами. Потому что Ерошка подскочил к Еське, и они с маху обнялись. Изо всех сил. И стояли так с полминуты.

Ну и ну! Конечно, еще совсем пацанята и, кажется, давние друзья, но… все-таки неловко как-то, когда мальчик и девочка тискают друг дружку в объятиях, не стесняясь посторонних.

Ерошка наконец оглянулся на меня со счастливым лицом.

— Дядя Слава, это Еська!

— Вижу, — отозвался я небрежно, чтобы скрыть досаду и опаску. — А как у Еськи полное имя? Если не секрет…

— Полное — Елена, — охотно отозвалась она. — Мы с ним оба на «Е».

Ерошка теперь держал ее за кисти рук.

— Есть хочешь?.. Дядя Жора, скажите дяде Юре,

чтобы не ел всю кашу!

Жора, который с чайником в руках наблюдал от печки за всем происходящим, тут же отдал команду:

— Танкист, ну-ка тормози! И так толстый.

Юрка Савёлов, который работал ложкой над ящиком, нехотя оставил котелок.

— А чего… Тут еще на целую команду.

— Не, я не голодная… — Еська вдруг сморщила переносицу и провела пальцем по Ерошкиному лицу, от лба до подбородка. — До чего замурзанный! Небось не умывался с мая месяца. Буду сейчас приводить тебя в человеческий вид.

— О-о! — весело взвыл Ерошка.

— Марш купаться! — И она оглянулась на меня: — Можно? — Видимо, почуяла, что я сейчас над Ерошкой кто-то вроде начальника.

— Да вода-то… Сбросы же в ней, химикаты всякие! Жора, скажи!

— Пускай купаются, — рассудил Жора. — Нынешнее население ко всему привычное. И пляж функционирует…

— Ура! — Ерошка мигом сбросил просторное одеяние, остался в заштопанных пестрых плавках. А Еська — в полосатом желто-зеленом купальничке (той же расцветки, что Травяной

Заяц). Даже не в купальничке, а в трусиках и узкой полоске поперек плоской тощенькой груди, с тесемками на плечах. Оба худые, с похожими на коричневые палки руками-ногами. Еська схватила Ерошку за руку, потянула к воде. Он дурашливо поупирался, потом оба с разбега плюхнулись в желтоватую воду.

— Жора, там не опасно?

— Нормально. Не глубоко, и дно песчаное…

В воде — брызги, визги, плеск и тарарам. Потом они вразмашку сплавали метров на пять от берега и обратно. И снова «водный аттракцион» с воплями и кувырканием.

Еська выскочила из воды.

— Дядя Жора, мыло у вас есть?

Жора принес крупный коричневый кусок. Еська с ним опять ускакала в воду.

— Спасите! Не надо, оно кусачее! — тут же завопил Ерошка.

— Стой, не дрыгайся! Кому говорят!.. Жора смотрел на них с усмешкой.

— Ишь, радуются. Знать, давно не виделись…

— Радуются… только не слишком ли откровенно? — сказал я с опаской старого моралиста. Жора глянул недоуменно. Потом хмыкнул:

— Да ты что? Это же брат и сестра. Тьфу! Вот я

дурак-то…

— А откуда ты знаешь?

— Да Ерофей не раз говорил, что сестренку ждет, Еську. Она с весны где-то в деревне, у родных жила, а он скучал, видать…

Кое-что стало понятным. Не все, конечно, однако… Да и какое мне дело? Сейчас они выберутся из воды, я подарю Ерошке аппарат, и мы распрощаемся. Прощание не будет грустным, поскольку встретимся, наверно, еще не раз: я ведь решил остаться здесь надолго.

Я посмотрел, как ребята плещутся у берега. Впрочем, они уже не плескались. Еська бурно мылила Ерошке голову. Он повизгивал и дергался. Я подошел к воде:

— За что ты так мойдодыришь несчастного брата?

— А потому что волосы липучие! Всегда слюнявой ладонью их мажет, а голову моет раз в году… Ну-ка… — и она окунула Ерошку с головой.

Затем Еська быстро и умело выстирала костюм брата. Они его выкрутили, выжали и развесили на веревке, натянутой от будки к шесту у пирса. Я помог (веревка была высоко). Показалось мне — что-то не так. Мигнул, пригляделся. Под белым кругом с зеленым существом читалось:

«CICIROMA». Не «кикимора», а «кикиро`ма»!

Что это? Во время стирки буквы перепрыгнули, не выдержав мыльной атаки? «Да всегда так было, просто читал неправильно, — успокоил я себя. — Но что такое «кикирома»? Или «цицирома»?»

Ерошка продрог во время купания, был в пупырышках, как ощипанная птаха. Натянул свою белую безрукавую маечку. Еська хотела дать ему еще свою футболку, но он благородно отказался. Жора принес из будки короткий флотский бушлат, брат и сестра закутались в него, уселись на ящике.

— Сейчас чайник вскипит, согреетесь… А ты, Танкист, иди налаживай по новой связь…

Савёлов послушно ушел. Вечерело.

Я подумал, что Ерошкино обмундирование не высохнет до сумерек.

— Как ты в мокром домой пойдешь?

— А куда идти-то? — беспечно сказал он.

— Ну… домой…

— А он ключ потерял, — сообщила Еська. — А тетя Таня, у которой мы сейчас живем, приедет только завтра.

То дядя Альберт, то тетя Таня какая-то. Крутят что-то детки…

— Ключ-то на шее, — напомнил я.

— Так он же от сарая, — сумрачно сказал Ерошка. — От того, где чемодан прятали. А от дома нету…

— Ох, а чемодан-то! Надо же зайти, взять! Как я без бритвы…

— Да он уже тут, сидор твой, — весело сообщил Жора. — Давно доставили.

— Вот это да! Каким путем?

— Ну, брат ты мой… — непонятно сказал Жора. И мне показалось, что он переглянулся с Ерошкой. — Делов-то… Танкист! Вынеси багаж!

Тут же возник Танкист с моим чемоданом. Да, «кикирома»…

— Ну, ладно, братцы, до завтра… Хотя… А где проведут ночь любезные братец и сестрица?

— А мы к дяде Жоре попросимся! — бойко сообщил Ерошка. — Дядя Жора, можно в будке переночевать?

— Ну… я не знаю… — Жора был явно не в восторге. — Здесь же не пионерский лагерь. У меня никаких постелей нету…

— И не надо! Ляжем на брезент, бушлатом укроемся! Спасательный круг под голову…

— Что-то не та романтика, — с сомнением сказал Жора. — Лучше вот что. Ты, «дядя Слава», забери-ка этих юных бомжей до завтра к себе. У

сестрицы найдутся небось подушки-одеяла. Да и на ужин чего-нибудь…

Я заскреб затылок (мысленно). Вариант вроде бы разумный. Но… появлюсь я в «несвоем» доме с двумя «несвоими» ребятишками (из которых один к тому же почти голый). Увидят соседи — что подумают? Доказывай потом, что не вер-блюд… А кто соседи-то, кстати? И… на каком этаже живет сестра? И в каком доме. И…

— Жора, — выговорил я с тихим испугом. — А я ведь не помню, где живет сестра. Ни дома, ни улицы… Даже района не помню…

— У тебя что, крыша поехала?

— Наверно. Абсолютная пустота в голове…

В Малогде сестра после замужества жила отдельно от нас. Конечно, я не раз бывал у нее, но… хоть убей — не помню. Кто-то слизал адрес из памяти, как безжалостным «delete» из компьютера.

Жора посмотрел внимательно: не валяю ли дурака? Поверил:

— Ну ладно. Сейчас дозвонюсь до справочного, найдут адрес по телефонному номеру. — И ушел в будку. А я виновато остался на месте. Ерошка и Еська сидели ко мне спиной и, выворачивая шеи, поглядывали с интересом. Из будки сперва слышалась Жорина ругачка с Танкистом, затем все

затихло на пять минут. И наконец Жора возник в двери. С недоумением на небритом лице.

— Вот кретины… Утверждают, что такого номера в Малогде нет.

Я не удивился. Ждал чего-то подобного… Ладно, хоть чемодан с собой.

Жора посмотрел на меня, на ребят.

— Вот что, люди. Я вас все-таки спасу. Используя родственные связи… Пойдете по берегу до кирпичной водокачки. Там отрезок рельсового пути, на нем купейный вагон. Это что-то вроде пристанища для командировочных мелкого ранга и отставших от пароходов разгильдяев… Вообще-то туда пускают лишь с направлением из пристанской конторы, но вы скажете хозяйке: «От Жоры». Хозяйка эта, тетя Кнопа, моя… ну, вроде как двоюродная тетушка. Меня уважает…

— Знаешь, Жора, ты проводи ребят, а я лучше в гостиницу…

— В гостинице тебя обдерут как липку. К тому же в вагоне детей одних не поселят. А мне с ними некогда, скоро два вечерних катера подойдут. Не Танкиста же посылать с ребятишками…

Ерошкина одежда была еще сырая, он скатал ее в муфту.

Обулся, надел ремешок аппарата на голое пле-

чо. Взял меня за рукав и шепотом сказал:

— Ну вот. Никуда ты от нас не денешься…

Как-то затеплело у меня внутри. «Чудо ты костлявое, бесприютное…» Я взлохматил ему непросохшие, приглаженные волосы. Еська так же, как брат, взяла меня за рукав. За другой. «Еще одно чудо беспризорное…»

Был уже вечер, около восьми часов. Правда, солнце не спешило к горизонту — лето же, — только еще больше пожелтело. И сильнее, прохладнее запахло речным песком.

12

Мы попрощались с Жорой и пошли вдоль воды, мимо вынесенных паводком бревен. И минут через пятнадцать добрались до красной будки-водокачки (явно заброшенной). Здесь и правда был кусок рельсовой дороги, с двух концов ограниченный полосатыми брусьями на подпорках. На брусьях торчали разбитые фонари.

И вагон был — обшарпанный, с облезлым советским гербом на зеленой стенке.

И тетя Кнопа (вот имечко!) оказалась на месте. Грузная, весьма пожилая, с двумя похожими на черные бобовые зерна бородавками у нижней губы. Услыхав про Жору, отнеслась к нам ласково,

лишних вопросов не задавала. Отвела в купе.

— Вот электричества только нету… А постель стоит по червонцу за комплект.

Я взял три комплекта. И потом оказалось, что зря: брат и сестра заявили, что лягут на одной полке, чтобы разговаривать ночью (столько времени не виделись!). Я попробовал внушить им, что это неловко.

— Да чего неловко-то? — хихикнул Ерошка. — Мы с рождения в одной коляске спали.

— Мы ведь близняшки, хотя и непохожие, — добавила Еська.

— Я не про то. Свалитесь же, узкая полка-то.

— Мы тоже узкие, — рассудил Ерошка, развешивая мокрый костюм на поручнях под багажными сетками. Они решили устроиться на нижней койке. Я развернул свою на верхней, наискосок от их «лежбища». Но ложиться было, конечно, рано. Солнце из-за реки косо светило в широкое окно без шторок.

Судя по тишине в вагоне, жильцов здесь, кроме нас, нынче не было.

Я пошел к тете Кнопе в служебное купе. Спросил, нет ли в вагоне или поблизости продуктовой лавочки.

— Нету, голубчик, — завздыхала тетя Кнопа.

— Наверху, на берегу, есть хлебный киоск, только он до семи. А у нас вон только будочка в кустах, это если надо по своим делам. Потому как вагонный санузел в стоячем режиме не работает…

Узел-то узел, а как быть с ужином? Ладно, я потерплю, а ребятишки? Связался с младенцами, значит, должен заботиться…

— Голодные, что ли, путешественники твои? — понимающе сказала тетя Кнопа. — Сын и дочка, небось?

— Близнецы, — уклончиво сказал я.

— Ладно, ступай к себе…

Я послушался, а тетя Кнопа скоро принесла ржаной каравай, литровую банку с молоком и три стакана.

— Вот, заморите червячка. С этим дотерпите до утра…

— Вот спасибо-то!.. — возликовал я. — Сколько мы вам должны?

— Да чего там «должны». Ешьте-пейте на здоровье… — И она тихо прикрыла дверь.

Мы стали есть и пить. С отменным аппетитом и удовольствием. И ко мне вдруг пришло то ощущение ласковости, какое впервые я испытал в полусказочном детстве, в мастерской Гольдштейнов. И потом испытывал в снах, из которых

притащил к себе в дом Синего Треугольника. Это была не просто ласковость, а ощущение покоя и уверенность, что в ближайшее время не случится ничего плохого. По крайней мере, в этот вечер…

Солнце наконец ушло за дальний берег. Мы по очереди прогулялись до будочки и стали укладываться.

Я внушительно предупредил:

— Если будете шептаться, то негромко. Потому что спать хочу.

— Ага, — дружно выдохнули близняшки. И не легли, а уселись на полке рядышком, с ногами. Завернулись в одну простыню. И сразу — шу-шу-шу… Потом Еська деликатно спросила:

— Так — негромко?

— Нет… А что у вас за разговор, если не секрет?

— Не секрет, — объяснила она. — Просто мы рассуждаем: что будет, если вдруг вагон куда-нибудь поедет?

— Куда он поедет, если с двух сторон тупики, — снисходительно сказал я. И сразу уснул.

Но вагон поехал. Ночью, сквозь сон, я ощущал потряхивание, колеса знакомо постукивали на стыках. Разлепив на секунду ресницы, я видел, как желтыми бабочками пролетают отблески фонарей. И это меня почему-то не удивляло. Ребят

— тем более. Они крепко спали, уткнувшись друг в друга носами. Возможно, мне все это снилось.

А потом приснился сон, который и до той поры я видел несколько раз. И однажды даже записал в своем дневнике.

Пользуясь возможностями мемуарного жанра, я приведу здесь эту запись. Зачем? Сам не знаю. Возможно, потому, что сон этот — в той же тональности, что и события, о которых только что писал. Хотя он и не укладывается в сюжет.

«3.04.97.

Проснулся рано, до шести, удивился, что еще темно, и уснул опять. И увидел сон из многолетнего цикла своих снов, который я называю просто — «*Про Город*». И про который знаю, что это не просто сны.

Виделось вот что. Я задержался в отряде, в «Каравелле». Особых дел там не было, я сидел в одиночестве в кинолаборатории и писал в синей общей тетрадке новую повесть (как всегда во сне, прекрасно осознавал содержание, а проснулся — и забыл). Что-то связанное с мушкетерами, потому что иногда я заглядывал в книгу «Три мушкетера» — для каких-то уточнений.

Потом меня отвлекли, позвали зачем-то. Я подумал: не забыть бы тетрадку. И все-таки забыл.

Вспомнил о ней, когда пришел домой. Дома была мама. И как это здорово, что она опять со мной — ласковая такая и даже помолодевшая (и теперь — я надеялся! — будет со мной всегда). Только она была грустновата. Я забеспокоился, спросил: не заболела ли опять? Но мама сказала, что все в порядке… Однако радость никогда не бывает полной. Ее, эту радость, стала подтачивать тревога за оставленную тетрадку. Вдруг ребята ее засунут куда-нибудь — не найду потом. И прощай новая повесть!

— Мама, я съезжу в отряд! Я быстро!

Мама не спорила, поняла, что для меня это важно.

Были сумерки. Я надеялся поймать такси или частника, но на улице не было ни одной машины. И тревога росла. Тем более что я вспомнил: оставил не только синюю тетрадку с повестью, но и книгу «Три мушкетера» — новенькое издание в золотой «рамке».

Я пошел пешком. Да, далеко, но что делать!

По дороге вспомнил, что у меня ключ только от внешней отрядной двери, а ведь внутренний тамбур и кинолаборатория наверняка тоже заперты. Надо бы вернуться, взять ключи в ящике. Но я ушел уже далеко от дома. И я решил: ладно,

найду, может быть, дубликаты ключей в сенях, в тайнике.

В том, что я найду ключи, уверенности не было, и тревога царапала меня. А ночь сгущалась. Это была уже поздняя ночь. Я долго шел по каким-то полузнакомым пустым улицам. Горели редкие оранжевые фонари.

Город становился *иным*. Наполовину он оставался Екатеринбургом, а наполовину был уже Тюменью. Я оказался где-то в районе улиц Первомайской и Володарского, недалеко от своей бывшей школы № 25. И вдруг погасли фонари, упала густая тьма. Почему?

«Ах да! — вспомнил я. — Есть же указ городского начальства выключать уличный свет под утро. В целях экономии».

Но почему выключили, когда еще полный мрак?

Тьма была, однако, не страшная. Мягкая, ласковая, пушистая. До этой минуты стояла холодная весенняя ночь, и вдруг дохнуло летом.

Я, забывая о тревоге и радуясь теплу, прошел в темный квартал, свернул за угол, и сразу наступило утро.

В конце улицы поднималось малиновое солнце. По влажным крышам побежали блики.

«Вот что значит настоящая весна! — подумал я. — Как стремительно наступает день!»

Я уже не помнил о тетради. Тем более что она осталась в Екатеринбурге, а теперь была явная Тюмень. Но не просто Тюмень, а Город из снов — *мой Город*. И я знал, что мне нужно отыскать улицу Внуковскую, дом десять. Там какой-то детский клуб, куда я обещал зайти, чтобы договориться о встрече с читателями.

Я повернулся спиной к солнцу и вышел на длинную улицу, которая называлась Пушкинская (на самом деле такой улицы я в Тюмени не помню). Глянул вдаль и увидел высокую башню. Судя по всему — церковную колокольню.

«Откуда? — подумал я. — Ведь раньше в этом районе не было храмов». И тут же сказал себе: «Но ведь теперь повсюду восстанавливают старые, давно разрушенные. И строят новые…»

Видимо, это был новый храм. В колокольне сочетались традиционные элементы (наверху — купол-луковица) с необычными. Башню опоясывал винтовой выступ. Он, видимо, повторял очертания идущей внутри колокольни винтовой лестницы. Детали были слегка размыты, башня виделась в утренней дымке.

Зато дома` были видны отчетливо. Одноэтаж-

ные и двухэтажные, деревянные — и все же не просто дома, а скорее дворцы. С высокими окнами и во всем великолепии тюменской резьбы. Словно кто-то выставил на этой улице все лучшее, что в позапрошлом и прошлом веке создали в Тюмени самые замечательные резчики по дереву.

Дерево было потемневшим, коричневато-серым, но без трещин, без поломок и старческой кривизны карнизов. Все дома стояли строго, прямо, как на выставке. И плотно друг к другу, без перемычек из ворот и заборов.

Было в этой улице (с густыми, уже распустившимися кленами, которые, однако, не заслоняли домов) и в не виданной раньше колокольне скрытое величие и… какое-то особое дружелюбие. И обещание радостных открытий.

Господи, почему я не бывал здесь раньше? Как же плохо еще я знаю свой Город! Я пошел по правой стороне. Увидел деревянный домик поплоше, постарее других, кривой и с забором. На жестяном щитке с лампочкой, на котором обычно пишут номер и название улицы, были облупившиеся буквы: *В эт… доме ост…ся А.П. Чехов*.

Ну да, Чехов же был в Тюмени, проездом на Сахалин! Почему я раньше ничего не знал про этот дом?

Я перешел на левую сторону. Ну и тепло! Я распахнул куртку, сунул в карман вязаную шапку.

Господи, какое же счастье, что уже лето!

И когда оно успело наступить? Вчера еще всюду были подтаявшие сугробы, а сейчас клены помахивают листьями.

«Конечно, сон, — подумал я. — Такое уже бывало в снах про *Город*. И дома` с такой чудесной резьбой уже снились мне, только чуть по-иному, на других улицах».

Но разве во сне можно видеть такие подробности, такие детали резьбы? Все эти деревянные кисти, гроздья винограда, узоры. И эти листья кленов с бликами утреннего солнца. Вот один качается прямо у меня перед носом — узкий, зубчатый, похожий на лист одуванчика. Блестит и пахнет влажной зеленью. Неужели его нет на свете и он только плод моего работающего во сне воображения?

И эти ребятишки с рюкзачками и ранцами, бегущие мне навстречу! Видимо, спешат в школу… Откуда они узнали, что сегодня с утра настоящее лето? Бегут в одних рубашонках… А вот один, белобрысый, в майке с мультяшным тигренком на груди, с зелеными лямками рюкзачка на плечах, катит в тележке-сиденье на двух колесиках ма-

лыша лет трех-четырех. Видимо, должен завести его в детский сад по дороге в школу…

— Мальчик, где здесь улица Внуковская?

— Ой, я не знаю… — И заспешил дальше.

Я опять вспомнил про синюю тетрадку с повестью, но уже без тревоги. Куда она денется! Главное, найти детский клуб.

Теперь я шагал вдоль сквера с изгородью из частой проволочной сетки. Сквозь дыру в этой сетке стали пролезать на тротуар мальчишки в серых форменных рубашках и синих галстуках. «Наверно, скаутский отряд», — подумал я.

Где Внуковская улица, они тоже не знали.

Я свернул за угол, налево. Здесь улица была уже обыкновенная, с панельными домами. Она полого шла вверх, тротуар — тропинка, прыгающая по бугристому подъему.

Попалась навстречу девочка лет четырнадцати, славная такая, с конопушками.

— Ты не скажешь, где тут улица Внуковская?

— Да вот она и есть!

— Спасибо.

Слева был дом номер пятнадцать. Пятиэтажная хрущевка. Число было написано большими черными цифрами на обшарпанном жестяном квадрате.

«Значит, дом десять недалеко, только с другой стороны», — подумал я. И сразу проснулся. В тот момент, когда был уверен уже, что вокруг не сон, а явь. Вот досада…

Но все равно хорошо, что я увидел это.

Не может быть, что все это — просто сон. Не может быть, что вовсе нет на свете этой девочки, этого мальчишки с малышом в тележке, этого темно-зеленого листа, что качался у моего лица.

И, кроме того, я опять видел маму…

И тетрадка с недописанной повестью тоже где-то есть…»

А сейчас, в вагоне, кроме этой истории про путешествие до улицы Внуковской, мне снилось еще многое. И тоже хорошее. Но что именно, не помню…

Я проснулся от ветерка. От частых встряхиваний расшатанная рама со стеклом осела, и в окне была широкая щель. В нее вместе с холодком летели луговые запахи. Луга и кустарники, проплывавшие за окном, росисто блестели под утренним солнцем.

Ерошка и Еська спали порознь, каждый на своей полке. Видать, наговорились ночью и решили не тесниться. Оба завернулись в простыни

с головой — значит, утренний холодок достал их, как и меня. У Ерошки торчала из-под простыни коричневая нога со светлой ступней и чистой розовой подошвой. «Как у обезьяны», — подумалось мне. Я усмехнулся — вспомнил Ерошкины стихи про макаку.

Я прислушался к себе: нет ли удивления оттого, что вагон катит куда-то, хотя вечером стоял на рельсах, отрезанных от других путей? Удивления не было. Было ощущение, что все идет по заранее намеченному сюжету. Кто его сочинил, этот сюжет? Синий Треугольник? Встревожиться бы, как разумному человеку. Но и тревоги не было. А было ощущение хорошего утра.

Спал я не раздеваясь. Теперь прыгнул на пол и сразу вышел из купе. Коридор был пуст, в открытые окна врывался встречный воздух. И широко светило в них еще невысокое, с малиновым отливом солнце. Мимо вагона резво бежал березняк. Я мельком отметил про себя, что в листве у него мелькает желтизна. Странно. До осени еще далеко…

Умыться бы… Теперь, на ходу, санузел, возможно, «функционирует»?

Да, дверь туалета была отперта, кран работал. Я умылся, вытерся висевшим на крючке очень

чистым вафельным полотенцем (сервис!). А когда шел обратно, навстречу попалась молоденькая проводница.

— Доброе утро. Меня зовут Катя… — и улыбнулась. Не дежурной улыбкой стюардессы, а как-то по-домашнему. Она была круглолицая, с редкими конопушками, светлыми косами. Не красавица, но… исходил от нее какой-то уют.

— Доброе утро, Катя… А тетя Кнопа спит?

— Она осталась в Малогде. Я ее сменила перед тем, как поехали.

Спрашивать, почему поехали, как попали из тупика на рельсовую магистраль, не было смысла. И все же я сказал:

— Неожиданно как-то поехали. Стояли, стояли и вдруг…

— Ну, отчего же неожиданно? — улыбнулась она. — Вам ведь надо в Ермильск? Ну и вот…

Мне вовсе не надо было в Ермильск. Но… видимо, *кому-то* это было надо. И я не заспорил, спросил только:

— А скоро Ермильск?

— Через сорок минут. Вы будите ваших ребятишек, я чаю принесу…

Я растолкал Ерошку и Еську, погнал умываться. Сказал между делом:

— Вас не удивляет, что мы катим куда-то?

— Не-а, — беспечно отозвался Ерошка.

— Как теперь домой-то попадете?

Еська глянула на меня из-за плеча и сообщила с неожиданно взрослой ноткой:

— Так и попадем. Все рельсы к дому ведут… — Потом пригрозила Ерошке: — Будешь мазать волосы слюнявой лапой, опять устрою головомойку.

— Вот воспитательница на мою голову, — обрадованно сказал он.

Пока они умывались, я побрился в коридоре, там в розетке было напряжение. Тем временем проводница принесла три стакана с чаем и пачку печенья.

— Спасибо… Дети, нашу хозяйку зовут Катя.

— Здрасте! — разом просияли они умытыми улыбками. Я полез за бумажником.

— Нет-нет, — замахала руками Катя. — Это угощенье от тети Кнопы…

Кусты сменились длинной постройкой с готическими окнами, острыми арками и башней, украшенной большущими черными часами. Вспомнился сон про золотисто-рыжего Ванечку (который отобрал у меня и Леонида коньяк). Тогда за окнами вагона проплывало похожее

здание. Затем началась обычная окраина — с деревянными кварталами, среди которых кое-где торчали типовые пятиэтажки. Было много больших деревьев (и я опять заметил в листве желтизну). Заглянула Катя:

— Скоро вокзал…

Еська расчесала на косой пробор Ерошкины волосы невесть откуда взявшимся гребешком. Он с удовольствием жмурился. Я подумал опять, что такая прическа для курносого скуластого пацана — как шелковый бантик для беспризорного котенка. Но ничего не сказал.

13

Вокзал оказался небольшой, двухэтажный, но не старинный, как в Малогде, а новый, из современных конструкций, с большущими стеклами. Двухметровые буквы над крышей не оставляли сомнения, что это и правда — ЕРМИЛЬСК. Они, эти буквы, резко белели в очень синем и совершенно безоблачном небе. Синева отражалась в лужицах на асфальтовом безлюдном перроне.

Поезд, едва мы сошли, укатил дальше. Мы были одни. Зачем нас принесло сюда?

Утро, несмотря на солнечный блеск, было свежее. Зябкое даже. Еська терла себе острые

локотки. Ерошка переступал журавлиными ногами. Кстати, костюмчик его не был уже столь балахонистым, как вчера. Наверно, сел после стирки. То ли у ткани было такое свойство, то ли подействовали растворенные в воде химикаты. Я подозрительно (и даже с опаской) глянул на буквы. Было как накануне: CICIROMA. Но кенгуренок был теперь похож на кузнечика — вроде тех, что на Ерошкиных носочках.

— Друзья мои, — начал я тоном умудренного взрослого. — Прежде всего надо отыскать кассу и взять билеты обратно до Малогды. Это самое разумное…

— Нет, — быстро оглянулась на меня Еська. — Самое разумное — это скорее пойти в парк Судостроителей, на аттракционы. Они сегодня работают последний день.

— Почему же последний? — бестолково заспорил я. — С чего ты взяла?

— Потому что закрытие летнего сезона. Я досадливо сказал:

— Какое закрытие! Начало июля.

— Ну да… Вон, погляди, — хмыкнул Ерошка. Вытянул руку к левому крылу вокзала. Там на стене белел громадный макет отрывного календаря. И что я увидел? «30 августа. Среда».

— Елки-палки… Как это получилось?

— А вот так… — Ерошка зябко потер коленки, которые остро торчали ниже мятых, заметно укоротившихся штанов. Глянул на меня, не разгибаясь и вывернув шею. — Помнишь девочку с красным мячиком? Я же говорил — настукает чего-нибудь…

— Ну, идемте же скорее, — нервно поторопила Еська. — А то все лошадки разбегутся!

«Что за лошадки?»

— Ну… пошли. Только оставлю чемодан в камере хранения.

— Ни в коем случае! — испугался Ерошка. — Потом не найдешь!

— Ни в коем случае! — подтвердила Еська.

Они понимали происходящее гораздо лучше меня. Вернее, я совсем ничего не понимал.

«Еська, Ерошка, кто вы?..»

Ладно, чемоданчик был нетяжелый…

Мы пошли по привокзальной улице (тополя, киоски, невысокие дома с магазинами и аптеками). Солнце стояло уже высоко и грело теперь ощутимо. От зябкости не осталось следа. Все же лето еще… Еська шла со мной рядом, Ерошка, пританцовывая, шагал впереди (иногда машинально трогал прическу). Футляр с аппаратом

висел у него на ремне через плечо. Никелированный замочек отбрасывал колючие лучи. Ерошка оглянулся:

— Дядя Слава, вспоминаешь Ермильск?

Я ничего не вспоминал. Да и что вспоминать? Улицы были такие же, как в Малогде. Даже монастырь над обрывом, когда мы вышли к реке, показался знакомым. Словно не уезжали. Вот только желтизна в кленах и тополях…

Еська и Ерошка шагали уверенно. Еська сказала:

— К воротам не пойдем, там билеты брать надо, это ого сколько стоит…

Ерошка деловито поддержал ее:

— Да, зайдем с тыла! Там в решетке дыра.

— А если поймают? — опасливо сказал я.

— Кто поймает? — удивился Ерошка. — Это законный бесплатный вход.

Мы двинулись глухими переулками, где бродили белые утки и сохли на заборах сплетенные из лоскутков половики. Потом — через пустыри, извилистыми тропинками среди высоченных сорняков с пушистыми головками и подсохшими листьями. Звенела сухая, со стрекозами, тишина. Пахло полынью и пасленом. Наконец тропинка уперлась в изгородь, сваренную из толстых ар-

матурных прутьев (с некоторой претензией на орнамент). В одном месте прутья были разорваны и отогнуты. Дорожка вела именно к этой дыре.

Мы пролезли. За решеткой стояли кусты боярышника, их пробивала по прямой линии узкая аллея. Чем дальше, тем больше было похоже на парк. По краям аллеи появились бетонные вазоны с настурциями. На лужайке мы увидели гипсовую скульптуру: могучий дядька в рыбацкой шляпе держался за колесо с рукоятками, а рядом стоял пацан ростом с Ерошку. Лицо мальчишки было не тупым, как у гипсовых пионеров моего детства, а довольно живым, с просьбой: «Дай порулить»…

Ерошка оглянулся опять.

— Дядя Слава, а у вас на «Томасе Манне» были юнги?

— Я же объяснял: это придуманное судно…

— Ну, я как раз про это: ты не придумал ни одного юнгу?

— Как-то не пришло в голову.

Ерошка отвернулся. И, кажется, бормотнул: «Эх ты…» Я почему-то ощутил виноватость и досаду. И насупленно сказал шагавшей рядом Еське:

— Ну, а где они, ваши аттракционы?

— Скоро придем.

На аллее и вокруг было по-прежнему пусто, только воробьи да бабочки. Но вдали уже слышались голоса и музыка. И наконец мы вышли на садовую площадь — с качелями, каруселями, киосками и разноцветными тентами над столиками. На дощатой эстраде играл оркестр — несколько труб, контрабас, барабан и блестящие тарелки. Народу оказалось не очень много, не толпа. Взрослые в основном сидели у столиков, пестрая ребятня взлетала на лодках-качелях, ездила по извилистым рельсам на игрушечных паровозиках, вертелась на карусельных лошадках.

В общем-то самые заурядные развлечения, довольно старомодные даже. И чего это Еська с Ерошкой так сюда стремились?

Я решил, что дам им денег на катанье, а сам сяду неподалеку с бутылочкой пива. С момента отъезда в Малогду я не пробовал никакой жидкости, кроме воды и чая. «Послезавтра будет четвертый день, как я не брал в рот ничего спиртного…»

Увы, планы мои полетели кубарем.

— Дядя Слава, сюда! — Ерошка и Еська с двух сторон ухватили меня за руки. Потянули к самой большой карусели.

— Братцы, мне-то сюда зачем? Катайтесь одни!

— Постой, постой!.. Дядя Слава, сейчас будет интересное!..

Штакетник вокруг карусели обступали десятка два мальчишек и девчонок. Видно было — ждут чего-то. Карусель замедлила верчение. Остановилась. Те, кто сидел на лошадках, соскочили, встали среди ожидавших. Радиоголос из середины карусели (этакая тумба с большущими портретами клоунов) торжественно сообщил:

— Дорогие дети и взрослые! Наш аттракцион завершил работу в этом сезоне! Попрощайтесь с лошадками до весны! Сейчас мы начнем демонтаж карусели!

Я решил, что ребята кинутся обнимать и гладить деревянных лошадок (довольно примитивных, но с милыми мордами). Но никто не двинулся. Появились пятеро дядек в синих робах и с громадными гаечными ключами. Каждый подступил к лошадке, заработал ключом и… вот деревянные скакуны уже у них в руках. Рабочие разом повернулись (кажется, это был отработанный ритуал), зашагали на край площадки и там, в траве, поставили лошадок шеренгой.

И тогда ребятня с радостными воплями кинулась к игрушечным скакунам. Меня отшатнуло в сторону. Я увидел, как пятеро счастливчиков,

успевшие первыми, вскочили в крашеные седла.

Ерошка и Еська оказались в их числе!

— Не спешите! Спокойствие! — надрывался радиоголос! — Лошадки будут еще!

Неудачники снова обступили карусель. А пятеро всадников… они растопырили коричневые ноги в кроссовках и сандалетах, откинулись в седлах, натянули веревочные, с бантиками, поводья и вздыбили лошадей! И те привстали на задних ногах, передними поболтали в воздухе и бросились вскачь!

— Ура-а!!

«Куда они? Не свихнули бы шеи!..» — эта мысль была сильнее изумления от оживших коняшек.

— Ерошка, Еська!..

Они прогарцевали мимо. Ерошка вскинул руку в съехавшем до плеча рукаве.

— Дядя Слава, жди нас здесь! Мы поскакаем и вернемся!«Поскакаем»! А куда, где? И сколько ждать-то?

Но они уже умчались в одну из разбегавшихся лучами аллей. Не бежать же следом… В этот момент еще пятеро ловкачей оседлали отвинченных лошадок (видимо, всего скакунов было десять). И тоже умчались. Оркестр на эстраде — рослые дядьки в синих мундирах — заиграл

марш из фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Я постоял, подумал, взял в киоске две бутылки пива «Тайный советник», присел к шаткому пластиковому столику.

В самом деле, чего волноваться? Поскачут и вернутся. Видно, такой здесь обычай.

Бутылок мне хватило на сорок беззаботных минут. А потом вернулось беспокойство. Ни один всадник за это время не вернулся.

Я подошел к рабочим — они уже разбирали центральную тумбу карусели.

— Скажите, а долго они могут так скакать? Когда вернутся-то?

Добродушный дядька, похожий на один из клоунских портретов, почесал за ухом гаечным ключом.

— Когда вернутся? Это теперь от коняшек зависит, а они обратно не хотят, в стойло-то, упираются… Пацанята обычно побросают их в кустах, а сами кто куда, чтобы не попало… Ты их лучше не жди, поищи по парку, мил-человек…

Ну вот, новое приключение! У меня от нехорошего предчувствия засосало под печенкой. Понимал я: не следует уходить, надо ждать до упора, но тревога была сильнее разума. Подхватил чемодан и пошел. По одной аллее, по другой…

Несколько ребят на лихих лошадках попались навстречу, но были они незнакомые. Пронеслись так резво, что я не успел окликнуть, спросить про Ерошку и Еську. Кстати, мчались они отнюдь не к карусели.

Тревога моя росла с отчаянной быстротой. То, что я испытывал теперь, было похоже на тихую панику. Я заметался. Попадал в какие-то заросли, в стеклянные галереи с громадными кактусами, на пустыри, где были свалены разбитые статуи и покрытая облезшей краской фанера. И была такая же замороченность, как при бесполезных попытках набрать нужный номер телефона…

Потом, взмокший и потрепанный, я выбрался опять на площадку с каруселью. Вернее, без карусели — ее уже не было. Какая-то тетка в окошке киоска сочувственно сказала мне:

— Вы небось тех наездников ищете? Да они уж давно усвистали из парка, на улицах смотреть надо, сюда им теперь дороги нету…

Я пошел к воротам парка, интуитивно угадывая направление.

Ворота были высоченные, с оштукатуренными колоннами и решетчатыми створками. Я спросил у билетерши, похожей на тетю Кнопу:

— Дети на карусельных лошадках не выскаки-

вали? Мальчик и девочка. Он на черно-белой, она на коричневой…

— Да что ты, голубчик! — отмахнулась тетушка. — Разве будут ребятишки разбегаться через главный выход? Я же их мигом заверну! Они, это, через дыры в заборе, хитрый народ…

Не надо было уходить с карусельной площадки! Наверняка Ерошка и Еська поскачут, погуляют и вернутся ко мне!.. Или… не вернутся? Зачем я им нужен? Они добились своего, встретили друг друга, и здесь, в Ермильске, у них, наверно, свои планы. Что я знаю об этих непонятных брате и сестре? Кто они?

И все-таки вернуться на прежнее место — самый правильный шаг!

С этой мыслью шагнул я опять в ворота. Тетушка преградила путь.

— Ты куда, милый? Нельзя без билета. Ты ведь вышел наружу, теперь надо платить снова.

— Но я же только что там был, вы видели! Я ребят ищу!

— Да понимаю я, мой хороший! Мне разве жалко? Но не положено, здесь такое нерушимое правило. Без билета ни одна дорожка тебе не откроется и не найдешь ты никого… Да вон касса, три рубля всего билет-то…

Я поспешил к желто-красной дощатой будочке с окошком.

— Будьте добры…

— Весьма сожалею, но билетов больше нет. Конец сезона. — Кассирша была совсем не похожа на тетушку у ворот. Сухая, седая, напоминала она… да, Нину Адольфовну Кирхгоф!

— Но, понимаете, у меня там…

— Весьма сожалею, сударь, но от меня ничего не зависит. Здесь незыблемые правила. Могу только посоветовать: обойдите парк. С тыльной стороны есть, по-моему, еще бесплатный вход…

Я помчался к знакомой дыре в решетке. Взмокший, запыхавшийся, с надеждой и страхом в душе. Казалось, что вся жизнь рухнет, если не найду ребятишек. И конец этой рухнувшей жизни я проведу в отчаянии и безысходной виноватости. Потому что… да, потому, что Ерошка и Еська стали за сутки как родные. Сам не ведаю почему. Словно знал я их с рождения… Ну и, кроме того, я же отвечал за них, раз привез в другой город, оторвал от дома…

«От какого дома ты их оторвал? И не ты их сюда привез. Само собой так вышло!»

«Все равно… Если не отыщу — сойду с ума…»

Путь оказался кошмарно долгим. По кривым

переулкам, по пустырям, по тропинкам в чертополохе. Сорняки скребли меня по джинсам, по чемодану, который я так и таскал с собой… Ну, вот оно, знакомое место у решетки…

Здесь работали дядьки, похожие на тех, что развинтили карусель. Они выпрямили почти все разогнутые прутья, приварили их на прежние места. Сейчас разгибали последний.

— Подождите… пожалуйста… Мне надо туда… Черноусый морщинистый мужчина (возможно, бригадир) выпрямился, глянул из смоляных бровей.

— А туда уже нельзя, гражданин. Конец сезона.

— Я знаю! Но там у меня… ребята остались… Надо найти!

— Я понимаю. Но вы теперь никого не найдете, даже если пролезете здесь. Попробуйте через главный вход…

— Да пробовал я! Говорят, билетов нет!

— Да, без билета никак. Не знаю, чем вам помочь…

Белобрысый паренек опустил в лебеду автогенный аппарат, шагнул к бригадиру, что-то сказал ему на ухо. Стрельнул глазами в сторону.

— А! — обрадовался бригадир. — Вася правильно подсказывает! Вон видите дом с лесенкой? Там

живет Евдокия Власьевна, круглосуточная смотрительша парка, вдова того шкипера, которому памятник в парке. Может, видели: мужчина со штурвалом и пацаненок? Дак вот, у нее, у Евдокии Власьевны, всегда есть запасные билеты на любые сезоны. Изложите ей ваши обстоятельства, бабка, думаю, не откажет… И я кинулся к дому «смотрительши».

14

Дом стоял в конце переулка, отдельно от других. На высоком гранитном фундаменте с отдушинами, среди лопухов и пушистого белоцвета. Стекла в большущих окнах с резными наличниками отражали синее небо. Что-то корабельное было в этом доме — острым углом он врезался в пространство, будто старый тяжелый пароход. Крыльцо с витыми столбиками и навесом напоминало судовой мостик. К нему, по лебеде с покрасневшими листьями, тянулась через пологий косогор дощатая лесенка. Я отметил все эти подробности, несмотря на панику в душе. Пока спешил наверх…

В ответ на стук открыла мне сама Евдокия Власьевна. Это оказалась высокая старуха с острым, как у сказочного полумесяца, подбородком. С

пронзительно синими глазами. Не удивилась ничуть, будто ждала меня. В ответ на сбивчивую просьбу о билете сказала хрипловато, с покашливанием:

— Да мне ведь не жалко, я бы хоть дюжину дала. Да не осталось ни одного. Племянница моя, Серафима, как раз в типографию пошла за новыми, мы еще на той неделе заказ им сделали. Вот, глядишь, придет скоро, и тогда уж…

Была она, несмотря на суровый вид, ласкова.

— Ты проходи, передохни. Поставь чемоданчик в уголке да ступай в горницу. Я тебе чаек заварю.

— Да некогда мне. Искать надо ребят-то! Евдокия Власьевна склонила набок голову.

— Да теперь их ищи не ищи, а скоро не появятся. С коняшками этими дело такое. Пока не наскачутся, не вернутся.

— И… сколько же теперь ждать?

— А по-всякому бывает. Случалось, что иные до новой весны катаются, не устают… Я представил Еську и Ерошку в их летней одежонке среди сугробов и содрогнулся.

— Да как же такое может быть?!

— А так и может. Для них времечко-то летит неприметно. У нас месяц, у них полчаса… Ну а получишь билет и тогда, может, пораньше сыщешь.

Главное, дождись Серафиму…

Я послушался. А что оставалось делать? Оставил у порога чемодан и башмаки, по толстым полосатым половикам прошел в широкую комнату. От зеленых штор стоял здесь уютный сумрак. Тикали ходики. По стенам развешаны были фотографии в рамках. На покрытом клетчатой шалью диване спала серая тощая кошка.

Мне сделалось полегче. Не то чтобы успокоился, но страха стало поменьше, надежды побольше, паника в душе улеглась.

В углу я разглядел маленький образ Спасителя в медном окладе. Под ним в стеклянной лампадке шевелился похожий на светлячка огонек. Я мысленно осенил себя крестом. «Господи, помоги мне и защити ребятишек…» Никогда я не считал себя сильно верующим и в церкви был раза три в жизни, по случаю, а тут… вот… Огонек шевельнулся сильнее, мигнул. Неужели погаснет? Нет, не погас. Показалось даже, что стал чуть ярче…

Евдокия Власьевна пришла с чайником, чашками и вазочками на подносе.

— Ты садись, садись к столу-то. Я чаек с травкой заварила. С такой, что нервы успокаивает, по себе знаю. Как случается, что от Константина, от сына моего, долго писем нету, нервы давай

ныть да стонать, а выпью травки, и сразу на душе полегче. А там, глядишь, и письмо принесут… Ты уже был в парке-то, памятник видел?

Я кивнул.

— Это мужа моего, Никиту Юрьевича, там поставили в память про то, как он пассажиров на «Маршале Блюхере» от огня спас. Приткнул горевший пароход к пожарному судну, которое не ко времени на мель угодило. Ну, спасти-то спас, а после того начал сердцем болеть и помер через полгода… А Костюшку нашего мастер вылепил затем, чтобы Никите Юрьевичу не скучно одному было. Костюшка у него любимец был… А теперь он штурман в Архангельске, на теплоходе типа «река — море»…

Чай оказался с чем-то вроде мяты. От него стало еще спокойнее… Кошка пришла от дивана и, муркнув, прыгнула мне на колени.

— Ишь ты… — заулыбалась старуха. — Маська не ко всякому идет. А тебя, видать, признала за своего…

Я вздохнул, погладил благодарно притихшую Маську.

Пришла Серафима.

Я как увидел — замигал от удивления. Так она оказалась похожа на проводницу Катю! Как две

капли!.. Ну, после пригляделся и увидел, что не совсем «две капли», но все-таки… Такое же круглое лицо, такие же редкие конопушки. И главное — та же ласковая манера в разговоре…

— Ну что, Симочка? — засуетилась ей навстречу Евдокия Власьевна. — Тут вот человек томится, билеты ждет.

— Да нет билетов, тетя Дуся, — опечалила ее (и меня) Серафима. — Не напечатали, окаянные. Говорят, нынешний лимит бумаги кончился, теперь только через месяц. Я говорю: «Да как же так можно? Ведь заказ уже оплачен!» А там один такой нахальный: «Вот и хорошо, что оплачен. Теперь нам куда спешить? А у вас все равно межсезонье»… Я чуть не разревелась. Ходишь, ходишь к ним, а они…

Серафима по-девчоночьи шмыгнула носом, виновато глянула на меня. Глаза были серо-зеленые, как у Ерошки (а какие глаза у Еськи, я не помнил). Подумав о ребятах, я опять затосковал. А она:

— Это, значит, *вам* нужен билет? Вот досада… А зачем он вам? Все равно в парке с нынешнего дня все закрыто.

Я коротко повторил свою историю.

— Вот досада, — снова сказала Серафима. — Конечно, был бы билет, и тогда самое правильное

дело дежурить на карусельной площадке… А может, и бесполезное дело… Да вы не переживайте. С теми, кто ускакал на лошадках, никогда плохого не случается. Надо только ждать…

— Да сколько ждать-то?! — вырвалось у меня с новым отчаянием.

— А вот это конечно… — вздохнула Серафима, и в ее (в Ерошкиных) глазах было понимание и сочувствие.

— Спасибо. Пойду… — Я снял с колен Маську, поднялся.

— Да куда пойдешь-то? — озабоченно спросила Евдокия Власьевна.

— Не знаю… Буду теперь все дни ходить по улицам, искать. Может, встречу беглецов… И надо в какой-то гостинице угол найти, не под забором же ночевать…

— А на что тебе гостиница-то, — по-свойски, будто давнему знакомому, сказала старуха. — Там одна маета да расход. Живи здесь. У нас угловая комната свободная. В ней Костик живет, когда приезжает, да в эту зиму едва ли приедет, они с женой маленького ждут…

Пространство опять перелистнуло прозрачный лист. И мне показалось вполне логичным жить в этом старом доме, недалеко от парка, и ждать

окончания событий. Я чуял, что именно здесь меня не оставит надежда разыскать в конце концов Еську и Ерошку.

«А зачем они тебе? Боишься, что придется отвечать — увез и потерял?»

«Не в этом дело…»

«А в чем?»

«Не знаю… Я без них не могу. У меня больше никого нет».

Евдокия Власьевна не брала с меня плату за жилье. Я жил словно приезжий родственник. Помог отремонтировать в погребе лари для картошки. Починил модель парусника, которую в школьные годы построил Костик. Она, кстати, была похожа на придуманную мной шхуну «Томас Манн», только называлась «Индеец». Чтобы проверить это сходство, я достал из бумажника старый календарный листок (там, у реки, я так и не вернул его Ерошке). А достав, сразу вспомнил: на нем ведь номер телефона, по которому Ерошка звонил Еське.

В доме телефона не было. Пришлось купить в киоске карточку для автомата. С колотящимся сердцем я поспешил в ближнюю будку. Вот наберу сейчас 00–22–34 (ой, нет, 200–22–34!) и услышу Еськин голос…

Голос оказался другой, хотя тоже знакомый.

— Неправильно набран номер… Неправильно наб… — задолдонила механическая девица.

— Дура безмозглая, — с великой горечью сказал я.

— Сам такой… — тем же голосом ответствовала девица. — А Еське больше не звони. До весны ты ее все равно не найдешь… — И запикало в трубке.

Я обалдело постоял с трубкой в руках. И с досадой, и… с надеждой все-таки. Ведь наступит же когда-нибудь весна. И, выходит, девица что-то знает? Или не она, а Синий Треугольник…

Надо сказать, дни бежали быстро. Пришла зима. Я колол дрова для изразцовой высокой печки и кухонной плиты. Ходил по заданию хозяйки на рынок. Чинил ходики, которые то и дело сбивались с ритма. Поправил покосившийся навес над крыльцом… Часто налетали густые, но не холодные метели.

В доме обычно было пусто. Евдокия Власьевна уходила в магазины, к соседкам или в контору паркового хозяйства. Серафимы тоже не было: она работала в той же конторе, в проектном отделе. Только Маська бесшумно ходила по плетеным половикам и терлась худыми боками о

мои джинсы.

Иногда я читал старые «Огоньки», во множестве накопившиеся на полках и антресолях. Порой разглядывал фотографии на стенах. Это были Никита Юрьевич в разные годы жизни (но неизменно во флотском кителе), Евдокия Власьевна (от молодости до наших дней) и Костик. Костик в пеленках, Костик в школьном костюмчике, Костик в форменке флотского курсанта, Костик с шевронами речного штурмана… Была и Серафима — тоже начиная с малых лет…

Иногда мы с Серафимой ходили в типографию: выбивать заказ. Но билеты все не печатали — под разными предлогами. Правда, разговаривали работники типографии с каждым разом все виноватее («Мы все понимаем, но войдите в наше положение…»). Тот «нахальный», на которого жаловалась Серафима, со мной держался почтительно. А однажды отвел в сторону и заговорщицки спросил:

— Верна ли поступившая к нам информация, что вы автор книжки «Под синим кливером»?

— Верна. Ну и что?— Здешнее издательство, к которому я имею некоторое отношение, попросило узнать: не согласитесь ли вы на переиздание?

Предложение было заманчивое. Но я сурово

сказал:

— Сначала билеты.

— Понял…

Казалось бы, для чего мне теперь билеты? И все же была у меня с ними связана непонятная надежда. А в глубине сознания тупо, без боли, но непрестанно стучало: «Еська, Ерошка, где вы…»

Мне нравилось ходить в типографию. Она располагалась в том длинном кирпичном доме с башней и часами, который я видел при подъезде к Ермильску. Только теперь это здание оказалось почему-то не в стороне от города, а среди центральных кварталов.

В длинных сводчатых коридорах пахло как в музее. В готические окна проникал пасмурный зимний свет. Желтели в простенках горящие лампы на бронзовых кронштейнах. Коридоры делали плавные повороты и приводили к винтовым чугунным лестницам. Гулко разносились голоса, и порой с башни доносился бой часов. А еще мне казалось, что где-то за стенами порой возникает гул проходящего поезда. Это нагоняло воспоминание об утре, когда мы приехали в Ермильск. И возникало ощущение недосмотренного сна. И ожидание… Странное ожидание, что вот сейчас разнесется стук деревянных ножек и в коридор

на всем скаку примчатся Ерошка и Еська…

Один раз такое мне даже приснилось. И все было так ясно! Их виноватые рожицы («Не сердись, что мы долго катались…»), капельки растаявшего снега в волосах и на голых ногах, лукавые (хотя и нарисованные) глаза коняшек. Лужицы от их копыт… Когда сон стал угасать, я вцепился в него с отчаянной силой: «Не надо, не уходи! Пусть это будет правдой!» Но сон все же кончился (хотя, как я сейчас понимаю, мог не делать этого). Я открыл глаза. Мутно светила сквозь штору луна. В ногах у меня зашевелился Травяной Заяц.

— Ну, хоть ты здесь появился! — обрадовался я. — Придумай что-нибудь!

— Мр-р… — сказал Заяц, потому что это была Маська.

У меня, как у мальчишки, от горечи намокли ресницы. Я закрыл глаза и почти сразу увидел другой сон. Тот, что снился мне иногда и раньше (правда, не часто).

Будто я — старый и хворый писатель, автор многотомного собрания сочинений. (И когда я столько успел написать?) Мне порой приятно смотреть на этот ряд книжек с моим именем на корешках. Но постоянно гнетет тяжесть обрюзгшего тела и груз многих забот и тревог, которых

с возрастом почему-то все больше и больше. И, пожалуй, чувствует мое состояние только рыжий кот, который живет у меня много лет. Он, в переводе на кошачий возраст, такой же старик, как и я.

Кот любит меня. Пожалуй, даже чересчур назойливо любит. Часто лезет на колени и трется мордой о мой живот, оставляя на рубахе и штанах рыжие клочья. Порой мешает работать. Тогда я сгоняю его с колен; «Не лезь, я занят!» Кот не обижается, но смотрит жалобно. Меня тут же начинает кусать совесть. «Ладно, иди сюда… Эх ты, чучело… Не сердись. Мы с тобой оба старики, неизвестно, кто кого переживет…»

Кот с удовольствием устраивается на коленях. Это все, что ему надо для радости жизни. Он не думает о бренности. О ней думаю я. Но больше почему-то тревожусь за кота, а не за себя. Есть на то основания. Несколько лет назад с беднягой случился припадок. У меня даже сохранилась в дневнике запись. (Не забывайте — это мемуары.) Вот она.

«…Хорошее настроение вечером было разбито грустным случаем с котом Максом. Он резвился, ловил на полу таракана и вдруг вскрикнул почти по-человечески. Упал на бок, высунул язык,

из-под хвоста выпали какашки. Лежал, не мог подняться, дышал очень часто…

Началась суматоха, я дозвонился до диспетчера службы «Помощь животным», она сделала вызов врача и посоветовала дать Максу сердечные капли. Я дал немного валокордина. У бедняги пошла пенная слюна. Но потом он притих, стал дышать спокойнее.

Через час приехали две милые девушки, которые возились с Максиком часа полтора — умело, заботливо, ласково: мерили температуру, прослушивали, смотрели глазные яблоки, сделали укол. Сказали, что у него микроинсульт. Выписали много лекарств. Сегодня утром сходил в аптеку, выкупил кучу медикаментов, дал Максу две крошки от таблеток, понижающих давление.

Врач утром звонила, справлялась.

Максик вроде бы оправился, мурлыкал в ответ на ласки, просил есть и ходил в туалет. Сейчас спит в кресле.

Кстати, врачебная услуга стоила около сотни, но это, по-моему, совсем не дорого, учитывая то, как девушки возились с беднягой.

А Макса, это рыжее создание, я очень люблю. И он меня… Без него мне было бы совсем худо…»

Ну и вот, приснилось мне, что у Макса опять

приступ. Я проснулся, чуть не подвывая от тоски. И не сразу понял, где я и что со мной. Потом сообразил наконец, что никакого Макса нет, а если и есть, то живет он где-то в ином мире вместе со своим старым хозяином и приятелем Тяпой. А здесь он — просто сон. В этом краю, где Малогда, Ермильск и неизвестно куда канувшие брат и сестра, Ерошка и Еська…

С Серафимой мы подружились. По вечерам она училась на каких-то курсах, там требовали знание компьютера, и она от подруги притащила старенький компьютер к себе домой — чтобы набираться опыта. Я помогал ей осваивать эту технику. Иногда засиживались до ночи. Ну и…

Да нет, не было ничего похожего на мои прежние отношения с женским полом. Совсем по-иному было. Спокойно так, тепло. Мы ничего и не говорили друг другу. Иногда только дуну ей в завитки на затылке, а она засмеется, проведет мне пальцем по носу, от лба до губ (как однажды Еська Ерошке). Ну, прямо как у семиклассников, причем не у нынешних, а полвека назад…

Дни бежали. Я не помню, как миновал Новый год. Казалось, пошли с Серафимой выколачивать из типографии билеты в декабре, а домой вернулись в середине февраля… Может быть, не цокот

деревянных копыт отдавался там, в старинных коридорах, а стук мячика о панели времени?..

А в марте Евдокия Власьевна уехала однажды на несколько дней в деревню, к какой-то знакомой. И вечером после «компьютерной школы» Серафима посмотрела на меня более долгим взглядом, чем обычно. Опять провела пальцем по носу. И сказала:

— Ну, пойдем… — словно все было решено давно. И мы пошли к ней в комнату…

А утром она поцеловала меня и шепотом велела:

— Теперь уходи.

— Сейчас… Только вот… рубашка где-то…

— Ты не понял. Совсем уходи… — Но…

— Иди, иди, — повторила она ласково, но непреклонно. — Или не понимаешь? Иначе ничего не выйдет.

— Что не выйдет?

— Чудо ты гороховое. Ступай, потом поймешь…

— Но… куда?

Она глянула укоризненно:

— Ты что? Все еще не вспомнил адрес сестры?

— Но она же в Малогде! А я не могу уехать отсюда!

— Какая разница, в Малогде или здесь? — сказала Серафима с потемневшими глазами. — Все равно *Город*… Улица Запольная, дом одиннадцать…

И я сразу вспомнил! Двухэтажный деревянный дом, вроде того, во дворе у которого, в сарае, я оставлял чемодан. И не важно, в Малогде, в Ермильске или еще где. В *Городе*…

— Ступай, — тихо сказала Серафима. — Чемодан я с вечера собрала.

— Но я ведь еще приду, да? Можно?

— Если все сделаешь как надо… — Глаза у Серафимы были Ерошкины.

15

На улице оказалась уже полная весна. Похоже, что начало апреля. Грязный издыхающий снег лежал полосами вдоль дорог и заборов, а на черной земле проклевывалась трава и даже кое-где желтела мать-и-мачеха.

Пролетели две бабочки — белая и коричневая.

Солнце припекало. Я был в зимней куртке, которую купил, кажется, в декабре. В толстой вязаной шапке, в сапогах на меху. Шапку я сунул в карман, куртку распахнул, а из сапог не выпрыгнешь. Не босиком же шлепать по широким лужам.

В лужах отражалась яркая голубизна с желтыми пухлыми облаками. Где-то горланил петух. Несмотря на печаль расставания, на душе было по-весеннему. Я чувствовал себя медведем, очнувшимся от зимней спячки.

Я теперь точно помнил, где Запольная, и знал, как туда добираться. Можно сесть на ближней остановке на автобус и ехать через город. А можно двинуться пешком, напрямик, через пустыри. Их пересекала раскисшая, блестящая от солнца дорога. Я пошел по дороге, по обочине. Там было меньше сырости.

Утреннее солнце грело левую щеку. А справа… Мне казалось, что над крышами окраины и подернутыми дымкой тополями плывет среди облаков белая церковь. Та, которую видел я раньше в лугах за Малогдой… Нет, она была даже не белая, а прозрачная. Словно сотканная из искрящейся паутины. Невесомая… Когда я однажды глянул прямо, оказалось, что церкви нет. Но когда стал смотреть перед собой, церковь с правой стороны поплыла в синем воздухе снова. И мне казалось, что это — *надежда*…

Сперва никто не попадался навстречу, только перешли вереницей дорогу белые утки.

Потом стали встречаться солдаты. В одиночку и

маленькими группами. Странные солдаты. Помятые, небритые, словно вышедшие из окружения. Большинство в незнакомой форме — сизой и коричневатой. Но были и в привычных серых шинелях, в пилотках. Все — без оружия. На обвисших ремнях болтались пустые подсумки.

Один солдат — с монгольским лицом, в странной шишкастой каске — спросил с акцентом, нет ли закурить. У меня, конечно, не было. Солдат безнадежно махнул рукой и побрел дальше. Это меня ощутимо царапнуло — тревогой и непонятным укором. Но скоро солдаты перестали попадаться, дорога опять опустела. Я заспешил. Я не столько думал о встрече с сестрой, сколько о телефоне. Ведь у нее в доме есть телефон! Значит, можно будет позвонить по номеру 200–22–34. Вдруг что-то узнаю про Еську? Ведь уже весна!

Пустыри кончились, я обошел территорию автобазы, миновал короткую улицу Водителей и оказался в начале Запольной, поросшей высокими тополями. От набухших почек тополя были в коричневатой дымке.

Все мне здесь было знакомо. Даже диким казалось, что я мог почему-то забыть адрес! Я словно возвращался домой…

Двухэтажный деревянный дом стоял в глубине

двора. По скрипучей лестнице я взбежал на второй этаж (пахло старой краской и кошками). Пошарил в тайничке под подоконником. Ключа не было. Значит, кто-то дома. Кулаком поколотил в обтянутую обшарпанным дерматином дверь, поскольку звонка здесь не было ни в какие времена. Сразу послышались легкие шаги. Дверь быстро отошла, отодвинув меня на шаг.

На пороге встал Ерошка.

Господи, неужели это он?!

Похудевший, с тенями под глазами. Он как-то по-птичьи пискнул, обхватил меня, прижался лицом к моей куртке. Потом сразу отодвинулся. Сказал сумрачно:

— Наконец-то… Где ты был? — И сердито потянул меня в прихожую.

Там он повторил:

— Где ты был?

— Я… я был… Подожди, это долгий разговор. — Я взял его за плечо (чтобы не исчез, не растворился, как во сне). — А где были вы?! Куда вы пропали на ваших лошадях? Зачем?

Он повесил голову, зацарапал половицу кроссовкой (все еще новенькой, будто вчера купленной).

— Мы хотели покататься. А коняшки не стали

слушаться, задурили, выскочили из парка. И обратно никак… Разбежались в разные стороны. Еська потерялась. А меня лошадь сбросила в канаву и ускакала… — Он виновато засопел.

— А потом?

— А потом я хотел вернуться в парк. Но туда уже не пускали. И я пришел сюда. Думал, ты тоже придешь. Куда тебе деваться, если не к сестре?.. А тебя все нет, нет… — Кажется, Ерошка всхлипнул.

— Но я же не знал, что *ты* здесь! И адреса не помнил. Мне его только нынче утром сказали… А ты как его узнал, адрес-то?

Ерошка поднял лицо — неумытое, с полосками на щеках.

— По-моему, я всегда его знал…

— Откуда?

Он пожал плечами:

— Понятия не имею… Не все ли равно.

— Сестра и ее супруг дома?

— Нет. Они еще не вернулись из Штатов.

— И что же? Ты все это время жил здесь один?

— А чего такого? — Он глянул опасливо. — Ну да, несколько раз пришлось в холодильник забраться, так есть хотелось… Попадет за это?

— Горе ты мое… «Несколько раз»… Сколько же времени прошло, по-твоему? Сколько дней?

Он опять зацарапал половицу.

— Я не знаю… Мне казалось, что один длинный день. Иногда только делалось темно. Как при грозе… Я не помню, я печатал фотографии…

Я наконец сбросил куртку и раскисшие сапоги, мы вошли в комнату. Мне все еще казалось, что Ерошка может исчезнуть. Я посадил его рядом с собой на скрипучую тахту, обнял за плечо. Ерошка был настоящий, острое плечо твердо торчало под трикотажем.

А Еська?

Я понимал, что Ерошке про нее неизвестно. И все же спросил:

— Про Еську ничего не знаешь?

— Не-а… — отозвался он тоном более беззаботным, чем, казалось бы, диктовали обстоятельства.

— А звонить по *тому* номеру не пробовал?

— Да сколько раз! Только никакого проку! То «неправильно набран номер», то вообще одни писки и трески… Может, она все еще скачет на своей лошадке… Я знаешь почему не очень беспокоюсь? Потому что лошадка гнедая, даже коричневая. С теми, кто ездит на таких, никогда ничего не случается…

Мне показалось, что Ерошкины глаза чересчур

блестят. Уж не жар ли у него? Я как бы случайно тронул его лоб. Он был совсем холодный. Кстати, волосы, несмотря на Ерошкину неумытость, были снова расчесаны на «английский» лад. Ерошка отвел голову. Объяснил чуть виновато:

— Я знаешь еще почему не сильно тревожусь? Потому что Еська на фотоснимках всегда улыбается. А раз улыбается, плохого не случилось…

— На каких снимках?

— Ну, я же говорил! Я печатал их все время! — Ерошка вскочил. — Смотри!

В самом деле, на подоконниках, на покрытом клеенкой столе, на полу у плинтусов лежали куски оберточной бумаги с темными оттисками. Некоторые были еще сырые. Я пригляделся к тем, что на столе. Некоторые снимки были знакомые, те, что Ерошка делал на берегу. Я узнал себя и Жору, узнал буксир «Слава». Только на кожухе колеса над названием «Слава» было еще одно слово, поменьше: «Дядя». Я мигнул. Ну да ладно, про это потом. Главное было — Еськины портреты. Не очень четкие, но ясно, что ее. И каждый с улыбкой…

— С каких же негативов ты ее печатал?

— С пятой пластинки. Помнишь, она одна тогда осталась неиспользованная… А здесь мне кто-то

будто прошептал: прояви. Я и проявил. А там — она. И каждый раз печатается по-новому…

— Дела-а… — только и сказал я.

— Да… И лишь один раз получилась без улыбки. Я тогда сразу хотел побежать искать ее. Сунулся на улицу, а там почему-то лютый холод. А у меня ведь только вот… — Ерошка дернул себя за трикотажный рукавчик.

Ну да, я лишь теперь сообразил: ничего теплого у него, конечно, нет. Он был в прежней своей одежонке.

Хотя не совсем в прежней. Кенгуренок (или кузнечик?) был тот же и буквы, кажется, те же, но в одежде уже никакого намека на балахонистость и складчатость. Штаны и кофта уменьшились до размеров обыкновенных шортиков и футболки. Сели еще сильнее? Или Ерошка вырос? Нет, он, как и раньше, был мне чуть выше локтя, только выглядел более длинноногим и тонкоруким, чем прежде.

— Ты, наверно, стирал тут свой костюм?— Ага, два раза. Потому что один раз опрокинул на него яичницу, а другой раз вымазал вареньем… А он после каждой стирки съеживается.

— Ничего, так даже лучше стало. А то похож был на обвисшее чучело.

— Может, и лучше. Только непонятно… Буквы каждый раз перепрыгивают…

Я пригляделся. Да, под белым кругом с кенгуренком было теперь не «CICIMORA» и не «CICIROMA», а «CIROCIMA». Это меня слегка царапнуло: похоже на «Хиросиму». Будто намек какой-то. Вспомнились почему-то бредущие по дороге солдаты. Хотя какое нам до них дело? Они были явно из другого пространства, и видел я их словно сквозь прозрачную стенку. Даже того, который попросил закурить…

А Ерошка был вот он, рядышком! И радость от этого опять обдала меня как горячим воздухом.

— Наплевать на буквы! Главное, что ты нашелся!

— И ты нашелся!

— Больше я тебя не отпущу ни на шаг!.. Сейчас найду себе какую-нибудь обувь по сезону и пойдем искать Еську!

— Ура! — Ерошка подскочил так высоко, что успел сделать в воздухе ногами несколько «ножниц».

— Постой. А ты-то как пойдешь? На улице еще снег кое-где… Сейчас разыщу спортивный костюм Людмилы, сестра у меня худенькая…

— Да зачем?! — Ерошка в радостном прыжке

опять постриг воздух ногами (волосы взлетели, но он тут же пригладил их). — Смотри! За окном лето!

Ну, лето не лето, а конец весны точно. Со второго этажа видно было, как цветет дворе сирень, а на кустах желтой акации проклевываются лимонные клювики…

Похоже было на май, но солнце грело как в июле. Я шагал, конечно, без куртки. На ногах — старые полуботинки Николая, моего зятя (кажется, так называется муж сестры). Ерошка скакал сбоку от меня. Видать, насиделся дома, теперь не мог идти спокойно.

— Экий ты прыгучий нынче, — одобрительно заметил я.

— Ага! Кузнечики пятки щекочут!

— Какие кузнечики?

— Те, что раньше были на носках. Во время стирки они смылись… Ну, смылись, то есть сбежали. И поселились в кроссовках. — Ерошка в новом скачке дрыгнул ногами. В самом деле, на белых носочках теперь не было кузнечиков.

— А ты сочинитель… Он хихикнул:

— Есть в кого.

— Это в кого же?

— Не скажу, — хихикнул он снова. И посерьез-

нел: — А куда идем-то?

— Как куда? Конечно, в парк!

Я был уверен, что в решетке теперь опять проделана дыра. Или, в крайнем случае, купим у главного входа билеты. Наверняка уже начался новый летний сезон. И конечно же, в парке вновь работает карусель. Едва мы там появимся, примчится на своем темно-гнедом скакуне-лилипуте Еська.

Я был в этом убежден. Потому что нынешним утром события сделали явный разворот к счастливой развязке.

Ерошка, однако, поскучнел. Неуверенно глянул сбоку:

— Дядя Слава, а надо ли? — Что?

— Ну… идти на прежнее место.

— А что же еще? Конечно, надо!

Ерошка опустил голову, но больше не спорил.

Его сомнение не испортило мой радостный настрой. Я представлял, как мы встретим Еську, а потом втроем явимся к Серафиме. И все будет хорошо. Ведь она сказала: «Если все сделаешь как надо». А я сделал… то есть скоро сделаю все как надо!

Правда, что-то смутное все же слегка царапало меня. Во-первых, эта почти «Хиросима» на

Ерошкиной футболке. А еще — воспоминание о солдатах, которые недавно брели мне навстречу.

Впрочем, сейчас они не попадались, хотя дорога была все та же, по пустырям. Может, оттого, что мы шли в другую сторону?

На дороге не было уже ни снега, ни луж. Колеи высохли. По обочинам густо цвели одуванчики. Тепло струился солнечный воздух. И все же солдаты не забывались.

Лучший способ избавиться от беспокойства — поделиться им с кем-нибудь.

— Слушай, Ерошка, недавно я встретил здесь странных солдат. В каких-то незнакомых формах, измотанных, грязных…

Ерошка не удивился.

— А, это где-то кончилась война! Не победой кончилась, а так… общей усталостью. Заяц говорил…

— Какой заяц?

— Травяной и Песчаный. Он один раз приходил ко мне.

— Как… приходил?

— Ну, однажды… — не очень охотно сказал Ерошка. — Мне спать захотелось, я взял на вешалке какое-то пальто, укрылся на тахте, и вдруг сделалось как-то не по себе. Потому что один… И

тут кто-то завозился в ногах. Я глянул, а это он, я сразу узнал… И стали разговаривать…

«Дела-а…»

— И о чем же разговаривали?

— О всяком… Он про Синего Треугольника рассказывал. Говорил: хорошо, что он… то есть ты… завязал его. От этой завязки в каком-то дальнем месте кончилась война, больше не стало крови… А еще сказал, что, может быть, ты скоро придешь ко мне. Но ты еще долго не шел…

— Прости, малыш. Так получилось…

Он не обиделся на «малыша». На ходу притиснулся ко мне. Сказал шепотом:

— Ну, ничего. Теперь-то уж все будет хорошо.

Но получилось так, что ничего не хорошо.

Когда мы вышли в переулок вблизи от парка, на месте не оказалось знакомого дома. Того, где я прожил осень и зиму!

На косогоре виднелись сгнившие остатки лесенки, а на месте дома был заросший репейником пустырь. Так заросший, словно здесь не было ничего давным-давно.

Я обмер. Обмяк. Ерошка смотрел на меня перепуганно: мол, что стряслось? Ведь он-то раньше про этот дом не знал.

— Дядя Слава, что с тобой?

Я взял себя в руки. У парковой решетки опять возились рабочие. Кажется, проделывали в арматурных прутьях дыру. «Бесплатный вход»! Я взял Ерошку за руку, мы подошли.

Рабочие были незнакомые. Я спросил у самого пожилого:

— Вы не скажете?.. Недавно здесь дом стоял, Евдокии Власьевны… И вдруг нету…

Мужчина распрямился. Вытер лоб холщовой рукавицей со следами ржавчины.

— Да ты что, мил-человек, говоришь. Какое «недавно»! Власьевна уехала с племянницей к сыну в Архангельск в аккурат двенадцать лет тому назад. Дом продала кому-то, а он вскоре сгорел дотла. Такая вот история…

Действительно, «такая вот история»…

При мысли, что я никогда не увижу Серафиму, мне захотелось тихонько завыть. Или… проснуться. Но тогда… Нет! Я вцепился в Ерошкино плечо. Он даже ойкнул. Потом быстро сказал:

— Дядя Слава, пойдем отсюда! Я же говорил: не надо сюда приходить!

Он, конечно, ничего не понимал, и все-таки… да, он был прав! Мы быстро пошли прочь, опять оказались на дороге, ведущей через пустырь. Мне стало поспокойнее. Подумалось: «Сколько

уже случалось *такого*. Может, все обойдется и на этот раз. Наверно, просто девочка-подсолнух слишком часто стучит мячиком о панель...» И Ерошка сказал:

— Дядя Слава, все будет как надо... Ой, смотри!

Из кустов желтой акации выскочила и запрыгала по обочине нам навстречу деревянная лошадка. Черно-белая, на прямых ногах, с лукавой улыбчивой мордой.

— Дядя Слава, это моя!

Ерошка подскочил к лошадке (она была ему головой до подмышки). Обнял за выгнутую шею. Оглянулся на меня, глаза сияли. Теперь они были совсем зеленые.

— Дядя Слава, она меня нашла! Понимает, что виновата, сбросила тогда и удрала... — И Ерошка живо вскочил в фанерное седло. Ухватил повод. Лошадка вскинула передние ноги, ломая их в коленях. И кажется, даже тихонько поржала. А меня обожгло новым страхом: вот сейчас Ерошка ускачет опять — и поминай как звали!— Постой!

А он смеялся:

— Дядя Слава, не бойся! Раз уж она вернулась, будет послушная! Она... знаешь что? К Еське нас приведет! Обязательно! Пусть идет, куда хочет! Я на ней, а ты рядом!..

Да уж, конечно, рядом! Не отставая ни на полшага! Хватит с меня всяких расставаний…

Лошадка свернула с дороги на тропинку в белоцвете и вдоль длинного кирпичного забора вывезла Ерошку (и вывела меня) на улицу Утренних Звонков. Я про такую и не слыхал раньше. По этой улице (похожей на Ключевской спуск) мы вышли на другую. Здесь был уже почти центр. Всадник Ерошка во всей красе отражался в магазинных витринах. Деревянные копытца четко стучали по асфальтовому тротуару.

Никого из прохожих не удивляло, что мальчик едет на деревянной карусельной коняшке. Меня, разумеется, тоже. Встречные мальчишки и девчонки смотрели с открытой завистью. Ерошка сидел гордо. Это в маленьком масштабе напоминало триумфальный въезд полководца-победителя в столицу.

Ноги Ерошка держал прямыми и вытянутыми вперед, как французский кирасир. Они длинно торчали из коротеньких ссохшихся штанин. Прошлогодний загар на ногах был похож на узкие, в обтяжку, ботфорты. Над загаром я вновь заметил коричневые точки от колючей проволоки. Показалось на миг, что они набухли кровью. Тут же пришли на память стихи про обиженную

макаку. И вдруг стало отчаянно жаль Ерошку. Будто снова предчувствие какое-то. Представилась ржавая проволока на заборе и почему-то опять — бредущие солдаты в грязных шинелях, в распустившихся обмотках… Впрочем, это лишь на полминуты. Тревогу прогнал обыкновенный голод. Ведь мы не завтракали нынче! А время уже перевалило за полдень.

Ладно, я-то потерплю. А мальчишка? И так тощий, будто пацан из детдома военного времени…

Ерошка гарцевал в двух шагах.

— Слушай-ка, пора бы пообедать! Давай поищем столовую!

— Давай! А ее туда пустят? — Ерошка потрепал коняшку по деревянной шее.

— Найдем заведение, куда пустят.

Я завертел головой, отыскивая на ближних домах вывеску столовой или кафе. Нашел одну. Оглянулся на Ерошку. Ерошки не было.

16

Ну, что тут говорить опять о моем ужасе. Он прошил меня с головы до пят похожими на ледяные сосульки иглами. Я мгновенно понял, что Ерошка не просто отъехал, не спрятался ради

шутки. Его не было здесь *совсем*. Потому что не стало еще *многого*.

Не стало в конце квартала белой десятиэтажки с рекламой «Sapsang». Церковь на углу была теперь без блестящих крестов, и купол стал не позолоченный, а ржавый и дырявый, с черной решеткой арматуры. Колючий ветер гнал по дощатому тротуару окурки самокруток.

Прямо передо мной на кирпичной стене трепетал угол косо приклеенной серой бумаги с крупными строчками. Я машинально побежал глазами по буквам.

«Приказ № 013. В связи с осложнившейся обстановкой в районе военных действий Ермильская военная комендатура предписывает всем военнообязанным явиться на дополнительную регистрацию к местам своей приписки…»

Доски тротуара качнулись, я оглянулся. За мной стояли трое. В новеньких суконных гимнастерках. У двоих — стволы и граненые штыки над плечами без погон. Эти двое — в пилотках, а третий — в фуражке и с эмалевыми «кубиками» на малиновых петлицах. Лица у всех непроницаемые.

— Ваши документы, гражданин…

— Вам что, делать нечего? («И где же Ерош-

ка?»)

— Ваши документы!

Я плюнул, достал из заднего кармана редакционное удостоверение (хотя оно и было уже недействительное). Старший молча и неподвижно рассматривал его с полминуты. Потом глянул на меня из-под козырька. Глаза были *никакие*.

— Вы кто? Псих? Это что? — Он показывал на печать. Я и сказал:

— Редакционная печать.

— Что *в печати*?

Там был двуглавый орел. Маргарита Долгопень так лилась, что у нас «гербовая» печать.

— Сами не видите? Российский герб.

— Вижу, что российский, — сказал он задумчиво. — Вы власовец?

— Подите вы к черту! Если вы из кино, то учтите: я не в вашей массовке!

Я знал, что это не кино.

— Стоять!

— Я и так стою…

— Руки назад! Марш вперед! При ускорении шага, при попытке свернуть стреляем без окрика!

Двое в пилотках разом взяли винтовки на руку. Командир расстегнул кобуру. Повторил:

— Марш!

Что делать-то? Я плюнул и пошел… Все это было бы даже интересно, если бы не Ерошка и Еська. Где они?

Меня привели к невысокому кирпичному зданию с зарешеченными окнами полуподвала. Приказали: «Стоять!» Командир ушел в дом и скоро вернулся. Опять мне велели: «Марш!»

Двое с винтовками остались в коридоре, командир шагнул за мной.

Я оказался в сводчатой комнате, где в табачном дыму горела яркая лампочка. Уличный свет еле пробивался сквозь решетку полукруглого окна. У двери стоял часовой в синей фуражке, с совершенно деревянным лицом. И с дисковым автоматом (кажется, ППШ).

Еще три синие фуражки с лаковыми козырьками я увидел на длинном, покрытом красным ситцем столе (ситец был в чернильных кляксах).

Хозяева фуражек сидели за столом, в ряд. Один был с медным чеканным лицом римского полководца. Другой — с залысинами и дряблыми щеками, напомнил завхоза школы, в которой я учился с пятого по седьмой класс. У третьего было очень белое круглое лицо со щеками, похожими на ягодицы. «Помпей, Завхоз и Задница», — мгновенно придумались у меня прозвища.

Они смотрели на меня и будто не на меня. Они смотрели *никак*. Да, они были непохожи друг на друга, но с одинаковыми глазами. Я сразу вспомнил отчима, который в давние довоенные годы побывал в лапах следователей НКВД. Иногда, употребив четвертинку, он размякал и начинал полушепотом рассказывать про *такое*. Маме и мне. И говорил не раз: «Если вам придется иметь с *ними* дело (не приведи Господь, конечно), обратите внимание: у них ненастоящие глаза. Будто из фаянса. Лица при разговоре вроде бы меняются, мимика на них присутствует, а глаза… они не живут». Я понимал, сколько отчиму пришлось пережить, и жалел его. Всю жизнь жалел. И только одного не мог простить никогда: зачем он убил мою кошку…

Командир с «кубиками» в петлицах шагнул к столу, стал навытяжку, рука у козырька:

— Товарищ майор, разрешите доложить. Взят на улице при…

— Короче, — сказал Помпей.

— Документы не в порядке, товарищ майор.

— Обыскали?

— Никак нет, не успели.

— Обыскать.

Меня обшарили — умело, быстро, тщательно.

Положили перед тройкой бумажник, платок, удостоверение, расческу.

— Ваше имя, — потребовал Помпей.

Я собрал остатки дерзости. Подбородком показал на удостоверение:

— Там написано.

Помпей прочитал. Сказал без удивления:

— Вы считаете, мы должны верить этому бреду? Здесь даже дата какая-то идиотская.

— Правильная дата, — сказал я.

Помпей посмотрел мне в лицо. Снова без выражения, но дольше, чем прежде. Завхоз и Задница смотрели так же. У Помпея чуть шевельнулся подбородок, словно тот подавил зевок. Я подумал, что все трое, наверно, давно не спали. Днем и ночью работают…

Помпей спросил бесцветно:

— Вы что же, хотите сказать, что вы человек из будущего? Как «фосфорическая женщина» у Маяковского?

Ишь ты, образованный субъект.

Мне стало все равно. Происходившее ушло за рамки реальности. Настоящим было лишь одно — Ерошка и Еська. И необходимость найти их. Скорей бы все *это* кончилось. Я ответил Помпею:

— Не думаю, что я из будущего. Скорее вы — тени из прошлого.

— Вы очень быстро убедитесь, что мы не тени, — опять же без удивления возразил он. — Девять граммов свинца в затылке вещь вполне материальная. Их я вам гарантирую…

Задница при этих словах мешковато завозился и выложил перед собой на красный ситец черный револьвер. Системы «наган».

И сразу у меня натянулись все жилки. Если стоявшего рядом конвоира — пяткой в нужное место, наган со стола — в ладонь и тут же — кувырком к двери! Часовой не посмеет палить в людном месте…

Задница глянул и быстро убрал наган.

Завхоз двинул по ситцу к Помпею одну из моих бумажек.

— Товарищ майор, вот… — Это был календарный листок с корабликом.

И сразу все стало ясно. И этим троим, и мне. Бумага с готическими буквами, явно немецкая. Разве могла она оказаться в кармане у кого-то из «наших»?

Теперь хоть бейся лбом о стол, хоть рубашку рви на груди, хоть зайдись в отчаянных криках с попытками объяснений…

— А я-то сперва подумал: дезертир, — сказал Задница. Помпей снова обратил на меня фаянсовый взгляд:

— В общем это уже не имеет значения, но, если нетрудно, может быть, скажете? Вас забросили с парашютом?

— Конечно, нет, — с усталым удовольствием сообщил я. — Это было бы слишком просто. Меня перекинули через линию фронта из большой рогатки. Новое секретное оружие.

Называется «Плевок фюрера». Могу изложить конструкцию. В обмен на помилование.

Помпей опять подавил зевок. Сказал завхозу:

— Внесите в общий реестр. На завтра… — И командиру конвоя: — Увести.

— Доставить в общую?

— Нет. Таких птиц лучше держать отдельно до конца.

— Слушаюсь.

Меня повели через обширный двор, где тарахтел расхлябанный грузовик с железной будкой в кузове и кучками стояли военные. Подвели к приземистому, похожему на склад зданию. Прикладом легонько толкнули в открытую дверь. Она завизжала, грохнула, лязгнула.

Наступил мрак.

Ну, это сначала мрак, а скоро глаза привыкли. Над дверью, в толстой кирпичной стене было оконце, вроде зарешеченной форточки. В него сочился пасмурный свет.

Пахло какой-то дрянью. Было зябко. Я разглядел в углу сколоченные из реек пустые ящики. Сел на один, привалился спиной к другим, сложенным в штабель.

«Ну что, голубчик? Попал в очередной переплет? Думай, как выбраться…»

Но не думалось. Только страшно было за Еську и Ерошку. Я подождал: не перевернется ли в пространстве еще один прозрачный лист? Не изменится ли что-то в окружающем полусумраке? Нет…

Судя по всему, Синий Треугольник уже не помнил про меня… Или он вообще ничего не решал? Свернулся в завязанных раз и навсегда узлах и про все забыл? Или… вообще никогда его не было, Треугольника?

«Да, друг мой, ты уж надейся только на себя…»

Но надеяться не получалось. Как спасение от сырой кирпичной зябкости, пришла дремота. Я обнял себя за плечи. Вообразил, что укрыт пушистым пледом. Помогло. Задремал… И вздрогнул. За дверью, на дворе, громко заиграл патефон.

Именно патефон. Я сразу узнал характерный «акцент» пластинки сороковых годов.

Пластинка была, судя по всему, трофейная. И песня — полузнакомая, вроде как из довоенного заграничного фильма. Артистка старательно-сладким голоском пела по-немецки о цветущих деревьях и весенней любви. По крайней мере, я улавливал отдельные слова: «фрюлинг (весна)», «бойме (деревья)», «майне либэ (моя любовь)».

«Меломаны, с-сволочи», — с новым ознобом подумал я. И в этот миг раздались выстрелы. Словно кто-то бил поленом в железную дверь. Я вдавился спиной в ящик.

Выстрелов было с десяток. С интервалом секунд в пять. Когда они смолкли, сладкая песенка показалась звучащей сквозь вату. Но почти сразу стихла и она.

И тогда я сразу — с навалившимся липким страхом, с беспощадной ясностью сознания — понял, что не будет больше никаких путешествий по разным пространством, никаких сказочных превращений и состояний, похожих на полусон. Теперь была последняя, самая реальная реальность. И в ней, в этой реальности, завтра меня выведут на двор и вот так, под песенку сладкоголосой фройлен…

Впору было завыть, вскочить, заметаться… Но я лишь съежился еще сильнее.

Я — ладно. А как же *они*? Братишка и сестренка, которых вместе со мной завертели, замотали равнодушные вихри пространственно-темпоральной многомерности? (Черт меня дернул сунуться в эту кашу!) Что будет с Ерошкой и Еськой?

Может быть, ничего страшного?

А если они, как и я, попали в мясорубку невесть откуда вернувшейся войны?

Да, видать, не все войны закончились благодаря узлам на Треугольнике…

Но все же — *что будет* с ребятами?

Нет страшнее пытки, чем неизвестность…

Я сидел, сидел. Мерз, мерз… Время шло, шло…

Никто не приходил, есть и пить не давали (оно и понятно — зачем?). На двор по нужде тоже не выводили. Пришлось слазить в дальний угол за ящики. Воздух, конечно, не стал чище.

Я составил из ящиков пирамиду, забрался к решетчатому оконцу: вдруг увижу что-то обнадеживающее? Но увидел лишь грузовик с железной будкой. Из открытой двери будки торчали босые скрюченные ноги.

Прыгнул вниз. Упал коленями на жесткую

тряпку. Это оказался дырявый, с запахом гнили брезент. Ну, хоть какое-то одеяло на ночь. Тут же у двери и устроился, завернулся…

В оконце загустели сумерки, стало совсем темно. Я попытался еще раз собрать мысли. Может, придумается какой-то план? Может, есть все-таки выход? Плана и выхода не было. Было ощущение, что надежды — ноль.

Я согрелся, задремал.

И тогда ко мне пришел Травяной и Песчаный Заяц.

Он завозился у меня в ногах.

Признаться, я не очень обрадовался. Горько стало.

— Ты пришел попрощаться?

— Я пришел спросить, — насупленно отозвался он.

— Про что спросить?

— Вот про что: может быть, развязать?

— Я и так не связан…

— Я не про тебя. Может быть, развязать Треугольник?

— И… тогда что?

— И тогда — ничего. Станет, будто ничего не было.

— Как это?

— Просто. Получится, что ты сидишь в редакции и ругаешься с Маргаритой Долгопень. И еще не уволился.

— А потом?

— А что «потом»? — Заяц хихикнул, похоже на Ерошку. — Потом «все о'кей»…

— То есть с ребятами будет все в порядке?

— С какими ребятами?..

Я почуял в нем нерешительность.

— Не валяй дурака! С Ерошкой и Еськой!

Травяной и Песчаный Заяц вздохнул:

— Ты тупой какой-то. Я же говорю: будет, что *ничего не было*. Приснилось…

— Значит, их тоже… *не было*?

— Ну… я не знаю. Я про тебя знаю, а про них…

— Что-то ты хитришь, Котозай…

— Не хитрю, а… как я могу сказать, если получится, что ты еще не приехал в Малогду? И тебя еще не встретил… этот…

— А если приеду снова? Он встретит?

— Если и встретит, что дальше? Опять в конце концов окажешься здесь. Колечко…

— Д-да, ситуация…

— Паршивая, — согласился он. — Поэтому говори скорее: развязать?

— Нет.

— Ты что, жить не хочешь?

— А они?

— Да пойми ты! — подскочил у меня в ногах Травяной Заяц. — Если тебя завтра… здесь… Их не станет тоже! Так и так!

— Тоже погибнут?

— Просто получится, что их *не станет*… Бестолочь ты все-таки. Что в детстве, что сейчас…

— Ты бы не ругался, а посоветовал что-нибудь, — беспомощно сказал я. — С учетом всех обстоятельств…

— Каких? — буркнул он, хотя все, конечно, понимал.

— Таких, что без этих ребятишек для меня смысла нет.

— Кто они тебе?

— Не знаю. Просто я и они — одно. Видно, такое мое предназначение. Кажется, называется «карма»…

— Бред это называется, — сказал Заяц. Но очень беспомощно.

— Значит, нет у тебя никакого совета?

— Только один. Скорей всего, бесполезный, но другого нету… *Помни о патефоне*.

— Что?

— Помни о патефоне! — звонким мальчише-

чьим голосом сказал Травяной и Песчаный Заяц. И пропал.

А дверь залязгала. Открылась.

— Выходи…

Я сбросил брезент. В дверь нехотя втекал мутный рассвет. Я пошел. Спина противно ныла (как в снах о старости). Ноги затекли и еле двигалась. Ясно было, что вырвать у кого-то оружие и сотворить кинотрюк с побегом — нечего и думать.

Два конвоира с винтовками повели меня в дальний край двора. Мы оказались в проходе между кирпичным забором и кирпичным же зданием без окон. Утыкался проход в стену, сложенную из могучих плах. В дереве было много черных дырок. «Не рикошетят, значит…» — мелькнуло у меня.

Было не очень страшно. Тоскливо только.

У кирпичного забора лежал высокий дощатый ящик. На нем стоял открытый патефон. («Думать *о нем*? Зачем?») Рядом с патефоном стояли несколько чинов — двое из них с портфелями. И все в фуражках с синим верхом и красными околышами. Среди них я узнал Задницу и Завхоза. Оба держали в опущенных руках револьверы.

— Стоять, — велел конвоир.

Один из чинов — седоватый, в интеллигентных очках — открыл коричневую папку. Глянул на

меня поверх очков:

— Вы?.. — И назвал мое полное имя.

— Вы не ошиблись, — сказал я. Он вежливо кивнул и стал читать:

— Постановление Чрезвычайной тройки военного трибунала Ермильского Управления Наркомата внутренних дел. На основании закона о военном положении, статья номер…

Формальности соблюдают, с-суки…

Читал он недолго. Захлопнул папку и шагнул в сторону.

Сыро было, пасмурно, зябко.

— Вперед! — скомандовал другой незнакомый энкавэ-дэшник. Весь в скрипучих ремнях. Кивком велел мне идти к деревянной стене, в тупик.

Я сделал несколько шагов, но тут же обернулся. Чин в ремнях опускал блестящую мембрану на край пластинки. Патефон зашипел, фройлен кокетливо запела о весне.

— Марш! — сквозь песню снова крикнул чин. — Лицом к стене!

— Обойдешься, — сказал я.

У меня кружилась голова, и казалось, что я стою на краю громадного патефона — между диском и черным провалом-рупором, вделанным в корпус. Оглушительная песня толчками вырывалась из

железного чрева. Рядом со мной проносился исполинский никелированный обод диска с черным краем пластинки. Чуть в стороне покачивалась на фоне рассветного неба чудовищная мембрана с лепестками ажурного узора.

Да, я стоял и просто на земле, и как бы там, на патефоне.

Чин в ремнях что-то снова сказал мне. Потом пожал плечами и кивнул Заднице. Тот покрутил у нагана барабан, шагнул ко мне. Стал поднимать револьвер. Часто дышал, но на лице — никакого выражения. Как на том самом месте.

— Стреляй скорее, ж..., не бойся, — сказал я. Потому что уже знал: когда он поднимет наган еще чуть-чуть, я брошусь, пригнусь, пуля пройдет над головой. Я вырву у гада оружие и... там видно будет! Помнилось, что во дворе у ворот стоит мотоцикл... И не было теперь в мышцах никакой скованности. Была упругая сила...

Я опоздал совсем немного. На крошечную долю секунды. В последний миг успел заметить, что Завхоз подошел сбоку, со стволом на уровне моего виска...

Упала темнота. И тут же голова моя — в этой темноте — взорвалась тысячей огней. Но огни сразу погасли. С тупой болью в виске я падал в

черный провал патефонного рупора.

Звуки песенки догоняли меня, но… нет, это был уже не слащавый немецкий шлягер. Ноты рассыпа`лись, перепутывались и сплетались в другую мелодию. Совсем в другую! Да… это была старая любимая «Рио-Рита»!

Музыка звучала негромко, но упруго. И даже со сдержанной победной силой. Это была *моя* музыка. Я сам сделался ею. Я превратился в дрожащий воздух, заскользил по трубчатым недрам патефона (они все сужались). Я взорвался струнным аккордом внутри мембраны, притих и тонкой нотой скользнул с иглы в черную борозду пластинки…

17

Несколько минут (или часов? или месяцев?) я лежал на чем-то твердом, пахнувшем смолой и асфальтом. Эта твердь была неподвижна. И в то же время она куда-то стремительно неслась вместе со мной в черном пространстве. В черном — потому что глаза были закрыты.

Я наконец разлепил веки. Все равно кругом была темнота. Ее заполняла мелодия «Рио-Риты». Откуда она? Зачем праздник, если случилось *такое*?

В виске сидела твердая, как деревянный кубик, боль. Я встал на колени — голова стразу сильно закружилась. Я потрогал висок, ожидая нащупать липкую дыру. Но покрытый волосками висок был невредим и чист. Тьму вдруг расчертил густой серебряный звездопад. Крупные, похожие на кристаллы звезды косо летели с высоты и сгорали у поверхности рассыпчатыми гроздьями искр. Потянуло прохладным луговым ветром. Он резко прогнал головокружение. Я встал.

В летящем свете звездопада я видел громадное черное поле, распаханное неровными бороздами. Они были глубиной чуть ниже колен. Это была не земля, а что-то твердое. Края борозд поблескивали.

Я пошел вдоль борозды, но какая-то сила тянула меня вбок, поперек борозд. А черное ребристое поле по-прежнему куда-то неслось в пространстве, хотя в то же время оставалось неподвижным. Звездопад прекратился, но полного мрака не было, в небе проступили серые мглистые облака.

Подчиняясь тому, что неумолимо тянуло меня поперек поля, я стал прыгать через борозды. А тягучая, как резина, сила делалась все сильнее. И вдруг при очередном прыжке я понял — это *центробежная* сила! И несла она меня на край

исполинской патефонной пластинки, которая вертелась в неведомом пространстве.

Чем ближе край, тем неумолимее центробежная тяга. Что будет, когда она меня сбросит с диска? И куда сбросит? Я упал, попытался застрять в борозде, но общий для всей вселенной закон центробежного движения вымел меня из скользкой канавы, как букашку. И понес через твердые борозды, перекатывая, словно легкую поролоновую куклу…

Ничего страшного не случилось. Я слетел с края, покувыркался в сырой траве и замер, лежа ничком. Стал ждать: что же дальше? Боялся, что почувствую боль поломанных рук и ног.

Но боль была только от ушибов, несильная. А Ерошкин сипловатый голос вдруг негромко сказал:

— Пожалуйста, выключи «Рио-Риту».

Лишь сейчас я понял: эта музыка все еще неустанно звучит во мне. Напрягся, погасил мелодию. И с закрытыми глазами замер, умоляя судьбу: пусть Ерошкин голос будет не галлюцинацией, не мгновенным бредом, а правдой…

Это была правда. Это был Ерошка. Я увидел его сразу и ярко, потому что над лугами стремительно взошло малиновое солнце.

Ерошка сидел передо мной на корточках. Исхудавший, грязный, со слипшимися волосами, в измызганной своей трикотажной одежонке.

Я быстро сел. Джинсы тут же промокли подо мной, потому что всюду был густой росистый клевер. Я мельком заметил, что росы стеклянными россыпями сверкают на лугах, а никакого патефона нигде нет. Ну, нет и не надо. Зато Ерошка — вот он!

Не веря небывалой этой радости, я смотрел на него и, кажется, глупо улыбался. А он глядел исподлобья. Рванул пук сырой травы, начал стирать им с ног черную грязь. Она не стиралась, только размазывалась. По ногам тянулись длинные царапины, они были еще чернее, чем грязь.

Я не знал, что спросить. Сидел во мне глупый страх, что любой вопрос может что-то разрушить и Ерошка исчезнет.

Он сказал наконец — сипло и сердито:

— Все же догнал я тебя… — И вдруг всхлипнул. Провел под носом ладонью и там тоже размазал грязь.

Я толчком встал, поднял Ерошку под мышки, взял на руки. Он был совсем нетяжелый. Я понес его, путаясь башмаками в сыром клевере и ромашках. Ерошкины ноги болтались, и намокшие

кроссовки колотили меня по бедру. Ерошка обмяк и полушепотом сказал опять:

— Все-таки догнал…

И ткнулся носом в мое плечо.

— Долго ты догонял меня, малыш?

— Долго… — выдохнул он.

Подробностей я не знаю до сих пор. Знаю только, что о том, как он догонял меня, можно было бы написать отдельную книгу.

Ерошка иногда рассказывал, но мало и неохотно. А при настойчивых вопросах морщился, и в глазах набухали слезинки. Кое-что я все-таки от него услыхал. А кое-что подсмотрел в его снах, когда он вскрикивал, разметавшись на кровати, а я гладил его взмокший холодный лоб…

Было у Ерошки много беспросветных, захлестнутых отчаяньем дней. Толпы беженцев, обстрелы, трупы на обочинах… Был эшелон, лающие крики конвоиров. Ерошка знал, *куда* идет эшелон, потому что оказался среди евреев. Он ведь читал кое-что о давней войне и понимал теперь, *что* впереди. Но то, что он не еврей, доказывать не пытался. Зачем? *Этот* путь был один из тех, которым Ерошка мог догнать «дядю Славу». Смутное понимание многомерности пространства, видимо, изначально жило в Ерошке.

Так же, как понимание непрочности временны`х структур, которые может перетряхнуть легким стуком девочка с красным мячиком…

Но ужас перед камерой-душегубкой оказался непосильным для мальчишкиной души. И когда этот ужас заслонил все другие чувства, все мысли, Ерошка бежал из вагона. Бежал на остановке, когда раздавали узникам крохотные куски хлеба.

Ему повезло сперва. Он сумел укрыться в ближнем леске. Но почти сразу наткнулся на патруль. Это были дядьки с полукруглыми бляхами фельджандармерии на пыльных мундирах.

«Ну и ладно. Теперь это быстро…» — кажется, подумал Ерошка. Глядя на черные короткие автоматы, он поднял из травы гнилой сук, замахнулся, как гранатой. Горячие гвозди ударили по Ерошкиным ребрам…

Но тогда, в первые минуты встречи, я ничего такого не знал. Я нес Ерошку через утренний луг и надеялся выйти на какую-нибудь дорогу. Никаких врагов я не опасался. Потому что невысоко над лугами (видно, с ближнего аэродрома) прошел узкокрылый реактивный лайнер — серебряная птица двадцать первого века.

Наконец я спросил Ерошку:

— А Еська? Ничего не знаешь о ней?

— Не-а… — Он посильнее болтнул ногами. — Но я не боюсь. У нее такая лошадка… Дядя Слава, она Еську, скорей всего, доставит прямо домой.

«А где он, ваш дом-то?» — чуть не спросил я. Но не решился — опять из-за неясного опасения. И спросил о другом:

— А твоя лошадка… что с ней?

— Сгорела… — дыхнул он мне в плечо. И больше я не спрашивал.

Дорога все не попадалась, но зато я вышел к ручью. Он весело ворковал в обрамлении береговых пахучих трав с желтыми зонтиками соцветий. Услыхав говор воды, Ерошка энергично заболтал ногами, извернулся, прыгнул у меня из рук. Весело стряхнул кроссовки, скакнул в ручей — сразу по колено. Струи забурлили вокруг его ног.

То ли от свежести ручья и утра, то ли еще почему-то, Ерошка резко повеселел. С фырканьем и плеском вымыл шею и лицо, обильно смочил волосы и растопыренными пальцами разгладил их на косой пробор. Смыл черноту с коленей. По очереди поджал, как журавленок, ноги, посмотрел. Грязи уже не было, только царапины. Ерошка взглянул на меня — так живо, что с ресниц полетели капли. Глаза были влажные и чисто-зеленые.

— Смотри! — Ерошка подбородком с дрожащей каплей показал на берег. Там валялись его кроссовки — теперь уже растоптанные и грязные (вот уж действительно «лёпы»). На каждой кроссовке, на побитом кожаном носке, сидел кузнечик.

Ерошка стянул через голову футболку (разрушив при этом прическу).

— Выстираю. Хочу смыть *это*... — Он держал футболку на весу, за плечики, грудью ко мне. Зеленый кенгуренок оказался теперь почти неразличим, выгорел, но белый круг, в котором он сидел, был расчерчен черными линиями — кольцевыми окружностями и перекрестьем. А в центре — такой же черный кружок. Это явно была мишень! И на ней — несколько бурых засохших клякс. Меня передернуло.

Но Ерошка быстро окунул футболку в струи, пополоскал, скрутил, выжал, развернул опять — и оказалось, что мишени нет. И бурых клякс не было. Может, мне они просто почудились? Тем более что кенгуренок (или динозаврик? или кузнечик?) опять зеленел вполне отчетливо.

Но вот что не почудилось! Надпись под белым отстиранным кругом опять была другая! И желто-зеленые буквы теперь не просто поменялись местами. Некоторые сделались иными:

SERAFIMA.

Конечно, я ничего не сказал. Просто стало радостнее на душе. А Ерошка, видимо, ничего не заметил. Выбрался из воды. Кузнечики с кроссовок прыснули в траву.

— Никуда не денетесь, — вслед им сказал Ерошка. Стал натягивать кроссовки. Поморщился, ойкнул.

— Что такое? — сразу испугался я.

— Да так… Наколол где-то…

— Покажи!

На белой отмытой ступне был черный след укола с розовой припухлостью вокруг.

— Еще не легче!

Не хватало какого-нибудь заражения!

Средство было пока одно: я нашел на берегу подорожник, намочил, приклеил к Ерошкиной ноге. Растоптанная «лёпа» наделась на ступню без сопротивления. Но сможет ли он идти?

…Сразу скажу: никаких дурных последствий эта Ерошкина ранка не принесла. Но какое-то время я нес Ерошку на плечах, потому что ступать ему было больно — морщился и сопел.

Конечно, он сперва побрыкался:

— Ну, чего это я поеду на тебе, как детсадовское дитя! Я тяжелый!

Но я сгреб его и закинул себе на шею.

— Тоже мне тяжесть. Три кило макарон… — Не разуваясь, перешел ручей и резво зашагал через луг. Ромашки и колокольчики захлестали по мокрым штанинам. Солнце стало белым и жарко светило мне в левую щеку.

Ерошка, смирившись с ролью «детсадовского всадника», сперва молча побалтывал ногами. Потом хихикнул:

— А что тяжелее? Три кило макарон или три кило чугуна?

— Старая шуточка, — сказал я.

— Старая, а ответа никто не знает. Думаешь, одинаковая тяжесть?

— А разве нет?— А вот и нет. Три кило чугуна тяжелее.

— С чего ты взял?

— А конечно! Вот урони себе на ногу макароны и чугун одинакового веса! Сразу убедишься.

— Спасибо за совет. Хорошо, что на ногу, а не на голову… Он хихикнул опять. Привычно так, будто в прежние времена. Потом озаботился:

— Тебе не очень тяжело?

— Мне *совсем* не тяжело, — соврал я, стараясь дышать ровно.

— А то, может, спустишь меня? Нога уже не

болит…

— Сиди, не ерепенься. А то спущу и… дам тума`ка.

Он обрадованно фыркнул:

— Надо говорить «тумака`»!

— Ты же сам говорил «тума`ка»!

— Это раньше. А теперь…

— А что теперь?

— Подожди, — отозвался Ерошка рассеянно. И примолк.

Мы наконец вышли к луговой дороге. Передохнули, присев на валявшуюся у обочины шину самосвала. Потом я снова преодолел Ерошкино (не очень энергичное) брыканье и посадил его на плечи. Поскольку мы не знали, в какую сторону идти, я пошел так, чтобы солнце светило в спину.

Ерошка вдруг сказал сбивчиво:

— Па… послушай, дядя Слава. Я стихи досочинил. Те, про макаку.

— В самом деле? Когда досочинил? Сейчас?

— Нуда…

— Читай давай, — велел я.

Он смущенно попыхтел у меня над головой и заговорил. Без выражения, но внятно:

Заведу себе собаку,

Дам ей имя Макака`
И совсем ни разу даже
Я не дам ей тумака,
Никогда.

Пусть она на кошек лает,
За штаны меня хватает,
Все же на своем веку
Никогда я, никогда я
Не обижу Макаку`.
Ни за что…

— Да… — сказал я вполне правдиво. — Очень такое… проникновенное стихотворение. По-моему, у тебя талант… — И почему-то сразу испугался: вдруг он скажет: «Есть в кого…»

Но Ерошка не сказал эту непонятную фразу. Только посопел со скромным авторским удовольствием.

Дорога стала подыматься на взгорок.

— Отпусти, пойду сам, — опять сказал Ерошка.

— Сиди тихо… Макака`.

Он притих с дурашливой послушностью.

Кругом до горизонта лежали луга. Роса уже высохла, не было сверкания, но травы пестрели цветами. Густо носились бабочки, заливались

пичуги.

— Ого… — вдруг сказал Ерошка. И даже взлягнул.

— Что такое?

— Уже видно, — со значением произнес он. И, кажется, с опаской.

— Что видно?

— Город…

— Какой город?

— Просто *Город*, — сказал он.

Мы были на верхней точке пологого перевала.

— Я ничего не вижу… — (Но сердце у меня почему-то стукнуло вразнобой с обычным ритмом.)

— Потому что ты внизу, а я над тобой.

— И… что же ты видишь?

— *Город*, — опять сказал он.

Я потоптался на месте и спросил (потому что догадался):

— Тот, где Еська?

— Ну… да. И Еська тоже…

Я опять хотел сказать, что ничего не вижу. Только травы и неясные облака. Но город (*Город*?) уже поднимался над травами.

Прежде всего я увидел золотые искры. И понял, что это купола. Потому что вспомнил белую церковь в лугах за Малогдой.

— Ерошка! Это, кажется, купола блестят!

— Ну да!

Затем выросли из трав башни. Всякие. Были там и колокольни, и ретрансляторы, и водонапорные башни, похожие на средневековые постройки. Появились белые хребты многоэтажек. И было ясно (чувствовалось!), что среди этих современных кварталов прячутся деревянные переулки с резными воротами, лестницами на косогорах, мостиками через овраги, голубятнями и садами, где журчат старые фонтаны с чугунными фигурами журавлей, оленей и ребятишек, сцепивших руки в вечном, безостановочном хороводе…

— Что же это все-таки за город? — опять спросил я. Как-то по-глупому строго, словно дотошный учитель. Хотя, конечно же, я знал…

— Опусти меня на землю, тогда скажу.

Я снял Ерошку с плеч. Он встал рядом. Прямой, независимый и чуть отстраненный.

— Это Город, который ты придумал.

— Ничего такого я не придумывал! — насупленно сказал я.

— Нет, придумывал! А потом забыл…

— Я никогда ничего не забываю, — сообщил я Ерошке с глупым упрямством пенсионера.

— Хы! А шхуну с синим кливером?

— Я ее не забыл!

— Ты забыл, что *по правде* плавал на ней…

— Ерофей! Ты издеваешься? Он дурашливо нагнул голову.

— Ну дай, дай мне по шее тума`ка!

— Дурень ты все-таки…

— Ага… — вздохнул он. — Ну, идем?

Но я не пошел. Вдруг пришло отчетливое понимание, что мне идти туда не следует. Я довел Ерошку. И все. Дальше пусть он идет один — это *его* дорога. Встретится там с Еськой, будут жить-поживать… Мне, конечно, тоже хотелось увидеть Еську. Но опасение, что мое присутствие снова осложнит им жизнь, было сильнее.

— По-моему, нам пора попрощаться, — заявил я, решительно скрутив в себе печаль. — Ты не находишь?

Ерошка этого не находил. Он взметнул отчаянный зеленый взгляд.

— Зачем?!

— Ну… по-моему, ты дальше доковыляешь один. А мне пора возвращаться.

— Куда?! — Он спросил это с искренним изумлением.

— Что значит «куда»? Меня ждут в газете «Наши задачи». В отделе писем. Пора приступать к

работе… И вообще…

— Это в каком же городе? — спросил он с ядовитой ноткой.

— В N-ске…

— В самом деле? — сказал он еще ядовитее.

— А что такое?

— И ты еще не понял, что там тебя давно похоронили?

— В каком смысле?

— В обыкновенном, — увесисто сообщил этот юный негодяй.

— Ты что, офонарел? — почему-то сильно испугался я. Он отскочил на несколько шагов, запританцовывал, чуть хромая.

— Да пошутил я, пошутил! Что такого?

— Шуточки у вас, боцман… — сказал я словами старого анекдота.

— А что, пошутить нельзя? Люди всегда шутят, если им хорошо.

Я прислушался к себе. Мне было не очень хорошо. Оно и понятно — горечь близкого прощания.

— А тебе *хорошо*, Ерошка?

— А разве плохо? Ведь Город уже на горизонте!

Город и правда по-прежнему виднелся на горизонте. Но был он далеко-далеко, за толщей струящегося воздуха.

«Как-то зыбко все, непрочно…» — подумал я. Нет, не подумал, а, видимо, произнес. Потому что Ерошка веско возразил:

— Нет! Есть там и прочное. Очень даже…

— Что именно?

— Не что, а кто.

— Кто?

Тихо, но с прежней вескостью он произнес:

— Мама.

А, вот оно что! Наконец-то!

— Твоя мама?

То ли мне показалось, то ли он все же сказал одними губами:

— И твоя… Переспрашивать я не стал. Не посмел. Солнечные луга звенели тишиной и кузнечиками. В этом звоне чего только не почудится!

Я лишь спросил:

— Ну а… кто еще там есть?

Ерошка глянул исподлобья. Быстро и лукаво. То ли случайно, то ли с какой-то мыслью провел большим пальцем по груди. По слову SERAFIMA.

Пространство зазвенело сильнее, напряглось и последний раз перевернуло громадный, во всю ширину лугов и неба, прозрачный лист. Я мотнул головой. В ушах шумел теплый очищающий ветер. Было непонятно, как полминуты назад я не

хотел *туда*! Отчего сомневался? Как мог думать, что обойдусь без тех, кто в Городе? И без этого вот… который опять, забывшись, мазал пятерней волосы. И поглядывал виновато…

А Еська! Получилось бы тогда, что я так и не нашел ее!..

— Так идем же! — Я хотел опять вскинуть Ерошку на плечи. Но он откачнулся:

— Не надо… Я уже сам могу. Не болит…

— Ладно. Пошли… — Я протянул Ерошке руку. Но он отступил. Сникший, потускневший.

— Ты иди… — И глаза его намокли.

— Да что с тобой? — Ведь пять секунд назад все было хорошо!

— Ты иди… — сипло повторил Ерошка. — Сам…

— А ты?

— А мне нельзя. То есть не получится…

— Да почему?!

— У меня нет твоего таланта. Ну, воображения…

— Что за чушь ты несешь!

— Это ведь *ты* придумал Город. Своим воображением. А не моим…

Некогда было спорить. Ерошка опять куда-то ускользал от меня. И я сказал отчаянно:

— При чем тут воображение! Пойдем без него!

— Даль-то какая… — прошептал он.

— Ну и что? Дойдем когда-нибудь! Ерошка глянул исподлобья.

— Один-то ты можешь сразу… Представил, что ты уже там, раз — и готово. А со мной…

— А без тебя я никуда не пойду. Ты что, с ума сошел? Как я… *без тебя*?

Я присел перед ним, взял за кисти рук, притянул. Он смотрел в сторону, посапывал виновато.

— Ерошка… Почему ты захотел, чтобы я тебя оставил? Он надул губы. Все так же глядя вбок, выговорил:

— Я не захотел. Наоборот… Но надо было, чтобы ты очень позвал меня с собой. Без тебя мне туда не попасть…

— Я и зову ОЧЕНЬ!

— Правда? — он стрельнул в меня быстрым зеленым взглядом.

— Вот балда! Нет, ты в самом деле заработаешь по шее! Ерошка заулыбался, оттаивая:

— Тогда ладно. Тогда идем… Но учти, что это насовсем. Опять была в его словах какая-то опаска. Но я только спросил:

— А если я возьму тебя на плечи и представлю, что оба мы уже *там*? Получится?

— Не получится… Да и зачем нам это? Дойдем

как-нибудь без хитростей…

— Конечно, дойдем!

— Только учти: Город гораздо дальше, чем кажется…

— Но ведь все равно он же *есть*!

— Да. И мне туда очень надо.

— Потому что… со мной? — осторожно спросил я.

— С тобой… И со всеми, кто там есть…

Мы пошли. Ерошка поглядывал на меня, а потом, поймав мой взгляд, начинал смотреть под ноги. Перед ним по землистой колее прыгали два кузнечика. Будто два братишки. Или… братишка и сестренка?

Я вспомнил Еську и вдруг понял, что она очень похожа на Серафиму. Да… Несмотря на то, что Серафима круглолицая, а Еська вся такая… остроугольная. А еще они обе были похожи на девочку с портрета, который я, восьмилетний, видел в мастерской старого Гольдштейна.

Трава стала ниже, кое-где между нею теперь виднелись песчаные проплешины. Сам не знаю отчего, я сказал:

— Может быть, мы встретим здесь Травяного Зайца.

— Травяного и Песчаного, — с пониманием

уточнил Ерошка.

— Да…

— И он пойдет с нами! Хватит уж ему болтаться неизвестно где!

— Но он же охраняет Синего Треугольника, — осторожно напомнил я.

Ерошка хмыкнул.

— Думаешь, Треугольник все еще сидит в твоем ящике?

— А где он?

— Он… везде.

— Откуда ты знаешь?

— Ну… знаю, вот и все.

…Он и правда знал многое. Он сделался вдруг разговорчивым и, шагая рядышком, начал рассказывать, что будет дальше.

Сначала мы встретим Травяного и Песчаного зайца («И я скажу ему спасибо за патефон», — подумал я.) Потом, к вечеру, дорога приведет нас к асфальтовому шоссе с машинами, с автобусными остановками, автозаправками и уютными трактирчиками на обочинах. И мы увидим там павильончик, одна из стен которого будет сплошь из стекла. Это — фотомастерская Моти Гольдштейна. Для проезжих водителей, пассажиров и всякого дорожного люда.

Мотя, качая головой и удивляясь рассказу о наших приключениях, накормит нас ужином, а после спросит: не подбросить ли нас до Города на машине. Потому что нас там ждут. Вчера на велосипеде приезжала большеглазая конопатая девчонка и спрашивала: не появлялись ли тут длинный небритый мужчина и мальчик в футболке с надписью «Серафима»? Мотя сказал, что пока не появлялись, но появятся непременно, раз она ждет.

«Ну, я задам этому трубочисту», — пообещала девочка и укатила.

«Непонятно, кого она имела в виду», — сокрушенно скажет нам Мотя.

«Меня», — гордо сообщит Ерошка и, улыбаясь, ляжет щекой на стол.

Мотя снова скажет о машине, но Ерошка уже будет спать, причмокивая губами рядом с тарелкой, где останется недоеденной рисовая каша с повидлом.

Ерошку мы уложим на топчане, под холщовой декорацией, изображающей пароходную палубу. Травяной и Песчаный Заяц с перемазанной повидлом рожицей уляжется у него в ногах. А мы с Мотей будем сидеть за бутылочкой «Каберне» и разговаривать до середины ночи. О чем? Ну, это

отдельная повесть…

Утром, после завтрака, Мотя вновь напомнит про машину. Но мы с Ерошкой двинемся пешком. Славно идти не спеша, когда впереди только хорошее. Ожидание хорошего — это уже само по себе радость.

18

(ВРОДЕ КАК ЭПИЛОГ. ДА?..)

…Ерошка в самом деле завел себе собаку и назвал ее Макака`. Это милая кудлатая дворняга с желтыми глазами и репьистым хвостом. Очень дружелюбная. Она сразу подружилась с котенком Томасом, которого принесла откуда-то Еська. А еще у нас живет лошадка-пони, которую зовут Шоколад. Еська утверждает, что «шоколадное» имя приносит счастье. Мы все знаем, что Шоколад — это обросшая коричневой шерстью деревянная коняшка, которая принесла Еську прямо в Город, избавив ее от многих опасностей и бед…

Обитает у нас в доме и Травяной (и Песчаный!) Заяц, но он — личность, как говорится, неконтактная. Предпочитает сидеть в полутемных закутках и кладовках. Только с Макакой у него дружба. Ночью вместе спят на широкой летней веранде, за бочкой с громадным фикусом.

Впрочем, иногда Заяц надолго исчезает — шастает по травяным и песчаным пустошам за Городом. А возможно, и где-то дальше. Не исключено, что он навещает Синего Треугольника, который, как мне кажется иногда, все еще дремлет в ящике письменного стола.

Хотя это, конечно, ерунда. Ерошка наверняка прав: Синий Треугольник *везде*. Например, прямо над нами. Крыша нашего мезонина, высокая кирпичная стена-брандмауэр и стоящий на пригорке забор соседского сада своими кромками образуют над заросшим двором треугольник. И в этом треугольнике синеет летнее небо.

Здесь почти всегда лето (за исключением двух-трех рождественских и новогодних недель) — в Городе, где мы живем. В Городе, где перемешаны деревянные улицы Тюмени (и Малогды) с приморскими переулками Гаваны и Севастополя, где покрытые бурьяном откосы Туры соединяются с желтыми слоистыми обрывами Херсонеса; где старинные крепости с поржавевшими рыцарскими латами в каменных нишах отданы для игр и приключений городским мальчишкам и девчонкам; где из мелкого, поросшего камышом Андреевского озера можно городскими оврагами, по речке Тюменке за полчаса добраться до

морского залива за мысом Два Кузнечика; где добродушные (никогда не обижающие воробьев) коты сонно греются на чугунных пушках старых бастионов и на теплых, брошенных на песке адмиралтейских якорях…

Бывает, что Ерошка целыми днями носится с друзьями-приятелями по крепостным дворам и заросшим откосам. Приходит к вечеру — в синяках и белых ссадинах на загаре, в колючках и пыли.

— Чучело приморского базара, — сурово говорит Еська. — Волосы прилизывает, а нос и локти как у папуаса…

И она берет мочалку, наливает в большущий таз горячую воду.

— Ма-а!.. — воет Ерошка. — Ну чего она! Опять хочет мойдодырить!

— И правильно, — говорит Серафима. — Если бы не Лена, ты зарос бы лишаями.

Вообще-то Ерошка и Еська живут дружно. Однако бывают изредка стычки. Или потому, что он неряха, или оттого, что не хочет показывать сестре стихи, которые сочиняет. Бывает, что приткнется у подоконника и выводит в тетрадке корявые строчки, а она подкрадется — и зырк через плечо!

— Мама! Ну чего она лезет!

— Я не лезу! Я только одним глазком! Жалко, да?

— Жалко знаешь где? У пчелки в…

— Мама, а он выражается!

— А ты ябеда! — И у Ерошки намокают глаза.

Надо сказать, он характером послабее сестры, даже плаксивее. Но я читал у каких-то педагогов, что в таком возрасте мальчики часто плаксивее девочек. Потом это проходит. К тому же я помню (хотя уже смутно, будто давний сон), как он догонял меня. Хотя на любимой Ерошкиной футболке с кузнечиком и надписью «SERAFIMA» не осталось ни малейших следов мишени и бурых пятен.

Иногда я все же считаю долгом укреплять Ерошкин характер. И говорю:

— Что ты скандалишь, как девчонка. Будешь так себя вести, ухи накручу.

Ерошка не оспаривает отцовское право накрутить ему «ухи». Но тут же делает финт:

— Ладно, накрути… А за это возьмешь меня с собой на шхуну! Ну, па-а…

Дело в том, что я готовлюсь к путешествию. Шхуну «Томас Манн» недавно передали местному обществу журналистов-географов, и я собира-

юсь в плавание — до Панамского перешейка, потом через канал, вдоль берегов Южной Америки, мимо мыса Горн, в Австралию и дальше до Владивостока. Что делать, раз книжка издана и продается, а я еще не ходил в море. Кто-то перепутал корпускулы времени на темпоральном векторе, и теперь надо исправлять положение, чтобы в мире, где живет Город, не было путаницы. Впрочем, я ничуть не жалею. Путешествие будет замечательным. Я беру с собой клеенчатую тетрадь с листами в клеточку. Может быть, именно она станет заветной тетрадью, которую я безуспешно искал во многих своих снах…

Капитан шхуны Станислав Язвицкий и боцман Жора неторопливо и тщательно готовят судно к долгому рейсу. Не спеша, внимательно подбирают экипаж. Предусмотрительный Жора заранее заказал в мастерской треугольный парус-кливер из ярко-синей парусины. Катерную пристань в Малогде Жора оставил на Танкиста. Говорит, что якобы тот за последнее время поумнел и обрел кой-какое трудолюбие. Ох, не знаю… Впрочем, ну его, Танкиста. Мне хватает проблем с Ерошкой. Ерошка то и дело пристает, чтобы я взял его в плавание. Конечно, это бред! Серафима тоже так говорит. И даже Еська. Но Ерошка все равно

канючит каждый день.

— А школа! — говорю я тоном самого рассудительного папаши на свете.

— Я буду читать учебники самостоятельно! Каждый день по шесть часов!

— Тебя и на полчаса за уроки не усадишь, — напоминает Еська (ей-то совсем не хочется в плавание; она занимается в детской студии «Волшебная кисть» и собирается стать дизайнером).

— Это здесь не засадишь! А там…

— А там ты свернешь себе шею, — сообщает Серафима. — В книжке что написано?! «Ерофей был неугомонен и то и дело забирался на верхушку фор-мачты…»

— Не «фор», а «фок»! — голосит Ерошка. — И не на «верхушку», а на «клотик»! И не я это вовсе, а корабельный кот!

— Ты же сам говоришь, что кота звали Томас, — напоминает Серафима.

— Это на верфи был Томас! А на шхуне… Сама ничего не помнишь, а сама говоришь! Или ты нарочно, да?!

— Ты как с матерью разговариваешь! — считаю я необходимым возвысить голос.

Ерошка обижается всерьез. И уходит жить к любимой бабушке. К моей маме. (Я до сих пор со-

дрогаюсь, вспоминая дурацкие сны, будто мамы нет на свете.) Бабушка жалеет Ерошку. Ей, конечно, тоже не хочется, чтобы любимый внук уходил в моря-океаны (страх такой!), но еще больше не хочется, чтобы он ронял слезы. Мама звонит нам и укоряет за бесчувственность к ребенку. Еська начинает печалиться. Мы с Серафимой тоже. Сперва не подаем вида, но к вечеру печаль и муки совести делаются сильнее педагогических принципов. И мы отправляем за Ерошкой Травяного Зайца. Тот, поворчав, садится на Шоколада и едет на Шестую Бастионную, к моей маме. Привозит несчастного «изгнанника».

— Хватит уж дуться-то, — говорю я Ерошке. — Стыдно, честное слово. Не маленький уже…

— Ладно… А возьмешь на шхуну?

Ну, что тут делать? Начинать все снова?

Приходится сказать:

— Посмотрим на твое поведение.

— Ура!! — Ерошка встает на голову и стоптанной «лёпой» сшибает с полочки разноцветную Еськину гуашь. Еська — ради всеобщего мира — делает вид, что это пустяк.

Вот так и живем…

Ерошка, уже уверенный в будущем, для пущей готовности к плаванию записался в отряд юных

моряков-парусников. Ходит в серой рубашке с погончиками и с шевронами, с золотистым якорем на рукаве. Сыплет корабельными терминами, будто трясет морской справочник. Поверх рубахи Ерошка носит шелковистый треугольный галстук. Вроде пионерского, как у меня в детстве, только не красный, а ярко-синий. Когда Ерошка завязывает его, в душе у меня возникает легкая опаска. Но ничего не случается. Ерошка поглаживает узел и говорит, что называется он (этот узел) «шкиперский шиш». Серафима вздыхает. А в общем все идет как надо.

Лишь один неразгаданный вопрос временами досадливо скребет меня: кто же такой Альберт Гавриков (или Тавриков)? Есть он на свете или нет его? С одной стороны, вроде бы все-таки есть. А с другой…

А может быть, он из тех непрошеных глупых снов, что до сих пор иногда (правда, все реже и реже) портят мне настроение?

Они не страшные, эти сны, но какие-то унылые, в серо-коричневой дымке. Снится опять, будто я старый писатель с многотомными сочинениями и вечным страхом, что ничего в жизни путного уже не напишу. Будто у меня взрослые дети и внуки… Ну, дети и внуки — это хорошо, это по-

настоящему. А вот всякие хвори, что ломают все тело и гнетут душу… А главное — что дальше-то? Заветную тетрадь, где осталась недописанной лучшая повесть, я так и не нашел. Ни в какое плавание мне уже не уйти. Любимые коты (особенно Макс), как и я, сильно постарели. Тряпичный заяц (не Травяной и Песчаный, а другой) целыми днями молчит на подоконнике, вспоминая прежние годы и путешествия. А в мире — бьются самолеты и тонут корабли, взрываются дома и рушатся от землетрясений города. И люди стреляют, стреляют, стреляют. На экранах, на улицах, в полях, в горах… Стреляют с каким-то унылым упорством, словно в этом единственный смысл человеческого бытия… Я выключаю телевизор. Тихо. Только за окном визжит бензопила. Это небритые кретины в грязных фуфайках по приказу других кретинов — в галстуках — снова сводят под корень вековые тополя… А дома никого нет, я один. Один, один, один… Давно уже…

Но сон уходит оттого, что кто-то бодро колотит в дверь. Это боцман Жора явился ни свет ни заря — посоветоваться о корабельных делах. Костлявый коричневый Ерошка выскакивает из двери, с размаха впечатывает свою ладошку в крепкую боцманскую ладонь.

— Дядя Жора, привет! Скоро «долой шварто-вы», да?

— Это как начальство скажет, — осторожно говорит Жора. Он суеверен, как все настоящие моряки, и не хочет загадывать наперед.

Появляется растрепанная спросонья Еська с Томасом на руках.

— Дядя Жора, вы смотрите, чтобы Ерофей не очень там носился по всяким вантам-барабан-там…

— Это уж само собой. — Жора подмигивает Ерошке. Тот, поглядывая на меня, говорит слад-ким голосом:

— Я буду самый дисциплинированный юнга на свете. — И усаживается на корточках под окном. Еська — рядом с ним. Из кухни выглядывает Серафима.

— Жора, здравствуй! На твою долю жарить яичницу?.. Замечательно! — И ребятам: — А умы-ваться кто будет? Травяной Заяц?

Ерошка дотягивается до сидящего в углу Зайца, сажает его на торчащее колено.

— Травяные Зайцы не умываются. И Песоч-ные… И Морские…

— Возьмешь его с собой? — шепотом спраши-вает Еська.

— Не знаю. Если захочет… Поплывем, Котозай?

— Видно будет, — почти неразличимо бормочет Заяц. И дергает полосатым длинным хвостом. Котенок Томас на руках у Еськи пытается цапнуть этот хвост растопыренной лапой.

У Травяного Зайца трудное положение. И в плавание хочется, и Еську оставлять жаль. Потому что сестру и брата он любит одинаково и крепко.

Он, кстати, всегда за них заступается, если я и Серафима начинаем «воспитывать» обоих сразу. Ворчит из своего угла:

— Ну, чего опять напустились на ребятишек? Будете обижать, пойду и развяжу Синего Треугольника.

Мы с Серафимой снисходительно помалкиваем. Знаем, что давно уже Треугольника в ящике нет. Впрочем, если и есть, никакие узлы Травяной и Песчаный Заяц развязывать не станет… А если и развяжет, что за беда? Ничего не случится. Или только одно: я наконец перестану видеть унылые серо-коричневые сны.